

**Олег Лекманов**  
**Михаил Свердлов**



Олег Лекманов  
Михаил Свердлов  
Сергей Есенин

Биография

*Издание второе, исправленное и дополненное*



издательство **астрель**

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6  
Л43

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии ИЗДАТЕЛЬСТВА АСТ

**Лекманов, О., Сверлов, М.**  
Л43 Сергей Есенин : биография / ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ, МИХАИЛ СВЕРДЛОВ. — М.: Астрель : CORPUS, 2011. —  
000, [о] с. : 624 ил.

ISBN 978-5-271-34953-9 (ООО “Издательство Астрель”)

Эта книга о Сергее Есенине (1895–1925) — новый, непредвзятый взгляд на его драматическую судьбу. Здесь подробно исследованы обстоятельства его жизни, в которой порой трудноразличимы миф и реальность, маска и подлинное лицо. Авторы книги — авторитетные филологи, специалисты по литературе русского модернизма — на основе многочисленных документальных свидетельств стремятся воссоздать образ Есенина во всей его полноте. Следуя от раннего детства до трагического финала жизни поэта, они выявляют внутреннюю логику его биографии. Книга содержит около трехсот иллюстраций и снабжена аннотированным указателем имен.

УДК 821.161.1.09  
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-271-34953-9 (ООО “Издательство Астрель”)

© О. Лекманов, 2011  
© М. Сверлов, 2011  
© А. Бондаренко, художественное оформление, макет, 2011  
© ООО “Издательство Астрель”, 2011  
Издательство CORPUS ®



# Оглавление

<i>Предисловие ко второму изданию</i> .....	7
<b>Глава первая.</b> “Жил мальчик в простой крестьянской семье...” (1895–1912) .....	11
<b>Глава вторая.</b> “Все за талант” (Есенин в Москве, 1912–1915) .....	33
<b>Глава третья.</b> Есенин завоевывает Петроград (1915) .....	62
<b>Глава четвертая.</b> “Народный сказитель” в “лаковых сапожках” (1916) .....	102
<b>Глава пятая.</b> Поэт и революция (1917–1918) .....	135
<b>Глава шестая.</b> Счастливый Есенин (1918) .....	177
<b>Глава седьмая.</b> Приключения имажиниста (1919–1922) .....	204
<b>Глава восьмая.</b> Эпоха звучащего слова: Есенин против Маяковского и Блока .....	286
<b>Глава девятая.</b> Иван-царевич и жар-птица: Сергей Есенин в погоне за мировой славой .....	359
<b>Глава десятая.</b> “Для того, чтобы ярче гореть” (1923–1924) .....	449
<b>Глава одиннадцатая.</b> “Черный, черный человек на кровать ко мне садится...” (1925) .....	507
<i>Эпилог</i> .....	546
<i>Указатель упоминаемых лиц</i> .....	577
<i>Об авторах этой книги</i> .....	605



## Предисловие ко второму изданию

**К**огда речь заходит о Сергее Есенине, трудно быть объективным. Теми, кто пишет о поэте, чаще всего движет читательская любовь, а не филологическая любознательность — вот почему в работах о поэте анализ сплошь и рядом вытесняется апологетическим пафосом. За редкими исключениями, есениноведы не могут или не хотят дистанцироваться от Есенина: они стремятся, вольно или невольно, не столько к исследованию биографии и творчества, сколько к защите и восхвалению “рязанского соловья”. О любимом поэте пишут как о герое-протагонисте, не скупясь на эпитеты один сильнее другого. В качестве выразительного примера приведем здесь большую сборную цитату из предисловия к замечательному коллективному труду — новейшей многотомной “Летописи жизни и творчества С. А. Есенина”. Предисловие это написано главным редактором не только “Летописи...”, но и Полного академического собрания сочинений поэта: “Тениальный поэт — всегда Личность. Его душа всегда возвышенно-крылата, чутка к страданию людскому, всегда человечна. По своей творческой сути, по своим убеждениям и идеям они, великие мыслители и революционеры духа, постоянно и настойчиво вслушиваются в биение народного сердца, в могучее дыхание родины, чутко улавливая раскаты новых революционных бурь и потрясений. Это незыблемый закон искусства <...> Когда читаешь и перечитываешь Есенина, включая его ранние стихи, где все — правда, озаренная и печальная, все — жизнь, радостная и трагическая; поэмы и стихи, в которых предельно, исповедально обнажена душа художника, — все очевиднее становится их резкая несовместимость с различного рода “романами без вранья” <...> Слово Антей, каждый раз, когда Есенину было особенно трудно, припадал он душой и сердцем к родной рязанской земле, вновь обретая животворную нравственную силу и энергию для своих бессмертных стихов и поэм о России <...> Наполненная любовью к людям, к Человеку, к красоте родной земли, проникнутая душевностью, добротой, чувством постоянного беспокойства за судьбу не только своих соотечественников, но и народов других стран

и наций, гуманистическая поэзия Есенина активно живет и действует в наши дни, помогая сохранению и упрочению мира во всем мире”<sup>1</sup>.

В нарушение сложившейся традиции, авторы предлежащего жизнеописания Сергея Есенина не ставили своей целью во что бы то ни стало обелить (или очернить) поэта в глазах читателя. Нам хотелось по возможности беспристрастно рассказать о Есенине, передоверив восторги и инвективы мемуаристам и современным поэту критикам, чьи голоса звучат почти на каждой странице этой книги.

В своих восторгах современники Есенина порой доходили до экстаза: “А вот прочитал я первый том стихов Есенина и чуть не взвыл от горя, от злости. Какой чистый и какой русский поэт. Мне кажется, что его стихи очень многих отрезвят и приведут “в себя”” (М. Горький)<sup>2</sup>. В своих инвективах — до брани: “Я обещаю вам Инонию! — Но ничего ты, братец, обещать не можешь, ибо у тебя за душой гроша ломаного нет, и поди-ка ты лучше, проспись и не дыши на меня мессианской самогонкой!” (И. Бунин)<sup>3</sup>. Для нас и то и другое — ценный и заслуживающий самого пристального анализа материал.

Разумеется, в своей работе мы опирались на изыскания и наблюдения предшественников-есениноведов. Хотелось бы с благодарностью назвать здесь имена К. М. Азадовского, В. Ф. Белоусова, В. А. Вдовина, Э. Б. Мекша, Гордона Маквея, С. И. Субботина, В. И. Хазана, С. В. Шумихина, не забывая о многих других. Особо следует отметить уже упоминавшуюся нами “Летопись жизни и творчества С. А. Есенина”, а из более общих сводов фактических сведений — коллективный труд “Литературная жизнь России 1920-х годов. События. Отзывы современников. Библиография” и монографию А. В. Крусанова “Русский авангард, 1907–1932”.

Считаем своим приятным долгом поблагодарить Н. А. Богомолова, А. Л. Дмитренко, А. А. Кобринского, Г. А. Левинтона и Р. Г. Лейбова за ценные советы, замечания и дополнения. Важными для нас были и (на удивление доброжелательные) рецензии на первое издание этой книги<sup>4</sup>.

Отдельная благодарность — сотрудникам библиотеки ИНИОН Т. В. Еремеевой и Е. А. Велитовой.

1 Летопись жизни и творчества С. А. Есенина: В 5 томах. Т. 1: 1895—1916. М., 2003. С. 5, 7, 8, 54.

2 Горький М. Собр. соч.: В 30 т. М., 1955. Т. 29. С. 470.

3 Бунин И. Инония и Китеж. К 50-летию со дня смерти гр. А. Толстого // Возрождение. 1925. 12 октября.

4 См.: Дашевский Г. Ребенок-нигилист // <http://www.stengazeta.net/article.html?article=3858>; Кибиров Т. Прояснение Есенина // Эксперт. 2007. № 35; Кочеткова Н. Негатив на кумира // Известия. 2007. 17 августа; Крышук Н. Придуманная судьба // <http://prochтение.ru/index.php/docs/1100>; Немзер А. Для жизни звуков не щадить // Время новостей. 2007. 2 ноября; Немзер А. Русская литература в 2007 году // Время новостей. 2007. 19 декабря; Погорелая Е. Формула судьбы // Октябрь. 2008. № 3; Шубинский В. Битва мифов (Обзор книг о Н. Клюеве и С. Есенине) // Новое литературное обозрение. № 89. 2008. Особо полезным и лестным для нас стал отклик Гордона Маквея, опубликованный в: The Slavonic and East European Review. 2009. Т. 87. Vol. 4. Не умолчим и о двух отрицательных рецензиях на нашу биографию: Шубникова-Гусева Н. И это — биография? // Литературная газета. 2009. № 5. Куняев Сергей. Есенин и “альфреды” // Наш современник. 2010. № 12. С. 239 — 267. На претензии уважаемой исследовательницы мы подробно ответили. См.: Лекманов О., Свердлов М. И это — отрицательная рецензия? // Новое литературное обозрение. 2009. № 99. От души благодарим С. С. Куняева за те три конкретные указания на наши фактологические ошибки, которые содержатся в его пылком двадцативосьмистраничном отзыве на первое издание нашей книги.

# Сергей Есенин

Биография



Сергей Есенин  
1921–1922

# Глава первая

## “Жил мальчик в простой крестьянской семье...” (1895—1912)

**1** Так Сергей Есенин писал о своем детстве в “Черном человеке”. А вот как поэт рассказывал о себе Александру Блоку в январе 1918 года: “...Из богатой старообрядческой крестьянской семьи”<sup>1</sup>. В зависимости от обстоятельств Есенин в устных рассказах и в стихах легко мог заменить “богатую старообрядческую семью” на “простую”: это, очевидно, не казалось ему столь уж важным, тем более что старообрядцем в семье никто не был<sup>2</sup>, а жила она серединка на половинку — ни бедно, ни так чтобы очень богато. Но неизменным при “семье” всегда оставался эпитет “крестьянская”.

О своем происхождении Есенин никогда не забывал и, вслед за Николаем Клюевым, положил его в основу собственного биографического мифа, мифа “последнего поэта деревни”.

*О край разливов грозных  
И тихих вешних сил,  
Здесь по заре и звездам  
Я школу проходил.*

*И мыслил и читал я  
По библии ветров,  
И нас со мной Исая  
Моих златых коров.*

(“О пашни, пашни, пашни...”)

1 Блок А. Дневник. М., 1989. С. 257.

2 Подробнее см.: Панфилов А. Константиновский меридиан. М., 1992. С. 43.



Сергей Есенин (во втором ряду справа) среди односельчан рядом с площадкой для игры в крокет. На заднем плане — Казанская церковь  
Единственная фотография, на которой Есенин снят в Константинове. 1909

*И это я!*

*Я, гражданин села,*

*Которое лишь тем и будет знаменито,*

*Что здесь когда-то баба родила*

*Российского скандального пиита.*

(“Русь Советская”)

Другой вопрос: *какую* деревню изображал поэт в своих стихах? Ту ли полусказочную, от чьего имени надписал Л. Андрееву свою первую книгу стихов: “Великому писателю Земли Русской Леониду Николаевичу Андрееву. От полей рязанских, от хлебных упевов старух и молодок. На память сердечную о сохе и понёве”?<sup>1</sup> Или ту капиталистическую деревню начала XX века, о повседневной жизни которой юный Есенин в июне 1911 года сообщал в письме к другу Грише Панфилову: “У нас делают шлюза, наехало множество инженеров, наши мужики и ребята работают, мужикам платят в день 1 р. 20 к., ребятам 70 к., притом работают еще ночью. Платят

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. М., 1999. Т. 7. Кн. 1. С. 45.





Дом Никиты Осиповича Есенина в Константинове, где родился и провел раннее детство Сергей Есенин. *Рисунок*

одинаково. Уже почти сделали половину, потом хотят мимо нас проводить железную дорогу”<sup>1</sup>

Кажется, эти вопросы можно считать риторическими. Ведь капиталистическая и социалистическая деревня в лирические стихотворения Есенина и в его устные новеллы о себе почти не была допущена — если не принимать в расчет пронзительных есенинских строк о железной дороге:

*Милый, милый, смешной дуралей,  
Ну куда он, куда он гонится?  
Неужель он не знает, что живых коней  
Победила стальная конница?* (‘‘Сорокоуст’’)

Из мемуаров А. Ветлугина: ‘‘О своем детстве и отрочестве Есенин рассказывал много, охотно и неправдоподобно’’<sup>2</sup>.

1 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 7.

2 Русское зарубежье о Есенине: В 2 т. М., 1993. Т. 1. С. 129.

А мы попробуем не слишком поддаваться есенинскому обаянию и суммировать факты о детстве и юности поэта в *том* селе, где всю делали “шлюза” и напряженно ожидали постройки железной дороги. Где жители подписывались на журнал “Сельский хозяин”, информировавший своих читателей о способах “выпаивания телят”, “содержания и откармливания свиней”, разведения “каракульских овец”, “приготовления коровьяго кумыса и мн. др.”<sup>1</sup>. И где сам Сережа увлеченно играл в крокет, а школу проходил не столько “по заре и звездам”, сколько по прописям и учебникам.

**2** Сергей Александрович Есенин родился 21 сентября (3 октября) 1895 года в селе Константинове Рязанского уезда Рязанской губернии. Его отец, Александр Никитич Есенин, с двенадцати лет служил в Москве в мясной лавке. В деревне, даже уже женившись на Татьяне Федоровне Титовой, он бывал лишь наездами. Так что Александр Никитич еще мог бы сказать о себе горделивыми есенинскими строками:

*У меня отец крестьянин,  
Ну а я крестьянский сын.*

(“Мелколесье. Степь и дали...”)

А вот его сын Сергей — уже нет.

Первые три года своей жизни мальчик рос в доме бабушки по отцу Аграфены Панкратьевны Есениной. Затем его отдали в дом Федора Андреевича Титова, деда по материнской линии. Федор Андреевич происходил из крестьян, но и его жизнь до поры до времени была тесно связана с городом. “Он был умный, общительный и довольно зажиточный человек, — писала младшая сестра поэта, Александра. — В молодости он каждое лето уезжал на заработки в Питер, где нанимался на баржи возить дрова. Поработав несколько лет на чужих баржах, он приобрел свои”<sup>2</sup>. Впрочем, к тому времени, когда маленький Сережа поселился у Титовых, Федор Андреевич “был уже разорен. Две его баржи сторели, а другие затонули, и все они не были застрахованными. Теперь дедушка занимался только сельским хозяйством”<sup>3</sup>.

1 Рязанские губернские ведомости. 1908. 8 ноября. № 79. С. 3. См. соответствующую рекламу.

2 Есенина А. Родное и близкое. М., 1968. С. 24.

3 Там же. С. 25.

“Неграмотная, беспаспортная, не имея специальности”, мать будущего поэта “устраивалась то прислугой в Рязани, то работницей на кондитерской фабрике в Москве”<sup>1</sup>. Неудивительно, что Сережа “в детстве принимал” ее “за чужую женщину”<sup>2</sup>. Своему отцу Татьяна Есенина выплачивала за содержание сына по три рубля в месяц.

В конце 1904 года она вместе с маленьким Есениным вернулась в семью мужа. В сентябре этого же года Сережа поступил в Константиновское четырехклассное училище, о котором его соученик Н. Титов писал в своих мемуарах: “Преподавали нам азы всех предметов, заканчивали мы грамматикой и простыми дробями. Если в первый класс у нас поступала сотня учеников, то последний — четвертый — кончал человек десять”<sup>3</sup>.

Что за мальчик был Сережа Есенин? В силу понятных причин спустя десятилетия мемуаристы на все лады расписывали его чудесные дарования, проявлявшиеся в самых различных областях. “Был он первый заводила, бодовый и драчливый как петух”<sup>4</sup>. Он и при ловле раков “отличался смелостью, ловил преимущественно в глубине, где никто не ловил, и всегда улов у него был больше всех”<sup>5</sup>. И “половить утят” Есенин был “мастак”<sup>6</sup>. И “на льду почти всех перегонял”<sup>7</sup>. А что касается лазанья по деревьям, “из мальчишек никто не мог со мной тягаться”. Это уже из есенинской автобиографии<sup>8</sup>. И еще цитата, на этот раз из его стихов:



Казанская церковь в селе Константинове, где крестили Сергея Есенина 1920-е

1 Там же. С. 25.

2 Воспоминания С. Виноградской цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин: Литературная хроника. М., 1969. Ч. 1. С. 17.

3 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 19.

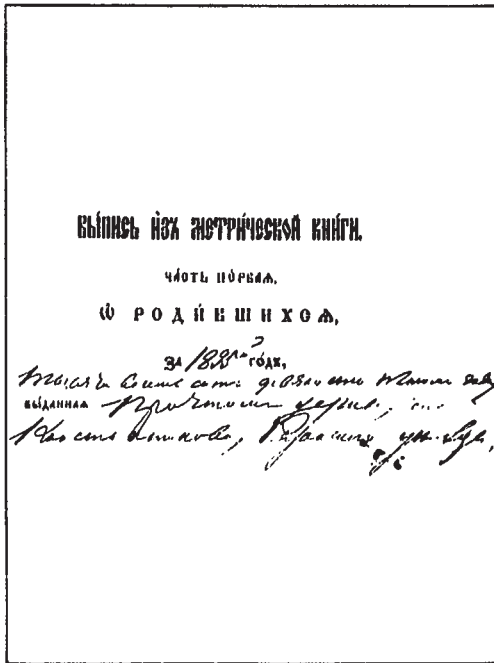
4 Калинин Н. В одном классе // Сергей Есенин глазами современников. СПб., 2006. С. 94.

5 Сергей Есенин в стихах и в жизни: Воспоминания современников. М., 1995. С. 50.

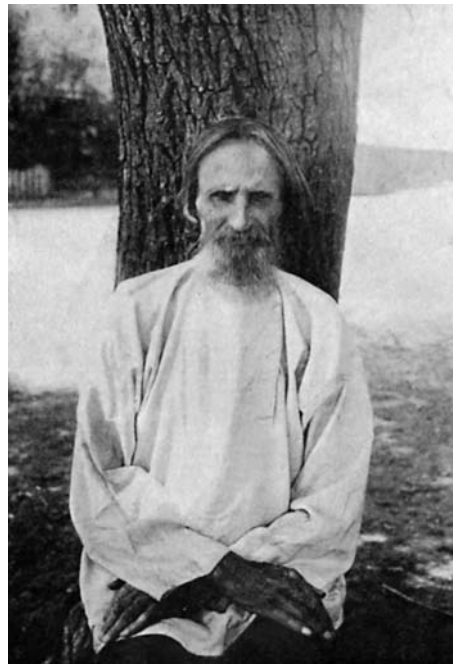
6 Цыбин К. Слово школьного товарища // Сергей Есенин: Исследования. Материалы. Выступления. М., 1967. С. 227.

7 Жизнь Есенина: Рассказывают современники. М., 1988. С. 36.

8 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 8.



Титульный лист выписки из метрической книги о рождении и крещении Сергея Есенина



Федор Андреевич Титов, дед поэта 1926

*Худощавый и низкорослый,  
Средь мальчишек всегда герой,  
Часто, часто с разбитым носом  
Приходил я к себе домой.*

(“Все живое особой метой...”)

Ясное дело, в мемуарах не обошлось без красочных рассказов о чрезвычайно рано пробудившейся в мальчике социальной сознательности. К. Воронцов писал так: “Существовавший строй ему был не по душе”<sup>1</sup>. А на рано подмеченный односельчанами талант Есенина-стихотворца указывает выразительный фрагмент из воспоминаний А. Зиминой, соученицы младшей сестры Сергея: “...ему было всего восемь или девять лет. Придут к Есениным в дом дедушки — Сережа на печке. Попросят его: “Придумай нам частушку”. Он почти сразу сочинял и говорил: “Слушайте и запоминайте”. Потом эти частушки распевали на селе по вечерам”<sup>2</sup>. Все бы хорошо, да только А. Зиминая родилась через пять лет после событий, которые описывает. Куда реалистичнее рассказывал о “первых стихотворческих опытах” Есенина К. Воронцов:

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 50.

2 Жизнь Есенина... С. 31.



Константиново. Второй дом слева — изба родителей Сергея Есенина. 1926



Александр Никитич и Татьяна Федоровна Есенины. 1905

“Помню, как однажды он зашел с ребятами в тину и начал приплясывать, приговаривая: “Тина-мясина, тина-мясина”. Чуть не потонули в ней”<sup>1</sup>.

Почти житийным зачином открываются мемуары о детстве Есенина, записанные за его матерью: “Был у нас в селе праведный человек, отец Иван. Он мне и говорит: “Татьяна, твой сын отмечен Богом””<sup>2</sup>. К туманной перифразе “праведный человек” Татьяна Есенина прибегла для того, чтобы не пользоваться “ругательным” в советское время словом “священник”: речь идет об отце Иване Смирнове<sup>3</sup>.

Располагаем ли мы более правдивыми свидетельствами о ранних годах Есенина, не затронутыми ретроспективным знанием мемуаристов о том, в кого вырос мальчик Сережа? Располагаем. Важнейшее из них — фраза самого поэта из черновика к автобиографии: “Детство такое же, как у всех сельских ребятшек”<sup>4</sup>. В окончательный текст, что характерно, эта фраза не попала.

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 50.

2 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 5.

3 Подробнее о нем см.: Есенина А. Родное и близкое. С. 8.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 22.





Отец Иоанн (Смирнов) — священник церкви села Константиново Рязань. 1903

С рассказами о Есенине как о неизменном вожаке деревенских детей контрастирует небольшой фрагмент из воспоминаний Н. Сардановского: “Тихий был мальчик, застенчивый, кличка ему была Серега-монах”<sup>1</sup>. А легенду о необыкновенно рано пробудившихся в мальчике творческих способностях и сознательности отнюдь не подтверждает следующий печальный факт из биографии двенадцатилетнего Серегина-монаха: в третьем классе училища он за озорство просидел два года (1907-й и 1908-й).

Это событие, по-видимому, стало поворотным в судьбе мальчика: по-нукаемый родителями и дедом, он взялся за ум. По окончании Константиновского четырехклассного училища Сергей Есенин получил похвальный лист с формулировкой: “...за весьма хорошие успехи и отличное поведение, оказанное им в течение 1908/1909 учебного года”<sup>2</sup>. Вспоминает Екатерина Есенина: “Отец снял со стены портреты, а на их место повесил похвальный лист и свидетельство, а ниже повесил остальные портреты”<sup>3</sup>. Справедливости ради следует, впрочем, отметить, что похвальные листы получили все ученики, окончившие четыре класса.

Вероятно, тогда же Есенин страстно полюбил читать. Из мемуаров есенинского друга детства К. Воронцова: “Если он у кого-нибудь увидит еще не читанную им книгу, то никогда не отступится. Обманет — так обманет, за конфеты — так за конфеты, но все же — выманит”<sup>4</sup>. В житийном варианте это звучало следующим образом: “Такая у него жадность была к учению, и знать все хотел”<sup>5</sup>.

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 50. Ср. в воспоминаниях младшей сестры поэта, Екатерины: “Наш дедушка, Никита Осипович Есенин, женился очень поздно, в 28 лет, за что получил на селе прозвище “Монах” <...> Я до школы даже не слышала, что мы Есенины. Сергей прозывался Монах, я и Шура — Монашки” (Там же. С. 6—7).

2 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 23.

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 12.

4 Там же. С. 49.

5 Из воспоминаний Татьяны Есениной; цит. по: Сергей Есенин в стихах и в жизни. С. 5.



Константиновское четырехклассное земское училище  
 Фотография 1950—1960 гг.

В сентябре 1909 года юноша успешно выдержал вступительные экзамены во второклассную учительскую школу, располагавшуюся в большом селе Спас-Клепики, что под Рязанью. Вот какие предметы, согласно постановлению “Об утверждении положения о церковных школах Православного исповедания”, он должен был за годы своего обучения освоить: “1) Закон Божий; 2) церковная история; общая и русская; 3) церковное пение; 4) русский язык; 5) церковнославянский язык; 6) отечественная история; 7) география, в связи со сведениями о явлениях природы; 8) арифметика; 9) геометрическое черчение и рисование; 10) дидактика; 11) начальные практические сведения по гигиене; 12) чистописание”<sup>1</sup>.

**З** Спас-клепиковские будни Есенина тянулись уныло и однообразно. “В школе не только не было библиотеки, но даже и книг для чтения, кроме учебников, которыми мы пользовались, — вспоминал есенинский соученик В. Знышев. — Книги для чтения мы брали в земской библио-

<sup>1</sup> Цит. по: Скорыходов М. Образование получил в учительской школе... // Новые книги России. 2002. № 7. С. 42—43.



Похвальный лист, выданный Сергею Есенину “за весьма хорошие успехи и отличное поведение, оказанные им в течение 1908/1909 учебного года”

теке, которая была расположена от школы на расстоянии около двух километров. <...> За все три года пребывания в школе не было ни одного общешкольного вечера”<sup>1</sup>. “Первоначально Есенин и здесь ничем из среды товарищей не выделялся”<sup>2</sup>. “...Был он аккуратным, опрятным и скромным пареньком, — рассказывал И. Копытин, — но в то же время веселым, жизнерадостным”<sup>3</sup>.

Однако со временем все больше проявлялись две особенности Есенина: он по-прежнему очень много читал, а кроме того, начал писать стихи. “Смотришь, бывало, все сидят в классе вечером и усиленно готовят уроки, буквально их зубрят, а Сережа где-либо в уголке класса сидит, грызет свой карандаш

1 Цит. по: Зелинский К. Сергей Александрович Есенин // Есенин С. Собр. соч.: В 5 т. М., 1961. Т. 1. С. 8.

2 Из мемуаров преподавателя Спас-Клепиковской школы Е. Хитрова; цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 26.

3 Жизнь Есенина... С. 35.



и строчка за строчкой сочиняет заду- манные стихи, — вспоминал А. Аксе- нов. — В беседе спрашиваю его: “А что, Сережа, ты в самом деле хочешь быть писателем?” Отвечает: “Очень хочу”. Я спрашиваю: “А чем ты можешь подтвердить, что ты будешь пи- сателем?” Отвечает: “Мои стихи про- веряет учитель Хитров, он говорит, что мои стихи неплохо получаются”<sup>1</sup>.

Что писал и что читал в свои ранние годы поэт? Ответить на эти вопросы не так просто, как кажется на первый взгляд. Разобраться меша- ет обычное для творческой биогра- фии Есенина переплетение правды с легендами.

В есенинских собраниях сочинений и в представительных сборниках его “Избранного” вначале обычно помещается серия стихотворений, дати- рованных 1910 годом. Все они поражают своим зрелым мастерством. При- ведем здесь только одно из таких стихотворений — “Подражанье песне”:

*Ты пошла коня из горстей в поводу,  
Отражаясь, березы ломались в пруду.  
Я смотрел из окошка на синий платок,  
Кудри черные змейно трепал ветерок.*

*Мне хотелось в мерцании пенистых струй  
С алых губ твоих с болью сорвать поцелуй.  
Но с лукавой улыбкой, брызнув на меня,  
Унеслася ты вскачь, удилами звеня.*

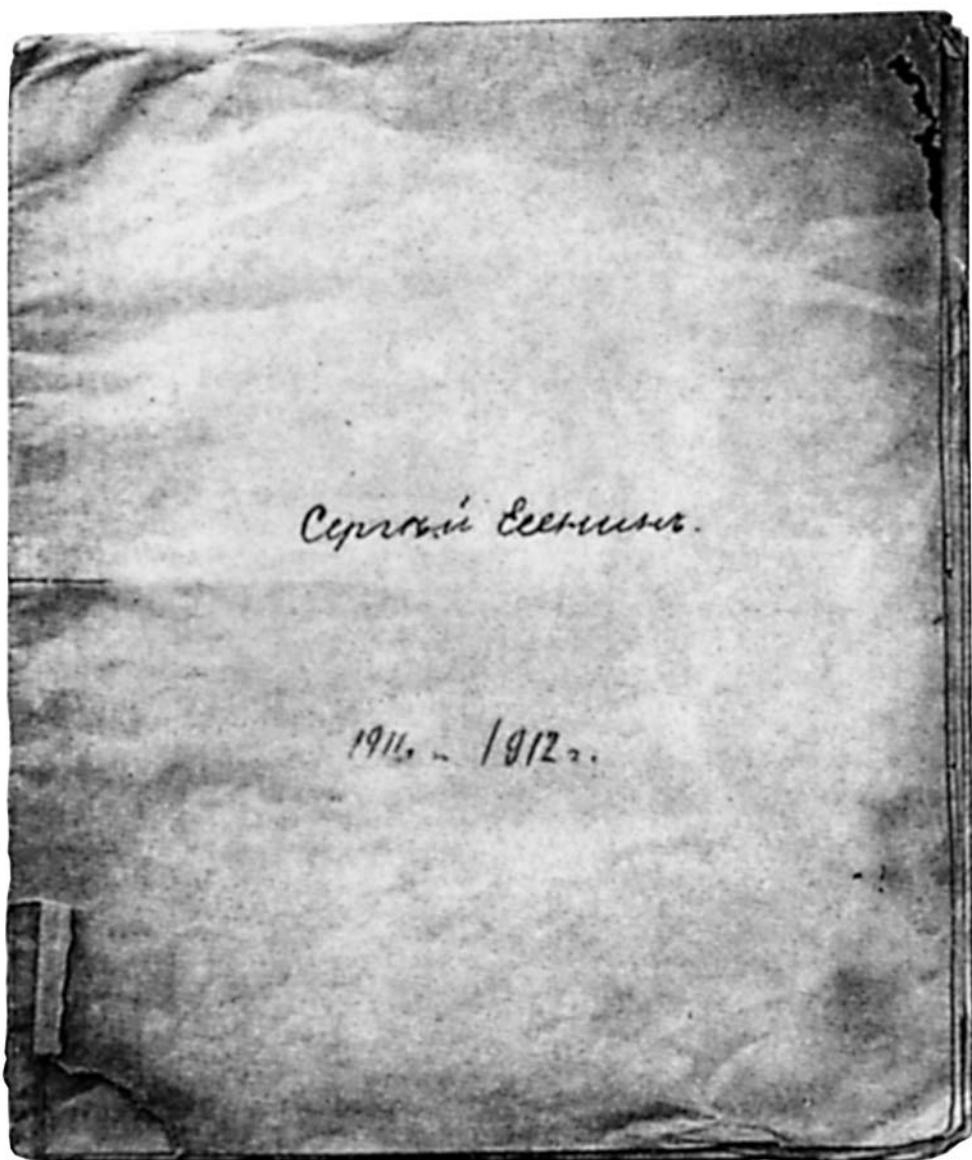
*В пряже солнечных дней время выткало нить...  
Мимо окон тебя понесли хоронить.*

*И под плач панихид, под кадильный канон,  
Все мне чудился тихий раскованный звон.*



Евгений Михайлович Хитров с женой  
Наталией Ивановной  
Рязань. Начало XX в.

1 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 32.



Тетрадь со стихами, подаренная Сергеем Есениным Е. М. Хитрову

Другие вошедшие в золотой фонд есенинской поэзии стихотворения 1910 года перечислим по их начальным строкам: “Вот уж вечер. Роса...”, “Там, где капустные грядки...”, “Выткался на озере алый свет зари...” ... Собранные вместе, эти стихотворения идеально соотносятся с тем образом юного вундеркинда из народа, этакого деревенского Пушкина, который впитывал темы и мотивы для своих произведений прямо из старинных русских песен, былин и сказок. Именно такой образ Есенин старательно культивировал в стихах и автобиографиях:

*Родился я с песнями в травном одеяле.*

*Зори меня вешние в радугу свивали...*

(“Матушка в купальницу по лесу ходила...”)

“На ранних стихах моих сказалось весьма сильное влияние моего деда. Он с трех лет вдальбивал мне в голову старую патриархальную церковную культуру. Отроком меня таскала по всем российским монастырям бабка”<sup>1</sup>. “Стихи начал слагать рано. Толчки давала бабка. Она рассказывала сказки”<sup>2</sup>. Еще ближе к классическому пушкинскому мифу следующий фрагмент автобиографии: “Нянька, старуха-приживальщица, которая ухаживала за мной, рассказывала мне сказки, все те сказки, которые слушают и знают все крестьянские дети”<sup>3</sup>. Приведем также сведения, сообщенные Сергеем Городецким (очевидно, с давних слов самого поэта): “От дедушки-начетчика, сказителя сказок и былин, Есенин взял свои первые песни”<sup>4</sup>.

Однако тексты многих из перечисленных стихотворений удивительным образом впервые всплыли лишь в 1925 году, когда поэт надиктовал их жене Софье Андреевне Толстой и датировал 1910 годом. Лишь малая часть этих стихотворений публиковалась прежде, но все же не ранее 1914-го.

Вряд ли будет слишком смелым предположение, что подавляющее число “ранних” шедевров, умело стилизованных под собственное творчество середины 1910-х, было написано Есениным в 1925 году<sup>5</sup>.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 222.

2 Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 11.

3 Там же. С. 14.

4 Городецкий С. [Выступление на вечере памяти С. Есенина] // Есенин: Жизнь. Личность. Творчество. М., 1926. С. 42.

5 Совершенно фантастической представляется нам гипотеза А. М. Марченко, полагающей, что стихотворения Есенина “Вот уж вечер. Роса...” и “Там, где капустные грядки...” были написаны поэтом... в раннем детстве (Марченко А. Есенин Сергей Александрович // Русские писатели XX века. Биографический словарь. М., 2000. С. 262). Впрочем, Надежде Вольпин сам Есенин рассказывал, что написал стихотворение “Там, где капустные грядки...” в 1903 году (см.: Прохоров С. Фольклор в художественном мире С. А. Есенина: Диссертация на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Коломна, 1997. С. 56).

Чтобы убедиться в обоснованности этой версии, достаточно просто сопоставить те есенинские стихотворения, о которых только что шла речь, с другими его виршами, которые были написаны в следующем, 1911 году. Подлинность их датировки не вызывает сомнений, поскольку до нас дошли автографы соответствующего периода. Темы, мотивы, а главное, поэтический уровень есенинских опусов 1911 года разительно отличают их от стихов Есенина якобы 1910 года.

Вот надрывное есенинское стихотворение 1911–1912 годов “К покойнику”:

*Уж крышку туго закрывают,  
Чтоб ты не мог навеки встать,  
Землей холодной зарывают,  
Где лишь бесчувственные спят.*

*Ты будешь нем на зов наш зычный,  
Когда сюда к тебе придем.  
И вместе с тем рукой привычной  
Тебе венков мы накладем.*

*Венки те красотой будут,  
Могила будет в них сиять.  
Друзья тебя не позабудут  
И часто будут вспоминать.*

*Покойся с миром, друг наш милый,  
И ожидай ты нас к себе.  
Мы перетерпим горе с силой,  
Быть может, скоро и придем к тебе.*

Вот есенинские стихи 1911–1912 годов о Спас-Клепиковской учительской школе:

*Душно мне в этих холодных стенах,  
Сырость и мрак без просвета.  
Плесенью пахнет в печальных углах —  
Вот она, доля поэта.*

*Видно, навек осужден я влачить  
Эти судьбы приговоры,*

*Горькие слезы безропотно лить,  
Ими томить свои взоры.*

*Нет, уже лучше тогда поскорей  
Пусть я иду до могилы,  
Только там я могу, и лишь в ней,  
Залечить все разбитые силы.*

*Только и там я могу отдохнуть,  
Позабывать эти тяжкие муки,  
Только лишь там не волнуется грудь  
И не слышны печальные звуки.*

А это две финальные строфы стихотворения 1911—1912 годов о столь выразительно воспетой впоследствии русской зиме:

*Вот появились узоры  
На стеклах дивной красоты.  
Все устремили свои взоры,  
Глядя на это. С высоты*

*Снег падает, мелькает, вьется,  
Ложится белой пеленой.  
Вот солнце в облаках мигает,  
И иней на снегу сверкает.*

В этих строках легко отыскать следы недавнего прочтения и, может быть, школьного заучивания наизусть хрестоматийного отрывка из “Евгения Онегина”: “Брега с недвижною рекою / Сровняла пухлой пеленою”.

“В то время я сам преуспевал в изучении “теории словесности” и поэтому охотно объяснил Сергею сущность рифмования и построения всяческих дактилей и амфибрахий, — вспоминал отрочество Есенина Н. Сардановский. — Удивительно трогательно было наблюдать, с каким захватывающим вниманием воспринимал он всю эту премудрость”<sup>1</sup>. Обратив особое внимание на то, что Есенин заинтересовался вопросами стихотворческой техники гораздо раньше многих своих столичных сверстников-поэтов, отметим, что в есенинских стихах 1911 года, в отличие от его стихов, датированных 1910 го-

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 51.



Сергей Есенин (отмечен стрелкой) среди учеников Спас-Клепиковской второклассной учительской школы. 1911 (?)

дом, “премудрость” “теории словесности” еще не была усвоена. Некоторые строки этих стихотворений звучат пародийно, по-лебядкински<sup>1</sup>.

Куда интереснее и важнее для нас убедиться в том, что львиная доля ранних стихов Есенина (1911 года) совершенно не затронута влиянием фольклорных текстов, всех этих бабушкиных сказок и нянюшкиных песен<sup>2</sup>. Вполне очевидно, что начинающий поэт ориентировался на абсолютно иную традицию: он не слишком удачно, но усердно учился у выспренных гражданских лириков предшествующей эпохи, прежде всего у Семена Надсона. Именно у этого “вдохновенного истукана учащейся

- 1 Как злая издевка воспринимается внимательным читателем есенинских стихов следующее суждение из “житийных” мемуаров о поэте, написанных С. Фоминым: “У Есенина с самых ранних пор не было неудачных стихов. Он сразу вошел в литературу, действительно родившись поэтом” (цит. по: Белюсов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 55). Подробнее о датировках ранних есенинских стихов см. в итоговой прежние наблюдения заметке: Субботин С. Авторские датировки в “Собрании стихотворений” Сергея Есенина (1926). Невостребованные документальные материалы // *de visu*. 1993. № 11. С. 58–61. Увы, аргументы исследователя не были приняты во внимание составителями академического собрания сочинений Есенина.
- 2 Об истоках фольклорных мотивов у Есенина (эти мотивы впервые появились в его стихах гораздо позже) см.: Нейман Б. Источники эйдологии Есенина // *Художественный фольклор*. М., 1929. Вып. IV—V. С. 204—217.



молодежи” (по язвительной формуле Осипа Мандельштама<sup>1</sup>) Есенин заимствовал унылый пафос вкупе с обширным, хотя и несколько однообразным, арсеналом кладбищенских образов. Он пытался прикрыть бутфорскими гробовыми крышками, венками и “судьбы приговорами” свою природную “жизнерадостность, веселость и даже какую-то излишнюю смешливость и легкомыслие”<sup>2</sup>. Остается только подивиться пронизательности Георгия Адамовича, который, не зная “надсоновских” стихотворений Есенина 1911–1912 годов, писал в конце 1920-х: “Особой пропасти между Надсоном и Есениным нет, есть даже близость <...> Легко представить себе Есенина, сероглазого рязанского паренька, попадающего в восьмидесятых годах в Петербург и сразу увлекающегося “гражданскими идеалами””<sup>3</sup>.

Выстраивая собственную биографию в беседе с И. Розановым, Есенин многозначительно выделил из своего детского круга чтения величайший текст, ориентированный на фольклорную образность: ““Знаете ли, какое произведение произвело на меня необычайное впечатление? — “Слово о полку Игореве”. Я познакомился с ним очень рано и был совершенно ошеломлен им, ходил как помешанный. Какая образность! Вот отсюда, может быть, начало моего имажинизма”<sup>4</sup>. Но в мемуарах Н. Сардановского называются совсем иные ориентиры: тут мимоходом упоминается, что есенинский дедушка Федор Андреевич Титов “выписывал журнал “Нива””<sup>5</sup>.

Щедро предоставлявшая свои страницы эпигонам Надсона, “Нива” в поэтическом сознании юноши Есенина безоговорочно перевешивала “Слово о полку Игореве”<sup>6</sup>. Пройдет еще год, и в мае 1912-го Сергей пошлет свою подборку в Москву, на конкурс лирических стихотворений имени С. Я. Надсона, объявленный Обществом деятелей периодической печати. А первую, на его счастье так и не вышедшую, книгу стихов захочет назвать вполне в надсоновском духе: “Больные думы”.

1 Мандельштам О. Собр. соч.: В 4 т. М., 1993. Т. 2. С. 357.

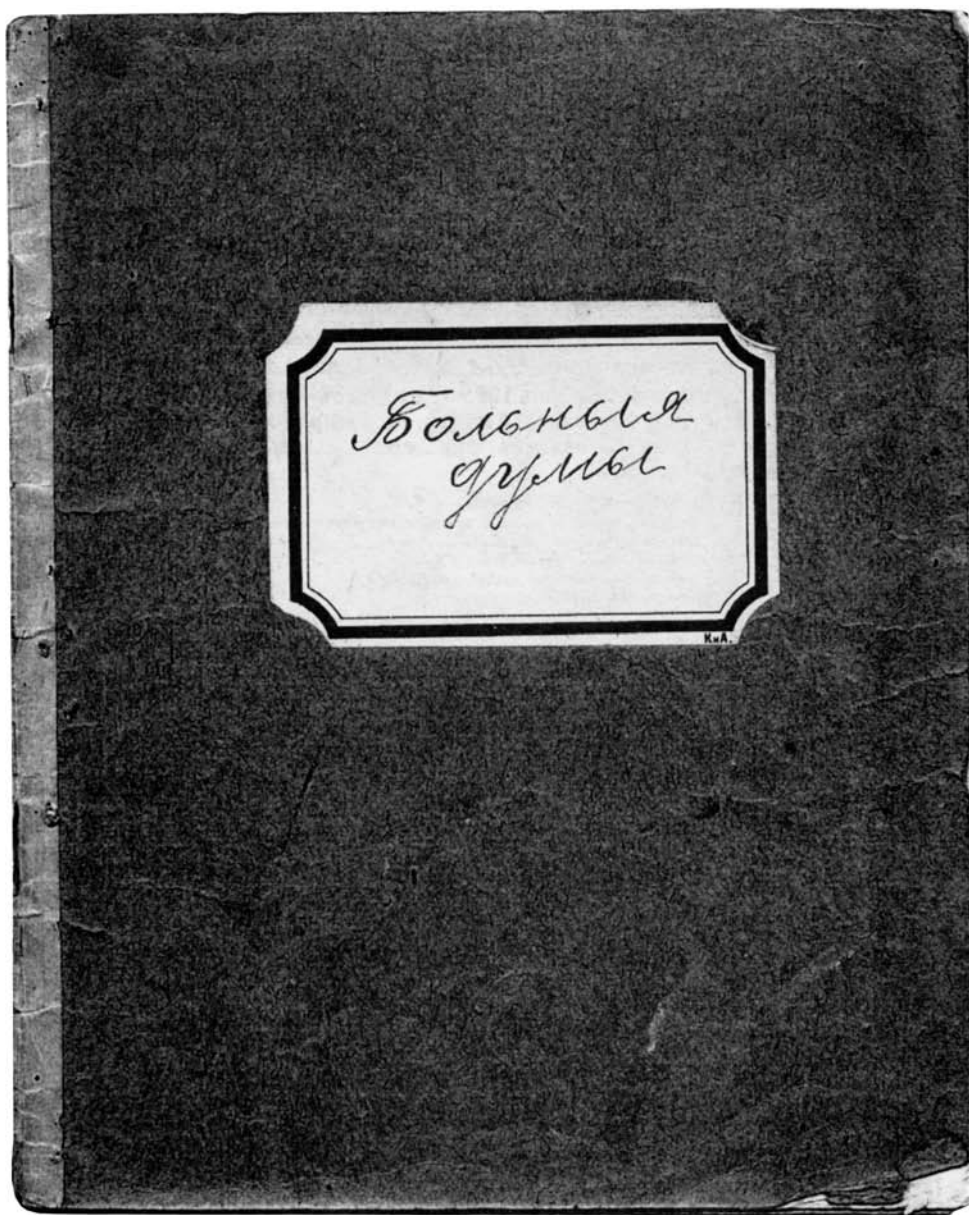
2 Из мемуаров Е. Хитрова; цит. по: Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 55.

3 Цит. по: Адамович Г. С того берега: Критическая проза. М., 1996. С. 79.

4 Цит. по: Розанов И. Есенин о себе и других. М., 1926. С. 16.

5 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 51.

6 Подробнее о стихах, публиковавшихся в “Ниве” в 1890–1910-х годах, см.: Лекманов О. Стихи в журнале “Нива”, 1890–1917 // Лекманов О. Русская литература XX века: журнальные и газетные ключи: Этюды. М., 2005. С. 5–21. Сам Есенин напечатался в “Ниве” один раз, в 1917 году.



Обложка рукописного сборника Сергея Есенина "Больные думы"  
1912



**4** В мае 1912 года Есенин окончил Спас-Клепиковскую учительскую школу. Его тогдашний внешний облик — облик деревенского паренька, с охотой демонстрирующего свою причастность к городской жизни, — запечатлен в мемуарах П. Гнилосыровой: “Был Есенин в сером костюме, ботинках и в белой рубашке с галстуком”<sup>1</sup>.

Начало лета Сергей провел в родном Константинове: “Он погружался в свои книги и ничего не хотел знать. Мать и добром и ссорами просила его вникнуть в хозяйство, но из этого ничего не выходило”<sup>2</sup>. 8 июля 1912 года в Константинове Есенин познакомился с Марией Бальзамовой, молодой учительницей из села Калитинки, будущим адресатом его стихотворения “Не бродить, не мять в кустах багряных...”:

*Не бродить, не мять в кустах багряных  
Лебеды и не искать следа.  
Со снопом волос твоих овсяных  
Отоснилась ты мне навсегда.*

*С алым соком ягоды на коже,  
Нежная, красивая, была  
На закат ты розовый похожа  
И, как снег, лучиста и светла.*

*Зерна глаз твоих осыпались, завяли,  
Имя тонкое растаяло, как звук,  
Но остался в складках смятой шали  
Запах меда от невинных рук.*

*В тихий час, когда заря на крыше,  
Как котенок, моет лапкой рот,  
Говор кроткий о тебе я слышу  
Водяных поющих с ветром сот.*

*Пусть порой мне шепчет синий вечер,  
Что была ты песня и мечта,  
Все ж кто выдумал твой гибкий стан и плечи —  
К светлой тайне приложил уста.*

<sup>1</sup> Жизнь Есенина... С. 43.

<sup>2</sup> Из воспоминаний Екатерины Есениной. См.: Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 13.

# СВИДѢТЕЛЬСТВО.

Предъявитель сего Свят Крестовская Спась-Клепиковская  
Священно-Учительская Школа Сергиев  
Александровичъ Сергій

родившійся тысяча восемьсотъ девятисотъ пятнадцатъ  
(1895) г., мѣсяца сентября 21 дня, Мухоматовъ  
исповѣданія, обучался съ 1909 г. въ Спась-Клепиковской  
второклассной учительской школѣ, въ которой и окончилъ  
курсъ въ 1912 г., оказавъ при сѣ удовлетвореніи  
слѣдующіе успѣхи:

- по 1) Закону Божію от. Сергія (4)
- 2) церковной общинѣ и русской исторіи от. Сергія (4)
- 3) церковному пѣнію от. Сергія (4)
- 4) русскому языку от. Сергія (5)
- 5) церковно-славянскому языку от. Сергія (5)
- 6) отечественной исторіи от. Сергія (5)
- 7) географіи въ связи съ свѣдѣніями о лавеніяхъ природы от. Сергія (5)
- 8) арифметикѣ от. Сергія (4)
- 9) геометрическому черченію и рисованію от. Сергія (4)
- 10) дидактикѣ от. Сергія (4)
- 11) начальнымъ практическимъ свѣдѣніямъ по физикѣ от. Сергія (4)
- 12) исторіи писанію от. Сергія (5)
- 13) Писанію от. Сергія (4)
- 14) Писанію от. Сергія (4)

за коковыя и удостоенъ Совѣтомъ сей школы, на осн. ст. 44  
Высочайше утвержденного 1 Апрѣля 1902 г. Положенія  
о церковныхъ школахъ, званія учителя школы грамоты.

По отбыванію воинской повинности онъ, Сергій  
Сергій, пользуется, на основаніи п. 1 отд. II Вы-  
сочайше утвержденного 1 Апрѣля 1902 г. мѣрѣя Госу-  
дарственнаго Совѣта, льготою II разряда установленною  
п. 2 ст. 64 Устава о воинской повинности.

Въ удостовѣреніе чего и дано ему, Сергійу Сергійу,  
сіе свидѣтельство отъ Совѣта Спась-Клепиковской вто-  
роклассной учительской школѣ Рязанскаго уѣзда за над-  
лежащимъ подписаніемъ и приложеніемъ печати Совѣта.



Завѣдующій школою Иванъ Ивановичъ

Старшій учитель Михаилъ Александровичъ

Учителю: Сергійу Сергійу

Свидетельство об окончании Сергеем Есениным Спас-Клепиковской второклассной учительской школы

*Не бродить, не мять в кустах  
багряных  
Лебеды и не искать следа.  
Со снопом волос твоих овсяных  
Отоснилась ты мне навсегда.*

Судя по сохранившимся письмам и открыткам, Есенин некоторое время был серьезно увлечен Марией Бальзамовой. Но, боясь показаться ей неинтересным и провинциальным, о своей любви предпочитал рассказывать как бы от лица того самого вечно страдающего поэта, чей образ он нащупывал в стихах этого периода. “Я не знаю, что делать с собой. Подавить все чувства? Убить тоску в распутном веселии? Что-либо сделать с собой такое не-



Сергей Есенин с сестрами Катей и Шурой  
Фотография Г. А. Чижова. Москва. 1912

приятное? Или — жить — или — не жить? — риторически вопрошал семнадцатилетний Есенин у Бальзамовой. — И я в отчаянии ломаю руки, что делать? Как жить? Не фальшивы ли во мне чувства, можно ли их огонь погасить?”<sup>1</sup> И спустя короткое время варьировал эту же тему: “Я стараюсь всячески забыться, надеваю на себя маску — веселия, но это еле-еле заметно”<sup>2</sup>. Любопытно наблюдение комментаторов этих есенинских строк: некоторые выражения он явно заимствует из письма певца социальных страданий — поэта И. С. Никитина к Н. А. Матвеевой от 19 апреля 1861 года (впервые опубликовано в 1911 году)<sup>3</sup>.

В конце июля 1912 года Есенин покинул Константиново и перебрался жить в древнюю русскую столицу. Н. Сардановский отмечал: “В моем представлении решающим рубежом в жизни Сергея был переезд его в Москву”<sup>4</sup>.

А мы в качестве “задания” на “закрепление пройденного материала” хотим предложить читателю самому откорректировать начало биографической справки о Есенине, в 1928 году составленной Б. Козьминым по сведе-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 10.

2 Там же. С. 11.

3 Там же. С. 255.

4 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 63.

ниям, исходившим от автора “Черного человека”: “Отец — бедный крестьянин — отдал двухлетнего Е. на воспитание зажиточному деду по матери, где и протекло детство поэта. Среди мальчишек Е. был всегда коноводом и большим драчуном. За озорство часто пробирала бабушка, а дед иногда сам заставлял драться, “чтоб крепче был”. Бабка, религиозная старуха, без памяти любила внука, рассказывала Е. сказки, водила по монастырям. Иногда Е. мечтал уйти в монастырь. На селе его часто называли “Монаховым”, а не Есениным. Сельское двухклассное училище он кончил с похвальным листом, а затем был отдан в село Спас-Клепики в церковно-учительскую школу, которую и кончил 16 лет. Стихи начал писать очень рано, подражая частушкам. Сознательное же творчество Е. относит к 16–17 годам. 17 лет Е. уехал в Москву”<sup>2</sup>.

1 Писатели современной эпохи: Библиографический словарь русских писателей XX века. Т. 1 / Под ред. Б. П. Козьмина. М., 1992. (Репринтное издание.) С. 122.

# Глава вторая

## “Всё за талант”

### (Есенин в Москве, 1912 — 1915)

**1** О своей московской юности Есенин в позднейших автобиографиях писал скупно и неохотно, предпочитая поскорее перейти к своим первым победам и успехам в Петрограде. “Я почти ничего не знал о его пребывании <...> в Москве, и большинство рассказов Есенина сводилось к детским годам, проведенным в родной рязанской деревне”, — вспоминал питерский приятель поэта М. Бабенчиков<sup>1</sup>. “Прямо из рязанских сел — в Питер” — так Есенин был склонен изображать начало своего стихотворного пути<sup>2</sup>.

Между тем московские годы сыграли едва ли не определяющую роль в его становлении как стихотворца. Явившись в Москву провинциальным подражателем Надсона, Сергей Есенин стремительно и успешно прошел здесь школу последователей И. Никитина и С. Дрожжина, попробовал себя в ролях поэта рабочего класса и смиренного толстовца, глубоко усвоил уроки Фета, а в Питер поехал уже обогащенный (кто захочет, скажет — отравленный) влиянием модернизма. Именно во второй половине своего московского периода поэт начал сознательно лепить собственный облик, на свой лад решая задачу, стоявшую перед всеми модернистами: “...найти сплав жизни и творчества, своего рода философский камень искусства <...> Слить жизнь и творчество воедино”<sup>3</sup>.

Вероятно, стремительной и непоследовательной смене есенинских масок способствовала сама Москва — ее эклектичный, складывающийся из разных осколков и в то же время удивительно цельный образ. О том,

1 Сергей Александрович Есенин в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1986. Т. 1. С. 239. (*Далее — Есенин в восп. совр.*)

2 Деев-Хомяковский Г. Правда о Есенине // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 147.

3 Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. М., 1997. Т. 4. С. 7.





Сергей Есенин. *Около 1913*

как могла восприниматься вторая столица приехавшим из провинции юношей, можно судить по ретроспективному описанию Москвы в рассказе Ивана Алексеевича Бунина “Чистый понедельник”: “За одним окном низко лежала вдали огромная картина заречной снежно-сизой Москвы; в другое, левее, была видна часть Кремля, напротив, как-то не в меру близко, белела слишком новая громада Христа Спасителя, в золотом куполе которого синеватыми пятнами отражались галки, вечно вившиеся вокруг него... “Странный город! — говорил я себе, думая об Охотном ряде, об Иверской, о Василии Блаженном. — Василий Блаженный — и Спас-на-Бору, итальянские соборы — и что-то киргизское в острях башен на кремлевских стенах...”

Контрасты во внешнем облике Москвы с контрастными изломами в характерах москвичей почти за век до этого соотнес любимый Есениным Константин Батюшков:



Сергей Есенин с отцом и дядей Иваном Никитичем  
*Фотография Г. А. Чижова. Москва. 13 июля 1913*



Александр Никитич Есенин — отец поэта  
1910-е

“Она являет редкие противоположности в строениях и нравах жителей. Здесь роскошь и нищета, изобилие и крайняя бедность, набожность и неверие, постоянство дедовских времен и ветреность невероятная, как враждебные стихии, в вечном несогласии, и составляют сие чудное, безобразное, исполинское *целое*, которое мы знаем под общим именем: *Москва*”<sup>1</sup>.

Красотой “странного”, “исполинского” города Есенину доводилось любоваться и раньше, когда в июне 1911 года он приезжал к отцу на каникулы. Теперь ему предстояло ощутить себя полноценным москвичом.

Прибыв в Москву между 11 и 15 июля 1912 года, поэт первоначально поселился у отца и поступил на работу конторщиком в мясную лавку купца Крылова. Александр Никитич служил в этой лавке приказчиком. Однако вскоре Сергей покинул отца и устроился работать в контору книгоиздательства “Культура”. Отношения между отцом и сыном установились неровные, как это будет в жизни Есенина почти всегда и со всеми. То они конфликтовали так, что дело дошло до “великой распри”, по выражению Есенина из письма к спас-клепиковскому другу Грише Панфилову от 16 июня 1913 года<sup>2</sup>, то сосуществовали вполне мирно, чаевничали и выручали один другого деньгами. Согласно воспоминаниям Н. Сардановского, первый литературный гонорар сын “целиком истратил на подарок своему отцу”<sup>3</sup>.

Времени, чтобы адаптироваться в Москве, Есенину понадобилось совсем немного. В августе 1912 года Сергей еще слегка растерянно признавался Панфилову: “Я тоже не читаю, не пишу пока, но думаю”<sup>4</sup>. Однако уже меньше чем через месяц он делился с другом замыслом новой стихотворной драмы: “Хочу писать “Пророка”, в котором буду клеймить позором слепую, увязшую в пороках толпу”<sup>5</sup>.

1 Батюшков К. Прогулка по Москве // Батюшков К. Опыты в стихах и прозе. М., 1978. С. 387.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 45.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 133.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 13.

5 Там же. С. 15.



Стремление юного поэта непременно встать в позу пророка показыва-ет, что “надсоновщина” по-прежнему казалась Есенину эстетически при-влекательной. В письме к Панфилову, отправленном в феврале или марте 1913 года, стесненный в средствах Есенин все же радостно сообщает дру-гу о своем свежем приобретении: “Я купил Надсона за 2 р. 25 к., как у Хи-трова, только краска коричневая”<sup>1</sup>. А написанное примерно тогда же есе-нинское стихотворение “У могилы” представляет собой очередную вари-ацию на надсоновские темы, и даже его заглавие скорее всего восходит к заглавию стихотворения Надсона “Над свежей могилой” (1879). Симпто-матично, что спустя многие годы, рассказывая И. Розанову о своем стремлении к поэтической самостоятельности, Есенин, по всей вероят-ности произвольно, воспользовался знаменитой формулой Надсона — “муки слова”: “С детства, — сообщал Есенин, — болел я “мукой слова”. Хотелось высказать свое и по-своему”<sup>2</sup>.

**2** В ноябре 1912 года Есенин писал Панфилову: “Гриша, в настоящее время я читаю Евангелие и нахожу очень много для меня нового... Христос для меня совершенство. Но я не так верую в него, как другие. Те веруют из страха: что будет после смерти. А я чисто и свято, как в че-ловека, одаренного светлым умом и благородною душою, как в образец в последовании любви к ближнему”<sup>3</sup>.

Эти не слишком оригинальные, подсказанные все той же “надсонов-щиной” горделивые рассуждения представляют собой тем не менее первое дошедшее до нас свидетельство Есенина о своих религиозных пережива-ниях, сомнениях и раздумьях. Чувствуется в процитированном фрагмен-те и воздействие примитивно понятого учения позднего Льва Толстого, ко-торым, судя по письму Есенина к Марии Бальзамовой от 9 февраля 1913 го-да, он на короткое время увлекся. В этом есенинском письме мимоходом упоминается его мимолетный приятель Исай Павлов, “по убеждениям сходный с нами (с Панфиловым и мною), последователь и ярый поклон-ник Толстого”<sup>4</sup>.

Об отношении к религии в позднейших автобиографиях Есенина, как правило, сообщаются весьма противоречивые сведения, зависящие от то-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 33.

2 Розанов И. Есенин о себе и других. С. 13.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 25.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 31.



Спас-Клепиковская второклассная учительская школа в 1910–1920-е годы  
Рисунок А. Е. Хитрова (с дарственной надписью Ю. Л. Прокушеву).  
1960-е

го, кем он хочет предстать перед читателем в данную минуту: закоренелым безбожником и смутьяном или же благостным тихоней, напитавшимся верой от самой Земли и от своих патриархальных родственников. В первом случае Есенин отрезает: “В бога верил мало. В церковь ходить не любил”<sup>1</sup>. Или разыгрывает простодушного собеседника: “С боженькой я давно не в ладах. Дед считал меня безбожником, крестился, когда меня видел. Как-то из озорства я отрезал кусочек деревянной иконы, чтобы разжечь самовар, — какой скандал был! Вся семья меня чуть не прокляла”<sup>2</sup>.

Во втором случае приводятся сомнительные сведения о дедушке-старобрядце и о детских странствиях с бабушкой по всем русским монастырям. “Есенин недаром вырос в раскольникчей семье, недаром с детства копировал образа новгородского письма (! — О. Л., М. С.), недаром слушал от своего деда-раскольника библейские легенды и каноны святых отцов, — со слов самого поэта делился с читателями в 1918 году доверчивый

1 Там же. С. 11.

2 Березарк И. Штрихи и встречи. Л., 1982. С. 46.

В. Львов-Рогачевский. — <...> Он учился в большом торговом селе Спас, где был древний храм Спаса, и ему казалось, что там, около родного Спаса, и родился маленький Иисус”<sup>1</sup>.

Скорее всего, в молодом Есенине, как и во многих подростках его возраста и темперамента, органично уживались тяга к вере и восхищение красотой церковной службы со скукой от долгой протяженности этой службы и с мальчишеским озорством. Е. Хитров, есенинский учитель, пишет, что “церковные службы и пение” будущий поэт “любил, хотя сам пел плохо”<sup>2</sup>. А. Чернов, есенинский соученик, вспоминал: “Нам вменялось в обязанность читать шестипсалмие в церкви во время всенощной по очереди. Сергей Есенин обычно сам не читал, а нанимал за две копейки своего товарища Тиранова”<sup>3</sup>. И. Розанову в 1920-х годах поэт рассказывал, сознательно или по привычке переживая то в ту, то в другую сторону: “В детстве были у меня очень резкие переходы: то полоса молитвенная, то *необычайного* озорства, вплоть до желания кощунствовать и богохульничать”<sup>4</sup>.

Возвращаясь к московскому периоду жизни Есенина, процитируем еще одно его письмо к Панфилову, относящееся к марту-апрелю 1913 года: “Генний для меня — человек слова и дела, как Христос. Все остальные, кроме Будды, представляют не что иное, как блудники, попавшие в пучину разврата. Разумеется, я имею симпатию к таким людям, как, например, Белинский, Надсон, Гаршин и Златовратский и др. Но как Пушкин, Лермонтов, Кольцов, Некрасов — я не признаю. Тебе, конечно, известны цинизм А. П<ушкина>, грубость и невежество М. Л<ермонтова>, ложь и хитрость А. К<ольцова>, лицемерие, азарт и карты и притеснение дворовых Н. Н<екрасова>, Гоголь — это настоящий апостол невежества, как и назвал его Б<елинский> в своем знаменитом письме <...> Когда-то ты мне писал о Бодлере и Кропоткине, этих подлецах, о которых мы с тобой поговорим после”<sup>5</sup>.

В следующем из дошедших до нас писем Есенина к Панфилову (от 23 апреля 1913 года) молодой человек высказался еще радикальнее: “Я человек, познавший Истину, я не хочу более носить клички христианина и крестьянина, к чему я буду унижать свое достоинство”<sup>6</sup>.

1 Львов-Рогачевский В. Поэты из народа // Рабочий мир. 1918. 7 июля. № 8. С. 10.

2 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 1. С. 27.

3 Жизнь Есенина... С. 37.

4 Розанов И. Есенин о себе и других. С. 21.

5 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 33—34.

6 Там же. С. 35.



Анна Изряднова. 1910-е

Легко усмотреть в приведенных отрывках неприятие модернизма (Бодлер, провозвестник декадентства, — “подлец”!), отказ от собственных крестьянских корней и, наконец, от христианства. Но, вероятно, правильнее будет понять эти агрессивные строки как обычное для юности усвоение через отрицание. Ведь именно в 1913 году три главные “козырные карты” биографического мифа раннего Есенина — модернизм, крестьянское происхождение, христианство — впервые одновременно оказались у него на руках.

Мы уже затрагивали тему есенинского отношения к христианству. О его приобщении к кругу поэтов

из народа поговорим чуть позже. Теперь же самое время сказать несколько слов об истоках интереса поэта к модернизму.

Кто и когда всерьез приохотил его к чтению символистов и последователей символизма? Этот вопрос остается и, по-видимому, навсегда останется открытым. Сам поэт в одной из автобиографий своим просветителем назвал некоего Клеменова: “Он ознакомил меня с новой литературой и объяснил, почему нужно кое в чем бояться классиков”<sup>1</sup>. Ничего о загадочном Клеменове, кроме того, что он единственный раз и мимоходом упоминается в есенинском письме к Панфилову, мы толком не знаем<sup>2</sup>. Зато доподлинно известно, что основополагающую для крестьянского извода русского модернизма книгу стихов Николая Клюева “Сосен перезвон” Есенин в 1913 году получил в подарок от своей возлюбленной — Анны Романовны Изрядновой. Книга эта надписана: “На память дорогому Сереже от А.”<sup>3</sup>. “В ней химическим фиолетовым карандашом крестиком отме-

1 Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 15.

2 Если не брать в расчет сведений, в 1920-х годах сообщенных Есениным Давиду Бурлюку. Здесь о “новой поэзии” ничего не говорится, но зато рассказано, как Клеменов учил молодого стихотворца “любить деревню, избы, коров; писать об эпосе земли и вечной поэме весеннего труда в полях” (цит. по: *Вдовин В.* Материалы к творческой биографии С. Есенина // *Вопросы литературы.* 1975. № 10. С. 238–239). Поистине, прозорливый наставник был (если был) Клеменов!

3 *Архипова Л.* Книжное собрание Государственного музея-заповедника С. А. Есенина // *Издания Есенина и о Есенине. Итоги. Открытия. Перспективы.* М., 2001. С. 223.

чены четыре стихотворения: “В златотканые дни сентября...”, “На песню, на сказку рассудок молчит...”, “Под вечер”, “Я надену черную рубаху...”<sup>1</sup>. Известно также, что Есенин, приходя в гости к Изрядновой, вел с ней и с ее родственниками продолжительные разговоры “о Блоке, Бальмонте и других современных поэтах”<sup>2</sup>.

Есенинское знакомство с Анной Изрядновой состоялось в марте 1913 года. После того как закрылось издательство “Культура”, юноша устроился в типографию Товарищества И. Д. Сытина, сначала в экспедицию, потом подчитчиком. Изряднова в это время работала у Сытина корректором. “...По внешнему виду на деревенского парня <он> похож не был, — вспоминала Анна Романовна свое первое впечатление от Есенина. — На нем был коричневый костюм, высокий накрахмаленный воротник и зеленый галстук. С золотыми кудрями он был кукольно красив”<sup>3</sup>. А вот куда менее романтический словесный портрет самой Изрядновой, извлеченный из полицейского отчета: “Лет 20, среднего роста, телосложения обыкновенного, темная шатенка, лицо круглое, брови темные, нос короткий, слегка вздернутый”<sup>4</sup>. В первой половине 1914 года Есенин вступил с Изрядновой в гражданский брак. 21 декабря этого же года у них родился сын Юрий.



Сергей Есенин (второй слева в верхнем ряду) среди работников типографии Товарищества И. Д. Сытина. На переднем плане (сидит) Анна Изряднова  
Москва. 1914

2 Там же.

3 Из мемуаров Надежды Изрядновой; цит. по: Летопись... Т. 1. 1895—1916. М., 2003. С. 178.

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 144.

5 Цит. по: Баранов В. Московские адреса Сергея Есенина. 1912—1916 гг. // О Русь, взмахни крылами. Есенинский сборник. Вып. 1. М., 1994. С. 143.





Москва. Тверская улица. Фотография начала XX в.

**З** Несмотря на то что, работая в сытинской типографии, Есенин уже вовсю интересовался модернистами и, в частности, рассказывал Н. Сардановскому о том, “как изящно оформлял свои рукописи модный в то время поэт Бальмонт”<sup>1</sup>, сфера его основных поэтических интересов все еще лежала в иной области.

Впрочем, от увлечения Надсоном к лету 1913 года Есенин уже сделал несколько осторожных шагов в сторону родного крестьянского сословия. Мы имеем в виду стихотворцев-самоучек, подвизавшихся в московском Суриковском литературно-музыкальном кружке.

<sup>1</sup> Сергей Есенин в стихах и в жизни. С. 53. Ср. с тем, что сообщал Есенин Розанову: “Из поэтов я рано узнал Пушкина и Фета. Со стихами Бальмонта познакомился гораздо позже, и Бальмонт не произвел на меня особенного впечатления” (*Розанов И.* Есенин о себе и других. С. 16). Возникает вопрос: если Бальмонт “не произвел” впечатления, зачем было тогда вообще упоминать его имя в беседе с Розановым? Ср. в рецензии Владимира Нарбута 1912 года на книгу стихов Павла Радимова, так же, как молодой Есенин, увлеченного изображением деревенской жизни: “Подражает П. Радимов и Фету, и И. Бунину, но больше всего, как и многие начинающие поэты в наше время, К. Д. Бальмонту” (*Нарбут В.* [Рец. на кн.:] Павел Радимов. Полевые псалмы. Стихи. Казань. 1912 // Современник. 1912. № 3. С. 338. Курсив наш. — О. Л., М. С.).



Этот поэтический кружок был официально утвержден весной 1905 года. В его названии отражается преемственная связь с группой поэтов-самоучек, объединившихся в 1872 году вокруг И. З. Сурикова<sup>1</sup>. Своего помещения “суриковцы” не имели. Собирались они на частных квартирах или в трактирах и ресторанах. (Не тогда ли Есенин пристрастился к заведениям подобного рода?) Устраивали литературные вечера, концерты, а также регулярные панихиды на могиле поэта-крестьянина Ивана Захаровича Сурикова на Пятницком кладбище. Вели активную издательскую деятельность. В состав кружка в разное время входили И. А. Белоусов, Г. Д. Деев-Хомяковский, С. Д. Дрожжин, Н. Д. Телешов, Ф. С. Шкулев и другие. Председателем совета кружка в есенинскую пору был С. Н. Кошкарров, присяжный поверенный, иногда печатавшийся под звучным псевдонимом Сергей Заревой. В письме к Н. П. Дружинину (ноябрь 1910 года) он достаточно объективно оценивал уровень образованности и даровитости большинства “суриковцев”: “Когда я слушал их разговоры, я прямо был поражен их невежеством! Мне показалось, что я приехал не в Москву, а в какое-то глухое село и попал в компанию волостных писарей или псаломщиков или немного лучше этих лиц!”<sup>2</sup>

Желая освежить затхлую атмосферу кружка, Кошкарров активно привлекал к участию в нем начинающих поэтов, отдавая особое предпочтение провинциалам. Естественно, одним из кошкарровских протеже стал Сергей Есенин, который, согласно воспоминаниям Деева-Хомяковского, на некоторое время даже поселился у главы “суриковцев”. В своих мемуарах В. Горшков позднее писал, что Кошкарров сразу же “расхвалил мальчишку, предсказал тому несомненную славу”<sup>3</sup>.

На первых порах Есенин держался несколько скованно. “Ничто, почти ничто не отличало его от поэтов-самоучек, певцов-горемык”<sup>4</sup>. Юноша подчеркнуто внимательно прислушивался к советам старших: Кошкаррова, Деева-Хомяковского и особенно Ивана Алексеевича Белоусова, с которым его познакомили в первой половине сентября 1913 года. “...Скромный белокурый мальчик, и до того робкий, что боится даже

1 См.: Шруба М. Литературные объединения Москвы и Петербурга. 1890–1917: Словарь. М., 2004. С. 237.

2 Цит. по: Золотницкий Д. Дрожжин и поэты деревни // История русской литературы. М.; Л., 1954. Т. 10. С. 762.

3 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 167. О деятельности суриковского кружка (с упоминанием об участии в нем Есенина) см. также апологетическую заметку: Лягин С. Суриковский литературно-музыкальный кружок // Друг народа. 1918. № 1. С. 3.

4 Клейнборт Л. Встречи: Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 169.

присесть на край стула, — стоит молча, потупившись, мнет в руках картузок”. Таким запомнился Есенин Белоусову<sup>1</sup>. “Слыхала ли ты про поэта Белоусова — друг Дрожжина, я с ним знаком, и он находит, что у меня талант, и талант истинный”. Так сообщал о своей встрече с Белоусовым сам Есенин в письме к Марии Бальзамовой в первой половине сентября 1913 года<sup>2</sup>.

“Работа в типографии и близость с “суриковцами”, многие из которых были настроены революционно, обострили внимание Е<сенина> к общественным вопросам. В числе 50 рабочих он подписал в марте 1913 <года> письмо к члену 4-й Гос<ударственной> думы Р. В. Малиновскому “пяти групп сознательных рабочих Замоскворецкого р-на г. Москвы”, в к<ото>ром заявлялось о солидарности моск<овских> рабочих с фракцией большевиков в их борьбе против ликвидаторов. В результате этой акции Е<сенин> оказался под негласным надзором полиции”<sup>3</sup>. В августе или сентябре 1913 года у него на квартире даже произвели обыск, но ничего предосудительного полиции обнаружить не удалось.

**4** 20—22 сентября 1913 года Есенин наконец-то подал документы в городской народный университет А. Л. Шанявского. Университет этот был открыт в 1908 году и имел два отделения. Есенина зачислили слушателем первого курса историко-философского цикла академического отделения. “Широкая программа преподавания, лучшие профессорские силы — все это привлекало сюда жаждущих знания со всех концов России”, — вспоминал университетский приятель поэта Д. Семеновский<sup>4</sup>. “...Преподава-

1 Цит. по: *Белоусов В.* Сергей Есенин... Ч. 1. С. 29. Очень трудно (если вообще возможно) в данном случае провести границу между подлинной робостью начинающего поэта перед мэтром и умелым ответом начинающего поэта на ожидания мэтра. Все же процитируем (не ручаясь за его подлинность) монолог маститого Федора Сологуба, воспроизведенный в мемуарах Георгия Иванова, изображающих петербургский период Есенина: “Смазливый такой, голубоглазый, смиренный... <...> Потееет от почтительности, сидит на кончике стула — каждую минуту готов вскочить. Подлизывается напрапалу: “Ах, Федор Кузьмич!.. Ох, Федор Кузьмич!..” И все это чистейшей воды притворство! Лыстит, а про себя думает: ублажу старого хрена — пристроит меня в печать. Ну, меня не проведешь, — я этого рязанского теленка сразу за ушко да на солнышко... прошупал хорошенько его фальшивую бархатную шкурку и обнажил под шкуркой настоящую суть: адское самомнение и желание прославиться во что бы то ни стало” (*Иванов Г.* Сочинения: В 3 т. М., 1994. Т. 3. С. 178).

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 49.

3 *Азадовский К. М.* Есенин Сергей Александрович // Русские писатели. 1800—1917: Биографический словарь. М., 1992. Т. 2. С. 241.

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 151.

ние велось на сравнительно высоком уровне <...> В этом университете часто бывали поэтические вечера (чего нельзя было себе и представить в Московском университете)”, — вторил Семеновскому И. Березарк<sup>1</sup>.

О том, как Есенин, студент университета Шаняевского, с увлечением принялся восполнять пробелы в своих знаниях, рассказывал Б. Сорокин: “В большой аудитории садимся рядом и слушаем лекцию профессора Айхенвальда о поэтах пушкинской плеяды. Он почти полностью цитирует высказывание Белинского о Баратынском. Склонив голову, Есенин записывает отдельные места лекции. Я сижу рядом с ним и вижу, как его рука с карандашом бежит по листу тетради: “Из всех поэтов, появившихся вместе с Пушкиным, первое место, бесспорно, принадлежит Баратынскому”. Он кладет карандаш и, сжав губы, внимательно слушает. После лекции идет на первый этаж. Остановившись на лестнице, Есенин говорит: “Надо еще раз почитать Баратынского””<sup>2</sup>. Лекции вместе с Есениным иногда посещала Анна Изряднова, которая позднее сетовала в своих воспоминаниях: “Все свободное время читал, жалованье тратил на книги, журналы, нисколько не думая, как жить”<sup>3</sup>.

Согласно мемуарам Я. Трепалина, в это время поэт пребывал в радужном настроении: в своих письмах из Москвы “Сергей писал, что имеет интересную работу в типографии Сытина, с увлечением занимается в народном университете Шаняевского, добился успехов в опубликовании стихов и что у него заманчивые перспективы”<sup>4</sup>. Однако в письме Есенина к Панфилову,



Дмитрий Семёновский. 1920-е

- 1 Березарк И. Штрихи и встречи. С. 43. Подробнее об этом учебном заведении см., например: Московский городской народный университет имени А. Л. Шаняевского. М., 1914.
- 2 Сорокин Б. Хранимое памятью (Встречи с Есениным) // Путь Ленина (Ртищево). 1959. № 117.
- 3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 144.
- 4 Трепалин Я. Спас-клепиковские встречи // Сергей Есенин: Исследования. Мемуары. Выступления. М., 1967. С. 231.

отправленном в сентябре 1913 года, господствует совершенно иное настроение: “Живется мне тоже здесь незавидно. Думаю во что бы то ни стало удрать в Питер. Москва — это бездушный город, и все, кто рвется к солнцу и свету, большей частью бегут из нее”<sup>1</sup>. Чем объяснить несоответствие между очевидным подъемом в есенинской жизни и мрачным тоном его письма? Почему поэтом овладело страстное желание бежать вон из Москвы? Сам он был склонен оправдывать свой порыв убожеством московской литературной жизни.

Продолжим цитировать есенинское письмо к Панфилову: “Москва не есть двигатель литературного развития, а она всем пользуется готовым из Петербурга. Здесь нет ни одного журнала. Положительно ни одного. Есть, но которые только годны на помойку, вроде “Вокруг света”, “Огонек”. Люди здесь большей частью волки из корысти”<sup>2</sup>. Сходно Есенин высказался в письме к Марии Бальзамовой, которое датируется тем же сентябрем: “Сейчас в Москве из литераторов никого нет”<sup>3</sup>.

Но ведь внутренне молодой стихотворец не мог не сознавать, что описанная им мрачная картина имеет мало отношения к действительности. Московская литературная жизнь в 1913 году, что называется, была ключом. Достаточно сказать, что из поэтов-модернистов постсимволистского, то есть приблизительно есенинского, поколения в Москве в это время жили и работали Николай Асеев, Сергей Бобров, Надежда Львова, Владимир Маяковский, Борис Пастернак, Борис Садовской, Тимофей Ящук, во многом близкая юному Есенину своими устремлениями Любовь Столица, Александр Тиняков, Марина Цветаева, Вадим Шершеневич... А главное — именно в Москве обосновался едва ли не самый авторитетный поэт-символист того времени Валерий Яковлевич Брюсов, к которому принято было ходить на поклон и спрашивать благословения. Нелишне будет напомнить, что в 1912–1913 годах Брюсов активно пропагандировал стихи Николая Клюева.

Однако Есенин к Брюсову не пошел, вероятно, потому, что о такой возможности просто не думал. Он мучительно искал и не находил *своего* места на совсем иных участках пестрой литературной карты Москвы. Две главные причины неудач Есенина, как водится, отчасти противоположны.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 50.

2 Там же.

3 Там же. С. 49.



Валерий Брюсов. 1900-е

Первая причина: молодой поэт все еще плохо разбирался в тонкостях московской журнальной и групповой политики. Выразительный факт: журнал “Огонек”, упомянутый в есенинском письме к Панфилову как московский, на самом деле выпускался в Петербурге. Даже “из шанявцев-литераторов Есенин, по его словам, никого не знал”<sup>1</sup>. И в дальнейшем в Москве ему приходилось довольствоваться обществом начинающего стихотворца Д. Семеновского, с которым Есенин познакомился в феврале 1915 года, и еще менее известного литератора Николая Колоколова: “Мои приятели <Есенин и Колоколов> относились друг к другу критически, они придирчиво выискивали один у другого неудачные строки, неточные слова, чужие интонации. Оба горячились, наускаивали друг на друга, как два молодых петуха, готовые подраться!”<sup>2</sup> Когда в июле 1914 года Есенин отдыхал в Крыму, он и думать не

1 Семеновский Д. Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 152.

2 Там же С. 154. В это же время в Петербурге группа рафинированных молодых стихотворцев “Цех поэтов” (А. Ахматова, О. Мандельштам, Г. Иванов, М. Зенкевич и др.) регулярно собиралась и обсуждала стихи друг друга под патронажем Н. Гумилева и С. Городецкого. “Весь круг читал каждый раз, читали по очереди, после каждого чтения — стихи обсуждались, как по существу, так и в частности. Эту способность экспромтной критики цеховики развили в себе в высшей степени — особенно Гумилев” (Гиппиус В. Цех поэтов // Ахматова А. Десятые годы. М., 1989. С. 82–83).



Николай Колоколов, Сергей Есенин,  
Иван Филиппенко. Москва. 1914–1915 (?)

мог о том, чтобы остановиться в гостеприимном доме Максимилиана Волошина в Коктебеле, как это делали многие есенинские сверстники-модернисты<sup>1</sup>.

Второй причиной литературных неудач Есенина в Москве стало отсутствие четкого литературного плана. К осени 1913 года он оказался в положении слишком торопливого ученика, успевшего набросать несколько черновиков, но ни одного не закончившего. Есенин взялся играть сразу несколько поэтических ролей, но никакую не превратил в целостный образ. В оставшиеся московские годы он будет выбирать между этими ролями — и, выбрав наконец одну, отправится покорять Петербург.

Чтобы там все сразу сделать начисто.

К роли пролетарского поэта-трибуна Есенина подталкивала прежде всего работа у Сытина. 23 сентября 1913 года он, по-видимому, принял участие в забастовке рабочих типографии. В конце октября Московское охранное отделение завело на Есенина журнал наружного наблюдения № 573. В этом журнале он проходил под кличкой Набор. Ученической попыткой освоить образность агитационной пролетарской поэзии стало стихотворение Есенина “Кузнец”, опубликованное в большевистской газете “Путь правды” от 15 мая 1914 года:

*...Куй, кузнец, рази ударом,  
Пусть с лица струится пот.  
Зажигай сердца пожаром,  
Прочь от горя и невзгод!*

1 Нужно признать, что и литературная Москва довольно долго оставалась равнодушной к Есенину. Так, в июне 1915 года, в разгар петроградских успехов поэта, в почтовом ящике московского журнальчика “Красный смех” за подписью “Фук и Дид” был напечатан глумливый ответ на присланное Есениным стихотворение о войне: “Ты гори, моя зарница! / Не страшен мне вражий стан. / Зацелует баловница, / Как куплю ей сарафан”. Сия аллегория должна, очевидно, изображать домашний очаг, ставший “вражьем станом” и требующий для умиротворения сарафан? Действительно, военный мотив!” (Красный смех. 1915. № 6. С. 7).



Кл. наблюдёнія "Наблюдё"

Установка: Осеннъ Сергій Алекс.  
Самаровъ 1911.

**ПРИМѢТЫ:** *мѣта*      *ростъ*      *тѣлосложене*  
*цвѣтъ* *волосъ*      *лицо*      *брови*  
*носъ*      *борода*      *усы*  
*походка*      *типъ*      *особ. примѣты*

### Одѣтъ:

Журнал наблюдения, заведенный Московской охранкой на С. Есенина  
Титульный лист. 1913

Закали свои порывы,  
Преврати порывы в сталь  
И лети мечтой игривой  
Ты в заоблачную даль.  
Там вдали, за черной тучей,  
За порогом хмурых дней,  
Реет солнца блеск могучий  
Над равнинами полей.  
Тонут пастбища и нивы  
В голубом сияньи дня,  
И над пашнею счастливо  
Созревают зеленыя...



Здесь обращает на себя внимание не только неуместное, как будто из батюшковской или пушкинской эротической поэзии позаимствованное, словосочетание “мечтой игривой”, но и сельский идиллический пейзаж, к которому стремится эта *игривая мечта*. Образ поэта-крестьянина, ненавистника города, певца сельских радостей и сельских невзгод, с особым усердием отыгрывается Есениным в 1913—1915 годах. “Здесь много садов, оранжерей, но что они в сравнении с красотами родимых полей и лесов”, — писал поэт 24 сентября 1913 года Григорию Панфилову<sup>1</sup>. Дмитрий Семеновский приводит в своих мемуарах такую есенинскую фразу: “Я теперь окончательно решил, что буду писать только о деревенской Руси”<sup>2</sup>. Не о России, заметим, а именно о Руси.



Сергей Есенин. Москва. Январь 1914

До поры до времени решение писать “только о деревенской Руси” тесно увязывалось в сознании Есенина с деятельностью Суриковского кружка. Поэтому он рьяно включился в работу “суриковцев”. “Казалось нам, что из Есенина выйдет не только хороший поэт, но и хороший общественник. В годы 1913—1914-й он был чрезвычайно близок кружковой общественной работе” (Г. Деев-Хомяковский)<sup>3</sup>. В январе-феврале 1915 года Есенин даже служил секретарем журнала Суриковского кружка “Друг народа”.

Впрочем, в его стихах этого времени влияние “суриковцев” обернулось не столько “скорбной и унылой музой И. С. Никитина, И. З. Сурикова, С. Д. Дрожжина”<sup>4</sup>, сколько, наоборот, залихватски веселой музой безвестных авторов частушек и бодрых народных песен<sup>5</sup>. По неопытно-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 53.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 153.

3 Там же. С. 148.

4 Азадовский К. М. Есенин Сергей Александрович... С. 241.

5 Ср. в выступлении Сергея Городецкого на вечере памяти Есенина 21 февраля 1926 года: “Суриковские кружковцы по следам своего учителя пели нудную, полудеревенскую песенку; когда пришел к ним Есенин, он открыл им новый мир, потому что он принес синтез старой деревенской красоты с новой задорной, озорной частушкой” (Городецкий С. [Выступление на вечере памяти С. Есенина...] С. 43).

ти небрежливо пользовался юный Есенин “народными”, диалектными словечками:

*За ухабины степные  
Мчусь я лентой пустырей.  
Эй вы, соколы родные,  
Выносите поскорей!  
Низкорослая слободка  
В повечерешнем дыму.  
Заждалась меня красотка  
В чародейном терему.*

*Светит в темень позолотой  
Размалевана дуга.  
Ой вы, санки-самолеты,  
Пуховитые снега!*

(“Ямщик”, 1914?)

**5** Даже самые непритязательные стихотворения Сергея Есенина 1914–1915 годов уже ощутимо окрашены влиянием символизма: например, “чародейные терема” попали в его стихи не столько из словаря народных сказок и песен, сколько из словаря символистов (вспомним хотя бы зачин стихотворения Федора Сологуба 1897 года “Чародейный плат на плечи...”). Следы прилежного усвоения символистской концепции двоемирия и символистского тяготения к многозначной и обобщенной образности можно обнаружить в, казалось бы, самых неожиданных фрагментах стихов Есенина этого времени. Например, в финале его перевода из Тараса Шевченко:

*А там все лес, и все поля,  
И степь, и горы за Днепром...  
И в небе темно-голубом  
Сам Бог витает над селом.*

(“Село”, 1914)

В оригинале строка “И в небе темно-голубом...” отсутствует; ее символистский колорит скорее всего внесен переводчиком<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Наблюдение Р. Г. Лейбова. У Шевченко: “А там і ліс, і ліс, і поле, / І сині гори за Дніпром, / Сам Бог витає над селом”.



Сергей Есенин (отмечен стрелкой) на занятиях кружка самообразования работников типографии Товарищества И. Д. Сытина. Первая справа во втором ряду — Анна Изряднова  
Москва. 1914

Можно также вспомнить есенинские агитационные стихи, написанные в связи с начавшейся в августе 1914 года Первой мировой войной. Религиозные метафоры здесь явно навеяны младшими символистами:

*Грянул гром. Чашка неба расколота.  
Разорвались тучи тесные.  
На подвесках из легкого золота  
Закачались лампадки небесные.  
Отворили ангелы окно высокое,  
Видят — умирает тучка безглавая,  
А с запада, как лента широкая,  
Подымается заря кровавая.  
Догадались слуги Божии,  
Что недаром земля просыпается,  
Видно, мол, немцы негожие  
Войной на мужика подымаются...*

(“Богатырский посвист”, 1914)

В экспериментальном есенинском “Сонете” особенно отчетливо слышится влияние Блока, и в частности его *лунных* “Стихов о Прекрасной Даме”<sup>1</sup>. Этот сонет Есенин опубликовал лишь однажды (вероятно, сознавая степень его подражательности) — в февральском номере казанского журнала “Жизнь” за 1915 год:

*Я плакал на заре, когда померкли дали,  
Когда стелила ночь росистую постель,  
И с шепотом волны рыданья замирали,  
И где-то вдалеке им вторила свирель.  
Сказала мне волна: “Напрасно мы тоскуем”, —  
И, сбросив свой покров, зарылась в берега,  
А бледный серп луны холодным поцелуем  
С улыбкой застудил мне слезы в жемчуга.  
И я принес тебе, царевне ясноокой,  
Кораллы слез моих печали одинокой  
И нежную вуаль из пенности волны.  
Но сердце хмельное любви моей не радо...  
Отдай же мне за все, чего тебе не надо,  
Отдай мне поцелуй за поцелуй луны.*

Не только поэтика символизма, но и символистская концепция жизнестроительства уже оказывает существенное воздействие на молодого Есенина. Едва ли не впервые он всерьез задумывается о своем внешнем облике: теперь он хочет выглядеть *поэтом деревенской Руси*. Анне Изрядновой, как мы помним, Есенин приглянулся в коричневом костюме и зеленом галстуке. Н. Ливкин портретирует его “в синей косоворотке”<sup>2</sup>. Характерный эпизод — Есенин изображает сельского парня в городском костюме — запомнился Д. Семеновскому: “Он дурачился, делал вид, что хочет кончиком галстука утереть нос, сочинял озорные частушки”<sup>3</sup>.

1 Подробнее о лунной символике этих стихов см.: *Магомедова Д.* Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. С. 16–24.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 164.

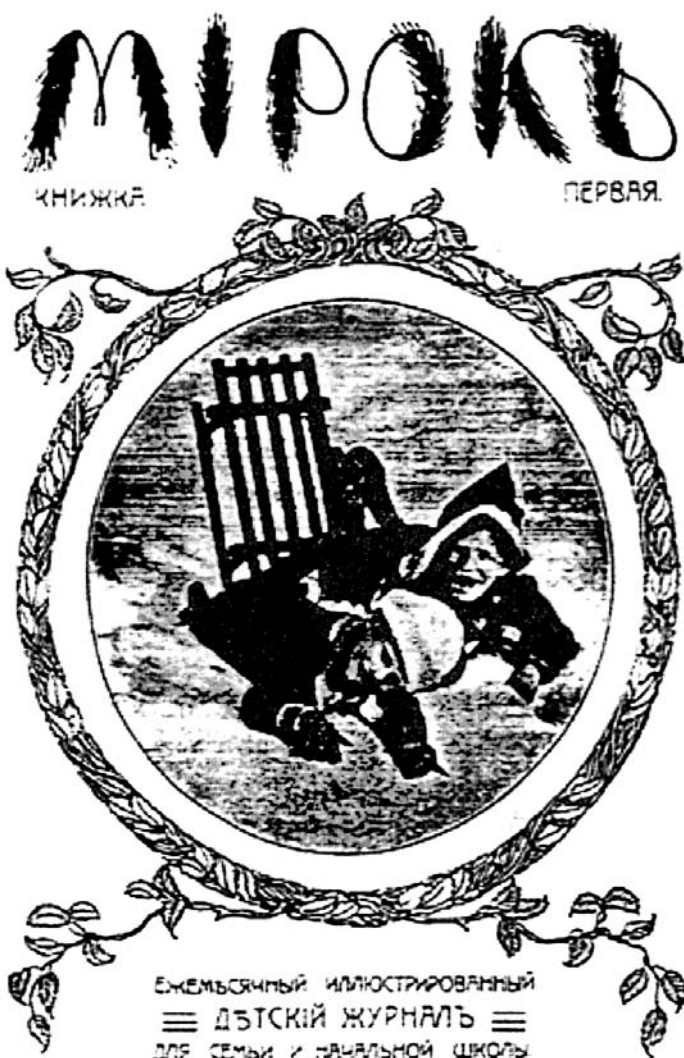
3 Там же. С. 158. Если верить В. Катаеву, то к сходному балаганному приему Есенин прибегнул в 1925 году у Николая Асеева: “Его глаза стали светиться опасной, слишком яркой синевой. На щечках вспыхнул девичий румянец. Зубы стиснулись. Он томно вздохнул, потянул носом и капризно сказал:

— Беда, хочется вытереть нос, да забыл дома носовой платок.

<...> Его голубые глаза остановились на белоснежной скатерти, и я понял, что сейчас произойдет нечто непоправимое. К сожалению, оно произошло” (*Катаев В.* Алмазный мой венец // *Катаев В.* Трава забвения. М., 1999. С. 119).



Годъ XIII издамiя.



Обложка московского журнала “Мирок”  
(1914. № 1, январь)

## Береза.

Бѣлая береза  
Подъ моимъ окномъ  
Принакрылась снѣгомъ  
Точно серебромъ.

На пушистыхъ вѣткахъ  
Снѣжную кѣймой  
Распустились кисти  
Бѣлой бахромой.

И стоитъ береза  
Въ сонной тишинѣ,  
И горятъ снѣжинки  
Въ золотомъ огнѣ.

А заря, лѣнливо  
Обходя кругомъ,  
Обсыпаетъ вѣтки  
Новымъ серебромъ.

Первое известное выступление С. Есенина в печати — публикация стихотворения “Береза” в журнале “Мирок” (1914. № 1, январь)

своим жизненным руководителем поэта-символиста Федора Сологуба, Есенин с удивительной откровенностью, хоть и несколько рисуясь, обнажает перед Бальзамовой едва ли не основное свойство собственной личности: отсутствие подлинного нравственного стержня, позволяющее примерять на себя любые маски в стремлении во что бы то ни стало полнее и эффектнее выявить разнообразные грани своего таланта. С указания на эту есенинскую черту многие годы спустя начал воспоминания о поэте хорошо его знавший Сергей Городецкий: “Есенин подчинил всю свою жизнь писанию стихов. Для него не было никаких ценностей в жизни, кроме его стихов”<sup>3</sup>.

“Мое я — это позор личности, — пишет Есенин Бальзамовой. — Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту, и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеренным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека — у меня... <...>

1 Жизнь Есенина... С. 49.

2 *Березарк И.* Штрихи и встречи. С. 43.

3 *Городецкий С.* О Сергее Есенине: Воспоминания // Новый мир. 1926. № 2. С. 137.

*Хулу над миром я поставлю  
И соблазняя — соблазню.*

Эта сологубовщина — мой девиз<sup>1</sup>.

Впрочем, и к этому признанию следует отнести с определенной осторожностью — как к очередному есенинскому актерскому монологу.

Портрет молодого московского поэта будет непростительно обеднен, если мы не отметим те его черты, которые кажутся нам наиболее органичными, неизменно притягивавшими к Есенину союзников и просто сочувствующих. В полной мере эти черты проявились в первом опубликованном есенинском стихотворении “Береза”. Оно появилось в январском номере московского детского журнала “Мирок” за 1914 год под псевдонимом “Аристон”<sup>2</sup>:

*Белая береза  
Под моим окном  
Принакрылась снегом,  
Точно серебром.*

*На пушистых ветках  
Снежною каймой  
Распустились кисти  
Белой бахромой.*

*И стоит береза  
В сонной тишине,  
И горят снежинки  
В золотом огне.*

*А заря, лениво  
Обходя кругом,  
Обсыпает ветки  
Новым серебром.*

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 59–60. Есенин неточно цитировал строки из стихотворения Сологуба “Когда я в бурном море плавал...” (1902).

2 Аристон — механический музыкальный инструмент, на котором при помощи вращаемых пружиной круглых картонных пластинок с вырезанными продолговатыми отверстиями разной величины исполнялись музыкальные пьесы. Подробнее о есенинском псевдониме см.: Кошечкин С. “Псевдоним мой “Аристон”” // Смена. 1976. № 23.



Сергей Есенин с друзьями юности (предположительно с Егорием (Георгием) Пылаевым и Валерианом Наумовым) Фотография И. Д. Данилова. Москва. Январь 1914

Э. Б. Мекшем было замечено, что это стихотворение восходит к “Печальной березе...” (1842) Афанасия Фета<sup>1</sup>, которого Есенин, по его собственному признанию, узнал и полюбил раньше всех других поэтов<sup>2</sup>:

*Печальная береза  
У моего окна,  
И прихотью мороза  
Разубрана она<sup>3</sup>.*

В “фетовском” ключе в 1914 году было написано еще несколько стихотворений раннего Есенина, из числа самых лучших, позднее вошедших в учебники и хрестоматии:

*Еду. Тихо. Слышны звоны  
Под копытом на снегу,  
Только серые вороны  
Расшумелись на лугу. (“Пороша”)*

*Скрылась за рекою  
Белая луна,  
Звонко побежала  
Резвая волна. (“Пасхальный благовест”)*

*У плетня заросшая крапива  
Обрядилась ярким перламутром  
И, качаясь, шепчет шаловливо:  
“С добрым утром!” (“С добрым утром!”)*

1 Мекш Э. Сергей Есенин в контексте русской литературы. Рига, 1989. С. 7.

2 Розанов И. Есенин о себе и других. С. 16.

3 Переклички есенинской “Белой березы...” с еще одним стихотворением Фета, хрестоматийной “Чудной картиной...”, были отмечены М. Л. Гаспаровым (Гаспаров М. Л. Русские стихи 1890–1925-х годов в комментариях. М., 1993. С. 229). Отметим, что замена в есенинском стихотворении трехстопного ямба (которым написано стихотворение Фета “Печальная береза...”) трехстопным хореем могла опираться как раз на трехстопный хорей фетовской же “Чудной картины...” (подсказано нам Г. А. Левинтоном).

Ни социальных проблем, ни диалектизмов, ни многозначительных христианских символов эти стихотворения не содержали. В них просто и изящно, предельно экономными средствами изображались среднерусские пейзажи и ландшафты. В последующие годы, вплоть до самых поздних, в кризисные периоды Есенин неизменно будет возвращаться к своей “фетовской” манере и создавать подряд по пять, шесть, восемь запоминающихся, стройных стихотворений-описаний. В таких стихотворениях недоброжелательный по отношению к Есенину Тынянов<sup>1</sup> усматривал выравнивание “лирики по линии простой, исконной эмоции”<sup>2</sup>.

**6** В 1914–1915 годах произошло несколько событий, словно нарочно призванных ослабить связь Есенина с Москвой, Спас-Клепиками и Константиновым.

25 февраля 1914 года от туберкулеза умер Григорий Панфилов, которого в отчаянном письме к Бальзамовой от 10 декабря 1913 года Есенин, звавший о болезни друга, называет “светочем” своей жизни<sup>3</sup>. Уже после смерти сына отец Панфилова со скрытым упреком писал Есенину: “Я прихожу в 6 часов вечера, первым его вопросом было: “А что, папа, от Сережи письма нет?” Я отвечаю — нет. “Жаль, говорит, что я от него ответа не дождусь. А журнал-то прислал?” Я сказал — нет. “Скверно — повсюду неудача””<sup>4</sup>.

В декабре 1914 года юноша “бросает работу и отдается весь стихам, пишет целыми днями”<sup>5</sup>. В январе-феврале 1915 года Есенин, находясь в должности секретаря журнала Суриковского кружка “Друг народа”, “с жаром готовил” его первый выпуск<sup>6</sup>. Однако стремление Есенина и второго редактора журнала Семена Фомина отсечь от “Друга народа” графоманов и осторожно повернуть журнал в русло исканий новой литературы, как и следовало ожидать, не нашло ни малейшего понимания у ста-

1 Ср. в мемуарах Ю. Г. Оксмана о себе и о молодом Тынянове: “Мы не любили Есенина, он казался нам несколько банальным и чуть-чуть ряженым” (цит. по: Чудакова М. О., Тоддес Е. А. Тынянов в воспоминаниях современника // Тыняновский сборник. Первые тыняновские чтения. Рига, 1984. С. 94–95).

2 Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. М., 1977. С. 171.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 55. Едва ли не последняя невольная дань Есенина “надсоновщине”: “светоч” — одно из самых употребительных существительных в словаре гражданской лирики этого поэта.

4 Цит. по: Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 193.

5 Изряднова А. Воспоминания... С. 145. Речь идет о работе Есенина корректором в типографии торгового дома “Д. Чернышев и Н. Кобельков”. От Сытина поэт ушел еще в середине мая 1914 года.

6 Дев-Хомяковский Г. Правда о Есенине... С. 149.

рейшин Суриковского кружка. На одном из его заседаний вспыхнул горячий спор, в ходе которого Кошкарлов позволил себе личные выпады в адрес Фомина. В результате 8 февраля 1915 года Есенин заявил о своем выходе из числа действительных членов Суриковского кружка.

Ровно через месяц, 8 марта, он оставляет гражданскую жену с малолетним сыном, бросает, так и не окончив, университет Шаняевского и выезжает из Москвы в Петроград. К этому времени Есенин окончательно выбрал для себя амплу крестьянского самородка, интуитивно заговорившего на языке младосимволистов, отбросив другие полусыгранные в Москве роли.

В биографическом словаре Б. Козьмина весь московский период поэта уместился в несколько кратких и неточных строк: “17 лет Е. уехал в М. и поступил в ун-т им. Шаняевского, где пробыл всего 1 1/2 года и снова уехал в деревню”<sup>1</sup>.

1 Писатели современной эпохи... С. 122.





Сергей Есенин  
*Март–апрель 1915. Фрагмент групповой фотографии*

# Глава третья

## Есенин завоевывает Петроград (1915)

Утром 9 марта 1915 года Сергей Есенин прибыл в Петроград. План своих дальнейших действий он, похоже, выработал еще в Москве. «...Прямо с вокзала <молодой стихотворец> отправился к Блоку, — думал к Сергею Городецкому, да потерял адрес», — со слов самого Есенина сообщала читателям журнала «Голос жизни» Зинаида Гиппиус<sup>1</sup>.

Понятно, почему первым номером в есенинском списке шел Сергей Городецкий, автор прославленной книги стихов «Ярь» (1907), истовый поборник «старославянской мифологии и старорусских верований»<sup>2</sup>, да и вообще всего русского и деревенского. «Необычайная любовь Сергея Городецкого к древней Руси, его привязанность к неведомым медвежьим углам родины и соболезнавание обиженным судьбою — роднят автора «Яри» с певцами, вышедшими непосредственно из глубин народных», — писал о Городецком Владимир Нарбут в 1913 году<sup>3</sup>. «Для меня вершиной достижений являлось слияние народной поэзии с литературой в форме предельного раскрытия символов, которое есть мифотворчество в терминологии Вяч. Иванова». Так сам Городецкий ретроспективно формулировал свою творческую программу 1910-х годов<sup>4</sup>.

«...Мне Есенин сказал, что только прочитав мою «Ярь», он *узнал*, что можно *так* писать стихи, что и он поэт, что наш общий тогда язык и обр-азность — уже литературное искусство», — писал Городецкий в первом

1 Роман Аренский [Гиппиус З. Н.] Земля и камень // Голос жизни. 1915. № 17. С. 12.

2 Брюсов В. Среди стихов. 1894–1924. М., 1990. С. 224.

3 Нарбут В. [Рец. на кн.:] Сергей Городецкий. Ива: Пятая книга стихов. СПб.: К-во «Шиповник», 1913 // Вестник Европы. 1913. № 4. С. 387.

4 Цит. по: Неизвестные письма Н. С. Гумилева // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. 1987. Т. 46. № 1. С. 71.



Петроград. Знаменская площадь и Николаевский вокзал  
1910-е

варианте своих воспоминаний о Есенине<sup>1</sup>. Еще больше тогдашним устремлениям молодого поэта соответствовал пафос книги стихов Городецкого “Русь” (1910), специально предназначенной для народного чтения<sup>2</sup>.

Но почему вторым номером в есенинском перечне значился Александр Блок, в отличие от Городецкого никогда не промышлявший стилизаторскими, псевдонародными виршами?

Ответить на этот вопрос нетрудно. В данном случае Есенин шел по уже проторенному пути: за восемь лет до него с обращения к Блоку начал свою громкую литературную карьеру крестьянский поэт Николай Клюев. В октябре 1907 года он отправил автору “Нечаянной радости” письмо со стихами

- 1 *Городецкий С.* О Сергее Есенине... С. 138. Курсив наш. — *О. Л., М. С.* Из второго варианта, опубликованного в 1965 году, цитируемый фрагмент был Городецким исключен. Приведенная реплика Есенина напрашивается на сопоставление с дарственной надписью, которую в 1913 году сделал Городецкому на футуристическом сборнике “Садок судей, II” Велимир Хлебников: “Первому, воскликнувшему “Мы ведь можем, можем, можем!” одно лето носивший за пазухой “Ярь”...” (цит. по: *Тименчик Р.* Городецкий Сергей Митрофанович // *Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь.* М., 1989. Т. 1. С. 639).
- 2 В модернистской среде “Русь” была принята более чем сдержанно. “Не думал я, что так легко, и небрежно, и поверхностно ты отнесешься к великой задаче внушить *народу* несколько легких намеков. Ведь я-то верил в тебя не на шутку, и не таким народным певцом рисовала мне тебя моя влюбленная мечта”, — писал Городецкому Вячеслав Иванов (Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1982 // *Литературное наследство.* Т. 92. Кн. 3. С. 352).



Александр Блок. 1916

и с пожеланием: “...если они годны для печати, то потрудиться поместить их в какой-нибудь журнал”<sup>1</sup>. Блок не только “потрудились” продвинуть клюевские стихи в печать, но и сочувственно процитировал одно из писем своего корреспондента в статье “Литературные итоги 1907 года”, снабдив это письмо собственным выводом: “Так, как написано в этом письме, обстоит дело в России, которую мы видим из окна вагона железной дороги, из-за забора помещичьего сада да с пахучих клеверных полей, которые еще А. А. Фет любил обходить в прохладные вечера, “минуя деревни””<sup>2</sup>.

Фигура Клюева с его крестьянским происхождением, религиозными исканиями и изощренной поэтической манерой идеально вписалась в ландшафт модернистской литературы того времени. Именно тогда в произведениях символистов, в первую очередь Андрея Белого и Александра Блока, “традиционная тема русской природы и русской деревни отступила на второй план, создав дальний фон темной таинственности и загадочности, откуда предстоит выступить еще не сказавшему своего слова русскому народу”<sup>3</sup>. “Крестьянство есть христианство, а может быть, и наоборот: христианство есть крестьянство”. Эта броская формула признанного наставника младшего поколения модернистов Дмитрия Сергеевича Мережковского (Клюева не любившего), пусть и полемически приписанная им Достоевскому<sup>4</sup>, таила в себе заряд привлекательности для очень и очень многих.

“Христос среди нас”. Такие блоковские настроения отразило письмо, посланное жене Сергея Городецкого Анне 7 декабря 1911 года<sup>5</sup>. В дальнейшем автор “Стихов о Прекрасной Даме” все же стал относиться к Клюеву

1 *Клюев И.* Письма к Александру Блоку: 1907–1915. М., 2003. С. 111.

2 *Блок А.* Собрание сочинений: В 8 т. Т. 5. М.; Л., 1962. С. 214–215. Фрагмент еще одного письма Клюева Блок вставил в свою статью “Стихия и культура” (1908).

3 *Гаспаров М.* Поэтика “серебряного века” // Русская поэзия серебряного века. 1890–1917. Антология. М., 1993. С. 11.

4 *Мережковский Д.* Пророк русской революции (К юбилею Достоевского) // *Мережковский Д.* В тихом омуте. Статьи и исследования разных лет. М., 1991. С. 312.

5 Александр Блок: Новые материалы и исследования. М., 1981 (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 2). С. 57.

более настороженно. “Ведь вот иногда в нем что-то словно ангельское, а иногда это просто хитрый мужичонка”, — говорил Блок о Клюеве Василию Гиппиусу осенью 1913 года<sup>1</sup>. Однако оживленный обмен письмами между Клюевым и Блоком продолжился, причем Блок в эпистолярном диалоге с крестьянским поэтом ощущал себя “кающимся дворянином”<sup>2</sup>, а Клюев умело чередовал наставления и обличения общего порядка с вполне конкретными, бытовыми просьбами о денежной помощи и об устройстве своих стихов в петербургские журналы и альманахи.

Трудно предположить, что Есенин к началу марта 1915 года ничего не знал о клюевских контактах с Блоком: судьбой Клюева он, без сомнения, интересовался живо и ревниво<sup>3</sup>. Для современников же параллель между вступлением Клюева и Есенина в мир большой литературы через посредничество Блока была весьма отчетливой. Так, Зинаида Гиппиус в статье “Судьба Есениных” язвительно назвала Клюева “заводчиком” крестьянских поэтов — визитеров к Блоку<sup>4</sup>. А Георгий Адамович даже “вспомнил” в своей статье о Есенине, что молодого стихотворца, в первый раз явившегося к Блоку, “сопровождал Клюев”<sup>5</sup>.

Но это было не так. Есенин пришел один, и Блок принял его не сразу. Зинаиде Гиппиус начинающий поэт “не то с наивностью, не то с хитрецой деревенского мальчишки” позднее рассказывал, как сначала ему доверительно сообщили, что Александр Александрович “еще спит... “со вчерашнего”” пьянства<sup>6</sup>: не совсем понятно, чем незнакомый визитер мог с ходу вызвать домашних Блока на подобную откровенность.

Впрочем, Всеволод Рождественский в мемуарной книге “Страницы жизни” привел еще менее соответствовавший действительности монолог Есенина о своей первой встрече с Блоком:

- 1 Гиппиус В. Встречи с Блоком // Александр Блок в воспоминаниях современников: В 2 т. М., 1980. Т. 2. С. 82. Отметим любопытное совпадение: в 1922 году Осип Мандельштам в одной из заметок обозвал “хитрым мужичонкой” Григория Распутина, набравшего силу на волне ожиданий народной религиозной правды (Мандельштам О. Собр. соч. Т. 2. С. 242).
- 2 Блок А. Собр. соч. Т. 5. С. 214.
- 3 Косвенное указание на немалый есенинский интерес к Клюеву содержит его московское письмо к еще одному стихотворцу из народа, Александру Ширияевцу, от 21 января 1915 года: здесь цитируется и перефразируется послание Ширияевца “Николаю Клюеву” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 61). Еще и поэтому вряд ли стоит доверять следующему суждению, записанному за Есениным И. Н. Розановым: в Петрограде “меня более всего своею неожиданностью поразило существование на свете другого поэта из народа, уже обратившего на себя внимание — Николая Клюева” (Розанов И. Есенин о себе и других. С. 22). Несколькo забегая вперед, упомянем и о том, что не Клюев первым написал Есенину, а Есенин Клюеву.
- 4 Гиппиус З. Судьба Есениных // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 82. Уже после Клюева, но еще до Есенина в (эпистолярный) контакт с Блоком вступил крестьянский поэт и прозаик Пимен Карпов, тактика поведения которого была весьма сходна с клюевской.
- 5 Адамович Г. Сергей Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 90.
- 6 Гиппиус З. Судьба Есениных... С. 83.

“Блока я знал уже давно, — но только по книгам. Был он для меня словно икона, и еще проездом через Москву я решил: доберусь до Петрограда и обязательно его увижу. Хотя и робок был тогда, а дал себе зарок: идти к нему прямо домой. <...> Ну, сошел я на Николаевском вокзале с сундучком за спиной, стою на площади и не знаю, куда идти дальше, — город незнакомый <...> Остановил я прохожего, спрашиваю: “Где здесь живет Александр Александрович Блок?” — “Не знаю, — отвечает, — а кто он такой будет?” Ну, я не стал ему объяснять, пошел дальше. Раза два еще спросил — и все неудача. Прохожу мост с конями и вижу — книжная лавка. Вот, думаю, здесь уж наверно знают. И что ж ты думаешь: действительно, раздобылся там верным адресом. Блок у них часто книги отбирал, и ему их с мальчиком на дом посылали. <...> Вот и дверь его квартиры. Стою и руки к звонку не могу поднять. Легко ли подумать: а вдруг сам Александр Александрович двери откроет. Нет, думаю, так негоже. Сошел вниз, походил и решил наконец — будь что будет. Но на этот раз прошел со двора, по черному ходу. Поднимаюсь к его этажу, а у них дверь открыта, и чад из кухни так и валит. Встречает меня кухарка. “Тебе чего, паренек?” — “Мне бы, — отвечаю, — Александра Александровича повидать”. А сам жду, что она скажет — “дома нет”, — и придется уходить несолоно хлебавши. Посмотрела она на меня, вытирает руки о передник и говорит: “Ну ладно, пойду скажу. Только ты, милый, выйди на лестницу и там постой. У меня тут, сам видишь, кастрюли, посуда, а ты человек неизвестный. Кто тебя знает!” Ушла и дверь на крючок прихлопнула. Стою. Жду. Наконец дверь опять настезь. “Проходи, — говорит, — только ноги вытри!” Вхожу я в кухню, ставлю сундучок, шапку снял, а из комнаты идет ко мне навстречу сам Александр Александрович.

— Здравствуйте! Кто вы такой?

Объясняю, что я такой-то и принес ему стихи.

Блок улыбается:

— А я думал, вы из Боблова. Ко мне иногда заходят земляки. Ну, пойдете! — и повел меня с собой”<sup>1</sup>.

Обоснованное недоверие здесь вызывает почти каждая деталь. И обрывок фразы Есенина “проездом через Москву” — напомним, что он жил в Москве предшествующие три года! И наивность якобы деревенского парня, уверенного в том, что первый встречный укажет ему дорогу к дому прославленного поэта. И наконец, комическая сценка, изображающая проникновение Есенина в квартиру Блока через черный ход после диалога с бдительной кухаркой.

1 *Рождественский В.* Страницы жизни. Л., 1962. С. 277–279.



Окончательно сводит на нет информативную ценность есенинских устных мемуаров сохраненный педантичным Блоком текст короткой записки, которую незадачливый посетитель оставил ему утром: “Александр Александрович! Я хотел бы поговорить с Вами. Дело для меня очень важное. Вы меня не знаете, а может быть, где и встречали по журналам мою фамилию. Хотел бы зайти часа в 4. С почтением С. Есенин”<sup>1</sup>. После состоявшейся встречи Блок прибавил к этой записке короткий комментарий себе для памяти: “Крестьянин Рязанской губ. 19 лет. Стихи свежие, чистые, голосистые, многословные. Язык. Приходил ко мне 9 марта 1915”<sup>2</sup>.

Эта суховатая, хотя и благожелательная аттестация как нельзя лучше соответствует общему тону, взятому Блоком при первой встрече с Есениным: своим друзьям молодой поэт позднее рассказывал, что Блок принял его с “немногословием и сдержанностью”<sup>3</sup>. Доброжелательно, но с очевидным желанием дистанцироваться от Есенина Блок написал о молодом поэте журналисту и издателю Михаилу Павловичу Мурашеву:

*Дорогой Михаил Павлович!*

*Направляю к вам талантливого крестьянского поэта-самородка. Вам, как крестьянскому писателю, он будет ближе, и вы лучше, чем кто-либо, поймете его.*

*Ваш А. Блок*

*Р. С. Я отобрал 6 стихотворений и направил с ними к Сергею Митрофановичу. Посмотрите и сделайте все, что возможно*<sup>4</sup>.

В недалеком будущем Блок и вовсе оборвет наметившуюся было традицию братания с “мужиковствующими”. “Сладко журчащий о России, о русском народе г. Блок оказывается не расположен заводить знакомства с писателями из народа, — с обидой писал А. Ширяевец В. Миролубову

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 64.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 174. Ср. передаваемый Рождественским устный рассказ Есенина с монологом Сергея Клычкова, приведенным в мемуарах Л. Клейнборта: “Вы думаете, Клюев поднялся к такому, как Блок, по парадной? Нет, не за того его принимаете. Блок же барин, дворянин, хотя и деклассированный. Клюев поднимется к нему черным ходом, в такой поддевочке, с такой иконописью в лице; произведет сперва впечатление на кухне и затем уже — как бы случайно, божьим произволением — в кабинет барина, где и обнаружатся его таланты” (*Клейнборт Л.* Встречи. А. А. Блок и другие // Русская литература. 1997. № 2. С. 190).

3 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 200. Поэтому совершенно фантастически звучит характеристика Есенина, вложенная в уста Блока мемуаристкой В. Костровой (речь идет о 1915 годе): “Стыдитесь, господа, ведь перед вами прекрасный, настоящий поэт, может быть, будущий Пушкин!” (*Кострова В.* Сергей Есенин // Сергей Есенин глазами современников. СПб., 2006. С. 361).

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 174.

Александръ

Александровичъ

Я хотѣлъ бы поговорить  
съ Вами. Вамъ для  
меня очень важно,  
вы меня узнаете  
и можете быть гдѣ  
и вътрочаи по  
журналамъ моихъ  
друзей. Хотѣлъ  
бы зайти часа въ 4  
сѣ постелью  
С. Есенинъ.

Крестовскомъ Раздѣлѣ  
куб., 19 этр. Столикъ свѣтл.,  
гасиль, кошель, многошнуров.  
Изъясн. Пролоди на мѣ  
9 марта 1915.

Записка С. Есенина, оставленная на квартире А. Блока 9 марта 1915 года, с пометой А. Блока

10 марта 1916 года. — Не принял меня, а до меня не принял Сергея Клычкова. <...> Знакомство мое с г. Блоком кончилось тем, что, после нескольких писем к нему и вызовов по телефону, я, явившись к нему, поторчал в прихожей, и горничная вынесла мне книгу его “Стихов о России”, которую я купил в магазине и с которой я явился к их степенству с просьбой дать автограф. Автограф-то в книге был, но автора видеть не сподобился... Мерси и на том, что увидел горничную знаменитости”<sup>1</sup>.

Совсем по-другому встретил Есенина Мурашев, а еще до него — Сергей Митрофанович Городецкий, чей адрес юный стихотворец, по-видимому, попросил у Блока сам.

**2** К Городецкому Есенин наведлся через день после посещения Блока, 11 марта. “Стихи он принес завязанными в деревенский платок, — умилялся Городецкий в своих мемуарах. — С первых же строк мне стало ясно, какая радость пришла в русскую поэзию. Начался какой-то праздник поэзии. Мы целовались, и Сергунька опять читал стихи. Но не меньше, чем прочесть стихи, он торопился спеть рязанские “прибаски, канавушки и страдания”... Застенчивая, счастливая улыбка не сходила с его лица. Он был очарователен со своим звонким озорным голосом, с барашком вьющихся льняных волос”<sup>2</sup>.

Виктор Шкловский в 1940 году предложил недостоверную, но весьма колоритную версию знакомства Есенина с Городецким, мимоходом приплетя к делу Клюева (обозначенного как “друг Есенина”), блоковскую кухню и том-сойеровский забор:

“Городецкий передвинул возможности поэзии и потом смотрел на занятые области несколько растерянно.

Один друг Есенина был человек, любующийся своей хитростью. Он взял два ведра с краской, две кисти, пришел к даче Городецкого красить забор. Взялись за недорого. Рыжий маляр и подмастерье Есенин.

Покрасили, пошли на кухню, начали читать стихи и доставили Сергею Митрофановичу Городецкому удовольствие себя открыть.

Это был необитаемый остров с мотором, который сам подплыл к Куку: открывай, мол, меня!”<sup>3</sup>

1 Александр Ширяевец: Из переписки. 1912–1917 гг. / Публ. Ю. Б. Орлицкого, Б. С. Соколова, С. И. Субботина // De visu. 1991. № 3. С. 29.

2 Городецкий С. О Сергее Есенине... С. 138.

3 Шкловский В. О Маяковском // Шкловский В. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1974. Т. 3. С. 112.



Сергей Есенин и Сергей Городецкий  
Петроград. Март-апрель 1915

Надо признать: погрешив против фактов, Шкловский нашел удачную метафору. Очевидно, что, “подплыв” к Городецкому, Есенин заранее подготовился к встрече с мэтром, раз принес свои произведения автору “Яри” “завязанными в деревенский платок”. Однако дальше начинающий стихотворец действовал по ситуации, тональность которой задавал уже Городецкий. “...Среди крестьянских поэтов какой-нибудь скромный И. Белоусов мог еще по инерции потянуться вслед за “суриковцами” и Дрожжиным и пройти по словесности почти незамеченным; притязательные же Клюев и Есенин прежде всего высматривали в модернистской литературе ее представление о поэтах из народа, а потом выступали, старательно вписываясь в ожидаемый образ”<sup>1</sup>.

Экзальтированный прием, оказанный старшим поэтом младшему (“праздник”, “целовались”, “Сергунька”), с одной стороны, должен был убедить Есенина в точности попадания в выбранный образ, а с другой — подсказывал: можно усилить в этом образе черты скромного деревенского паренька. К Мурашеву Есенин явился уже “в синей поддевке” и “в русских сапогах”, а стихи в нужный момент “вынул из сверточка в газетной бумаге”<sup>2</sup>.

Основной эффект, которого добивался и добился Есенин, стилизуя свой облик под деревенского простака, состоял в ярком контрасте между этим обликом и профессионализмом уверенного в себе поэта. Месяц спустя Зинаида Гиппиус в журнальном предисловии к поэтической подборке Есенина изобразит его “худощавым девятнадцатилетним парнем, желтоволосым и скромным”, чьи стихи тем не менее отличает “мастерст-

1 Гаспаров М. Поэтика “серебряного века”... С. 8. Ср., впрочем, с “облагораживающим” Есенина суждением-воспоминанием Зои Бухаровой: “Отдельные кружки поэтов приглашали юношу нарасхват; он спокойно и сдержанно слушал стихи модернистов, чутко выделяя лучшее в них, но не увлекался никакими футуристическими зигзагами” (З. Б. [Бухарова З.] Новые пути русского искусства // Петроградские ведомости. 1915. 11 июня).

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 187, 188.

Сергею Александровичу  
Есенину  
на добрую память.



Александр Блок.

9 марта 1915.  
Петроград.

Дарственная надпись А. Блока на одном из томов его "мусажетовского" собрания сочинений, подаренном С. Есенину 9 марта 1915 года

Весеннему братику  
Сергею Есенину

с любовью и  
второй рукой

11-III-1915

Сергей Городецкий

Дарственная надпись С. Городецкого на экземпляре его книги "Четырнадцатый год", подаренной С. Есенину 11 марта 1915 года

во как будто *данное*: никаких лишних слов нет, а просто есть те, которые есть"<sup>1</sup>.

Именно для достижения этого впечатления ("мастерство как будто данное") Есенин в Питере постарался "забыть" о своем московском периоде и тогдашнем медленном и мучительном овладении азами стихосложения. Из Рязани прямо в столицу — такой географический маршрут, с есенинской подачи, станут вычерчивать авторы статей и мемуаров: "Он приехал из рязанской глуши прямо к Блоку на поклон..."<sup>2</sup>; "С целью ознакомиться с нашими художественными течениями и их представителями из Рязанской губернии приехал 19-летний крестьянин-поэт С. Есенин..."<sup>3</sup>; "Он приехал из Рязанской губернии в "Питер"..."<sup>4</sup>.

Интересно сравнить между собой дарственные надписи, которые, по итогам первого свидания с Есениным, сделали ему на своих книгах Александр Блок и Сергей Городецкий. Блок написал сухо и просто: "Сергею

1 Роман Аренский [Гиппиус З. Н.]. Земля и камень... С. 12.

2 Адамович Г. Сергей Есенин... С. 90.

3 З. Б. [Бухарова З.] Новые пути русского искусства // Петроградские ведомости. 1915. 11 июня.

4 Роман Аренский [Гиппиус З. Н.]. Земля и камень... С. 12.



Сергей Городецкий. 1910-е

Александровичу Есенину на добрую память. Александр Блок. 9 марта 1915. Петроград”<sup>1</sup>; а Городецкий — восторженно и вычурно: “Весеннему братику Сергею Есенину с любовью и верой лютой”<sup>2</sup>.

Столь же причудливой, “народной” стилистической манеры Городецкий, общаясь с Есениным, предпочитал держаться и в дальнейшем. “Сердце мое Сергун!” — с такого обращения он начал письмо к Есенину от 14 июня 1915 года<sup>3</sup>. А 7 августа Городецкий признавался младшему поэту: “Мне все еще нова радость, что ты есть, что ты живешь, вихрастый мой братишка. Так бы я сейчас потягал тебя за вихры кудрявые!”<sup>4</sup> Судя по всему, таскание за волосы считалось в кругу Городецко-

го — Есенина непременным атрибутом встречи двух соскучившихся друг по другу близких приятелей. “Дорогой Сашка! Оттрепал бы я тебя за вихры, да не достанешь”, — шутливо сетовал уже сам Есенин в письме к А. Добровольскому от 11 мая 1915 года<sup>5</sup>.

Знакомство и дружба с Городецким сильно продвинули Есенина в работе над своим образом и обликом. Похожую роль автор “Яри”, с юности лелеявший в себе “страсть к лубочному “русскому” духу”<sup>6</sup>, сыграл в судьбе многих крестьянских поэтов. Недаром Анна Ахматова в прозаических набросках к своей итоговой “Поэме без героя” изобразила, как “Городецкий, Есенин, Клюев, Клычков пляшут “русскую” на гофмановском модернистском маскараде 1913 года<sup>7</sup>.

1 Александр Блок... // Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3. С. 68.

2 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 209.

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 200.

4 Там же. С. 204.

5 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 69.

6 Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 65.

7 Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). М., Torino, 1996. С. 174.





Александр Добровольский и Сергей Есенин. Петроград. Март-апрель 1915

**З** И все же главная причина повышенного спроса модернистов на грядущих поэтов из народа была уловлена Есениным не у Городецкого. 15 марта 1915 года он пришел на квартиру к Дмитрию Сергеевичу Мережковскому, Зинаиде Николаевне Гиппиус и Дмитрию Владимировичу Философову. Лейтмотивом первой и последующих встреч Есенина с Мережковскими, по всей видимости, стала тема, отразившаяся в дарственной надписи Философова Есенину на книге “Неугасимая лампада”: “Сергею Александровичу Есенину с верой, что русская лампада никогда не угаснет. Д. Философов. 12 апр. 1915 г.”<sup>1</sup>. “Верой”, “русская”, “лампада” — вот ключевые слова этого инскрипта.

В апрельском номере журнала “Голос жизни” за 1915 год, редактором которого числился Философов, была напечатана поэтическая подборка Есенина. Предисловие к подборке написала Гиппиус, укрывшаяся за псевдонимом Роман Аренский.

В есенинских стихах, помещенных в “Голосе жизни”, уже “явственно звучат религиозные настроения, по временам сливаясь с простодушными

<sup>1</sup> Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 229.



Дмитрий Мережковский  
Около 1903



Зинаида Гиппиус и Дмитрий Философов  
Около 1903

народными верованиями, по временам приобретая оттенок чего-то сродного пантеизму”<sup>1</sup>. Наивная религиозность, перетекающая в пантеизм, быстро сделалась едва ли не главной отличительной приметой есенинской лирики. О ней — кто одобрительно, кто с укором — писали все истолкователи раннего Есенина. От эмигранта А. Бахраха: “Тишь... Кротость... Неприязательность... Примитивная религиозность... Вот основные ноты его первых вещей” — до зубодробительного советского критика Г. Адонца: “Чисто молитвенная лирика идет рука об руку с Есениным и тогда, когда он вдохновляется картинами природы. Здесь явно преобладание чего-то церковного, монастырского”<sup>2</sup>.

Разумеется, вчитывание в природные пейзажи религиозной символики встречалось в русской поэзии и до Есенина. Вспомним хотя бы стихотворение Вячеслава Иванова 1904 года с говорящим заглавием “Долина — храм”. Но только в лирике Есенина этот прием выдвинулся на первый план.

1 Из отзыва Н. Н. Вентцеля о стихах Есенина; см.: *Юн* [Вентцель Н.]. Поэт “из народа” // Новое время. Иллюстр. прил. 1916. 27 августа (№ 14539).

2 *Адонц Г.* О поэзии Есенина // Жизнь искусства. 1925. № 34 (25 августа). С. 11.

# ГОЛОСЪ ЖИЗНИ

1915 № 17



ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКІЙ  
И ЛЮСТРИРОВАННЫЙ  
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКЪ

Цена № 12 коп.



На ст. ж. д. — 15 к.

Обложка журнала "Голос жизни"  
(1915. № 17. 22 апреля)

*Край любимый! Сердцу снятся  
Скирды солнца в водах лонных.  
Я хотел бы затеряться  
В зеленях твоих стозвонных.*

*По меже на переметке  
Резеда и риза кашки.  
И вызванивают в четки  
Ивы, кроткие монашки.*

*Курит облаком болото,  
Гарь в небесном коромысле.  
С тихой тайной для кого-то  
Затаил я в сердце мысли.*

*Все встречаю, все приемлю,  
Рад и счастлив душу вынуть.  
Я пришел на эту землю,  
Чтоб скорей ее покинуть.*

С изяществом подобранные, не сразу отмечаемые глазом параллели между природой и храмом (ивы — монашки; болото “курит облаком”, как лаदानом) соседствуют в этих программных стихах Есенина со скупой использованными диалектизмами (“в зеленях”, “по меже на переметке” — все три выделенные курсивом слова есть у В. И. Даля). А также — со строками, словно вынутыми из какого-нибудь блоковского стихотворения: “С тихой тайной для кого-то / Затаил я в сердце мысли”. Эпиграмматически отточенную финальную формулу (“Я пришел на эту землю, / Чтоб скорей ее покинуть”) Анна Ахматова, сама мастерица подобных концовок<sup>1</sup>, припомнит, получив трагическую весть о самоубийстве поэта<sup>2</sup>.

Любопытно, что в первоначальных версиях этого стихотворения Есенина религиозные сравнения и метафоры били в глаза уже в зачине. Поэт пробовал варианты: “Край родной, тропарь из святцев...”; “Край родной! Поля, как святцы, / Рощи в венчиках иконных...”; “Край родной! Туман, как ряса...”.

1 Об эпиграмматических концовках Ахматовой см.: Жирмунский В. Творчество Анны Ахматовой. Л., 1973. С. 93.

2 См.: Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. Т. 1. Paris, 1991. С. 312.



Сходные образы с легкостью отыскиваются во многих есенинских стихотворениях 1910-х годов:

*Счастлив, кто в радости убогой,  
Живя без друга и врага,  
Пройдет проселочной дорогой,  
Молясь на копны и стога.* (“Пойду в скуфье смиренным иноком...”)

*Схимник ветер шагом осторожным  
Мнет листву по выступам дорожным*

*И целует на рябиновом кусту  
Язвы красные незримо Христу.* (“Осень”)

*И может быть, пройду я мимо  
И не замечу в тайный час,  
Что в елях — крылья херувима,  
А под пеньком — голодный Спас.* (“Не ветры осыпают пуши...”)

В советский период своего творчества Есенин попытался задним числом откреститься от Мережковского и Гиппиус. В черновике к ненапечатанной заметке “Дама с лорнетом” он сослался на высокий авторитет Блока, якобы говорившего ему еще во время памятного свидания 9 марта: ““Не верь ты этой бабе. Ее и Горький считает умной. Но, по-моему, она низкопробная дура””. “После слов Блока, к которому я приехал, — пишет далее Есенин, — впервые я стал относиться и к Мережковскому и к Гиппиус — подозрительней”<sup>1</sup>. Форма, в которую осторожный и сдержанный Блок, согласно Есенину, облек свою характеристику Зинаиды Гиппиус, представляется столь же невозможной, как и его обращение к Есенину на “ты”.

Но даже если Блок и предупреждал Есенина об опасности общения с Мережковскими<sup>2</sup>, эти предупреждения весной 1915 года не возымели никакого действия. Статьей Гиппиус о себе в “Голосе жизни” Есенин тогда явно гордился, специально выделив ее в своем первом письме к Клюеву от

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 229.

2 О сложных взаимоотношениях Блока с Мережковскими в эту пору см.: Минц З. Блок в полемике с Мережковскими // Минц З. Александр Блок и русские писатели. СПб., 2000. С. 597–609. В 1916 году Блок, если верить Василию Каменскому, с раздражением рассказывал, что встреченный им у Мережковских Есенин “разговаривал... театральными словами” (Каменский В. Жизнь с Маяковским. М., 1940. С. 175).

24 апреля 1915 года<sup>1</sup> и в наброске к автобиографии 1916 года<sup>2</sup>. Книгу “Радуница” Есенин преподнес Гиппиус с таким инскриптом: “Доброй, но проборчивой Зинаиде Николаевне Гиппиус с низким поклоном Сергей Есенин. 31 января 1916 г.”<sup>3</sup>.

Мережковский и Гиппиус первоначально оказались “очарованы и покорены есенинской музой”, — свидетельствовал в своих мемуарах Рюрик Ивнев<sup>4</sup>. Это очарование, без сомнения, было взаимным.

**4** Имея на руках рекомендательные письма от Городецкого, Мурашева и Блока, Есенин предпринял стремительный рейд по редакциям петроградских литературных журналов и газет. Везде он был принят с распростертыми объятиями. Везде он вел себя по уже отработанному сценарию.

Вот строки из мемуарной заметки Лазаря Бермана, секретаря “Голоса жизни”:

Среди пришедших был и совсем не похожий на других, очень скромного вида паренек в длинном демисезонном пальто <...> Паренек так наивно и так непосредственно держал себя, что я был убежден — в нашу редакцию он пришел впервые, сам по себе. Только много позже я узнал, что Есенин перед этим уже побывал у Блока и у Городецкого и что простовато он говорит сознательно<sup>5</sup>.

Из воспоминаний Всеволода Рождественского, в первый раз встретившегося с Есениным в редакции неназванного “толстого журнала”:

Сосед поторопился рассказать, что в городе он совсем недавно, что ехал на заработки куда-то на Балтийское побережье и вот застрял в Петербурге, решив попытать литературного счастья. И добавил, что зовут его Есениным, а по имени Серега, и что он пишет стихи (“не знаю, как кому, а по мне — хорошие”). Вытащил тут же пачку листков, исписанных мелким, прямым, на редкость отчетливым почерком, где каждая буква стояла несвязно с другой<sup>6</sup>.

1 См.: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 66.

2 См.: Там же. Т. 7. Кн. 1. С. 21.

3 Там же. С. 321.

4 *Ивнев Р.* Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. М.; Л., 1926. С. 11.

5 Цит. по: *Конопатая Т.* Неизвестные стихи Есенина // *Звезда*. 1975. № 4. С. 187.

6 *Рождественский В.* Страницы жизни. С. 247.





Рюрик Ивнев, Владимир Чернявский, Сергей Есенин  
Петроград. Март 1915

Тут нужно сделать оговорку: многие недостоверные подробности из биографии Есенина петроградского периода лежат не на есенинской совести, а на совести его современников. Сформированный поэтом образ побуждал их к сотворчеству и, соответственно, как снежный ком, обрастал все новыми легендами и анекдотами. Выше мы уже цитировали новеллу Виктора Шкловского о Есенине, Клюеве и куоккальской даче Городецкого. Приведем теперь эпизод из воспоминаний владельца соседней дачи, художника Юрия Анненкова, относящийся к январю-февралю 1916 года: “За утренним чаем Есенину очень приглянулась моя молоденькая горничная Настя. Он заговорил с ней такой изощренной фольклорной рязанской (а может быть, и вовсе не рязанской, а ремизовской<sup>1</sup>) речью, что, ничего не поняв, Настя, называвшая его, несмотря на косоворотку, барином, хихикнув, убежала в кухню”<sup>2</sup>. Это “убежала в кухню” провоцирует вспомнить строгую кухарку из мемуаров Рождественского. При том, что в воспоминаниях Анненкова ситуация зеркально перевернута: у Рождественского служанка, напомним, боялась остав-

1 Об А. М. Ремизове и его знакомстве с Есениным см. далее в этой главе.

2 Анненков Ю. Сергей Есенин // Анненков Ю. Дневник моих встреч: В 2 т. Т. 1. М., 1991. С. 147.

лять незнакомого “крестьянина” одного на кухне, чтобы он чего-нибудь не украл<sup>1</sup>.

26 марта Есенин присутствовал на “поэзоконцерте” Игоря Северянина. ““Что ж, понравились футуристы?” — “Нет; стихи есть хо-ро-шие, а только что ж все кобениться””<sup>2</sup>. 28 марта он пришел на вечер современного искусства “Поэты — воинам” в петроградский Зал армии и флота. Здесь Есенин познакомился и сразу же подружился с компанией молодых стихотворцев (Константин Ляндау, Владимир Чернявский, Рюрик Ивнев, Михаил Бабенчиков), в своем творчестве ориентировавшихся на Михаила Кузмина. При этом самому Кузмину крестьянский поэт не слишком пришелся по душе. “Толку из него не выйдет” — такую запись Кузмин внес в свой дневник в день встречи с Есениным<sup>3</sup>.

Эту кислотоватую констатацию можно сравнить, например, с восторженным отзывом о Есенине Рюрика Ивнева, в конце марта писавшего Сергею Боброву в Москву: “Здесь появился необычайно талантливый поэт Сергей Александрович Есенин, только что приехавший из деревни юноша 19 лет. Стихи его о деревне, о леших, о ведьмах, седых тучках, сене, лаптях дышат подлинным поэтическим вдохновением, а не книжностью, как у С. Городецкого, А. Толстого и др<угих> поэтов, подходивших к деревне. Он уже произвел впечатление, к счастью, но и на более полезных для него людей, как: редакторов, авторитетных поэтов и т. п.”<sup>4</sup>.

Ивневу вторил в своих мемуарах 1966 года еще один участник компании — Константин Ляндау: “Мне показалось, как будто мое старопетербургское жилище внезапно наполнилось озаренными солнцем колосьями и васильками. <...> Когда Есенин читал свои стихи, то слушающие уже не знали, видят ли они золото его волос или весь он превратился в сияние. Даже его “оканье”, особенно раздражавшее нас, петербуржцев, не могло нарушить волшебство его чтения, такое подлинное, такое непосредственное. Его стихи как бы вырастали из самой земли”<sup>5</sup>.

1 Сходные мотивы (унизительное недопонимание между людьми одного сословия), вероятно восходящие к Достоевскому, часто встречаются в мемуарах о Есенине. Ср., например, у того же Рождественского: “Вошел редакционный сторож с огромным подносом и привычно обнес сотрудников стаканами чаю и легкой закуской. Есенин протянул было руку к соблазнительному бутерброду с ветчиной, но сторож ловким ныряющим движением отвел поднос в сторону” (*Рождественский В. Страницы жизни*. С. 247).

2 *Роман Аренский* [Гиппиус З. Н.]. Земля и камень... С. 12.

3 *Кузмин М. Дневник: 1908–1915*. СПб., 2005. С. 530.

4 Там же. С. 779.

5 Цит. по: *Летопись...* Т. 1. С. 219.

Обстоятельства знакомства Есенина с поэтами из кружка Ляндау подробно описаны в воспоминаниях Владимира Чернявского: “Не то в перерыве, не то перед началом чтений я, стоя с молодыми поэтами (Ивневым и Ляндау) у двери в зал, увидел поднимающегося по лестнице мальчика, одетого в темно-серый пиджачок поверх голубоватой сатиновой рубашки, с белокурыми, почти совсем коротко стриженными волосами, небольшой прядью завившимися на лбу. Его спутник (кажется, это был Городецкий) остановился около нашей группы и сказал нам, что это деревенский поэт из рязанских краев, недавно приехавший. <...> В течение вечера он так и оставался с нами троими. Несколько друзей присоединились к нам. Мы плохо слушали то, что доносилось с эстрады, и интересовались



Владимир Чернявский  
1910-е

только нашим гостем, стараясь отвечать на его удивительно ласковую улыбку как можно приветливее. <...> Едва дождавшись окончания вечера, мы, компанией из семи-восьми человек, все жившие и дышавшие стихами, оставив кое-кого из привязавшихся скептиков, пошли вместе с Есениным в хорошо известный многим “подвал” на Фонтанке, 23, близ Невского. Там квартировал молодой библиофил и отчасти поэт К. Ю. Ляндау, устроивший себе уютное жилье из бывшей прачечной, с заботливостью эстета завесив его коврами и заполнив своими книгами и антикварией”<sup>1</sup>.

Легко заметить, что, избрав определенный стиль поведения со своими новыми друзьями, Есенин продолжал отчасти лукавить: в реальности он, как мы знаем, не был “только что приехавшим из деревни юношей”, да и “окал” поэт едва ли не нарочито — в рязанской области не “окают”, а “акают”<sup>2</sup>.

*Казаться улыбчивым и простым —  
Самое высшее в мире искусство.*

- 1 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 199–200. Безусловно, дополнительный стимул, питавший интерес этой компании к молодому стихотворцу, заключался в том, что большинство ее участников были гомосексуалистами. Однако сам “Есенин любил только женщин”, как свидетельствовал авторитетный знаток петроградского гомосексуального быта Георгий Адамович (Проект “Акмеизм” / Вступ. статья, подгот. текста и коммент. Н. А. Богомолова // Новое литературное обозрение. № 6 (58). (2002). С. 162).
- 2 См.: Магомедова Д. “Я один и разбитое зеркало...” // Есенин С. Стихотворения. Поэмы. М., 2006. С. 8.

Тем не менее дружба с поэтами из кружка Ляндау обогатила петроградский образ Есенина чрезвычайно важными для него новыми оттенками. С этими поэтами Есенин не только и не столько изображал простоватого деревенского паренька, одаренного невесть откуда взявшимся стихотворческим мастерством, сколько иронически поглядывал на этого паренька как бы со стороны, впрочем, не выходя из создаваемого образа полностью. Выразительный эпизод, относящийся уже к концу 1915 года, находим в мемуарах Михаила Бабенчикова:

Я помню, как удивился, впервые встретив его наряженным в какой-то сверхфантастический костюм. Есенин сам ощущал нарочитую “экзотику” своего вида и, желая скрыть свое смущение от меня, задиристо кинул:

— Что, не похож я на мужика?

Мне было трудно удержаться от смеха, а он хохотал еще пуще меня, с мальчишеским любопытством разглядывая себя в зеркале. С завитыми в кольца кудряшками золотистых волос, в голубой шелковой рубашке с серебряным поясом, в бархатных навыпуск штанах и высоких сафьяновых сапожках он и впрямь выглядел засахаренным пряничным херувимом<sup>1</sup>.

Именно открытость Есенина позволила его ближайшему приятелю из кружка Ляндау Владимиру Чернявскому в своих мемуарах дать пронизательный, пусть и ретроспективный, микроанализ поведенческой стратегии поэта. “Мы, пожалуй, преувеличивали его простодушие и недооценивали его пристальный ум, — признает Чернявский. — Конечно, мы замечали: Есенин не мог не чувствовать, что его местные обороты и рязанский словарь помогают ему быть предметом общего внимания, и он научился относиться к этому своему оружию совершенно сознательно”<sup>2</sup>. И он же очень хорошо написал о подлинном, не заемном обаянии Есенина, которое помогало поэту преодолевать все преграды в общении: “В нем светила какая-то приемлющая внимательность ко всему, он брал тогда все как удачу, он радовался победе и в толстых, и в тоненьких журналах, тому, что голос его слышат. Он ходил, как в лесу, озирался, улыбался, ни в чем еще не был уверен, но крепко верил в себя”<sup>3</sup>.

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 239.

2 Там же. С. 201.

3 Там же. С. 20. См. также портрет Есенина этой поры в мемуарах Георгия Адамовича: “Есенин держался скромно и застенчиво, был он похож на лубочного “пригожего паренька”, легко смеялся и косил при этом узкие, заячьи глаза” (Адамович Г. Сергей Есенин... С. 90).

В скобках приведем фрагмент из относящихся к куда более раннему периоду мемуаров И. Копытина: “Даже старшего учителя Евгения Михайловича Хитрова <Есенин> расположил к себе так, что тот ему во многом потворствовал, например чаще других отпускал из общежития в город”<sup>1</sup>.

Публичный поэтический дебют Есенина в Петрограде состоялся 30 марта. В этот день он читал свои стихи в редакции “Нового журнала для всех”. “Гости были разные, из поэтов по преимуществу молодые акмеисты, охотно посещавшие вечера “с чаем”. Читали стихи О. Мандельштам (признанный достаточно кандидат в мэтры), Г. Иванов, Г. Адамович, Р. Ивнев, М. Струве и другие <...> Попросили читать Есенина. Он вышел на маленькую домашнюю эстраду в своей русской рубашке и прочел помимо лирики какую-то поэму (кажется, “Марфу Посадницу”). В таком профессиональном и знающем себе цену сообществе он несколько проигрывал. Большинство смотрело на него только как на новинку и любопытное явление. Его слушали, покровительственно улыбаясь, добродушно хлопали его “коровам” и “кудлатым щенкам”, идилические члены редакции были довольны, но в кучке патентованных поэтов мелькали очень презрительные усмешки”<sup>2</sup>.

**5** “Первые месяцы жизни поэта в Петрограде не были плодотворными: рассеянный образ жизни и небывалый успех на время выбили его из колеи”, — писал в своих воспоминаниях о Есенине Михаил Мурашев<sup>3</sup>. Позволим себе не согласиться с мемуаристом: собранные воедино биографические факты показывают, что апрель 1915 года Есенин вполне плодотворно использовал для закрепления достигнутых успехов.

В течение апреля он регулярно посещал Мережковских и вел с ними задушевные беседы, например, об отличительных свойствах характера петроградских жителей: “Люди в Питере, говорит, — ничего, хорошие, да какие-то “не соленые””<sup>4</sup>. Поэт познакомился и с признанным прозаиком, знатоком русской старины Алексеем Михайловичем Ремизовым (15 апреля датирован инскрипт Ремизова Есенину на книге “Подорожье”<sup>5</sup>). И только

1 Жизнь Есенина... С. 35.

2 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 203.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 188.

4 Роман Аренский [Гиттиус З.]. Земля и камень... С. 12.

5 Впоследствии Ремизов в предисловии к своей книге “Николины притчи” (1917) отметит, что в работе над ней он пользовался “рязанскими сказками с. Константиново, переданными <...> поэтом С. А. Есениным” (Ремизов А. Сочинения. Кн. 1. М., 1993. С. 257–258).



Алексей Ремизов. 1900-е

Блок, любовь к которому в то время граничила у Есенина с обожествлением<sup>1</sup>, от личного общения со своим протеже вежливо уклонился. Но и он в письме к Есенину от 22 апреля нашел нужные слова, чтобы ободрить начинающего поэта:

*Дорогой Сергей Александрович!*

*Сейчас очень большая во мне усталость и дела много. Потому, думаю, что пока не стоит нам с Вами видеться, ничего существенно нового друг другу не скажем.*

*Вам желаю от души остаться живым и здоровым.*

*Трудно загадывать вперед, и мне даже думать о Вашем трудно, такие мы с Вами разные; только все-таки я думаю, что путь Вам, может быть,*

*предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торопиться, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее.*

*Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души: сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло.*

*Будьте здоровы, жму руку.*

*Александр Блок<sup>2</sup>.*

В начале апреля 1915 года на квартире у Рюрика Ивнева собралась большая компания литераторов-модернистов, чтобы послушать, как Есенин читает свои стихи и поет частушки<sup>3</sup>. Поэт пришел туда “в голубой косоворотке, был белокур и чрезвычайно привлекателен, — вспоминал Всеволод Пас-

1 Свидетельство Георгия Адамовича: “Как-то мы шли по Невскому. Есенин сказал: “Если Блок сказал бы: “Сережа, пойдй, ляг мне под ноги, ножкам моим жестко”, — я, не задумываясь, лег бы ему под ноги” (Проект “Акмеизм”... С. 146).

2 Цит. по: Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 174–175.

3 Чтобы пополнить запас частушек (с помощью Городецкого он даже собирался издать их отдельной книгой), предусмотрительный Есенин еще в середине марта отправил неожиданно кроткое и даже ласковое письмо Бальзамовой: “Мария Парменьевна! Извините, что я обращаюсь к Вам с странной просьбой. Голубушка, будьте добры написать мне побольше частушек. Только самых новых. Пожалуйста. Сообщите, можете ли Вы это сделать. Поскорей только” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 65).



тухов. — Он читал стихи каким-то нарочито деревенским говорком. Георгий Иванов с обычной своей язвительностью, я бы сказал очаровательной язвительностью, прошептал мне: “И совсем он не из деревни, он кончил учительскую семинарию (или что-то в этом роде)”<sup>1</sup>.

Нецензурные частушки, которые исполнял Есенин, вызвали куда больший интерес у присутствующих, чем его стихи. “Кузмин сказал: “Стихи были лимонадом, а частушки водкой”<sup>2</sup>. В тот вечер перед зрителями едва ли не впервые замаячил образ Есенина, который будет прочно ассоциироваться с поэтом в послереволюционные годы.

21 апреля вышла в свет брошюра С. Городецкого “А. С. Пушкину. Стихотворение с примечаниями”.

На ее последней странице был помещен анонс готовящейся книги Сергея Есенина “Радуница”.

А 24 апреля, вероятно с подачи того же Городецкого, Есенин отправил первое письмо Николаю Клюеву. Это письмо стоит привести здесь полностью — не только как пролог к многолетним взаимоотношениям двух поэтов, но и как своеобразный есенинский отчет о проделанной им в Петрограде “работе”:

*Дорогой Николай Алексеевич!*

*Читал я Ваши стихи, много говорил о Вас с Городецким и не могу не написать Вам. Тем более тогда, когда у нас есть с Вами много общего. Я тоже крестьянин и пишу так же, как Вы, но только на своем рязанском языке. Стихи у меня в Питере прошли успешно. Из 60 принято 51. Взяли “Сев<ерные> зап<иски>”, “Рус<ская> мысл<ь>”, “Ежемес<ячный> жур<нал>” и др. А в “Голосе жизни” есть обо мне статья Гиппиус под псевдонимом Роман Аренский, где упоминается и Вы. Я бы хотел с Вами побеседовать о многом, но ведь “через быстрю реченьку, через темный лесок не доходит голосок”. Если Вы прочтаете мои стихи, черкните мне о них. Осенью Городецкий выпускает мою книгу “Радуница”. В “Красе” я тоже буду. Мне жаль, что я на этой открытке не могу еще сказать. Жму крепко Вашу руку.*

1 Пастухов В. Страна воспоминаний // Воспоминания о серебряном веке. М., 1993. С. 459.

2 Там же. С. 460. Слухи об этом вечере (который именовали чуть ли не “афинским”) и о есенинских частушках широко разошлись в артистических кругах Петрограда. Один из отзвуков находим в позднейшей рецензии Георгия Адамовича на стихи В. Князева: “Одно время это был даже модный столичный “аттракцион”: приходите, — кокетливо звали хозяйки литературных салонов, — приходите, будет Есенин, будет петь частушки. Пел он большей частью такое, что дамы краснели, бледнели, ахали — и, наконец, не выдержав, бежали” (цит. по: Адамович Г. С того берега: Критическая проза. М., 1996. С. 248). См. также тенденциозное описание этого вечера в кн.: Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 203–205.



Юрик Ивнев. 1910-е

Рязанская губ., Рязан. у., Кузьминское почт. отд., село Константиново, Есенину Сергею Александровичу<sup>1</sup>.

Клюев откликнулся на это письмо сразу же, 2 мая. Невольно соревнуясь с Городецким, в своем ответе Есенину он решительно увеличил дозу сердечности и “народности” в сравнении с той, что содержалась в есенинском послании. И уже в первых строках попытался “резко отъединить поэта-крестьянина от его “городских” покровителей”<sup>2</sup>, от того же Городецкого и Гиппиус:

*Милый братик, почитаю за любовь узнать тебя и говорить с тобой, хотя бы и не написала про тебя Гиппиус и Го-*

*родецкий не издал твоих песен. Но, конечно, хорошо для тебя напечатать наперво 51 стихотворение.*

*Если что имеешь сказать мне, то пиши не медля, хотя меня и не будет в здешних местах, но письмо твое мне передадут. Особенно мне необходимо узнать слова и сопоставления Городецкого, не убавляя, не прибавляя их. Чтобы быть наготове и гордо держать сердце свое перед опасным для таких людей, как мы с тобой, соблазном. Мне многое почувствовалось в твоих словах — продолжи их, милый, и прими меня в сердце свое.*

*Н. Клюев*<sup>3</sup>.

Есенин моментально взял на вооружение лукавый прием Клюева: притворяясь глубоко равнодушным к мнениям “городских” поэтов о себе, просить подробного отчета об этих мнениях у третьих лиц. Стоило Владимиру Чернявскому в письме к Есенину от 26 мая 1915 года обмолвиться:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 66.

2 Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. СПб., 2002. С. 119. Годом ранее Клюев страдал Александра Ширяевца: “Я предостерегаю тебя, Александр, в том, что тебе грозит опасность, если ты вывернешься наизнанку перед Городецким. Боже тебя упаси исповедоваться перед ними, ибо им ничего не нужно, как только высосать из тебя все живое, новое, всю кровь, а потом, как паук муху, бросить одну сухую шкурку” (цит. по: Александр Ширяевец: Из переписки.... С. 20).

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 196.

“У Мережковских <...> много о тебе говорили”<sup>1</sup>, как крестьянский поэт уже спешил с поручением: “Интересно, черт возьми, в разногласии мнений. Это меня не волнует, но хочется знать, на какой стороне Философов и Гиппиус. Ты узнай, Володя”<sup>2</sup>. Отчет Чернявского: “Сказали мне только, что говорили о тебе “как о хорошем мальчике”, будто бы тебя в Питере кто-то портит”<sup>3</sup>.

Письмо Клюева застало Есенина уже в Константинове: удобные для жизни в деревне месяцы он решил провести вне Петрограда, да и стесненные денежные обстоятельства не позволяли задерживаться в столице. 29 апреля поэт выехал в Москву. Он покидал Петроград “с “большими ожиданиями”, зная, что еще вернется и что <здесь> он уже начал побеждать. Это радовало и веселило его, он был благодарен каждому, кто его услышал и признал”<sup>4</sup>.

С 1 мая по конец сентября Есенин жил в родном селе. “Сергей приезжал домой почти каждое лето, но воспоминания о нем у меня слились воедино, — писала сестра поэта Александра в своих мемуарах. — <...> Даже сам приезд его был необычным, и не только для нас, а для всех односельчан. Сергей любил подъехать к дому на лихом извозчике, которые так и назывались “лихачи”, а то и на паре, которая мчит, как вихрь, колеса брочки едва касаются земли и оставляют позади себя кучу дорожной пыли. С его приездом в доме сразу нарушался обычный порядок: на полу — раскрытые чемоданы, на окнах появлялись книги, со стола долго не убирался самовар. Даже воздух в избе становился другим — насыщенным папиросным дымом, смешанным с одеколоном”<sup>5</sup>.



Николай Клюев. 1918–1919 или 1922

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 199.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 71.

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 204–205.

4 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 208.

5 Есенина А. Родное и близкое... С. 34, 35.



Леонид Каннегисер. 1916

Кое-какие сведения о есенинской жизни в Константинове в 1915 году можно почерпнуть из его тогдашней переписки с друзьями. В конце мая — начале июня в гости к Есенину приехал еще один молодой поэт из окружения Кузмина — Леонид Каннегисер, будущий убийца председателя петроградского ЧК Урицкого. По формуле Марины Цветаевой, в Петрограде Есенин и Каннегисер были “неразрывными, неразливными друзьями”<sup>1</sup>. “Помню, как мы влезли... на колокольню, когда ночью горели Раменки, и какой оттуда был прекрасный вид”, — ностальгически писал Каннегисер Есенину из Петрограда три месяца спустя<sup>2</sup>. “Все время ходили по лугам, на

буграх костры жгли и тальянку слушали”. Так уже сам Есенин в письме к Чернявскому от 13 июня рассказывал о своем и Каннегисера времяпрепровождении в деревне<sup>3</sup>. И далее в этом же письме: “Он мне объяснил о моем пантеизме и собирался статью писать”<sup>4</sup>.

А 22 июля Есенин торжественно извещал Чернявского: “Порадуйся со мной вместе. Осенью я опять буду в Питере”<sup>5</sup>.

Деньги для осенней поездки Есенин добыл, пристроив через Философова стихи в газету “Биржевые ведомости”. Финансовые надежды поэта в этот период были связаны и с петроградским журналом “Северные записки”, для которого в летние, константиновские месяцы он в рекордно короткий срок, за 18 ночей, написал повесть “Яр”.

Эту повесть даже самый доброжелательный критик вряд ли назовет большой удачей Есенина<sup>6</sup>. Крайняя невнятность сюжета и злоупотребление диалектизмами (“Где-то замузыкала ливенка, и ухабистые канавушки

1 Цветаева М. Из очерка “Нездешний вечер” // Русское зарубежье о Есенине... Т. 1. С. 106.

2 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 206.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 71.

4 Там же. С. 71. Курсив наш. — О. Л., М. С.

5 Там же. С. 73.

6 Ср. разве что в кн.: Прокушев Ю. Сергей Есенин: Образ. Стихи. Эпоха. М., 1975. С. 169–172.

поползли по росному лугу”<sup>1</sup>) превращают чтение “Яра” в трудоемкий, почти мучительный процесс. Не спасает положения и то, что в повести легко отыскиваются переключки с лучшими пантеистическими стихами Есенина: “От самовара повеяло смольными шишками, приятный запах расплылся, как ладан, и казалось, в избе только что отошла вечерня”<sup>2</sup>, а также следы прилежного ученичества у модернистов, прежде всего у Андрея Белого: “Он... выбегал на дорогу, падал наземь, припадал ухом, но слышал только, как вздрагивала на вздыхающем болоте чапыга”<sup>3</sup> (сравним в “Серебряном голубе”: “По вечерам припади ухом к дороге: ты услышишь, как растут травы”<sup>4</sup>). Чувствуя, что сюжет повести расплзается буквально по швам, Есенин попробовал компенсировать этот недостаток множеством вставных, по-циркового броских реприз: “Приподнявшись, шаркнул ногами и упал головою в помойную лохань”<sup>5</sup>; “...повернувшись на грядке, полетел кубарем в грязь”<sup>6</sup>; “Дед Иен высморкался, отер о полу халата сопли и очистил об траву”<sup>7</sup> и т. п.

В итоге издательница “Северных записок” Софья Чацкина все же напечатала повесть Есенина, но ожидаемых лавров это автору не принесло.

Отголоски прозаических опытов Есенина слышны в его эпистолярных стилизациях того же времени. В качестве курьезного примера приведем краткое “незатейливое” есенинское письмо Л. Берману от 2 июня 1915 года:

*Дорогой Лазарь Васильич!*

*Посылал я вам письмо, а вы мне не ответили. За что вы на меня серчаете? Меня забрили в солдаты, но, думаю, воротят, я ведь поника<sup>8</sup>. Далёко не вижу. На комиссию отправ <или>. Пришлите журнал-то. Да пропишите про Димитрия Владимир <овича> <Философова>. Как он-то живет<sup>9</sup>.*

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 74.

2 Там же. С. 44.

3 Там же. С. 38.

4 Белый А. Серебряный голубь. М., 2001. С. 159. Ср. также в блоковском стихотворении “Я ухо приложил к земле...”.

5 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 12.

6 Там же. С. 17.

7 Там же. С. 78.

8 Поника — “поникший, склоненный долу” (Словарь В. И. Даля).

9 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 70. Ср. также в письме Есенина к А. Добровольскому от 11 мая 1915 года: “На днях меня побили здорово. Голову чуть не прошибли. Сочинил я, знаешь, на старосту прибаску охальную, да один ночью шел и гузынил ее. Сгребли меня сотские и ну волочить” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 69).

**6** В начале октября 1915 года Есенин вернулся в Петроград и временно поселился у Сергея Городецкого. Сюда к молодому поэту поспешил Клюев, некоторое время уже обретавшийся в столице. “И впился в него. Другого слова я не нахожу для начала их дружбы”, — свидетельствовал в своих мемуарах Городецкий<sup>1</sup>. Недоброжелательность этой характеристики следует отнести на счет разногласий Клюева с автором “Яри”, о которых речь еще впереди. Пока же Городецкий, Клюев и Есенин действовали слаженно. 10 октября на квартире Городецкого прошло совещательное собрание литературного общества “Страда” с участием Клюева и Есенина. Всеми тремя велась также активная подготовка к вечеру группы новокрестыанских писателей “Краса” в Тенишевском училище. О своем потенциальном участии в этой группе Есенин, как мы помним, горделиво упомянул в первом, весеннем письме Клюеву.

Именно в октябре 1915 года в сознании современников начал формироваться миф о двух *неразлучных друзьях*, старшем — Клюеве и младшем — Есенине.

6 октября они вместе посетили переводчика и коллекционера Ф. Ф. Фидлера, о чем тот оставил запись в своем дневнике: “Оба восхищались моим музеем и показались мне достаточно осведомленными в области литературы. Увидев гипсовую голову Ницше, Есенин воскликнул: “Ницше!” <...> Видимо, Клюев очень любит Есенина: склонив его голову к себе на плечо, он ласково поглаживал его по волосам”<sup>2</sup>. 7 октября Есенин и Клюев навестили художника и стихотворца, давнего знакомого Клюева по гумилевскому “Цеху поэтов” Владимира Юнгера. 21 октября они были в гостях у Александра Блока, записавшего в дневник: “Н. А. Клюев — в 4 часа с Есениным (до 9-ти). Хорошо”<sup>3</sup>. Этим же вечером выступили с чтением стихов в редакции “Ежемесячного журнала”. Из дневника писателя Б. А. Лазаревского: “Великорусский Шевченко этот Николай Клюев, и наружность, как у Шевченка в молодости. Начал он читать негромко, под сурдинку басом. И очаровал <...> Затем выступал его товарищ, Сергей Есенин. Мальчишка 19-летний, как херувим блаженности и завитой, и тоже удивил меня. В четверть часа эти два человека научили меня русский народ уважать и, главное, *понимать* то, что я не понимал прежде, — музыку слова народного и муку русского народа — малоземельного, водкой столетия отравляемо-

1 *Городецкий С.* О Сергее Есенине... С. 139.

2 Цит. по: *Азадовский К.* Жизнь Николая Клюева. С. 121.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 175. По-видимому, как раз эта дневниковая запись ввела в заблуждение Георгия Адамовича. Ср. с. 67 нашей книги.





Сергей Есенину Рисунок В. А. Юнгера. Петроград. 7 октября 1915

го. И вот точка. И вот мысль этого народа и его талантливые дети — Есенин и Клюев”<sup>1</sup>.

Тем не менее Есенин, верный своему обычаю, и в этот период стремился не ограничивать себя единственной, пусть и “на ура” воспринимаемой ролью<sup>2</sup>. “Сейчас, с приезда, живу у Городецкого и одолеваем ухаживаньем Клюева”, — иронически докладывал Есенин в письме от 22 октября 1915 года к московской поэтессе Любови Столице<sup>3</sup>. Это как-то не очень вяжется с

1 Цит. по: *Азадовский К.* Жизнь Николая Клюева. С. 121, 123.

2 В кружке Константина Ляндау Есенину советовали, “отпустив подлиннее свои льняные кудри, носить поэтическую бархатную куртку под Байрона” (*Чернявский В.* Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 212). По-видимому, эта роль была отвергнута Есениным, как уже отыгранная ранними символистами.

3 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 75.



Иероним Ясинский  
1910-е. Фрагмент групповой фотографии

мифом о дружбе херувима блаженно-го с великорусским Шевченко.

Уже и в первый свой приезд в Петроград Есенин довольно часто бывал в доме у прозаика Иеронима Ясинского на Черной речке, где регулярно собирался пестрый кружок “Вечера К. К. Случевского”<sup>1</sup>. Среди членов этого кружка были поэты С. Городецкий и А. Кондратьев, публицисты-народники М. Протопопов и А. Фаресов, писательница Н. Тэффи, известный критик А. Измайлов и др. Гостеприимная квартира Ясинского весной 1915 года послужила для молодого поэта своеобразным поли-

гоном, учебной площадкой, где он отработывал манеру чтения и где отбраковывались и исправлялись неудачные строки его стихов. “...Поэту давали всевозможные советы, тренировали, некоторые строфы просили повторить, — вспоминала дочь Ясинского Зоя. — На Черной речке Есенин как бы имел последнюю репетицию перед публичным выступлением”<sup>2</sup>.

Появившись здесь с Клюевым в октябре, Есенин, кажется, сознательно подчеркивал контраст между своей внешностью и явно затрапезным, провинциальным обликом старшего поэта. Приходя к Ясинскому, он “одевался по-европейски и никакой поддевки не носил, — вспоминала Ясинская. — Костюм, по-видимому купленный в магазине готового платья, сидел хорошо на ладной фигуре, под костюмом — мягкая рубашка с отложным воротничком. Носил он барашковую шапку и черное пальто. Так одевались тогда в Питере хорошо зарабатывающие молодые рабочие. Есенин имел городской вид и отнюдь не производил впечатления провинциала, который “может потеряться в большом городе”<sup>3</sup>.

По иронии судьбы, знаменитый “народный” костюм Есенина был если не придуман, то в деталях обсужден именно в доме Ясинских. Незадолго до вечера “Красы” в Тенишевском училище “возник сложный вопрос — как одеть Есенина. Клюев заявил, что будет выступать в своем обычном

1 К сожалению, Ясинский лишь мельком упоминает о Есенине в своих мемуарах: *Ясинский И.* Роман моей жизни. М.; Л., 1926. С. 319, 320.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 256.

3 Там же. С. 254.

“одеянии”<sup>1</sup>. Для Есенина принесли взятый напрокат фрак<sup>2</sup>. Однако он совершенно не подходил ему. Тогда С. М. Городецкому пришла мысль нарядить Есенина в шелковую голубую рубашку, которая очень шла поэту. Костюм дополняли плисовые шаровары и остроносые сапожки из цветной кожи, даже, кажется, на каблучках”<sup>3</sup>.

В модернистском гардеробе 1910-х годов экзотический “народный” костюм Есенина по праву соседствует с маскарадной черной маской Андрея Белого, алым хитомом Лидии Зиновьевой-Аннибал, желтой кофтой Владимира Маяковского... Удивительно, но факт: Александр Тиняков в пору своего заболевания тяжелой формой юдофобии обвинил в маскарадном есенинском переодевании некие зловещие еврейские силы: Есенин писал “стишки среднего достоинства, но с огоньком, и — по всей видимости — из него мог бы выработаться порядочный и почтенный человек, — рассуждал Тиняков в антисемитской газете “Земщина”. — Но сейчас же его облепили “литераторы с прожидью”, нарядили в длинную, якобы “русскую” рубаху, обули в “сафьяновые сапожки” и начали таскать с эстрады на эстраду. И вот, позоря имя и достоинство русского мужика, пошел наш Есенин на потеху жидам и ожидовелой, развращенной интеллигенции нашей”<sup>4</sup>.

За четыре года до Тинякова печально известный В. Буренин темпераментно обличал в “прожиди” двух крестников поэтического дебюта Есенина в Петрограде:

Г<осподина> Блока спешит восхвалить и поддержать г<осподин> Городецкий, достойный его соперник по бездарности и безмыслию своих виршей. Посмотрите же, как он это делает. Он ставит эпиграфом, определяющим сущность “поэзии” г<осподина> Блока, следующие два совершенно шутовские его стиха:

- 1 Клюев ходил “в очень длинной, почти до колен, бумазейной широкой кофте темной старушечьей расцветки с белянками крапинками-цветочками и подпоясывался шелковым пояском с кистями” (*Ясинская З. Мои встречи с Сергеем Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 253*).
- 2 К подобным переодеваниям Есенину доводилось прибегать и раньше. Ср. в письме поэта к отцу (август 1914 года, Ялта) сведения о едва ли не первом публичном есенинском чтении стихов перед широкой публикой: “Недавно я выступал здесь на одном вечере. Читал свои стихи. Заработал 35 рублей. Только брал напрокат сюртук, брюки и ботинки, заплатил 7 рублей” (цит. по: *Есенина (Наседкина) Н. Семейная переписка: Известное и неизвестное // Слово. 2000. Ноябрь-декабрь. С. 68*).
- 3 *Ясинская З. Мои встречи с Сергеем Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 257. М. Петрова-Водкина добавляет еще один элемент костюмирования, а именно — “большую синюю папаху” (Петрова-Водкина М. Mon grand mari russe... (Воспоминания жены художника) // Волга (Саратов). 1971. № 9. С. 160), более ни в каких мемуарах не упоминаемую.*
- 4 Цит. по: *Летопись... Т. 1. С. 352.*



Есенин и Клюев. Петроград. 1916

*Вперед с невинными взорами  
Мое детское сердце идет.*

Представьте себе эту картину: г<осподин> Блок выступает с томом своих юных вдохновений, а впереди идет его детское сердце, у которого оказываются “невинные взоры”. Конечно, только для отпрысков Израильского племени, какими, несомненно, должны считаться и сам г<осподин> Блок и его критик г<осподин> Городецкий, такая картина может показаться поэтической до самой “необычайной чрезвычайности” (выражение одного из “еще неведомых избранников” по части распространения жидовских глупостей в газете братьев Гессенов и Милюкова). Если еврейские отпрыски Блок и Городецкий могут вообразить сердце с глазами и, вероятно, также с носом, ртом и

ушами, идущим впереди носителя этого удивительного сердца, то почему бы не усилить еще более нелепость картины, почему не нарисовать уже целую процессию других органов г<осподина> Блока, идущих впереди его? Ведь рядом с сердцем могут также основательно идти печенька, селезенка, желудок г<осподина> Блока. Ведь и эти органы можно также наделить “невинными взорами”, сладостно улыбающимися устами, еврейскими носами, трепетно и жадно нюхающими, откуда дует ветер всяких модернистских нелепостей и т. д.”<sup>1</sup>.

Однако Тиняков в своей статейке о Есенине имел в виду отнюдь не Городецкого и Блока<sup>2</sup>, а, скорее всего, С. Чацкину и Я. Сакера, печатавших Есенина в своем журнале “Северные записки” и вообще всячески покровительствовавших молодому дарованию.

Как ни странно, процитированный пассаж из тиняковской заметки от-

1 Буренин В. Критические очерки // Новое время. 1911. 30 сентября. С. 4.

2 Печально, но приходится сообщить, что Блоком (и Ремизовым) заметка Тинякова была прочитана с сочувствием. См.: Летопись... Т. 1. С. 352.

части перекликается со следующим фрагментом из не слишком правдивых мемуаров советского поэта Всеволода Рождественского, обвинившего в придумывании для Есенина псевдонародного костюма семейство Мережковских: “Для Зинаиды Гиппиус <...> появление Есенина оказалось долгожданной находкой. В ее представлении он, так же как и поэт Н. Клюев, должен был занять место провозвестника и пророка, “от лица народа” призванного разрешить все сложные проблемы вконец запутавшейся в своих религиозно-философских исканиях интеллигенции. Чтобы больше подчеркнуть связь с “почвой”, “нутром”, “черноземом”, Есенина облекли в какую-то маскарадную плисовую поддевку (шитую, впрочем, у первоклассного портного) и завили ему белокурые волосы почти так же, как у Леля в опере “Снегурочка””<sup>1</sup>.

Опровергнуть Рождественского легко: достаточно напомнить о том, что как раз Зинаида Гиппиус с нескрываемой иронией отнеслась к маскарадным переодеваниям Есенина. По воспоминаниям самого поэта, увидев его однажды в валенках в салоне, Гиппиус насмешливо спросила: “Что это на вас за гетры?”<sup>2</sup>

Запланированный вечер “Красы” состоялся 25 октября. “Закоперщиком-конферансье вышел Сергей Городецкий, одетый под стрюцкого в клетчатые штаны. За ним — курносый, дьякообразный Алексей Ремизов в длиннополом сюртуке. А дальше — Клюев в сермяге, из-под которой торпорщилась посконная рубаха с полуфунтовым медным крестом со старинной цепью на груди. И под конец — златокудрый Лель — Есенин в белой шелковой рубашке и белых штанах, заправленных в смазные сапоги. Трехаршинная ливенка оттягивала ему плечи”<sup>3</sup>. Такое шаржированное изображение участников вечера оставил в своих мемуарах крестьянский поэт и прозаик Пимен Карпов.

“Это был первый публичный успех Есенина, не считая предшествовавших закрытых чтений в литературных собраниях”, — подчеркивал в своих мемуарах Городецкий<sup>4</sup>. Все же говорить о стопроцентном успехе не приходится. Зрителей, обладавших художественным и литературным вкусом, не могла не насторожить “довольно приторная” “погоня за народным стилем”, устроенная организаторами “этого нарочито “славянского” вечера”<sup>5</sup>. Так, Борис Садовской в “Биржевых ведомостях” неодобритель-

1 *Рождественский В.* Страницы жизни. С. 252.

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 229.

3 *Карпов П.* Пламень. Русский ковчег. Из глубины. М., 1991. С. 325.

4 *Городецкий С.* О Сергее Есенине... С. 140.

5 *Чернявский В.* Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 212.

но упомянул о “парикмахерски завитых кудрях” Есенина, дающих “фальшивое впечатление пастушка с лукутинской табакерки. Этого мнимого “народничества” лучше избегать”<sup>1</sup>. Еще более резок был автор издательского “Вдохновенного отчета” о вечере “Красы”, помещенного некоторое время спустя в “Журнале журналов”. О выступлении Есенина он писал так:

*Плохостишьем незабвенен  
(Где такого и нашли!)  
Заливается Есенин  
Ой-дид-ладо, ой-люли!*<sup>2</sup>

Но и полного провала, сопровождаемого криками из публики: “Деньги на бочку!”, как о том поведал в своих воспоминаниях завистливый Пимен Карпов<sup>3</sup>, тоже не было. Есенин, читавший стихи и аккомпанировавший себе на балалайке, имел успех. “Хрупкий, девятнадцатилетний крестьянский юноша, с вольно вьющимися золотыми кудрями, в белой рубашке, высоких сапогах, сразу, уже одним милым доверчиво-добрым, детски чистым своим обликом властно приковал к себе все взгляды”<sup>4</sup>. Наверняка поклонница молодого крестьянского поэта, Зоя Бухарова в своем газетном отчете несколько преувеличила степень магнетического воздействия внешности Есенина на зрителей. Однако “преувеличила” в данном случае не означает “солгала”. “В его поэзии чувствуется влияние Городецкого, Брюсова, Блока. Иногда промелькнет даже Поль Верлен, загримированный кудрявым пастушонком Лелем”. Так, не без иронии, но в целом вполне доброжелательно описывал свое впечатление от Есенина корреспондент “Нового времени”<sup>5</sup>. “...Публика, привыкшая в то время к разным экстравагантным выходкам поэтов, скоро освоилась, поняв, что это “реклама” в современном духе, и надо слушать не балалайку, а стихи поэтов”, — писала в своих мемуарах Зоя Ясинская<sup>6</sup>.

Вероятно, мы не ошибемся, если предположим, что общее впечатление от выступления Клюева и Есенина на вечере “Красы” приблизительно-

1 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 280.

2 Там же. С. 283.

3 Карпов П. Пламень... С. 326. Карпов в мемуарах Есенина охаял, хотя в 1916 году подарил ему свою книгу “Пламень” с такой дарственной надписью: “Светлому поэту милостию Божией Сергею Александровичу Есенину с горячей любовью” (цит. по: Летопись... Т. 1. С. 318).

4 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 282.

5 Там же. С. 279.

6 Ясинская З. Мои встречи с Сергеем Есениным... С. 257.



но совпадало с суждением, которое значительно позднее высказал об этих двух поэтах Максимилиан Волошин: “Деланно-залихватское треньканье на балалайке, игра на гармошке и подлинно русские захватывающие голоса”<sup>1</sup>.

Все же отсутствие обещанного триумфа сыграло негативную роль в наметившемся охлаждении к Городецкому со стороны славлюбивого Есенина. Масла в огонь наверняка подлил ревнивый Клюев. Характерно, что группа “Краса” после вечера в Тенишевском училище вскоре прекратила существование.

**7** Впрочем, о полном разрыве между Городецким, с одной стороны, и Клюевым с Есениным — с другой, речи пока не было. Осенью 1915 года Городецкий познакомил крестьянских поэтов с полковником Д. М. Ломаном, “уполномоченным Ее Величества по полевому Царскосельскому военно-санитарному поезду № 143 Ее Императорского Величества Государыни Императрицы Александры Федоровны”. Это было очень кстати для Есенина, все время жившего под страхом призыва в армию и отправки на фронт. В октябре Городецкий отправил Ломану письмо с просьбой содействовать зачислению молодого стихотворца в поезд для прохождения воинской службы.

Тогда же произошло знакомство Есенина с поэтом, которому на долгие годы было суждено стать его главным соперником в борьбе за популярность в читательской среде.

“В первый раз я его встретил в лаптях и в рубахе с какими-то вышивками и крестиками, — вспоминал Владимир Маяковский. — Это было в одной из хороших ленинградских (так! — *О. Л., М. С.*) квартир. Зная, с каким удовольствием настоящий, а не декоративный мужик меняет свое одеяние на штиблеты и пиджак, я Есенину не поверил. Он мне показался опереточным, бутафорским. Тем более что он уже писал нравящиеся стихи и, очевидно, рубли на сапоги нашлись бы.

Как человек, уже в свое время относивший и отставивший желтую кофту, я деловито осведомился относительно одежды:

— Это что же, для рекламы?

Есенин отвечал мне голосом таким, каким заговорило бы, должно быть, ожившее лампадное масло. Что-то вроде:

<sup>1</sup> *Волошин М.* Лики творчества. Л., 1988. С. 770.



“Краса — Сирины пииты”: С. Городецкий, Н. Клюев, А. Ремизов, С. Есенин  
Карикатура А. Д. Топикова (Е. И. Праведникова) на членов общества “Краса” из петроградского  
журнала “Рудин” (1915. № 1)

— Мы деревенские, мы этого вашего не понимаем... мы уж как-нибудь... по-нашему... в исконной... посконной...

<...> Но малый он был как будто смешной и милый.

Уходя, я сказал ему на всякий случай:

— Пари держу, что вы все эти лапти да петушки-гребешки бросите!

Есенин возражал с убежденной горячностью. Его увлек в сторону Клюев, как мамаша, которая увлекает развращаемую дочку, когда боится, что у самой дочки не хватит сил и желания противиться”<sup>1</sup>.

Сходный портрет Есенина набросал в своих воспоминаниях Горький, познакомившийся с молодым поэтом той же осенью: “Кудрявенький и

1 Маяковский В. Как делать стихи? // Маяковский В. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 12. М., 1959. С. 93–94.

светлый, в голубой рубашке, в поддевке и сапогах с набором, он очень напоминал слащавенькие открытки Самокиш-Садковской, изображавшей боярских детей, всех с одним и тем же лицом”<sup>1</sup>.

В конце октября Есенин закончил составление своей первой книги стихов “Радуница”. 16 ноября он, по совету Клюева, отдал эту книгу в издательство М. Аверьянова. Еще через два дня, 19 ноября, Клюев и Есенин приняли участие в первом вечере литературно-общественного объединения “Страда”, наследующего “Красе”. Председателем объединения был избран Ясинский, товарищем председателя — Городецкий.

Вскоре после проведения этого вечера исподволь копившееся раздражение Есенина и Клюева против Городецкого прорвалось наружу. Придравшись к пустячному поводу — Городецкий был категорически против принятия в “Страду” посредственного стихотворца Дмитрия Цензора — административная верхушка объединения резко прервала с ним контакты. При личной встрече Городецкого с Есениным дело дошло чуть ли не до драки<sup>2</sup>. “К сожалению, мужики мало похожи на кремль, народ не очень прочный, лютый до денег, из-за чего на все стороны улыбки посылают. Я говорю о наших гостях-мужиках Клюеве и Есенине”, — с горечью резюмировал ситуацию Городецкий в письме к Александру Ширяевцу<sup>3</sup>. Спустя совсем короткое время литератор Л. Клейнборт спросил у Есенина:



Сергей Есенин  
Петроград. 1915

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 5. Этот мимоходный мемуарный портрет по понятным причинам весьма сильно повлиял на тональность многих советских мемуаров о Есенине.

2 См.: Летопись... Т. 1. С. 290.

3 Александр Ширяевец: Из переписки... С. 28. До самой гибели Есенина отзвуки этой ссоры слышались в суждениях Городецкого о стихах младшего поэта. Так, в 1923 году он тенденциозно усмотрел в есенинском стихотворении “Ночь и поле, и крик петухов...” “рабство перед религией и урядником” (*Городецкий С. Деревенские соловьи // Город и деревня. 1923. № 2 (май). С. 7*). Ср. также: *Городецкий С. Поэты из деревни // Кавказское слово. 1917. 29 сентября.*



Есенин и Клюев. *Петроград*. 1916

“— Зачем вы это с Городецким?

— С Городецким? — удивился он. — Ах да! Ну, это ничего; люди и не то делают, да проходит”<sup>1</sup>.

После разрыва с Городецким пропаганда творчества Есенина и Клюева сделалась едва ли не основной задачей “Страды”. А Клюев, воспользовавшись моментом, приобрел над Есениным еще бóльшую власть. “Он совсем подчинил нашего Сергуньку: поясок ему завязывает, волосы гладит, следит глазами”, — жаловался Владимир Чернявский в письме к Василию Гиппиусу от 1 декабря<sup>2</sup>.

10 декабря 1915 года в зале Товарищества гражданских инженеров в Петрограде прошел первый закрытый вечер “Страды”, целиком посвященный поэзии Клюева и Есенина.

25 декабря Клюев привез Есенина в Царское Село и познакомил там с Николаем Гумилевым и Анной Ахматовой. “С. Есенин был у них в Царском Селе, сидел на кончике стула, робко читал стихи и говорил “мерсити””, — со слов Ахматовой записал Павел Лукницкий в 1925 году<sup>3</sup>.

1 Цит. по: Кузнецов В. Тайна гибели Есенина: По следам одной версии. М., 1998. С. 262–263.

2 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 363.

3 Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой... С. 277.

В словаре Козьмина об отрезке биографии Есенина, который описан в этой главе, сказано так: “19 лет попал в Санкт-Петербург, где познакомился с Блоком, Городецким, Клюевым. Принят поэтами он был очень радушно. С 1915 г. начал печататься во всех лучших журналах того времени, а осенью 1915 г. появилась его первая книга “Радуница””<sup>1</sup>.

1 Писатели современной эпохи... С. 122.

# Глава четвертая

## “Народный сказитель” в “лаковых сапожках” (1916)

**1** 1 января 1916 года Николай Клюев и Сергей Есенин приехали в Москву. Сразу два обстоятельства этого визита резко отделили обоих поэтов от той элитарной модернистской среды, в которую они до тех пор вполне органично вписывались.

Во-первых, в Москве для них по специальному заказу сшили концертные костюмы и сапоги: 5 января Есенин и Клюев побывали в мастерской русского платья братьев Стуловых и придирчиво осмотрели материал для будущей обновы. “Сапоги с трудом, но удалось найти; они выбрали цвет кожи золотисто-коричневый, хотя и не совсем стильный, но очень приятный, не режущий глаз”, — докладывал Н. Т. Стулов полковнику Ломану<sup>1</sup>. Вдохновенное дилетантское переодевание своих предшественников сметливые крестьянские поэты рационально, но как-то уж очень неделикатно подменили обращением за помощью к профессиональным портным и сапожникам. Соответственно, и сами они в глазах этих предшественников из выразителей религиозных чаяний русского народа в одночасье превратились едва ли не в наемных артистов, “оперных мужиков”, в лучшем случае в полуэстрадных “сказителей”; именно так, без тени иронии, именовал Есенина и Клюева Стулов в донесениях Ломану<sup>2</sup>.

1 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 310.

2 Ср. недостоверный, но, по-видимому, опирающийся на реальные настроения, царившие в модернистской среде, эпизод из мемуаров Г. Иванова:

“Бывают и неприятности, конечно. Сологуб, например, прощаясь, проворчит по-стариковски:

— А где ваш главный распорядитель?

— Какой, Федор Кузьмич?

— Да Лейферт, костюмер. Лапти-то у него напрокат брали” (Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 70).





Великая княгиня Елизавета Федоровна. 1913

Во-вторых, что еще важнее: основной целью приезда “сказителей” в Москву было выступление перед великой княгиней Елизаветой Федоровной и ее ближайшим окружением. Разумеется, это тоже не могло понравиться законодателям литературного Петрограда. Ведь, по традиции, еще с 1905 года все они, за редчайшим исключением, были настроены по отношению к царскому двору крайне негативно.

*Стоят три фонаря — для вешанья трех лиц:  
Середний — для царя, а сбоку — для цариц.*

Эта лютая эпиграмма в 1905 году была написана не Демьяном Бедным и не Глебом Кржижановским, а символистом Федором Сологубом. Начавшаяся Первая мировая война лишь сперва воодушевила, а потом еще больше обозлила передовую интеллигенцию.

Как мы еще увидим, откровенно вызывающее поведение Клюева и Есенина диктовалось стремлением преодолеть зависимость от модернистов и попытаться вести собственную линию не только в искусстве, но и в общественной жизни.



Храм Покрова Пресвятой Богородицы Марфо-Мариинской обители  
Фотография О. Гусарова. 2005

В первых числах января поэты выступили в стенах Марфо-Мариинской обители, словно специально построенной для восприятия стилизованных под русскую старину “сказаний”. Главный храм обители, возведение которого по проекту А. В. Щусева было завершено в 1912 году, совмещал в своем облике черты стиля модерн с элементами средневекового новгородско-псковского зодчества. Расписывал храм Михаил Нестеров<sup>1</sup>.

“По их словам, — писал Стулов полковнику Ломану о Клюеве и Есенине, — они очень понравились Великой княгине и она долго расспрашивала их о прошлом, заставляя объяснять смысл их сказаний”<sup>2</sup>. 12 января, “уже в новых костюмах”, но еще в старых сапогах, поэты читали стихи “лично у Великой Княгини в ее доме”<sup>3</sup>. Присутствовавший на этом чтении М. В. Нестеров в воспоминаниях оставил не слишком приязненный портрет Есенина: “Начал молодой: нежным, слащавым голосом он декла-

1 Клюев и Есенин, конечно, не читали свои “сказания” в соборе. Но перед выступлением поэты его посетили.

2 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 309.

3 Из донесения Стулова Ломану; Летопись... Т. 1. С. 310.

мировал свои стихотворения. Содержания их я не помню, помню лишь, что все: и голос, и манера, и сами стихотворения показались мне искусственными<sup>1</sup>.

Самое парадоксальное заключается в том, что в начале 1916 года Есенин-поэт, может быть, как никогда прежде был далек от создававшегося им образа наивного пастушка. 10 января газета “Биржевые ведомости” напечатала его стихотворение “Лисица”. Здесь нет и тени лубочного псевдославянского стилизаторства, хотя диалектные и устаревшие слова встречаются не раз и не два<sup>2</sup>. Весомо и зримо есенинское стихотворение свидетельствовало о подлинном, не заемном мастерстве рязанского поэта:

*На раздробленной ноге приковыляла,  
У норы свернулася в кольцо.  
Тонкой прошвой кровь отмежевала  
На снегу дремучее лицо.*

*Ей все бластился в колючем дыме выстрел,  
Колыхалася в глазах лесная топь.  
Из кустов косматый ветер взбыстрил  
И рассыпал звонистую дробь.*

*Как желна, над нею мгла металась,  
Мокрый вечер липок был и ал.  
Голова тревожно подымалась,  
И язык на ране застывал.*

*Желтый хвост упал в метель пожаром,  
На губах — как прелая морковь...  
Пахло инеем и глиняным угаром,  
А в ощур сочилась тихо кровь.*

“Я был поражен достоверностью живописи, удивительными мастерскими инверсиями, — вспоминал Валентин Катаев свое первое впечатление от этого стихотворения. — <...> Прелая морковь dokonала меня. Я никогда не представлял, что можно так волшеббно пользоваться словом. Я почувствовал благородную зависть — нет, мне так никогда не написать! Незнако-

1 Нестеров М. Воспоминания. М., 1985. С. 335.

2 Недаром в журнальной публикации “Лисица” была посвящена Алексею Михайловичу Ремизову.



Сергей Есенин и Михаил Мурашев. Петроград. Апрель 1916

мый поэт запросто перешагнул через рубеж, положенный передо мною Буниным и казавшийся окончательным”<sup>1</sup>.

15 января 1916 года новые сапоги Клюева и Есенина были наконец готовы. Эту обнову “сказители” опробовали 21 января в собрании московского “Общества свободной эстетики”, где новокрестьянские поэты читали свои стихи. “Сшили они себе боярские костюмы — бархатные длинные кафтаны; у Сергея была шелковая голубая рубаша и желтые сапоги на высоком каблуке, как он говорил: “Под пятой, пятой хоть яйцо кати”, — вспоминала Анна Изряднова. — <...>В “Эстетике” на них смотрели как на диковинку”<sup>2</sup>. “...Ломание их в литературе и маскарад на вечерах — мне не нравятся, — писал Л. Клейнборту Семен Фомин, в прошлом соратник Есенина по радикальному крылу Суриковского кружка. — Пожалуй, они далеки от настоящего народничества”<sup>3</sup>.

Приведем фрагмент из мемуаров еще одного посетителя этого вечера — Ивана Розанова. Он изобразил молодого Есенина как “парня странного вида”, на котором “была голубая шелковая рубашка, черная бархат-

1 Катаев В. Алмазный мой венец // Катаев В. Трава забвения. С. 48.

2 Изряднова А. Воспоминания... С. 145.

3 Летопись... Т. 1. С. 316.

ная безрукавка и нарядные сапожки”. “Но особенно поражали пышные волосы, — продолжает Розанов. — Он был совершенно белоголовый, как бывают в деревнях малые ребята. Обыкновенно позднее такие волосы более или менее темнеют, а у странного нарядного парня остались, очевидно, и до сих пор. Во-вторых, они были необычайно кудрявы. Возникло подозрение, не завит ли он или... хотелось подойти и попробовать, не парик ли?”<sup>1</sup>

23 или 24 января Клюев и Есенин возвратились в Петроград и сразу же предстали перед своим высоким покровителем полковником Ломаном. Мы не знаем, как он



Дмитрий Ломан  
1904–1905. Фрагмент групповой фотографии

отреагировал на сценические наряды “сказителей”. Зато доподлинно известно, что на малолетнего полковничьего сына Юру “молодой кудрявый блондин в канареечного цвета рубаше и русских цветных сапогах на высоченном каблуке”<sup>2</sup> произвел поистине сказочное впечатление. В своих позднейших мемуарах он писал: “Я на него глядел, и мне показалось, что этот парень похож на Ивана-царевича, словно он только что сошел с серого волка”<sup>3</sup>.

В начале февраля 1916 года в книжные магазины поступила первая книга стихов Есенина “Радуница”. “Получив авторские экземпляры, — вспоминал М. Мурашев, — Сергей прибежал ко мне радостный, уселся в кресло и принялся перелистывать, точно пестуя первое свое детище”<sup>4</sup>.

Заглавие книги, как повелось у поэта, заключало в себе загадку для “городского” читателя, но загадку отнюдь не трудную. Достаточно заглянуть в словарь В. И. Даля и узнать оттуда, что радуница — это “родительский день поминовения усопших на кладбище на Фоминой неделе; тут поют, едят, угощают и покойников, призывая их на радость пресветлого Воскресения”.

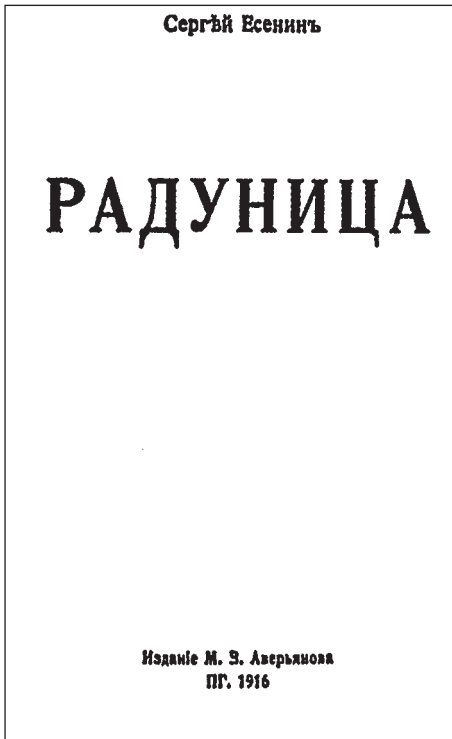
1 Розанов И. Есенин и его спутники // Есенин: Жизнь. Личность. Творчество. С. 74.

2 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 315.

3 Там же. С. 315. О пребывании Есенина и Клюева в Москве см. также: Сергей Есенин в январе 1916-го // Голос профсоюзов (Рязань). 1993, № 11 (18–24 марта).

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 189.





Титульный лист первого сборника стихов С. Есенина “Радуница” (Пг., 1916)

*Чую радуницу Божью —  
Не напрасно я живу,  
Поклоняюсь бездорожью,  
Припадаю на траву.*

*Между сосен, между елок,  
Меж берез кудрявых бус,  
Под венцом, в кольце иголок,  
Мне мерещится Исус... —*

варьировал Есенин любимые пантеистические мотивы в ключевом стихотворении книги<sup>1</sup>. Пройдет несколько лет, и Александр Блок в финальных строках “Двенадцати” (“Впереди Исус Христос”) тоже предпочтет старообрядческую — воспринимаемую как простонародную — форму имени Божьего канонической.

Сдерживая свой диалектический пыл в стихотворениях “Радуницы”, молодой поэт вдоволь по-

упражнялся в стилизации лексикона *Ивана-царевича*, даря первую книгу коллегам-литераторам. И. Ясинскому, к примеру, “Радуница” была вручена “на добрую память от размычливых упевов сохи-дерехи и поемов Константиновских-Мещёрских певнозобых озер”<sup>2</sup>; Н. Венгрову — “от ипостаси сохи-дерехи”<sup>3</sup>; М. Горькому — “от баяшника соломенных суёмов”<sup>4</sup>; Н. Котляревскому — “от росейского парня”<sup>5</sup>; Я. Сакеру — “от баяшника соломенных суёмов за подсовки в бока, которые дороже многих приятных, но только слов”<sup>6</sup>; Д. Философону — “за доброе напутное слово от баяшника соломенных суёмов”<sup>7</sup>; Е. Замятину — “Баяшнику, словомолит-

1 П. Сакулин в рецензии на “Радуницу” назвал это стихотворение “самоопределением” Есенина (*Сакулин П.* Народный златоцвет // *Вестник Европы.* 1916. № 5. С. 206).

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 35.

3 Там же. С. 36.

4 Там же. С. 38.

5 Там же. С. 40.

6 Там же. С. 50.

7 Там же. С. 51.



Самому доброму, самому  
 искреннейшему писателю  
 и человеку во всем,  
 дорогому Героими Петру  
 Ясинскому  
 На добрую память  
 отъ разномысливша учителя  
 сох. - деревни и писателя  
 Константина Веселова —  
 Мецкерского павловогоского  
 озера  
 Сергей Есенин  
 1916 . 7 февраля  
 пт.

Дарственная надпись С. Есенина на книге “Радуница”, адресованная И. Ясинскому  
 Петроград. 7 февраля 1916

венному <...> с поклоном и лютой верой”<sup>1</sup>. В последнем из приведенных инскриптов находим забавный след усвоения уроков недавнего есенинского учителя: “с любовью и верой лютой”, как мы помним, вручил начинающему Есенину свою книгу стихов “Четырнадцатый год” Сергей Городецкий.

“Все в один голос говорили, что я талант. Я знал это лучше других” — так Есенин резюмировал критические отклики на “Радуницу” в автобиографии 1923 года<sup>2</sup>. Но это резюме не отражает всей полноты картины. Действительно, положительные рецензии в газетах и журналах преобладали. П. Сакулин: “В Есенине говорит непосредственное чувство крестьянина”<sup>3</sup>; С. Парнок: мир образов “Радуницы” “подлинен, а не изготовлен

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 41.

2 Там же. С. 12.

3 Сакулин П. Народный златоцвет // Вестник Европы. 1916. № 5 С. 205. Статья известного историка литературы П. Н. Сакулина была печатным вариантом его вступительного слова на вечере Есенина и Клюева в Женском педагогическом институте, который состоялся 10 февраля 1916 года.

Великому писателю  
Золотой Рукиной Леониду  
Николаевичу Андрееву  
Отъ племени рязанскаго  
Отъ хлебопашки и укровы  
Старухы и молодухы  
На память сердечную  
О сохи и полевъ  
Сергей Есенин.

1916 г. 14 окт.  
п.п.

Дарственная надпись С. Есенина на книге “Радуница”, подаренной Л. Андрееву  
Петроград. 14 октября 1916

в театральной костюмерной”<sup>1</sup>; З. Бухарова: Есенин — “лирик и художник родного быта”<sup>2</sup>.

Однако доброжелательные отзывы на “Радуницу” соседствовали в прессе с резко отрицательными. Среди них особо выделяется рецензия вечно обидчика молодых стихотворцев Николая Лернера, обвинившего Есенина и Клюева в сознательной и безвкусной стилизации “родной речи”: “Трудно поверить, что это русские, до такой степени стараются они сохранить “стиль русс”, показать “национальное лицо” <...> Есенин не решается сказать: “слушают ракиты”. Помилуйте: что тут народного? А вот “слушают ракиты” — это самое нутро народности и есть. “Хоровод” — это выйдет чуть не по-немецки, другое дело “корогод”, квинтэссенция деревенского духа <...> Оба щеголяют “народными” словами, как военный писарь “заграничными”, и обоих можно рекомендовать любознательным

1 Андрей Полянин [Парнок С.]. [Рец. на “Радуницу”] // Северные записки. 1916. № 6. С. 219.

2 З. Б. [Бухарова З.]. [Рец. на “Радуницу”] // Ежемесячное литературное и популярное приложение к журналу “Нива”. 1916. № 5. С. 149.

людям для упражнения в переводах с “народного” на русский”<sup>1</sup>. Когда автору “Радуницы” сделали похожий упрек на собрании у И. Ясинского, он “сослался на словарь Владимира Даля, где слово “корогод” в значении “хоровод” действительно можно найти”<sup>2</sup>. Не в этом ли словаре, повторимся, Есенин, вслед за С. М. Городецким и А. Н. Толстым, нашел и многие другие “народные” слова для своих стихотворений?<sup>3</sup>

Резко негативно оценил “Радуницу” один из прежних есенинских приятелей Георгий Иванов. В своем отклике на книгу он злопамятно припомнил Есенину его старательное ученичество у символистов. По мнению Иванова, в стихотворениях “Радуницы” крестьянский поэт прошел “курс модернизма, тот поверхностный и несложный курс, который начинается перелистыванием “Чтеца-декламатора” и заканчивается усердным чтением “Весов” и “Золотого руна”. Чтением, когда все восхищает, принимается на веру, и все усваивается как непреложная истина”<sup>4</sup>.

**2** Пятого февраля в зале Товарищества гражданских инженеров состоялся вечер “Новой студии” с участием Клюева и Есенина. Нешуточное раздражение по отношению к обоим “стилизаторам”, которое назрело у петроградской рафинированной публики к этому времени<sup>5</sup>, прорвалось в газетных отчетах. “...Их искание выразилось, главным образом, в искании... бархата на кафтан, плису на шаровары, сапогов бутылками, фа-

1 Справедливости ради нужно все же отметить, что Лернер не отказывал ни Клюеву, ни Есенину в таланте. “Оба, в особенности Есенин, не чужды поэтических настроений, оба воспринимают красоту мира”, — писал он. См.: *Лернер Н.* Господа Плевички // Журнал журналов. 1916. № 10. С. 6.

2 *Ясинская З.* Мои встречи с Сергеем Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 259.

3 О работе А. Н. Толстого-поэта со словарем Даля см.: *Громов А., Лекманов О., Свердлов М.* Комментарий // *Толстой А. Н.* За синими реками. М., 2000. (Серия: “Пушкинская библиотека”). С. 566–567. См. также в рецензии М. Волошина на книгу стихов Толстого “За синими реками” (1911): “Едва ли не первый из современных поэтов, начавший читать Даля, был Вячеслав Иванов. Во всяком случае современные поэты младшего поколения под его влиянием подписались на новое издание Даля” (*Волошин М.* Лики творчества... С. 535). Ср. в мемуарах Городецкого сообщение о том, что Вячеслав Иванов “весьма сочувственно отнесся к Есенину” (*Городецкий С.* О Сергее Есенине... С. 139). Ср. с мнением Вячеслава Иванова о Есенине, зафиксированным М. С. Альтманом в 1921 году: “Есенин близок к мифотворчеству, он, несомненно, талантлив, хотя учителя его, Клюева, я считаю выше” (*Альтман М.* Разговоры с Вячеславом Ивановым. СПб., 1995. С. 79).

4 *Иванов Г.* Черноземные голоса // Русская воля. 1917. № 226. (23 сентября). Ср. с едким замечанием Г. И. Чулкова в 1915 году о начинающем стихотворце “из Рязани или Тамбова”, прочитавшем “своевременно кое-какие нужные книжки” (цит. по: *Летопись...* Т. 1. С. 243).

5 Впрочем, сходными настроениями либеральная интеллигенция была охвачена уже довольно давно. Ср. в неподписанной заметке “Среди журналов и газет”, помещенной в петербургском журнале “*Gaudeamus*” в 1911 году: “Неужели не надосело интеллигентам выводить в свет “дрессированного на свободе” мужика? Не пора ли вернуться к подлинному народу, который любит мысль и вдохновение и побивает камнями парней с гармониками” (*Gaudeamus*. 1911. № 10. С. 14).

бричных, модных, форсистых, помады головной и чуть ли не губной”, — издевался Н. Шебуев в легкомысленном “Обозрении театров”<sup>1</sup>. В иной тональности, но, по сути, сходно оценил выступление Есенина и Клюева наблюдатель из консервативного “Нового времени”: “Поэты-“новонародники” гг. Клюев и Есенин производят попросту комическое впечатление в своих театральных поддевках и шароварах, в цветных сапогах, со своими версификационными вывертами, уснащенными якобы народными, непонятными словечками. Вся эта нарочитая разряженность не имеет ничего общего с подлинной народностью, всегда подкупающей искренней простотой чувства и ясностью образов”<sup>2</sup>.

В недалеком будущем такие упреки Клюеву и Есенину превратятся в общее место разносных статей об их поэзии. По указанным выше причинам эти упреки очень часто будут обряжены в “одежные” метафоры и сравнения. “Их творчество от подлинно народного творчества отличается так же резко, как опереточный мужичок в шелковой рубаше и плисовых шароварах отличается от настоящего мужика в рваной сермяге и с изуродованными работой руками, — обличал Клюева и Есенина Д. Семеновский. — Их стихи — утрированный лубок, пряник в сусальном золоте”<sup>3</sup>. “Среди представителей литературной богемы появилась новая разновидность — “народные поэты””, — саркастически сопоставлял далековатые понятия “богема” и “народ” Б. Никонов<sup>4</sup>. Сравним это высказывание с впечатлениями Я. Мечиславской, впервые увидевшей Есенина на одном из выступлений зимой 1916 года. Ей запомнился “голубоглазый, златокудрый паренек, одетый в псевдорусском стиле, в бархатных брюках, в вышитой шелковой рубашке... Нам <с подругой> не понравился его пейзажный вид”<sup>5</sup>.

Ярче и объективнее многих других критиков о феномене народных “певцов” в письме к Александру Ширяевцу от 19 декабря 1916 года высказался будущий летописец эпохи модернизма Владислав Ходасевич: “Мне не совсем по душе основной лад Ваших стихов, — как и стихов Клычкова, Есенина, Клюева: стихов “писателей из народа”. Подлинные народные песни замечательны своей непосредственностью. Они обаятельны в устах *самого народа*, в точных записях. Но, подвергнутые литературной, книжной обработке, как у Вас, у Клюева и т. д., — утрачивают они главное свое

1 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 323.

2 Там же. С. 324.

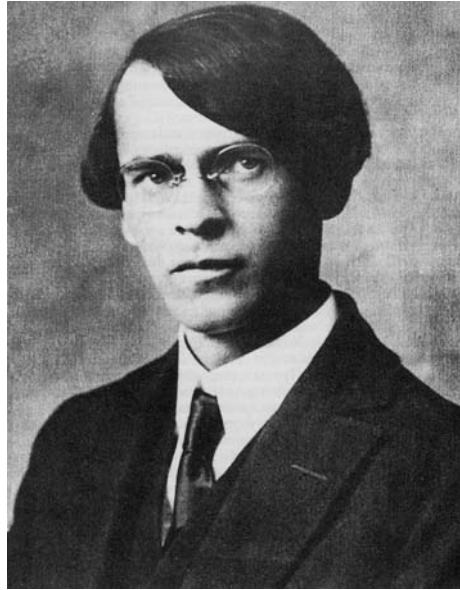
3 Рабочий край (Иваново-Вознесенск). 1918. № 110 (20 июля).

4 Цит. по: Летопись... Т. 1. С. 346.

5 Цит. по: *Бebutov Г.* “О дальней северянке” // Дом под чинарами. Тбилиси, 1970. С. 234.

достоинство, — примитивизм. Не обижайтесь — но ведь *все-таки* это уже стилизация. И в Ваших стихах, и у других, упомянутых мной поэтов, — песня народная как-то подчищена, вылощена. Все в ней новенькое, с иголочки, все пестро и цветисто, как на картинках Билибина. Это те “шелковые лапотки”, в которых ходил кто-то из былинных героев, — Чурило Пленкович, кажется. А *народ* не в шелковых ходит, это Вы знаете лучше меня”<sup>1</sup>.

Судя по всему, чуткий Есенин начал всерьез тяготиться маской билибинского вылощенного селянина, обряженного в “шелковые лапотки”, уже к январю-февралю 1916 года. Недвусмысленное отторжение образа



Владислав Ходасевич  
Между 1918 и 1921

“опереточного крестьянина” братьями по поэтическому цеху ясно продемонстрировало автору “Радуницы” исчерпанность этой роли. Именно в первую зимнюю декаду 1916 года с опасной силой зазвучала нота отчуждения во взаимоотношениях Есенина с главным тогдашним “сторонником” “поддевочного стиля” Николаем Клюевым<sup>2</sup>.

“В начале 1916 года Сергей, кажется, впервые заговорил со мной откровенно о Клюеве, без которого даже у себя дома я давно его не видел, — вспоминал Владимир Чернявский. — С этих пор, не отрицая значение Клюева как поэта и по-прежнему идя с ним по одному пути, он не сдерживал своего мальчишески-сердитого негодования”<sup>3</sup>. В том фрагменте своих мемуаров, который был впервые опубликован по-русски лишь относительно недавно, Чернявский более подробно рассказал о сути претензий Есенина Клюеву: “С совершенно искренним и здоровым отвращением говорил <младший поэт о гомосексуализме старшего>, не скрывая, что ему пришлось физически уклоняться от настойчивых притязаний “Николая” и припугнуть его большим скандалом и разрывом, невыгод-

1 Александр Ширяевец. Из переписки... С. 30.

2 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 212.

3 Там же. С. 214.



Надежда Плевицкая. 1910-е

ным для их поэтического дела <...> По возвращении из первой поездки в Москву Сергей рассказывал, как Клюев ревновал его к женщине (Анне Изрядновой. — О. Л., М. С.), с которой у него был первый — городской — роман. “Как только я за шапку, он — на пол, посреди номера, сидит и воет во весь голос по-бабьи: не ходи, не смей к ней ходить”<sup>1</sup>.

В “золотой” период дружбы с Клюевым Есенин был готов до известных пределов терпеть его “настойчивые притязания”. Теперь он все чаще вырывался из-под назойливой опеки наставника. Приведем свидетельство из мемуаров прославленной исполнительницы русских народных

песен Н. Плевицкой, относящееся к весне 1916 года: “Сначала Есенин стеснялся, как девушка, а потом осмелел и за обедом стал трунить над Клюевым. Тот ежился и, втягивая голову в плечи, опускал глаза”<sup>2</sup>. Тогда же Есенин подарил Клюеву свою фотографию с очень теплой надписью, сделанной, однако, как бы из отдаляющих и примиряющих грядущих лет: “Дорогой мой Коля! На долгие годы унесу любовь твою. Я знаю, что этот лик заставит меня плакать (как плачут на цветы) через много лет. Но это тоска будет не о минувшей юности, а по любви твоей, которая будет мне как старый друг. Твой Сережа. 1916 г. 30 марта. П<е>т<роград>”<sup>3</sup>. В начале лета того же года Есенин писал Михаилу Мурашеву из Москвы: “Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику. Стулов в телеграмме его обругал, он, оказалось, был у него раньше, один, когда ездил с Плевицкой и его кой в чем обличили”<sup>4</sup>. Не очень понятно, о какой “политике” Клюева идет тут речь, но все есенинское письмо дышит темной и не вполне оправданной злобой по отношению к старшему другу.

Еще не выйдя полностью из роли *Ивана-царевича*, Есенин принялся работать над своим новым образом, заимствованным, впрочем, все из то-

1 Цит. по: Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. С. 129–130.

2 Плевицкая Н. Клюев и Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 103.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 42.

4 Там же. Т. 6. С. 79.



го же “народного” репертуара, только не из сказки, а из разбойничьей песни. Поздней зимой и ранней весной 1916 года поэт впервые основательно примерил на себя маску *ухаря-озорника*. Можно сказать, что и в этом случае он своеобразно повторял Александра Блока, последовательно сменившего “высокую” ипостась служителя Прекрасной Дамы на “низкую” — певца Незнакомки и Коломбины.

Новую исполнительскую манеру Есенин попробовал контрастно совместить со старым материалом: на домашнем вечере у Евгения Замятина он “из особого ухарства” читал “с папироскою в зубах” свое длинное, исполненное “религиозного чувства” стихотворение “Микола”<sup>1</sup>:

*...Ходит ласковый угодник,  
Пот елейный льет с лица:  
“Ой ты, лес мой, хороводник,  
Прибаюкай пришлеца”.*

.....

*Говорит Господь с престола,  
Приоткрыв окно за рай:  
“О мой верный раб, Микола,  
Обойди ты русский край.*

*Защити там в черных бедах  
Скорбью вытерзанный люд.  
Помолись с ним о победах  
И за нищий их уют”...*

А в сентябрьском-октябрьском номере “Ежемесячного журнала” за 1916 год Есенин опубликовал стихотворение “В том краю, где желтая крапива...”, сквозь которое черты его новой поэтической маски проступали уже совершенно отчетливо:

*...Много зла от радости в убийцах,  
Их сердца просты.*

<sup>1</sup> Гребенищев Г. Сережа Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 99. Интересный факт: в марте 1916 года, очевидно, готовя свою новую роль, Есенин специально занимался в школе сценического искусства у Владимира Сладкопевцева (*Студенцова Е.* Встречи: Владимир Владимирович Сладкопевцев и Сергей Есенин // С. А. Есенин: Материалы к биографии. М., 1992. С. 15–17).



Варшавский мост Ковля! На фонтане воды  
Унесу любовь твою. И знаю  
Что этот мост дождями  
Меня мокает (как неочищенный  
На устье) через много лет.  
Но это тоже будет не  
О мимолетной юности, а  
Но любовь твою которая  
Будет для меня как старый друг.

Николай Сергеевич 1916 г. 30 марта  
Лит.

Сергей Есенин

Фотография с дарственной надписью Н. Клюеву. Петроград. 30 марта 1916

# МИКОЛА

Поэма Сергея Есенина.



иллюстрация Николая Пятковского

МОСКВА

-1919-

издание камерного кружка  
свободного искусства

Титульный лист отдельного издания поэмы С. Есенина "Микола" (М., 1919)



Царское Село. Федоровский городок. Фотография конца XX в.

*Но кривятся в почернелых лицах  
Голубые рты.*

*Я одну мечту, скрывая, нежу,  
Что я сердцем чист.  
Но и я кого-нибудь зарезу  
Под осенний свист.*

*И меня по ветряному свею,  
По тому ль песку,  
Поведут с веревкою на шею  
Полюбить тоску...*

Характерно, что многие читатели советского времени воспринимали это стихотворение как позднее, относящееся к имажинистскому периоду Есе-



Сергей Есенин (стоит третий справа) среди обслуживающего персонала лазарета № 17 для раненых воинов. Царское Село. Июль-август 1916

нина: “...Наступившая революция рвет с есенинских “стихов золотые рожи” и его уводит с собою к “иным” и “новым” образам <...> дальше уже срыв в “имажинизм”, правда, в русском стиле еще <...> Он втягивается в круг желаний “но и я кого-нибудь зарежу под осенний свист”<sup>1</sup>. Более точным в своих историко-литературных оценках был А. К. Воронский, отмечавший, что уже в дореволюционных стихах Есенина “кротость, смирение, примиренность с жизнью, непротивленство, славословия тихому Спасу, немудрому Миколу уживаются одновременно с бунтарством, с скандальничеством и прямой поножовщиной”<sup>2</sup>. Мы бы исправили только: “начиная с 1916 года уживаются...”.

1 См.: Са-на. Имажинизм // Руль, Берлин. 1921. 11 сентября. № 249.

2 Воронский В. Литературные силуэты: С. Есенин // Красная новь. 1924. № 1. С. 274.

**З** Двенадцатого апреля 1916 года Сергей Есенин был призван на военную службу и зачислен ратником II разряда в списки резерва. Давние хлопоты Городецкого, подхваченные Клюевым, не пропали втуне. Новобранца приписали к военно-санитарному поезду под командованием полковника Ломана, так что он, по собственному позднему признанию, “был представлен ко многим льготам”<sup>1</sup>. Базировался обслуживающий персонал поезда в Царском Селе, в поселке, именовавшемся Федоровским городком. Есенин “редко появлялся у нас, — вспоминала эту пору Зоя Ясинская, — и приходил в штатском, а не военном костюме. Одевался он в это трудное время с иглочки и преображался в настоящего денди, научился принимать вид томный и рассеянный. Он был уже вполне уверен в себе, а временами даже самоуверен”<sup>2</sup>. Встретивший Есенина весной 1916 года в Петрограде Михаил Бабенчиков также нашел поэта не слишком удрученным военной долей:

Он, сняв фуражку с коротко остриженной головы, ткнул пальцем в кокарду и весело сказал:

— Видишь, забрили? Думаешь, пропал? Не тут-то было.

Глаза его лукаво подмигивали, и сам он напоминал школяра, тайком убежавшего от старших<sup>3</sup>.

От ужасов передовой Есенина надежно страховал Ломан, а если на горизонте вдруг возникала опасность, преданные друзья принимали экстренные меры. Сохранилось письмо Клюева Ломану, которое мы приведем здесь полностью в качестве характерного образца клюевской эпистолярной прозы. Затейливые стилизаторские завитушки (“санитарное войско”, “бранное поле”) были привычно поставлены олонецким поэтом на службу толково и настойчиво изложенной просьбе-требованию:

*Полковнику Ломану.*

*О песенном брате Сергее Есенине моление.*

*Прекраснейший из сынов крещеного царства мой светлый братик Сергей Есенин взят в санитарное войско с причислением к поезду № 143 имени е. и. в. в. к. Марии Павловны (так! — О. Л., М. С.).*

*В настоящее время ему, Есенину, грозит отправка на бранное поле к передовым окопам. Ближайшее начальство советует Есенину хлопотать о том, что-*

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 12.

2 Ясинская З. Мои встречи с Сергеем Есениным... С. 258.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 244.





Персонал и команда полевого Царскосельского военно-санитарного поезда. На переднем плане — С. Есенин. Фотография А. М. Функа. Новоселицы (близ Черновцов). 7 июня 1916

*бы его немедленно потребовали в вышеозначенный поезд. Иначе отправка к окопам неустраима. Умоляю тебя, милостивый, ради родимой песни и червонного великорусского слова похлопотать о вызове Есенина в поезд — вскорости.*

*В желаниии тебе здравия душевного и телесного остаюсь о песенном брате молельник Николай сын Алексеев Клюев<sup>1</sup>.*

27 апреля военный поезд № 143 отправился в Крым. В течение следующих полутора месяцев Есенин колесил по огромной стране, обескровленной мировой войной. “...Его обязанностью было записывать имена и фамилии раненых, — со слов брата рассказывала Екатерина Есенина. — <...> Ему приходилось бывать и в операционной. Он говорил об операции одного офицера, которому отнимали обе ноги”<sup>2</sup>.

Екатерина Есенина, кажется несколько смещая даты, писала в своих мемуарах и о том, что брата отпустили “на побывку” домой после перенесен-

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 310.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 42. Ср. с невольной переключкой при описании ужасов Первой мировой войны у Владимира Маяковского, в стихотворении “Вам!” (1915): “...может быть, сейчас бомбой ноги / вырвало у Петрова поручика?..”



Лидия Кашина. 1915–1916

ной “операции аппендицита”<sup>1</sup>. Так или иначе, но Есенину 13 июня 1916 года действительно был выписан пятнадцатидневный отпуск, большую часть которого он провел в Константинове.

Этим летом поэт шапочно познакомился с дочерью московского миллионера И. П. Кулакова, константиновской помещицей Лидией Ивановной Кашиной, которой впоследствии суждено было послужить прототипом для есенинской Анны Снегиной. Однако куда больше времени он пока проводил в обществе Анны Алексеевны Сардановской, выпускницы Рязанского женского епархиального училища, младшей сестры давнего есенинского приятеля Николая Сардановского. Ей при первой публикации Есенин посвятил стихотворение “За горами, за желтыми долами...” (1916):

*...Каждый вечер, как синь затуманится,  
Как повиснет заря на мосту,  
Ты идешь, моя бедная странница,  
Поклониться любви и кресту.*

*Кроток дух монастырского жителя,  
Жадно слушаешь ты ектенью,  
Помолись перед ликом Спасителя  
За погибшую душу мою.*

Прозаическую вариацию этих несколько кокетливых, “томных” (как бы определила З. Ясинская) строк можно найти в письме Есенина Сардановской, отправленном уже из Царского Села в июле 1916 года:

*Я еще не оторвался от всего того, что было, поэтому не преломил в себе окончательной ясности.*

*Рожь, тропа такая черная и шарф твой, как чадра Тамары.*

*В тебе, пожалуй, дурной осадок остался от меня, но я, кажется, хорошо смыл с себя дурь городскую.*

*Хорошо быть плохим, когда есть кому жалеть и любить тебя, что ты плохой. Я об этом очень тоскую. Это, кажется, для всех, но не для меня.*

*Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты хоть маленькое, но имеешь представление.*

1 Есенин Е. В Константинове... С. 42.



Анна Сардановская. Рязань, 1912

*Сижу, бездельничаю, а вербы под окном еще как бы дышат знакомым дурманом. Вечером буду пить пиво и вспоминать тебя<sup>1</sup>.*

В ответном письме девушка слегка обиженно подтрунивала над Есениным:

*Спасибо тебе, что не забыл Анны, она тебя тоже не забывает. Мне только непонятно, почему ты вспоминаешь меня за пивом, не знаю, какая связь. Может быть, без пива ты и не вспомнил бы?<sup>2</sup>*

Николаю Клюеву о своем пребывании в Константинове Есенин общал совсем по-другому. Он словно пробовал на язык броские бодлеровские характеристики “падаль” и “гниль”, которым скоро предстояло войти в есенинский поэтический обиход: “Пишу мало я за это время, дома был — только расстравил себя и все время ходил из угла в угол да нюхал, чем отдает от моих бываний там, падалью или сырой гнилью”<sup>3</sup>.

Из Константинова Есенин выехал 27 июня 1916 года; в Царском Селе он был 2 июля. Уже на следующий день поэт посетил квартиру Михаила Мурашева, где продолжил вживлять в сознание ближайшего окружения черты своего нового поэтического образа. После бурного обсуждения в кружке Мурашева картины Яна Стыки “Пожар Рима” и исполнения одним из гостей фрагмента “Сомнения” Михаила Глинки на скрипке “Есенин подошел к письменному столу, взял альбом и быстро, без помарок написал следующее стихотворение:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 80.

2 Там же. С. 380.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 82.



Мария Бальзамова и Анна Сардановская  
1914–1915



*“Сергей Есенин*

*16 г. 3 июля.*

*Слушай, поганое сердце,  
Сердце собачье мое.  
Я на тебя, как на вора,  
Спрятал в руках лезвие.*

*Рано ли, поздно всажу я  
В ребра холодную сталь.  
Нет, не могу я стремиться  
В вечную гнившую даль.*

*Пусть поглупее болтают,  
Что их загрызла мета;  
Если и есть что на свете —  
Это одна пустота.*

Примечание. Влияние “Сомнения” Глинки и рисунка “Нерон, поджигающий Рим”. С. Е.”.

Я был поражен содержанием стихотворения. Мне оно казалось страшным, и тут же спросил его:

— Сергей, что это значит?

— То, что я чувствую, — ответил он с лукавой улыбкой.

Через десять дней состоялось деловое редакционное совещание, на котором присутствовал А. Блок. Был и Сергей Есенин.

Я рассказал Блоку о прошлом вечере, о наших спорах и показал стихотворение Есенина.

Блок медленно читал это стихотворение, очевидно и не раз, а затем покачал головой, подозвал к себе Сергея и спросил:

— Сергей Александрович, вы серьезно это написали или под впечатлением музыки?

— Серьезно, — чуть слышно ответил Есенин<sup>1</sup>.

Мурашев, иногда навещавший Есенина в Федоровском городке, в одном из вариантов своих мемуаров подробно описал быт и тамашнее времяпрепровождение приятеля. Вот выполненное им с протокольной точ-

<sup>1</sup> Мурашев М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 194–195. Следы поспешности легко обнаруживаются в этом стихотворении. Каково, например, значение слова “мета”?



## Сердце - Есенинъ.

16 г. 3 столб.

Слушай поганое сердце  
Сердце соблазе мое.  
Я на тебя какъ на воров  
Спрягалъ въ рукавъ лезвие

x x  
x

Фантомъ поздно встаетъ я  
Въ ребрахъ холодною сталью.  
Нитью келью я стремитесь  
Въ вину стившую доль.

x x

Кусты поцелуе болтаются  
Что ихъ дольбузи метя  
Если и есть что на свѣтѣ  
Это одна пустота.

Прим. Визаніе "Сомнѣніа" ? линки и  
ручка "Норонъ поджигав-  
цій риль." С. Е.

Автограф стихотворения С. Есенина "Слушай, поганое сердце...", записанного в альбом М. Мурашева. Петроград. 3 июля 1916

ностью изображение есенинской комнаты в казарме: “Окно под потолком, но без решеток. Это не острог, а какой-то стиль постройки для слуг. Мрачная продолговатая комната. В ней четыре койки, покрытые солдатскими одеялами. Койка Есенина была справа под окном. У койки небольшой столик и табурет”<sup>1</sup>. А вот куда более отрадны строки о реакции полковника Ломана на визит Мурашева к другу: он “подошел к столику, сел на кровать Есенина и на большом листке бумаги написал: “Отпустить Есенину за личный расчет 1 бут. виноградного вина и 2 бут. пива. Полковник Ломан””<sup>2</sup>. Пока эта снисходительность ничем не грозила: до прославленных есенинских запоев было еще очень далеко.

В Царском Селе Есенин часто виделся с постоянным его жителем, публицистом и критиком Ивановым-Разумником, которому после двух революций 1917 года суждено было сыграть очень большую роль в жизни поэта. “На моей памяти одно из посещений отца Есениным в 1916 году, — рассказывала много лет спустя дочь Иванова-Разумника Ирина. — Сергей Александрович стоял у рояля, пел. Может быть, не пел, а певуче читал свои стихи, но у меня сохранилось впечатление именно о пении”<sup>3</sup>. Приведем здесь также начальные строки мемуарного стихотворения Веры Гедройц “Сергею Есенину”:

*Я тебя помню в голубой рубашке  
Под сенью радушного крова.  
Ты пил из фарфоровой чашки  
Чай у Разумника-Иванова.  
Точно лен, волнистые пряди  
По плечам твоим спускались,  
Из-под длинных ресниц ограда  
Глаза смеялись.  
Ты был молод, почти ребенок,  
Смех звучал безмятежно,  
И был ты странно робок  
И странно нежен<sup>4</sup>.*

1 Мурашев М. Сергей Есенин в Петрограде // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 57.

2 Там же. С. 59.

3 Цит. по: Карохин Л. Сергей Есенин и Иванов-Разумник. СПб., 1998. С. 35.

4 Цит. по: Новое о Сергее Гедройц / Предисловие, публикация и комментарии А. Г. Меца // Лица: Биографический альманах. 1. М.; СПб., 1992. С. 299.

**4** На 22 июля 1916 года пришелся пик взаимоотношений поэта из крестьян Сергея Есенина с династией Романовых: Есенин выступил в увеселительной программе в Царском Селе с чтением стихотворения, созданного специально к этому дню. Переписанный славянской вязью текст стихотворения вручили Александре Федоровне вместе со специальным экземпляром “Радуницы”.

*В багровом зареве закат шипуч и пенен,  
Березки белые горят в своих венцах.  
Приветствует мой стих молодых царевен  
И кротость юную в их ласковых сердцах.*

*Где тени бледные и горестные муки,  
Они тому, кто шел страдать за нас,  
Протягивают царственные руки,  
Благословляя их к грядущей жизни час.*

*На ложе белом, в ярком блеске света,  
Рыдает тот, чью жизнь хотят вернуть...  
И вздрагивают стены лазарета  
От жалости, что им сжимает грудь.*

*Все ближе тянет их рукой неодолимой  
Туда, где скорбь кладет печать на лбу.  
О, помолись, святая Магдалина,  
За их судьбу.*

Полковник Ломан, чьими стараниями было организовано выступление Есенина, отправил специальное прошение на имя Александры Федоровны с просьбой о поощрительном подарке поэту. Таким подарком должны были стать золотые часы с цепочкой.

Вопрос о желании или нежелании Есенина участвовать в программе увеселения императрицы, по-видимому, даже не ставился. Тем не менее либеральная общественность, как и следовало ожидать, встретила известие о “поступке” поэта с негодованием. В мемуарах Георгия Иванова, написанных, впрочем, в эмиграции, где общее отношение к царствовавшей фамилии резко переменилось, с обычными ивановскими преувеличениями, но в целом точно рассказано об этой реакции:



Сестры милосердия — императрица Александра Федоровна (*сидит*) и великие княжны Татьяна (*слева*) и Ольга  
Фотография К. Е. фон Гана. 1914

Кончился петербургский период карьеры Есенина совершенно неожиданно. Поздней осенью 1916 года вдруг распространился и потом подтвердился “чудовищный” слух: “наш” Есенин, “душка” Есенин, “прелестный мальчик” Есенин — представлялся Александре Федоровне в Царскосельском дворце <...>

Теперь даже трудно себе представить степень негодования, охватившего тогдашнюю “передовую общественность”, когда обнаружилось, что “гнусный поступок” Есенина не выдумка, не “навет черной сотни”, а непреложный факт. Бросились к Есенину за объяснениями. Он сперва отталчивался. Потом признался. Потом взял признание обратно. Потом куда-то исчез, не то на фронт, не то в рязанскую деревню...

Возмущение вчерашним любимцем было огромно. Оно принимало порой комические формы. Так, С. И. Чацкина, очень богатая и еще более передовая дама, всерьез называвшая издаваемый ею журнал “Северные записки” — “тараном искусства по царизму”<sup>1</sup>, на пышном приеме в своей гостеприимной квартире истерически рвала рукописи и письма Есенина, визжа: “Отогрели змею! Новый Распутин! Второй Протопопов!” Тщетно ее более сдержанный супруг Я. Л. Сакер уговаривал расхаживающую меценатку не портить здоровья “из-за какого-то ренегата”<sup>2</sup>.

“Таких “преступлений”, как монархические чувства, — прибавляет Иванов, — русскому писателю либеральная общественность не прощала. Есенин не мог этого не понимать и, очевидно, сознательно шел на разрыв. Каковы были планы и надежды, толкнувшие его на такой смелый шаг, неизвестно”<sup>3</sup>.

1 Не поручимся, что эти сведения соответствуют действительности. Во всяком случае, Георгий Иванов активно печатался в “Северных записках”.

1 Иванов Г. Сочинения: Т. 3. С. 179–180.

2 Там же. С. 180.

Некоторое представление об этих планах все же способно дать витиеватое послание Николая Клюева полковнику Ломану — “Бисер малый от уст мужицких”, отправленное в октябре 1916 года, после консультаций с Есениным. Текст “Бисера” представлял собою ответ на предложение издать книгу стихов Клюева и Есенина о царском Феодоровском соборе, где Ломан был старостой прихода.

Из этого послания видно, что в обмен на сверхлояльность и очевидные сопутствующие неприятности крестьянские поэты желали ни больше ни меньше, как участвовать в решении государственных дел. Правда, не совсем понятно — в какой функции и с какими полномочиями: “На желание же Ваше издать книгу наших стихов, в которой были бы отражены близкие Вам настроения, запечатлены любимые Вами Феодоровский собор, лик царя и аромат храмины государевой — я отвечу словами древней рукописи: “Мужие книжны, писцы, золотари заповедь и часть с духовными считали своим великим грехом, что приемлют от царей и архиереев и да посаждаются на седалищах и на вечерах близ святителей с честными людьми”. Так смотрела древняя церковь и власть на своих художников. В такой атмосфере складывалось как самое художество, так и отношение к нему.

Дайте нам эту атмосферу, и Вы узрите чудо. Пока же мы дышим воздухом задворок, то, разумеется, задворки и рисуем. Нельзя изображать то, о чем не имеешь никакого представления. Говорить же о чем-либо священном вслепую мы считаем великим грехом, ибо знаем, что ничего из этого, кроме лжи и безобразия, не выйдет”<sup>1</sup>.



Сергей Есенин. Портрет работы П. С. Наумова с надписью: “На память любимому Сереженьке, Г. 16. 22 ноября Ц. С.”. Царское Село. 22 ноября 1916

1 Цит. по: Вдовин В. Сергей Есенин на военной службе // Филологические науки. 1964. № 1. С. 147.

Возможно, впрочем, что подобным образом Клюев и благоразумно оставшийся за кадром Есенин, прямой подчиненный Ломана, просто “искусно уклонились от предложения” полковника-монархиста<sup>1</sup>.

В сентябре 1916 года Есенин получил обещанный в июле царский подарок: золотые часы с изображением государственного герба. Несколько дней спустя он отправил слезное прошение в комитет Литературного фонда, более всего напоминающее письмо Ваньки Жукова “на деревню дедушке”: “Находясь на военной службе и не имея возможности писать и печататься, прошу покорнейше литературный фонд оказать мне вспомоществование взаимобразное в размере ста пятидесяти рублей, ибо, получив старые казенные сапоги, хожу по мокроте в дырявых, часто принужден из-за немоготной пищи голодать и ходить оборванным, а от начальства приказ — хоть где хошь бери. А рубашку и шаровары одни без сапог справиться 50 рублей стоит да сапоги почти столько”<sup>2</sup>. После рассмотрения дела в фонде в финансовой поддержке Есенину отказали.

Чуть ранее он вместе с Клюевым возобновил отношения с Сергеем Городецким. “Я жил на Николаевской набережной, дверь выходила прямо на улицу, извозчик ждал меня, свидание было недолгим, — вспоминал Городецкий. — Самое неприятное впечатление осталось у меня от этой встречи. Оба поэта были в шикарных поддевках, со старинными крестами на груди, очень франтоватые и самодовольные. Все же я им обрадовался, мы расцеловались и, после мироточивых слов Клюева, попрощались”<sup>3</sup>.

Когда Георгий Иванов в процитированном выше фрагменте своих “Петербургских зим” писал, что Сергей Есенин осенью 1916 года, кажется, был отправлен на фронт, он опирался на показания самого автора “Радунцы”, утверждавшего в автобиографии: “Революция застала меня на фронте в одном из дисциплинарных батальонов, куда я угодил за то, что отказался написать стихи в честь царя”<sup>4</sup>. “Это уж решительно ни на что не похоже, — справедливо отмечает Владислав Ходасевич есенинскую версию. — Во-первых, вряд ли можно было угодить в дисциплинарный батальон за отказ писать стихи в честь царя: к счастью или к несчастью, писанию или неписанию стихов в честь Николая II не придавали такого значения. Во-вторых же (и это главное) — трудно понять, почему Есенин

1 Азадовский К. Жизнь Николая Клюева. СПб., 2002. С. 155.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 201.

3 Городецкий С. О Сергее Есенине... С. 140.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 12.





Петербург. Николаевская набережная и Николаевский мост  
Фотография начала XX в.

считал невозможным писать стихи в честь царя, но не только читал стихи царице, а и посвящал их ей”<sup>1</sup>.

А вот в свою рязанскую деревню Есенин действительно ездил: в начале октября он получил очередную увольнительную и из Царского Села отбыл сначала в Москву, а оттуда — в Константиново.

Вернувшись в Петроград в декабре 1916 года, поэт продал право на издание своих сочинений и тем самым на некоторое время обеспечил себя материально.

1 Ходасевич В. Собр. соч.: Т. 4. С. 130. Специальному выяснению вопроса о том, служил ли Есенин в дисциплинарном батальоне, посвящена содержательная статья: Вдовин В. Сергей Есенин на военной службе // Филологические науки. 1964. № 1. Здесь, в частности, показано, что послание Клюева Ломану никак не отразилось на военной судьбе Есенина и что факты есенинской биографии 1916 — начала 1917 года решительно противоречат его же позднейшей версии о пребывании в дисциплинарном батальоне.

Биографическая справка Б. Козьмина в освещении описанного здесь периода биографии Есенина рабски следовала за его выдумками: “В 1916 году Е. был призван на военную службу. При некотором содействии полковника Ломана, адъютанта царицы, пользовался многими льготами, жил в Царском Селе и однажды читал стихи царице. Революция застала Е. в дисциплинарном батальоне, куда он попал за то, что отказался писать стихи в честь царя”<sup>4</sup>.

1 Писатели современной эпохи. С. 122–123.

# Глава пятая

## Поэт и революция (1917–1918)

**1** Если судить по хронике жизни Есенина за 1917–1918 годы, о поэте может создаться впечатление как о необычайно ловком “приспособленце”<sup>1</sup>.

До 27 февраля 1917 года в высказываниях и поступках Есенина нет ни малейшего признака революционных настроений. Он активно участвует в мероприятиях праздничного дворцового ритуала: 1 и 5 января присутствует на богослужении в Феодоровском государевом соборе, 6 января — на литургии, 19 февраля выступает с чтением своих стихов в трапезной палате Феодоровского городка перед высокопоставленными членами “Общества возрождения художественной России”<sup>2</sup>. При этом ни в письмах, ни в устных беседах, зафиксированных мемуаристами, Есенин не выказывал никакого недовольства или протеста в связи со своей ролью обласканного Двором “поэта-самородка”.

О том, как эта роль воспринималась общественностью, лучше всего свидетельствуют два высказывания, прозвучавшие как раз накануне начала беспорядков — 22 и 23 февраля. Умилно описывая недавний завтрак в честь “Общества возрождения художественной Руси”, корреспондент официальных “Петроградских ведомостей” сообщает: “Песенники, гусяры и народный поэт Есенин, читающий свои произведения, опять мешали действительность со сказкой”<sup>3</sup>. Тогда же Зинаида Гиппиус записала в своем дневнике впечатления от заседания “Религиозно-философского общества”: “Особенно же противен был, вне программы, неожиданно прочтенный патриото-

1 См. заметку И. Трубецкой (Новости дня. 1918. № 16): “Среди писателей многие решили приспособиться <...> В стан левых эсеров перекочевали ... “поэты из народа” Клюев, Ширяевец, Есенин” (цит. по: Летопись... Т. 2. С. 111).

2 Летопись... Т. 2. С. 19, 20. 27.

3 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 29.



Сергей Есенин на открытии памятника  
А. И. Кольцову  
Кадр кинохроники. Москва. 3 ноября 1918.  
Фрагмент

русопятский “псалом” Клюева <...> За ним ходит “архангел” в валенках”<sup>1</sup>. И консервативный журналист, и либеральная писательница отмечают в есенинском облике и складе смешение: первый — “действительности со сказкой”, вторая — елейно-“небесного” (“архангел”) с нелепо-“земным” (“валенки”). Для первого “народный поэт” воплощает чудесное возвращение старины, для второй — черносотенный карнавал, вдвойне позорный на фоне тревожных февральских событий. “Бедная Россия. Да опомнись же!” — такими словами Гиппиус заключает пассаж о Клюеве и Есенине<sup>2</sup>.

“Народный поэт” “опомнился” гораздо быстрее, чем можно было ожидать. На это ему понадобилось чуть больше двух недель.

Позже, как бы отвечая на вопрос, где он был во время Февральской революции, Есенин насочинит немало по-хлестаковски вдохновенных легенд. Так, в поэме “Анна Снегина” он заговорит от имени фронтовика-дезертира, измученного войной “за чей-то чужой интерес”:

*Война мне всю душу изъела.  
За чей-то чужой интерес  
Стрелял я мне близкое тело  
И грудью на брата лез.  
Я понял, что я — игрушка,  
В тылу же купцы да знать,  
И, твердо простившись с пушками,  
Решил лишь в стихах воевать.  
Я бросил мою винтовку,  
Купил себе “липу”, и вот  
С такою-то подготовкой  
Я встретил семнадцатый год.*

1 Гиппиус З. Дневники. М., 1999. Т. 1. С. 446.

2 Там же. С. 446.

*Свобода взметнулась неистово.  
И в розово-смердном огне  
Тогда над страной калифствовал  
Керенский на белом коне.  
Война “до конца”, “до победы”.  
И ту же сермяжную рать  
Прохвосты и дармоеды  
Сгоняли на фронт умирать.  
И все же не взял я шпагу...  
Под грохот и рев мортир  
Другую явил я отвагу —  
Был первый в стране дезертир.*

О своем дезертирстве Есенин будет рассказывать неоднократно — с новыми и новыми подробностями. Один из таких рассказов записал Э. Герман: “Лавры воина его не прельщали. Не без кокетства излагал свою дезертирскую эпопею. Попал как-то в уличную облаву. Спасся бегством. Укрылся в дворовой уборной.

— Веришь ли: два часа там сидел”<sup>1</sup>.

Другую версию передала в своих воспоминаниях С. Виноградская: “На Новую Землю бежал дезертиром во времена Керенского. Рассказывал он о жизни своей там, в избе с земляным полом, о борьбе за существование и о борьбе с большими прожорливыми птицами, которые забирались в комнату и уничтожали все запасы пищи и воды. <...> Больше всего запомнилось описание этих птиц, — больших, беспокойных и сильных птиц. И сам Есенин, похожий на белую нежную птицу, словно вырастал, когда характерным движением рук описывал их”<sup>2</sup>.

На самом деле ни на Новой Земле, ни даже в уборной Есенин от фронта не спасался — по той причине, что на передовую его никто не посылал. Дезертиром же если и был, то далеко не “первым”, без всякого риска и самым естественным образом. Единственный факт, на котором поэт мог возрастить “свой возвышающий обман”<sup>3</sup>, — это предписание явиться в Могилев, но отнюдь не в наказание за ненаписанную оду. Скорее всего, наоборот — Есенин был отправлен в Ставку вслед за императором. С началом февраль-

1 Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 173–174.

2 Виноградская С. Как жил Есенин. М., 1926 (Б-ка “Огонек”, № 201). С. 15.

3 Так Э. Герман иронически обозначил есенинскую привычку приукрашивать или вовсе придумывать эпизоды своей биографии (Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 176).



Сергей Клычков, Петр Орешин, Николай Клюев. 1929

ских событий необходимость в командировке сама собой отпала. “Ратника”, ввиду сокращения штата, перевели в школу прапорщиков с отменным аттестатом; на прапорщика он благоразумно предпочел не учиться.

Если Есенин от чего-то и скрывался, так это от самой Февральской революции. “Возвращаться в Петербург я побоялся, — позже рассказывал он Иванову-Разумнику. — В Невке меня, как Распутина, не утопили бы, но под горячую руку, да на радостях, расквасить мне физиономию любители нашлись бы. Пришлось сгинуть в кусты: я уехал в Константиново. Переждав там недели две, я рискнул показаться в Петербурге и в Царском Селе. Ничего, обошлось, слава Богу, благополучно”<sup>1</sup>.

Через две недели бывший царскосельский “певец” возвращается в Петроград. И что же? Он сразу становится в ряды истовых сторонников революции. Вспоминая о тогдашних событиях, Рюрик Ивнев писал в открытом письме Есенину:

Помнишь, мы встретились на Невском, через несколько дней после февральской революции. Ты шел с Клюевым и еще каким-то поэтом. Набросились на

1 Космач С. Есенин в Царском Селе // Возрождение (Париж). 1973. № 240. С. 87.



меня будто пьяные, широкочубые, страшные. Кололись злыми словами. Клюев шипел: “Наше время пришло”.

Я спросил: “Сережа, что с тобой?”

Ты засмеялся. В голубых глазах твоих прыгали бесенята. Говорил что-то злое, а украдкой жал руку<sup>1</sup>.

В воспоминаниях, написанных в шестидесятые годы, Ивнев заставил Есенина оправдываться и все валить на Клюева (репрессированного в тридцатые годы):

Первым ко мне подошел Орешин. Лицо его было темным и злобным. Я его никогда таким не видел.

— Что, не нравится тебе, что ли?

Клюев, с которым у меня были дружеские отношения, добавил:

— Наше времечко пришло.

Не понимая, в чем дело, я взглянул на Есенина, стоявшего в стороне. Он подошел и стал около меня. Глаза его щурились и улыбались. <...>

Через несколько дней я встретил Есенина одного и спросил, что означает тот “маскарад”, как я мысленно окрестил недавнюю встречу. Есенин махнул рукой и засмеялся.

— А ты испугался?

— Да испугался, но только за тебя!

Есенин лукаво улыбнулся.

— Ишь как ты поворачиваешь дело.

— Тут нечего и поворачивать, — ответил я. — Меня испугало то, что тебя как будто подменили.

— Не обращай внимания. Это все Клюев. Он внушил нам, что теперь настало “крестьянское царство” и что с дворянчиками нам не по пути. Видишь ли, это он всех городских поэтов называет дворянчиками.

— Уж не мнит ли он себя новым Пугачевым?

— Кто его знает, у него все так перекручено, что сам черт ногу сломит<sup>2</sup>.



Александр Ширяевец  
Ташкент. 1913

<sup>1</sup> Ивнев Р. Четыре выстрела в Есенина, Кусикова, Мариенгофа, Шершеневича. М., 1921. С. 8.

<sup>2</sup> Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 329.

Чем настойчивее Ивнев в своих поздних воспоминаниях выгораживает Есенина, тем яснее, кто больше всех напугал мемуариста — тогда, в марте 1917 года. Уж конечно это был не вкрадчивый Клюев, а именно Есенин, которого за каких-то две недели “будто подменили”: совсем недавно еще был “Лелем”, “архангелом в валенках” — и вдруг совсем другой “маскарад”, чуть ли не с кистенем. Упоминание Пугачева в связи с Клюевым тоже, видимо, маскирует реакцию Ивнева на резкую смену есенинской роли. Ведь как раз Есенин начиная с марта 1917 года будет настойчиво добиваться, чтобы его воспринимали в бунтарском ореоле. Это чувствуется не только в стихах (“Отчарь”: “Слышен волховский звон / И Буслаев разгул”), но даже и в мелочах: когда, например, он заканчивает пасхальное поздравление А. Ширяевцу многозначительной цитатой из его давнего стихотворения: “С красным звоном, дорогой баюн Жигулей и Волги”<sup>1</sup> — или когда в шуточном инскрипте на сборнике “Скифы”, подаренном Е. Понииковской, невзначай напоминает о Стеньке Разине (“Стенькиной молве”<sup>2</sup>).

Среди поэтов-современников вряд ли кто-либо мог соперничать с Есениным в умении столь молниеносно реагировать на изменения политического климата. После возвращения в Петроград поэту потребовалось буквально несколько дней, чтобы освоить новое амплуа — певца революции. В письме к Андрею Белому Иванов-Разумник отмечает разительную перемену в поведении Есенина и Клюева: “Оба — в восторге, работают, пишат, выступают на митингах”<sup>3</sup>.

В этот период не только выступления двух поэтов на митингах, но и само их творчество теснейшим образом связано с партией эсеров. Уже в марте Есенин стал завсегдатаем “Общества распространения эсеровской литературы” и редакции эсеровской газеты “Дело народа”. А к концу месяца в этом издании появилось есенинское стихотворение “Наша вера не погасла...” — по всем приметам программное. Действительно ли поэт написал его в 1915 году (как было указано в публикации) или использовал свой излюбленный трюк с подменой даты — это не имеет решающего значения. В любом случае он разом убил двух зайцев: во-первых, отчетливо продекларировал свою революционность; во-вторых, намекнул, что революционной линии придерживается уже давно. При чтении возникает впечатление, что смена курса совершается в самом стихотворении — от

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 93, 418.

2 Там же. Т. 4. С. 253.

3 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. СПб., 1998. С. 104.

строфы к строфе. Начинается оно вполне привычным параллелизмом “святое — природное”, подчеркнутым рифмой “псалмы — холмы”:

*Наша вера не погасла,  
Святы песни и псалмы.  
Льетса солнечное масло  
На зеленые холмы.*

Но с каждой строкой все слышнее в стихотворении “красный звон”. Не отрекаясь прямо от прежней темы, поэт сначала расшатывает ее (“Не одна ведет нас к раю / Богомольная тропа”), а затем подменяет революционными лозунгами. Сквозь метафорический туман в них угадываются и присяга “новому свету”, и проклятье старому миру (“Те палаты — казематы / Да железный звон цепей”), и готовность к героическому самопожертвованию (“Я пойду по той дороге / Буйну голову сложить”).

Вопрос о датировке первых есенинских малых поэм — “Товарища” и “Певущего зова” — тоже нельзя решить однозначно. Но в любом случае важно, что сам автор относит время их создания к марту-апрелю 1917 года<sup>1</sup> — значит, по крайней мере, хотел сдвинуть их как можно ближе к февральскому рубежу. Расчет это был или порыв, но Есенин явно стремился быстрее откликнуться на Февраль, быть среди первых — может быть, и во все первым поэтом революции.

Но больше всего в весенних поэмах удивляет даже не то, как быстро Есенин откликнулся на революционные события, а то, как стремительно и радикально он перекраивал свою поэтику. Мало того, что в “Товарище” поэт спешно взял на вооружение злободневную, “чужую” терминологию: “товарищ”, “простой рабочий”, “марсельеза”, “равенство и труд”, он еще и оттолкнулся от привычного “есенинского” слова — от хорошо освоенного лексического материала, отработанных приемов, уже полюбившихся читателям песенности и мягкого лиризма.

Вспомним, до революции в стихах Есенина не было ни полета “степной кобылицы”, ни порывов к Китеж-граду. Стремиться было не к чему, потому что Бог и так присутствовал в нищих буднях деревни. Божественное в прежних стихах Есенина было всегда рядом, осязаемое в домашнем, родном: “в каждом страннике убогом” мог скрываться “помазуемый Богом”, в каждом нищем — пытающий “людей в любви” Господь. “Крылья херувима” прятались “в елях”, Иисус мерещился “под пеньком”, “между

1 В “Сельском часослове” и втором сборнике “Скифов”.

сосен, между елок, меж берез кудрявых бус”, “пречистая Мати” виделась идущей меж облаков такого близкого неба.

И что же? За месяц-полтора все изменилось почти до неузнаваемости. В “Товарище” не случайно с такой настойчивостью форсируется резкая приставка “вз-” (“взмахнули”, “взметнулся”, “за взмахом взмах”, “все взлет и взлет”): это знак, что старый есенинский мир “почивающей тишины” и “мощей” взорван. Эмоциональная взвинченность глаголов (один громче другого: “валы” — “ревут”, “глаза” — “горят”), насильственность метафор (“Ломает страх / Свой крепкий зуб”; “В бездонный рот / Бежит родник”, “И тянется к надежде / Бескровная рука”; “И пыжится бедою / Седая тишина”), чехарда размеров (сменяющихся четыре раза), судорожные связки (“но вот”, “и вот”, “но вдруг”) — таковы признаки новой поэтики Есенина, рождающейся на обломках былого гармонического единства.

В “Товарище” Есенин пробует ораторский голос. Но роль революционного поэта требовала большего — пророческого “гласа”. И вот уже в “Певущем зове” в ход идет библейская патетика: перекрикивающие друг друга обращения (“Радуйтесь!”, “Хвалите Бога!”, “Сгинь ты, английское юдо...”; “Опомнитесь!”) — при четырнадцати восклицательных знаках на четырнадцать строк. Противоречия Есенина не смущали. С одинаковым пафосом в “Товарище” он объявил о смерти Христа и его погребенье на Марсовом поле, а в “Певущем зове”, напротив, — о новом Рождестве (“Земля предстала / Новой купели!”, “В мужичьих яслях / Родилось пламя / К миру всего мира!”). Поэт готов был изрекать противоположные истины: “Слушайте: / Больше нет воскресенья!” (в “Товарище”) и “Но знайте, / Спящие глубоко: / Она загорелась, / Звезда Востока!” (в “Певущем зове”) — главное, чтобы как можно мощнее был резонанс.

Есенин умел добиваться своего: по крайней мере, от дружественной ему критики он вскоре услышал именно те слова, которые хотел услышать. Иванов-Разумник подал пример, торжественно провозгласив: весенние поэмы “явились в дни революции *единственным* подлинным проявлением народного духа в поэзии”; “еще в первые дни и часы революции говорил поэт о том, как “пал, сраженный пулей, младенец Иисус””<sup>1</sup>.

Потом уже будут повторять на все лады: “Только один Есенин заметил в февральские дни, что произошла не “великая бескровная революция”, а началось время темное и трагическое...” (В. Левин)<sup>2</sup>; он “провидец и про-

1 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 300.

2 Цит. по: Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 216.

возвестник революции” (И. Майоров)<sup>1</sup>; его творения — “скрижали Великой Русской Революции” (З. Бухарова)<sup>2</sup>. Поэма “Товарищ” в исполнении автора или профессиональных чтецов станет непременно “гвоздем” революционных концертов и поэтических вечеров наряду с “Двенадцатью” Блока и “Левым маршем” Маяковского<sup>3</sup>.

**2** На Октябрьскую революцию реакция Есенина оказалась еще явственнее, чем на Февральскую. Резонанс от есенинских поэм, написанных на рубеже 1917–1918 годов, был тем сильнее оттого, что почти все крупные поэты встретили приход к власти большевиков растерянным, настороженным или прямо враждебным молчанием. Даже тогдашний наставник и вдохновитель “крестьянского баяна”<sup>4</sup> Иванов-Разумник был возмущен первыми проявлениями большевистской власти: “...смертная казнь свободного слова — уже началась... Диктатура одной партии, “железная власть”, террор — уже начались, и не могут не продолжаться”<sup>5</sup>. Есенина же октябрьские события только еще сильнее вдохновили и раззадорили.

Как и в феврале, для него было важно не только определиться — теперь уже “всецело на стороне Октября”<sup>6</sup>, но и сделать это как можно скорее. Современники, например З. Гиппиус, видели поэта в передних рядах “перебежавших... за колесницей победителей”, среди “первеньких, тепленьких”<sup>7</sup>. Однако и этого Есенину было мало: он не хотел быть всего лишь “одним из”. В тогдашнем есенинском хвастовстве (“Блок и я — первые пошли с большевиками”<sup>8</sup>) чувствовался особый азарт: всех опередить, взобраться выше всех, прогнать на весь мир.

1 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 129.

2 Там же. С. 97.

3 Поэму Есенина “Товарищ” “читали на всех эстрадах и во всех клубах чтецы и артисты, так же как и поэму “Двенадцать” Блока” (Зайцев П. С. Из воспоминаний о встречах с поэтом // Литературное обозрение. 1996. № 1. С. 15).

4 Слова З. Бухаровой (Летопись... Т. 2. С. 97).

5 Цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов: События. Отзывы современников. Библиография. Москва и Петроград 1917–1920 гг. Т. 1. Ч. 1. М., 2005. С. 52.

6 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 356.

7 Гиппиус З. Дневники. Т. 2. С. 60–61. З. Гиппиус упоминает Есенина в обоих своих списках писателей, согласившихся на сотрудничество с большевиками. Запись от 3 января 1918 года: “К ним (большевикум. — О. Л., М. С.), по сегодняшний день, перешли от “искусства”, кроме Иер. Ясинского, Серафимовича и московских футуристов, — поэты А. Блок, С. Есенин с Клюевым, худ. Петров-Водкин, Рюрик Ивнев”. В записи от 11 января 1918 года Гиппиус вновь упоминает Есенина, вновь в паре с Клюевым, со следующими комментариями: “Два поэта “из народа”, 1-й старше, друг Блока, какой-то сектант, 2-й — молодой парень, глупый, оба не без дарования” (Гиппиус З. Дневники. Т. 2. С. 37, 61).

8 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 222.

Действительно, есенинское “грехопадение в левое крыло” (Л. Никулин)<sup>1</sup> совершалось с величайшим шумом. В те послеоктябрьские дни, когда большинство писателей затаилось (“Все скрываются. Все нелегалы”<sup>2</sup>), Есенин был нарасхват — как на эстраде, так и в печати<sup>3</sup>. Он без устали носится по клубам и заводам с речами и стихами. 22 ноября поэт устраивает авторский вечер в зале Тенишевского училища, 3 декабря объявлено о его выступлении на утреннике в пользу Петроградской организации социалистов-революционеров, 14 декабря — на вечере памяти декабристов, 17 декабря — на литературно-музыкальных вечерах, организованных партией левых эсеров. Тогда же, в декабре, Есенин участвует в концерте-митинге на заводе Речкина<sup>4</sup>. Устные выступления должны были утвердить “значительность *голоса поэта Есенина* в громах событий” (В. Чернявский)<sup>5</sup>.

Но конечно, основная ставка делалась на выступления в печати — и это оправдалось в полной мере: видимо, именно Есенину удалось написать первую поэму в честь Октября. На этот раз он приветствовал революцию не так декларативно и прямолинейно, как в феврале. В произведениях, написанных на рубеже 1917–1918 годов, нет ни газетных лозунгов вроде “Железное / Слово: / “Ре-эс-пуу-ублика!””, ни прозрачных намеков на политические события (как в “Отчаре”: “Февральской метелью / Ревешь ты во мне”). И все же достаточно сравнить произведения, написанные до и после большевистского переворота, — “Пришествие” (октябрь 1917-го) и “Преображение” (ноябрь 1917-го) — чтобы убедиться, насколько октябрьские события изменили направление есенинского творчества.

В “Пришествии” Есенин особенно нажимает на тему предательства. Поэт взывает здесь к Матери-Руси, оплакивая новые мучения ее сына Христа:

*Возри же на нивы,  
На сжатый овес, —  
Под снежною ивой  
Упал твой Христос!*

1 Цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 1. С. 189.

2 Гиттис З. Дневники. Т. 2. С. 62.

3 Подробнее о первоначальном неприятии Октября большинством модернистов см.: Сегал Д. “Сумерки свободы”: О некоторых темах русской ежедневной печати 1917–1918 гг. // Минувшее: Исторический альманах. М., 1991. Вып. 3. С. 131–196.

4 См.: Летопись... Т. 2. С. 65, 68, 69, 75, 77.

5 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 217.



*Опять Его вои  
Стегают плетьюми  
И бьют головою  
О выступы тьмы...*

Следующий его призыв — к апостолам:

*О други, где вы?  
Уж близок срок.  
Темно ты, чрево,  
И крест высок.*

Но три раза отрекается Петр, и на третий раз в нем изобличается Иуда:

*Вот гор воитель  
Ощупал мглу.  
Христа рачитель  
Сидит в углу.*

*“Я видел: с Ним он  
Нам сеял мрак!”  
“Нет, я не Симон...  
Простой рыбак”.*

*Вздохнула плесень,  
И снег потух...  
То третью песню  
Пропел петух.*

.....

*Симоне Пётр...  
Где ты? Приди.  
Вздрыгнули ветлы:  
“Там, впереди!”*

*Симоне Пётр...  
Где ты? Зову!*

*Шепчется кто-то:  
“Кричи в синеву!”*

*Крикнул — и громко  
Вздыбился мрак.  
Вышел с котомкой  
Рыжий рыбак.*

*“Друг... Ты откуда?”  
“Шел за тобой...”  
“Кто ты?” — “Иуда!” —  
Шамкнул прибор.*

*Рухнули гнезда  
Облачных риз.  
Ласточки-звезды  
Канули вниз.*

Иванов-Разумник позже будет толковать эти строки как иносказательное свидетельство о ходе революции: “И снова “рыжий Иуда целует Христа”; снова спят ученики — все мы, попустительством своим восемь месяцев предававшие революцию “воинам первосвященника”; снова “отрицается” Симон Петр. <...> И под тяжелыми ударами рабов первосвященника падает Народ, падает революция на своем тяжком пути <...> революция, преданная рабами “справа”, губится учениками “слева””<sup>1</sup>. Вряд ли Есенин писал в своей поэме о “левых” и “правых”, но уж во всяком случае предупреждал: революция в опасности!

Как же в следующей поэме, “Преображение”, “провидец революции” отозвался на захват власти большевиками? О предательстве и вероломстве здесь не сказано ни слова, образы Петра и Иуды отброшены за ненадобностью. Зато в ход идут другие библейские аллюзии — например, “Содом и Гоморра”:

*Грозно гремит твой гром,  
Чудится плеск крыл.  
Новый Содом  
Сжигает Егудиил.*

1 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 73.

*Но твердо, не глядя назад,  
По ниве вод  
Новый из красных врат  
Выходит Лот.*

Истолковать эту аллегорию нетрудно: Содом — старый, прогнивший мир; Егудиил — воплощение необходимого террора; Лот, выходящий из “красных врат”, — новый человек, преображенный в революционном огне. Нетрудно подыскать аналогию и к есенинским Содому и Лоту; в четвертой и пятой строфах “Преображения” поэт, вольно или невольно, переложил на язык ветхозаветных мифов лозунги “Интернационала”:

*Весь мир насилья мы разрушим  
До основанья, а затем  
Мы наш, мы новый мир построим:  
Кто был ничем, тот станет всем.*

В других местах есенинского произведения политические перемены отразились не столь откровенно. И все же отметим: в прежних поэмах Есенин, хоть и весьма свободно обращался с библейскими образами, все же до кощунства не доходил. Характерно, что первые строки, оскорбившие чувства верующих, появились именно после Октября — в зачине “Преображения”:

*Облаки лают,  
Ревет златозубая высь...  
Пою и взываю:  
Господи, отелись!*

Отклики критиков на эти стихи разделились. Мнение большинства выразил аноним в “Воскресных новостях” от 21 апреля 1918 года, объявив Есенина расчетливым богохульником и литературным хулиганом:

Некий озорник из газеты “Знамя труда” воспользовался декретом народных комиссаров об отделении церкви от государства весьма своеобразно.

Раз церковь от государства изъяли и за кощунство и богохульство в каталожку не посадят — значит, с самим Богом можно обращаться, как с трактирной “шестеркой”<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 112.



Обложка книги С. Есенина "Преображение" (Пг., 1921)

Возражая разгневанной публике, Иванов-Разумник указывал на глубокие мифологические корни есенинских образов:

“Вот, кстати, тема для дешевых лавров: Бог — корова! <...> Многие, видно, ничего еще не слышали о мировых религиозных символах, о “корове” в космогонии индуизма, о Ведах и Пуранах...”<sup>1</sup>

Кто был более прав в этом споре? Трудно сказать. И все же, согласно вызывающему доверие свидетельству П. Орешина, для самого поэта было гораздо важнее потрясти читателей ценой богохульства, чем тонко отослать их к Ведам и Пуранам. Вот какой диалог, состоявшийся осенью 1917 года, приводит Орешин в своих воспоминаниях:

— ...А знаешь... мы еще и Блоку, и Белому загнем салазки! Я вот на днях написал такое стихотворение, что и сам не понимаю, что оно такое! Читал Разумнику, говорит — здорово, а я... Ну, вот хоть убей, ничего не понимаю!

— А ну-ка...

<...> Есенин... слегка отодвинулся от меня в глубину широкого кожаного дивана и наивыразительнейше прочитал одно четверостишие почти шепотом <...>

И вдруг громко, сверкая глазами:

— Ты понимаешь: господи, отелись! Да нет, ты пойми хорошенько: госпо-ди, о-те-лись!.. Понял? Клюеву и даже Блоку так никогда не сказать... Ну?

Мне оставалось только согласиться, возражать было нечем. Все козыри были в руках Есенина, а он стоял передо мной, засунув руки в карманы брюк, и хохотал без голоса, всем своим существом <...> Я совершенно искренне сказал ему, что этот образ “господи, отелись” мне тоже не совсем понятен, но, тем не менее, если перевести все это на крестьянский язык, то тут говорится о каком-то вселенском или мировом урожае, размножении или еще что-то в этом же роде. Есенин хлопнул себя по коленке и весело рассмеялся.

— Другие говорят то же! А только я, вот убей меня бог, ничего тут не понимаю <...>

— А знаешь, — сказал он после того, как разговор об отелившемся господе был кончен, — во мне... понимаешь ли, есть, сидит этакий озорник! Ты

<sup>1</sup> Цит. по: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 327.

<sup>2</sup> Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 255–266, 268.



Книга С. Есенина "Исус младенец" (Пг., 1918)  
Обложка Е. И. Туровой



знаешь, я к богу хорошо относился, и вот... Но ведь и все хорошие поэты тоже... Например, Пушкин...  
— Что?<sup>2</sup>

Все споры о “Господи, отелись!” разрешила поэма Есенина “Инония”, которую он задумал и начал писать еще в конце 1917 года. Поэт подвел в ней итог своим революционным “исканиям”, запев в унисон первым ленинским декретам. По Федору Степуну, и в жизнестроительном творчестве большевиков было что-то библейское, только вывернутое наизнанку:

Монументальность, с которой неистовый Ленин, в назидание капиталистической Европе и на горе крестьянской России, принялся за созидание коммунистического общества, сравнима разве только с сотворением мира, как оно рассказано в книге Бытия.

День за днем низвергал он на взбаламученную революцией темную Россию свое библейское: “Да будет так”. <...>

Да не будет Бога, да не будет церкви, да будет коммунизм<sup>1</sup>.

Вот и Есенин в “Инонии” провозглашает кощунственное “Да будет так”, открыто издеваясь над религиозными символами. Так его революционный путь, начавшийся с торжественного молитвенного призыва: “Хвалите Бога!” (“Певущий зов”), увенчался не менее торжественным богохульством:

*Тело, Христово тело,  
Выплевываю изо рта.  
.....  
Ныне ж бури воловьим голосом  
Я кричу, сняв с Христа штаны...*

Если, славя Февраль, Есенин еще вполне по-христиански связал свою “веру” с “любовью” (“Певущий зов”):

*Не губить пришли мы в мире,  
А любить и верить, —*

<sup>1</sup> Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. С. 456.

то к Октябрю он пришел с антихристианским утверждением “веры” в “силу”, очень точно передающим самосознание новой власти:

*...Новый на кобыле  
Едет к миру Спас.  
Наша вера — в силе.  
Наша правда — в нас!*

Есенин и в дальнейшем не раз демонстрировал умение действовать и писать “по ситуации”. Например, и месяца не прошло после опубликования декрета о перенесении столицы в Москву (15 марта 1918 года), как поэт уже вновь стал москвичом. Позже, в “Автобиографии” 1923 года, он пояснит мотивы своего переезда — как почти всегда, не без лукавства: “Вместе с советской властью покинул Петроград”<sup>1</sup>.

Другой пример — поэма “Иорданская голубица”. Интригует расхождение в авторских датировках этой поэмы. Если Есенин написал “Иорданскую голубицу” 20–23 июня 1918 года (согласно датировке в сборнике “Сельский часослов”), тогда можно только удивляться его дару предвидения, если же верна дата “июль 1918-го” (в “Известиях Рязанского губернского совета рабочих и крестьянских депутатов”), то поражает другое — способность поэта быстро ориентироваться в вихре событий. Ведь, как известно, 6 и 7 июля большевиками был подавлен мятеж левых эсеров, с которыми Есенину долгое время было по пути, закрыты левоэсеровские газеты, в которых поэт печатался. Вот в каком контексте невольно воспринимается “Иорданская голубица” с ее знаменитыми строками:

*Небо — как колокол,  
Месяц — язык,  
Мать моя родина,  
Я — большевик.*

Эту декларацию автор демонстративно опубликовал именно в центральном органе официальной советской печати (уже в августе 1918 года). Столь резкий жест не остался незамеченным. ““Отрок с полей коловратных” Есенин громко “возопил”: “Мать моя родина, я — большевик”, — язвительно писал критик С. Евгенов, — и перепорхнул в литературное при-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 13.



Революционный Петроград. Красногвардейский патруль  
Фотография Я. В. Штейнберга. Ноябрь-декабрь 1917

ложение “Известий ВЦИК”, а оттуда и в пролетарские издания”<sup>1</sup>. А ведь еще в начале 1918 года поэт спешил записаться в эсеровскую боевую дружину; с марта 1917 года он печатался исключительно в эсеровских изданиях — “Дело народа”, “Знамя труда”, “Знамя борьбы”, “Голос трудового крестьянства”, “Земля и воля”, “Наш путь”, “Знамя” (весной 1918 года Иванов-Разумник подарил поэту свою книгу с надписью: “Дорогому Сергею Александровичу Есенину на память о годе совместной борьбы”<sup>2</sup>). Так легко отречься от партии, с которой больше года Есенин был теснейшим образом связан, — у многих тогда это вызывало возмущение.

**З** О чем свидетельствуют все эти смещения и метаморфозы Есенина после Февральской и Октябрьской революций? Только ли о “канаречности” (З. Гиппиус)<sup>3</sup> в соединении с расчетливостью и беспринципностью? Подобные оценки есенинского творчества в 1917-м и особенно 1918 году были весьма нередки: его обвиняли в том, что он стремится непре-

2 Цит. по: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 2. С. 3–39.

2 Летопись... Т. 2. 103.

3 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 108.

менно “связать себя с победоносцами” (Е. Замятин)<sup>1</sup>, стать “одописцем революции и панегиристом “сильной власти”” (В. Ховин)<sup>2</sup>. Но уже после смерти поэта самым убедительным его адвокатом неожиданно выступил эмигрант Владислав Ходасевич.

“В действительности таким перевертнем Есенин не был”, — считает он; поэт “не двурушничал, не страховал свою личную карьеру”<sup>3</sup>. По мысли мемуариста, Есенин был как раз весьма последователен и честен: и слова, и дела его определялись мужицкой “правдой”. Именно заботой о мужике была продиктована политическая тактика поэта с ее кажущейся переменчивостью: “...ему просто было безразлично, откуда пойдет революция, сверху или снизу. Он знал, что в последнюю минуту примкнет к тем, кто подожжет *Россию*; ждал, что из этого пламени фениксом, жар-птицею, взлетит мужицкая *Русь*”; в любых революционных перипетиях он оказывался именно “там, где “крайнее”, с теми, у кого в руках, как ему казалось, больше горячего материала. Программные различия были ему неважны, да, вероятно, и мало известны. Революция была для него лишь прологом гораздо более значительных событий. Эсеры (безразлично, правые или левые), как позже большевики, были для него теми, кто расчищает путь мужику и кого этот мужик в свое время одинаково сметет прочь”<sup>4</sup>.

Столь же мнимыми представляются Ходасевичу и внезапные изменения в мировоззрении Есенина: как до, так и после революции тот придерживался своей, “мужицкой” религии — по сути противоречащей христианской вере. Вот как Ходасевич пытается ее объяснить:

“...В полном согласии с основными началами есенинской веры мы можем расшифровать ее псевдохристианскую терминологию и получим следующее:

Приснодева = земле = корове = Руси мужицкой.

Бог-отец = небу = истине.

Христос = сыну неба и земли = урожаю = телку = воплощению небесной истины = Руси грядущей”.

Поэта никак нельзя обвинить в отступничестве, поскольку он никогда и не был христианином, а всегда “обращался к своему языческому богу — с верой и благочестием” и по большей части был верен “религиозной правде” (“имею в виду религию Есенина”, — поясняет в скобках мемуарист)<sup>5</sup>.

1 Цит. по: *Летопись...* Т. 2. С. 102.

2 *Летопись...* Т. 2. 149.

3 *Ходасевич В.* Собр. соч. Т. 4. С. 131.

4 Там же. С. 134.

5 Там же. С. 135.

Так Ходасевич пытается восстановить справедливость в отношении Есенина. Можно ли согласиться с его концепцией? И да и нет. Когда мемуарист защищает поэта от упреков в “двурушничестве”, он более чем убедителен: с замечательной точностью прослеживает “сдвиги” и “скачки” Есенина, показывая, что тот последовательно держался “крайностей”, смещаясь каждый раз все “левее”. Сложнее с “верой”, с “чаемой новой правдой”. Как мы уже отмечали, христианская образность есенинских революционных поэм не обманывает Ходасевича: “Говорить о *христианстве* Есенина было бы рискованно. У него христианство — не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему”<sup>1</sup>. Но возникает вопрос: а не является ли “формой” и не “приближается” ли “к литературному приему” также и есенинский языческий, мужицкий миф?

Об этом многое, наверно, могли бы поведать филологи формальной школы, вооружившись своими излюбленными терминами, такими как “мотивировка”, “искусство как прием”, “обострение материала”. Увы, формалисты явно недооценивали нутряного поэта: кто только не вдохновлял их на смелые концепции, вплоть до есенинского эпигона Василия Казина, но никак не сам Есенин. Б. Эйхенбаум парадоксальные “мотивировки” охотно приписывал даже Л. Толстому: толстовское стремление к народности будто бы объясняется “борьбой за литературную власть”, требующей “перехватить у народников материал”, а духовные и жизненные “искания” “нужны Толстому не сами по себе, а чтобы создать для себя нужную писательскую атмосферу”<sup>2</sup>. Эти схемы были хороши своим научным остроумием и провокативностью, но Л. Толстого почти не задевали; казалось, еще немного, и ученый договорится до того, что и предсмертное



Сергей Есенин и Сергей Клычков. 1918

1 Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 122.

2 Эйхенбаум Б. М. “Мой современник...”: Художественная проза и избранные статьи 20–30-х годов. СПб., 2001. С. 119, 89.

бегство писателя из Ясной Поляны — тоже ход в литературной борьбе. Шкловский, в свою очередь, сводил к формализму творчество В. Розанова (для которого “прием <...> важен, а не мысли”) или Андрея Белого (которому антропософия нужна “как предлог для создания приема”<sup>1</sup>) — и опять-таки не без натяжек. Есенина же тогдашняя филологическая наука “проморгала”. “Крестьянский поэт” предстает у формалистов обреченным лишь на “голую эмоцию”<sup>2</sup>; в суждениях о есенинской “литературной личности” опоязовцам подчас изменяет даже их фирменный стиль: “хрупкая, богомольная, нежная и восторженная душа”<sup>3</sup>. А ведь именно Есенину парадоксы опоязовцев были бы как раз впору, в его творчестве и биографии они могли бы найти замечательное — и вовсе не тривиальное — подтверждение своевременности формального метода.

“Практика” Есенина и “теория” формалистов имеют общие исторические корни. В пореволюционные годы как литература, так и филология играли по правилам “*qui pro quo*”: поэтическая поза и политическая позиция, расчетливые литературные приемы и выстраданные идеи постоянно менялись местами. В то время решительно никому нельзя было верить на слово. Например, А. Н. Толстой обличал “эстетов, формовщиков, стилистов, красочников”<sup>4</sup>. И это при том, что его сила заключалась как раз в сноровке “формовщика” и “стилиста”. Поэтому саморазоблачение отрицательного героя толстовского романа: “Россия — это “что”, а мы — это “как”” — вполне могло восприниматься как авторское кредо, а призывный вопрос положительного героя: “В Россию, в русский народ веришь?” — маскирующим это кредо приемом. Есенин, с его нутряным чутьем и стремительной интуицией, не мог не уловить эту тенденцию — “экспансии”, “империализации” приема<sup>5</sup>, выдвижения “как” за счет “что”.

В своей “Автобиографии” 1923 года он написал: “...работал с эсерами не как партийный, а как поэт”<sup>6</sup>. Можно было бы заострить эту фразу: в работе с эсерами и в своей революционной деятельности Есенин решал поэтические задачи — и только. Революция была необходима Есенину как поэту для “борьбы за литературную власть” и создания “нужной писательской атмосферы”; “революционность” он использовал как прием; мечту о мужицком царстве — как “предлог”, “мотивировку”.

1 Шкловский В. Гамбургский счет: Статьи — воспоминания — эссе (1914–1933). М., 1990. С. 136, 227.

2 Формула Ю. Тынянова (Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика... С. 170).

3 Эйхенбаум Б. “Мой современник...”... С. 575.

4 В романе “Егор Абзов”.

5 Термины Ю. Тынянова.

6 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 13.



# СКИФЫ



Коллективный сборник «Скифы» (Пг., 1917—1918). Обложка К. С. Петрова-Водкина

В 1917–1918 годах литературная стратегия Есенина оказалась тесно связана с так называемым “скифством”. Организатором группы “скифов”, стремительно выдвинувшейся на ведущие позиции в литературе пореволюционного времени, был Иванов-Разумник. Именно ему многие приписывали тогда безграничное влияние на Есенина, самому же поэту отводили пассивную роль — ведомого, совращаемого, поющего с чужого голоса. Отчасти это мнение выражено и в мемуарной статье Ходасевича, убежденного в идейной несамостоятельности главной революционной поэмы Есенина: ““Инонию” он писал лишь в смысле некоторых литературных приемов по Библии. По существу же вернее было сказать не “по Библии”, а “по Иванову-Разумнику””<sup>1</sup>.

Гораздо резче высказывался, откликаясь на “скифство” Есенина, один из прежних его опекунов — С. Городецкий (в “Кавказском слове”, Тифлис): “Больно видеть, как на <...> Есенине повторяется судьба <И. С> Никитина, талант которого также замучили те же петербургские умники. <...> Глазам не веришь, как обработали мальчика”<sup>2</sup>. За писательскую судьбу “самородка” тогда всерьез опасались, что выразилось, например, в реплике литератора И. Евдокимова: “...заласкан Ивановым-Разумником...”<sup>3</sup>.

Действительно, поэт некоторое время мирился с тем, что критик занимает место рулевого. Казалось, ни одного шага Есенин не делал без сопровождения Иванова-Разумника: тот толковал и классифицировал образы есенинских поэм, одни строки затушевывал, а другие, наоборот, подхватывал, превращая в громкие лозунги. Для организатора “скифов” “крестьянский Боян” был важным (но все же не главным) звеном весьма амбициозного проекта. В замысле Иванова-Разумника был не только размах, но и симметрическая стройность. “...Сталкиваются две России, два мира, две революции, — писал критик в статье, опубликованной во втором сборнике “Скифы” (декабрь 1917 года). — <...> Два завета, два мира, две России. Из глубины народной поднялись обе этих России, и пропасть между ними; одна — Россия прошлого, другая — Россия будущего; град Старый и град Новый”<sup>4</sup>. За “Старый мир” цепляется “густая толпа злобящихся”, в том числе и большинство литераторов; “скифы” же радостно приветствуют “Новый мир”. В свою очередь, в “скифских” рядах, по Иванову-Разумнику, тоже намечалась почти идеальная симметрия. Выступая на вечере поэтов в мае 1918 года, он провозгласил идею группы, творящей идеаль-

1 Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 137.

2 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 153.

3 Летопись... Т. 2. С. 151.

4 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 72.

ный союз интеллигенции и народа: среди принявших революцию “есть такие, которые пришли к нам с вершин — Блок, Белый, и есть такие, которые пришли из низин, как Клюев, Есенин, Орешин”<sup>1</sup>.

Итак, по схеме Иванова-Разумника, Есенину отводилось второе место — после Клюева — в колонне, идущей “из низин” навстречу Белому и Блоку; себя же критик видел в роли толмача, посредника между “низинами” и “вершинами”. Но у Есенина были свои расчеты.

Прежде всего, революция и “скифство” давали ему возможность успешно бороться с петербургской литературной элитой, тесно связанной с либеральной оппозицией царскому режиму. Уже после Февраля, по словам Г. Иванова, “произошла забавная метаморфоза: всеильная оппозиция, свергнув монархию, превратившись из оппозиции во власть, неожиданно стала бессильной. “Соль земли русской” вдруг потеряла вкус <...> До революции, чтобы “выгнать из литературы” любого “отступника”, достаточно было двух-трех звонков “папы” Милюкова кому следует из редакционного кабинета “Речи”. Дальше машина “общественного мнения” работала уже сама — автоматически и беспощадно. Но на Милюкова-министра и на всех остальных недавних вершителей литературных судеб, превратившихся в сановников “великой, бескровной”, — Есенину, как говорится, было “плевать с высокого дерева”<sup>2</sup>. Революция нарушила сложившуюся литературную иерархию — для Есенина это был шанс решительного прорыва, выдвижения на первые позиции.

И он перешел в наступление, в полной мере воспользовавшись ресурсами “скифов”. Его стихи атаковали читателей со страниц эсеровских газет, журналов и “скифских” альманахов, звучали со сцены на организованных эсерами литературных вечерах. Свидетельством готовящегося вы-



Сергей Есенин. Москва. 1918

<sup>1</sup> Там же. С. 124.

<sup>2</sup> Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 181.

ступления против петербургских литераторов является известное письмо Ширяевцу от 24 июня 1917 года:

Об отношениях их к нам судить нечего, они совсем с нами разные, и мне кажется, что сидят гораздо мельче нашей крестьянской купницы. Мы ведь скифы, приявшие глазами Андрея Рублева Византию и писания Козьмы Индикоплова с поверием наших бабок, что земля на трех китах стоит, а они все романцы, брат, все западники, им нужна Америка, а нам в Жигулях песня да костер Стеньки Разина.

Тут о “нравится” говорить не приходится, а приходится натягивать свои подлинней голенища да забродить в их пруд поглубже и мутить, мутить до тех пор, пока они, как рыбы, не высунут свои носы и не разглядят тебя, что это “Ты”. Им все нравится подстриженное. Ровное и чистое, а тут вот возьмешь им да кинешь с плеч свою вихрастую голову, и боже мой, как их легко взбаламутить.

Конечно, не будь этой игры, весь успех нашего народнического движенья был бы скучен, и мы, пожалуй, легко бы сошлись с ними. <...>

Да, брат, сближение наше с ними невозможно. Ведь даже самый лучший из них, Белинский, говоря о Кольцове, писал “мы”, “самоучка”, “низший слой” и др., а эти еще дурее.

<...> С ними нужно не сближаться, а обтесывать, как какую-нибудь плоскую доску, и выводить на ней узоры, какие тебе хочется<sup>1</sup>.

В этом письме, при всем неприятии “литературных генералов”, еще нет речи о том, чтобы бросить им прямой вызов; пока приходится вести окольную “игру”: “мутить” “пруд”, “обтесывать” их, как “доску”, и “выводить на ней узоры”. Но уже слышатся в словах поэта угрозы намеком: пока что он бросает в них лишь свою “вихрастую голову”, но не запылал бы от нее “костер Стеньки Разина”. Куда громче звучат эти угрозы в стихотворении “О Русь, взмахни крылами...”, завершающем цикл “Под отчим кровом” во втором сборнике “Скифов”<sup>2</sup>. Здесь Есенин провозглашает свой новый поэтический манифест — в ответ на клюевские строки из первых “Скифов” (“Оттого в глазах моих просинь...”, 1916). Клюев вводил образ Есенина полемически — в пику петербургским интеллигентам, напуганным пророчествами Мережковского о “грядущем хаме”:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 95–96.

2 Несмотря на то что сам автор в наборном экземпляре “Толубени” помечает свое стихотворение 1916 годом, следует признать верной датировку, предложенную С. И. Субботиним (Субботин С. Есенин и Клюев: К истории творческих взаимоотношений // О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. 1. С. 105) и комментаторами Полного собрания сочинений (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 521): “О Русь, взмахни крылами...” не могло быть написано раньше лета 1917 года.

*Ждали хама, глупца непотребного,  
В спинжаке, с кулаками в арбуз, —  
Даль повыслала отрока вербного  
С голоском слаще девичьих бус.*

*Он поведал про сумерки карие,  
Про стога, про отжиночный сноп;  
Зашипели газеты: “Татария!  
И Есенин — поэт-юдофоб!”*

*О бездушное книжное мелево,  
Ворон ты, я же тундровый гусь!  
Осеняет Словесное дерево  
Избяную, дремучую Русь!*

В есенинском же стихотворении “маска” поэта неожиданно оказывается гораздо ближе к физиономии “грядущего хама”, чем к лику сладкого “отрока вербного”. Конечно, в образе, представленном Есениным, нет той карикатурности, что в клюевском стихотворении, зато есть нечто гораздо более пугающее, чем “кулаки в арбуз”. Лирический герой дан — по контрасту к смиренному Клюеву — воинственным, таящим угрозу:

*Монашья мудр и ласков,  
Он весь в резьбе молвы,  
И тихо сходит пасха  
С бескудрой головы.*

*А там, за взгорьем смолым,  
Иду, тропу тая,  
Кудрявый и веселый,  
Такой разбойный я.*

*Долга, крута дорога,  
Несчетны склоны гор;  
Но даже с тайной Бога  
Веду я тайно спор.*

*Сшибаю камнем месяц  
И на немую дрожь*

*Бросаю, в небо свесясь,  
Из голенища нож.*

Разумеется, направление этих боевых действий было исключительно литературным, но зато готовились они всерьез. Камень “разбойного” поэта нацелился не столько на месяц, а нож — не столько в небо, сколько в петербургских литераторов, монополизировавших месяц, небо и “тайну Бога”. За символами стоят имена, которые Есенин должен “сшибить” — чтобы заместить “иными именами”:

*Сокройся, сгинь ты, племя  
Смердящих снов и дум!  
На каменное темя  
Несем мы звездный шум.*

*Довольно гнить и ноять,  
И славить взлетом гнусь —  
Уж смыла, стерла деготь  
Воспрянувшая Русь.*

*Уж повела крылами  
Ее немая крепь!  
С иными именами  
Встает иная степь.*

Стоит обратить внимание на резкое расхождение стратегического плана Есенина с симметрическими построениями Иванова-Разумника: в “иной степи” не находится места ни Белому, ни Блоку, да и Клюев оставлен в прошлом, рядом с его “старшим братом” Кольцовым. По Есенину, с него самого, третьего по счету, и должен начаться новый мир “скифов” и “воспрянувшей Руси”, остальные же пойдут за ним:

*За мной незримым роем  
Идет кольцо других,  
И далеко по селам  
Звенит их бойкий стих.*

При этом любопытно совпадение метафорических рядов в есенинском стихотворном манифесте и в опоязовских трудах о “литературной эволю-



ции”. “Разбойное” нападение Есенина на “племя смердящих снов и дум” (то есть на сгнившего прежнего “гегемона”, на отжившую свое “старшую школу”)<sup>1</sup> живо напоминает о военных метафорах формалистов, не признававших “мира” ни в литературе, ни в науке. Формалисты не доверяли прямой линии — наследованию и преемственности, приравнивая их к деградации; продуктивными им представлялись только сложные маневры — ходы “вкось”, пути “подземные и боковые”. Есенин также идет к победе не прямой дорогой — “иду, тропу тая”. “Мы подошли, подходим и звякнем кольцом” — такую надпись делает поэт на экземпляре первых “Скифов”, подаренном Е. Понииковской<sup>2</sup>. Главное, что поэт “идет”, “подошел, подходит” по тропе войны: так “младшая линия врывается на место старшей”<sup>3</sup>. Ю. Тынянов называл выступления Пушкина против поздних карамзинистов “гражданской войной”, а попытку посредничества — попыткой примирить враждующие армии<sup>4</sup>. В XVIII веке, согласно Тынянову, ведется “грандиозная и жестокая борьба за формы”, для XX века характерна “стремительность смен”, “жестокость борьбы и быстрота падений”<sup>5</sup>. Вот и Есенин, жестоко борясь против петербургских литераторов, одновременно готовится к “гражданской войне” в своем, “скифском” лагере.

Вспомним, как в марте 1917 года напугала Ивнева клюевская фраза: “Наше время пришло”. Уже летом она обрела силу литературного лозунга (“С иными именами / Встает иная степь”). Тогда же этот лозунг прозвучал и в передовице к первым “Скифам”, написанной Ивановым-Разумником: “То, о чем еще недавно мы могли лишь в мечтах молчаливых, затаенных мечтах думать — стало к осуществлению как властная, всеобщая задача дня. К самым заветным целям мы сразу, неукротимым движением продвинулись на полет стрелы, на прямой удар. Наше время настало...”<sup>6</sup>. В чем разница двух манифестов? Мечты критика были о новом строе жизни, о новой вере, мечты поэта — о новой литературе, с ним, Есениным, во главе.

В январе 1918 года Есенин решил, что мечты пора осуществлять. Когда он провозгласил в “Инонии”: “Время мое пришло...”, это было равносильно заявлению, что свершилась не только та революция, о которой так долго говорили большевики, но и другая, поэтическая революция.

1 См.: Шкловский В. Гамбургский счет... С. 121.

2 Летопись... Т. 2. С. 50.

3 Шкловский В. Гамбургский счет... С. 121.

4 Тынянов Ю. Н. Пушкин и его современники. М., 1968. С. 70.

5 Тынянов Ю. Поэтика... С. 39, 169.

6 Скифы: Сб. 1. Пг., 1917. С. IX.

Формальный разрыв дипломатических отношений с дореволюционной литературной элитой произошел по инициативе противной стороны 21 января 1918 года — на литературном вечере, организованном газетой “Утро России” в пользу политического Красного Креста. Атмосфера в зале Тенишевского училища была тревожной и негодующей. Слишком свежи еще были в памяти события начала января: разгон Учредительного собрания, убийство в Мариинской больнице его депутатов Ф. Кокошкина и А. Шингарева. На этом фоне как прямой вызов со стороны “скифов” была воспринята опубликованная накануне статья А. Блока “Интеллигенция и революция” с ее призывом слушать музыку революции. Отсюда и тон выступлений. По сообщению газеты “Новый вечерний час” от 22 января 1918 года, Д. С. Мережковский “говорил о том, что он выступает с тяжелым чувством, когда как бы невозможно говорить, а в особенности читать стихи. Ведь это мерное слово, а мерность в настоящее время мы потеряли. Слово бессильно, когда наступило озверение... <...> З. Н. Гиппиус прочла ряд своих стихотворений, которыми была ею встречена мартовская революция и заклеямен октябрьский переворот. Поэтесса не ждет ничего хорошего от этого переворота:

*И скоро в старый хлев ты будешь загнан палкой,  
Народ, не уважающий святынь, —*

с болью пророчествует она”<sup>1</sup>.

Среди собравшихся находился и Есенин — единственный из “скифов”. С его слов Блок зафиксировал в своем дневнике событие, случившееся в тот день:

Звонил Есенин, рассказывал о вчерашнем “утре России” в Тенишевском зале. Гизетти и толпа кричали по адресу его, А. Белого и моему — “изменники”. Не подают руки. Кадеты и Мережковские злятся на меня страшно. Статья <“Интеллигенция и революция”> “искренняя, но нельзя простить”.

Господа, вы никогда не знали России и никогда ее не любили!  
Правда глаза колет<sup>2</sup>.

1 Цит. по: *Сегал Д.* “Сумерки свободы”... С. 160.

2 *Блок А.* Записные книжки. М., 1965. С. 385.

А вот что З. Гиппиус написала С. Ремизовой-Довгелло на следующий день после своего выступления: “Или я даром не подала руки Есенину?”<sup>1</sup> Всем было ясно, что недаром: жест З. Гиппиус, не подавшей руки Есенину, обеими сторонами расценивался как объявление войны.

“Скифы” “с вершин” тяжело переживали январские события. “Было (в январе и феврале) такое напряжение, — вспоминает Блок в письме к А. Белому от 9 апреля 1918 года, — что я начал слышать сильный шум внутри и кругом себя и ощущать частую физическую дрожь”<sup>2</sup>. Мучается сомнениями и Иванов-Разумник (“Все эти дни провел под впечатлением зверского убийства Шингарева и Кокошкина. Подлинно — “Демоны вышли из адской норы” не только в войне, но и в революции”<sup>3</sup>), и Белый (“Как это больно, трудно, антиномично”; “Смерть Ф. Ф. К<окошки>на убила меня: три дня не мог прийти в себя”<sup>4</sup>). Есенина же совершенно не смущали ни судьба Учредительного собрания и его депутатов, ни бойкот, объявленный ему прежними покровителями, ни разрыв отношений с ними. Если Белому и Блоку больно было рвать со “своими”, то Есенин, “чужак” и “захватчик”, как будто ждал, что ему не подадут руки, — ждал как сигнала к открытой схватке.

И он перешел в наступление — в том же январе, дописав свою “Инонию”. Летом 1917 года поэт угрожал еще с некоторого расстояния (“полета стрелы”, “прямого удара”): месяцу — камнем, небу — ножом, Богу — “тайным спором”. В “Инонии” угроза совсем близка — вот-вот она реализуется, минута — и дело дойдет до рукопашной, в ход пойдут не только руки, но и зубы:

*Подыму свои руки к месяцу.*

*Раскушу его, как орех.*

.....

*Протянусь до незримого города,*

*Млечный прокушу покров.*

*Даже Богу я выщиплю бороду*

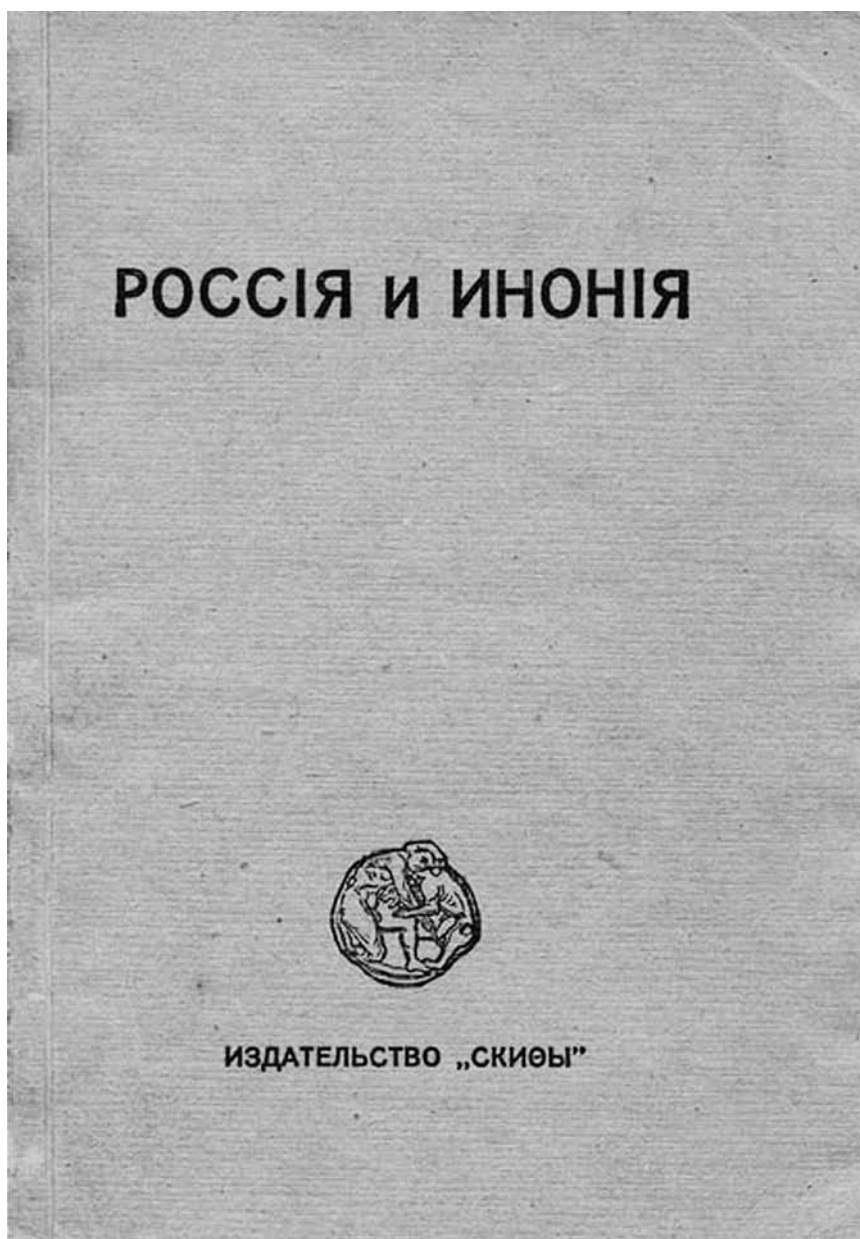
*Оскалом моих зубов.*

1 *Lampf H.* Zinaida Hippus and S. P. Remizova-Dovgello // Wiener Slawistischer Almanach, 1978. S. Bd. 1. S. 167.

2 *Блок А.* Собр. соч. Т. 8. С. 512.

3 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 151.

4 Там же. С. 149, 153.



Обложка сборника "Россия и Инония" (Берлин, 1920), в котором опубликована статья Иванова-Разумника "Россия и Инония", поэмы Сергея Есенина ("Товарищ", "Инония") и Андрея Белого ("Христос воскрес")

“Кусая” символы прежней культуры, поэт возвещает о приходе новой власти. Власти “скифов”? Не совсем так.

Помимо войны с внешним противником Есенин затевает в “Инонии” “гражданскую войну”. Проклятия Китежу и Радонежу, раздающиеся в “Инонии” (“Проклинаю я дыханье Китежа”; “Проклинаю тебя я, Радонеж”), — это точно рассчитанный рикошет, целью которого был как раз Клюев<sup>1</sup>. Однако, как и летом 1917 года, столкновение внутри “скифского” стана, только уже гораздо более ожесточенное, было спровоцировано не есенинским, а клюевским стихотворением — в этот раз “Елушкой-сестрицей”, появившейся в декабре 1917 года на страницах “Ежемесячного журнала”:

*Елушка-сестрица,  
Верба-голубица,  
Я пришел до вас:  
Белый цвет Сережа,  
С Китоврасом схожий,  
Разлюбил мой сказ!*

*Он пришелец дальний,  
Серафим опальный,  
Руки — свитки крыл.  
Как к причастью звоны,  
Мамины иконы,  
Я его любил.  
И в дали предвечной,  
Светлый, трехвенечный,  
Мной провиден он.  
Пусть я не красивый,  
Хворый и плешивый,  
Но душа, как сон.  
.....*

*Тяжко, светик, тяжко!  
Вся в крови рубашка...  
Где ты, Узлич мой?...  
Жертва Годунова,*

1 См.: Субботин С. Есенин и Клюев... С. 110.

*Я в глуши еловой  
Восприму покой.*

*Буду в хвойной митре,  
Убиенный Митрий,  
Почивать, забыт...  
Грянет час вселенский,  
И Собор Успенский  
Сказку приютит.*

Все в этой вязи мифологических и исторических сравнений обижало адресата стихотворения. Даже в уподоблении “Сережи” могучему и мудрому человеку-коню Китоврасу, вроде бы комплиментарном, Есенину виделся намек на свое подчиненное положение: значит, роль “премудрого Соломона” Клюев отводил себе (вспомним “Сказание о том, как был взят Китоврас Соломоном” в древнерусском “Изборнике”); видимо, раздражала младшего поэта и гомоэротическая подоплека клюевских эпитетов. “Я больше знаю его, чем Вы, — писал Есенин Иванову-Разумнику в декабре 1917 года, — и знаю, что заставило написать его “прекраснейшему” и “белый свет Сережа, с Китоврасом схожий”<sup>1</sup>. В черновиках этого письма Есенин идет дальше, истолковывая другую аналогию — с Митрием и Годуновым — в самом негативном для себя смысле: “Ведь в этом стихотворении Годунов, от которого ему так тяжело, есть не кто иной, как... сей же Китоврас, и <...> знает это <...> только пишущий он да читающий я”<sup>2</sup>. Комментируя “Елушку-сестрицу”, Есенин как будто подхватывает метафору и начинает состязаться с Клюевым в загадывании и разгадывании загадок, как Китоврас с Соломоном в древнерусской легенде<sup>3</sup>. Своей “Инонией” Есенин отвечает Клюеву, “загадочно” соединившему в “Елушке-сестрице” “город”, “саван” и “псалтырь”. Клюев пророчествовал и указывал Есенину свой путь к свету:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 99.

2 Там же. С. 437.

3 Так Есенин связывает два образа клюевского стихотворения — Китовраса и Годунова; не “реализует” ли он таким образом сюжет древнерусского сказания? Ср.: “Однажды Соломон сказал Китоврасу: “Теперь я убедился, что сила твоя — как и человеческая, и не больше твоя сила нашей силы, ибо поймал я тебя”. И ответил ему Китоврас: “Царь, если хочешь узнать мою силу, сними с меня цепи и дай мне свой перстень с руки, тогда увидишь силу мою”. Соломон снял с него железную цепь и дал ему перстень. А он проглотил перстень, простер крыло свое, размахнулся и ударил Соломона и забросил его на край земли обетованной. Узнали об этом мудрецы и книжники и разыскали Соломона” (перевод Г. Прохорова).



*Дух ли это Славы,  
Город златоглавый,  
Савана ли плеск?  
Только шире, шире  
Белизна псалтыри —  
Нестерпимый блеск.*

В ответ Есенин косвенно объявил Клюева лжепророком, а истинным пророком — себя. В “Инонии” он последовательно отрицает все клюевское. Вместо “города златоглавого” (Китежа) и “плеска” савана он обещает град “иной” и новую жизнь:

*Проклинаю я дыхание Китежа  
И все лощины его дорог.  
Я хочу, чтоб на бездонном вытяже  
Мы воздвигли себе чертог.  
.....  
Обещаю вам град Инонию,  
Где живет Божество живых!*

Грозя Московии с ее “часословом”, младший поэт заодно отменяет и клюевскую “псалтырь”:

*Плачь и рыдай, Московия!  
Новый пришел Индикоплов.  
Все молитвы в твоём часослове я  
Прокляю моим клювом слов.*

И наконец, “Инония”, отказавшись от источаемого псалтырью “нестерпимого блеска”, указывает на новый источник света:

*Уведу мой народ от упования,  
Дам ему веру и мощь,  
Чтобы плугом он в зори ранние  
Распахивал с солнцем ночь.  
Чтобы поле его словесное  
Выращало ульями злак,  
Чтобы зерна под крышей небесною  
Озлащали, как пчелы, мрак.*

Атака Есенина была направлена не только против Клюева, это была попытка смещения “старших” в лагере победителей. Есенин больше не мог мириться со вторыми ролями. Тем более его взбесили настойчивые указания на первенство Клюева в статьях Белого и Иванова-Разумника, опубликованных во вторых “Скифах” — почти одновременно с “Елушкой-сестрицей”. “Клюев — первый народный поэт наш, первый, открывающий нам подлинные глубины духа народного; <...> стихотворение <Клюева> “Песнь Солнценосца” по глубине захвата далеко превосходит все написанное до сих пор о русской революции”, — пишет Иванов-Разумник<sup>1</sup>. Андрей Белый подхватывает: “И если народный поэт говорит от лица ему вскрывшейся Правды Народной, то прекрасен Народ, приподнявший огромную правду о Солнце над миром — в час грома...”<sup>2</sup>. Ответ Есенина Иванову-Разумнику:

*Уж очень мне понравилась, с прибавлением не, клюевская “Песнь Солнценосца” и хвалебные оды ей с бездарной “Красной песней”.*

*Штемпель Ваш “первый глубинный народный поэт”, который Вы приложили к Клюеву из достижений его “Песнь Солнценосца”, обязывает меня не появляться в третьих “Скифах”. Ибо то, что вы сочли с Андреем Белым за верх совершенства, я счел только за мышиный писк<sup>3</sup>.*

Младший поэт ревниво ловит каждое слово Белого и Иванова-Разумника, в каждой невинной обмолвке видит окрик старших: знай свое место! В частности, Есенин дает понять, что от него не укрылась подоплека логической связки из статьи Иванова-Разумника “Две России” (“и другой поэт <Есенин> созвучно первому <Клюеву> повторяет...”<sup>4</sup>). Автор “Инонии” так точно угадывает оценку своего творчества “скифским” критиком, как будто читал одно из писем Иванова-Разумника Белому: “Растет мальчик (и откуда что берется); пройдя через большие страдания, быть может, и до Клюева дорастет”<sup>5</sup>. В своем письме Есенин с яростью оспаривает значение Клюева, с пояснением: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценосца и моим “созвучно вторит...”<sup>6</sup> Но гораздо труднее поверить этой оговорке, чем той гиперболе, с которой на-

1 Скифы: Сб. 2. Пг., 1918. С. 2.

2 Там же. С. 10.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 99.

4 Скифы: Сб. 2. С. 233.

5 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 138.

6 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 100.

чинается “Инония”. Это гипербола самого себя:

*Не утрашуся гибели,  
Ни копий, ни стрел дождей, —  
Так говорит по Библии  
Пророк Есенин Сергей.*

Не “мы... подходим”, а “я пришел”, настало не “наше время”, а “мое” — вот под каким знаменем отныне ведет Есенин свою литературную борьбу.

Стараниями Иванова-Разумника, замечательного дипломата, в стане “скифов” был восстановлен мир. Но это была только видимость мира — скорее уж тактическое перемирие: до поры до времени Есенину было просто невыгодно рвать отношения с Ивановым-Разумником. Но после левоэсеровского мятежа и закрытия контролируемых левыми эсерами изданий (начало июля 1918 года) поэта уже ничто не связывало со “скифами”.

Для старших “скифов” июльские события были той чертой, за которой наступило разочарование и отрезвление. “...Я одичал и не чувствую политики окончательно”, — записывает в дневнике Блок<sup>1</sup>. “Я сейчас, как улитка, спрятался в свою скорлупу”, — пишет в августе 1918 года Иванову-Разумнику Андрей Белый, а позже вспоминает о том времени: “Впервые серьезный перелом от розовой романтики в отношении к революции, к исканию чисто реалистического самоопределения в ней <...> пишу Рейснеру письмо с отказом от профессуры в Социалистической Академии; перестал писать в газетах”<sup>2</sup>. Для Есенина же, напротив, это было радостное время отрыва и взлета: благодаря “скифам” он получил ускорение (и в творчестве, и в литературной карьере), пора было устремиться дальше, к очередным рубежам, но уже без “скифов”.



Александр Блок. 1907

1 Записные книжки Ал. Блока / Под ред. и с примеч. П. Н. Медведева. М., 1930. С. 200.

2 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 162.



Иванов-Разумник. 1910-е

Цель Есенина — стать не “одним из”, а первым. Поэтому Блок и Белый для него не столько наставники, сколько соперники. “...Мы еще и Блоку, и Белому загнем салазки!” — в этих словах, адресованных крестьянскому поэту П. Орешину в 1917 году, еще чувствуется ставка на мужицкую “купницу”<sup>3</sup>. В 1918 году Есенин начнет состязаться с учителями уже на свой страх и риск, ревниво прикидывая, обошел ли он, например, Блока или еще нет. По воспоминаниям В. Чернявского, “с Блоком в то время <ноябрь 1917 — март 1918> было у <Есенина> внутреннее расхождение <...> В холоде, который он почувствовал к Бло-

ку и в Блоке, замешалась, думается мне, прямая ревность к праву на голос “первого русского поэта” в период Октября, а в “скифской” плеяде таковым был именно Блок. Ни “Скифы”, ни “Двенадцать”, казалось, не тронули Сергея”<sup>4</sup>.

“Тягой, стремлением, гонкой к славе, к званию “первого русского поэта”, к “догнать и перегнать”, к перескочить и переплюнуть, были одержимы многие поэты того времени, — считает Ю. Анненков. — <...> Как-то я спросил Есенина, на какого черта нужен ему этот сомнительный чемпионат?

— По традиции, — ответил Есенин, — читал у Пушкина “Я памятник воздвиг себе нерукотворный”?”<sup>3</sup>

Следовательно, вовсе не примитивным инстинктом самосохранения объяснялись неожиданные политические зигзаги в карьере Есенина, а высоким стремлением к литературному рекорду. Поэту было мало успеха, мало было даже славы — в качестве приза в поэтическом “чемпионате” ему непременно нужен был “памятник нерукотворный” — на века.

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 265.

2 Там же. С. 221.

3 Анненков Ю. Сергей Есенин // Анненков Ю. Дневник моих встреч... Т. 1. С.148.

**4** Современники Есенина в один голос говорят о радостной устремленности вдаль, бурном воодушевлении Есенина в 1917—1918 годах. Одним только желанием “перескочить и переплюнуть” этого не объяснить, необходима еще и вера. Но верил Есенин не в мужицкое царство (это был лишь “предлог для создания приема”), а в “воскрешение слова”. Вот что заставляло Есенина рваться не только к первенству, но и к поэтическому совершенству.

Продолжим прерванную ранее цитату из гневного письма Есенина к Иванову-Разумнику: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценовца и моим “созвучно вторит”, а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из сердца самого себя птенцом...”<sup>1</sup>. Поэт в данном случае не лжет и не играет: за “слово” он действительно обижается не меньше, чем за свою репутацию.

Вспоминая разговоры Есенина в ту эпоху, И. Эренбург замечал: “В отличие от Клюева, он менял роли; говорил то об индоклаве<sup>2</sup>, то о динамичности образа, то о скифстве; но не играть не мог (или не хотел)”<sup>3</sup>. В одном мемуарист был все же не прав: о скифстве говорил игрок, но о “динамичности образа” — уже фанатик. Прославляя революцию, поэт на самом деле прославлял “динамичность образа”; обещая перевернуть мир, он на самом деле обещал “сдвинуть”, “остранить” и тем самым “воскресить” слово. Даже мечты о народном счастье упираются в слово:

*Чтобы поле его словесное  
Выращало ульями злак...*

Настоящее слово “не золотится”, как клюевское, “а проклевывается из сердца самого себя птенцом”, — настаивает Есенин; подобные метафоры вновь и вновь возникают в стихах, статьях, устных высказываниях поэта. В этих метафорах чувствуется особое напряжение: автор “Инонии” всеми силами борется за “динамический образ”, “проклевывающийся”, “перерастающий себя”, преодолевая застывшее (“золотящееся”) слово<sup>4</sup>.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 100.

2 Очевидно, речь здесь идет об александрийском монахе VI в., авторе книги “Христианская топография” Косме Индикоплове.

3 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. М., 1961. С. 579.

4 Интересно, что сходными образами, взятыми из Евангелия, воспользовался в своем ключевом стихотворении 1917 года “Путем зерна” еще один поэт, наконец нашедший себя, — Владислав Ходасевич:

*Проходит сеятель по ровным бороздам.  
Отец его и дед по тем же шли путям.  
Сверкает золотом в его руке зерно,  
Но в землю черную оно упасть должно.  
И там, где червь слепой прокладывает ход,  
Оно в заветный срок умрет и прорастет.*

В очень важном для Есенина трактате “Ключи Марии”, написанном осенью 1918 года, он описывает русский орнамент и борется с орнаментальностью в поэзии. По Есенину, каждый элемент в русском орнаменте, каждая вещь в крестьянском обиходе есть знак устремления вдаль: “Все наши коньки на крышах, петухи на ставнях, голуби на князьке крыльца, цветы на постельном и тельном белье вместе с полотенцами носят не простой характер узорожья, это великая значная эпопея исходу мира и назначению человека”<sup>1</sup>. Обнаруживая “динамику” даже в узоре, Есенин тем сильнее порицает застывший узор в поэзии. Так поэт отталкивается не только от “изографа”<sup>2</sup> Клюева, но и от собственной старой поэтики — узорчатой, орнаментальной.

Задача Есенина после Февраля — привести образ, слово в движение. Согласно иерархии образов, выстроенной в “Ключах Марии”, “заставочный” (статичный) образ соответствует старому миру, “ангелический” (“пробитие из... образа какого-нибудь окна”<sup>3</sup>) — переходному периоду, “корабельный” же (движущийся, плывущий) — подлинно революционен. Революция должна помочь поэту уплыть на “корабельном” образе от “заставочного” — в новый мир как новый смысл. Именно об этой — словесной — революции Есенин и говорит все время, даже когда выступает на политическом митинге: “Революция... это ворон... ворон, которого мы выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...”<sup>4</sup>

Что же это за будущее? Куда должен долететь этот ворон? Это Есенин объясняет сбивчиво и туманно: важно выпустить “ворона” слова, а уж он куда-нибудь долетит, важно сдвинуть образ — и он к чему-нибудь вывезет. Блок записывает за Есениным 3 января 1918 года (в период работы над “Инонией”):

Образ творчества: схватить, прокусить.

Налимы, видя отражение луны на льду, присасываются ко льду снизу и сосут: прососали, а луна убежала на небо. Налиму выплеснуться до луны.

Жадный окунь с плотвой: плотва во рту больше его ростом, он не может проглотить, она уж его тащит за собой, не он ее<sup>5</sup>.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 191.

2 “Только изограф, но не открыватель” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 100).

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 205.

4 Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 131. См. сходный образ в “Ключах Марии”: “То, что сейчас является нашим глазам в строительстве пролетарской культуры, мы называем: “Ной выпускает ворона”” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 213).

5 Блок А. Собр. соч. Т. 7 С. 313.



Вот так же в свой период “бури и натиска” (1917–1918 годы) Есенин присасывается к слову в искренней надежде, что оно “доплеснет” его до луны, вгрызается в слово, веря, что оно вытащит его к чему-то неведомому, лучшему.

В словаре Б. П. Козьмина рассмотренный в этой главе период биографии Есенина представлен следующим образом: “В революцию дезертировал из армии Керенского. Работал с эс-эрами, при расколе партии пошел с левой группой и в Октябре был в их боевой дружине”<sup>1</sup>.

1 Писатели современной эпохи. С. 123.



Сергей Есенин  
Фотография Н. И. Свицова-Паолы. 1919

# Глава шестая

## Счастливым Есенин (1918)

**1** Если прав А. Н. Толстой, определивший счастье как “ощущение свободного движения вперед и своего роста”, то 1917 и 1918 годы были самыми счастливыми в жизни Есенина. Тогда он находил знаки “движения” и “роста” даже в начертаниях букв. Так, не указывает ли эмблематическое толкование буквы “Я” в “Ключах Марии” на бурный подъем “Я” самого поэта?

“Эта буква рисует человека, опустившего руки на пуп <...> шагающим по земле, — утверждает Есенин. — Линии, идущие от середины туловища буквы, есть не что иное, как занесенная для шага правая нога и подпирающая корпус левая.

Через этот мудро занесенный шаг <...> мы видим, что человек окончательно себя не нашел. Он мудро благословил себя, с скарбом открытых ему сущностей, на вечную дорогу, которая означает движение, движение и только движение вперед”<sup>1</sup>.

С 1917 года, когда поэт перестал играть по чужим правилам и дал себе полную волю, его стали воспринимать совершенно иначе. Устремленность вперед и метафорическая пластичность ощущались тогда во всем есенинском — в его облике, жестах, поступках, образе жизни и, конечно, стихах. Вихрем удерживалось в Есенине счастливое единство личности. “...Была в нем большая перемена, — вспоминает В. Чернявский. — Он казался мужественнее, выпрямленнее, взволнованно-серьезнее. <...> Никто не рассматривал его в лорнет, он сам перестал смотреть людям в глаза с пытливостью и осторожностью. Хлесткий сквозняк революции <освободил> в нем новые энергии”<sup>2</sup>. Именно энергии тогда изумлялись в Есени-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 200.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 216–217.

не — “нечеловеческому темпераменту” (П. Орешин)<sup>1</sup>, талантливости, “рвущейся наружу”, оставляющей “впечатление чего-то яркого, праздничного, полного неисчерпаемых сил” (С. Спасский)<sup>2</sup>.

Секрет нового есенинского обаяния<sup>3</sup> точно подметил В. Ходасевич: “Он был очень ритмичен”. Это проявлялось прежде всего в “веселости, легкой, бойкой, но не шумной и не резкой”<sup>4</sup>, в “легкой походке” как выражении свойственного только ему одному телесно-духовного ритма (“весь он был легкий, светлый, быстрый и всегда себе на уме”<sup>5</sup>). Если прежде впечатление от Есенина складывалось в застывший стилизованный образ, то теперь поэт покорял изменчивым ладом личности. Он мог быть тихим, кротким, и тогда “естественная способность очаровывать своей мягкостью привлекала к нему всех и как бы разглаживала его путь”, а мог вдруг предстать захватывающе “стремительным и взволнованным”, “словно захлебывающимся от воодушевления” (С. Спасский)<sup>6</sup>.

Как и раньше, Есенин привлекал окружающих своей красотой (П. Орешин: “Поглядел я на него: хорош!”<sup>7</sup>), но уже по-другому: словно лубочная картинка превратилась в импрессионистический портрет. Знаменитые есенинские волосы взвихрились — в полном согласии с его собственными метафорами: “...кинешь с плеч свою вихрастую голову...” Мемуаристы послушно подхватили эти метафоры: “Желтые кудри стряхивались на лицо” (П. Орешин)<sup>8</sup>, “желтые волосы цвета спелой ржи, как будто кипевшие на точеной красивой голове” (Н. Полетаев)<sup>9</sup>. По впечатлениям современников, голубые глаза тоже стали иными: они засияли каким-то особенным блеском. Позже в одном из стихотворений Есенин элегически оглянется на себя, двадцатитрехлетнего: “Буйство глаз и половодье чувств”. И опять поэтическая строка подтверждается свидетельствами мемуаристов: “голубые глаза, блестящие необычной улыбкой” (Н. Полетаев)<sup>10</sup>; “глаза сосредоточенные, сверкающие” (С. Спасский)<sup>11</sup>; “надо было

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 267.

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 194.

3 Сергей Спасский вспоминал: “Мы знали о появлении Есенина в Петрограде прежде, чем столкнуться с его стихами. <...> Это, вероятно, объясняется неоспоримым обаянием его личности. При первом взгляде на него побеждала его открытая талантливость” (С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 194).

4 Ходасевич В. Собр. соч.: В 4 т. Т. 4. С. 139.

5 Розанов И. Есенин и его спутники... С. 445.

6 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 195.

7 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 264.

8 Там же. С. 264.

9 Там же. С. 294.

10 Там же. С. 294.

11 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 196.

видеть, как иногда загорались эти глаза. <...> Это была красота живая, красота выражения” (И. Розанов)<sup>1</sup>.

В революционные годы изменилась и есенинская манера одеваться: теперь он свободно играл с ожиданиями публики, удивлял контрастами. Нередко поэт являлся в уже привычном пасторальном костюме с незначительными вариациями: белая вышитая русская рубашка, широкие штаны, синяя поддевка нараспашку с барашковым воротничком или кафтан, сшитый из тонкого сукна, поясок с кистями<sup>2</sup>. Но иногда вдруг надевал узкий пиджак (С. Спасский)<sup>3</sup> “с иголки” (Н. Полетаев)<sup>4</sup>, с претензией на франтовство, подвязывал красивый галстук, щеголял модными ботинками с серыми гетрами (В. Кириллов)<sup>5</sup>. Есенинский маскарад стал более увлекательным и непредсказуемым — с утрированными переодеваниями, символизировавшими то ли союз, то ли борьбу города и деревни.

**2** 4 января 1918 года Блок записал в своем дневнике слова Есенина: “(Интеллигент) — как птица в клетке; к нему протягивается рука здоровая, жилистая (народ); он бьется, кричит от страха. А его возьмут... и выпустят (жест вверх...)”. Заметим, более всего Блока заинтересовала в этом высказывании не идея, а стиль: “...Вообще — напев А. Белого — при чтении стихов и в жестах, и в разговоре...”<sup>6</sup>. Ценное свидетельство. Действительно, именно тогда, на рубеже 1917–1918 годов, прежние учителя — Клюев и Блок — временно отступили для Есенина в тень, а на первый план вышел Андрей Белый. Согласно позднейшим есенинским признаниям, это воздействие было одновременно “формальным” (“Белый дал мне много в смысле формы...”<sup>7</sup>) и “личным” (“Громадное личное влияние имел на меня <...> Андрей Белый”<sup>8</sup>): на поиски новой формы вдохновляли не столько произведения, сколько интонация, жест, спонтанное словотворчество мэтра<sup>9</sup>.

1 Розанов И. Литературные репутации. М., 1990. С. 445.

2 См. в воспоминаниях И. Грузинова, В. Чернявского (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 218, 351), С. Спасского (С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 197).

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 194.

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 296.

5 Там же. С. 270.

6 Блок А. Собр. соч. Т. 7. С. 313.

7 Заметка “О себе” (1925). См.: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 19.

8 Запись И. Розанова. См.: Розанов И. Есенин о себе и других. С. 16.

9 “...Андрей Белый оказал на меня влияние не своими произведениями, а своими беседами со мной” (запись И. Розанова, цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 344).

Особенно часто Есенин и Андрей Белый встречались осенью 1918 года — в помещении Пролеткульта на Воздвиженке, бывшем Морозовском особняке. “Вот они сидят друг против друга, — вспоминает С. Спасский по впечатлениям той пролеткультовской осени, — два поэта разных школ, люди различных биографий и мировоззрений, но оба умеющие говорить и чувствовавшие себя как дома в завихрениях мыслей и образов. <...> Подчеркивая слова широкими легкими жестами, Белый говорит о процессе творчества, столь знакомом ему и все-таки непонятном. <...> И Есенин подхватывает эти слова с почтительным и удовлетворенным видом”<sup>1</sup>. “Оба умеющие говорить” — эту оценку вряд ли можно принять без оговорок. В отличие от своего собеседника Есенин не был признанным оратором. Напротив, чаще речь его казалась отрывистой и сбивчивой. “Говорить Есенин не умел, — вспоминал Скиталец, — мысли свои выражал запутанно и очень горячился. <...> Вообще же, проявил поэтическое отвращение к логике и большое пристрастие к парадоксам и гиперболам”<sup>2</sup>. Но в том-то и дело, что именно в революционные годы есенинская речевая “бессвязность” обернулась “гениальным” косноязычием<sup>3</sup>, а инстинктивное “отвращение к логике” — торжеством поэтической стихии: “завихрением мыслей и образов”, извержением “парадоксов и гипербол”. Этим Есенин был не в последнюю очередь обязан той “эвритмической” школе, что он прошел у Белого: младший поэт учился у старшего не писать, а “танцевать” — “бурлить и пениться”, “клубиться обличьями”<sup>4</sup>, “уноситься в пространство на крыльях тысячи слов”<sup>5</sup>.

Об особенностях “тройного, четверного” словесного танца Андрея Белого мы можем судить хотя бы по мемуарному очерку М. Цветаевой “Пленный дух”. Вот как она передает монолог Белого, внезапно выросший из его разговора с поэтами-“ничевоками” (в 1920–1921 годах): “Ничего: чего: черно. Ч — о, ч — чернота — о — *пустота: ze’ro*. Круг пустоты и черноты. Заметьте, что ч — само черно: *ч*: ночь, черт, чара. Ничевоки... а *ки* — ваша множественность, заселенность этой черной дыры мелочью: чью, мелкой черной мелочью: меленькой, меленькой, меленькой...

1 Спасский С. Наброски со стороны // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 197–198.

2 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 168.

3 Владимир Пяст писал по поводу одного из выступлений Есенина: “...вся речь была бессвязна, как принято выражаться, гениально-косноязычна” (Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 93). При чтении этого фрагмента, разумеется, вспоминается не только Белый, но и Велимир Хлебников. О его взаимоотношениях с Есениным и имажинистами у нас еще будет случай поговорить.

4 “В <...> годы московской жизни Андрей Белый с одинаковой почти страстью бурлил и пенился на гребнях всех ее волн”; “Смотришь на него и видишь, что весь он словно клубится какими-то обличьями” (Степун Ф. Встречи. М, 1998. С. 159, 166).

5 Слова 3. Гиппиус. См.: Воспоминания об Андрее Белом. М., 1995. С. 82.



Ничевоки — это блохи в опустелом доме, из которого хозяева выехали на лето. А хозяева (подымая палец и медленно его устремляя в землю и следя за ним и заставляя всех следить) — выехали! Выбыли! Пустая дача: *ча*, и в ней ничего, и еще *ки*, ничего, разродившееся... *ки*... Дача! Не та бревенчатая дача в Сокольниках, а дача — дар, чей-то дар, и вот, русская литература *была* чьим-то таким даром, *дачей*, но... (палец к губам, таинственно) *хозя-е-ва вы-е-ха-ли*. И не осталось — ничего. Одно ничего осталось, поселилось. Но это еще не вся беда, совсем не беда, когда *одно* ничего, оно-ничего само-ничего, беда, когда — *ки*... Ки, ведь это, *кхи*... При-шел смешок. При-тан-це-вал на тонких ножках сме-шок, *кхи-шок*. *Кхи*... И от всего осталось... *кхи*. От всего осталось не ничего, а *кхи*, *хи*... На черных ножках — блошки... И как они колются! Язвят! Как они неуязвимы... как *вы* неуязвимы, господа, в своем ничего-ше-стве! По краю черной дыры, проваленной дыры, где погребена русская литература (таинственно)... и еще что-то... на спичечных ножках — ничегошки. А детки ваши будут — ничегошеньки. <...> По краю, не срываясь, *хи-хи-хи*... Не платя — *хи-хи*... Сти-хи?..”<sup>1</sup>

Цветаевская “транскрипция” показывает, за счет чего Белый добивался неотразимого воздействия на слушателей: словесная, смысловая игра усиливалась ритмической игрой — дирижерской жестикуляцией, сменой речевого темпа, интонационными “па”, голосовыми акцентами (В. Шершеневич: “Белый мог говорить о чем угодно. И всегда вдохновенно. Он говорил разными шрифтами. В его тонировке масса подчерков”<sup>2</sup>). Есенин не подражал “пифийским”<sup>3</sup> монологам Белого, но заряжался от них; вдохновляясь беловским “напевом”, импровизировал свой. Есенинская речь тогда поистине расцвела. Он все чаще играл на паузе, останавливаясь, артистически запинаясь перед тем, как сделать парадоксальный ход, произвести нечто неожиданное. Эффект нередко усиливался “крылатым” движением рук. Такую интонационную отбивку — перед “взлетом” — как раз и зафиксировал Блок в своем дневнике: “...а его возьмут.. и выпустят (жест наверх)”.

Еще раз процитируем приведенную Ходасевичем фразу из выступления Есенина на митинге: “Революция... это ворон... ворон, которого мы

1 Цветаева М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 4. М., 1994. С. 236–237. Ср. с высказыванием Есенина о ничевоках: “Меня спрашивают о ничевоках. Что я могу сказать? <...> Ничего и есть ничего” (*Райзман М.* Все, что помню о Есенине. М., 1973. С. 66).

2 Мой век, мои друзья и подруги: Воспоминания Мариенгофа, Шершеневича, Грузинова. М., 1990. С. 450.

3 В. Шершеневич: “Андрей Белый замечательно говорил. Его можно было слушать часами, даже не все понимая из того, что он говорил. <...> Если он сказал сам про себя, кокетничая: “Пишу, как сапожник!”, то он мог еще точнее сказать: “Говорю, как пифия” (*Мой век... С. 450*).

выпускаем из своей головы... на разведку... Будущее больше...” Паузой в этом высказывании каждый раз предваряется резкий и внезапный метафорический скачок от одной “далековатой идеи” к другой. Вместе с тем и сами эти паузы воспринимаются как метафоры — будто в промежутке *между* словами мысль, стремясь к прозрению, перепрыгивает через логические связи.

Подобно Белому, Есенин форсирует слово в устном быту — и на уровне смысла, и на уровне звука. “...Он был очень большой и настойчивый говорун, — вспоминает П. Орешин, — и говор у него в ту пору был витиеватый, иносказательный, больше образами, чем логическими доводами, легко порхающий с предмета на предмет, занимательный, неподражаемый говор”<sup>1</sup>. Завораживали и “музыка его речи”, и “напряженность мысли” (Л. Повицкий)<sup>2</sup>, направленной не на разрешение вопросов бытия, а на поиск “динамического образа”.

Для остранения смысла поэт углубляется в корнесловие — ищет не столько этимологическую “внутреннюю форму”, сколько поэтическую “внутреннюю рифму” слова. А. Мариенгоф утверждал, что “Есенин всегда любил слово нутром выворачивать наружу, к первоначальному его смыслу”<sup>3</sup>. Однако в одном с мемуаристом вряд ли можно согласиться: не всегда было в Есенине это “прислушивание к нутру всякого слова”<sup>4</sup>, а только с 1917 года, с тех пор, как он познакомился с Белым. В статье о беловском “Котике Летаеве”, опубликованной весной 1918 года, Есенин пишет: “Речь наша есть тот песок, в котором затерялась маленькая жемчужина — “отворись””<sup>5</sup>. С этим заклинанием, подслушанным у своего старшего собеседника, он и подходит к живому, звучащему слову.

“Магический” диалог поэтов, их совместные погружения в тайны корнесловия отражаются в их теоретических работах. В своей “Глоссолалии” Белый вещает: ““Це” — зачатки растений: лучи, росты, струи; поздней “ц” распалось на “t” и на “s”; “t” суть ткани земные лучей: или — росты (растения); протяжение, распространение ветвей в звуках “st” или “str”; звуколучие растительных блесков стреляет: *ра-ст-ит-* (ельно)-*ст-* (ь); “ельно” <...> это влага растений; растительность — повторение блесков; цветы суть огни; воспоминания о лопастях лучевых — в лепестках; так “str” в нашей зелени (ветви и листья) суть: *стр-*уи лучей, *стр-*асти светочей, их

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 266.

2 Там же. С. 236.

3 Мой век... С. 311

4 Там же. С. 311.

5 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 180.

стр-емления: Strahlen и Strecken; и астры (цветы) повторяют нам “astre” или “светоч”: стр-елой лепестка”<sup>1</sup>.

А Есенин как будто откликается Белому в своих “Ключах Марии”: “Само слово *пас-тух* (= пас-дух, ибо в русском языке часто *д* переходит в *т*, так же как *е* в *о*, осень — осень, и *а* в *я*, аблонь — яблонь) говорит о каком-то мистически-помазанном значении над ним”<sup>2</sup>. Автор “Ключей Марии” и в дальнейшем будет прибегать к метафорическому, образному истолкованию слов — по созвучию; это станет одним из его излюбленных речевых приемов: “Россия! Какое хорошее слово... И “роса”, и “сила”, и “синее” что-то”<sup>3</sup>; “Даже одно такое слово, как “сплетня”, — сплошной образ: что-то гнусное, петлястое, лживое, плетущееся на хилых ногах из дому в дом...”<sup>4</sup>.

В имажинистский период Есенин превратит поиск “образных корней и стволов в слове” в веселую игру, своего рода поэтическую разминку.

“Бывало, только продерешь со сна веки, — вспоминает Мариенгоф, — а Есенин кричит:

— Анатолий, *крыса*.

Отвечаешь зашпанным голосом:

— *Грызть*.

— А ну: произведи от *зерна*.

— *Озеро, зрак*.

— А вот тоже хорош образ в корню: *рука— ручей — река— речь...*



Анатолий Мариенгоф. 1910-е

1 *Белый Андрей*. Глоссолалия: Поэма о звуке. М., 2002. С. 52. “Логика все чаще форсируется ее (мысли. — О. Л., М. С.) фонетикой, — пишет о Белом Ф. Степун, — человек провозглашается челом века, истина — одновременно и истиной (по Платону), ъистиной (по Марксу)” (*Степун Ф.* Встречи. С. 166).

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 189.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 106.

4 *Вержбицкий И.* Встречи с Есениным: Воспоминания. Тбилиси, 1961. С. 97.

— Крыло — крыльцо...

— Око — окно...

Однажды, хитро поведя бровью, спросил:

— Валяй, произведи от *сора*.

И не дав пораскинуть мозгами, проторжествовал:

— *Сортир!*..

— Эх, Вятка, да ведь *sortir*-то слово французское.

Очень был обижен на меня за такой оборот дела. Весь вечер дулся<sup>1</sup>.

“Не успевал кто-нибудь назвать слово, — свидетельствует И. Шнейдер, — как Есенин буквально “выстреливал” цепочкой слов, “корчуя” корень.

— Стакан! — кричал кто-нибудь из нас...

— Сток — стекать — стакан! — “стрелял” Есенин.

— Есенин! — подзадоривал кто-то.

— Осень — ясень — весень — Есенин! — отвечал он<sup>2</sup>.

Истоки этой игры — вовсе не в имажинистских манифестах, а в со-творческих беседах с Белым.

Смысл подчеркивался звуковым жестом. Есенин говорил, “развивая до крайних пределов свою интонацию” (П. Орешин)<sup>3</sup>. Он часто прибегал к растягиванию слов, произносил их нараспев: “Говорил он очень характерно, подчеркивая слова замедлением их произношения” (В. Кириллов)<sup>4</sup>. Этот “шрифт” в есенинской “тонировке” производил двойной эффект: на артистический, ораторский прием (как у Белого: “хо-зя-е-ва вы-еха-ли”) накладывается простонародный говор: “на-ка-за-ни-е”<sup>5</sup>, “пла-а-акать хо-чется”<sup>6</sup>, “над-д-д-оело”<sup>7</sup>.

О Белом писали, что он и в обыденном разговоре не выключал “в себе творческого мотора”<sup>8</sup>. Порой Есенин готов был посмеяться над этой его особенностью. “Вот смотри — Белый, — лукаво втолковывал он Мариенгофу. — И волос уже седой, и лысина величиной с вольфовского одното-

1 *Мариенгоф А.* Роман без вранья // Мой век... С. 349.

2 *Шнейдер И.* Встречи с Есениным: Воспоминания. М., 1965. С. 31. Ср., впрочем, в мемуарах М. Бабенчикова, относящихся к дореволюционному периоду:

“— Весенний! Есенин! Невольно как-то вырвалось у меня при взгляде на его сияющее улыбочивое лицо.

И он тотчас же на лету подхватил мою шутку.

— Весенний! Есенин! Ловко ты это придумал” (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 239).

Характерно, что языковую игру предлагает здесь не Есенин, а мемуарист.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 267.

4 Там же. С. 272.

5 Там же. С. 265.

6 Мой век... С. 232.

7 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 296.

8 *Степун Ф.* Встречи. С. 167.

ного Пушкина, а перед кухаркой своей, что исподники ему стирает, и то вдохновенным ходит”<sup>1</sup>. Но, как это часто бывает, Есенин, маскируясь, насмеялся над тем, к чему сам стремился — к “непрерывно созидающему состоянию” (В. Чернявский)<sup>2</sup>.

И это — всегда ходить “вдохновенным” — ему удавалось: в революционную эпоху даже будни его были заряжены стихотворным пафосом — разговорное слово переходило в поэтическое, жест продолжался в стихе.

“Переполнится мыслью все тело мое”, — писал Белый<sup>3</sup>, и современники подтверждали, что это была не только метафора: “Длинные волосы на его голове развевались как пламя. Казалось, что вот-вот он весь вспыхнет — и все кризисы и мировые катастрофы разразятся немедленно и обломки похоронят нас навеки”<sup>4</sup>. Вот и Есенин развил в себе удивительную “способность говорить без слов”. В “его разговоре участвовало все: и легкий кивок головы, и выразительнейшие жесты длинноватых рук, и порывистое сдвигание бровей, и прищуривание синих глаз...” (П. Орешин)<sup>5</sup>. И он с такой “пластикой”, “всем телом” отыгрывал свои “космические” идеи, что, казалось, прямо перевоплощался в мужицкого “пророка”.

Этим и поражало публику авторское чтение “Инонии”. “Надо было слышать его в те годы, — вспоминает В. Полонский, — с обезумевшим взглядом, с разметавшимся золотом волос, широко взмахивая руками, в беспамятстве восторга декламировал он свою замечательную “Инонию” <...> Он искал точку, за которую ухватиться: “Я сегодня рукой упругой / Готов повернуть весь мир””<sup>6</sup>. Есенинская декламация поэмы сравнима с воздействием электрического разряда: “Рука выбрасывается вперед, рассекая воздух короткими ударами. <...> Отрывистый взмах головы, весь корпус наклоняется вбок и вдруг выпрямляется, как на пружине. <...> Глаза сосредоточенные, сверкающие. “...Пророк Есенин Сергей”. Кажется, погрохатывает гроза, разбрасывая острые молнии. И все это происходит на маленьком шатком диванчике, с которого он не встает, создавая впечатление величия и грозной торжественности только незначительными перемещениями своего упругого, будто наэлектризованного тела. И окружающие подчиняются безраздельно не только силе стиха, но и силе личности, так резко и неоспоримо выступающей из общего ряда” (С. Спасский)<sup>7</sup>.

1 Мой век... С. 307.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 220.

3 Белый А. Глоссолалия... С. 10.

4 Алянский С. Встречи с Александром Блоком. М., 1972. С. 53.

5 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 267.

6 Полонский В. Памяти Есенина // Новый мир. 1926. № 1. С. 154–155.

7 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 196.

В “скифскую” эпоху Есенин, выступая со своими стихами, обрел ту власть, ту способность к “безраздельному подчинению” слушателей, которую он не потеряет до конца дней. При чтении стихов поэт добивался максимального напряжения аудитории — удивлял неожиданными интонационными переходами, играл контрастами, то оскорбляя публику, то умиляя ее до слез. Вот Есенин читает поэму “Товарищ” П. Орешину, “взмахивая руками и поднимаясь на цыпочки”, и голос его гремит “по всей квартире”. Слушатель ждет, что, приступив к следующей поэме, “Преображению”, автор вновь “разразится полным голосом и закинет правую руку на свою золотую макушку”, но не тут-то было: свою знаменитую строку “Господи, отелись!” тот произносит “почти шепотом”<sup>1</sup>. Тем мощнее эффект.

И опять поэт декламирует поэму о “сыне рабочего” — только теперь уже с эстрады — в битком набитом кафе “Табакерка”. “На эстраде стоял стройный, в светлом костюме молодой человек, показавшийся нам юношей, — вспоминает Л. Никулин. — Русые волосы падали на чистый, белый лоб, глаза мечтательно глядели ввысь, точно над ним был не сводчатый потолок, а купол безоблачного неба. С какой-то рассеянной, грустной улыбкой он читал, как бы рассказывая...”<sup>2</sup> В такие минуты он “произносил слова очень просто, не нараспев, как читали тогда многие. <...> Негромкий голос, покой во всем облике, темперамент убран, почти полное отсутствие жеста” (С. Спасский)<sup>3</sup>. И вдруг — перевоплощение: “...блеснули глаза, вскинулась ввысь рука, и трагически, стениющим зовом прозвучало: “Исус, Исус, ты слышишь?””. С каждым стихом все громче становится голос: поэт уже не читает стихи, а выкрикивает — то “звонко, восторженно”, то “с ужасом”, “рванув воротник сорочки”. Но обрывается крик — поэт держит паузу, в зале “мертвая тишина”. Уже совсем другим тоном, “торжественно и проникновенно”, произносит он финал поэмы, прежде чем его голосом начнет вещать сама стихия: “как долгий отдаленный раскат грома, все усиливающийся, радостно-грозный: “Рр-эс-пу-у-ублика:”” (Л. Никулин)<sup>4</sup>.

В революционные годы Есенин, подобно Андрею Белому, обменял “корни на крылья”<sup>5</sup>. Метафора “взлета” связала в тогдашней есенинской

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 264–265.

2 Там же. С. 305.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 194–195.

4 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 307.

5 См. характеристику А. Белого, данную Ф. Степуном: “Он был существом, обменявшим корни на крылья” (*Степун Ф. Встречи.* С. 165).



жизни быт и поэзию: “порхающая походка”<sup>1</sup> и взмахи рук<sup>2</sup> идеально гармонировали с космическими образами его поэм и “взлетом” его славы. В этом был залог творческой удачи: богоборчество и мессианизм вершинной “скифской” поэмы Есенина, “Инонии”, могли казаться “фальшивыми и ненастоящими”<sup>3</sup>, но, вопреки всему, в поэме чувствовался и истинный пафос, выраженный авторской интонацией, жестом, самим есенинским обликом.

“Наша вера в силе”, — провозгласил Есенин в финале поэмы: читай — в отрыве и броске. Пусть поэт не слишком верил в “иную страну” (Инонию), зато верил в иное состояние — полета, неважно куда. Гипербола громоздится на гиперболу, как Осса на Пелион, метафора “земля — небо” монотонно раскачивается, пока не закружится голова и не захватит дух. Итоговое неразличение верха и низа — секрет “талантливости” “Инонии”, “соблазнительных красот”, которые признавали за ней даже те современники, которые с негодованием отворачивались от ее кощунственных деклараций<sup>4</sup>.

Итак, Есенин выбрал “крылья”. А над “корнями” — посмеялся. Язвя своего бывшего наставника Н. Клюева в стихотворном послании “Теперь любовь моя не та...”<sup>5</sup>, Есенин приберег самый острый выпад для последней строфы:

*Тебе о солнце не пропеть,  
В окошко не увидеть рая.  
Так мельница, крылом махая,  
С земли не может улететь.*

“А я смог” — вот на что Есенин намекнул Клюеву. И, набрав высоту, попрощался с тем, кто остался на земле — привязанным к “корням”.

- 1 По словам Вен. Левина, “он будто не шел, а порхал” (Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 214).
- 2 См. уже процитированный в главе 5 отрывок из воспоминаний С. Виноградской: “...сам Есенин, похожий на белую нежную птицу, словно выросал, когда характерным движением рук описывал их” (Виноградская С. Как жил Есенин. С. 15).
- 3 По выражению Д. Святополка-Мирского (Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 64).
- 4 “Поэма очень талантлива. Но для наслаждения ее достоинствами надобно в нее погрузиться, обладая чем-то вроде прочного водолазного наряда. Только запасшись таким нарядом, читатель духовно безнаказанно сможет разглядеть соблазнительные красоты “Инонии”” (Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 138).
- 5 Датировка этого стихотворения остается спорной. Согласно комментаторам академического собрания сочинений, оно было написано в конце 1918 года (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 560–561); согласно С. И. Субботину — в 1919 году (см.: В мире Есенина. М., 1986. С. 518).

**З** Но есть в том же стихотворении строки, которые рикошетом бьют по самому Есенину:

*Ты сердце выпеснил избе,  
Но в сердце дома не построил.*

Спрашивается: а можно ли о самом авторе этих строк сказать, что он построил “в сердце дом”? Можно ли найти в жизни поэта хотя бы попытки совместить понятия “сердце” и “дом”? Было ли стремление к житейскому счастью, была ли любовь? Если искать ответы на эти вопросы в есенинской биографии, то придется остановиться только на событиях 1917 и 1918 годов — не раньше и не позже.

“Я с холодком”, — нередко замечал Есенин. “Следом за “холодком” снова и снова шло уверение, что он будто бы не способен любить “по-настоящему””, — свидетельствует Н. Вольпин<sup>1</sup>. Действительно, в том, что касается личной жизни поэта, мемуаристы проявляют редкостное единогласие: “Есенин никого не любил, и все любили Есенина” (А. Мариенгоф)<sup>2</sup>; “О женщинах Есенин отзывался большею частью несколько пренебрежительно”<sup>3</sup>; “...женщины производили на Есенина действие отталкивающее...” (С. Борисов)<sup>4</sup>; “...любовь у него всегда была на третьем плане” (В. Шершеневич)<sup>5</sup>; “...этот сектор был у него из маловажных” (С. Городецкий)<sup>6</sup>. И все же многие допытывались: было ли что-то в жизни поэта, в его лучшие годы, вопреки этому “холодку” — ну хотя бы малая толика, хотя бы подобие любви?

Посмотрим, что отвечал Есенин на настойчивые и ревнивые расспросы Надежды Вольпин о бывших возлюбленных<sup>7</sup>:

— Не скрою, было, было. В прошлом. Сильно любил. Но с тех пор уже никогда. И больше полюбить не смогу. <...>

А тогда... Я вдруг сразу спросила:

— Кашину? Ее? <...>

— Ну что вы! Нет! — небрежно бросил Есенин. “Слишком небрежно”, — отметила я про себя. Но не выдала недоверия.

1 Есенин глазами женщин... С. 126–127.

2 Мой век... С. 323.

3 Розанов И. Литературные репутации. С. 451.

4 Борисов С. Встречи с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 143.

5 Мой век... С. 579.

6 Городецкий С. Жизнь неукротимая: Статьи. Очерки. Воспоминания. М., 1984. С. 44.

7 Разговор состоялся в 1920 году.

В другой раз я сказала:  
— Знаю, кого вы любили: жену!  
Зинаиду Райх!

Последовало рьяное отрицание.

Но к тому времени я уже научилась не слишком доверчиво принимать рассказы Сергея о самом себе. <...> Слушаю рассказ Сергея о том, как он, молодой поэт, сидит на задворках дворца (Зимнего? Царско-сельского? Назвал ли он? Не припомню), на “черной лестнице” с Настенькой Романовой, царевной! Читает ей стихи. Целуются... Потом паренек признается, что отчаянно проголодался. И царевна “сбежала на кухню”, раздобыла горшочек сметаны (“а вторую-то ложку попросить побоялась”), и вот они едят эту сметану одной ложкой поочередно!

Выдумка? Если и выдумка, в сознании поэта она давно обратилась в действительность. В правду мечты. И мечте не помешало, что в те годы Анастасии Романовой могло быть от силы пятнадцать лет. И не замутила идиллию память о дальнейшей судьбе всего дома Романовых. Я слушаю и верю. Еще не умею просто сказать: “А не привираешь, мальчик?” Напротив, я тут же примериваюсь: не царевна ли та твоя давняя подлинная любовь? Но уж тогда свершившееся в Свердловске не могло бы не перекрыть кровавой тенью твоей горшочек сметаны<sup>1</sup>.

Историю о царевне и горшочке сметаны стоит запомнить как указание на тенденцию: поэт всегда был склонен к мифологизации “личного”, к замещению правды чувств “правдой мечты”. Как будто угадав, что имя Анастасии Романовой спустя много лет попадет в оборот массовой культуры, рассказчик вдохновенно мистифицирует слушательницу. Несколькими штрихами обозначена мизансцена в духе немого кино: сказочные сюжетные контрасты (дворец и “черная лестница”<sup>2</sup>, царевна и крестьянский по-



Сергей Есенин  
Фотография Н. И. Свицова-Паолы. 1919

<sup>1</sup> Есенин глазами женщин... С. 127–128.

<sup>2</sup> Вспомним еще “черную лестницу” в блоковском доме, о которой поэт рассказывал доверчивым мемуаристам.



Великая княжна Анастасия  
Середина 1910-х

эт) плюс трогательная деталь крупным планом (горшочек сметаны и одна ложка на двоих). Важно и другое: “правда мечты” у Есенина почти никогда не гонится за донжуановской славой. Если поэт иной раз и размахнется Хлестаковым, нафантазив что-то вроде тридцати пяти тысяч курьеров, то тут же и опомнится. Один из таких разговоров приводит Мариенгоф:

- А ведь у меня, Анатолий, женщин было тысячи три.  
— Вятка, не брешу.  
— Ну триста.  
— Ого!  
— Ну тридцать.  
— Вот это дело<sup>1</sup>.

О легких победах Есенин чаще говорил без всякого хвастовства — скорее с отвращением: “Обкрадывают меня, сволочи...”; “...после них я так себя пусто чувствую, гадко...”<sup>2</sup>. Зато как сильна была в нем тоска по невинности, по “утраченной свежести” — и это сказалось в выдумке о дворцовой черной лестнице.

Ведь удивительно в есенинском рассказе не то, что царевне “от силы пятнадцать лет”, а то, что и себя он представляет не старше — пасторальным подростком, любовь которого так похожа на детскую игру.

Но что остается за вычетом вымышленной любви? Прежде всего отношения, завязавшиеся в 1917–1918 годах, — с З. Райх и Л. Кашиной. И как бы Есенин ни отрицал сердечную близость с ними, та же Вольпин не слишком склонна ему верить. Интересно, что и Г. Бениславская, думая о своем месте в есенинской жизни, сопоставляла себя именно с этими женщинами: “Я могла быть после Л<идии> К<ашиной>, З<инаиды> Н<иколаевны>...”<sup>3</sup>

1 Мой век... С. 346.

2 Борисов С. Встречи с Есениным... С. 143.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 108.



Дом Кашиной в селе Константиново  
 Фотография второй половины XX в.

Говоря о романе Есенина с Кашиной, необходимо различать реальность и миф. О реальном характере отношений Есенина с последней константиновской помещицей Лидией Ивановной Кашиной известно немного. Еще в 1904 году с золотым вензелем окончившая Александровский институт благородных девиц в Москве, она была старше поэта почти на десять лет. В свое поместье Кашина вместе с двумя детьми каждый год переселялась на лето, а зимой предпочитала жить в Москве, где в Скатертном переулке у нее был собственный дом.

Согласно мемуарам Екатерины Есениной<sup>1</sup>, летом 1918 года ее брат на собрании бедноты отговорил мужиков сжечь константиновский помещичий дом — вычурное здание “в стиле старорусского терема с башней”<sup>2</sup>. Однако саму Кашину из усадьбы в сентябре или октябре этого года все же выгнали. Также дошли слухи, “что отбирают ее дом в Москве, — записала позднее С. А. Толстая-Есенина со слов Кашиной. — Она поехала в Москву, он поехал ее провожать. Первое время жил у нее”<sup>3</sup>.

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 49–50.

2 Бурачевский И. Девушка в белой накидке // Огонек. 1977. № 46. С. 21.

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 461.



Лидия Кашина. 1910-е

Эти не очень ясные сведения дополняются в записях Толстой еще более туманным замечанием, противопоставляющим связь с Кашиной московскому литературному быту Есенина: “Отношение к Кашиной и ее кругу — другой мир, в который он уходил из своего и ни за что не хотел их соединять. Не любил, когда она ходила к ним. Рвался к другому”<sup>1</sup>.

Несомненно одно: у Есенина был роман со своей бывшей помещицей, что давало хороший повод для дальнейшей мифологизации. Позже, обращая факты в стихи, поэт привычно представил действительные события в нужном ему свете. В есенинской поэме “Анна Снегина” (1924), чья заглавная героиня наделена многими чертами сходства с Лидией Кашиной, ее усадьбу сжигают-таки упоенные своей безнаказанностью крестьяне. Для большего эффекта автор вывел Анну замужней женщиной: гибель ее мужа-белогвардейца не только дает поэме дополнительную романтическую подсветку, но и позволяет поэту представить себя отвергнутым в любви и несчастным: “Мы все в эти годы любили, / Но мало любили нас”. Напомним соответствующий фрагмент “Анны Снегиной”:

*Я понял —  
Случилось горе,  
И молча хотел помочь.  
“Убили... Убили Борю...  
Оставьте.  
Уйдите прочь.  
Вы — жалкий и низкий трусишка!  
Он умер...  
А вы вот здесь...*

1 Там же. С. 461.



Поскольку у реальной Лидии Кашиной не было мужа-белогвардейца (да и вообще не было мужа — с Николаем Кашиным Лидия Ивановна была в фактическом разводе с 1916 года), ее взаимоотношения с Есениным, разумеется, развивались в совершенно ином ключе. В частности, Екатерина Есенина вспоминала, как в Константинове “маленькие дети Кашиной, мальчик и девочка, приносили Сергею букеты из роз”, а мать Есенина ворчала: “...Брось ты эту барыню, не пара она тебе, нечего и ходить к ней”<sup>1</sup>.



Зинаида Райх. 1924

**4** И все же — кого Есенин любил больше других женщин или, если угодно, к кому был менее всего равнодушен? Все версии сходятся на одном: в той мере, в какой поэт вообще мог испытывать чувство к женщине, он испытывал его к своей жене — Зинаиде Райх. Вот и соперницы были вынуждены признать ее первенство — с досадой и горечью. “Зинаида Райх (почти достоверно)!” — так Вольпин подвела итог своим “ревнивым догадкам”<sup>2</sup>. Не сомневалась в ответе и Г. Бениславская: “Я знала, что так, как З<инаиду> Н<иколаевну>, он никого никогда не будет любить”<sup>3</sup>. Даже те, кто относился к ней неприязненно, все же склонялись к этому мнению, пусть с сомнениями и оговорками<sup>4</sup>, или, как А. Мариенгоф, играя сильными парадоксами:

“Больше всех он ненавидел Зинаиду Райх.

Вот ее, эту женщину, с лицом белым и круглым, как тарелка, эту женщину, которую он ненавидел больше всех в жизни, ее — единственную — и любил”<sup>5</sup>.

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 46, 45.

2 Есенин глазами женщин... С. 127, 129.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 81.

4 В. Шершеневич писал: “Не знаю, любил ли когда-нибудь Есенин Райх. Вероятно, любил, хотя он это всегда отрицал и обращался с ней недружелюбно” (Мой век... С. 578).

5 Мой век... С. 247. Нередко и сам Есенин говорил о своей любви к Райх — как в начале их совместной жизни (в разговоре с П. Орешиним: “Я, брат, жену люблю”. — Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 268), так и перед самой смертью (в разговоре с А. Тарасовым-Родионовым: “Только двух женщин любил я в жизни. Это Зинаиду Райх и Дункан”. См.: С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 245).





Зинаида Райх с дочерью Татьяной  
1920-е

С чем связано особое отношение Есенина к Райх? Не с этим ли “белым и круглым” лицом? Прежде всего стоит отбросить крайние (обычно женские) суждения о внешности Райх. Вряд ли “она была <...> классической безупречной красоты”, как вспоминает дочь от ее брака с Есениным — Татьяна<sup>1</sup>. Еще меньше доверия описанию с противоположным знаком, продиктованному ревностью: “Была Зинаида Николаевна, но она, ей-богу, внешне не лучше “жабы”. <...> Не ожидала; что угодно, но не такая. И в нее так влюбиться, что не видит революции?! Надо же!” (из дневника Г. Бениславской)<sup>2</sup>. Чаше всего ее находили привлекательной; мужчины были почти единодушны: “красивая, спокойная” (В. Чернявский)<sup>3</sup>, “молодая интересная женщина” (П. Кузько)<sup>4</sup>, “обаятельная женщина” (М. Ройзман)<sup>5</sup>.

Характерно, что даже в злых карикатурах Мариенгофа чувствуется невольное восхищение:

Не любя Зинаиду Райх (что необходимо принять во внимание), я обычно говорил о ней:

— Это дебелая еврейская дама.

Щедрая природа одарила ее чувственными губами на лице круглом, как тарелка. Одарила задом величиной с громадный ресторанный поднос при подаче на компанию. Кривоватые ноги ее ходили по земле, а потом

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 265.

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 105. Напрашивающееся, хотя и неожиданное на первый взгляд сравнение: Ахматова о Л. Д. Блок (в передаче Л. К. Чуковской): “Самое главное в этой женщине была спина — широченная, сутулая. И бас. И толстые, большие руки и ноги” (Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. М., 1997. С. 184–185).

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 216.

4 Там же. С. 277.

5 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 159.

и по сцене, как по палубе корабля, плывущего в качку. Вадим Шершеневич в одной из своих рецензий после очередной мейерхольдовской премьеры нагло скаламбурил: “Ах, как мне надоело смотреть на райхитичные ноги<sup>1</sup>”.

Гротескные сравнения Мариенгофа лишь подчеркивают особую притягательность Зинаиды Райх: уподобляя части ее лица и тела ресторанным блюдам (“чувственные губы” как бы на тарелке лица, зад как бы на “громдном” подносе) и тут же перескакивая на “морскую” метафору (завораживающее покачивание тела на “кривоватых ногах”), мемуарист словно обороняется циничным анализом от наваждения женских чар. Чем оскорбительнее мариенгофовские выражения (например: “алчный зад”, разделенный искусной портнихой “на две могучие половинки”)<sup>2</sup>, тем яснее они воспринимаются как гиперболы *sex appeal*. Так шарж превращается в миф.

Может быть, притяжение Есенина к Райх объясняется силой ее личности? Действительно, она была женщиной, что называется, с характером. Ведь не только же благодаря стечению обстоятельств Райх позже вышла замуж за другого знаменитого человека — Всеволода Мейерхольда и сама стала знаменитой актрисой! Обсуждая это чудесное превращение брошенной есенинской жены в любимую жену Мейерхольда и приму его театра, Мариенгоф язвительно заметит:

“Райх актрисой не была — ни плохой, ни хорошей. Ее прошлое — советские канцелярии. В Петрограде — канцелярия, в Москве — канцелярия, у себя на родине в Орле — военная канцелярия. И опять — московская. А в канун романа с Мейерхольдом она уже заведовала каким-то внушительным отделом в каком-то всесоюзном департаменте.

И не без гордости передвигалась по городу на паре гнедых”<sup>3</sup>.

Но, желая уличить Райх-актрису “канцелярским” прошлым, мемуарист только лишний раз подтверждает ее человеческую незаурядность. Ведь, в самом деле, какой вывод напрашивается после ознакомления с этим “*curriculum vitae*”? Прежде всего следующий: за что бы Райх ни бралась, она всегда преуспевала и добивалась успеха. То, что в канцеляриях она достаточно быстро доросла от скромного секретаря до заведующего “внушительным отделом”, — закономерно. Во всем, даже в хлопотах по

1 Мой век... С. 110.

2 Там же. С. 111.

3 Мой век... С. 109.

дому, она проявляла лидерский дух. Так, будучи замужем за Есениным, она “хозяйственна и энергична” (Т. Есенина)<sup>1</sup>, вследствие чего в их домашнем “укладе начала чувствоваться домовитость” (М. Свирская)<sup>2</sup>. Став женой Мейерхольда, Райх развернулась в полную силу: “...Зинаида Николаевна возглавила хозяйство многолюдного дома, налаживала режим. Квартира, лишенная поначалу самого необходимого, стала быстро приобретать жилой вид” (Т. Есенина)<sup>3</sup>. С той же энергичной хваткой и предприимчивостью она действовала на театральном поприще. Неудивительно, что вскоре недавняя секретарша и домашняя хозяйка перестала довольствоваться ролью марионетки в руках великого мужа, получив право на голос и творческий поиск; взять хотя бы неоднократные уважительные ссылки на ее мнение и опыт в выступлениях Мейерхольда: “Нужно при-ветствовать тот почин, который сделала Зинаида Райх”; “Самый серьезный вопрос задает Зинаида Николаевна Райх”; “Актеры мало интересуются такими вещами, как тишина в зрительном зале (извиняюсь перед Зи-наидой Николаевной <...> потому что она как раз этим любитесь в “Да-ме с камелиями”)”<sup>4</sup>.

Оставим в стороне вопрос о талантливости Райх, в любом случае проделанный ею путь свидетельствует о недюжинной жизненной силе. Однако только обаянием и сильным характером есенинской привязанности к Райх не объяснить. Ни женскими чарами, ни женской хваткой нельзя было надолго удержать поэта: влечение и “плен” уж слишком скоро сменялись отталкиванием и отвращением. Весьма характерна в этом смысле глумливая частушка Есенина, обращенная к Мейерхольду:

*Ох, и песней хлестану,  
Аж засвищет задница,  
Коль возьмешь мою жену,  
Буду низко кланяться.*

*Пей, закусывай изволь!  
Вот перцовка под леща!  
Мейерхольд, ах, Мейерхольд,  
Выручай товарища!*

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 266.

2 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 148.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 268.

4 Мейерхольд В. Э. Статьи, письма, речи, беседы. Ч. 2. М., 1968. С. 83, 90, 339.

*Уж коль в суку ты влюблен,  
В загс да и в кроваточку.  
Мой за то тебе поклон  
Будет низкий — в пяточку.*

В этих сомнительного поэтического достоинства куплетах проявляется не только нарочитое хулиганство поэта, но и инстинктивный жест. Реакцией на притягательность Райх (как и в мариенгофовских мемуарах) становятся грубая гастрономическая метафора (“закусывай”) и обценные намеки (“задница”) на ее сильный характер — откровенная брань (“сука”).

Другое для Есенина было дорого в Райх: только с ней он жил по-настоящему семейной жизнью, только с ней имел дом.

“Однажды с Есениным мы ехали на извозчике по Литейному проспекту, — пишет Н. Никитин. — Увидев большой серый дом в стиле модерн на углу Симеоновской (теперь ул. Белинского), он с грустью сказал:

— Я здесь жил когда-то... Вот эти окна! Жил с женой в начале революции. Тогда у меня была семья. Был самовар, как у тебя. Потом жена ушла...”<sup>1</sup>

По дому и женщине, которая в его сознании была неразрывно связана с домом, он тосковал в последние годы.

Дом у Есенина был лишь в революционные годы. Вопреки бушующему в нем и вокруг него вихрю он верил тогда в возможность личной гармонии. Поэту казалось, что, разрешив все противоречия, он сможет и “с земли улететь”, и “в сердце дом построить”. Из своей внутренней бури он выводил семейное счастье, как в своей поэме — из “мирового кипения” райский град Инонию.

А между тем эта малая, домашняя Инония была обречена. Мариенгоф позже искал причину разрыва Есенина с Райх в житейском соре — в обмане, ревности и обиде:

“Зинаида сказала Есенину, что он у нее первый. И соврала. Этого Есенин никогда не мог простить ей. Не мог по-мужицки, по темной крови, а не по мысли.

— Зачем соврала, гадина?!

И судорога сводила лицо, глаза багровели, руки сжимались в кулаки”<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> Никитин Н. Избранные произведения. В 2 т. Т. 2. Л., 1968. С. 618.

<sup>2</sup> Мой век... С. 247.



Алексей Ганин и Сергей Есенин  
Вологда. 1916

дии положений. Все в то лето 1917 года совершалось *вдруг*. Так, уже само предложение Есенина застало Райх врасплох: “ей казалось, что если она выйдет замуж, то выйдет за Алексея” Ганина и что с Сергеем ее связывают “чисто дружеские отношения” (М. Свирская)<sup>1</sup>. Характерно, что сцена решительного объяснения между Есениным и Райх в сознании мемуаристов ассоциируется с дорогой, движением, путешествиями: им запомнилось, будто решение принято второпях, на ходу — то ли на пароходе (“Для нее было до некоторой степени неожиданностью, когда на пароходе Сергей сказал, что любит ее и жить без нее не может, что они должны обвенчаться” — М. Свирская<sup>2</sup>), то ли в поезде:

“Уже на обратном пути <с севера>, в поезде, Сергей Александрович сделал матери предложение, сказав громким шепотом:

— Я хочу на вас жениться.

Ответ: “Дайте мне подумать” — его немного рассердил. Решено было венчаться немедленно” (Т. Есенина)<sup>3</sup>.

Впрочем, реальные события выглядят не менее увлекательными, чем домыслы: обряд совершается 30 июля 1917 года хоть и не на Соловках (“На Соловках набрали на часовенку, в которой шла служба, и там их обвенчали” — М. Свирская<sup>4</sup>), но тоже в неожиданном месте, в глуши — в церкви Кирика и Иулитты Вологодского уезда. А поездка на Соловки становится чем-то вроде свадебного путешествия.

Женитьба Есенина исполнена приключенческого духа: молодые, внезапно “окрутившиеся” на лоне северного пейзажа” (В. Черняв-

1 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 147.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 147.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 265.

4 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 147.

ский)<sup>1</sup>, оказываются далеко от дома, без денег — и вот в Орел, к родителям Райх, летит телеграмма: “Выхожу замуж, вышли сто. Зинаида” (К. Есенин)<sup>2</sup>. На букет невесте денег все равно не хватает, но выход найден: Есенин тут же, на лужайке перед церковью, рвет охапку полевых цветов (Т. Есенина)<sup>3</sup>. Молодым надо показаться в Орле родителям жены — и эта поездка не обходится без веселых приключений: “В конце лета приехали трое в Орел, — вспоминает отец Райх. — <...> Зинаида с мужем и какой-то белобрысый паренек. Муж — высокий, темноволосый, солидный, серьезный. Ну, конечно, устроили небольшой пир. <...> Посидели, попили, поговорили. Ночь подошла. Молодым я комнату отвел. Гляжу, а Зинаида не к мужу, а к белобрысенькому подходит. Я ничего не понимаю. Она с ним вдвоем идет в отведенную комнату. Только тогда и сообразил, что муж-то — белобрысенский. А второй — это его приятель, мне еще его устраивать надо” (К. Есенин)<sup>4</sup>.

После возвращения в Петроград приключения сменяются тихой семейной идиллией на фоне революции: Есенина, “тогда еще не избалованного чудесами, восхищала эта непрехотливая романтика и тешило право на простые слова: “У меня есть жена””. При этом в семейной повадке Есенина было нечто демонстративное: он с удовольствием играет в “избяного хозяина” и главу своего очага”, распоряжается с нажимом (“Почему самовар не готов?”; “Ну, Зинаида, что ты его не кормишь?”; “Ну, налей ему еще!” — В. Чернявский<sup>5</sup>). “Я, брат, жену люблю”, — с гордостью заявляет он П. Орешину<sup>6</sup>. Однако покой и уют оказываются иллюзорными.

“Первые ссоры были навеяны поэзией, — передает Т. Есенина рассказы матери. — Однажды они выбросили в темное окно обручальные кольца (Блок — “Я бросил в ночь заветное кольцо”) и тут же помчались их искать (разумеется, мать рассказывала это с добавлением: “Какие же мы были дураки!”). Но по мере того как они ближе узнавали друг друга, они испытывали порой настоящие потрясения”<sup>7</sup>.

Однако вскоре странное, противоречивое чувство к Райх разбудило другого Есенина — мрачного, подозрительного, с тяжелым нравом. Со временем все больше давала о себе знать есенинская “темная кровь”: так и

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 218.

2 Там же. Т. 2. С. 278.

3 Там же. С. 265.

4 Там же. Т. 2. С. 278.

5 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 218.

6 Там же. С. 268.

7 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 266.





Зинаида Райх с отцом Николаем Андреевичем. Орел. 1910-е

не развившаяся любовь подчас переходила в ненависть. Об одной из жестоких домашних сцен Райх позже расскажет дочери:

“Он поднялся ей навстречу. Чужое лицо — такого она еще не видела. На нее посыпались ужасные, оскорбительные слова — она не знала, что он способен их произносить. Она упала на пол — не в обморок, просто упала и разрыдалась. Он не подошел. Когда поднялась, он, держа в руках какую-то коробочку, крикнул: “Подарки от любовников принимаешь?!” Швырнул коробочку на стол. Она доплелась до стола, опустилась на стул и впала в оцепенение — не могла ни говорить, ни двигаться.

Они помирились в тот же вечер. Но они перешагнули какую-то грань, и восстановить прежнюю идиллию было уже невозможно (Г. Есенина)”<sup>1</sup>.

Впервые именно с Райх Есенин открыл в себе зверя. “Я двух женщин бил, — говорил он несколько лет спустя Г. Бениславской, — Зинаиду и Изадору<sup>2</sup>, и не мог иначе, для меня любовь — это страшное мучение, это так мучительно. Я тогда ничего не помню...”<sup>3</sup> Что за чувство поэт называет мучительной любовью? Голую ревность, приступы собствен-

1 Есенин в жизни: Систематизированный свод воспоминаний современников. Калининград, 2000. Т. 1. С. 157–158.

2 То есть Айседору Дункан.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 82.

нического самодурства — и вместе с тем яростное раздражение от чрезмерной близости чужого, в сущности, человека. Все это Есенину еще предстоит с годами узнать в себе, а пока, на Литейном, темная сторона его натуры еще только едва угадывалась в первых “изломах и вспышках”<sup>1</sup>.

Ритм семейной драмы — расставаний, чередующихся с попытками возобновления отношений, — прослеживается по плану (увы, так и не написанных) воспоминаний, набросанному Райх. Легко догадаться, что скрывается за скупой строкой:

“Москва — письмо, Москва с С <ергеем>”<sup>2</sup>: московской весной 1918 года супруги впервые расстались, и Райх уехала в Орел (там у нее и родилась дочь Татьяна). “Москва с Сергеем” означает конец прежних отношений (“С переездом в Москву кончились лучшие месяцы их жизни” — Т. Есенина<sup>3</sup>), о чем, по-видимому, могло бы поведать упомянутое письмо. На продолжение драмы в письмах указывает запись № 15: “Зима в Орле, письмо к С <ергею>”, а следующие — на ее кульминацию и исход: “Встреча в 1919 году, “друг”” (то есть уже *только* друг, больше не супруг); “Осень 1920 г <ода>, зима 1920 года (частые встречи). Параллели не скрещиваются”<sup>4</sup>.

Инициатором разрыва станет, конечно, сам Есенин. Он будет скрываться от Райх, оскорблять ее явным пренебрежением и в конечном счете обратится к Мариенгофу с “дружеской” просьбой:

Нежно обняв за плечи и купая свой голубой глаз в моих зрачках, Есенин спросил:

— Любишь ли ты меня, Анатолий? Друг ты мне взаправдашний или не друг?

— Чего болтаешь?

— А вот чего... Не могу я с Зинаидой жить... Вот тебе слово, не могу... Говорил ей — понимать не хочет... Не уйдет, и всё... ни за что не уйдет... Вбила себе в голову: “Любишь ты меня, Сергун, это знаю и другого знать не хочу...” Скажи ты ей, Толя (уж так прошу, как просить больше нельзя!), что есть у меня *другая* женщина.

1 По словам В. Чернявского, “если в его характере и поведении мелькали уже изломы и вспышки, предрекавшие непрочность... (семейных. — О. Л., М. С.) устоев, — их все-таки нельзя было считать угрожающими” (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 218).

2 Красовский Ю. А. Зинаида Райх о Сергее Есенине: План книги воспоминаний // Встречи с прошлым. Вып. 2. М., 1986. С. 152.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 266.

4 Красовский Ю. А. Зинаида Райх о Сергее Есенине... С. 152.



Зинаида Райх и ее дети от брака с Сергеем Есениным: Татьяна (справа) и Константин  
Фотография М. С. Нанпельбаума. 1920-е

— Что ты, Сережа... Как можно!

— Друг ты мне или не друг?.. Вот...

А из петли меня вынуть не хочешь...  
Петля мне ее любовь...<sup>1</sup>

Гораздо милее станет ему Райх после ее второго замужества — тогда-то он и предастся “правде мечты”. В “Письме к женщине” (1924) поэт даст понять, что не он бросил жену, а она его:

*Вы говорили:*

*Нам пора расстаться... —*

что он любил и любит, а сам при этом “ни капельки не нужен ей”:

*Любимая!*

*Меня вы не любили.*

Как и в случае с Кашиной, Есенину понадобится миф об утраченном счастье, чтобы было о чем сожалеть, на что оглядываться в пронзительных элегиях и поэмах.

С 1918 года и до конца жизни он так и остался бездомным. “Я Есенина видел много раз, — писал В. Шкловский, — и всегда он был не у себя дома”<sup>2</sup>. “Он мог нестись, как метеор, сквозь квартиры, улицы, общественные места, — вспоминал С. Спасский. — И всегда за ним следовал хвост людей, увлеченных его движением”<sup>3</sup>. Обратного пути у Есенина уже не было.

1 Мой век... С. 334–335.

2 О Есенине: Стихи и проза писателей — современников поэта. М., 1990. С. 601.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 195.



Фанни Шерешевская, Анатолий Мариенгоф, Иван Грузинов (*стоят, слева направо*),  
Вадим Шершеневич и Сергей Есенин (*сидят, слева направо*)  
1924 (?)

# Глава седьмая

## Приключения имажиниста (1919–1922)

**1** Почему Есенин стал имажинистом? Одни считали — случайно, сгоряча: “Есенин любил драки; и как в гимназии “греки” дрались с “персами”, так он охотно пошел к имажинистам, чтобы драться с футуристами” (И. Эренбург)<sup>1</sup>. Другие утверждали — по ошибке, запутавшись и растерявшись: “Загнанный отсутствием классовой установки, потерявший пути <...> попавший в антиобщественную, узкописательскую богемную среду <...> Есенин переживал новую тяжкую угарную болезнь, мучительнейший провал своей жизни...” (В. Киришон)<sup>2</sup>; “Он увидел и отметил себе гибель дедовской старины, но он слишком любил ее, он искал путь-дорогу к новому Китежу, но попал в чарусу. Она жадно и быстро поглотила его” (А. Воронский)<sup>3</sup>. По мнению третьих, Есенин просто стал жертвой обмана: “Он поверил в <...> серьезность и значительность” имажинизма “и дал себя затянуть в сектантство, кружковщину, кофейщину, короче, на “Зеленую улицу”, где семью цветами радуги расцветают Хлестаковы от Парнаса и чахнет истинный лиризм” (А. Ветлугин)<sup>4</sup>; “...Есенина затащили в имажинизм, как затаскивают в кабак. Своим талантом он скрашивал выступления бездарных имажинистов, они питались за счет его имени, как кабацкая голь за счет загулявшего богача” (В. Ходасевич)<sup>5</sup>. Из этих версий в итоге складывается миф о “страдательном” Есенине (“загнанный”, “дал себя затянуть”, “затащили”) и имажинистах — то ли хищниках, то ли паразитах (“поглотили”, “питались за счет его имени”). В известной статье Б. Лавренева “Казненный дегенератами” миф доведен до

1 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. С. 588.

2 Киришон В. Сергей Есенин. Л., 1926. С. 20.

3 Воронский А. Искусство видеть мир: Портреты. Статьи. М., 1987. С. 187.

4 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 129.

5 Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 143.

карикатуры: с одной стороны — “ситцевый деревенский мальчик”, заблудившийся в дебрях города, с другой — поймавшие его “литературные шантажисты”, “литературные сутенеры”, “палачи и убийцы”<sup>1</sup>.

На самом же деле в повороте Есенина к имажинизму не было ни легкомыслия, ни легковерия; никто “парнишку” никуда не затаскивал — выбор нового “ордена” (или “банды”) был сознательным шагом, результатом точного расчета и верной интуиции. Проницательнее многих современников оказался С. Городецкий, угадавший есенинский замысел — использовать имажинизм как трамплин, чтобы уйти “из деревенщины в мировую славу”: “Это была его революция, его освобождение. Его кафе было для него символом Европы”<sup>2</sup>.

После провала левоэсеровского восстания, летом и осенью 1918 года, Есенин активно ищет новые пути к славе. Для начала он готов заключить союз с большевистской властью и даже, реализовав формулу: “Мать моя Родина. Я — большевик”, — записаться в партию<sup>3</sup>. “Понимал ли Есенин, что для пророка того, что “больше революции”, вступление в РКП было бы “огромным понижением”, — вопрошает В. Ходасевич, — что из создателей Инонии он спустился бы до роли рядового устроителя РСФСР?”<sup>4</sup> Нет, на “роль рядового устроителя РСФСР” Есенин, конечно, никогда бы не согласился: он был готов сотрудничать с властями, но только на правах литературного вождя — чтобы еще на ступень приблизиться к вершине. К своей цели “созидатель Инонии” был готов идти разными путями. В октябре 1918 года он инициирует заявление об “образовании крестьянской секции при московском Пролеткульте”. Если бы эта задумка удалась, лозунги программного стихотворения “О Русь, взмахни крылами...”, той же осенью торжественно прочитанного Есениным на открытии памятника Кольцову, могли бы получить организационную основу и стать реальным руководством к действию:

*За мной незримым роем  
Идет кольцо других,  
И далеко по селам  
Звонит их бойкий стих.*

1 О Есенине: Стихи и проза писателей — современников поэта. С. 458–459.

2 Городецкий С. Жизнь неукротимая... С. 46–47.

3 Из воспоминаний Г. Устинова: “Есенин несколько раз говорил о том, что он хочет войти в коммунистическую партию. И даже написал заявление, которое лежало у меня на столе несколько недель” (Памяти Есенина... С. 83).

4 Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 140.





Л. Каменев и С. Есенин на открытии памятника А. И. Кольцову  
*Кадр кинохроники. Москва. 3 ноября 1918*

Но ничего из этого не вышло, как и из других попыток сближения с большевиками, предпринятых на рубеже 1918–1919 годов. В ЦК Всероссийского Совета Пролеткульта по поводу заявления крестьянских поэтов приняли решение: “Вопрос оставлен открытым”<sup>1</sup> — чтобы уже больше к нему не возвращаться. В дальнейшем одним из решающих моментов в отношении Есенина с “верхами” стала резолюция члена редколлегии “Правды”, будущего главы Госиздата Н. Л. Мещерякова на оригинале поэмы “Небесный барабанщик”, предназначенной для публикации в главной партийной газете: “Нескладная чепуха. Не пойдет. Н. М.”. Узнав о таком вердикте, Есенин, по воспоминаниям Г. Устинова, “окончательно бросил мысль о вступлении в партию. Его самолюбие было ранено...”<sup>2</sup>.

Власти ясно дали понять, что хотели бы видеть в поэте не литературного вождя, а служащего, “рядового строителя”. В ответ поэт демонстративно отказался играть по их правилам, о чем со всей определенностью заявил в “Ключах Марии” (видимо, уже в 1919 году): “Мы должны кричать,

1    Летопись... Т. 2. С. 164.

2    Памяти Есенина... С. 84.



С. Есенин на открытии памятника А. И. Кольцову  
Кадр кинохроники. Москва. 3 ноября 1918

что все эти пролеткульты есть те же самые по старому образцу розги человеческого творчества»; «нам <...> противны занесенные руки марксистской опеки в идеологии сущности искусств»<sup>1</sup>.

Впрочем, уже осенью 1918 года Есенин не слишком надеялся на верхи, гораздо больше — на свои организаторские способности. Понятно, на кого прежде всего он мог опереться в литературной борьбе — на своих соратников, крестьянских поэтов. И в сентябре-октябре Есенин сколачивает из младших «скифов», с примкнувшим к ним Андреем Белым, независимую артель (Московскую трудовую артель художников слова) и устраивает при ней издательство. Но почти сразу же выяснилось: настоящей боевой группы из единомышленников-«скифов» не получается. Среди всех членов артели деловой хваткой и смекалкой выделялся лишь сам Есенин, что он немедленно и доказал:

«Все запасы бумаги в Москве были конфискованы и находились на строжайшем учете и контроле. Есенин все же бумагу добыл. <...> Он наделал свою длиннополую поддевку, причесывал волосы на крестьянский манер и отправлялся к дежурному члену Президиума Московского Сове-

<sup>1</sup> Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 211–212.

та. Стоя перед ним без шапки, он кланялся и, старательно окая, просил “Христа ради” сделать “божескую милость” и дать бумаги для “крестьянских” стихов. Конечно, отказать такому просителю, от которого трудно было оторвать восхищенный взор, было немислимо.

И бумагу мы получили”<sup>1</sup>.

Характерна реакция Андрея Белого на ловкость Есенина (“Что-то Есенин мне по линии своего литер<атурного> повед<ения> не очень нравится: уж очень *практичен* он...”<sup>2</sup>), а Есенина — на житейскую неприка-янность мэтра. Из мемуаров Л. Повицкого:

...Андрей Белый, восторженно закатывая глаза, взволнованно заявил:

— А я буду переносить бумагу из склада в типографию!

Есенин тихонько <...> шепнул:

— Вот комедиант... И глазами и словами играет, как на сцене...<sup>3</sup>

Ясно: Андрей Белый был учителем, замечательным собеседником, в артели же — лишь свадебным генералом, но никак не союзником Есенина в войне за литературное первенство.

С остальными артельщиками дело обстояло не лучше. От Орешина, видимо, не было особого толка (Л. Повицкий так и не смог вспомнить, что ему поручили на первом собрании группы<sup>4</sup>), Клычков же и вовсе оказался под подозрением в растрате: “Есенин взволнованно и резко обвинял во всем Клычкова, утверждая, что тот, будучи “казначеем”, пропил или растратил весь <...> основной фонд. Клычков не признавал за собой вины и приводил какие-то путанные объяснения”<sup>5</sup>. Так издательство прекратило свое существование, а группа распалась.

Итак, решающим доводом против “крестьянской купницы” была ее неспособность к решительным, эффективным действиям на литературном фронте. Весьма симптоматичным представляется следующий эпизод, случившийся в литературном кафе “Домино” 14 декабря 1918 года. “Я пришел в кафе рано, в девятом часу, и, к удивлению своему, никого там не застал, — записывает в дневнике Т. Мачтет. — Еще накануне мы знали, что на 30 <декабря> назначен вечер народной поэзии с Есениным и Клычковым <...>. На дворе бушевала метель, публика не собралась к 10-ти часам

1 Из воспоминаний Л. Повицкого. Цит. по: Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 234.

2 Андрей Белый и Иванов-Разумник: Переписка. С. 165.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 234.

4 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 234.

5 Там же. С. 235.



Демонстрация в честь первой годовщины Великой Октябрьской социалистической революции  
 Фотография П. А. Оцуна. Москва. 1918

вечера <...>. Есенин, точно предчувствуя, что кафе пустеет, пришел <чуть> не перед самым закрытием его и с удивлением остановился у двери. <...> “Что же, станете читать?” — спросил я на всякий случай. “Куда тут читать?” — удивился поэт... медленно продвигаясь сквозь ряды пустеющих столиков <...>. В конце концов мы махнули на все рукой и я даже не объявил, что вечер с Есениным откладывается на неопределенное время”<sup>1</sup>. Пустой зал, несостоявшийся вечер и поэт, на минуту возникший из метели, — таков последний акт скифского спектакля.

Но декорации резко изменятся, когда два месяца спустя, 19 февраля 1919 года, на сцену “Домино” выйдут новые друзья Есенина — имажинисты, только что составившие свой манифест. О характере этих изменений свидетельствует дневниковая запись того же Мачтета: “...на эстраде совершается великое событие. <...> Публики масса. <...> По-видимому, происходит смотр их силам. Победители футуризма смелы, решительны и нахальны”. “В зале стоит хохот”<sup>2</sup> — и публика смеется не *над* имажинистами, а *вместе с* ними.

<sup>1</sup> Летопись... Т. 2. С. 191.

<sup>2</sup> Там же. С. 222.

**2** Следствием договора с большевистскими властями был бы тупик “социального заказа”; следствием союза с “мужиковствующими” — тупик мелочного литературного сектантства. Необходим был прорыв — неожиданный и рискованный ход в большой игре. И вот в ноябре 1918 года проходят первые переговоры Есенина с А. Мариенгофом, В. Шершеневичем и Р. Ивневым; 30 января 1919 года эта четверка, а также художники Б. Эрдман и Г. Якулов подписывают “Декларацию имажинизма”; 10 февраля ее публикует газета “Советская страна”. Так, объявив себя имажинистом, Есенин совершил, может быть, решающий поступок в своей поэтической карьере.

Не стоит слишком доверять названию группы (от фр.: *image*): имажинистов объединяла не столько вера в образ, сколько “религия “рекламизма””<sup>1</sup>. Во главе группы стояли “ловкие и хлесткие ребята”<sup>2</sup> — помимо Есенина, Шершеневича и Мариенгофа еще и А. Кусиков, вскоре заменивший переметчивого Ивнева. Связавший их договор должен был увеличить шансы каждого в погоне за личной славой.

Имажинистов много ругали за их предприимчивость — и напрасно: они ни в коем случае не были лишь тривиальными карьеристами от литературы. Скорее авантюристами, но обязательно с оговоркой из есенинского “Черного человека” — “самой высокой и лучшей марки”; то есть не просто жадными до успеха и хваткими писателями, но и талантливыми искателями приключений. Революционная эпоха требовала “создания иных литературно-бытовых форм”<sup>3</sup>; имажинисты понимали это по-своему, смещая быт в сторону авантюрного романа. Каждым своим жестом они провоцировали газеты на сочинение ““рокамболических” биографий”<sup>4</sup>, враждебных литераторов — на создание памфлетов вроде “Тайн имажинистского двора”<sup>5</sup>. Можно дополнить этот список еще одной аналогией. С кем из персонажей более всего ассоциируется “литературный облик” имажинистской великолепной четверки? Конечно, с мушкетерами А. Дюма.

Похождения трех имажинистов и Есенина порой настолько напоминали сенсационную беллетристику, что обязательно должны были попасть в роман. Так и случилось: ведь не случайно основным мемуарным источником по имажинизму считается произведение с названием “Роман без вра-

1 Формула Вс. Иванова, примененная им к Есенину. См.: Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 75.

2 Слова Н. Полетаева. См.: Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 298.

3 Эйхенбаум Б. М. “Мой современник...”... С. 95.

4 Выражение А. Мариенгофа (Мой век... С. 363).

5 По воспоминаниям И. Грузинова, брошюру с таким названием собиралась выпустить группа ничевоков (Мой век... С. 685).





Вадим Шершеневич.  
Начало 1920-х



Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф  
Фотография Н. И. Свицова-Паолы. 1919

ня» (1927). Судьба этой книги, написанной одним из четырех «командиров» и ближайшим другом Есенина — Мариенгофом, оказалась нелегкой. Сколько раз литераторы, критики и есениноведы прямолинейно обыгрывали «претенциозное»<sup>1</sup> название мариенгофовских мемуаров («вранье без романа»<sup>2</sup>, «роман не без вранья»<sup>3</sup>, «клевета»<sup>4</sup>), как будто не желая замечать скрытый в нем парадокс<sup>5</sup>. А между тем само название подсказывает: чтобы произвести требуемый парадоксальный эффект, этот «роман» непременно должен был соотноситься с фактами, вместо грубого вранья вольно интерпретируя их и играя с ними. Ведь сам фактический материал, по убеждению Мариенгофа, был столь увлекателен, что с легкостью, почти без вымысла, ложился в романский сюжет.

1 Эпитет взят из мемуарного очерка бывшего чекиста Т. Самсонова (1929) (С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 183).

2 Название пародии А. Архангельского.

3 Из критических откликов на публикацию «Романа без вранья» (цит. по: Мой век... С. 16).

4 Из комментария к публикации воспоминаний Мариенгофа: «...Роман без вранья» был воспринят всеми (?! — О. Л., М. С.) знавшими Есенина как клевета на него» (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 490).

5 Еще в ранней поэзии Мариенгоф охотно играет со словом «вранье»: «Веруйте в благовест моего вранья» («Развратничаю с вдохновеньем»).



Может быть, именно поэтому никто из недоброжелателей Мариенгофа (с момента публикации произведения и до сего дня) так и не смог уличить его во лжи<sup>1</sup>. Сложнее — с обвинениями в “искажениях”<sup>2</sup> и карикатурности<sup>3</sup>. Мариенгоф действительно жонглирует фактами, меняя освещение, ракурс, риторический акцент для подтверждения своих страстных тезисов — и при этом не жалеет ни друзей, ни врагов, ни живых, ни мертвых. Еще автора “Романа без вранья” клеймили за самолюбование, очернительство<sup>4</sup>, моральную нечистоплотность<sup>5</sup>, “сальериевскую зависть”<sup>6</sup> — и тоже не без оснований. И все же любое одностороннее, прокурорское суждение о мариенгофовском “романе” неизбежно бьет мимо цели.

И вот почему: не только в названии, но и в основе всей книги главное — парадокс, игра контрастами и противоречиями. “Роман без вранья” — текст

- 1 Вот и М. Ройзман, мемуары которого отчасти посвящены разоблачению домыслов о Есенине, находит только одну фактическую ошибку в “Романе без вранья” (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 267–268), да и та связана не с есенинской биографией, а с судьбой доцента Московского университета Н. Шварца (и по сути ничего не меняет). Сам же Ройзман в своей полемике с Мариенгофом порой впадает в наивные противоречия. Так, возражая против характеристики Есенина как “отчаянного славолюбца” (“Он выглядит пустозвоном, хвалбушкой!”), мемуарист есенинскими же словами, сказанными Мариенгофу или о нем, невольно подтверждает эту характеристику: “Я капризно заявлю, почему Мар (Мариенгоф) напечатал себя на первой странице, а не меня”; “Я заслонял тебя, как рукой пламя свечи от ветра. А теперь я ушел, тебя ветром задует в литературе!” (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 171, 218, 252). Другие мемуаристы пытаются ловить Мариенгофа на мелочах, как, например, Ивнев: “Я понял особенности его характера и не обращал внимания на его нелепые выдумки, как, например, эпизод из “Романа без вранья”, в котором один человек, приехавший из Африки, рассказывал о каком-то племени, где мужчина в случае измены жены съедает ее. И я якобы на это воскликнул: “Как это мило!”” (Ивнев Р. Последний имажинист. Маяковский и его время // Арион. 1995. № 1. С. 80). Кстати, этот эпизод отсутствует в “Романе без вранья”.
- 2 Ройзман приводит слова Ивнева: “События искажены!” (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 266); “Читая “Роман без вранья” Мариенгофа, — пишет А. Миклашевская, — я подумала, что каждый случай в жизни, каждый поступок, каждую мысль можно преподнести в искаженном виде” (Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 86).
- 3 Р. Ивнев: “Русская публика не привыкла к такого рода шаржам” (Ивнев Р. Последний имажинист. Маяковский и его время // Арион. 1995. № 1. С. 81); М. Ройзман: “Очень много злых карикатур на живых людей” (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 266); В. Шершеневич: “...легко читаемая, но подозрительная книга” (Мой век... С. 568); В. Чернявский: “...развязная фельетонность, насквозь пропитанная запахом мариенгофовского пробора, конечно, не бездарна” (О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. 1. С. 182).
- 4 В том числе и соратник по имажинизму В. Шершеневич: “...редкое самолюбование и довольно искусно замаскированное оплевывание других, даже Есенина” (Мой век... С. 563).
- 5 А. Бахрах: “Мне кажется, что есть факты, которые не следует использовать для “романчика”” (Русский имажинизм: История, теория, практика. М., 2003. С. 427); В. Чернявский: “Противны мне... отдельные места — до зловерности, — а мне лично, весь тон книжки...” (О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. 1. С. 182).
- 6 Т. Флор-Есенина приводит мнение югославского есениноведа М. Сабиневича: “...в книге Мариенгофа достаточно сальериевской зависти посредственного литературного работника к таланту великого поэта” (О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. 1. С. 184). Ср. мнение В. Мануйлова: “Возможно, что к его <Мариенгофа> воспоминаниям примешивается скрытая или даже подсознательная неприязненность к Есенину, может быть, даже зависть. Ведь во времена имажинизма Шершеневич и Мариенгоф уже понимали, насколько Есенин талантливее их” (Мекхи Г. Виктор Мануйлов: Избранные письма из Ленинграда и Комарова 1983–1985 гг. // Русский имажинизм... С. 433).

с двойным дном: самолюбование автора здесь постоянно переходит в самоиронию, а очернительная ирония, напротив, служит контрастом для высокой темы. И в мемуарной прозе Мариенгоф остался верен своему имажинистскому принципу — непременно сочетать “чистое” и “нечистое”, “соловья” и “лягушку”<sup>1</sup>, “корову” и “оранжерею”<sup>2</sup>, всегда оставаться неуловимо двойственным (“стрелки нашего творческого компаса правильно показывают север и юг”<sup>3</sup>). Еще за несколько лет до появления “романа” В. Шершеневич указал, что под маской Мариенгофа-циника прячется Мариенгоф-романтик<sup>4</sup>; вот и в мариенгофовских воспоминаниях 1927 года “воз поминаний Есенина, творящего неприглядные дела”<sup>5</sup>, контрастно оттеняет признание в любви к Есенину и восхищение его поэтическим даром.

Этическая и эстетическая двойственность Мариенгофа — это не только эффектный прием, но и дань эпохе — как он ее понимал. Неслучайно в названии второй книги “бессмертной трилогии” автор “Романа без вранья” поставил “век” в один ряд, через запятую, с “друзьями” и “подругами” (“Мой век, мои друзья и подруги”, 1960): в мариенгофовских книгах любование другом, Есениным (“Мы любили его таким, каким был”)<sup>6</sup>, неотделимо от любования революционной эпохой — страшной, удивительной, великолепной. В маленькой 16-й главке “Моего века...”, в которой упоминается одно убийство (графа Мирбаха) и три расстрела (Я. Блюмкина, Я. Агранова, В. Мейерхольда), рассказывается также о Л. Троцком, читающем имажинистскую “Гостиницу для путешествующих в прекрасном”, с ее манифестом на первой странице:

До чего же изменилась природа прекрасного в наши дни!

Всего лучше читатель усвоит ее, если удосужится всмотреться в тяжелую походку слова, в грубую манеру рисунка тех, кто совершает ныне по ней небезопасную экспедицию.

Спрашивается: почему же она все же называется прекрасной? Могут ли бесчисленные обвалы, пропасти и крутизны дать ей такое имя? <...>

1 См. трактат Мариенгофа “Буян-остров” (Поэты-имажинисты. СПб., 1997. С. 34).

2 См. статью Мариенгофа “Корова и оранжерея” (Гостиница для путешествующих в прекрасном. № 1–4 (1922–1924). № 1. С. 6–8).

3 Из трактата “Буян-остров” (Русский имажинизм... С. 42).

4 “Все эти Вриче (имеется в виду критик В. М. Фриче. — О. Л., М. С.), Рогачевские и др. <...> тщательно перебрали весь русский лексикон для кличек тебе: тут были и шут, и палач, и мясник, и хулиган, и многое такое, что повторить не позволяет мне мой девичий стыд. Но все, кто упрекал тебя ... в кровожадных тенденциях, проглядели в тебе основное качество: ты — романтик” (Шершеневич В. Листы имажиниста: Стихотворения. Поэмы. Теоретические работы. Ярославль, 1996. С. 419).

5 Каламбур В. Шершеневича (Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 226).

6 Слова Мариенгофа из черновика предисловия к “Роману без вранья”; цит. по: О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник... Вып. 1. С. 181.

Мы ищем и находим подлинную сущность прекрасного в катастрофических сотрясениях современного духа, в опасности Колумбова плавания к берегам нового мирозерцания (так понимаем мы революцию)...<sup>1</sup>

Революционное время, с его “обвалами”, “пропастями” и “катастрофическими сотрясениями”, Мариенгоф воспринимает как Дюма эпоху Людовика XIII и Ришелье. История для обоих — эффектное зрелище, игра страстей, праздник успеха и славы; только Мариенгоф — еще и участник этого праздника. Чем более аморальным Дюма изображает Париж XVII века (“В те времена понятия о гордости, распространенные в наши дни, не были еще в моде”; “Подчиняясь странному обычаю своего времени, д’Артаньян чувствовал себя в Париже словно в завоеванном городе”; “в ту эпоху люди церемонились значительно меньше, чем теперь”) — тем притягательнее становится этот баснословный Париж для читателей. Вот и Мариенгоф на ужасы своего века отвечает рефреном восхищения. Эта тема звучит в его ранних стихах, в альманахе “Явь”:

*Каждый наш день — новая глава Библии.*

*Каждая страница тысячам поколений была Великой.*

*Мы те, о которых скажут:*

*— Счастливицы в 1917 году жили, —*

и продолжает звучать в мемуарной прозе: “Эпоха!”, “Интересный был век!”, “Это мой век”<sup>2</sup>. Мариенгоф в равной мере гордится жестокой эпохой и жестоким другом, с которым пытался ее покорить (“Эпоха-то — наша!”<sup>3</sup>); для автора “Романа без вранья” они, эпоха и Есенин, подобны друг другу.

Пусть тон мемуаров, как и характер их главного героя — Есенина, не отличается мушкетерским благородством, зато в них в избытке других мушкетерских добродетелей — “отчаянной” смелости, “лихой” бравады и “дьявольского” остроумия. И уж конечно роман Мариенгофа отражает свою, невыдуманную эпоху гораздо вернее, чем роман Дюма свою, наполовину выдуманную, — так что в дальнейшем мы постоянно будем прибе-

1 Мой век... С. 139–140; манифест “Не передовица” (цит. по: Гостиница для путешественников в прекрасном. № 1. С. 1–2).

2 Мой век... С. 137, 141.

3 Слова С. Есенина. См. диалог в “Моем веке...”: “— Давай-ка, Толя, выпустим сборник под названием “Эпоха Есенина и Мариенгофа”. — Давай. — Это ведь сушая правда! Эпоха-то наша” (Мой век... С. 120).

гать к точным (по сути) свидетельствам первого, не уступающим в занимательности вымышленным эпизодам второго.

Начало “Трех мушкетеров” могло бы послужить превосходным метафорическим комментарием к сюжету “Романа без вранья”: “В те времена такие волнения были обычным явлением <...> Знатные господа сражались друг с другом; король воевал с кардиналом; испанцы вели войну с королем. Но кроме этой борьбы — то глухой, то явной, то тайной, то открытой, — были еще и нищие, и гугеноты, бродяги и слуги, воевавшие со всеми”. Война всех против всех (“Bellum omnium contra omnes”) — эта формула Т. Гоббса, рожденная как раз эпохой д’Артаньяна, в той же мере применима и к “эпохе Есенина и Мариенгофа”.

Внутренние рецензенты “Моего века...”, не сговариваясь, сошлись в оценке мариенгофовских мемуаров на одном эпитете: “А. Мариенгоф сохранил темперамент бойца” (Е. Шварц)<sup>1</sup>, “Сам автор — деятель этой эпохи, участник литературных диспутов, боевой поэт” (Б. Эйхенбаум)<sup>2</sup>. К “Роману без вранья” этот эпитет подошел бы еще больше: это боевая книга о боевом времени. Исторический фон (“военный коммунизм”, “массовый террор”, Гражданская война) замечательно согласуется с основным сюжетом — эпопеей литературной борьбы и имажинистских побед. Впрочем, “согласуется” — не вполне подходящее слово: Мариенгоф и здесь не отступает от своей излюбленной тактики парадокса и противоречия. Начальный эпизод “Романа без вранья” (юный Мариенгоф дезертирует с Первой мировой, “четверо суток <...> бодрствуя на стульчаке” в сортире вагона первого класса<sup>3</sup>) еще не воспринимался современниками как вызов — бегство с “несправедливой” войны даже приветствовалось; зато эпатажирующая по тем временам смелость 31-й главки более чем очевидна. Здесь все как в комедийном немом кино: сначала Есенин спасается от красноармейской мобилизации, будто бы работая в цирке (пока не падает с лошади — вполне в духе киношной эксцентрики), а затем прячется от мобилизационной облавы в подворотне (скандальная забавность эпизода подчеркнута крупным планом: “...он вставил палец меж десен, чтобы не стучали зубы”<sup>4</sup>). “Милый Почем-Соль, давай же ненавидеть войну...” — обращается автор “романа”

1 Цит. по: Шумихин С. Глазами “великолепных очевидцев” // Мой век... С. 13.

2 Там же. С. 13–14.

3 Мой век... С. 301.

4 Мой век... С. 362. Скорее всего, эпизод с цирком — пример мариенгофовского вымысла, в данном случае комически подсвечивающего и подчеркивающего ничуть не менее эксцентрические факты.

к своему приятелю Г. Колобову<sup>1</sup>. Вот и указание на парадокс: Есенин и имажинисты ненавидели любую войну, будь то Империалистическая или Гражданская, кроме одной — литературной; но уж зато в ней строго придерживались жестокой французской поговорки — “на войне как на войне”.

**З** Имажинизм начинается и заканчивается двумя противоречащими друг другу метафорами — войны и праздника. Первая имажинистская “Декларация” с готовностью подхватывает лексикон военного времени: литературный манифест уподоблен здесь армейскому приказу (“42-сантиметровыми глотками на крепком лафете мускульной логики мы, группа имажинистов, кричим вам свои приказы”); образ сравнивается и с “броней”, и с “артиллерией”; себя же подписавшиеся под обращением объявляют “оруженосцами” имажинизма<sup>2</sup>. Но метафора тут же смещается: “артиллерия” оказывается бутафорской (“крепостная артиллерия театрального действия”), а быт чрезвычайного положения — преображенным и отныне чрезвычайно веселым (“В наши дни квартирному холода — только жар наших произведений может согреть души читателей, зрителей”; “От нашей души, как от продовольственной карточки искусства, мы отрезаем майский, весенний купон”<sup>3</sup>).

Когда “командоры” оглядываются назад и подводят итоги, они вспоминают об имажинистском периоде как о годах боевой славы. “Мы были начинателями новой полосы в эре искусства, — пишет Есенин в “Автобиографии” 1923 года, — и нам пришлось долго воевать”<sup>4</sup>. “Мы встречаемся с Мариенгофом, — разворачивает метафору Шершеневич, — как два старых поэтических ветерана. У нас были и Аустерлицы, были и Мамаевы побоища, но были и Полтавские победы. Чаще всего мы были сами в Вердене”<sup>5</sup>. Ниже (в “Великолепном очевидце”, 1934–1936) он поясняет “Верден”:

“Мы хотели быть самым высоким гребнем революционной волны.

Поэтому мы не могли только отшучиваться. Мы должны были и доказывать, а легко ли доказать под обстрелом?! Между тем обстрел был жес-

1 Там же. С. 338.

2 Поэты-имажинисты. С. 8–10.

3 Там же. С. 9–10.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 13.

5 Мой век... С. 563.

токий и разносторонний. На нас нападали и футуристы, и правые школы, и пролетарские писатели. Мы огрызались и невольно сужали плацдарм идей. Отсюда и то качество имажинизма, в котором нас неоднократно упрекали: упор на один образ. Это был тот окоп, который не мог рухнуть ни от какого бризантного снаряда”<sup>1</sup>.

Однако тому же Шершеневичу ничего не стоило вдруг дать другое освещение — и тут же военные метафоры меняли обличье на празднично-карнавальное. “...Под арлекинскими масками пришли еще одни, — вспоминает он в 1923 году. — На их знамени было начертано: словесный образ. Знамя требовало оружия для своей защиты. Пришлось извлечь его из цирковых арсеналов”<sup>2</sup>. “Мы пробовали идти в бой с картонными мечами”, — “десять лет спустя” резюмирует автор “Великолепного очевидца”, — и готовы были лить “чернильную кровь за свои молодые и крепкие идеи”<sup>3</sup>.

Мушкетеры Дюма, в зависимости от точки зрения, могли казаться разбойниками или рыцарями. Имажинисты же сами, по своей всегдашней привычке, сознательно сталкивали “высокое” и “низкое” даже в своих боевых самоназваниях: то они представлялись “бандой”<sup>4</sup>, то — “орденом”.



Александр Кусиков, Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф  
Москва. 1919

1 Там же. С. 640.

2 Гостиница для путешествующих в прекрасном. № 2. С. 1.

3 Мой век... С. 461, 646.

4 См. афиши: “Банда имажинистов <...> Ура!” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 547); названия сборников — “Конский сад: Вся банда” (М.: Имажинисты, 1922). Как писал рецензент (В. Ирецкий, 1920), “под черным солнцем меланхолии, в дни невзгод, недоеданий и прозаических забот о завтрашнем дне, возникла у нас “банда” счастливых людей. Они так и называют себя — “банда”. В их душах, безмятежно пребывающих вне времени и пространства (как и подобает поэтическим душам), пламенеет все та же необычная для нашей години любовь к шутовским бубенцам, и проявляется она в литературном бесчинстве” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 589).





Георгий Якулов. 1920-е

“Банда” обещала эпатаж, скандалы и лихие перепалки, устраивала “драки” и “поэтический мордобой” (“Надо было бить его <мещанство> в морду хлестким стихом, непривычным ошарашивающим образом...”<sup>1</sup>; “...Имажинизм есть живая разбойная сила...”<sup>2</sup>; “Имажинисты были поэты жизни, любовники слова и разбойники, желавшие отнять славу у всех” (В. Шершеневич)<sup>3</sup>); современники называли имажинистскую практику “литературным ушкуйничеством”<sup>4</sup>.

А “орден” вызывал совсем другие ассоциации — с ритуалами, хитроумными интригами и изысканной литературной игрой. Первый в драках, затеваемых “бандой”, Есенин хотел направлять и политику “ордена”:

“Он ужасно любил всякие ритуалы: ему нравились переговоры, совещания, попросту говоря, его это все забавляло, подобно тому, как забавляли приготовления двух поэтов к дуэли, которая так и не состоялась...” (Р. Ивнев)<sup>5</sup>.

При желании имажинисты легко сдвигали стилистический регистр, переводили “низкое” в “высокое”, — и тогда “драка” превращалась в “дуэль”: “Скрещиваем шпаги не только для того, чтоб при блеске шпаг различить слова истины: мы их знаем наизусть. Скрещиваем шпаги для того, чтоб доказать жаром руки и холодом стали Прекрасные черты Романтического. Мы сняли предохранительный шарик авторитетов с на-

1 Слова С. Есенина, приведенные Вс. Рождественским (О Есенине: Стихи и проза писателей — современников поэта. С. 302); фраза “поэтический мордобой” — из “Великолепного очевидца” Шершеневича (Мой век... С. 612); о “драках” Есенина с футуристами писал И. Эренбург (*Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая.* С. 588).

2 *Грузинов И.* Имажинизма основное. М., 1921. С. 14.

3 Мой век... С. 598.

4 Слова Вс. Рождественского (*Рождественский В.* Сергей Есенин // О Есенине: Стихи и проза писателей — современников поэта. С. 292).

5 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 23. Имеется в виду несостоявшаяся дуэль между В. Шершеневичем и О. Мандельштамом (1921); в этой истории Есенин выступил в роли “самовольного” секунданта (см. главу Шершеневича “Моя ошибка в “Великолепном очевидце”: Мой век... С. 638–639).

ших рапир, мы не закрываем лицо сеткой популярности” (В. Шершеневич)<sup>1</sup>.

Охотно играя этим словом, члены “ордена” готовы были поднять его значение еще выше — от “драки” к “боям за веру”: “В Москве поэты, художники, режиссеры и критики дрались за свою веру и искусство с фанатизмом первых крестоносцев” (А. Мариенгоф)<sup>2</sup>; Есенин “казался вождем какой-то воинствующей секты фанатиков, не желающих никому и ни в чем уступать” (В. Вольпин)<sup>3</sup>. А затем — вновь сыграть “на понижение”.

Так, устроив шуточный ритуал с “магическими” подписями на листе, Мариенгоф озглавливает его “М’ОРДЕН ИМАЖОРОВ”; таинственное “М” здесь одновременно намекает на масонский обряд и каламбурно низводит “орден” к “банде” — через “морду” и “мордобой”<sup>4</sup>.

“Орден” и “банда” — две стороны имажинистского действия — боевого и праздничного. Недаром в одном открытом письме, подписанном в том числе и А. Платоновым, Есенин и его друзья были названы “хулиганствующими рыцарями”<sup>5</sup>. Эта двойственность остроумно выражена в рисунке Г. Якулова “Тений имажинизма” (1920): в кубистической фигуре угадывается воин (может быть, рыцарь в латах), отдельно от нее руки — одна, кажется, с веслом (аллюзия на есенинское: “Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего?”), в других — снятая с плеч рыцаря клоунская голова, направленная в его грудь шпага и — неожиданно — серп и молот.

Ритуалы “образоносцев”<sup>6</sup> тоже постоянно оборачивались “шутовством”; “имажинизм оказался в положении клоуна, который “все делает наоборот”” (В. Шершеневич)<sup>7</sup>. На представлениях, организованных членами ордена, приходилось выбирать: или воевать с ними их оружием — смехом, или самому стать предметом насмешек. Брюсов на “Суде над имажинистами” (4 ноября 1920 года) воспользовался щитом иронии, лукаво подыграв своим оппонентам: “Валерий Брюсов обвинял имажинистов как лиц, составивших тайное сообщество с целью ниспровержения существующего литературного строя в России” (И. Грузинов)<sup>8</sup>. Ма-

1 Гостиница для путешествующих в прекрасном. № 2. С. 6.

2 Мой век... С. 105.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 423.

4 См. статью Е. Самоделовой “Московский имажинизм в “зеркале” одного документа” (Русский имажинизм... С. 98—99, 132—133); см. также: Шубникова-Гусева Н. Поэмы Есенина. От “Пророка” до “Черного человека”: Творческая история, судьба, контекст и интерпретация. М., 2001. С. 576—577.

5 Летопись... Т. 3. С. 120.

6 Неологизм, придуманный Львовым-Рогачевским. См.: Львов-Рогачевский В. Имажинизм и его образоносцы: Есенин. Кусиков. Мариенгоф. Шершеневич. М., 1921.

7 Мой век... С. 552.

8 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 367.



“Гений имажинистов”

Рисунок Г. Б. Якулова. Надписи: сверху слева — “Знак Симпатии <нрзб>”; сверху справа — “Гений имажинистов” Георг. Якулов 1920-1-10”; внизу — “Августе Павловне Малешной < ? > <нрзб> Якулова”

яковский предпочитал бить своих литературных противников сильными комическими средствами — “разить <...> молнией и громом” (Г. Окский)<sup>1</sup>. А над Хлебниковым, имевшим неосторожность поверить ритуалу имажинистов, они за это жестоко посмеялись. “Всенародно” (и “всешутейно”) “помазав” Хлебникова “миром (так! — О. Л., М. С.) имажиниз-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 596.

ма”<sup>1</sup>, Есенин и Мариенгоф посвятили его в Председатели Земного Шара (Харьков, 19 апреля 1920 года).

“...Перед тысячеглазым залом совершается ритуал, — вспоминает автор “Романа без вранья”. — Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты посвящения его в Председатели.

После каждого четверостишия, как условлено, произносит:

— Верую. <...>

В заключение, как символ Земного Шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера — Бориса Глубоковского.

Опускается занавес.

Глубоковский подходит к Хлебникову:

— Велимир, снимай кольцо.

Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину.

Есенин надрывается от смеха.

У Хлебникова белеют губы:

— Это... это... Шар... символ Земного Шара... А я — вот... меня... Есенин и Мариенгоф в Председатели...

Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного Шара Хлебников, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет большими, как у лошади, слезами”<sup>2</sup>.

**4** Вряд ли циничные манеры “командоров” понравились бы Атосу; зато он бы по достоинству оценил дружескую спайку имажинистов. Казалось, участники “знаменитого московского квартета”<sup>3</sup> руководствовались именно мушкетерской верой в непобедимость своего союза (“четырежды увеличенной силы, с помощью которой <...> можно было, словно опираясь на рычаг Архимеда, перевернуть мир...”<sup>4</sup>). “...Были годы, — вспоминал Шершеневич, — когда легче было сосчитать часы, которые мы, Есенин, Мариенгоф, Кусиков и я, провели не вместе, чем часы дружбы и свиданий”<sup>5</sup>.

1 Слова Есенина на “Суде над русской литературой”, записанные Грузиновым (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 369).

2 Мой век... С. 358.

3 Слова Ф. Иванова; цит. по: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 587.

4 Цитата из “Трех мушкетеров”.

5 Мой век... С. 570.



Александр Кусиков, Анатолий Мариенгоф и Сергей Есенин. 1919

Друзья-поэты при случае клялись имажинизмом с той же интонацией, с какой друзья-мушкетеры произносили свое: “Один за всех и все за одного”<sup>1</sup>. На своих выступлениях “образоносцы” столь же торжественно читали “межпланетный марш” имажинистов — непременно хором:

*Вы, что трубами слав не воспеть,  
Чье имя не кружит толп бурун, —  
Смотрите —  
Четыре великих поэта  
Играют в тарелки лун.*

И наконец, на праздновании Нового, 1921 года в Политехническом “четыре великих поэта” довели ритуал общности до полной пластичности и наглядности:

“В левой стороне сцены поставили длинный стол. Взгромоздились на него вчетвером, обхватили друг друга руками. Каждый выкрикивал четверостишие, одно сильнее другого по похабщине, после чего, раскачиваясь из стороны в сторону, хором произносили одну и ту же фразу: “Мы 4 1/2 величайших в мире поэта...” Присутствующие в зале аплодировали, и смеялись, и свистели. Слышались выкрики:

— Браво! Молодцы! Еще, еще!

— Долой хулиганов!

Творилось невообразимое” (П. Шаталов)<sup>2</sup>.

Как и у мушкетеров, у каждого в квартете “образоносцев” была своя роль. Сами члены “ордена” и их современники охотно играли в уподобления — с породами лошадей (Мариенгофа сравнивали с охотничьей лошадью Гунтер, Шершеневича — со спортивной Орловской, Есенина — с хозяйственной Вяткой<sup>3</sup>) или с музыкальными инструментами: “В оркестре имажинизма Есенин играет роль трубы, Анатолий — виолончели”, Куси-

1 Когда однажды Мейерхольд попросил Мариенгофа и Есенина поклясться самым святым, они поклялись имажинизмом, да еще “без малейшего юмора” (Мой век... С. 121).

2 Летопись... Т. 2. С. 441.

3 “Классификация” художника-имажиниста Дида Ладос (Мой век... С. 322–323).



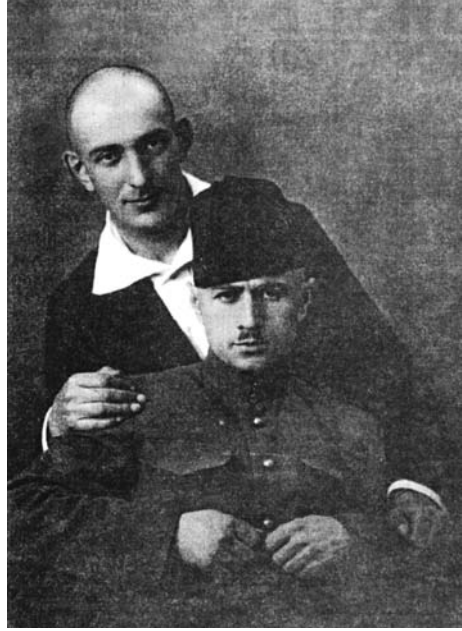
ков “взял себе скрипичное ремесло”<sup>1</sup>. Однако распределение ролей было необходимо не только для игры, но и для успешной охоты за славой.

Мариенгоф играл роль всероссийского денди. “...Анатолий любил хорошо одеваться, — вспоминает М. Ройзман, — и <...> шил себе костюм, шубу у дорогого, лучшего портного Москвы Деллоса...”<sup>2</sup> “Уайльдковский” жест<sup>3</sup> производил особенный эффект на фоне послереволюционной разрухи — облик Мариенгофа завораживал и запоминался надолго<sup>4</sup>, а его “бердслеевский профиль”<sup>5</sup> словно просился в стилизованный портрет. “Четкий рисунок лица. Боттичеллевский, — так изображает Мариенгофа Б. Глубоковский, тот самый, что отобрал перстень у Хлебникова. — Узкие руки. Подает и отдернет. Острый подбородок. Стальные глаза, в которых купаются блики электрических ламп. Не говорит, а выговаривает. Мыслит броско.

И хихикают идиоты:

— Фат!

Ну как не фат — смотрите, дорожка пробора, как линия образцовой железной дороги. Волосок к волоску. И почему, гражданин, вы не носите траур на ногтях? Не по кому? Ах, простите. Улыбается. Рот — алое “О”. — Идиоты! Снобы! Или глаз нет? Или только и видите, что пиджак от Деллоса?”<sup>6</sup>



Вадим Шершеневич и Александр Куסיков  
Конец 1910-х

1 Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 434.

2 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 65.

3 “Нашим малоносым Оскаром Уайльдом” называла Мариенгофа актриса О. Пыжова (Мой век... С. 211).

4 Характерный эпизод из “Моего века...” — в духе имажинисткой иронии, соединяющей “чистое” с “нечистым”: Мейерхольд, “в кожухе, подпоясанном красноармейским ремнем; в мокрых валенках, подбитых оранжевой резиной; в дворницких рукавицах и в буденовке с большой красной пятиконечной звездой”, дарит Мариенгофу свою фотографию с надписью: “Единственному денди в Республике” (Мой век... С. 120—121).

5 Из стихотворения В. Качалова, приведенного Мариенгофом (Мой век... С. 145): “Я читал стихи Сергея, / Ты стихи свои читал, / И на профиль твой Бердслея / Джим смотрел и засыпал”.

6 Гостиница для путешественников в прекрасном. № 4. С. 10.



Шершеневич был записным имажинистским оратором и теоретиком. В послереволюционных литературных баталиях он выделялся как снайпер (который “вел пламенный обстрел, поражая противников картечью своих остроумных, но неизменно вежливых фраз” — Г. Окский<sup>1</sup>) и фехтовальщик (Мариенгоф: “Вадим Шершеневич владел словесной рапирой, как никто в Москве. Он запросто <...> нагромождал вокруг себя полутрупы врагов нашей святой и неистой веры в божественную метафору...”<sup>2</sup>). Действительно, “имажинистский Цицерон”<sup>3</sup> был опытным и прекрасно вооруженным полемистом; он воздействовал на публику и “глоткой”, “крепко поставленным голосом”, “перекрывающим” любой шум в аудитории<sup>4</sup>, и испытанными риторическими приемами, и внезапными остроумными выпадами: “...Но ка-а-ак говорит!”<sup>5</sup>; “Вышел и заговорил. Любит не слово, а фразу. Его образы цепки, как и его остроты. Говорит, говорит — и ищет лукавым взглядом свежей мысли и новой остроты. Оглушительный смех” (Б. Глубоковский)<sup>6</sup>; “Шершеневич, Шершеневич, — это когда аудитория, смешки, остроты, шуточки, цветы и целый выводок девиц”<sup>7</sup>.

Что касается Кусикова, то он отличался невероятной ловкостью в различного рода авантюрах и (воспользуемся выражением из “Трех мушкетеров”) “даром интриги”; его усилиями имажинистский роман становился плутовским. “Придворный шарманщик” имажинизма (по определению В. Шершеневича)<sup>8</sup> был как рыба в воде в закулисном литературном быту: он “мог пролезть куда угодно”, “умел ладить со всеми, когда хотел”, и “был въедлив до необычайности”<sup>9</sup>.

Есенину были не чужды *все* перечисленные амплуа. Он легко и талантливо перенял у Мариенгофа повадку франта, с ходу освоив аристократическую элегантность и утонченную непринужденность стиля<sup>10</sup> (Л. Никулин: “...такое умение с изящной небрежностью носить городской костюм я видел еще у одного человека, вышедшего из народных низов, — у Шаляпина”<sup>11</sup>). Но не столько естественность повадки привлекала окружающих

1 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 596.

2 Мой век... С. 131.

3 Формула Мариенгофа (Мой век... С. 290).

4 Мой век... С. 462. Шершеневич охотно пишет о своем громком голосе в стихах: “Как медведь в канареечной клетке, / Его голос в Политехнический зал...” (“Песнь Песней”).

5 Из “Романа без вранья” Мариенгофа (Мой век... С. 330).

6 Гостиница для путешествующих в прекрасном. № 4. С. 10.

7 *Ивнев Р.* Четыре выстрела в Есенина... С. 25.

8 *Шершеневич В.* Листы имажиниста... С. 438.

9 Слова В. Шершеневича (Мой век... С. 574, 554–555).

10 По словам Н. Полетаева, “шикарно одетый, играющий роль жоака <...> золотой молодежи” (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 298).

11 Там же. С. 306.

в Есенине, сколько театральная условность: его переодевания и игра с костюмами превращали бытовое событие в спектакль. “Денди, денди с головы до ног, и по внешности и по манерам! — делится своими первыми впечатлениями от Есенина-имажиниста П. Зайцев. — Живая иллюстрация к романам Бальзака. Жорж Санд! <...> Люсьен Рюбампре из “Утраченных иллюзий”. Откуда и кто он такой?

На нем дорогой, прекрасно сшитый костюм, элегантное пальто на шелковой подкладке, продуманно небрежно перекинутое через руку, в другой руке цветные лайковые перчатки. Серая фетровая шляпа, лакированные туфли, тонкий, едва уловимый аромат дорогих заграничных духов <...> Художники, графики, хватайте скорее карандаш и рисуйте: перед вами редчайшая натура”<sup>1</sup>.

Смена поддевки на европейский костюм<sup>2</sup> знаменовала для поэта начало нового жизненного и творческого этапа. В стремительности этого переодевания было даже что-то комическое; есенинский облик забавно двоялся, новый образ денди накладывался на прежний образ пасторального отрока. Именно это подмечает и вышучивает В. Хлебников в своем стихотворении “Москвы колымага...”, опубликованном в имажинистском сборнике “Харчевня зорь” (1920):

*Москвы колымага,  
В ней два имаго.  
Голгофа Мариенгофа.  
Город распорот.  
Воскресение Есенина.  
Господи, отелись  
В шубе из лис!*

На игру Мариенгофа и Есенина, с их издевательски-пародийным посвящением Хлебникова в Председатели Земного Шара, тот ответил своей игрой — хитрой стихотворной загадкой, язвительно сталкивающей имажинистские понятия, образы и цитаты. “Имаго” в этом стихотворении — это не только “образы” и “образоносцы”, но также зоологический термин, означающий окончательную стадию развития насекомых. Соответственно, “воскресение Есенина” и “Господи, отелись” (цитата из есенинского

1 Зайцев П. Н. Из воспоминаний о встречах с поэтом // Литературное обозрение. 1996. № 1. С. 17.

2 Мариенгоф вспоминает, как “деллосовское широкое пальто” обмануло воров, принявших его за иностранца (Мой век... С. 325).

“Преображения”) переосмысляются как рождение профанного образа (денди) из “куколки” сакрального (богоборца и пророка). Итог последней строки, сводящийся к бытовой “шубе из лис”, до смешного противоречит вселенскому, всемирно-историческому размаху намерений и обещаний<sup>1</sup>. Через несколько лет хлебниковское “отелись” подхватит и доведет до карикатуры Маяковский (“Юбилейное”: “Смех! / Коровою / в перчатках лаечных”).

Так или иначе, но “шуба из лис” и “перчатки лаечные” не могли остаться незамеченными. Все выделяло Есенина из толпы — нищей, обносившейся, сереющей красноармейскими шинелями: он носил роскошные пальто и шубы, великосветские фраки и смокинги, пиджаки по последней моде, щеголял с бабочкой на шее, обматывался длинным цветным шарфом<sup>2</sup>, закутывался в онегинский бобровый воротник<sup>3</sup>, ходил с тростью.

Порой манеру Есенина одеваться и держаться на публике находили слишком утрированной — но при этом все же не могли им не восхищаться. От поэта в экстравагантном костюме, “полубоярском, полухулиганском” (по словам Г. Бениславской)<sup>4</sup>, ждали не менее экстравагантных поступков. И он оправдывал ожидания зрителей. Играя с вещами, ученик Мариенгофа умел не только радовать зрителей грацией жеста<sup>5</sup> (например, изящно и неторопливо разглаживая дорогие перчатки у себя на коленке<sup>6</sup>), но и умением, необходимым для всякого настоящего денди, — “поступать всегда неожиданно”, “более удивлять, чем нравиться”<sup>7</sup>. О есенинском “дендизме поведения”<sup>8</sup> слагали легенды.

“Очень жаркий день, — вспоминает Н. Вольпин. — Обедаю в СОПО. Входит Есенин. Подсаживается к моему столику. Снял шляпу — соломенную шляпу-канотье с плоским верхом и низкой тульей, — смотрит, куда бы ее пристроить.

1 Согласно интерпретации Н. Асеева, В. Хлебников, играя словами, рифмует “имаго” и “мага”: “Два “имаго” — имажинисты и “имаги” в смысле имеющие возможности материальные и иные, так характеризовал своих случайных друзей непрактичный и не “имажный” Хлебников”. См.: *Летопись...* Т. 1. С. 349. См. также: *Леннквист Б.* Мироздание в слове. Поэтика Велимира Хлебникова. СПб., 1999. С. 75–127, 214–222.

2 По словам П. Шаталова, “появился Есенин в неизменном из оленьей шкуры пиджаке нараспашку и в длинном цветном шарфе на шее” (*Летопись...* Т. 2. С. 441).

3 Ср. у А. Мариенгофа: “Морозной пылью серебрятся наши бобровые воротники” (*Мой век...* С. 416).

4 С. А. Есенин: *Материалы к биографии.* С. 20.

5 По Барбе Д’Оревилю, именно “грация, даруемая небом” прежде всего отличает настоящего денди (*Барбе Д’Оревилю Ж.-А.* О дендизме и Джордже Браммелле. М., 2000. С. 75).

6 См. воспоминания Вс. Рождественского (*Рождественский В. Сергей Есенин // О Есенине: Стихи и проза писателей — современников поэта.* С. 292–293).

7 См.: *Барбе Д’Оревилю Ж.-А.* О дендизме... С. 20, 124.

8 Выражение Ю. Лотмана. См.: *Лотман Ю. М.* Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII — начало XIX века). СПб., 1994. С. 127.

— А не к лицу вам эта шляпа, — сказала я.

Не проронив ни слова, Сергей каблуком пробивает в донце шляпы дыру и широким взмахом меткой руки запускает свое канотье из середины зала прямо в раскрытое окно”<sup>1</sup>.

Другой случай приводит Л. Никулин: “Он <Есенин> почему-то был во фраке, очевидно для того, чтобы поразить нас, но эта одежда воспринималась именно как маскарадный костюм; мне помнится, он всячески старался показать свое пренебрежение к этой парадной одежде. Озорно, по-мальчишески, он вытирал фалдами фрака пролитое вино на столе...”<sup>2</sup>.

Из всех вещей, которые Есенин использовал в своем костюмированном быту, современникам больше всего запомнился цилиндр. В “Романе без вранья” тот день, когда было сделано это знаменательное приобретение, удостоился отдельной главки.

“...В Петербурге пошел дождь, — вспоминает Мариенгоф. — Мой пробор блестел, словно крышка рояля. Есенинская золотая голова побурела, а кудри свисали жалкими писарскими запятыми. Он был огорчен до последней степени.

Бегали из магазина в магазин, умоляя продать нам “без ордера” шляпу.

В магазине, по счету десятом, краснощекий немец за кассой сказал:

— Без ордера могу отпустить вам только цилиндры.

Мы, невероятно обрадованные, благодарно жали немцу пухлую руку.

А через пять минут на Невском призрачные петербуржане вылупляли на нас глаза, “ирисники” гоготали вслед, а пораженный милиционер потребовал документы.

Вот правдивая история появления на свет легендарных и единственных в революции цилиндров, прославленных молвой и воспетых поэтами”<sup>3</sup>.

Цилиндр мог вызывать смех (Бениславская: “Есенину цилиндр <...> как корове седло. Сам небольшого роста; на голове высокий цилиндр — комическая кинематографическая <фигура>”)<sup>4</sup>, но не обратить на него

1 Есенин глазами женщин... С. 109.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С.; 308.

3 Мой век... С. 324.

4 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 18. Любопытно, что именно фельетонист кинематографического журнала “Экран: Вестник Театра — Искусства — Кино” сыграл на антитезе “большой цилиндр” — “маленький поэт”: “На Тверской появился первый после революции цилиндр. Очень высокий и очень блестит. Оказалось: один из имажинистов.

Встречные кепки, шапки и картузы оборачиваются, благодушно улыбаясь:

— Такой большой цилиндр и такой маленький поэт!

Если бы говорили наоборот, было бы, конечно, лучше для обоих” (Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 207).

Ср. со сходной функцией цилиндра в некоторых фильмах Макса Линдера и раннего Чаплина.



Надежда Вольпин. 1920-е

внимания было нельзя. Он фокусировал на себе взгляды как поклонников, так и недоброжелателей, помимо воли врезался в память. Именно о таком, почти магическом воздействии предмета идет речь в нелицеприятной мемуарной записи Е. Шварца о враждебном ему кафе “Стоило Пегаса”: “Что мне эти рисунки на стенах, дым, жестокость испитых морд, девицы, перепуганные до извращения. Ад. За столиками оживились. Взгляды устремились в угол. Пронесся как бы ветерок: “Есенин пришел”. — “Где?” — “Вон, с Мариенгофом за столиком”. Я к этому времени оцепенел, впал от ужаса в безразличное состояние. <...> Со страхом, как бы сквозь сон, взглянул я в указанном направлении и увидел два цилиндра и два лица: одно — круглое и даже детское, другое — длинное и самоуверенное”<sup>1</sup>.

Заметный издалека, сияющий отраженным светом цилиндр — это не просто головной убор, а знак исключительности (А. Мариенгоф: “Дразним вечернюю Тверскую блестящими цилиндрами”<sup>2</sup>), эмблема успеха (“На площадке группа студентов подхватила Есенина на руки и стала его качать. Он взлетал вверх, держа на груди обеими руками цилиндр”<sup>3</sup>).

Это метафора, включенная в игру парадоксальных антитез. Цилиндр эффектно диссонирует с крестьянским прошлым поэта (“Для цилиндра <...> каким превосходным контрастом должен был послужить зипун и цветастый ситцевый платок на сестрах, корявая соха и материн подойник” — А. Мариенгоф<sup>4</sup>) и дает удобный повод для дендистских “дерзаний”<sup>5</sup> (“На грязном, захламленном дворе я увидел сидящего на корточках Сергея в цилиндре. <...> Он откусывал от колбасы куски и кормил какого-то старого, с гноящимися глазами пса” (С. Борисов)<sup>6</sup>; “...На Садово-Триумфальной Сергей повернулся, сорвал с моей головы летнего образца красноармейский шлем и надел на меня свой цилиндр” — Ю. Либединский<sup>7</sup>). По воспоминаниям И. Старцева, зимой 1921—1922 года Есенину был подарен рисунок, на котором он был изображен в цилиндре и “под руку с овцой. “Картинка много радовала Есенина. Показывая ее, он говорил: “Смотри вот, дурной, с овцой нарисовали!””<sup>8</sup>.

1 Шварц Е. Живу беспокойно...: Из дневников. Л., 1990. С. 356–357.

2 Мой век... С. 416.

3 Ройzman М. Все, что помню о Есенине. С. 23.

4 См.: Мой век... С. 314.

5 “Всякий денди — человек дерзающий...” (Барбе Д’Оревильи Ж.-А. О дендизме... С. 111).

6 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 141–142.

7 Либединский Ю. Мои встречи с Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 146.

8 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 74.



Наконец, это символ — “ухода Есенина из деревенщины в мировую славу”<sup>1</sup>. Естественно, что “символический цилиндр”<sup>2</sup> с полным эффектом переносится из жизни в стихи. Он становится неизменным атрибутом есенинского лирического героя — поэта-хулигана; подчеркнутый бытовой жест переходит в поэтический прием. В хрестоматийных строках есенинской лирики двадцатых годов цилиндр более чем удачно приспособлен и для броской антитезы (в обращении к “некрасивым” крестьянам, страдающим душой за жизнь лирического героя):

*Вы ль за жизнь его сердцем не индевели,  
Когда босые ноги он в лужах осенних макал?  
А теперь он ходит в цилиндре  
И лакированных башмаках, —* (‘‘Исповедь хулигана’’)

и для парадоксального метафорического сдвига:

*Я хожу в цилиндре не для женщин —  
В глупой страсти сердце жить не в силе, —  
В нем удобней, грусть свою уменьшив,  
Золото овса давать кобыле, —* (‘‘Я обманывать себя не стану...’’)

и для превращения метафоры в многозначительный символ:

*Я в цилиндре стою.  
Никого со мной нет.  
Я один... И разбитое зеркало...* (‘‘Черный человек’’)

Оставался последний сдвиг в этой игре с цилиндром — от символа к мифу; откликаясь на ‘‘Исповедь хулигана’’ (‘‘Не хочу быть знаменитым поэтом / В цилиндре и лаковых башмаках’’), этот ход поспешил сделать Клюев. Мало того, что цилиндр в клюевской поэме ‘‘Четвертый Рим’’ превращен одновременно в атрибут и орудие дьявола (‘‘Не хочу укрывать цилиндром / Лесного черта рога!’’; ‘‘Не хочу быть лакированным поэтом / С обезьяньей славой на лбу’’), он еще персонифицирован и наделен злой волей:

1 Городецкий С. Жизнь неукротимая... С. 48.

2 Слова Иванова-Разумника (Иванов-Разумник. Творчество и критика... С. 218). Как символ воспринял цилиндр и другой мэтр скифов — Андрей Белый: ‘‘...Есенин исчезает из Пролеткульта, для того чтобы потом объявиться в цилиндре. Ну, Есенин и цилиндр. Этот быт разлагающе действует на Есенина’’ (Белый А. Из воспоминаний о Есенине // О Есенине... С. 384).

*Анафема, анафема вам,  
 Башмаки с безглазым цилиндром!  
 Пожалкую на вас стрижам,  
 Речным плотицам и выдрам.  
 Не хочу цилиндрами и башмаками  
 Затыкать пробоину в барке души!  
 Цвету я, как луг, избяными коньками,  
 Улыбкой озер в песнозвонной тиши<sup>1</sup>.*

И все же, если вернуться к вопросу об имажинистском дендизме, не Есенин был главным лордом Бремеллем литературной Москвы; при всех своих успехах в “уайльдовщине”<sup>2</sup>, он на этом поприще оставался учеником Мариенгофа. Вспоминает С. Городецкий: “Когда я, не понимая его <Есенина> дружбы с Мариенгофом, спросил его о причине ее, он ответил мне: “Как ты не понимаешь, что мне нужна тень”. Но на самом деле, в быту, он был тенью денди Мариенгофа, он копировал его и очень легко усвоил <...> всю несложную премудрость внешнего дендизма”<sup>3</sup>. Может быть, поэтому позже Есенин выберет именно образ цилиндра для мстительной притчи, рассказанной В. Эрлиху и направленной против Мариенгофа: “Жили-были два друга. Один был талантливый, а другой — нет. Один писал стихи, а другой — (непечатное). Теперь скажи сам, можно их на одну доску ставить? Нет! Отсюда мораль: не гляди на цилиндр, а гляди под цилиндр!”<sup>4</sup>

В “словопре” (так имажинисты называли публичные ораторские состязания) Есенин брал не логикой, не риторическим мастерством, а напором, “бурлением”<sup>5</sup> — и внезапными выпадами лихого остроумия. “Силясь подобрать слова, он заикается, — записывает Т. Мачтет, — ходит по эстраде, жестикулирует, улыбается своим собственным фразам, смеется вместе с публикой над своими подчас острыми замечаниями “о пупке человеческого и т. п.””<sup>6</sup>.

Сам “златоуст от имажинизма” Шершеневич не без одобрения отзывался о есенинских “трезвых бредах”: “Есенин говорил непонятно, но

1 См. мифологический комментарий к этим строкам Иванова-Разумника: “И какой тут цилиндр? — скорее уж былинная “шапка в девяносто пуд”, которую легко носит подлинный богатырь” (Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 260).

2 Это слово использует для характеристики Есенина Городецкий (*Городецкий С. Жизнь неукротимая...* С. 47).

3 Там же.

4 Эрлих В. Право на песнь. Л., 1930. С. 54–55.

5 Ср. у Э. Германа: “Бурлящий на эстраде”, “о искусстве он говорил взволнованно и туманно” (С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 166, 154).

6 Летопись... Т. 2. С. 223.



Сергей Есенин  
Рисунок Г. Б. Якулова. Конец 1910-х

очень убедительно. Он не смущаясь забирался в самые дебри филологии и почти междупланетных рассуждений. <...> Он рассуждал мимоходом о таких сложных вещах, что даже нам, хорошо его знавшим, иногда трудно было уследить за быстротой и связью мыслей”<sup>1</sup>. Тот же Шершеневич приводит *bon mots* своего соратника по ордену, вошедшие в поговорку: Городецкому “длинный житейский нос мешает видеть перекрестки поэзии”; Бальмонт — “вша в прическе Аполлона”, Брюсов — “писарь в штабе жизни”<sup>2</sup>. Особенно запомнилось выступление Есенина на “Суде над имажинистами”, направленное против бородатого И. Аксенова в роли “гражданского истца”: “Кто судит нас? Кто? Что сделал в литературе <...> этот тип, утонувший в бороде?” (И. Грузинов)<sup>3</sup>.

Но, конечно, с самим Шершеневичем в искусстве эстрадной софистики и остроумного экспромта Есенину тягаться было не по силам. Он и не пытался.

Зато состязания Есенина с Кусиковым, кто из них хитрее и ловчее, превращались в своего рода “спорт”. Бывало порой, что в этой гонке выигрывал Есенин:

“Типографии, где они издают, и места, где они покупают бумагу, они всегда таили друг от друга, — рассказывает Шершеневич.

— Сандро, ты выпускаешь сборник?

— Нет, Сереженька, еще материал не собрал.

— Врешь! Знаю, что собрал. <...> Скажи прямо, как я тебе говорю! Вот я уже печатаю!

1 Мой век... С. 565.

2 Там же. С. 58В.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 368.

— А где, Сережа?

— Нашел одну типографию. Только никому не говори. <...>

— Никому не скажу. А где, на Арбате?

— В Мерзляковском переулке! А ты где думаешь печатать?

— На Маросейке. <...> Только, Сережа, ни гу-гу! <...>

Есенин хитрит с улыбочкой, по-рязански. Сандро — с нарочитой любезностью, по-кавказски (он был родом из Армавира).

На другой день Сандро ведет подводку, чтобы вывезти готовые книги из типографии в Камергерском переулке. Со двора на извозчике Сережа уже вывозит из той же типографии свою отпечатанную книгу.

Арбат и Маросейка встретились в Камергерском, Рязань перехитрила Армавир<sup>1</sup>.

И все же чаще в подобном плутовском состязании побеждал Кусиков. Воспоминания Шершеневича о кусиковских типографских похождениях сворачивают к мотивам волшебной сказки. Так, хитрец Кусиков обошел “строжайшее распоряжение: имажинистов ни с визой Госиздата, ни с визой военной цензуры <...> не печатать” — с помощью “какой-то фантастической визы военной цензуры с собственноручной подписью”<sup>2</sup>. В том же духе бль-легенда из “Великолепного очевидца”:

“Одну книгу — это был сборник “Звездный бык” — Есенин умудрился отпечатать в типографии <...> поезда Троцкого. Там была прекрасная бумага Реввоенсовета. Книжка вышла на ней. <...> Когда я об этом рассказал в одном из выступлений после смерти Есенина и стенограмма была напечатана, через два дня ко мне раздался звонок. Говорил один из секретарей Троцкого. Он очень укорял меня за опубликование таких фактов:

— Прежде всего, ведь этого... никогда не было, а потом вы знаете, что при теперешнем положении Льва Давыдовича ему поставят в вину содействие нелегалшине.

Я доказал секретарю, что книга была там напечатана, и успокоил его только тем, что позже Кусиков перекрыл Есенина: он одну книгу напечатал без разрешения в типографии... МЧК.

На это был способен только Кусиков”<sup>3</sup>.

1 Мой век... С. 572.

2 Есенин: Жизнь. Личность. Творчество. С. 55.

3 Мой век... С. 644

**5** Итак, как ни хорош был Есенин-щеголь, Есенин-остроумец и Есенин-плут, в этих амплуа он всякий раз оставался вторым. Какая же роль в ордене предназначалась именно ему, была есенинской *par excellence*? В имажинистском карнавале он выступал в двойной маске — “шармера” и “хулигана”.

Очаровывать Есенин умел всегда. Но никогда, пожалуй, поэту не удалось так магнетически<sup>1</sup> воздействовать на собеседников и слушателей, как в имажинистский период. Вспоминая те годы, мемуаристы в один голос твердят о производимом им “обаятельном впечатлении”, с “изюминкой очарования”<sup>2</sup>, о его “в высшей степени человеческой человечности” (А. Белый)<sup>3</sup>. И не жалеют эпитетов: в нем чувствовалось “что-то притягивающее, необыкновенно привлекательное” (В. Мануйлов)<sup>4</sup>, “нечто “ланы”” (В. Пяст)<sup>5</sup>; “с него не хотелось сводить глаз” (Ю. Либединский)<sup>6</sup>, “его улыбочивому обаянию поддавались даже те, которые этого не хотели”; казалось, он “светится изнутри” (Э. Герман)<sup>7</sup>.

Свои стихи Есенин тогда декламировал особенно “буйно” — впадая в экстатическое состояние и доводя до экстаза публику.

Не всем, конечно, нравилась такая манера: некоторые слушатели в неистовстве поэта находили лишь нарочитую, форсированную театральность (Г. Поршневу: “...ужасно воет, ворочает зрячками, злобно сжимает кулаки и мотается по эстраде”<sup>8</sup>).

Другие, уже по своему темпераменту, порой не могли выдержать есенинского напора и реагировали на его чтение с невольной усталостью и отчуждением. Вот в августе 1921 года он декламирует своего “Пугачева”, и, как вспоминает В. Мануйлов, голос поэта поначалу имеет над ним полную власть: “Есенин читал горячо, темпераментно жестикулируя, скакал на эстраде, но это не выглядело смешным, и было что-то звериное, воедино слитое с образами поэмы в этом невысоком и странном человеке, сразу захватившем внимание всех присутствовавших в зале”. Однако в дальнейшем слушатель становится все менее эмоционально восприимчивым: “Была в его (Есенина. — О. Л., М. С.) чтении какая-то исступленность, сплошной нажим на каждое слово, и это било по нервам и постепенно начинало притуплять восприятие”<sup>9</sup>.

1 О “магнетическом обаянии” Есенина писал В. Мануйлов (Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 166).

2 *Ивнев Р.* Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 33.

3 *Белый А.* Из воспоминаний о Есенине // О Есенине... С. 385.

4 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 166.

5 Там же. С. 95.

6 Там же. С. 140.141.

7 *Герман Э.* Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 172.

8 *Летопись...* Т. 3. С. 47.

9 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 169–170.

И все же бóльшая часть публики самозабвенно отдавалась есенинскому порыву — бешено, “неуемно” аплодировала<sup>1</sup>, “выла”: “Есенина, Есенина, Есенина!”<sup>2</sup> Часто восторг доходил до экзальтации. Пытаясь восстановить свежесть своих тогдашних впечатлений, мемуаристы всякий раз оказываются во власти одной метафоры — разбушевавшейся стихии: Есенин “весь закачался, как корабль, борющийся с непогодой. Когда он закончил, в зале была минута оцепенения и вслед за тем гром рукоплесканий” (А. Сахаров)<sup>3</sup>. Вот и “загипнотизированной” Бениславской<sup>4</sup> читающий поэт представляется олицетворением самой буйной природы. Он дарит свет — и душа тянется к нему, “как к солнцу”<sup>5</sup>. Своим стихом “Плюйся, ветер, охапками листьев...” Есенин действительно поднимает бурю: “Он весь стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, с которым он говорит, да нет, что ветер, ветру бы у Есенина признаться удали. Где он, где его стихи и где его буйная удаль — разве можно отделить. Все это слилось в безудержную стремительность...”<sup>6</sup> Этот вихрь порождает ответную волну. “Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. <...> Опомнившись, — продолжает Бениславская, — я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило меня”<sup>7</sup>. А он стоит, “слабо улыбаясь”, пожимает “протянутые к нему руки, сам взволнованный поднятой им бурей” (С. Спасский)<sup>8</sup>.

Но не только этим буйством покорял аудиторию Есенин. Он привлекал слушателей еще и нежностью, особенно трогательной на фоне “безудержной стихии”. Ведь после сильных поэтических жестов так подкупали нарочито наивные строки, с их “лелеющей душу гуманностью”<sup>9</sup>. Обезоруживающе открытые, не защищенные метафорой, эти строки вырываются у поэта словно невольно, словно он не в силах совладать со спазмом стиха, с рыданиями эмфатических повторов: “Звери, звери, придите ко мне...” (“Кобыльи корабли”), “Милый, милый,

1 См., например, воспоминания Н. Александровой (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 419).

2 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 28.

3 Сахаров А. М. Обрывки памяти // Знамя. 1996. № 8. С. 169.

4 “...Полторы недели прошли под гипнозом его стихов” (Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 20).

5 Там же. С. 22.

6 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 19.

7 Там же.

8 Там же. С. 201.

9 Слова В. Боткина о Пушкине (“Общий колорит его — внутренняя красота человека и лелеющая душу гуманность”, цит. по: Боткин В. П. Литературная критика. Публицистика. Письма. М., 1984. С. 243).





Галина Бениславская. 1920-е

Пастернак, стоявший поблизости и бешено хлопавший” (С. Спасский)<sup>2</sup>.

Но те, кто вполне доверял есенинскому гуманному жесту, могли быть им жестоко обмануты. Вот в “Исповеди хулигана” (1920) поэт убаюкивает слушателя тихим ладом откровенной беседы и ласковыми повторами:

*Я все такой же.  
Сердцем я все такой же.  
Как васильки во ржи, цветут в лице глаза.  
Стеля стихов злаченные рогожи,  
Мне хочется вам нежное сказать.*

И поначалу действительно звучат нежные слова — как-то особенно по-детски, незащищенно: “Спокойной ночи! / Всем вам спокойной ночи!” И вдруг — когда слушатель менее всего ее ждал — следует дерзкая, хулиганская выходка:

смешной дуралей, / Но куда он, куда он гонится?” (“Сорокоуст”), “Я люблю родину. / Я очень люблю родину” (“Исповедь хулигана”). Такие стихи заставляли сжиматься сердца и вызывали симптомы, которые английский поэт А. Хаусмен приписывал воздействию настоящей поэзии, — мурашки по спине, увлажнение глаз, горловое сокращение. Что до финала “Пугачева”, с его “хватающей заразительностью”<sup>1</sup>:

*А казалось... казалось еще вчера...  
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие... —*

то он мог растрогать до слез даже далеких от Есенина литераторов: “Да это же здорово!” — выкрикнул

1 Слова Д. Святополка-Мирского (Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 64).

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 201.

*Мне сегодня хочется очень  
Из окошка луну обоссать.*

К этим скандальным строкам будет нелишним привести три комментария, два стихотворных и один прозаический. Первый принадлежит В. Маяковскому (“Сергею Есенину”): “Вы ж / такое / погибать умели, / что другой / на свете / не умел”<sup>1</sup>; “Встать бы здесь / гремящим скандалистом: / — Не позволю мямить стих и мять! — / Оглушить бы / их / трехпалым свистом / в бабушку / и в бога душу мать!”

Второй — Дону Аминадо:

*Осточертели эти самые самородки  
От сохи, от земли, от земледелия,  
Довольно этой косоворотки и водки  
И стихов с похмелия!  
В сущности, не так уж много  
Требуется, чтобы стать поэтами:  
— Запустить в Господа Бога  
Тяжелыми предметами.  
Расшвырять, сообразно со вкусами,  
Письменные принадлежности,  
Тряхнуть кудрями русыми  
И зарыдать от нежности.  
Не оттого, говорит, я хулиганю,  
Что я оболтус огромный,  
А оттого, говорит, я хулиганю,  
Что я такой черноземный.  
У меня, говорит, в каждом нерве  
И сказуемые, и подлежащие,  
А вы, говорит, все — черви  
Самые настоящие!*

И наконец, третий — В. Хлебникову; на листе с есенинским посвящением А. Крученых, рядом с озорными строками из “Исповеди хулигана”, Председатель Земного Шара оставил примечательную запись: “Полетев-

<sup>1</sup> По мнению С. Шумихина, Маяковский в том числе указывал на редкое умение Есенина ругаться малым и большим матерным “загибом” (см. ниже).

ший из Рязанских полей (по-) в Питер ангелочек делается типом Ломброзо и говорит о себе “я хулиган”<sup>1</sup>.

Во всех этих источниках есть указания на эволюцию есенинских скандалов.

В строках Маяковского это указание скрытое, и автор дает необходимые пояснения в статье “Как делать стихи”. Прежде всего он совершенно справедливо выводит поэтическое хулиганство Есенина из своей собственной практики: это “отголосок, боковая линия знаменитых футуристических выступлений”<sup>2</sup>. Действительно, именно кощунственные и похабные “выступления” Маяковского в 1913–1915 годах (“недоучка, крохотный божик”; “Крылатые прохвосты! / Жмитесь в раю!”; “Я лучше в баре блядям буду / подавать ананасную воду”) положили начало своеобразному поэтическому состязанию — кто скажет резче, смелее, неприличнее. С этим-то состязанием Маяковский и связывает логику есенинского творчества — намеком в стихотворении “Сергею Есенину” (ведь именно “загиб” противопоставлен здесь “смерти мелу”) и прямо — в “Как делать стихи”: “...Литературное продвижение Есенина шло по линии так называемого литературного скандала. <...> скандалы были при жизни литературными вехами, этапами Есенина”<sup>3</sup>.

О “вехах”, “этапах” пишет и Дон Аминадо: сначала (в 1917 — 1918 годы) есенинские скандалы принимали форму кощунственного бунта (“...Запустить в Господа Бога / Тяжелыми предметами”), а затем — имажинистского немотивированного озорства, эпатажа ради эпатажа (“Расшвырять, сообразно со вкусами, / Письменные принадлежности...”). После Мариенгофа, с его стихами о Боге и Богоматери, гнуснее которых, по словам И. Бунина, “не было на земле никогда”:

*Твердь, твердь за вихры зыбим,  
Святость хлещем свистящей нагайкой  
И хилое тело Христа на дыбе  
Вздыбливаем в Чрезвычайке.*

*Что же, что же, прощай нам, грешным,  
Спасай, как на Голгофе разбойника, —  
Кровь твою, кровь бешено  
Выплескиваем, как воду из рукомойника.*

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 112.

2 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 111.

3 Там же.

*Кричу: “Мария, Мария, кого вынашивала! —  
Пыль бы у ног твоих целовал за аборт!..”  
Зато теперь: на распеленутой земле нашей  
Только Я — человек горд, —*

кидание “тяжелых предметов” в этом направлении потеряло для Есенина всякий смысл; дальше уже все равно не метнешь. Из сильных поэтических средств оставались лексика телесного низа и площадная брань — в их использовании имажинисты отчаянно старались “перескочить и переплюнуть”<sup>1</sup> современников, а заодно и друг друга. Вот Шершеневич, казалось бы, опускает планку травестийной метафоры до рекордно низкой отметки: “Со свистком полицейским, как с соской, / Обмочившись, осень лежит” (“Принцип поэтической грамматики”, 1918); “Незастегнутый рот, как штанов прорешка...” (“Эстетические стансы”, 1919), “Но гоноккок соловьиный не вылечен / В лунной и мутной моче” (“Лирическая конструкция”, 1919), “Каменное влагалище улиц утром сочится” (“Песня песней”, 1920); а вот его рекорд повторяет Мариенгоф: “...Дúшу, / Дúшу раздирают, как матку / Жеребец кобылице...” (“Магдалина”). Но по сравнению с “подвигами” Есенина имажинистская игра с “нечистыми” образами кажется невинной забавой.

По словам И. Сельвинского, есенинская “муза наряду с благоуханными цветowymi словами обладала едва ли не самым охальным лексиконом во всей мировой поэзии, имея соперника, пожалуй, только во Франсуа Вийоне. Во всяком случае, далеко не все строки можно разрешить себе процитировать не только печатно, но и устно”<sup>2</sup>. Однако поражает у Есенина даже не столько “непечатность” крепких выражений, сколько их внезапность и немотивированная агрессивность. Взять хотя бы “Сорокоуст” (1920). Поэма начинается в трагически-исповедальном тоне, и кажется, что лирический герой объединяет себя с читателем (слушателем) в местоимении “нам”, доверительно обращаясь к нему с тревожными повторами; даже сниженная метафора третьей строки не предвещает скандала:

*Трубит, трубит погибельный рог!  
Как же быть, как же быть теперь нам  
На измызганных ляжках дорог?*

1 Слова Ю. Анненкова (Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 111).

2 О Есенине... С. 538.

Тем сильнее шокируют следующие строки, как будто брошенные читателю (слушателю) в лицо:

*Вы, любители песенных блох,  
Не хотите ль пососать у мерина?*

Конечно, не Есенин ввел обычай третировать публику: футуристические “Вам!” и “Нате!” в свое время заложили эту традицию, а имажинистский “Принцип басни” (1919) уже вроде бы довел ее до предела. Более того, слова о “блохах” и “мерине” вполне могли восприниматься как аллюзия на это стихотворение Шершеневича (“мерина вовлекаешь в содомию” — иронически подзадоривал тот своего соратника-конкурента<sup>1</sup>); там тоже скандальной оказывается “лошадиная терминология”<sup>2</sup>:

*И чу! Воробьев канитель и полет  
Чириканьем в воздухе машется,  
И клювами роют теплый помет,  
Чтобы зернышки vybrать из кашицы.*

*И старый угрюмо учил молодежь:  
“Эх! Пошла нынче пища не та еще!”  
А рысак равнодушно глядел на галдеж,  
Над кругляшками вырастающий.*

*Эй, люди! Двуногие воробьи,  
Что несутся с чириканьем, с плачами,  
Чтоб порыться в строках моих о любви,  
Как глядеть мне на вас по-иному?*

*Я стою у подъезда придущих веков,  
Седока жду с отчаяньем нищего  
И трубою свой хвост задираю легко,  
Чтоб покорно слетались на пищу вы!*

1 Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 450.

2 Ср. рассуждение С. Григорьева: “...Говоря об имажинистах, все время я вращаюсь в области лошадиной терминологии. Лошадь в поэзии имажинистов — то же священное животное, что крокодил в Египте. <...> Есенина Маяковский едко прозвал “кобылофилом”” (Григорьев С. Пророки и предтечи последнего завета: Имажинисты Есенин, Кусиков, Мариенгоф. М., 1921. С. 34).

Однако до Есенина грубость в отношении к аудитории хоть как-то обосновывалась риторически и логически (борьбой против мещанства, пошлости, потребительского отношения к поэзии). Не то в “Сорокоусте”: здесь поэт начинает браниться с ходу, без видимого повода — и сразу оглушает самым крутым “загибом” (не хуже, чем “в бабушку и в бога душу мать”). В первых строфах поэмы есть что-то истерическое: словно с каждой строкой растет раздражение лирического героя, словно он нарочно все больше “приводит себя в сердце”, с опережением реагируя на возмущение публики. Не нравится “ляжки дорог”? Получите “мерина”! Ошарашены? А вот вам еще:

*Полно кротостью мордищ праздниться!  
Любо ль, не любо ль, знай бери.  
Хорошо, когда сумерки дразнятся  
И всыпают вам в толстые задницы  
Окровавленный веник зари.*

Третья строфа даже оскорбительнее предыдущей; ругательные метафоры доведены здесь уже до полной изошренности, до обиднейшей двусмысленности — слишком озорной (не поставлен ли знак равенства между “мордищами” и “задницами” персонифицированной публики?), слишком дикой (нет ли obscenного намека в императиве “знай бери?”), слишком злобной (не грозит ли поэт публике, помимо метафорической “бани”, еще и настоящими, неметафорическими побоями?). Хулиганство Есенина, таким образом, выламывалось из практики тогдашнего литературного эпатажа: оно было до того “подлинным”, до того “черноземным”, что прямо ассоциировалось с хроникой происшествий и милицейским протоколом.

На этот вектор в эволюции “рязанского озорника”, возможно, как раз и указал в своей записи В. Хлебников. Конечно, его схема, обозначающая крайние точки в есенинской игре масками — от “ангелочка” в прошлом к “типу Ломброзо” в будущем, — прежде всего иронична. Ведь отсылка к идее Ч. Ломброзо (о врожденной предрасположенности людей определенного типа к преступлению) скрыто пародирует признания лирического героя “хулиганского” цикла (“Только сам я разбойник и вор / И по крови степной конокрад”; “Если не был бы я поэтом, / То, наверно, был мошенник и вор”); так литературная игра Есенина лукаво соотносена с криминальной психологией. Но иронией здесь дело явно не ограничивается:



запись Хлебникова может быть прочитана как предупреждение со зловещим намеком на труд Ломброзо “Гениальность и помешательство”: игра с маской хулигана опасна, чревата срывом в “нравственное помешательство”<sup>1</sup> или даже в душевную болезнь.

Неудивительно, что во время выступлений Есенина аудитория отвечала на его “поэтические эксцессы” и “скабрзности стиха”<sup>2</sup> как на личное оскорбление — тем более что он еще и дразнил ее, произнося “все мало-поэтичные слова, словно нарочно, грубо и обнаженно”<sup>3</sup>. Первое выступление Есенина с “Сорокоустом” состоялось на “Суде над современной поэзией” в Политехническом музее в ноябре 1920 года — и, конечно, разразился скандал.

“...Выступает Есенин, — свидетельствует Шершеневич в своем “Великолепном очевидце”. — Читает поэму. В первой же строфе слово “задница” и предложение “пососать у мерина” вызывает у публики совершенно недвусмысленное намерение не дать Есенину читать дальше.

Свист напоминает тропическую бурю. Аудитория подбегает к кафедре. Мелькают кулаки. <...> Кусиков вскакивает рядом с Есениным и делает вид, что достает из кармана револьвер”<sup>4</sup>.

Мемуаристы не могут припомнить другой такой бури: “...невероятный шум, свист, топот...” (М. Свирская)<sup>5</sup>; “...крики “Довольно!” <...> Шум растет” (И. Розанов)<sup>6</sup>. Вмешиваются громогласный Шершеневич, затем Брюсов, и Есенин начинает читать свою поэму заново. “Но как только он опять доходит до мужицких слов... — пишет И. Розанов, — поднимается рев еще больше, чем раньше, топот ног. “Это безобразие!”, “Сами вы хулиганы — что вы понимаете!” и т. д.”. Опять вмешивается Шершеневич; “Есенина берут несколько человек и ставят его на стол. И вот он в третий раз читает свои стихи <...> но даже в передних рядах ничего не слышно: такой стоит невообразимый шум”<sup>7</sup>.

А что же Есенин? Его прерывали — он, по словам В. Шершеневича, невозмутимо улыбался<sup>8</sup>. Ему свистели — он свистел в ответ (Мариенгоф: “На свист Политехнического зала он вкладывал два пальца в рот и отвечал таким пронзительным свистом, от которого смолкала тысячеголовая бес-

1 Понятие, введенное в 1830-е годы психиатром Дж.-К. Причардом и переосмысленное Ч. Ломброзо в его “Криминальной антропологии” (1890).

2 Выражения из дневника Т. Мачтета (Летопись... Т. 3. С. 70).

3 По словам Е. Макеевой. См.: Летопись... Т. 3. С. 118.

4 Мой век... С. 461.

5 Минувшее: Исторический альманах. Вып. 7. М., 1992. С. 55.

6 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 435.

7 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 435.

8 См.: Мой век... С. 461.

нующаяся орава”<sup>1</sup>). В него кинули мороженым яблоком — “он поймал его, откусил кусок, стал есть. Слушатели стали затихать, а он ел и приговаривал: “Рязань! Моя Рязань!””<sup>2</sup> “Аплодисменты или свист — неважно, но делайте что-то” — Есенин как будто подслушал эти слова лидера англо-американских имажистов Э. Лоуэлл<sup>3</sup>, обращенные к публике.

Слушатели негодуют? Значит, не зря автор “Сорокоуста” “дразнил гусей”<sup>4</sup>, значит, цель достигнута: “разговоров будет лет на пять”<sup>5</sup>. В беседе с Н. Полетаевым “рязанский озорник”<sup>6</sup> однажды признался, что его “выверты” — это прежде всего реклама, необходимая “поэту, как и солидной торговой фирме, и что скандальить совсем не так уж плохо, что это обращает внимание дуры-публики”<sup>7</sup>.

Но одного только “литературного бесчинства”<sup>8</sup> Есенину было мало: “безобразия” в стихах он подкреплял хулиганскими поступками, чтобы затем поступки вновь отразить в стихах.

“Есенин взял в один веник свои поэтические прутья и прутья быта, — рассуждает Мариенгоф. — Он говорил:

— Такая метла здоровше.

И расчищал ею путь к славе.

Я не знаю, что чаще Есенин претворял: жизнь в стихи или стихи в жизнь.



Сергей Есенин. Париж. 1922

1 Там же. С. 336.

2 Ройzman М. Все, что помню о Есенине. С. 257.

3 См.: Свердлов М. Имажизм // Энциклопедический словарь английской литературы XX века. М., 2005. С. 176.

4 См. у А. Мариенгофа: “Гусей подразнить”, — пояснял Есенин” (Мой век... С. 106).

5 Мой век... С. 118.

6 См. дарственную надпись Есенина Я. Блюмкину: “Тов. Блюмкину с приязнью на веселый воспомин рязанского озорника” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 133).

7 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 298.

8 Слова В. Ирецкого (цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 589).



Сергей Есенин и Александр Кожебаткин  
1919 (?)

Маска для него становилась лицом, а лицо маской”<sup>1</sup>.

Есенинские скандалы имели свою логику. Прежде всего, как раз в соответствии с ожиданиями публики, следовал сдвиг — от брани в стихах к брани вместо стихов. Об одном таком случае, произошедшем в кафе поэтов “Домино” в январе 1920 года, вспоминает Н. Полетаев:

Объявляют Есенина. Он выходит в меховой куртке, без шапки. Обычно улыбается, но вдруг неожиданно бледнеет, как-то отодвигается спиной к эстраде и говорит:

— Вы думаете, что я вышел читать вам стихи? Нет, я вышел затем, чтобы послать вас к...! Спекулянты и шарлатаны!..

Публика повскакала с мест. Кричали, стучали, налезали на поэта, звонили по телефону, вызывали “че-

ку”. Нас задержали до трех ночи для проверки документов. Есенин, все так же улыбаясь, веселый и взволнованный, притворно возмущался, отчаянно размахивал руками, стискивая кулаки и наклоня голову “бычком” (поза дерущегося деревенского парня), странно, как-то по-ребячески морщил брови и оттопыривал красные, сочные и красивые губы. Он был доволен”<sup>2</sup>.

Как видим, есенинские выходки были весьма сценичны. Что до знаменитых “загибов” “скандального пиита”, то, как свидетельствуют современники, они порой не ограничивались обычным “в бога, в кобылу, в душу”<sup>3</sup>, а разворачивались в целую “риторику”. “Дальше начинался матерный период, — так Ю. Анненков описывает бранное мастерство своего собутыльника. — Virtuозной скороговоркой Есенин выругивал без запинок “Ма-

1 Мой век... С. 343.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 297–298.

3 Из главки “Матерщинник” в “Праве на песнь” В. Эрлиха (*Эрлих В. Право на песнь*. С. 22).

лый матерный загиб” Петра Великого (37 слов), с его диковинным “ежом косматым, против шерсти волосатым”, и “Большой загиб”, состоящий из двухсот шестидесяти слов. Малый загиб я, кажется, могу еще восстановить. Большой загиб, кроме Есенина, знал только мой друг, “советский граф” и специалист по Петру Великому, Алексей Толстой<sup>1</sup>.

Возникает впечатление, что некоторые из поступков Есенина являются реализованными цитатами из Достоевского. Обратим внимание на рассказ И. Старцева об известном случае с иконкой (8 октября 1919 года): “Помню одну маленькую подробность... именин (Есенина. — О. Л., М. С.), которая много тогда же и впоследствии смешила Сергея Александровича. Когда ставили на кухне самовар — не оказалось углей и поджиги. Предполагавшийся чай с именинным пирогом расстраивался. Узнав об этом, Есенин вдруг сорвался с места в коридор и принес с веселым видом икону какого-то святого, похищенную им у хозяйки. Расколол ее на мелкие щепки и начал разжигать самовар. Один из гостей (Колобов. — О. Л., М. С.) в паническом ужасе перед кощунством наотрез отказался пить приготовленный на “святом угоднике” чай. Именинник в ту пору был в золотых курчавых волосах, светел лицом, синеват глазами, с очаровательной, светившейся изнутри улыбкой”<sup>2</sup>.

В этом есенинском жесте можно “прочитать” не только действенное воплощение в быт метафор из “Инонии” (своего рода контаминацию строк “Даже Богу я выщиплю бороду / Оскалом моих зубов” и “Языком вылижу на иконах я / Лики мучеников и святых”), но и разыгрывание на новый лад сцены из “Подростка” Достоевского: “Вдруг он (Версолов. — О. Л., М. С.), с последним словом своим, стремительно вскочил, мгновенно выхватил образ из рук Татьяны и, свирепо размахнувшись, из всех сил ударил его об угол изразцовой печки. Образ раскололся ровно на два куска...”<sup>3</sup>. Пусть тогда, в день именин, этот ритуал остался лишь пробой или репетицией, но уже через три года Есенин будет не прочь раздуть из бытового случая публичный скандал<sup>4</sup>.

1 Анненков Ю. Дневник моих встреч. Т. 1. С. 157.

2 Есенин глазами женщин... С. 468.

3 Замечено С. Шумихиным (С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 10–11).

4 Хотя редакция “Новой русской книги” (Берлин) и выбросила соответствующее место из есенинской “Автобиографии” (1922), тем не менее случай с иконой стал широко известен благодаря статьям И. Василевского (“Накануне”) и А. Ветлугина (“Литературное приложение” к “Накануне”). Любопытно, что в сообщении последнего об этих выпущенных из “Автобиографии” строках тоже не обходится без отсылки к Достоевскому: “...в городе Москве, в день именин приятеля, не оказалось щепок для растопки самовара, и пришлось изрубить две иконы. Гость — человек городской и атеист — не вместил в себя изготовленного таким образом чая; Есенин — “монах и Алеша Карамзов” — похлебывал стакан за стаканом и скромными тихими глазами омута недоуменно созерцал растерянность гостя...” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 380).

При другом представлении (кафе “Домино”, январь или февраль 1919 года) зрители уже присутствовали.

“Читал Рюрик Ивнев певучим тоненьким тихим голоском, — так Мариенгоф описывает эту сцену. — А одновременно с ним человек с лицом, как швейцарский сыр, говорил какие-то пустые фразы своей рыжей даме. Он говорил гораздо громче, чем читал стихи наш женственный друг.

Есенин крикнул:

— Эй... вы... решето в шубе... потише!

Рыжая зарделась. <...>

А решето в шубе, даже не скосив глаз в сторону Есенина, продолжало хрипло басить свою муру.

— Вот сволочь! — прошептал со злобой Есенин.

— Скажи, Сережа, швейцару, чтобы он его выставил, — посоветовал я. — В три шеи выставил.

— А я и без швейцара обойдусь, — ответил Есенин.

И, подойдя к столику “недорезанных”, он со словами “Милости прошу со мной!” — взял получеловека за толстый в дырочках нос и, цепко держа его в двух пальцах, неторопливо повел к выходу через весь зал. При этом говорил по-рязански:

— Пордон... пордон... пордон, товарищи.

Посетители замерли от восторга.

Швейцар шикарно распахнул дверь.

Рыжая “в котиках” истерически визжала:

— А!.. А!.. А!.. А!..

После этого веселого случая дела в кафе пошли еще лучше: от “недорезанных буржуев” просто отбоя не было. Каждый, вероятно, про себя мечтал: а вдруг и он прославится — и его Есенин за нос выведет”<sup>1</sup>.

Возможно, вспоминая как раз этот случай, Т. Мачтет в феврале 1919 года в своем дневнике называет Есенина Ставрогиным — слишком напоминает есенинская расправа с “недорезанным” эпизод из “Бесов”: “Таганов, человек пожилой и даже заслуженный, взял невинную привычку ко всякому слову с азартом приговаривать: “Нет, меня не проведут за нос!..” Однажды в клубе, когда он по какому-то горячему поводу проговорил этот афоризм, Николай Всеволодович (Ставрогин. — О. Л., М. С.), стоявши в стороне один <...> вдруг подошел к Петру Павловичу, неожиданно, но крепко ухватил его за нос двумя пальцами и успел протянуть за собою по залу два-три шага...”

1 Мой век... С. 130–131.

Что в есенинском быту чаще всего является поводом для драки? Конечно литература. В литературном споре нередко вместо очередного аргумента следовало оскорбление или прямая угроза. Допустим, Есенину не понравился Шекспир (во время чтения шекспировского монолога “со стола Есенина слышны возгласы: “Старо. Слабо. Довольно””); как он возражает тем, кто так не считает?

“Взбешенный Есенин, покачиваясь, подходит к нашему столу, — рассказывает А. Сахаров, — и, подняв кулаки, шипит мне в лицо:

— Замолчи, или я тебе сейчас морду разобью”<sup>1</sup>.

В другой раз (кафе “Домино”, февраль 1919 года), когда, в свою очередь, кому-то показались “слабыми” и “непонятными” “Магдалина” Мариенгофа и манифест имажинистов, Есенин прибег к еще более сильному доводу:

Он “воздел руки кверху, потом протянул вперед и со злым выражением на лице и нехорошим огоньком в глазах сказал этому гражданину:

— А вот если я вашу жену здесь, на этом столе, при всей публике — это будет понятно?”<sup>2</sup>

Для Есенина уподобление литературной борьбы драке — не совсем метафора, а порой и совсем не метафора. Пример — история с И. Соколовым, получившая весьма широкий резонанс. Еще за год до этого скандала (в июле 1919 года) Е. Ланкина писала профессору П. Сакулину о столкновении имажинистов с экспрессионистами: “Споры переходили все время на личную почву — так <...> И. Соколова Есенин прямо назвал бездарностью: “Нет, господа, вы послушайте меня, а не эту бездарность, которая говорить-то даже не умеет!” Словом, я думала, что произойдет прямо свалка. Один выступает, другой его с ног сшибает — поэты XX века!..”<sup>3</sup> Что ж, корреспондентка Сакулина как в воду глядела — дело таки дошло до “свалки” и почти дошло до сбивания “с ног”:

Выступая против Есенина (в мае 1920 года, кафе “Домино”. — О. Л., М. С.), Соколов сказал что-то довольно безобидное, но такое, что задело вспылчивого и очень болезненно реагировавшего на замечания о его стихах Сережу.

Не дав Соколову договорить, Есенин молодцевато выскочил на эстраду и громко заявил:

— Сейчас вы услышите мой ответ Ипполиту Соколову!

1 Сахаров А. М. Обрывки памяти... С. 170.

2 Сахаров А. М. Обрывки памяти... С. 170–171.

3 Сергей Есенин в стихах и жизни... С. 319.



И, неожиданно развернувшись, дал оппоненту по физиономии.

Соколов замер от неожиданности. Аудитория загудела. <...> Когда все кончилось, Есенин снова вышел и заявил под дружный смех:

— Вы думаете, я обидел Соколова? Ничуть! Теперь он войдет в русскую поэзию навсегда!

Есенин оказался прав: все позабыли стихи Ипполита Соколова, но многие помнят эту пощечину (В. Шершеневич)<sup>1</sup>.

Вскоре, кажется, свою выгоду оценил и сам Соколов: “На другой день некоторые поэты утешали оскорбленного теоретика тем, что в этом при- скорбном случае есть своя положительная сторона: как-никак пощечину получил не от кого-нибудь, а от самого Сергея Есенина — реклама! Кроме того, он, теоретик, пострадал за истину, как до него страдали многие великие люди, — опять реклама! Затем, произошло это в публичном месте, при большом стечении народа — еще раз реклама! Оскорбленный поэт все эти доводы принял всерьез” (Г. Окский)<sup>1</sup>.

На деле Есенин охотно провоцировал публику и задирали оппонентов, в стихах же изображал себя жертвой. Свое хулиганство (поэтическое ли, бытовое — неразлично) “рязанский озорник” мотивировал грубостью и равнодушием толпы (точно по Дону Аминадо: “...а вы, говорит, все — черви / Самые настоящие!”). Так, согласно “Исповеди хулигана”, выходит, что поэт не нападает на окружающих, а, напротив, мученически претерпевает их брань — ради них же самих (чтобы, подобно библейскому пророку, принести им свет):

*Я нарочно иду нечесаным,  
С головой, как керосиновая лампа, на плечах.  
Ваших душ безлиственную осень  
Мне нравится в потемках освещать.  
Мне нравится, когда камня брани  
Летят в меня, как град рыгающей грозы.  
Я только крепче жму тогда руками  
Моих волос качнувшийся пузырь.*

За одной лермонтовской аллюзией (“Пророк”: “В меня все ближние мои / Бросали бешено камня”) следует другая, еще эффектнее бьющая на жалость; на фоне “Как часто, пестрою толпою окружен...”:

<sup>1</sup> Мой век... С. 585.

*И вижу я себя ребенком; и кругом  
Родные все места: высокий барский  
дом  
И сад с разрушенной теплицей;*

*Зеленой сетью трав подернут  
спящий пруд,  
А за прудом село дымится —  
и встают  
Вдали туманы над полями, —*



А. Мариенгоф, С. Есенин, А. Кусиков  
и В. Шершеневич. Москва. 1919

особенно трогает и убеждает крестьянская элегичность “Исповеди хулигана”:

*Так хорошо тогда мне вспоминать  
Заросший пруд и хриплый звон ольхи,  
Что где-то у меня живут отец и мать,  
Которым наплевать на все мои стихи,  
Которым дорог я, как поле и как плоть,  
Как дождик, что весной взрывается зелена.  
Они бы вилами пришли вас заколоть  
За каждый крик ваш, брошенный в меня.*

Мало того, что мысленное возвращение к деревенскому прошлому дает дополнительную мотивировку скандалам (на это опять-таки с проницательным остроумием указал Дон Аминадо: “А оттого, говорит, я хулиганю, / что я такой черноземный”). Оно к тому же призвано усилить у читателей и слушателей чувство вины по отношению к не понятому ими поэту. При этом его позиция остается крайне двусмысленной, как, например, в стихотворении “Все живое особой метой...”:

*Как тогда, я отважный и гордый,  
Только новью мой брызжет шаг...  
Если раньше мне били в морду,  
То теперь вся в крови душа.*

1 Летопись... Т. 2. С. 358.

*И уже говорю я не маме,  
А в чужой и хохочущий сброд:  
“Ничего! Я споткнулся о камень,  
Это к завтраму все заживет”, —*

в котором оскорбительные инвективы в адрес публики (“сброд”) не мешают “забияке и сорванцу” рассчитывать на ее сочувствие.

И что же? При всем непочтительном отношении к ближним и дальним поэт-хулиган все-таки добивается своего, более того — обретает над ними немалую власть. Секрет есенинского воздействия на собеседников, слушателей, читателей — в рискованной игре контрастами, доведенной им до полного совершенства. В быту — после очередной выходки никто, как Есенин, не умел “отмыкать души”<sup>1</sup> “широтой и всеобъемлемостью” своей улыбки, обезоруживать “обаятельной гримасой”, “ласковостью”, лучащейся “вокруг глаз”, усмехающихся, жалующихся, извиняющихся<sup>2</sup>. Похожий прием он использует в стихах: для читателей и слушателей, только что шокированных “особо зловонными и бесчинными”<sup>3</sup> пассажами, поэт припадает свои самые трогательные строки — о жеребенке (в “Сорокоусте”), о детстве — “Я нежно болен воспоминаньем детства...” (в “Исповеди хулигана”). Так две личины (“шармера” и “скандалиста”) сливаются в одну — “нежного хулигана”, “одновременно милого и жестокого, великодушного и циничного”<sup>4</sup>. Этот двойной, мерцающий образ был канонизирован Есениным в знаменитом стихотворении “Мне осталась одна забава...” (1923):

*Золотые, далекие дали!  
Все сжигает житейская мрень.  
И похабничал я и скандалил  
Для того, чтобы ярче гореть.*

*Дар поэта — ласкать и карябать,  
Роковая на нем печать.  
Розу белую с черною жабой  
Я хотел на земле повенчать.*

1 Слова Р. Ивнева о Есенине: “...необыкновенная улыбка, отмыкавшая самые суровые души” (Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 34).

2 Ацев Н. Сергей Есенин // Ацев Н. Родословная поэзии: Статьи. Воспоминания. Письма. М., 1990. С. 183.

3 См. злобное высказывание А. Крученых: “Есенинское ковырянье в навозе и раскопки в помойных ямах неизменно выращивают цинизм и вкус ко всему особо зловонному и бесчинному” (Крученых Л. Хулиган Есенин. М., 1926. С. 25).

4 McVay G. Esenin: A Life. L., 1976. P. 118.

*Пусть не сладились, пусть не сбылись  
Эти помыслы розовых дней.  
Но коль черти в душе гнездились —  
Значит, ангелы жили в ней.*

Поистине, Есенин обладал даром внушения; в дальнейшем словно эхо строк о розе и жабе прокатилось по критическим статьям, мемуарам и поминальным стихам: поэта называли “благочестивым русским хулиганом” (И. Северянин)<sup>1</sup>, писали, что “он сумел сочетать песнь хрустальной чистоты с кабацкой скверной” (И. Березарк)<sup>2</sup>; что за его “дерзким жестом и грубым словом” “трепетала совсем особая нежность неогражденной, незащищенной души” (Л. Троцкий)<sup>3</sup>.

Но душа Есенина-имажиниста менее всего была “незащищенной”. Напротив, поэт для того и пользовался этим своим рецептом — “ласкать и карябать”, всаживать в “ладони читательского восприятия занозу образа” (А. Мариенгоф)<sup>4</sup>, а затем смазывать рану, — чтобы сделать читателя беззащитным против его чар. В поэте, по словам Р. Ивнева, “билось жадное, ненасытное стремление победить всех своими стихами, покорить, смять”<sup>5</sup>, — вот для чего он бил по нервам публики самыми сильными средствами. Насколько эффективно действовала эта артиллерия, можно судить хотя бы по воспоминаниям А. Жарова:

Вызывающе прозвучало начало “Исповеди <хулигана>”, особенно “Мне нравится, когда камения брани летят в меня, как град рыгающей грозы”. Эти строки Есенин не прочитал, а сердито проскрежетал. И вдруг перешел на примирительно задушевный тон, снявший настороженность публики.

Нежно, мягко, вкрадчиво полились слова как бы интимного признания <...> воцарилось глубокое умиление, вызванное образами воспоминаний крестьянского детства. <...> зал слушал Есенина с доверчиво-затаенным вниманием, ожидая <...> “нежное”. Но... дождался от поэта строк о желании помочиться на луну.

Этого слушатели вытерпеть не могли. Скандал! Минут пять, вероятно, шум и протестующие возгласы не давали Есенину завершить чтение.

1 Из стихотворения “Есенин” (1934).

2 Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина: Сборник статей, воспоминаний и стихотворений / Под общей ред. П. Кофанова. Ростов-на-Дону, 1926. С. 13.

3 Троцкий Л. Памяти Сергея Есенина // Правда. 1926. 19 января. С. 3.

4 Поэты-имажинисты. С. 34.

5 Ивнев Р. Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 10.

Но Есенин стоял, невозмутимо взирая на протестующих своими трогательными “васильками”, потом он склонил золотокудрую голову, как бы признаваясь виновным. И дочитал “Исповедь”. От вспышки законного негодования в зале не осталось и следа. Победил талант поэта. Восторжествовала любовь к нему<sup>1</sup>.

Есенин постоянно испытывал свою власть над аудиторией, то провоцируя, то очаровывая ее, — чтобы лишний раз почувствовать себя “хозяйном в русской поэзии”<sup>2</sup>. Один из таких есенинских экспериментов описывает А. Безыменский:

Как только назвали его (Есенина. — О. Л., М. С.) имя, тихий, ласковый, милый Есенин надел шляпу, встал и, вертя перед собой трость, медленно-медленно пошел на авансцену. Естественно, что его встретили шумом и криками: “Нахал!”, “Хулиган!”, “Безобразие!”, “Долой со сцены!”. С разных сторон стали свистеть.

Есенин оглядывал зал, прохаживаясь по сцене, а затем заложил два пальца в рот и так свистнул, что люстры задрожали.

— Все равно меня не пересвистите, — добродушно сказал он, когда ошеломленный зал на секунду затих.

Ему ответили смехом, новыми выкриками. Есенин дождался относительной тишины и столь же добродушно, по-приятельски, сообщил залу:

— Ведь все равно будете мне аплодировать, когда стихи прочту..

Аудитория не успокаивалась.

— Мы еще посмотрим! Нахал! Долой!..

Но публика мигом затихла, когда золотоволосый красавец поэт прочитал первые строки стихов<sup>3</sup>.

Когда поэт закончил читать, “окации были нескончаемыми”.

1 Жаров А. Сергей Есенин // О Есенине... С. 415–416.

2 См. “Предисловие” к “Стихам скандалиста” (Берлин, 1922): “Я чувствую себя хозяином в русской поэзии и потому втаскиваю в поэтическую речь слова всех оттенков, нечистых слов нет. Есть только нечистые представления. Не на мне лежит конфуз от смело произнесенного мной слова, а на читателе или на слушателе. Слова — это граждане. Я их полководец” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 221).

3 Безыменский А. Страница воспоминаний // О Есенине... С. 382.

**6** Выбор имажинистами их ампула — часть большой игры; ставка же в этой игре — литературная власть. В приключениях Есенина и его друзей, в их сражениях и праздниках всегда присутствовала осознанная цель — завоевание московского и российского Парнаса. Невольно приходит на ум аналогия с известной ленинской формулой политического переворота — “почта, телеграф, мосты, вокзалы”. Имажинисты следовали столь же четкому плану — “кафе, залы, пресса, типографии”.

Реализуя этот план литературной экспансии, имажинисты в отношениях с большевистской властью решили не отказываться ни от рискованных авантур, ни от парадоксальной эквилибристики.

“Поэтическая политика”<sup>1</sup> четырех “образоносцев” отличалась поистине мушкетерской удалью — в их приключениях больше всего удивляло сочетание дразнящей смелости с ловкостью расчета. Превзойдя девиз д’Артаньяна: “Не покоряться никому, кроме короля, кардинала и господина де Тревиля”, имажинисты, при всей видимой невозможности подобной установки, вообще не собирались никому покоряться.

Гроссмейстеры “ордена” не уставали подчеркивать свою независимость от большевистской опеки, более того — отчаянно фрондировали. Неслучайно Мариенгоф призывал своих соратников “аннулировать” содержание<sup>2</sup> и повести “флот образов” не под красным флагом, а под пиратским “черным вымпелом” (цикл “Друзья”):

*Под мариеенгофовским черным вымпелом  
На северный безгласный полюс  
Флот образов  
Сурово держит курс.*

Октябрьская революция всего лишь давала Есенину и его друзьям материал для метафор — и повод объявить о наступлении своего, “имажинистского Октября”<sup>3</sup>.

“Мы, имажинисты, — пишет Шершеневич на страницах анархистского журнала “Жизнь и творчество русской молодежи” за 1919 год, — <...> не становились на задние лапки перед государством.

1 Выражение Шершеневича (Мой век... С. 577).

2 В статье “Имажинизм” Мариенгоф писал: “Аннулированному нами в поэзии содержанию противопоставляется форма. Пиши о чем хочешь — о революции, фабрике, городе, деревне, любви — это безразлично, но говори современной ритмикой образов” (Летопись... Т. 2. С. 275).

3 Выражение Шершеневича: “В Союзе поэтов произошел “имажинистский Октябрь””, то есть переход власти к имажинистам (Мой век... С. 607).



Государство нас не признает — и слава Богу!

Мы открыто кидаем свой лозунг: *Долой государство! Да здравствует отделение государства от искусства.* <...>

*Да здравствует диктатура имажинизма!*<sup>1</sup>

Через два года в браваре имажинистского Цицерона появятся горечь и надрыв, но он по-прежнему будет стоять на своем. “То, что сейчас происходит, — скажет он на одном из диспутов<sup>2</sup>, — оценивается мною как торжество мирового обывателя. Обывательщина и в нашей “диктатуре пролетариата”, которая, по существу, ничем не отличается от тирании 30-ти в Афинах. <...> с одной стороны Госиздат, с другой — Народный суд, с третьей — Луначарский. Отсюда мне прямая дорога — на Лубянку!”<sup>3</sup>

Оппозиционные выступления Шершеневича вовсе не ограничивались лозунгом отделения искусства от государства. В марте 1922 года он (совместно с М. Ройзманом) выпустил сборник “Мы Чем Каемся”; заглавные буквы в названии на обложке были нарочно выделены так, чтобы они читались аббревиатурой МЧК, с явным намеком на Московскую Чрезвычайную Комиссию. Книга, конечно, не прошла незамеченной. “Первые буквы слов заинтересовали кой-кого, — вспоминал Шершеневич, — и хотя в сборнике не было ничего недозволенного, но книга была конфискована”<sup>4</sup>. Мемуарист по понятным причинам лукавил: то “недозволенное”, на что прозрачно намекала обложка, было расшифровано и развернуто в стихах — прежде всего в “Ангеле катастроф”. Отзываясь на голод в Поволжье 1920–1921 годов и расстрел Гумилева в августе 1921 года<sup>5</sup>, Шершеневич бил имажинистскими метафорами по советской власти:

*Счастлив кажется турок, что на кол  
Был посажен султаном. Сидел  
Бы всю жизнь на колу да охал,  
Но никто никуда бы не гнал.*

*Казначейство звезд и химеры...  
Дурацкий колпак — небосклон,  
И осень стреляет в заборы  
Красною дробью рябин.*

1 Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 375.

2 На обсуждении во Всероссийском союзе писателей своей прозы (“Электрический Арлекин”).

3 Летопись... Т. 3. С. 101.

4 Слова Шершеневича записаны И. Розановым (цит. по: Мой век... С. 628).

5 Об этом см. в комментарии Э. Шнейдермана к стихотворению в кн.: Поэты-имажинисты. С. 481.

*Красный кашель грозы звериной,  
И о Боге мяучит кот.  
Как свечка в постав пред иконой,  
К стенке поставлен поэт.*

*На кладбищах кресты — это вехи  
Заблудившимся в истинах нам.  
Выщипывает рука голодухи  
С подбородка Поволжья село за селом.*

*Все мы стали волосатей и проще  
И все время бредем с похорон.  
Красная роза все чаще  
Цветет у виска россиян.*

*Пчелка свинцовая жалит  
Чаще сегодня, чем встарь.  
Ничего. Жернов сердца все перемелет,  
Если сердце из камня теперь.*

*Шел молиться тебе я, разум,  
Подошел, а уж ты побежден.  
Не хотели ль мы быть паровозом  
Всех народов, племен и стран?*

*Не хотели ль быть локомотивом,  
Чтоб вагоны Париж и Берлин?  
Оступились мы, видно, словом  
Поперхнулись, теперь под уклон.*

Основная тема — тотального разочарования в революции — здесь сплетена из трех лейтмотивов: это и навязчивый красный цвет, обещающий вместо всеобщего счастья всеобщее кровопролитие; и бессмысленная гонка за химерами (не отклик ли это на появившуюся как раз в 1921 году песню “Наш паровоз”: “Наш паровоз, вперед лети, / В коммуне остановка...”?); и непоправимое осквернение веры (“Мы бормочем теперь непотребство, / Возжелав произнести “Отче наш””).

В “Ангеле катастроф” Шершеневича нетрудно обнаружить ряд перекличек с поэмой, задавшей тон имажинистским политическим инвективам, — “Кобыльими кораблями” Есенина (осень 1919):

*Если волк на звезду завыл,  
Значит, небо тучами изглодано.  
Рваные животы кобыл,  
Черные паруса воронов.  
Не просунет когтей лазурь  
Из пургового кашля-смирада;  
Облетает под ржанье бурь  
Черепов златохвойный сад.  
Слышите ль? Слышите звонкий стук?  
Это грабли зари по пущам.  
Веслами отрубленных рук  
Вы гребетесь в страну грядущего.*

Неслучайно стихотворения близки по размеру и принципам рифмовки (расшатанный, с отступлениями, четырехстопный хорей; неточные рифмы у Есенина, рифмы на диссонансах у Шершеневича). Сходство “Ангела катастроф” с “Кобыльими кораблями” не только в том, что одну есенинскую метафору Шершеневич прямо цитирует (“Красный кашель грозы звериной” — “Из пургового кашля-смирада”<sup>1</sup>), а другую переосмысляет (“Выщипывает рука голодухи / С подбородка Поволжья село за селом” — “Облетает под ржанье бурь / Черепов златохвойный сад”). Главное другое: общая тема — страшного, гибельного пути. Кричащие об этом есенинские афористические строки постоянно напоминали о себе со стены имажинистского кафе “Стойло Пегаса”, но они и без того глубоко запечатлелись в сознании современников: “Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну грядущего”.

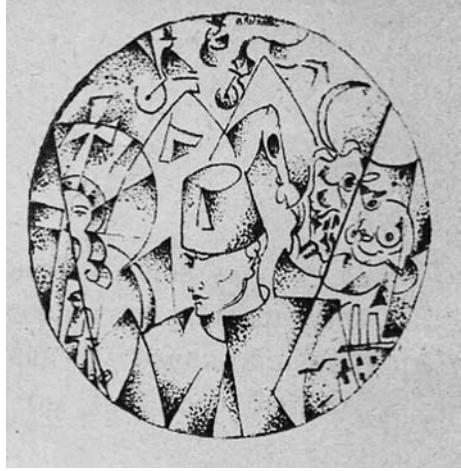
Выступая на различных диспутах в 1920–1921 годы<sup>2</sup>, Есенин высказывался еще резче, чем Шершеневич. “Старые писатели примазывались к властям — сейчас больше примазываются”, “нельзя свободно написать ни одной строки, относящейся к искусству — дай политики”, — с обидой выкрикивал автор “Кобыльих кораблей” после лекции В. Брюсова в сентябре 1920 года<sup>3</sup>. Со слов Скитальца, на одном из таких выступле-

1 Кроме того, явно цитируется Шершеневичем метафора из “Я последний поэт деревни...” (“Как свечка в постав перед иконой, / К стенке поставлен поэт” — “Догорит золотистым пламенем / Из телесного воска свеча”) и “Сорокоуста”: “...осень стреляет в заборы / Красною дробью рябин” — “Головой разmozжась о плетень, / Облилась кровью ягод рябина”; только у Шершеневича “кровавая рябина” означает расстрелы, а у Есенина — самоубийство.

2 Например, в Политехническом музее на диспуте о пролетарской поэзии (январь 1920 года); см.: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 343.

3 Из статьи Е. Бахметева “Валерий Брюсов в современной литературе” (Летопись... Т. 2. С. 396).

ний<sup>1</sup> автор “Кобыльих кораблей” обрушился на пролетарских писателей едва ли не с бранью: “Здесь говорили о литературе с марксистским подходом! — начал он своим звенящим голосом, — никакой другой литературы не допускается!.. Это уже три года! Три года вы пишете вашу марксистскую ерунду! Три года мы молчали! Сколько же еще лет вы будете затыкать нам глотку? И на кой черт и кому нужен марксистский подход? Может быть, завтра же ваш Маркс сдохнет!..”<sup>2</sup>.



Александр Кусиков  
Портрет работы Б. Р. Эрдмана.  
Начало 1920-х

Несколько месяцев спустя, в августе 1921 года, поэт снова будет атаковать пролетарских писателей, теперь в связи со смертью Блока. Вспоминает В. Кириллов:

“В конце вечера (вечера ВАПП памяти Блока. — О. Л., М. С.) в зале появился Есенин. Он был очень возбужден и почему-то закричал:

— Это вы, пролетарские писатели, виноваты в смерти Блока!”<sup>3</sup>

“Почему-то закричал” — почему же? Кого (или что) обвинял Есенин в лице пролетарских писателей? Мотивы есенинского бунта во многом раскрывает его письмо к Е. Лившиц от 11 августа 1920 года: “Мне очень грустно сейчас, что история переживает тяжелую эпоху умерщвления личности как живого. Ведь идет совершенно не тот социализм, о котором я думал, а определенный и нарочитый, как какой-нибудь остров Елены, без славы и без мечтаний. Тесно в нем живому, тесно строящему мост в мир невидимый, ибо рубят и взрывают эти мосты из-под ног грядущих поколений”<sup>4</sup>. Итак, по Есенину, Блока убил социализм (и его строители) — убил своей ограниченностью и скукой, тупым отрицанием “личности” и “мостов в мир невидимый”. Ту же участь, еще до блоковской смерти, Есенин предрекал и себе: “Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист”.

1 Заседание пролетарских писателей в ЛИТО в первой половине 1921 года (см.: Летопись... Т. 2. С. 40).

2 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 169.

3 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 273.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 116.

И все же в этой пикировке с государством имажинисты были подвижны прежде всего не отчаяньем и гневом, а игровым духом и страстью к интригам. “Орден” не боролся с властью, скорее — пародировал ее. Ведя постоянную полемику с пропагандистским государственным аппаратом, “командоры” особенно любили жонглировать его же лозунгами и клише. Имажинистов обвиняли в “деклассированности” — они иронически соглашались: *“Да, нашей заслугой является то, что мы УЖЕ деклассированы. К деклассации естественно стремятся классы и социальные категории. Осознание класса есть только та лестница, по которой поднимаются к следующей фазе победного человечества: к единому классу”*<sup>1</sup>. Их клеймили за аполитичность — они оборонялись софистикой, весело играя словами:

Октябрьская революция освободила рабочих и крестьян. Творческое сознание еще не перешагнуло 61-й год.

Имажинизм борется за отмену крепостного права сознания и чувства<sup>2</sup>.

“Орден” словно в кривом литературном зеркале отражал идеологическое творчество власти. У партии большевиков есть ЦК — свой ЦК появляется и у “рыцарей образа”. Государство выпускает декрет за декретом, воздействует на массы средствами наглядной агитации, переименовывает улицы — имажинисты отвечают на эти действия своими “шутейными” рекламными акциями.

Пусть не все из этих акций вызвали нужный “банде” ажиотаж — это не смущало ее заводил: они и поражения умели превращать в победы. Ни обыватели, ни пресса так и не обратили внимания на трюк с переименованием улиц (ноябрь 1921 года). А ведь какова была идея — и себя показать, и весело посмеяться над топонимическим волюнтаризмом большевиков! И как тщательно была спланирована операция!

“Имажинисты отправляются в магазин, — повествует Шершеневич, — и заказывают нормальные эмалированные дощечки улиц: “Улица Есенина”, “Улица Кусикова”, “Улица Мариенгофа”, “Улица Шершеневича”. На вопрос продавщика: “Кто эти люди и почему в их честь переименовываются улицы?” — мы отвечаем, удовлетворяя любопытство:

— Это красные партизаны, освободившие Сибирь от Колчака!

Через некоторое время таблички готовы. Кусиков расплачивается за них”<sup>3</sup>.

1 Гостилица для путешественников в прекрасном. № 3. С. 1.

2 Там же. С. 2.

3 Мой век... С. 602.

Получается, напрасно Есенин боролся с Кусиковым за главную улицу Москвы? “Я получаю Никитскую, на которой я живу, — продолжает Шершеневич. — По тому же принципу Мариенгоф получает Петровку. Есенин и Кусиков обхаживают друг друга в отношении Тверской. Каждый приводит доводы. Есенин больше упирает на свою гениальность, Кусиков на то, что за дощечки платил он. Не помню, как именно, но Рязань и тут обошла Армавир. Кусиков удовлетворился Дмитровкой”<sup>1</sup>. Нет, не напрасно: имажинисты столько раз рассказывали эту быль, что в конце концов превратили ее в легенду<sup>2</sup>.

Впрочем, другие акции имажинистов были гораздо успешнее — особенно первая, состоявшаяся в конце мая 1919 года: комически подражая государственной антирелигиозной пропаганде, Есенин и его друзья расписали стены Страстного монастыря своими стихами. Вот зарисовка из “Великолепного очевидца” Шершеневича: “К стенам Страстного монастыря была приставлена лестница, и <художник> Дид Ладо под диктовку поэтов начал расписывать стены монастыря аршинными буквами имажинистических стихов”<sup>3</sup>. По ходу дела между участниками акции затеялось состязание. “Кисть, обмакнутая в масло, — продолжает Шершеневич, — ходила весело и легко. Мы уже жалели, что стена слишком мала, а лестница ниже, чем пожарная. Уже дрались за размер цитаты и площадь стены. Такая книжная страница досталась нам впервые”<sup>4</sup>. Первенство в хулиганской хлесткости стиха, конечно, досталось Есенину. Где уж было тому же Мариенгофу, с его строками: “Граждане! / Душ меняйте белье исподнее!” — угнаться за есенинским сногшибательным четверостишием:

*Вот они, жирные ляжки  
Этой похабной стены, —  
Здесь по ночам монашки  
Снимают с Христа штаны.*

1 Там же. С. 602.

2 Легенды о своих акциях имажинисты начали слагать еще до того, как засели за мемуары. Уже в “Автобиографии” 1922 года Есенин напоминал: “Во время нашей войны мы переименовывали улицы в наши имена...” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 13). В 1923 году о том же пишет Мариенгоф: “Опять перед глазами сограждан разыгрывалась буффонада. <...> Переименовывались московские улицы в Эсенинские <так!>, Ивневские, Мариенгофовские, Эрдманские и Шершеневические...” (Гостиница для путешественников в прекрасном. № 2. С. 1; информацию о появлении Ивневских и Эрдманских улиц другие источники не подтверждают).

3 Мой век... С. 598.

4 Там же. С. 599.



Сложнее, как обычно, определить, кто на этот раз оказался победителем по части ловкости и хитроумия — Есенин или Кусиков. По свидетельству Шершеневича, “рязанский озорник” превзошел-таки всех и в находчивости:

...Кусиков и Есенин приняли на себя недоумение милиционера.

— Что это вы делаете?

— Работаем. Поторапливайся! Пиши скорей!

— Гм! <...>

После этого “гм” нас могли молниеносно забрать. Однако “гм” было миролюбивое. Кусиков решил это миролюбие использовать бешеным кавалерийским рейдом:

— Дело в том, что скоро праздники, вот нам и поручили революционные лозунги написать. Мы — художники.

Наглость Есенина переросла кусиковскую:

— Прохожие мешают, товарищ милиционер! Чуть было лестницу не столкнули. Товарищ сверху чуть не ссыпался. Несознательность! Не хотите ли папиросу?

Милиционер, которому понравился наш энтузиазм и трудность оригинальной работы, почесал затылок:

— Чего же вы не огородили лестницу?

— Некогда!

В рязанском мозгу мелькает последняя мысль:

— Вы бы, товарищ милиционер, последили, чтоб нас не толкали, и мы поддержим лестницу. <...>

Милиционер включился в нашу работу<sup>1</sup>.

Другой версии придерживается Ройзман, который приписывает ход с милиционером все же Кусикову:

Буквы (надписей на стене Страстного. — О. Л., М. С.) были настолько крупные, что некоторые подогреваемые любопытством прохожие старались протиснуться сквозь наши ряды и прочесть надпись. Тогда Кусиков подошел к милиционеру и сказал, что могут толкнуть стремянку и художник полетит на тротуар, расшибет голову или сломает ногу. Не сходя с поста, милиционер стал кричать назойливым москвичам:

— Проходите, граждане, не задерживайтесь!<sup>2</sup>

1 Мой век... С. 599–600.

2 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 54.

Так или иначе, а затея удалась в полной мере, в чем друзья-имажинисты смогли убедиться на следующее утро:

Подойти к нему (Страстному монастырю. — *О. Л., М. С.*) было невозможно. Вся площадь была запружена народом. Толпы не помещались на площади. Более любопытные лезли на памятник, и чугунный Александр Сергеевич вместе с ними рассматривал действо.

Конная милиция разгоняла любопытных. К стенам были приставлены лестницы, и монашки... пытались смыть следы нашего творчества. <...> Еще непонятное слово “имажинисты” звучало мистически, как строка из Апокалипсиса” (*В. Шершеневич*)<sup>1</sup>.

Священнослужители с амвонов поносили святотатца отрока Сергея Есенина, вокруг Страстного монастыря был совершен крестный ход. <...>

Разумеется, о четверостишии Сергея узнали не только москвичи — весть об этом облетела многие города” (*М. Ройзман*)<sup>2</sup>.

Все говорили “о “хамстве” Есенина. Но бежала ругань и славу за собой вела. И Есенину это нравилось” (*К. Буровий*)<sup>3</sup>.

Следующее пародийное действо, организованное имажинистами, было задумано с гораздо большим вызовом и риском. Идея новой акции возникла во время наступления Деникина (июнь 1921 года); москвичи ждали очередной мобилизации — тут-то “орден” и выпустил листовки с призывом к “ВСЕОБЩЕЙ МОБИЛИЗАЦИИ Поэтов, Живописцев, Актеров, Композиторов и Друзей Действующего Искусства”<sup>4</sup>. Нет сомнения, что Шершеневич лукавит, уверяя в своем “Великолепном очевидце”, будто “командоры” по своей политической близорукости не осознавали тогда остроты политической ситуации в стране. Напротив, они в полной мере воспользовались ситуацией, чтобы как можно эффективнее обыграть штампы официальной пропаганды: “Имажинисты всех стран, соединяйтесь”; “Назначается демонстрация искателей и зачинателей нового искусства”; “Причина мобилизации — война, объявленная действующему искусству. Кто не с нами, тот против нас”; “Вождь действующего искусства, Центральный Комитет Ордена Имажинистов”<sup>5</sup>. Мариенгоф в “Романе без вра-

1 *Мой век...* С. 600.

2 *Ройзман М.* Все, что помню о Есенине. С. 55–56.

3 *Буровий К.* Незащищенное дитя (Воспоминания о Есенине). Цит по: *Летопись...* Т. 2. С. 268.

4 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 555.

5 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 555.

ня» был более откровенен: “В маленькой тайной типографии мы отпечатали “приказ”. Ночью вышли на улицы клеить его на заборах, стенах, столбах Москвы — рядом с приказами военного комиссариата в дни наиболее решительных боев с белыми армиями”<sup>1</sup>. Возможные недоразумения были имажинистам только на руку: больше смеха — больше славы.

И снова расчет на шумный резонанс оправдался: “Утро превзошло все ожидания, — пишет Шершеневич, — <...> мы наблюдали толпы теснившихся около объявлений. Не все разбирались в сути. “Мобилизация” было грозное слово, оно довлело”<sup>2</sup>. Оправдались и опасения — зачинщиков пригласили на Лубянку, настоятельно предложив “самим ликвидировать затеянную демонстрацию”. И что же? На Страстной площади появился “громадный лист, на котором было написано печатными буквами почерка Анатолия:

### ПО ПРОСЬБЕ МЧК ДЕМОНСТРАЦИЯ ВРЕМЕННО ОТМЕНЯЕТСЯ”<sup>3</sup>.

37-я главка “Романа без вранья”, в которой рассказывается, как имажинисты сначала объявляли, а затем отменяли “мобилизацию левого искусства”, завершается противопоставлением будничной арифметики и геометрической прогрессии мечты, с реминисценцией из гоголевского Хлестакова (“тридцать пять тысяч одних курьеров”):

Назавтра, согласно данному следователю обязательству, явились на Театральную площадь отменять мобилизацию.

Черноволосые девушки не хотели расходиться, требуя “стихов”, курчавые юноши — “речей”.

Мы таинственно разводили руками. Отряд в десять всадников конной милиции переполнил нас гордостью.

Есенин шепнул мне на ухо:

— Мы вроде Марата... против него тоже, когда он про министра Неккера написал, двадцать тысяч конницы выставили<sup>4</sup>.

Мечты приближали реальность: Есенину еще при жизни удастся вкушать баснословной славы. Но идти к ней пришлось — хоть и ускорен-

1 Там же. С. 375.

2 Там же. С. 594–595.

3 Из воспоминаний В. Шершеневича. Там же. С. 597.

4 Мой век... С. 375.

ным темпом, — однако, по выражению Мариенгофа, “путями многими, путями нелегкими”<sup>1</sup>. Любой из этих путей, по меткому выражению Шершеневича, мог оказаться “прямой дорогой на Лубянку”. Есенину и его друзьям-имажинистам не раз доводилось беседовать с работниками МЧК; встреча в связи с “мобилизацией” была не первой и не последней. Несколько раз арестовывали или вызывали на допрос того же Шершеневича: например, осенью 1919 года — после взрыва в Леонтьевском переулке (по подозрению в причастности к анархистскому заговору) или после одного из шершеневичевских “антисоветских” выступлений<sup>2</sup>, а кроме того, в марте 1922 года, после публикации сборника “Мы Чем Каемся” (по обвинению в выпуске брошюр “контрреволюционного характера”)<sup>3</sup>.

Есенин был знаком с лубянскими кабинетами ничуть не хуже Шершеневича: “рязанский озорник” вообще был “человеком историческим” не только в прямом, но еще и в ноздревском смысле — то есть обладал особым талантом попадать в истории. Уже в имажинистские годы Есенин сталкивался с МЧК по самым разным поводам: его то арестовывают за хулиганство (январь 1920 года; упомянутый выше скандал в “Домино”<sup>4</sup>), то забирают заодно с братьями Кусиковыми (октябрь 1920 года; по анонимному доносу на кусиковского брата-белогвардейца<sup>5</sup>), то они вместе с Мариенгофом попадают на спекуляции в притоне Зои Шатовой (“Зойкиной квартире” — апрель или июнь 1921 года)<sup>6</sup>, то обвиняются в нелегальном издании своих стихов (апрель 1921 года)<sup>7</sup>.

Конечно, не одни чекисты препятствовали имажинистам в их походе к успеху. “Заедают нас, брат, заедают”, — жаловался Есенин в письме к А. Ширияевцу от 26 июня 1920 года. Советские органы наседали на “оруженосцев” образа, как агенты кардинала на мушкетеров, — со всех сторон. Мало того, что с 1919 года до августа 1921-го<sup>8</sup> государство постоянно уже-

1 Там же. С. 117.

2 См.: Мой век... С. 595; Крусанов А. В. Русский авангард: 1907—1932. Исторический обзор: В 3 т. М., 2003. Т. 2. Кн. 1. С. 362, 726; Дроздов В. Л. “Достались нам в удел года совсем плохие...” // Новое литературное обозрение. 1998. № 30. С. 120—126; фотография обложки дела ВЧК по обвинению В. Шершеневича в сотрудничестве с партией анархистов см.: Летопись... Т. 2. С. 660.

3 См.: Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 2. С. 346.

4 См.: Штраус В. Сергей Есенин: МЧК, дело № 10055 // Шпион: Альманах писательского и журналистского расследования. М., 1994, № 3 (5). С. 78—80.

5 См.: С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 269, 271—274, 280—282, 284.

6 См.: Мой век... С. 375—376; С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 184—190; Свирепая М. Л. Из воспоминаний // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 7. С. 56; Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 91—95.

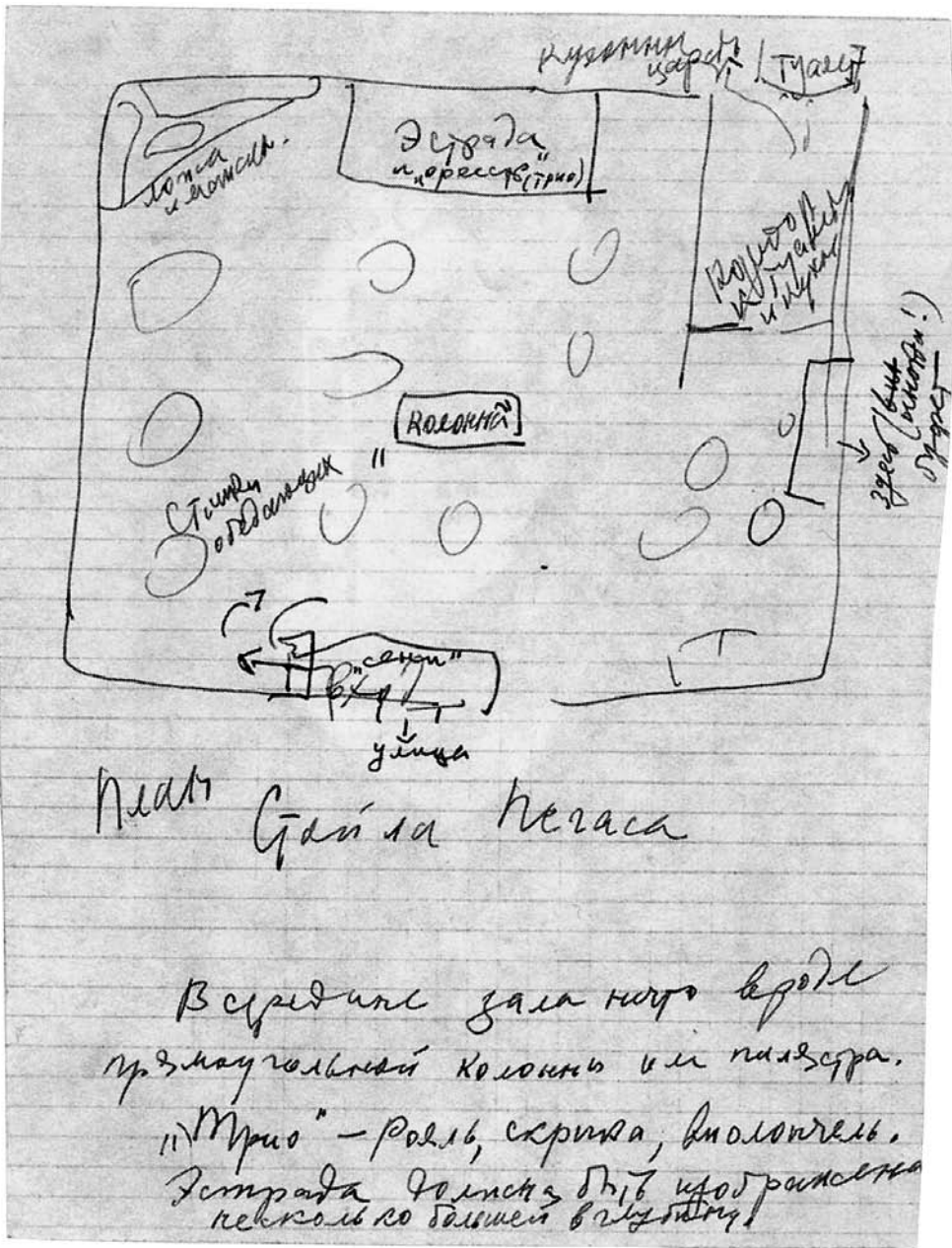
7 См.: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 97.

8 В конце августа 1921 года коллегия Наркомпроса, в связи с изменением партийного курса (в направлении НЭПа) отменяет самые жесткие ограничения деятельности частных издательств (см.: Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 2. С. 151—152).

стачало свою политику в области литературы, используя всевозможные рычаги Госиздата (образованного в мае 1919 года)<sup>1</sup>, Наркомпроса (реорганизованного в 1921 году с целью взять под контроль всю издательскую деятельность в России)<sup>2</sup>, Главполитпросвета (созданного в том же 1921 году и перехватившего у Наркомпроса инициативу по надзору за литературой<sup>3</sup>). К тому же все чаще (особенно в 1921 году) государственные институты обращают свой “рык”<sup>4</sup> непосредственно против имажинистов. “Ордену” попеременно угрожают Главполитпросвет (“Просить Госиздат произвести срочное расследование с привлечением к строжайшей ответственности всех виновных в даче разрешения, печатания и распространения этого сборника” — “Золотого кипятка” Есенина, Мариенгофа и Шершеневича, 1921<sup>5</sup>), Наркомат рабоче-крестьянской инспекции (в мае 1921 года клеймящей Госиздат за “бессилие проявить не только руководство, но и простой контроль” имажинистской издательской деятельности<sup>6</sup>) и Совнарсуд (ведущий дело против имажинистов)<sup>7</sup>. В июле 1921 года Госиздат рассылает всем своим губернским отделениям секретное предписание: “На основании распоряжения распорядительной комиссии Госиздата предлагаем вам не давать разрешения и не отпускать бумаги на издания имажинистов”<sup>8</sup>.

Запретами кампания против “ордена” не ограничивалась. Тотчас же после появления имажинистской “Декларации” началась травля ее авторов в официальной прессе. Тактика начальственных критиков не отличалась разнообразием. Главным доводом в полемике был донос: “Не то кажется изумительным, что все это пишется и печатается, а то, что это умопомрачительное убожество <...> ныне — после красного октября, в трагические дни диктатуры героического пролетариата — нашли себе место и приют на столбцах советских органов, под сенью советской республики”<sup>9</sup>;

- 1 См.: *Летопись...* Т. 2. С. 267. В марте 1919 года выходит постановление Совнаркома “О распределении бумаги”, сокращающее количество периодических изданий (*Литературная жизнь России 1920-х годов...* Т. 1. Ч. 1. С. 366); в июне 1919 года Госиздат объявляет о перерегистрации периодических изданий и издательств (Там же. С. 413–414). О безуспешной борьбе кооперативных издательств с Госиздатом см.: Там же. С. 675–676, 685–686.
- 2 О реорганизации Наркомпроса см.: *Крусанов А. В. Русский авангард...* Т. 2. Кн. 2. С. 476–477. Решение коллегии Наркомпроса от 18 апреля 1921 года: “Прекратить отпуск всякого рода бумажных и типографских средств для частных издательств из общегосударственного фонда” (*Литературная жизнь России 1920-х годов...* Т. 1. Ч. 2. С. 64).
- 3 Об образовании Главполитпросвета см.: *Крусанов А. В. Русский авангард...* Т. 2. Кн. 2. С. 476–477.
- 4 Выражение Н. Чужака (*Литературная жизнь России 1920-х годов...* Т. 1. Ч. 1. С. 672).
- 5 *Литературная жизнь России 1920-х годов...* Т. 1. Ч. 2. С. 12.
- 6 Там же. С. 85.
- 7 См.: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 127.
- 8 Там же. С. 140.
- 9 В. Фриче, февраль 1919 года; цит. по: *Летопись...* Т. 2. С. 219.



План внутреннего помещения кафе "Стойло Пегаса"  
Зарисовка Н. Д. Вольпин. Из собрания Г. Маквея





Анатолий Луначарский  
 Портрет работы Б. Д. Григорьева. 1919

“Кому нужны эти непростительно молодые крикуны, прежде *служившие* врагам нашим, а теперь *служащие* нам?”<sup>1</sup>; “Пролетариат вправе требовать прекращения этого литературного озорства. <...> Пусть эти веселые граждане упражняются на наркомпросовский счет в словоблудии, но зачем же давать им еще портить бумагу”<sup>2</sup>; “Почему они осыпаны милостями? <...> Все это творчество издается на казенные средства...”<sup>3</sup>. Обобщения сводились к политическим ярлыкам, еще хуже доносов: “бывшие белогвардейцы и идеологи буржуазии”<sup>4</sup>, “обнаглевшая челядь буржуазии”, “выкидыши” расслабленного мозга умирающего старого мира”<sup>5</sup>, “антиоктябрьское искусство”<sup>6</sup>.

Разносы сопровождались призывами к карательным действиям: “Большинству этой “поэтической” публики (посетителям Кафе поэтов. — О. Л., М. С.), несомненно, место в концентрационном лагере за уклонение от тылового ополчения”<sup>7</sup>; “Кабаки, скрывающиеся под поэтической вывеской, необходимо закрыть”<sup>8</sup>.

Нападки марксистских газет были вовсе не безобидны. Вот и Р. Ивнев с редакцией “Советской страны”, опубликовавшей его ответ на залп Фриче (“дикую и бессмысленную пальбу по имажинистской группе”<sup>9</sup>), вскоре пожалели, что ввязались в полемику. Газету закрыли, а поэт так испугался окрика А. Меньшого в “Правде”, что поспешил заявить о выходе из группы (ввиду “полного несогласия с образом <ее> действий”<sup>10</sup>). Позже критическая “гроза” стала привычным фоном имажинистского дейст-

1 А. Меньшой, февраль 1919 года; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 227.

2 А. Ломов, газета “Правда”, февраль 1920 года; цит. по: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 367.

3 А. Бухов, январь 1921 года; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 35.

4 Газета “Рабочий край” (Иваново-Вознесенск), март 1919 года; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 236.

5 В. Фриче, ноябрь 1919 года; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 311.

6 В. Рожицын, ноябрь 1921 года; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 212.

7 Газета “Коммунар”, май 1919 года; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 266.

8 Д. Угрюмов, октябрь 1921 года; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 196.

9 Цит. по: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 355.

10 Там же. С. 356.

ва. В 1921 году своего рода итог двухлетней травли “образоносцев” подвел сам А. Луначарский: “Книги (имажинистов. — О. Л., М. С.) <...> представляют собой злостное надругательство над собственным дарованием, и над человечностью, и над современной Россией. <...> Книги эти выходят нелегально, т. е. бумага и типографии достаются помимо Гос<ударственного> издательства, незаконным образом. Главполитпросвет постановил расследовать и привлечь к ответственности людей, способствовавших появлению в свет и распространению этих позорных книг. Так как Союз поэтов не протестовал против этого проституирования таланта, вываленного предварительно в зловонной грязи, то я настоящим публично заявляю, что звание председателя Всероссийского союза поэтов с себя слагаю”<sup>1</sup>.

**7** Но вот парадокс: несмотря на начальственные запреты, “инсинуации и брань” в советской прессе<sup>2</sup>, дело Есенина и его друзей росло и процветало.

“Имажинисты издали много книг, — с гордостью подытожил Шершеневич. — Если считаться с теми препятствиями, которые были на нашем пути, то надо сказать, что мы издали грандиозное количество”<sup>3</sup>. “Командоры” успешно конкурировали даже с теми поэтами, которые пользовались поддержкой Госиздата; книги запрещаемых и гонимых имажинистов выходили неоднократно, порой тиражом до 20 000 экземпляров. “В истекшем году типографский станок выбросил большую имажинистскую литературу, — сетовал в начале 1921 года редактор петроградского журнала “Вестник литературы” А. Кауфман, — поглотившую бумажную выработку по крайней мере одной бумагоделательной фабрики”<sup>4</sup>.

Количество книг, издаваемых великолепной четверкой в собственных издательствах (“Имажинисты”, “Чихи-Пихи”, “Орднас”) и на стороне, росло с каждым годом в арифметической прогрессии: в 1919 году — около десяти изданий, в 1920-м — около двадцати, в 1921-м — около тридцати. Казалось, чем хуже ситуация с бумагой, чем жестче цензура, тем луч-

1 Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 2. С. 60.

2 См. письмо Есенина, Мариенгофа и Шершеневича к Луначарскому от 5 марта 1920 года (*Крусов А. В. Русский авангард...* Т. 2. Кн. 1. С. 368).

3 Мой век... С. 642.

4 Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 47.

ше для “ордена”. Вроде бы, по логике вещей, бумажный кризис и государственная монополия на книгопечатание никак не могли благоприятствовать “антиоктябрьскому искусству” имажинистов, однако именно в этих обстоятельствах они “почти монопольно <...> ухитрились издавать свои тощие книжки” (В. Вольпин)<sup>1</sup>; “новинки” тогда почти ограничивались “изданиями имажинистов” (Р. Ивнев)<sup>2</sup>. Оппоненты Есенина и его друзей только и могли надеяться, что на НЭП и открытие частных типографий<sup>3</sup>, а в условиях военного коммунизма весь остаток рыночной свободы был узурпирован имажинистами.

Современники спрашивали: как им удалось захватить книжный рынок в эпоху жесткой борьбы с рынком? Бюрократические головоломки, задаваемые государством каждому свободному художнику, вроде бы обязательно должны были поставить в тупик даже этих, по выражению Е. Замятина, “юрких авторов”<sup>4</sup>.

“Для того чтобы запустить сборник, — делится трудностями тогдашнего литературного быта Шершеневич, — надо было иметь разрешение отдела печати, РВЦ (то есть Военно-революционной цензуры) и наряд на типографию.

Все эти требования были для нас невыполнимы.

Отдел печати прежде всего требовал справки, что у нас есть своя бумага. Если такой справки не представить, то разрешение не давалось. Если справку представляли, то разрешение давали, но бумагу конфисковывали и пускали на другие издания”<sup>5</sup>.

За счет чего “банда” преодолевала эти непреодолимые препятствия?

И еще: как имажинисты добились всероссийской популярности (“шум о них в городе, шум в провинции”<sup>6</sup>) в то время, когда, казалось бы, только государство могло раздавать патенты на популярность. Почему они ездили в отдельных вагонах, когда страна задыхалась от жесточайшего транспортного дефицита? Откуда брались у них такие деньги<sup>7</sup>, что, в отличие от пи-

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 422.

2 *Ивнев Р.* Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 22.

3 См. запись Т. Мачтета:

“— Вы думаете, надолго они, — засмеялся он (Н. Рудин. — *О. Л., М. С.*), когда разговор у нас с ним коснулся имажинизма. — Разве вы не знаете, что с осени открываются многие в Москве типографии, и мы с ними тотчас войну начнем. <...>

— Что же вы думаете, — смело ораторствовал мой друг, — разве это таланты, поэты, новаторы, да благодаря кризису бумажному взяли власть в свои руки...” (*Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 143*).

4 Характеристика имажинистов из замятинской статьи “Я боюсь” (*Замятин Е.* Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. М., 1999. С. 50–51).

5 Мой век... С. 642.

6 Слова Т. Мачтета (июнь 1921 года). Цит. по: *Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 142*.

7 Запись Мачтета: “— Откуда у них такие деньги, — удивляется Кисин” (*Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 142*).

сательской массы, едва перебивавшейся — “просто, воблисто, кашеобразно, полуголодно” (П. Соляной)<sup>1</sup>, они умудрялись жить на широкую ногу, почти по-барски?

“У нас три комнаты, — вспоминает Мариенгоф свой с Есениным быт 1920 года, столь тяжелого для прочего люда, — экономка (Эмилия) в кружевном накрахмаленном фартучке и борзой пес.

Кормит нас Эмилия рябчиками, глухарями, пломбирами, фруктовыми муссами, золотыми ромовыми бабами.

Оба мы необыкновенно увлечены образцовым порядком, хозяйственностью, сытым благополучием.

На брюках выутюжена складка; во-



Лев Каменев  
Портрет работы Ю. К. Арцыбушева. 1918

ротнички, платки. Рубахи поразительной белоснежности”<sup>2</sup>. Такова парадная сторона имажинистского быта. “Помню несколько сценок, — так Ивнев показывает этот быт с черного хода. — Комната за магазином на Никитской. Вот приходит какая-то “дама” с образцами материи “из-под полы”. Есенин ощупывает образцы — деловито, серьезно, торгуясь, выбирая то, что ему пришлось по вкусу, вынимает бумажник, отсчитывает бумажные миллионы или тысячи.

Вот особняк на Кисловке. Там — “тайная столовая”. За какую-то баснословную цену можно получить обед из “трех блюд” — “как в мирное время”. Там тоже какие-то комиссионерши, покупка вещей — “дорогих”, “настоящих”.

Вся эта “привилегированность” клала известный отпечаток на характер, на манеры”<sup>3</sup>.

Какое же волшебное средство открыли имажинисты — для обогащения при всеобщей нищете?

1 Цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 1. С. 409.

2 Мой век... С. 368.

3 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 21—22.

Московская Трудовая  
Артель  
Художников Слова

Богословский п.3.11

Председатель Московского Совета

9 Сентября 1919г.

Р. и.К. Д.

*В. Мариненко*

Московская Трудовая Артель Художников Слова  
сним просит Вас видеть в разрозненном на открытие книжной  
лавки. Настоящая книжная лавка имеет цель обслуживать  
читающие массы исключительно книгами по искусству, удовлет-  
воряя как единичных потребителей, так и рабочие организации

Работу по лавке будет вести Трудовая Артель  
обращенно не пользуясь нашим трудом в лице поэтов, Сер-  
гея Есенина, Анатолия Мариенгофа, Петра Орешкина, Николая  
Клиева и м. Герасимова и др.

Трудовая Артель надеется, что означенное хо-  
датайство будет Вами удовлетворено.

Московск. Сер. Р.зб. Делу:  
ОТПРАВЕНО  
14301  
№ 14301  
1919



Староста *С. Есенин*  
Дисарь *Мариненко*

Письмо Московской трудовой артели художников слова к Л. Б. Каменеву за подписями С. Есенина и А. Мариенгофа. Сентябрь 1919

Конечно, “командоры” заслужили свою удачу — стремлением и умением превращать жизнь в игру, ловкостью, смелостью, умноженными на четыре; “пока зубы остры”, — не скрывал Есенин в письме к Лившиц от 26 июня 1920 года<sup>4</sup>. Как лихо пользовались они неувязками в громоздкой системе государственного контроля и распределения, пробелами в декретном законодательстве, как точно находили слабые места в не отлаженном еще советском бюрократическом механизме, как хорошо знали входы и выходы в тогдашнем рыночном подполье и закулисе!

Чтобы придать группе официальный статус, 24 октября 1919 года Есенин предложил зарегистрировать Ассоциацию вольнодумцев как “культурно-просветительское учреждение, ставящее себе целью духовное и экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции”<sup>2</sup>. Выглядело все это, с точки зрения властей, вполне при-

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 112.  
2 Летопись... Т. 2. С. 298.

стойно, однако А. Луначарский в дальнейшем имел немало поводов пожалеть о своей резолюции на документе (уставе Ассоциации): “Подобные общества в Советской России в утверждениях не нуждаются. Во всяком случае, целям Ассоциации я сочувствую и отдельную печать разрешаю иметь”<sup>1</sup>.

“Отдельная печать”, легкомысленно подаренная имажинистам, в их умелых руках становится волшебным средством для проникновения в начальственные кабинеты<sup>2</sup>: “...бегали мы немало по разным учреждениям, по наркомам, в Московский Совет” (А. Мариенгоф)<sup>3</sup>.

А за этими дверями Ивану-царевичу (в этой роли обычно выступали Есенин или Кусиков) нередко удавалось добыть знак гораздо большей магической силы — ордер. Конечно, для захвата командных высот в литературной Москве одной печати Ассоциации было мало. С ее помощью “юркие авторы” получили ордер на открытие литературного кафе “Стойло Пегаса” (конец октября 1919 года); печать Союза поэтов позволила Шершеневичу и Кусикову добыть себе книжную лавку в Камергерском; а печать Московской Трудовой Артели Художников Слова, организованной Есениным еще в 1918 году, способствовала выбиванию ордера на его с Мариенгофом книжную лавку (ноябрь 1919 года, Большая Никитская).

В есенинском заявлении на имя Л. Б. Каменева помимо волшебной печати были пущены в ход еще и волшебные слова: “Настоящая книжная лавка имеет цель *обслуживать читающие массы* исключительно книгами по искусству, удовлетворяя как единичных потребителей, так и *рабочие организации*.”

Работу по лавке будет нести Трудовая артель, *совершенно не пользуясь наемным трудом...*” (курсив наш. — О. Л., М. С.).

А при очном свидании с Каменевым Есенин повторил свой излюбленный трюк с перевоплощением: он “говорил на олонецкий, клюевский манер, округляя “о” и по-мужицки на “ты”:

— Будь милОстив, Отец рОдной, Лёв Борисович, ты уж этО сделай”<sup>4</sup>.

Заклинания и превращения не прошли даром — и Каменев поставил резолюцию: “Разрешено”<sup>5</sup>.

Но в неразберихе тогдашнего переустройства на каждый ордер приходился свой мандат. И поэтому на пути к очередной цели Есенину и его друзьям вновь и вновь приходилось менять облик. Вот и при захвате по-

1 Там же.

2 Об этом см.: *Markov V. Russian Imaginism: 1919–1924. Giessen, 1980. P. 14.*

3 Мой век... С. 311.

4 По воспоминаниям Мариенгофа. Цит. по: Мой век... С. 312.

5 Летопись... Т. 2. С. 297.





Москва. Арбатская площадь. Фотография начала XX в.

мещения для книжной лавки поэт соединил стиль большевистских реkvизий с воровской ловкостью рук:

“Помещение на Никитской взяли с бою, — так Мариенгоф начинает рассказ об этой есенинской проделке. — У нас был ордер. У одного старикашки из консерватории (помещение в консерваторском доме) — ключи.

В совдепартаменте нас предупредили:

— Раздобудете ключи — магазин ваш, не раздобудете — судом для вас отбирать их не будем. А старикашка, имейте в виду, злостный и с каким-то мандатиком от Анатолия Васильевича.

Принялись дежурить злостного старикашку у дверей магазина. На четвертые сутки, тряся седенькими космами, вставил он ключ в замок.

Тычет меня Есенин в бок:

— Заговаривай со старикашкой. <...>

Второй толчок под бок был убедительнее первого, и я не замедлил снять шляпу <...>

— Извините меня, сделайте милость... но, видите ли... обязали бы очень, если бы... о Шуберте или, допустим, о Шопене соблаговолили в двух-трех словах... <...>

Бухнул.

Ключ в замке торчал только то короткое мгновение, в которое космочки сочувственно протянули мне свою руку.

— Готово! — буркнул Есенин.

Злостный старикашка пронзительно завизжал и ухватил Есенина за полу шубы, в кармане которой уже покоился ключ.

Есенин сурово отвел его руку и, вытащив из бумажника ордер, ткнул ему в нос фиолетовую печать<sup>1</sup>.

Но и в других случаях, когда уже не действовали ни печать, ни ордер, имажинисты не собирались отступать. Тогда они, подобно еще не появившемуся на свет Остапу Бендеру, пускались в блистательные авантюры, устраивали плутовские похождения на любой вкус. Шершеневич через десять с небольшим лет выдаст имажинистские секреты: для того чтобы печатать свои книги, они манипулировали цифрами и документами (“Мы печатали на титульном листе “две тысячи”, а за рюмкой водки быстро уговаривали директора типографии, и он не замечал, как за этой цифрой на деле вырастал нолик”; “по разрешению на одну книгу Сандро (Кусиков. — О. Л., М. С.) выпустил добрый десяток книг, каждый раз показывая отделу печати одно и то же десятки раз использованное разрешение”<sup>2</sup>), подделывали штампы (“Вопрос со штампом РВЦ мы с самого начала... обошли легко. Мы просто ставили эти три буквы на книге...”<sup>3</sup>), указывали фиктивное место издания: “Печатаю книгу на Арбате или в Сокольниках, он (Кусиков. — О. Л., М. С.) ставил на обложке помету: “Ревель”. И как ни анекдотично это звучит, но умудрился на одну из таких “ревельских” книг получить разрешение для ввоза книги в СССР!”<sup>4</sup> В духе комедийной эксцентрики “банда” ловко водила за нос следователей и проверяющих и бегала наперегонки с властью:

Я помню, как однажды к нам явились с допросом в лавку, чтоб установить, где вышел наш последний сборник.

Я отбреживался как мог. Присутствовавшая тут же одна знакомая с нескрываемым ужасом следила за фантазмагорией моей выдумки.

Наконец “расследователь” из отдела печати оставил меня в покое и направился к выходу. Навстречу ему поднимается Кусиков, только что привезший... новую книгу.

1 Мой век... С. 330—331.

2 Там же. С. 643, 645.

3 Там же. С. 643.

4 Там же. С. 645.

Узнав, что в Мерзляковском переулке закрывается крохотная частная типография <...> мы убедили владельца типографии, и он без всяких разрешений за эту неделю выпустил до пятка наших книг<sup>1</sup>.

Как и положено по закону комических жанров, тот, кто казался слабее, должен был обязательно перехитрить непобедимое чудовище — государство: “Работали мы нагло. <...> Это был спорт, состязание, единоборство. Частник побеждал неизменно”<sup>2</sup>.

Так установилась схема публикации и реализации книг: имажинисты не только нелегально печатали свои книги, но еще и продавали их в собственных магазинах. Однако и этого мало: в соответствии с основным принципом своей поэтики и театрализованной практики (соединять “высокое” и “низкое”, “чистое” и “нечистое”), “прекрасные мерзавцы”<sup>3</sup> затевали денежные авантюры, не слишком стесняясь в средствах. В то время Есенин не без основания считал себя “несравненным комбинатором и дельцом самой новейшей формации” (А. Мариенгоф)<sup>4</sup>; еще больше оснований было рассчитывать на свои “коммерческие таланты” у Кусикова.

Как свидетельствует Мариенгоф, имажинисты ухитрялись находить последних, еще недобитых меценатов; и уж конечно, выманив у них деньги, они не утруждали себя заботами о расчете. Не брезговали “рыцари образа” и спекуляциями, на чем Есенин с Мариенгофом и попались у Зои Шатовой. Автор “Романа без вранья” приводит весьма характерный разговор с Есениным и Г. Колобовым (Почем-Соль), в качестве заведующего Тратора (Транспортно-материальным отдела ВСПХ) организовавшим поездку в Узбекистан в мае-июне 1921 года:

...Почем-Соль сетовал:

— Не поеду, вот тебе слово, в жизни больше не поеду с Сергеем... Весь вагон забил мукой и кишмишем. По ночам, прохвост, погрузки устраивал... Я, можно сказать, гроза там... центральная власть, уполномоченный, а он кишмишников с базара таскает. Я... по два пуда... разрешил, а они, мерзавцы, по шесть наперли.

Есенин нагибается к моему уху:

— По двенадцати!..

1 Мой век... С. 643.

2 Там же. С. 645.

3 “О прекрасных мерзавцах” — так был озаглавлен один из докладов на харьковском диспуте об имажинизме, состоявшемся в сентябре 1921 года (Летопись... Т. 2. Кн. 1.С. 188).

4 Мой век... С. 319.

— Перед поэтишками тамошними мэтром ходит... деньгами швыряется, а из вагона уполномоченного гомельскую лавчонку устроил... с урючниками до седьмого пота торгуется... И какая же, можно сказать, я после этого гроза... уполномоченный...

— Скажи пожалуйста — “урюк, мука, кишмиш”!.. А то, что я в твоём вагоне четвертую и пятую главу “Пугачева” написал, это что?.. Я тебя, сукина сына, обесмерчиваю, в вечность ввожу... а он — “урюк! урюк!”<sup>1</sup>.



Григорий Колобов и Сергей Есенин  
1920

Широк был Есенин, “слишком даже широк”: “вечность” и “урюк”, с невероятной прибылью перепродаваемый в скудной Москве, замечательно уживались в его сознании.

Доходы с нелегального печатания книг и книготорговли, выручка кафе “Стойло Пегаса”, гонорары за выступления на эстраде, да еще и разного рода аферы — вот что материально обуславливало имажинистский “ренессанс” и позволяло Мариенгофу хвалиться в стихах: “Великолепен был Лоренцо, / Великолепней Мариенгоф!”<sup>2</sup>.

Они захватили власть в “кафейной” Москве (сначала утвердились в “Домино”, затем основали свое “Стойло Пегаса”), покорили залы Политехнического музея и консерватории, упрочили свои завоевания гастрольными поездками в Киев, Харьков, Ростов и Баку. Тысячи зрителей ломались на выступления имажинистов, минуя кордоны конной милиции и “товарищей с увесистыми наганами” вместо билетерш, “смытых разбушевавшимися человеческими волнами” (А. Мариенгоф)<sup>3</sup>. Многие были недовольны проказами имажинистов и рекламным шумом вокруг них, как, например, корреспондентка профессора Сакулина, сетовавшая в письме от 13 июля 1919 года, что поэзия превратилась “в помело, которым крестят всякие отдаленные поползновения на мечту”. Но и эта оскорбленная в лучших чувствах мечтательница, и другие протестующие против имажинистского засилья все же не могли удержаться от посещения их диспутов и вечеров: “Я сегодня опять пойду туда — эти вечера очень

1 Там же. С. 381.

2 Из поэмы “Застольная беседа”; см.: Мой век... С. 102.

3 Мой век... С. 106.



Атолий Мариенгоф и Сергей Есенин  
Ростов-на-Дону. Июль 1920

любопытны в своей чудовищной карикатурности! <...> Сейчас пойду в кинематограф, а оттуда в Союз — ведь сегодня выступают “4 слона Имажинизма” — Есенин, Кусиков, Шершеневич и Мариенгоф”<sup>1</sup>.

Тем не менее одними заслугами имажинистов успеха группы не объяснить. Если бы власть всерьез прислушалась к грозным призывам партийной прессы: “Кто поставил паяцев у самой рампы, на авансцене? Долой их! Вон”<sup>2</sup>, то от имажинистского великолепия не осталось бы и следа. Но отношение верхов к “образоносцам” было вовсе не однозначным; в Кремле с гораздо боль-

шим раздражением следили за деятельностью футуристов, претендовавших на монопольное управление искусством. Лучшее всего реакцию руководства на “орден” выражает апокрифическая фраза, будто бы брошенная Лениным: “...больные эпохой мальчишки”<sup>3</sup>. Действительно: “мальчишки”, пусть и “больные”, заигравшиеся дети — нелепые, но все же свои — вот как партийные лидеры воспринимают имажинистов. Так, Бухарин все время смеется над ними, весело, по-доброму.

“Ведя “бесконечные разговоры” (начало 1919 года), мы “бросались мирами в космосе, как дети мячиком, — вспоминает Г. Устинов, — и дошли до того, что я однажды в редакции пустился в спор с Н. И. Бухариным, защищая нашу с Есениным метафизическую теорию. Бухарин хохотал, а я сердился на его “непонимание”.

Есенин улыбался:

- 1 Письмо Е. Д. Ланкиной П. Н. Сакулину (13 июля 1919 года). Цит. по: Сергей Есенин в стихах и жизни... С. 319.
- 2 Из статьи А. Меньшого в “Правде”; цит. по: Летопись... Т. 2. Кн. 1. С. 238; критик бьет по имажинистам их же цитатами: “Мы! мы! мы всюду / У самой рампы, на авансцене, / Не тихие лирики, / А пламенные паяцы” (“Октябрь” Мариенгофа). А слова Фриче об имажинизме как о бумажке, брошенной в клозет (см.: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 366), взяты из стихов Шершеневича (“Эстетические стансы”: “И, работу окончив обличительно-тяжкую, / После с людьми по душам бесед, / Сам себе напоминаю бумажку я, / Брошенную в клозет”).
- 3 См.: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 346.



Здание Харьковского городского театра, где С. Есенин и А. Мариенгоф выступали с чтением своих стихов. 1910-е

— Кому как кажется! Мне, например, месяц кажется барашком”<sup>1</sup>.

Устинову вторит Мариенгоф:

“Незнакомец открыл книжку и прочел вслух:

*Милая,*

*Нежности ты моей*

*Побудь сегодня козлом отпущения.*

<...> Каково же было мое возмущение, когда наш незнакомец залился самым непристойнейшим в мире смехом <...> И в довершение, держась за животики, он воскликнул:

— Это замечательно... Я еще никогда в жизни не читал подобной ерунды!

<...> Я, дрожа от гнева, спросил Бориса (двоюродного брата. — О. Л., М. С.):

— Кто этот идиот?

— Бухарин! — ответил Боб...”<sup>2</sup>

Председатель Московского Совета Л. Б. Каменев даже не ругал Мариенгофа за переименование улиц, а по-родственному, с юмором журил: “Зачем

<sup>1</sup> Сергей Александрович Есенин... С. 150.

<sup>2</sup> Мой век... С. 303.





Ростовский театр им. Я. М. Свердлова (б. Асмолова), на сцене которого С. Есенин читал свои стихи 1910-е

же Петровку обижать было? Нехорошо, нехорошо! Название историческое. Уж переименовали бы Камергерский переулок”<sup>1</sup>. А Л. Троцкий, достав из рабочего стола свежий номер “Гостиницы для путешественников в прекрасном”, добродушно наставлял друзей-“командоров”: “Передайте своему другу Мариенгофу <...> что он слишком рано прощается с революцией”<sup>2</sup>. Луначарский по-свойски то обижался на имажинистов, то мирился с ними.

Вот и в карательных органах “никто и не думал бороться” с имажинистами: “Иногда лишь вызовут в МЧК, побеседуют <...> и отпустят с миром. По большевизким меркам это не борьба, а просто-таки отеческая забота о воспитании шалунов”<sup>3</sup>.

“Родители сидят в кабинете и находят выход из трудного положения, — разворачивает “ленинскую” аналогию Шершеневич, — а дети возятся в детской. Когда возня становится слишком громкой, папа открывает дверь и кричит:

— Дети! Тише, а то накажу!  
Дети замолкают”<sup>4</sup>.

1 Там же. С. 117.

2 Там же. С. 140.

3 Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 2. С. 485.

4 Мой век... С. 594.



В. Казин, С. Есенин, Г. Колобов, А. Мариенгоф (в *первом ряду*); Г. Санников, М. Сивачев (во *втором ряду*). 1920



Лев Троцкий  
Портрет работы  
Ю. П. Анненкова. 1923

Время все же было особое: и в органах, и на советской службе тогда было немало романтиков и авантюристов, ценивших в жизни приключения и успех<sup>1</sup>. Имажинисты для них воплощали праздничную сторону жизни; в связи с их деятельностью невольно возникала другая аналогия — шуты при царедворцах. Следовательно, которые вели дела “озорников”, порой не столько допрашивали их, сколько вели беседы о литературе. Так, В. Шершеневич вспоминал: “Следователи тоже любили стихи и неплохо нас знали. Один из них цитировал Мариенгофа лучше, чем я”<sup>2</sup>. Ответственные работники охотно посещали и имажинистское кафе. “Люди в черной коже” отчитывают провинившихся “детей”, скрыто восхищаясь их шутовским действием, “силаясь проглотить смешок”; какой-нибудь оперативный работник не тычет в них пальцем, а только чешет свою макушку, и палец этот оказывается “непростительно добродушным и несерьезным для такого учреждения” (А. Мариенгоф)<sup>3</sup>.

То, что для других непременно обернулось бы бедой, имажинистам сходило с рук: громят анархистов (осень 1919 года), а с глашатая анархизма Шершеневича как с гуся вода, громят эсеров (1921–1922) — и даже не вспоминают о сотрудничестве с ними Есенина; детям сходят с рук их спекуляции и резкие политические выступления. По воспоминаниям Шершеневича, как-то после очередной выходки и очередного веселого допроса имажинисты поняли: “Советская страна нас любит и ждет от нас дальнейших подвигов”<sup>4</sup>.

Однако на самом деле имажинисты не были “больными детьми” и вовсе не собирались пускать такое важное дело, как диалог с властью, на самотек. Главный секрет имажинистского лавирования — в утверждении независимости от системы при одновременном налаживании личных связей с ее отдельными представителями. Многих из них можно обнаружить уже в списке членов “Ассоциации вольнодумцев”: это издательские работники И. Старцев и А. Сахаров, упомянутый заведующий Трамонта Г. Колобов (обеспечивающий “банде” отдельные вагоны

1 Мариенгоф о Блюмкине: “Романтик! Таких тогда было немало” (Мой век... С. 138).

2 Мой век... С. 596.

3 Мой век... С. 374.

4 Там же. С. 601.

для гастролей по России, а заодно и прикрытие есенинским спекуляциям) и, конечно, входивший в близкое окружение Троцкого Я. Блюмкин; он обычно вызволял своих друзей-“образоносцев” из разных передряг. Но этот список — лишь малая часть все время расширяющегося дружеского круга, который помогал ордену поддерживать свое влияние<sup>1</sup>.

Как известно, перед каждым походом в высокий начальственный кабинет Есенин мыл голову — чтобы “выглядеть покрасивей и попоэтичнее”<sup>2</sup>. Здесь дело не только в гигиене: эта процедура (почти ритуальная) входит в есенинскую тактику оболщания нужных людей. Профессиональный шармер, он владел секретом “обхождения”<sup>3</sup>: лезть в его устах была улыбчивой, мягкой, а потому убедительной и неотразимой; дружеская грубость — терпкой и ласковой; внушение — легким и неназойливым. Он мог скромно и деликатно молчать или нести откровенную ерунду — и то и другое равно покоряло.

В есенинском обхождении, лишенном заискивания и низкопоклонства, было что-то романтическое: он легко и естественно чувствовал себя в героическом антураже, среди символов силы и славы. Так, заведующего Центропечати Малкина Есенин оболщает медалями — еще до того, как они вошли в советскую практику. Вспоминает Мариенгоф:

На Центропечати зиждилось все благополучие нашего издательства <“Имажинисты”>. Борис Федорович был главным покупателем, оптовым.

Сидим как-то у него в кабинете. Есенин в руках мнет заказ: требовалась на заказе подпись заведующего. А тогда уже были мы Малкину со своими книгами что колики под ребро. Одного слова “имажинист” пугались, а не только что наших книг.

Глядит Малкин на нас нежными и грустными своими глазами <...> и, увлекаясь, что-то рассказывает про свои центропечатские дела. Есенин поддакивает и восторгается. Чем дальше, тем больше. И наконец, весьма хитро придя в совершеннейший восторг от административного гения Малкина, восклицает:

— А знаешь, Борис Федорович, ведь тебя за это, я так полагаю, медалью пожалуют! <...>

1 Ставка группы на личные связи с ответственными работниками приводила к возникновению слухов и легенд. Говорили, что имажинисты имеют “большие связи среди старых партийных работников”, пьют с чекистами (см. донос на Кусикова: С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 269); близки к “большевистским сферам” и даже могут показать желающим, “как расстреливают” (Ходасевич В. Собр. соч. Т. 4. С. 140).

2 Мой век... С. 130.

3 Этим словом Мариенгоф определяет есенинский подход к влиятельным людям. См.: Мой век... С. 311.

От такого есенинского слова (уж очень оно смешное и теплое) и без того добрейший Малкин добреет еще больше.

Глядишь — и подписан заказ на новое полугодие<sup>1</sup>.

Обхаживая власть имущих, Есенин ловко манипулировал атрибутами власти. Вот показательный эпизод из “Романа без вранья”:

На платформе около своего отдельного пультмановского вагона стоял комиссар.

Глаза у комиссара круглые и холодные, как серебряные рубли. Голова тоже круглая, без единого волоска, ярко-красного цвета. Я шепнул Диду на ухо:

— Эх, не возьмет нас “свекла”!

А Есенин уже ощупывал его пистолетину, вел разговор о преимуществе кольта над пряמודушным наганом, восхищался сталью кавказской шашки и малиновым звоном шпор.<...>

Конечно, комиссар взял нас в свой вагон, конечно, мы поехали в Петербург, спали на красном бархате и пили кавказское вино хозяина вагона<sup>2</sup>.

С другой стороны, Есенин, с его замечательной реакцией и даром актерского жеста, мог легко умирять начальственные наганы, постоянно присутствовавшие в имажинистском быту. Один из таких случаев с участием Г. Устинова, в то время сотрудника “Правды”, рассказан Шершеневичем. Художник Дид Ладо однажды ляпнул спяну дурное слово о большевиках. Тогда “Устинов встает... подходит к столу, вынимает оттуда наган и мерными, спокойными шагами направляется к художнику. <...>

Губы говорят четко и разборчиво:

— Сейчас я тебя (в бога, в душу и во все прочие места) прикончу.

Медленно поднимается наган. Кусиков и я бросаемся между ними. Одно мгновение, и Ладо стоит на коленях, прося прощения, а мы с Кусиковым летим куда-то в угол:

— Будете защищать — и вас заодно!

И вдруг врывается Есенин. Он, кажется, никогда не был таким решительным. Он своим рязанским умом лучше всех оценил создавшееся положение. Он подлетает к стоящему на коленях художнику: раз по морде! два по морде! Дид Ладо голосит, Есенин орет, на шум открываются двери и из коридора сбегаются люди. Стрелять Устинову уже трудно. Да и картина из

1 Мой век... С. 311–312.

2 Мой век... С. 323.

трагической стала комической: Есенин сидит верхом на Ладо и колотит его снятым башмаком”<sup>1</sup>.

Другой случай приведен в мариенгофовском “Моем веке...”:

Как-то в “Кафе поэтов” молодой мейерхольдовский артист Игорь Ильинский вытер старой плюшевой портьерой свои запылившиеся полуботинки с заплатками над обоими мизинцами.

— Хам! — заорал Блюмкин. И, мгновенно вытащив из кармана здоровенный браунинг, направил его черное дуло на задрожавшего артиста. — Молись, хам, если веруешь! <...>

Ильинский стал белым, как потолок в комнате, недавно отремонтированной.

К счастью, мы с Есениным оказались поблизости.

— Ты что, опупел, Яшка?

— Бол-ван!

И Есенин повис на его поднятой руке.

— При социалистической революции хамов надо убивать! — сказал Блюмкин, обрызгивая нас слюнями. — Иначе ничего не выйдет. Революция погибнет<sup>2</sup>.



Сергей Есенин и Анатолий Мариенгоф  
Фотография уличного фотографа. Москва,  
Цветной бульвар. 1921

Итак, все работало в период московского поэтического бума 1919—1922 годов на имажинистов: и запреты Госиздата (они ставили “командоров” в исключительное положение — по сравнению с другими, менее предприимчивыми поэтами), и травля в большевистской прессе (она создавала рекламу), и дружба с ответственными советскими и партийными работниками, и вино (с ним литературный быт превращался в постоянный бо-

<sup>1</sup> Мой век... С. 591.

<sup>2</sup> Там же. С.: 138.





Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф (*сидит*) и Лев Повицкий  
Харьков, 1920

гемный праздник), и даже наганы (они добавляли всему романтический треск и блеск).

Значит, то, о чем так часто говорили имажинисты, сбылось: они “установили диктатуру в Москве, диктатуру самую настоящую и чувствительную” (Б. Соколов)<sup>1</sup>. Любимая метафора Есенина (“кто кого съест”) — была реализована: многим в 1921–1922 годах казалось, что “орден” поглотил “всю современную поэзию” (В. Клюева)<sup>2</sup>. Пусть на короткий срок, но Есенину и его друзьям дано было почувствовать себя “победителями-венценосцами”<sup>3</sup>, взявшими штурмом революционную Москву. И сдавшиеся им москвичи наградили своих завое-

вателей поистине мушкетерскими эпитетами: “Молодые, ловкие, смелые, сильные, безусловно, фигуры исторические. Своей силой, волей, беспринципной удалью, талантом они к себе так притягивают <...> и без конца готовы слушать этих исключительных добрых молодцев, с таким искусством и такой артистичностью подвизавшихся на эстраде” (Т. Мачтет)<sup>4</sup>.

1 Летопись... Т. 3, Кн. 1. С. 30.

2 Летопись... Т. 3, Кн. 1. С. 201.

3 Формула Н. Абрамовича (*Абрамович Н. Я.* Современная лирика: Клюев, Кусиков, Ивнев, Шершеневич. М., 1921. С. 35).

4 Летопись... Т. 3, Кн. 1. С. 170–171.



Сергей Есенин. 1923 (?)

# Глава восьмая

## Эпоха звучащего слова: Есенин против Маяковского и Блока

**Т**олько объединившись с поэтически чуждыми ему имажинистами, Есенин обрел себя — таков один из парадоксов есенинской эволюции.

Вопрос: в чем же автор “Кобыльих кораблей” и “Сорокоуста” принципиально расходился со своими ближайшими друзьями? — требует историко-литературной оглядки. Нельзя судить о внутренних противоречиях “ордена” без постановки более общей проблемы — отношения имажинистов и футуристов.

Имажинизм начался с комически-ритуального выступления против футуризма, объявленного в февральской Декларации (1919). Ритуал, впрочем, не обошелся без метафорических недоразумений. С первых абзацев авторы Декларации вроде бы пародируют надгробную речь: “Скончался младенец, горластый парень десяти лет от роду (родился 1909 — умер 1919). Издох футуризм. <...> О, не радуйтесь, лысые символисты, и вы, трогательные наивные пассеисты. Не назад от футуризма, а через его труп вперед и вперед, левой и левой кличем мы. <...> Вы, кто еще смеет слушать, кто из-за привычки “чувствовать” не научился мыслить, забудем о том, что футуризм существовал, так же как мы забыли о существовании натуралистов, декадентов, романтиков, классиков, импрессионистов и прочей дребедени. К черту всю эту галиматью”<sup>1</sup>.

Но затем сами могильщики никак не могут забыть, “что футуризм существовал”; или, вернее, все время забывают, что он уже умер. И потому сбиваются с некролога — то на вынесение приговора (“И вот настает час расплаты”<sup>2</sup>), то на определение диагноза (“О, эта истерика сгнаивает футуризм

<sup>1</sup> Поэты-имажинисты. С. 8.

<sup>2</sup> Там же.

уже давно. Вы, слепцы и подражатели, плагиаторы и примыкатели, не замечали этого процесса. Вы не видели гноя отчаянья, и только теперь, когда у футуризма провалился нос новизны, — и вы, черт бы вас побрал, удусужились разглядеть”<sup>1</sup>), то на призыв к восстанию (“Давайте грянем дружнее: футуризму и футурию смерть. <...> Нам противно, тошно от того, что вся молодежь, которая должна искать, приткнулась своей юностью к мясистым и увесистым соскам футуризма, этой горожанки, которая, забыв о своих буйных годах, стала “хорошим тоном”, привилегией дилетантов”<sup>2</sup>). Желание как можно сильнее лягнуть “старших”<sup>3</sup> обернулось в Декларации комическими противоречиями: труп младенца плохо сочетался с образумившейся пожилой “горожанкой”, а провалившийся нос — с “увесистыми сосками”.

Имажинисты и в дальнейшем не забывали о футуристах, продолжая бомбардировать их инвективами: “Футуризм есть не поэзия, потому что он есть сочетание не слов, а звуков”; он “красоту быстроты <sup>4</sup> подменил красотью суеты”; футуристы страдают “отсутствием мужественности”, будучи при этом “идеологами животной философии и теории благого Мата”; номинально утверждая будущее, они фактически уперлись “в болото современности”<sup>5</sup>.

Однако с первых же дней существования “ордена” эта его поспешная готовность подвергнуть своих литературных противников всевозможным уничижительным метафорическим процедурам (суду, лишению в правах, списанию по болезни, умерщвлению, похоронам) и обвинить во всех мыслимых литературных грехах (некомпетентности, дикости, бестолковости, конъюнктурности) — многим показалась подозрительной. Именно агрессивность и огульность брани наводили на мысль о слишком тесной связи имажинистов с теми, на кого они нападали. За поднятым ниспровергателями футуризма шумом угадывалось отчаянное и все же тщетное стремление детей<sup>6</sup>

1 Поэты-имажинисты. С. 8.

2 Там же. С. 7.

3 Обозначение футуристов как “старших”, а имажинистов — как “младших”, разумеется, не связано ни с возрастом поэтов, ни с их литературным стажем. Смысл этого соотношения в другом: те же Ивнев и Шершеневич, сверстники футуристов и сами в прошлом участники футуристических групп, в имажинизме как бы начинали литературную жизнь с белого листа — и, таким образом, выступали в роли “младших”.

4 В. Шершеневич играет с лозунгом, выдвинутым Маринетти в первом футуристическом манифесте (1909): “Великолепие мира обогатилось новой красотой — красотой скорости” (*Маринетти Ф.-Т.* Новая религия — мораль скорости // Современный Запад. Пг.; М., 1923. № 3. С. 192).

5 *Шершеневич В.* Листы имажиниста... С. 383, 386, 388, 390.

6 О футуристах-“отцах” и имажинистах-“детях” рассуждал, например, А. Архангельский в статье “Имажинисты” (1921) (см.: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 209). Говоря о поэмах Мариенгофа, В. Марков писал: “Отцом (Мариенгофа. — *О. Л., М. С.*), конечно, следует считать Маяковского, в любовных поэмах которого находим то же сочетание секса, боли и безумия” (*Марков В.* О свободе в поэзии: Статьи, эссе, разное. СПб., 1994. С. 53).

или младших братьев отмежеваться от старших<sup>1</sup>. Критики не раз уличали “образоносцев” в ученическом списывании с отрицаемых ими образцов<sup>2</sup>. А еще чаще — просто путали непримиримых противников: ““Чистые” футуристы <...> утверждают “имажинизм”” (Н. Никодимов)<sup>3</sup>.

Сами же футуристы третировали одних членов новой “секты” как досадную родню, расхищающую не ею нажитое наследство (“горе-подражателей”<sup>4</sup>), а других — как отступников и перебежчиков. Эти метафорические оттенки чуждости и родства сфокусировались в презрительной кличке, которой Маяковский и его соратники заклеили имажинистов, — “эгофутурня”<sup>5</sup>. Еще с дореволюционных времен к репутации некоторых из видных “рыцарей образа” приклеились ярлыки футуристических эпиграмм. Так, выдав экспромтом пародию на Р. Ивнева, в то время (1914) эгофутуриста, Маяковский как будто одернул — знай свое место! — зарвавшееся маленькое “я” (“эго”), не подкрепленное “футуристическим” голосом и темпераментом. Стихотворение Ивнева, следующее распространенной тогда схеме, с образа России перескакивало на “поэтическую личность”:

*Каждый год проезжаю я мимо  
Деревень и полей России.  
На лице остатки от грима,  
И манжеты у меня кружевные.*

*На станциях выхожу из вагона  
И лорнирую неизвестную местность,*

- 1 “...От “футуристов” откололась группа <...> которая, выругав в сумбурно-хлестком “манифесте” своих старших братьев дураками и декадентами, присвоила себе название “имажинистов”” (В. Фриче, 1919; цит. по: Летопись... Т. 2. С. 311); “Имажинизм внезапно ополчился на орла, в чьем гнезде он увидел свет” (Н. Асеев, 1921; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 56).
- 2 Рецензент “Вестника жизни” (1919) писал, что имажинистская поэзия — “слабые, подражательные футуризму попытки” (цит. по: Летопись... Т. 2. С. 290); “Прочитайте их книги, и станет непререкаемым их эпигонство” (Н. Асеев, 1921; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 56).
- 3 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 253. Распространенные формулы того времени — “футуристическая литература <...> “имажинистов”” (В. Лихачев; цит. по: Литературная жизнь России 1920-х годов... Т. 1. Ч. 1. С. 362); имажинисты — “футуристические тьякуны” (А. Меньшой; цит. по: Там же. С. 356); “футуронимажинисты” (П. Яровой, цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 105).
- 4 См.: Крученых А. К истории русского футуризма: Воспоминания и документы. М., 2006. С. 103. “О Брюсове и Блоке Маяковский и Каменский говорили с юным задором, как говорят всегда дети об отцах. Но вот зашла речь об имажинистах, о Есенине, Мариенгофе, Шершеневиче, и в голосе Маяковского послышалась как бы старческая дрожь. Маяковский и Каменский забрюзжали, заворчали — так всегда отцы говорят о детях” (С. Спасский; цит. по: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 239).
- 5 См.: Асеев Н. Встречи с Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 340. См.: “Дезертир, перебежчик наш <...> Шершеневич пытался организовать имажинизм...” (Бурлюк Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. СПб., 1994. С. 49).

*И со мной всегдашняя бонна,  
Будущая известность.*

“И вот однажды, — вспоминает В. Пяст, — после того как в девятый или в десятый раз продекламировал Рюрик Ивнев про свою грядущую бонну, — внезапно на его место встал не кто иной, как <...> огромный Маяковский, — и, стараясь подражать могучим своим басом задушевному тенору говорившего перед ним, произнес:

*А с лица и остатки грима  
Быстро смывают потоки ливнев...  
А известность — промчится мимо, —  
Оттого что я — только Ивнев...”<sup>1</sup>*

В том же году (март 1914) в Шершеневича, тогда “маяковиста”<sup>2</sup>, выстрелили эпиграммой с другого фланга футуристического движения — со стороны враждебной Маяковскому “Центрифуги”. Двумя строками: “Пусть не пугает Володя в кофте / И компилятор ловкий. Узнайте, кто!”<sup>3</sup> — К. Большаков прямо обвинил Шершеневича в подражательности и намеком — в низкопоклонстве перед Маяковским. Позже “Володя”, уже избавившийся от “кофты”, припомнит эти обвинения и использует их в словесных баталиях с изменившим ему адъютантом.

Что останется от имажинизма, если вычесть из него футуризм? — риторически вопрошали на рубеже 1910–1920-х годов свидетели и участники тогдашних литературных боев. В. Степанова считала, что “командоры” не придумали ничего нового — кроме самого названия школы.

“Удивительно, какая наглость, — записала художница в своем дневнике после одного из имажинистских вечеров 1919 года, — драть у того же Маяковского и говорить, что он ничто, сломанная иголка, и дерет у Уитмена, который тоже ничто.

Вообще из породы наглых имажинисты, и если бы не слово “имажинизм”, то, конечно, они были бы самого дешевого сорта.

О футуризме имажинисты выражаются так: футуризм — корабль, раз-

1 См.: Пяст Вл. Встречи. М., 1997. С. 176, 374 (комментарии Р. Д. Тименчика).

2 Определение Н. Лебедева; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 246.

3 См.: Харджиев Н. И. От Маяковского до Крученых: Избранные работы о русском футуризме. М., 2006. С. 356. “Поскоблите немного имажиниста Шершеневича, — призывал Львов-Рогачевский, — и вы увидите в нем футуриста-эклетику” (Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. М., 1922. С. 235).





Сергей Есенин, Анатолий Мариенгоф, Велимир Хлебников  
Харьков. 1920

бившийся о рифы; и когда они, имажинисты, побежали спасать находившихся там людей, то корабль оказался пустым, и даже скрепы были чужие! А сами, провозгласив слово “имаж”, остальное берут — часть у футуризма, часть у Северянина, читают нараспев под Маяковского и Северянина, а Мариенгоф — под декадентов, à la Оскар Уайльд.

Имажинизм я объясняю просто: Шершеневич захотел вылезти, набрал себе мальчуганов, чтобы не связываться с Маяковским, перед которым он, конечно, погибает<sup>1</sup>.

Через два года Е. Замятин вынес “ордену” тот же, по сути, вердикт: если трюки с выпячиванием образа и могли помочь “юрким” имажинистским авторам “вылезти”, то уж освободиться от влияния “наиюрчайших” футуристов им было не дано: “Лошадизм московских имажинистов —

слишком явно придавлен чугушной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить — им не перепахнуть и не перевопить Маяковского”<sup>2</sup>. В 1924 году Ю. Тынянов подвел итог: имажинисты “не были ни новы, ни самостоятельны, да и существовали ли — неизвестно”<sup>3</sup>.

Уничижительные эпитеты в отношении “командоров” несправедливы: все они были талантливы — от Кусикова, лучшего из есенинских эпигонов, до Шершеневича, не просто “ловкого”, но поистине выдающегося “компилятора”. И все же совсем избавиться от клейма эпигонов и компиляторов, выйти из-под власти футуристической “чугунной тени” ни Мариенгофу, ни Шершеневичу так и не удалось (как Кусикову не удалось вырваться из есенинского плена). Именно на эту непреодолимую печать вто-

1 Степанова В. Человек не может жить без чуда. М., 1994. С. 87–88.

2 Замятин Е. Я боюсь: Литературная критика. Публицистика. Воспоминания. С. 50.

3 Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика... С. 170. Ср.: “Имажинисты издали немало “манифестов”; многое в этих манифестах повторено из того, что говорили футуристы, или скопировано с того, что они делали. Это естественно, так как “глава школы” Вадим Шершеневич сам долго стоял в рядах футуристов” (Брюсов В. Собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 519–520).

ричности и указывал Есенин, рассуждая о судьбе Шершеневича (и “ордена” в целом): “Вадим умный! Очень умный! И талантливый! Понимаешь? С ним всегда интересно! Я даже думаю так: все дело в том, что ему не повезло. Мне повезло, а ему нет. Понимаешь? Себя не нашел! Ну, а раз не нашел... Я его очень люблю, Вадима!”<sup>1</sup>

“Образоносцы” не нашли себя — то есть, если воспользоваться тыняновской шуткой, пришли к столу, когда обед был съеден<sup>2</sup>. Неслучайно даже программное шершеневичевское стихотворение, с программным названием “Принцип примитивного имажинизма”<sup>3</sup>, до обидного напоминает “Облако в штанах” Маяковского и “Вокзал” Пастернака<sup>4</sup>. Это лишний раз указывает на роковое “невезение” имажинистов: *за что ни схва-*

1 Эрлих В. Право на песнь. С. 25.

2 См.: Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002. С. 83.

3 Написано В. Шершеневичем в 1918 году; включено им в сборник “Лошадь как лошадь”.

4 Аллюзия на Пастернака замечена Э. Шнейдерманом (см.: Поэты-имажинисты. С. 477). Ср.:

*Все было неожиданно. До бешенства вдруг.  
Сквозь сумрак, по комнате бережно налитый,  
Сказала: — завтра на юг  
Я уезжаю на лето!*

*И вот уже вечер громоздившихся мук,  
И слезы крупней, чем горошины...  
И в вокзал, словно в ящик почтовых разлук,  
Еще близкая мне, ты уже брошена!*

(В. Шершеневич)

*Вошла ты,  
резкая, как “наме!”,  
муча перчатки замши,  
сказала:  
“Знаете —  
Я выхожу замуж”.*

*Что ж, выходите.  
Ничего.  
Покреплюсь.  
Видите — спокоен как!  
Как пульс  
покойника.*

*.....  
Опять влюбленный выйду в игры,  
Огнем озаря бровей загиб,  
Что же!*

*И в доме, который выгорел,  
иногда живут бездомные бродяги!*

(В. Маяковский)

*Вокзал, несгораемый ящик  
Разлук моих, встреч и разлук,  
Испытанный друг и указчик,  
Начать — не исчислить заслуг,*

(Б. Пастернак)

Возможно, впрочем, что Шершеневич сознательно цитирует или пародирует Маяковского и Пастернака — чтобы дать понять: футуризм — не более чем “примитивный” имажинизм. Но даже если это так, ирония Шершеневича работает против него: по сравнению с тематическим, стилистическим, языкотворческим богатством футуризма примитивной представляется именно практика имажинизма.



Бenedикт Лившиц, Николай Бурлюк, Владимир Маяковский, Давид Бурлюк, Алексей Крученых. 1912

тятся они в своей погоне за новизной, все, оказывается, — уже было.

Лозунги из манифестов: “современная ритмика образов”, мотивированная “кинематографической быстротой переживаний”<sup>1</sup>, образ как “кратчайшее расстояние с наивысшей скоростью”?<sup>2</sup> Уже было. Еще Маринетти в “Техническом манифесте футуристической литературы” (1912) проповедовал “беспроволочное воображение” (“l’immaginazione senza fili”), “телеграфические образы” (“immagini telegrafiche”) и “конденсированные метафоры” (“metafore condensate”) <sup>3</sup>. “Кратчайшим расстоянием” имажинистского образа было расстояние до футуристических образцов, на что остроумно указывал В. Шкловский:

Нужен новый мир, а в старом мире Маяковского уже завелись дачники: это имажинисты <...>

У Маяковского — мне говорил об этом Хлебников, хваля Владимира, — образы косолапые, неполно совпадающие, они дают шум, переключают. Его метафоры противоречивы, в его стихах струи разного нагрева.

Уже жил Шершеневич, обрадованный тем, что вещи бывают сходны, ассоциативная связь по сходству уже объявлялась отмычкой, открывающей двери искусства.

Игра в “как” была оборудована у имажинистов как бильярдная на шесть столов<sup>4</sup>.

Лозунги из манифестов Шершеневича: “разрушение грамматики”, “ревностная борьба с глаголом”?<sup>5</sup> Тоже уже было. Ратуя за “аграмма-

1 Цит. по: Летопись... Т. 2. С. 275.

2 Поэты-имажинисты. С. 35.

3 См.: Маринетти Ф.-Т. Первый манифест футуризма... С. 167.

4 Шкловский В. Собр. соч. Т. 3. С. 66.

5 Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 411, 409.

тичность” ради освобождения образа<sup>1</sup>, теоретик имажинизма всего лишь предлагает под новым соусом свои давние переводы тезисов Маринетти<sup>2</sup>. Но и без этих переводов, независимо от итальянцев, русские футуристы в начале 1910-х годов проводили “эксперименты на пути канонизации безглагольности”<sup>3</sup>; например, Маяковский нередко ликвидирует в слове грамматический признак отглагольности, чтобы действие превратилось в предмет и “вещественный мир стал еще вещественнее”<sup>4</sup>.

*Маскарад с цилиндрами?* И это уже было. Цилиндр как прием ввел Маяковский осенью 1913 года. Вспоминает Б. Лившиц:

Сопровождаемые толпою любопытных, пораженных оранжевой кофтой и комбинацией цилиндра с голой шеей, мы стали прогуливаться.

Маяковский чувствовал себя как рыба в воде.

Я восхищался невозмутимостью, с которой он встречал устремленные на него взоры.

Ни тени улыбки.

1 Там же. С. 409.

2 В 1914 году вышла книга “Манифесты итальянского футуризма” в переводе В. Шершеневича. В “Техническом манифесте футуризма” Маринетти требовал “уничтожения синтаксиса”, приветствовал “употребление глагола в неопределенном наклонении” (*Маринетти Ф.-Т. Технический манифест футуризма...* С. 163). В духе итальянского футуризма Шершеневич, борясь с грамматикой, приходит не к отказу от глаголов, а к усилению инфинитивов, “инфинитивному письму” (см.: *Жолковский А. К. Об инфинитивном письме Шершеневича // Русский имажинизм... С. 291–305*). В трактате “2х2 = 5” Шершеневич все же вынужденно ссылается на Маринетти, компенсировав свои заимствования из манифестов мэтра парадоксальными нападками на него: “Протяните цепь существительных, в этом правда Маринетти, сила которого, конечно, не в его поэтическом таланте, а в его бездарности. <...> Маринетти, потерявший когда-то фразу: “Поэзия есть ряд непрерывных образов, иначе она только бледная немочь”, — фразу, которую все книги имажинистов должны бы носить на лбу, как эпитафия, — уже требовал разрушения грамматики. Однако он требовал не во имя освобождения слова (а как же лозунг из “Технического манифеста” и четвертого футуристического манифеста — “слова на свободе”? — О. Л., М. С), а во имя большей убедительности мысли” (*Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 411*). В период своего ученичества у Маринетти будущий создатель имажинизма высказывался о создателе футуризма совсем в другом тоне: “Образ за образом, образ за образом, почти полное отсутствие простого описания, снова атака образов. Эта образность — общее свойство произведений Маринетти, но никогда это нагромождение образов, самых разнообразных, зачастую противоречащих друг другу, этот метод политематизма не были применены с большей удачностью” (чем в поэме “Битва при Триполи”. — О. Л., М. С.) (цит. по: *Дроздов В. А. Зарождение русского имажинизма в творчестве Шершеневича (хронология событий, 1911–1916 годы) // Русский имажинизм... С. 46*). Возможно, и сам термин “имажинизм” был взят Шершеневичем не из интервью с “имажистом” Э. Паундом в “Стрельце” (1914), а из “Технического манифеста” Маринетти, в котором он пишет о “ряде непрерывных образов” (“La poesia deve essere un seguito ininterrotto di immagini”) и о том, что образы — это кровь поэзии (“il sangue stesso della poesia”). См.: *Markov V. Russian Imaginism. P. 2–3; Дроздов В. А. Зарождение русского имажинизма в творчестве Шершеневича (хронология событий, 1911–1916 годы) // Русский имажинизм... С. 49–50*.

3 *Якобсон Р. Работы по поэтике. М., 1987. С. 292.*

4 *Гаспаров М. Л. Владимир Маяковский // Очерки языка русской поэзии XX века: Опыт описания идиостилей. М., 1995. С. 370.*



Книга Вадима Шершеневича “ $2x2 = 5$ : Листы имагиниста” (М., 1920)  
Художник Б. Р. Эрдман. На последней странице обложки — портрет автора книги работы Б. Р. Эрдмана

Напротив, мрачная серьезность человека, которому неизвестно почему докучают незаконным вниманием. <...>

Хотя за месяц до того Ларионов уже ошарашил москвичей, появившись с раскрашенным лицом на Кузнецком, однако Москва еще не привыкла к подобным зрелищам, и вокруг нас разрасталась толпа зевак<sup>1</sup>.

Зрелищный эффект будетлянского маскарада еще усилился, когда Маяковский заменил оранжевую кофту на желтую — “из трех аршин заката”. Усилился настолько, что юный футурист вполне мог посостязаться в популярности со знаменитым гастролером Максом Линдером: “Умопомра-

чительный фрак парижанина перечеркивала доморощенная полосатая кофта, и в поединке двух цилиндров — “цилиндра, как такового” и цилиндра будетлянского — поражение первого объяснялось отнюдь не патриотизмом русской публики, как известно, всегда готовой отдать предпочтение за границе: перекормленные футуристическими “аттракционами”, петербуржцы уже потребовали более острой пищи, чем та, которую мог предложить ей неотразимый Макс”<sup>2</sup>.

В 1925 году на одном из диспутов к Маяковскому обратились с галерки: “— Где желтая кофта и цилиндр?

— Я продал другому десять лет тому назад, — немедленно отвечал Маяковский.

— Кому?

— Мариенгофу”<sup>3</sup>.

1 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец: Стихотворения. Переводы. Воспоминания. Л., 1989. С. 424–425.

2 Там же. С. 443.

3 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 286. Ср. с фразой, которую Р. Ивнев приписывает Маяковскому: “Весь имагинизм помещается в цилиндре Мариенгофа” (Ивнев Р. Избранное. М., 1988. С. 515).

Скандалы? Опять-таки уже были. Подробности футуристических вечеров обрастали легендами. Мемуаристы и через много лет спорили, куда на “Первом вечере речетворцев” (осень 1913 года) выплеснул чай Крученых. По версии “Полутораглазого стрелца”, “только звание безумца, которое из метафоры постепенно превратилось в постоянную графу бюджетлянского паспорта, могло позволить Крученых, без риска быть искрошенным на мелкие части, <...> выплеснуть в первый ряд стакан горячего чаю, пропищав, что “наши хвосты расцвечены в желтое” и что он, в противоположность “неузнанным розовым мертвецам, летит к Америкам, так как забыл повеситься”. Публика уже не разбирала, где кончается заумь и начинается безумие”<sup>1</sup>. Если верить мемуаристам, то получается, что любая бытовая вещь в руках Крученых превращалась в футуристическое оружие. “Был визг, — так Шкловский описывает выступление бюджетлян перед “медичками”. — Маяковский прошел сквозь толпу, как духовой утюг сквозь снег. Крученых отбивался калошами”<sup>2</sup>. И пусть сам Крученых позже будет негодовать: “Моя роль <...> сильно шаржирована”; “утрировал мое выступление и В. Шкловский”<sup>3</sup> — надо признать, что комические преувеличения (а также шаржирование и утрировка) мемуаристов самым естественным образом вытекают из скандальной тактики футуристов; их выходки так и просились в художественный текст (“на это надо уже романы писать”<sup>4</sup>).

Гиперболы возникали на другой день после футуристических акций — в выпусках утренних газет. Вот Маяковский ошарашил “Бродячую собаку” чтением своего “Вам!” (февраль 1915 года):

Публика <...> застыла в изумлении: кто с поднятой рюмкой, кто с куском недоеденного цыпленка. Раздалось несколько недоумевающих возгласов, но Маяковский, перекрывая голоса, громко продолжал чтение. Когда он вызывающе выкрикнул последние строчки <...> некоторые женщины закричали: “ай, ох!” и сделали вид, что им дурно. Мужчины,

1 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 435. Остается вопрос, была ли при этом произнесена реплика: “Так я плюю на низкую чернь”, как следует из отчета газеты “Русское слово”? (цит. по: Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 658). Ср. в фельетоне Блока ““Без божества, без вдохновенья” (Цех акмеистов)”: “...футуристы разбили несколько графинов о головы публики первого ряда, особенно желающей быть “эпатированной”” (Блок А. Собр. соч.: В 8 т. Т. 6. С. 180); и в мемуарах М. Бурлюк: “Крученых производил впечатление мальчика, которому на эстраде хочется расшалиться и <...> бросать в публику графином с водой” (Бурлюк М. Н. Первые книги и лекции футуристов // Бурлюк Д. Д. Фрагменты из воспоминаний футуриста. Письма. Стихотворения. С. 284).

2 Шкловский В. “Еще ничего не кончилось...”. М., 2002. С. 352.

3 Крученых А. К истории русского футуризма... С. 91—92.

4 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 218.





Владимир Маяковский  
Казань. 1914

остервениясь, начали галдеть все сразу, поднялся гам, свист, угрожающие возгласы...<sup>1</sup>

Когда Маяковский прочел <...> свои стихи:

*Вам ли, любящим баб да блюда,  
Жизнь отдавать в угоду?!*

*Я лучше в баре б... буду  
подавать ананасную воду, —*

то какой был визг. Женщины очень плакали”<sup>2</sup>.

И что же? “Биржевые ведомости” не преминули откликнуться на скандал — скандальными преувеличениями фельетонного бурлеска: “В цитадели футуризма, в подвале “Бродячей собаки”,

был бой, заставивший публику на минуту отвлечься от боев под Ипром и Суассоном. Г<осподину> Маяковскому удалось на минуту оттеснить Вильгельма и приковать опять внимание публики к футуризму”<sup>3</sup>.

“Кафейные” акции, реклама, эпатаж? Все уже было. “Кафейный” период русской поэзии был периодом “штурм унд дранг”<sup>4</sup>, — писал Шершеневич<sup>4</sup>; вот только все формы этого “штурм унд дранг” придумали футуристы, в начале 1917 года открывшие первое московские “Кафе поэтов”. Двумя годами позже они старательно скопировали у предшественников идею оформления своих кафе<sup>5</sup>: тот же “беспощадный” стиль (“распухшие женские торсы, глаза, не принадлежащие никому”<sup>6</sup>, в футуристическом “Кафе поэтов” — “нагие женщины с глазом в середине живота”<sup>7</sup> в имажинистском “Стойле Пегаса”), те же намалеванные на стенах цитаты (заумно-абсурдистские у футу-

1 Воспоминания Т. Толстой-Вечорки. Цит. по: Катанян В. Маяковский: Литературная хроника. Л., 1948. С. 70.

2 Шкловский В. Собр. соч. Т. 1. С. 64.

3 Катанян В. Маяковский... С. 70.

4 Мой век... С. 608.

5 “Домино” (открыто в январе 1919 года) и “Стойло Пегаса” (открыто в октябре 1919 года).

6 Описание С. Спасского. См.: В. Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963. С. 162.

7 Описание М. Ройзмана. См.: Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 36.



В подвале “Бродячей собаки” (В. Маяковский, Н. Евреинов, Ю. Анненков)  
Рисунок Ю. П. Анненкова. 1913

ристов: “Доите изнуренных жаб!”; “К черту вас, комылье и утюги!”<sup>1</sup> — у имажинистов же, конечно, “образные”: “Плюйся, ветер, охапками листьев, / Я такой же, как ты, хулиган”; “Посмотрите: у женщин третий / Вылупляется глаз из пупа”; “В солнце кулаком бац, / А вы там, — каждый собачьей шерсти блоха, / Ползаете, собираете осколки / Разбитой клизмы”<sup>2</sup>), даже тот же художник, Г. Якулов, перешедший к образносцам от будетлян<sup>3</sup>. “Ложа” в дальнем левом углу “Стойла Пегаса” тоже была устроена в подражание футуристическим “главарям”, невольно научившим “командоров”, как манипулировать публикой, как превратить скромный хозяйский столик в центр импровизированного спектакля:

- 1 Строки из стихотворений Д. Бурлюка “Глубился склепе, скрывался башне...” и В. Каменского “Танго с коровами”. См. воспоминания С. Спасского (В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 162).
- 2 Строки из стихотворения Есенина “Хулиган”, его поэмы “Кобыльи корабли” и поэмы Мариенгофа “Магдалина”. См.: *Ройзман М. Все, что помню о Есенине*. С. 36–37.
- 3 По сравнению с футуристическим “Кафе поэтов” оформление “Стойла Пегаса” носило более “персональный” характер: стены имажинистского кафе были украшены авангардными изображениями “командоров” — “намеченное контуром лицо Есенина с золотистым пухом волос”, “человека в цилиндре, в котором можно было признать Мариенгофа, ударяющего кулаком в желтый круг” (*Ройзман М. Все, что помню о Есенине*. С. 36), кубистический портрет Щершеневича. Конечно, не обошлось в оформлении “Стойла” без выпадов против противников будетлян: “В небе — сплошная рвань, / Облаки — ряд котлет, / Все футуристы — дрянь, / Имажинисты — нет” (см.: воспоминания П. Оцуца: *Русское зарубежье о Есенине...* Т. 1. С. 157).



Проект герба “Бродячей собаки”  
Рисунок М. В. Добужинского. 1912

Маяковский не замечает посетителей. Тут нет ни малейшей игры. Он действительно себя чувствует так. Он явился провести здесь вечер. Если кому угодно глазеть, что ж, его это не смущает. Папироса едит в углу рта. Маяковский осматривается и потягивается. Где бы он ни был, он всюду дома. Внимание всех направляется к нему.

Но Маяковский ни с кем не считает-ся. Что-нибудь скажет через головы всех Бурлюку, Бурлюк, подхватив его фразу, подаст уже умышленно рассчитанный на прислушивающуюся публи-

ку ответ. Они перекидываются словами. Бурлюк своими репликами будто шлифует нарастающий вокруг интерес. Люди, как бы через невидимый барьер, заглядывают на эту происходящую рядом беседу. Сама беседа является зрелищем. Но внутрь барьера не допущен никто” (С. Спасский)<sup>1</sup>.

Наконец, и афиши, зазывая посетителей в имажинистские кафе, лишь дословно повторяли журналистские формулы, спровоцированные футуристами. Объявление “4 СЛОНА ИМАЖИНИЗМА”<sup>2</sup> было словно списано из старых газет: “На возвышении сидят “четыре кита” футуризма: Маяковский, Каменский, Гольцшмидт и Бурлюк. Они “занимают публику””<sup>3</sup>.

Но главное, уже было то, что предопределило и поэтику, и литературный быт имажинистов, — сдвиг к установке стиха “на голос”<sup>4</sup> и к театризации стиха.

Имажинистский теоретик и композитор А. Авраамов призывал тоном первооткрывателя: “Заклинаю вас, читатель, *слушайте* живых поэтов — не читайте мертвых и живых не читайте: печатное слово — гибель

1 Цит. по: В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 164–165. В устройстве “ложи”, по сравнению с футуристами, лишь слегка смещены акценты. “Ложей имажинистов называлось вот что, — вспоминает Н. Вольпин, — в дальнем левом углу зала стояли под прямым углом один к другому два диванчика, между ними столик; сидеть тут могли сразу 5–6 человек. К столику еще приставляли кресла, тогда могли пристроиться еще 2–3 человека. Посторонние там сидеть не могли: сидели члены “Ассоциации Вольнодумцев” (т. е. “Ордена Имажинистов”) <...> и их гости...” (Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 40). “Ложя” была в большей степени отдалена и отгорожена от публики, чем столики Маяковского и его сподвижников, — чтобы внушить публике одновременное ощущение недоступности поэтов, властителей сердец, и причастности к тайнам их поэтической власти.

2 См.: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 546.

3 Из фельетона Р. Меделевича (цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 313).

4 См.: *Крученых А.* К истории русского футуризма... С. 178.

для поэзии”<sup>1</sup>; но вовсе не “образоносцы” инициировали великий поворот к устному стиху. Если в 1919–1921 годах “голос стал важнее орфографии” (но выражению В. Шершеневича)<sup>2</sup>, то причиной тому была деятельность футуристов, которые как раз и “вывели поэзию на эстраду”<sup>3</sup>.

О наступлении новой поэтической эпохи будетляне не “объявили”, а прогремели — “сквозь медные горла и надставные трубы, из действовавших, подобно мехам, могучих легких”<sup>4</sup>. В этом поднятом футуристами “шуме и гаме”<sup>5</sup> слышнее всего была “трубная глотка” Маяковского<sup>6</sup>. Его стихи воспринимались прежде всего на слух, они гудели — “обворожительным басом”, “раскатами бархатного голоса”<sup>7</sup>, “чугунного голоса”<sup>8</sup>. Говорили, что речь поэта была настолько оглушительной и энергетически мощной, что выдерживала сравнение с шаляпинским пением: “Тут от эстрады рванулся Маяковский с вытянутой правой рукой и загремел так, что вся аудитория как бы провалилась, ее совсем не было слышно. (Ф. И. Шаляпин в своих воспоминаниях пишет, что лондонская пресса приняла его очень холодно, когда он спел “Демона”, оперу Рубинштейна. Газеты писали, что у него баритон. По их мнению, бас — тот, кто оглушает первые десять рядов партера.) Какая же сила голоса была у Маяковского, когда он заглушал все двадцать рядов Политехнического музея! Причем оглушить Шаляпин мог спокойно сидевшую публику. Это одно дело, а тут все орали, надо было их перекричать” (А. Крученых)<sup>9</sup>; “Он читал неистово, с полной отдачей себя, с упоительным бесстрашием, рыдая, издаваясь, ненавидя и любя. Конечно, помогал прекрасно натренированный голос, но кроме голоса было и другое, несравненно более важное. Не четкой это было, не декламацией, но работой, очень трудной работой шаляпинского стиля: демонстрацией себя, своей силы, своей страсти, своего душевного опыта” (П. Антокольский)<sup>10</sup>.

“Демонстрация себя” Маяковским и футуристами изменила восприятие поэзии: рычагом поэтического успеха стало отныне непосредственное воздействие на органы чувств, читатель превратился в слушателя и зрителя

1 Авраамов А. Воплощение: Есенин — Мариенгоф. М., 1921. С. 20.

2 Мой век... С. 546.

3 Из воспоминаний В. Шершеневича (цит. по: Мой век... С. 506).

4 Пяст В. Встречи. С. 165.

5 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 441.

6 Львов-Рогачевский В. Новейшая русская литература. С. 227.

7 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 434–435.

8 Выражение К. Чуковского (см.: В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 142).

9 Крученых А. К истории русского футуризма... С. 245. По воспоминаниям К. Чуковского, правомерность этого сравнения подтвердил и сам певец, сказавший как-то Маяковскому: “Вы <...> в своем деле тоже Шаляпин” (В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 140).

10 В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 148–149.



Петербург. Вход в кабаре «Бродячая собака»  
Фотография М. Ю. Дмитриева. 1992

ля. Симптомы этого переворота не без горечи отмечала в своих беллетристических мемуарах И. Одоевцева:

Осенью 20-го года Маяковский приехал «удивить Петербург» и выступил в только недавно открывшемся Доме искусств.

Огромный, с круглой, коротко остриженной головой, он скорее походил на силача-крючника, чем на поэта. Читал он стихи совсем иначе, чем было принято у нас. Скорее по-актерски, хотя — чего актеры никогда не делали — не только соблюдая, но и подчеркивая ритм. Голос его — голос митингового трибуна — то гремел так, что стекла звенели, то ворковал по-голубиному и журчал, как лесной ручеек.

Протянув в театральном жесте громадные руки к оглушенным слушателям, он страстно предлагал им:

*Хотите, буду от мяса бешеным  
И, как небо, меняясь в тонах,  
Хотите, стану невыразимо нежным —  
Не мужчина, а облако в штанах?..*





Владимир Маяковский  
Силуэт Е. С. Кругликовой. 1921



Давид Бурлюк  
Казань. 1914

В ответ на эти необычайные предложения зал восторженно загрохотал. Казалось, все грохотало, грохотали стулья, грохотали люстры, грохотал потолок и пол под звонкими ударами женских ног.

— Бис, бис, бис!.. — неслось отовсюду.

Гумилев, церемонно и прямо восседавший в первом ряду, поднялся и, даже не взглянув на Маяковского, стал медленно продвигаться к выходу сквозь кольцо обступивших эстраду буйствовавших слушательниц.

Когда по окончании чтения я пришла в отведенную для поэтов артистическую, прилегающую к зрительному залу, Гумилев все еще находился в ней. Прислушиваясь к крикам и аплодисментам, он, морщась брезгливо, проговорил:

— Как видите, не ушел, вас ждал. Неужели и вас... и вас разобрало? — и, не дожидаясь моего ответа, добавил, продолжая прислушиваться к неистовым крикам и аплодисментам: — Коллективная истерика какая-то. Позор!.. Безобразия!

Вид обезумевших, раскрасневшихся, потных слушательниц, выкрикивающих, разинув рты: “Ма-я-ков-ский, Ма-я-ков-ский!” — казался и мне отвратительным и оскорбительным.





Петроград, Невский, 15. В 1919 году в этом здании открылся Дом искусств 1910-е

Да, я испытывала чувство оскорбления и обиды. Ведь ничего подобного не происходило на “наших” выступлениях. Ни Блоку, ни Гумилеву, ни Кузмину не устраивали таких неистовых, сумасшедших оваций<sup>1</sup>.

О том, в какой степени стихия “громкого устного слова”<sup>2</sup> определяет поэтику Маяковского, лучше всего свидетельствуют гиперболы его стихов: “Кричу кирпичу, / слов исступленных вонзая кинжал / в неба распухшего мякоть”; “Людам страшно — у меня изо рта / шевелит ногами непрожеванный крик”; ““О-го-го” могу / залыется высоко, высоко, / “О-го-го” могу / и охоты поэта сокол / голос / мягко сойдет на низы”; “Мир огромив мощью голоса, / иду — красивый, / двадцатидвухлетний”. Из “образа говорящего” как “площадного митингового оратора” (“от <...> “крикогубого Заратустры” в первой <...> поэме до “агитатора, горлана, главаря” в последней”) “могут быть выведены все черты поэтики Маяковского. Стих без метра, на одних ударениях, — потому что площадной крик только и напирает на ударения. Расшатанные рифмы — пото-

1 Одоевцева И. На берегах Невы. М., 1989. С. 41–42.

2 Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991. С. 388–389.

му что за этим напором безударные слоги стушевываются и неточность их созвучий не слышна. Нарочито грубый язык — потому что на площадях иначе не говорят. Нововыдуманные слова, перекошенные склонения и спряжения, рваные фразы — так крушат старый мир, так взламывают и язык старого мира. Гиперболические, вещественно-зримые, плакатно-яркие образы — чтобы врезаться в сознание ошалелой толпы мгновенно и прочно<sup>1</sup>. “В его устах гипербола стала рупором”<sup>2</sup> — в буквальном смысле, поскольку была рассчитана на гиперболическую силу звучащего стиха.

Порой современники и вовсе настаивали на зависимости приемов и мотивов Маяковского от органических особенностей его речи:

Даже физическое состояние горла <...>, постановка голоса и его звучание имели первостепенную важность для поэта — это был тончайший инструмент для проверки каждой его строки. <...>

Трудно указать в мировой литературе поэта, стиховая техника которого была бы так тесно связана с его голосовым аппаратом, как это было у Маяковского. Грубые, грузные слова, например, несомненно, были обусловлены могучим нижним регистром баса Маяковского. Правда, в его диапазоне были и звенящие верхние ноты. Но именно они часто переходили в фальцет, в визг, ими прорывалась стихия скулящей лирики, всяческого упадка и сомнения в себе<sup>3</sup>.

Иные суждения о будетлянском главаре доходили до гротеска. Пусть Лившиц, соотнося особенности первой поэмы “крикогубого Заратустры” с его тогда еще беззубым ртом, лишь играет метафорой (сочиня “трагедию”, тот “на ходу все время жевал и пережевывал, точно тугую резину, вязнувшие на его беззубых деснах слова”<sup>4</sup>), но Эйзенштейн уже прямо готов связать позднюю поэтику Маяковского с его вставной челюстью:

Обе вставные челюсти Маяковского (тайна, ревниво охранявшаяся в недрах ЛЕФа <...>), конечно, никак не определили собой <...> основных ритми-

1 *Гаспаров М. Л.* Владимир Маяковский... С. 364.

2 *Львов-Рогачевский В.* Новейшая русская литература. С. 229.

3 *Крученых А.* К истории русского футуризма... С. 178–179.

4 *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец... С. 426. См. о беззубости Маяковского — в “Третьей фабрике” Шкловского: “У Маяковского тогда был голос — бас из черного рта...” (*Шкловский В.* “Еще ничего не кончилось...” С. 352).

ческих (а тем более <...> тематических) устремлений нашего крупнейшего поэта<sup>1</sup>, но вместе с тем это же обстоятельство не могло не сказаться на особой чеканке его особой декламационной манеры, которая в свою очередь в известной степени не могла не влиять “обратно” на известную модификацию ритмической разработки его стиха.

Это обстоятельство несомненно еще усиливало сознательно по другим мотивам избранную поэтом плакатную броскость и лапидарную ударность чеканки его стихотворного стиля<sup>2</sup>.

Итак, в ораторской поэзии Маяковского<sup>3</sup> с наибольшей силой и полнотой проявилась “установка на звучащий стих”<sup>4</sup>, общая для столь разных футуристических экспериментов — в диапазоне от северянинского пения<sup>5</sup> до бурлюковских “футуристических волн”<sup>6</sup> (переходящих с рычания на фальцет) и шаманского завывания Крученых<sup>7</sup>. “Фонетика победила”<sup>8</sup>, “звучальные радости”<sup>9</sup> восторжествовали еще тогда, в 1913–1914 годах, — имажинисты лишь оказались в резонансе этой победы и эхом откликнулись на нее.

В той же мере имажинисты воспользовались и футуристическим опытом театрализации стиха. Этому также они больше учились у того, кого больше ругали, — у Маяковского.

Сценический эффект стихов Маяковского объяснялся не только его актерским мастерством. Важнее то, как они были “сделаны” — с расчетом на превращение поэтического приема в театральный жест. Взять хотя бы знаменитое “Нате!”: уже в синтаксисе этого стихотворения содержатся скрытые ремарки к последующему драматическому действию. “Особенный эффект, по-

1 Комическая (учитывая контекст) отсылка к сталинской формуле: “Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи”.

2 *Эйзенштейн С.* Избранные произведения: В 6 т. М., 1964. Т. 3. С. 132.

3 Маяковский “на ораторской речи построил новую ощутимую поэзию” (*Шкловский В.* Собр. соч. Т. 3. С. 92).

4 См.: *Харджиев Н., Тренин В.* Поэтическая культура Маяковского. М., 1970. С. 279–280.

5 Северянин “пел свои стихи на два-три мотива из Томá” и лишь изредка перемежал “свое пение обыкновенной читкой, невероятно, однако, гнусавя и произнося звук “е” как “э”...” (*Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец... С. 457).

6 См.: *Крусанов А. В.* Русский авангард... Т. 2. Кн. 2. С. 359.

7 “Декламируя свои нечленораздельные “дыр, бул, шулы”, он сам крутился на сцене волчком, присвистывал, напоминая собой то сибирского шамана, то индийского заклинателя змей. Крученых аплодировали долго. Он снова выходил и “заумно” подвывал. Было жутко и весело” (*Н. Шугаева*; цит. по: *Крусанов А. В.* Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 447). О “звучо-зауми” Крученых см.: *Крученых А.* Заумный язык: Сейфуллиной, Вс. Иванова, Л. Леонова, И. Бабеля, И. Сельвинского, А. Веселого и др. М., 1925. С. 38, 58, а также: *Ханзен-Леве О.* Русский формализм. Методологическая реконструкция развития на основе принципа остранения. М., 2001. С. 151.

8 *Крученых А.* Заумный язык... С. 38.

9 Формула Каменского (см.: *Крусанов А. В.* Русский авангард... Т. 2. Кн. 2. С. 42).

мню, произвело <...> “Нате!”, — пишет Лившиц в “Полутораглазом стрелце”, — когда, нацелившись в зрительном зале на какого-то невинного бородача, он (Маяковский. — О. Л., М. С.) заорал, указывая на него пальцем:

*Вот вы, мужчины, у вас в усах капуста  
Где-то недокушанных, недоеденных щей! —*

и тут же поверг в невероятное смущение отроду не ведавшую никакой косметики курсистку, обратясь к ней:

*Вот вы, женщины, на вас белила густо,  
Вы смотрите устрицами из раковины вещей!*

Но уже не застучали палашами в первом ряду (кавалерийские офицеры. — О. Л., М. С.), когда, глядя на них в упор, он закончил:

*...И вот  
Я захохочу и радостно плюну,  
Плюну в лицо вам,  
Я — бесценных слов транжир и мот.*

Даже эта наиболее неподатливая часть аудитории, оказалось, за час успела усвоить конспективный курс бюджетянского хорошего тона.

Всем было весело”<sup>1</sup>.

В самом поэтическом языке Маяковского было нечто принудительное, толкавшее автора, например, к агрессивным жестам. Об одном таком случае — в доме у предполагаемого мецената — рассказывает К. Чуковский:

При первой возможности я поспешил из кабинета в столовую. Там было много гостей, Маяковский стоял у стола и декламировал едким фальцетом:

*Все вы на бабочку поэтиного сердца  
Взгромождитесь, грязные, в калошах и без калош.  
Толпа озверевает, и будет тереться,  
Ощетинит ножки стоголавая вошь.*

У сестер хозяина были уксусно-кислые лица. <...>

<sup>1</sup> Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 435–436. Лившиц неточно цитирует Маяковского.

“Этак он погубит все дело!” — встревожился я. Но Маяковский уже забыл обо всем: выпятил огромную нижнюю губу, словно созданную для выражения презрительной ненависти, и продолжал издевательским голосом:

*А если сегодня мне, грубому гунну,  
кривляться перед вами не захочется — и вот  
я захохочу и радостно плюну,  
плюну в лицо вам,  
я — бесценных слов транжир и мот.*

Самая его поза не оставляла сомнений, что стоглавой вошью называет он именно этих людей и что все его плевки адресованы им. Одна из пучеглазых (сестер хозяина. — О. Л., М. С.) не выдержала, прошипела что-то вроде “шреклих” и вышла. За нею засеменял ее муж. А Маяковский продолжал истреблять эту ненавистную ему породу людей:

*Ищите жирных в домах-скорлупах  
и в бубен брюха веселье бейте!  
Схватите за ноги глухих и глупых  
и дуйте в уши им, как в ноздри флейте.*

Через десять минут мы уже были на улице. Книга Маяковского так и осталась неизданной<sup>1</sup>.

Пределом поэтического приема у Маяковского является его сценическая реализация. Так, в трагедии “Владимир Маяковский” поэт-актер не ограничивается словесной реализацией метафоры (“Большому и грязному человеку / Подарили два поцелуя. / Человек был неловкий, / Не знал, / Что с ними делать, / Куда их деть”) или гиперболы (“Я летел, как ругань. / Другая нога / Еще добегает в соседней улице”)<sup>2</sup>, но продолжает ее в жесте, в пантомиме, в игре со “зрительными аксессуарами”<sup>3</sup>. Метафора “слезы”, словесно реализованная (“Вот это слезка моя — / возьмите! / Мне не нужна она”; “Вот еще слеза. / Можно на туфлю. Будет красивая пряжка”), затем разворачивается уже на сцене, материализуется, превращается в гротескно “опредмеченные”, зрительные гиперболы — “сверкающие

1 В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 126–127.

2 См.: *Якобсон Р.* Работы по поэтике... С. 282–283.

3 См.: *Пяст Вл.* Встречи. С. 165.

фольгой, похожие на огромные рыбки пузыри (или пушечные ядра<sup>1</sup>. — *О. Л., М. С.*), слезинки, слезы и слезищи”<sup>2</sup>; затем поэт-актер “собирает их и укладывает в мешок”<sup>3</sup>, после чего декламирует: “Я добреду — / усталый, / в последнем бреду / брошу вашу слезу / темному богу гроз / у истока звериных вер”. Метафора “поцелуи” воплощается то в “дырявые мячи”, с которыми танцует соответствующий персонаж — “Человек с двумя поцелуями”, то в выбегающих на сцену детей (они же поцелуи), говорящих: “Нас массу выпустили. / Возьмите! / Сейчас остальные придут. / Пока — восемь. / Я — / Митя. / Просим!”



Филиппо Томмазо Маринетти  
Начало 1910-х

“Центром драматического спектакля был, конечно, автор пьесы, превративший свою вещь в монодраму, — резюмирует Лившиц. — К этому приводила не только литературная концепция трагедии, но и форма ее воплощения на сцене: единственным подлинно действующим лицом следовало признать самого Маяковского. Остальные персонажи <...> были вполне картонны <...> потому что, по замыслу автора, являлись только облеченными в зрительные образы интонациями его собственного голоса. <...>

В этом заключалась “футуристичность” спектакля, стиравшего <...> грань между двумя жанрами, между лирикой и драмой <...>. Играя самого себя, вешая на гвоздь гороховое пальто, оправляя на себе полосатую кофту, закуривая папиросу, читая свои стихи, Маяковский перебрасывал незримый мост от одного вида искусства к другому...”<sup>4</sup>

Не одному Маяковскому было присуще стремление соединить “незримым мостом” поэзию и театральное действие — это родовая футуристическая черта. Говоря хотя бы о будетлянской зауми, нельзя недооценивать ее эстрадного эффекта. Хорошим уроком для русских заумников — прежде всего театральным — стали московские и петербургские гастроли Мари-

1 См.: *Крученых А.* К истории русского футуризма... С. 104.

2 *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец... С. 448.

3 *Крученых А.* К истории русского футуризма... С. 102.

4 *Лившиц Б.* Полутораглазый стрелец... С. 446–447.





Чествование Ф.-Т. Маринетти в зале Калашниковой биржи  
Петербург. 1914

нетти (1913). В тогдашнем разговоре с Маринетти Лившиц пронизательно заметил: то, что разрушается футуристами на письме, восстанавливается при чтении ими своих стихов; когда создатель футуризма декламирует, он возвращает традиционному предложению “суггестивными моментами жеста, мимики, интонации, звукоподражания отнятое у него логическое сказуемое”<sup>1</sup>. В поэтической практике Маринетти напечатанные стихи казались чем-то вроде нотных знаков, обретавших полноценный смысл только при их чтении на эстраде. Как вспоминает Шершеневич<sup>2</sup>, “читал Маринетти изумительно. Аудитория в большинстве случаев не знала языка, на котором читал Маринетти, и тем не менее была захвачена”.

“Я помню, — продолжает автор “Великолепного очевидца”, — как Маяковский, сидя на первой читке рядом со мной, слушал итальянца с открытым ртом и потом, сжав мою руку, не без зависти сказал:

— Вот так бы выучиться читать! <...>

Маринетти читал не как поэт. Скорее как актер. Богатая звукоподражательность его произведений передавалась им в читке замечательно. Он

1 Лившиц Б. Полутораглазый стрелец... С. 485.

2 Во время московских гастролей Маринетти Шершеневич сопровождал итальянского поэта и был при нем переводчиком-синхронистом.

изображал пулемет, пушку, животных, разные тона человеческих диалогов. Он крутился по эстраде, он ни одной секунды не был в статическом состоянии”<sup>1</sup>.

“...В устах Маринетти, — свидетельствует Пяст, — <...> <иностраный> язык был понятен: он сопровождался жестами, вполне обрисовывающими выбрасываемые им слушателям понятия; стихи его сплошь состояли из имен существительных, притом предметных, притом сказанных на “воскресшем языке”, т. е. “ономатопических”, т. е. в самих звуках выдающих свое содержание”<sup>2</sup>.

Актерские приемы Маринетти, исполнявшего стихи на незнакомом аудитории языке, и Крученых, воздействовавшего на публику “рычагами” заумной речи<sup>3</sup>, — в целом совпали.

“Крученых — блестящий тец своих произведений, — пишет И. Терентьев. — Кроме блестящих голосовых данных, Крученых располагает большой интерпретационной гибкостью, используя все возможные интонации и тембры практической и поэтической речи: пение муэдзина, марш гогочущих родственников, шаманий вой и полунапевный ритм стиха и дроворубку поэтического разговора. <...>

Крученых не чуждо представление о заклинательной речи. Его чтение порой дает эффекты шаманского гипноза, особенно отмечу “Зиму” <...> в которой звук з бесконечно варьируется, ни на минуту не отпуская напряженного внимания слушателя”<sup>4</sup>.

Заумь у футуристов очень часто граничила с буффонадой, разрешалась почти цирковыми номерами. Примером тому — причудливые представ-



Алексей Крученых  
Портрет работы М. Ф. Ларионова. 1914

1 Мой век... С. 503.

2 Пяст Вл. Встречи. С. 178.

3 “Ходячий вкус и рычаги речи” — один из тезисов, подготовленных Маяковским к своему выступлению на “Первом вечере речетворцев” (Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 1. С. 366).

4 Цит. по: Крученых А. К истории русского футуризма... С. 344–345.

32 CHAUDRONNERIES  
GAZOMÈTRES

MOULINS

PONTS EN FER  
GUÉRIT TOUT

SARDINES  
FABRICATION DE CABLES

vaaaaaches  
vert veeeeeert  
vaaaaaches

CIGARETTES  
BASTOS

vaaaaaches CACAO BENS DORP

PNEUS

CHOCOLAT MÉNIER

À LA REUNION  
DES PÊCHEURS  
MALBECK :

Estaminet

MARBRÉ

ARTIFICIEL

LUNA  
PARC

POTAGES  
MAGGI

SUNLIGHT  
SAYON

SAINT-SAUVEUR  
BAINS  
BRUXELLES

MÉTROPOLÉ

Cantine  
de l'usine

“Слова на свободе”. Один из футуристических текстов Ф.-Т. Маринетти  
1912

ления, которые разыгрывал на сцене “Кафе поэтов” (в 1918 году) В. Каменский:

Приоткрывается цветной занавес.

На эстраде устанавливается вышка.

Вышка имеет вид усеченной пирамиды с небольшой площадкой наверху.

На площадку вышки ведут ступени.

По ступеням на вышку медленно-медленно взбирается Василий Каменский.

Садится он на верхнюю площадку вышки.

Сидит в задумчивости, сидит как бы в оцепенении.

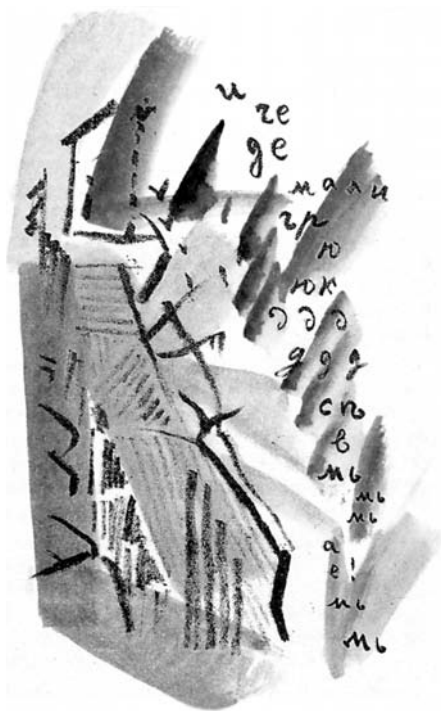
Весь сей сон значит следующее: вышка — корабль, мчащийся по океанским волнам. Задумавшийся на площадке вышки Василий Каменский — это какой-то странный путешественник. По всей вероятности, этот путешественник — российский футурист в немыслимом гарольдовом плаще. Из дальних странствий, из-за океана, он возвращается на родину.

Попыхивая воображаемым кепстеном, Василий Каменский сидит на вышке столько времени молча, что его молчание начинает надоедать нетерпеливой публике.

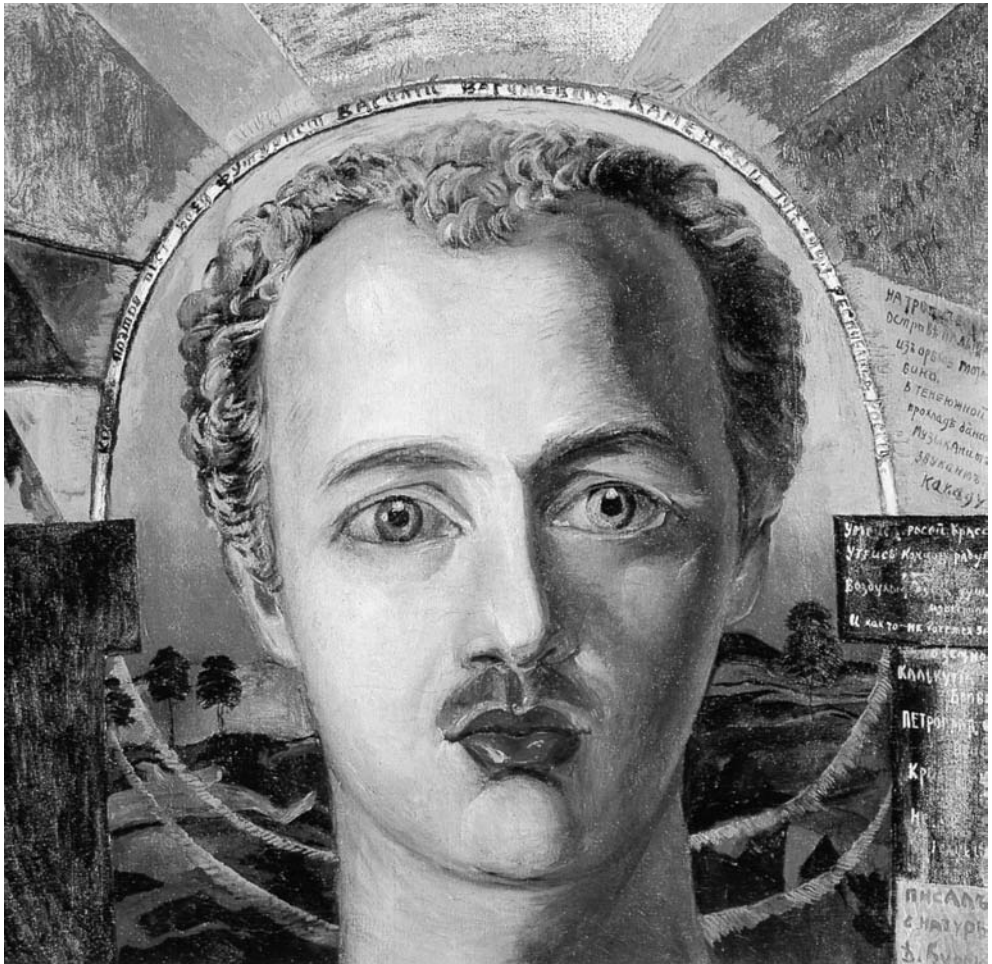
Тогда он, мать русского футуризма, начинает медленно-медленно раскачиваться, затем медленно-медленно начинает с самых нижних, басовых регистров своего голоса вещать:

*В России пал царизм,  
Скатился в адский люк.*

Постепенно переходя на верхние регистры своего голоса, поэт все громче и громче декламирует, всемерно подчеркивая слово “футуризм”:



Страница из книги А. Крученых “Взорваль” (СПб., 1913)  
Литография О. В. Розановой



Василий Каменский  
Портрет работы Д. Д. Бурлюка. 1917

*Теперь царит там футуризм:  
Каменский и Бурлюк!*<sup>1</sup>

Следующий шаг в футуристической театрализации поэзии — от сценического разыгрывания стиха к жесту и пантомиме вместо стиха, к чистой акции, уже по ту сторону речи. И эта программа была с блеском осуществлена в “Поэме конца” В. Гнедова. “Слов она не имела и вся состояла только из одного жеста руки, быстро поднимаемой перед волосами и резко опу-

1 Из воспоминаний И. Грузинова (Мой век... С. 661).



скаемой вниз, а затем вправо вбок. Этот жест, нечто вроде крюка, и был всюю поэмой”<sup>1</sup>.

Гнедовская замена поэтической речи выразительным молчанием — предельное проявление футуристической стратегии: будетлянин “вправе себе позволить не писать стихов и быть поэтом”<sup>2</sup>, поскольку для него уже нет границы между поэзией и театрализованным бытом. Стихи футуристов воспринимаются как “звуковое выражение тех цветных кофт и цилиндров, в которых провозвестники нового искусства с намазанными физиономиями появились на улицах Москвы и Петербурга”<sup>3</sup>. Лорнет и грим Д. Бурлюка, серьга В. Гольцшмидта, парчовый золотистый воротник Каменского и так далее — этот театральный антураж во многом определял восприятие будетлянской поэзии. Акции предшествовали стихам, как в случае с Гольцшмидтом, сначала установившим себе памятник напротив Большого театра, а затем написавшим:

*Свой памятник — протест условностям мещанства —  
Себе гранитный ставлю монумент.  
Славлю вольность смелого скитанства,  
Не нужен мне признанья документ*<sup>4</sup>.

Или — сопровождали стихи: Каменский, переодетый в бутафорский русский костюм, декламировал поэтические фрагменты из своего романа “Стенька Разин”, скача верхом на лошади по цирковой арене<sup>5</sup>; сам он утверждал, что мог читать, даже стоя в стремях, в то время как лошадь галопом неслась по кругу<sup>6</sup>. Или — вовсе заменяли стихи: творчество “футуриста жизни” Гольцшмидта обычно ограничивалось разбиванием досок о голову и эксцентричными поступками вроде неожиданного прыжка вниз головой с парохода в Каму<sup>7</sup>.

“Текстом становится поведение”<sup>8</sup>, поведением определяется текст<sup>9</sup>; поэзия воздействует как сенсационное бытовое событие, быт — как

- 1 Пяст Вл. Встречи. С. 176. Согласно другим мемуарам, Гнедов изображал рукой знак бесконечности, лежащую восьмерку.
- 2 Шапир М. Что такое авангард? // Даугава. 1990. № 10. С. 5.
- 3 Степун Ф. Бывшее и несбывшееся. СПб., 2000. С. 399.
- 4 См.: Спасский С. Маяковский и его спутники. Л., 1940. С. 139, а также: Ройzman М. Все, что помню о Есенине. С. 18–19.
- 5 См.: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 2. С. 54.
- 6 См. воспоминания И. Грузинова в кн.: Мой век... С. 662.
- 7 См.: Крусанов А. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 2. С. 46, 47, 50.
- 8 Шапир М. Что такое авангард?.. С. 5.
- 9 На первый план в искусстве футуристов выходит не семантика и синтактика, а прагматика: “Главным становится действенность искусства — оно призвано поразить, растормошить, взбудоражить, вызвать активную реакцию у человека со стороны. При этом желательно, чтобы реакция была немедленной, мгновенной, исключаяющей долгое и сосредоточенное восприятие эстетической формы и содержания” (Шапир М. Что такое авангард?.. С. 4).





Корней Чуковский. 1910-е

особой силы поэтический прием. В этом современников более всего убеждала фигура Маяковского: “Для комнатного жителя той эпохи (начала 1910-х годов. — О. Л., М. С.) Маяковский был уличным происшествием”<sup>1</sup>; “Когда Маяковский читает с эстрады стихи о себе самом, то кажется, что он на полголовы выше самой гиперболической из своих метафор. Не стоит обижаться на Маяковского, когда он обижает. Если бы Гулливер не боялся лилипутов, ему было бы трудно им не грубить”<sup>2</sup>.

Что же оставалось имажинистам? Из всего изобилия футуристических открытий и придумок — позаимствовать какой-нибудь фокус, подновить его и запатентовать. А чего им ни в коем случае не стоило делать? Состязаться с Маяковским по части сильных приемов — иначе они действительно рисковали оказаться в положении лилипутов рядом с Гулливером. Даже его “рычаги речи”, при всей мощи стоящей за ними личности, все время сталкивались с угрозой автоматизации и пробуксовки, эпигонов же инерция громкого стиха толкала прямо в капканы пародии. Вот что по этому поводу рассказывает Одоевцева, почти дословно цитируя известную статью К. Чуковского “Ахматова и Маяковский”:

Сегодня Чуковский особенно в ударе. С какой убедительностью он предостерегает поэтов от опасности, подобно Маяковскому, перегружать стихи парадоксами, вычурными образами, метафорами. Необходимо помнить о шкале читательской восприимчивости. За пределами ее сколько чудес или ужасов ни нагромождай, до читателя они “не дойдут”.

Но Маяковский неистово, щедро забрасывает читателя все новыми и новыми диковинками.

1 Тынянов Ю. Поэтика... С. 196.

2 Гинзбург Л. Записные книжки... С. 46.

— Хотите, — громогласно вопрошает Чуковский, подражая трубному голосу Маяковского:

*Хотите, выну из левого глаза  
Целую цветущую рощу?*

И вдруг, весь съезжившись, безнадежно машет рукой, отвечая сонно:

— Вынимай, что хочешь. Мне все равно. Я устал.

Чуковский непередаваемо изображает этот диалог Маяковского с читателем, и класс так грохочет и рокочет от смеха, что даже подвески хрустальных люстр начинают заливчато позванивать и перекликаться<sup>1</sup>.

Урок Чуковского-пародиста, впрочем, не совпадает с выводом Одоевцевой. Он высмеивает привычку к гиперболам, стремление оглушить слушателей (не столько читателей, сколько именно слушателей), подавить их и взять в плен. То, насколько губителен подобный соблазн для всех, кто следует за Маяковским, понимали и сами имажинисты. Другое дело — перехватить у своего учителя “парадоксы, вычурные образы, метафоры”, изменив пропорции и акценты: как раз в этом и был их шанс.

“Услышанное в кафе испаряется в холоде уличной ночи, — писал О. Савич в статье “Имажинисты”. — Случайно прочтенное скользит по льду восприятия, не оставляя следа. <...> Нужен трюк”<sup>2</sup>; такой приманкой для слушателя становится броская, запоминающаяся метафора. Имажинисты лукавили, провозглашая “самоценность образа”: они жонглировали “далековатыми идеями” вовсе не для “раскрытия псевдонимов ве-

<sup>1</sup> Одоевцева И. На берегах Невы. С. 200. См. в очерке “Ахматова и Маяковский” К. Чуковского: “Вообще быть Маяковским очень трудно. Ежедневно создавать диковинное, поразительное, эксцентрическое, сенсационное — не хватит никаких человеческих сил. <...> Не только нелегко, но и рискованно. Это опаснейшее дело в искусстве. Вначале еще ничего, но чуть это становится постоянной профессией — тут никакого таланта не хватит. <...>

Он наряжает облако в штаны, целуется с деревянной скрипкой и объявляет ее своей невестой, а потом выворачивает себя наизнанку и спрашивает с жестах профессора магии:

*Вот,  
хотите,  
из правого глаза  
выну  
целую цветущую рощу?!*

А нам уже решительно все равно. Хочешь — вынимай, хочешь — нет, нас уже ничем не проймешь. Мы одеревенели от скуки. Кого не убаюкает такое монотонное мелькание невероятных эксцентрических образов? Мы уже дошли до такого бесчувствия, что хоть голову себе откуси, никто не шевельнется на стуле” (Чуковский К. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 328–329).

<sup>2</sup> Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 250.

щей”<sup>1</sup>, а для создания непосредственного эстрадного (циркового) эффекта. Зачем “образоносцам” установка на “каталог образов”, который может “с одинаковым успехом читаться с конца к началу”?<sup>2</sup> Чтобы воздействовать на публику отдельными, “изолированными” образами наподобие наркотических “пилюль”<sup>3</sup> и так — кратчайшим путем — вызвать у слушателя “максимум внутреннего напряжения”<sup>4</sup>. Зачем Мариенгоф предлагает соединять в метафоре “чистое” и “нечистое”? Чтобы придать ей остроту и тем вернее зацепить сознание слушателя.

Имажинистской акробатике (“слову вверх ногами”<sup>5</sup>) противопоказаны паузы — поэтому, заимствуя прием у футуристов, “командоры” вынуждены все время увеличивать количество метафорических кувырков (“имажинист по долгу службы обязан давать не менее дюжины <...> метафор...”<sup>6</sup>). По подсчетам И. Соколова, у Шершеневича количество троп по отношению ко всему словесному материалу достигает 75 % (“Имажинизм должен довести количество троп до maximum’a”<sup>7</sup>). “Командоры” нисколько не боялись того, в чем их обвиняли критики, — “неудержимого увеличения образности”<sup>8</sup>, “анархии враспынную бегущих слов”<sup>9</sup>: в цирковых номерах не может быть слишком много “выходок и пируэтов”<sup>10</sup>; чем больше, тем лучше.

Взять хотя бы пресловутую “луну”, с развенчания которой начиналась деятельность едва ли не каждой новаторской группы в десятые годы XX века<sup>11</sup>. Вот и футуристы — немного поиграли с ней: “А за солнцами улиц где-то ковыляла / Никому не нужная, дряблая луна”<sup>12</sup>;

1 См. трактат Шершеневича “2×2 = 5” (*Шершеневич В.* Листы имажиниста... С. 383, 384).

2 *Шершеневич В.* Листы имажиниста... С. 384, 388.

3 См. статью Г. Шенгели “Да он голый”: “Изолированный образ — пилюля, иногда черт знает из чего сделанная. Проглотить легко, и катаральные колики унимаются” (цит. по: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 308).

4 *Мариенгоф А.* Буян-остров. Имажинизм // *Поэты-имажинисты.* С. 34.

5 *Шершеневич В.* Листы имажиниста... С. 408.

6 Слова А. Лежнева (цит. по: *Литературная жизнь России 1920-х годов...* Т. 1. Ч. 2. С. 308).

7 *Соколов И.* Имажинистка. М., 1921. С. 6, 8.

8 Из статьи Г. Тарасова “Имажинизм” (1921); цит. по: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 175.

9 См.: *Львов-Рогачевский В.* Новейшая русская литература. С. 231.

10 Слова Арлекина из пьесы В. Шершеневича “Одна сплошная нелепость”: “С тех пор как перевелись на земле черти, я один оживляю ее моими выходками и пируэтами”.

11 См., например, стихотворения даданиста Р. Хюльзенбека “Майская ночь” (1916) (“...Луна добродушно смеется старый носорог” — “Aber der Mond lacht gutmiitig altes Rhinocerost”), имажиниста Т.-Э. Хьюма “Осень” (1912) (“Румяная луна стояла у плетня, / Как краснорожий фермер” — “And saw the ruddy moon lean over a hedge / Like a red-faced farmer”), манифест футуриста Маринетти “Смерть лунному свету” (1909); эти превращения луны восходят к луне французского символизма — брызжущей слюной у Ж. Лафорта (“Феерический собор”), глотающей червей у Корбьера. Этих поэтов, кстати, охотно переводил Шершеневич (см.: *Харджиев Н., Тренин В.* Поэтическая культура Маяковского... С. 63, 65–66). Особый случай — луноборческое (и первое акмеистическое) стихотворение Мандельштама “Нет, не луна, а светлый циферблат...”. Подробнее о нем см.: *Лекманов О.* Осип Мандельштам. М., 2004. С. 44–45.

12 Из стихотворения Маяковского “Адище города” (1913).

“Луна, как вша, ползет небес подкладкой...”<sup>1</sup>; “Селена, труп твой проплывет лазури / Селеньями определенных гурий”<sup>2</sup> — и отправили в утиль: “Луна подохла — / и отныне забракowana и выброшена из обихода поэзии как ненужная вещь, как стертая зубная щетка, / ле-люнь, слюнь, плюнь”<sup>3</sup>.

А имажинисты подобрали ее и вновь переплавили в звонкую метафорическую монету: в 1921 году Авраамов у одного Есенина насчитал более полусотни метафор с месяцем и луной<sup>4</sup>: “Хорошо бы, на стог улыбаясь, / Мордой месяца сено жевать”; “Луна хохотала, как клоун”; “Луны лошадиный череп / Каплет золотом сгнившей слюны”; “луны мешок травяной”. Его товарищи не оставали: “Даже месяц с пропревшей тины / Скалит желчно свой медный зуб”<sup>5</sup>; “Штопором лунного света точно / Откупорены пробки окон из домов...”<sup>6</sup>; “Гоноккок соловьиный не вылечен в лунной и мутной моче”; “Луна выплывала воблой вяленой”<sup>7</sup>; “Не надо, не надо нам выжатого из сосцов луны / Молока”<sup>8</sup>; “Острогом заломленный набекрень / Месяц забыл о небе”<sup>9</sup>; “В трепещущее горло / Лунный штык...”<sup>10</sup>.

Для “эстрадной архитектоники”<sup>11</sup> имажинизма все могло пригодиться, луна же в особенности; ведь дивертисменты забавных и ожидаемо-



Владимир Маяковский  
Портрет работы Д. Д. Бурлюка. 1913

- 1 Из стихотворения Д. Бурлюка “Луна старуха просит подаянья...” (альманах “Дохлая луна”, 1913).
- 2 Из стихотворения Д. Бурлюка “Селена, труп твой проплывет лазури...”.
- 3 А. Крученых, “Апокалипсис в русской литературе”. См.: *Крученых А.* Кукиш пошлякам. М.; Таллинн, 1992. С. 110.
- 4 “И вот пришел Сергей Есенин и, не успев напечатать трех сотен страниц, шутя, между “делом”, дал русской поэзии свыше полусотни незабываемых образов месяца-луны...” (*Авраамов А.* Воплощение... С. 23–24). См.: *Эпштейн М. Н.* “Природа, мир, тайник вселенной...”: Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 247–248.
- 5 А. Кусиков, “Поэма поэм”.
- 6 В. Шершеневич, “Однохарактерные образы”.
- 7 В. Шершеневич, “Принцип басни”.
- 8 А. Мариенгоф, “Магдалина”.
- 9 А. Мариенгоф, “Слепые ноги”.
- 10 А. Мариенгоф, “Сентябрь”.
- 11 Название стихотворения В. Шершеневича, в котором тот провозглашает лозунг эстрадного, “арлекинадного” романтизма: “Мы коробейники счастья, / Кустари задумевных строк”.

удивительных метафор: “...только хлопать / Тарелками лун: дзинь-бах:”<sup>1</sup>; “Четыре великих поэта / Играют в тарелки лун”<sup>2</sup> — еще больше забавляли и удивляли публику на фоне привычного, стершегося, бутафорски условного.

“Дзинь-бах!”: ассонансные и диссонансные рифмы, которые “четыре великих поэта” тоже перехватили у своих учителей-футуристов, действительно напоминали ритмическое звяканье тарелок в джазовом диксиленде; вторичные эксперименты с рифмами — “неравносложными”, “разноударными”, “неточными с усечением”, “неточными с заменой”<sup>3</sup>, составными и каламбурными — служили веселой оркестровкой имажинистским метафорическим представлениям и добавляли им занимательности.

Так, следуя футуристическим рецептам, имажинисты развернули свое поэтическое шоу. Ну а “трансформация”<sup>4</sup> в сценическое действие московского литературного быта и литературной борьбы совершалась уже при прямом участии Маяковского. Весной 1919 года главный бюджетянин нагрянул в Москву — в том числе и для того, чтобы напомнить публике, кто настоящий “диктатор кафе” и концертных залов. Предстояла ожесточенная борьба, но все же прямое столкновение на эстраде было выгодно обеим противоборствующим сторонам: больше шума, больше рекламы. Московским выступлениям имажинистов без Маяковского не хватало драматической пружины. А Маяковскому было тесно в Петрограде — не тот масштаб. Так, перед самым отъездом в Москву он “самосильно” появился на эстраде в “Привале комедиантов”, “как фея Карабосс, которую не пригласили на крестины, и стал читать свои стихи <...> Он брал только что читавших поэтов, противопоставляя им себя <...> Ни восторга, ни возмущения это выступление не возбудило; публика лениво посмеялась, потом выслушала хорошо известный “Наш марш”, только режиссеры смотрели на Маяковского, думая: какие прекрасные актерские данные остаются неиспользованными”<sup>5</sup>. В Москве же он мог в полной мере использовать свои актерские данные, да и демарши в духе феи Карабосс впечатляли московскую публику гораздо сильнее, чем петроградскую.

1 Из стихотворения А. Мариенгофа “Встреча”.

2 Из коллективного имажинистского гимна.

3 См.: *Гаспаров М. Л.* Русские стихи... С. 53–55, 57–59. Примеры такого рода экспериментов, взятые наугад из Шершеневича: “ложечек — немножечко”, “всуньте-ка — полфунтика”, “солдат — никуда”, “копыт — глупы” и т. д.

4 Термин Н. Евреинова, автора работы “Театрализация жизни” (*Евреинов Н.* Демон театральности. М.; СПб., 2002. С. 48).

5 Из заметки в “Жизни искусства” (5 марта 1919 года); цит. по: *Катанян В.* Маяковский... С. 116.

Больше всего москвичам запомнилось внезапное появление Маяковского на “Суде над современной поэзией”, организованном имажинистами 16 ноября 1920 года. Вспоминает Л. Сейфуллина:

Шумок в рядах присутствовавших вырос в шум. Его пронизал чей-то юношеский голос <...>:

— Маяковский в зале! Хотим Маяковского!

И сразу целый хор голосов, нестройный, но убедительный <...>:

— Маяковский, на сцену! Маяковского хотим слушать! Маяковский! Маяковский! На сцену!

Сильный голос Маяковского сразу покрыл и прекратил разноголосый шум. Он быстро пошел по проходу на сцену и заговорил еще на ходу:

— Товарищи! Я сейчас из камеры народного судьи! Разбиралось необычное дело: дети убили свою мать. <...> В свое оправдание убийцы сказали, что мамаша была большая дрянь. Но дело в том, что мать была все-таки поэзия, а детки — имажинисты<sup>1</sup>.

“...Из зала раздался зычный голос Маяковского, — несколько по-иному описывает этот эпизод Г. Бениславская, — о том, что он кое-что знает о незаконном рождении этих эпигонов футуризма (что-то в этом роде). Через весь зал шагнул Маяковский на эстраду. А рядом с ним, таким огромным и зычным, Е<сенин> пытается перекричать его: “Вырос с версту ростом и думает, мы испугались, — не запугаешь этим”<sup>2</sup>.

“— Смотрите, мол, на меня, какая я поэтическая звезда, — так Ройзман передает отповедь Есенина Маяковскому, — как рекламирую Моссельпром и прочую бакалею. А я без всяких прикрас говорю: сколько бы ни куражился Маяковский, близок час гибели его газетных стихов. Таков поэтический закон судьбы агитез!

— А каков закон судьбы ваших “кобылез”? — крикнул с места Маяковский<sup>3</sup>.

Он был готов один схватиться со всеми четырьмя “командорами”; по свидетельствам очевидцев, особенно тогда досталось Шершеневичу. У того, “героя словесной рапиры, — иронизировал позже Мариенгоф, — была своя ахиллесова пята. Я б даже сказал — пяточка. Тем не менее она доставляла нам всем крупные неприятности.

1 В. Маяковский в воспоминаниях современников. С. 486.

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 20.

3 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 107.



“Я сошью себе черные штаны из бархата голоса моего”, — написал Маяковский.

Понятия не имея об этой великолепной, образной строчке, Вадим Шершеневич, обладающий еще более бархатным голосом, несколько позже напечатал: “Я сошью себе полосатые штаны из бархата голоса моего”. <...>

Стоило только Маяковскому увидеть на трибуне нашего златоуста, как он вставал посреди зала во весь свой немалый рост и зычно объявлял:

— А Шершеневич у меня штаны украл!

Бесстрашный литературный боец, первый из первых в Столице Мира, мгновенно скисал и, умоляюще глядя то на Есенина, то на меня, растерянным шепотом просил под хохот бессердечного зала:

— Толя... Сережа... спасайте!”<sup>1</sup>.

По версии Ройзмана, однако, в тот вечер Шершеневич нашелся с ответом:

“Маяковский с места крикнул Вадиму:

— Вы у меня украли штаны!

— Заявите в уголовный розыск! — ответил Шершеневич. — Нельзя, чтобы Маяковский ходил по Москве без штанов”<sup>2</sup>.

В 1920 году имажинисты все же смогли переиграть в “суде” современную поэзию и Маяковского — публика их поддержала. Но через два года, когда группа, ослабленная внутренними распрями и изменившейся политикой властей, была на грани распада, футуристы и их “главарь” перехватили инициативу. На организованных им “Чистках современной поэзии”, при горячей поддержке публики, Маяковский вынес свой вердикт по поводу Мариенгофа: “Ему бы автомобили из грязи вытаскивать”<sup>3</sup>; “Отправить к отбыванию гуж-повинности”<sup>4</sup>. О том, с какой язвительностью автор “Приказа по армии искусств” “чистил” “командиров”, можно судить по тогдашней будетлянской переписке и черновикам Маяковского: “Из перечисленных Вами фамилий — Мариенгоф дрянь; если же его отобрать, как вы советуете, то получится дрянь отборная”<sup>5</sup>;

*Квалифицированных работников было мало.*

*Конечно, не забыли ни о Шершеневиче, ни о Мариенгофе.*

*Шершеневич в приемной лежал вместо журнала,*

1 Мой век... С. 131–132.

2 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 106.

3 Крусанов Л. В. Русский авангард... Т. 2. Кн. 1. С. 741.

4 Крученых А. Наш выход. М., 1996. С. 144–145.

5 Из письма Маяковского Асееву (20 августа 1921 года); цит. по: Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 50.

*А Мариенгоф разносил заждавшимся кофе<sup>1</sup>.*

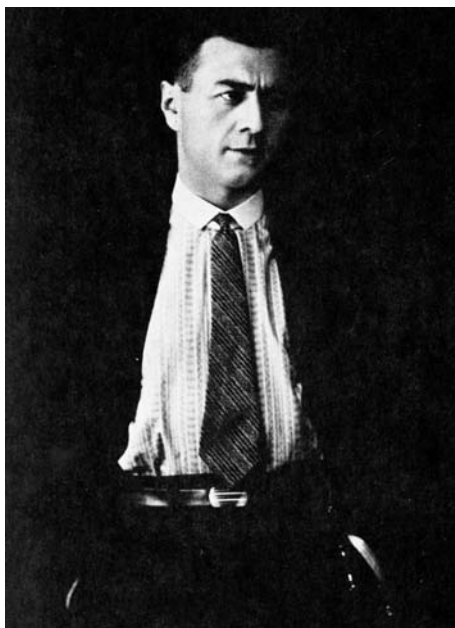
Словно приговор имажинистам, звучала другая эпиграмма Маяковского, лукаво преподнесенная Кусикову на подобие данайского дара. По свидетельству “великолепного очевидца”, лидер футуристов вручил тому “свою книжку стихов с незамаскированной издевательской надписью”; “Сандро от восторга, что его фамилию зарифмовали, да еще рядом с фамилией Маяковского, показывал эту надпись всем и каждому, не замечая, что все, конечно, смеялись”<sup>2</sup>.

“Я отлично помню, — добавляет Грузинов, — тот или иной автограф Маяковского, подаренный им какому-нибудь другу в кавычках <...> буквально в один день облетал всю тогдашнюю литературную Москву и, переходя из уст в уста, <...> неизменно вызывал искренний смех.

Общеизвестна эпиграмма Маяковского, направленная против поэта Александра Кусикова. Я слышал эпиграмму на Кусикова на одном из литературных вечеров: Маяковский сам читал ее публиче.

Насколько я помню, эта эпиграмма имела следующий вид:

*На свете  
много  
вкусов  
и вкусиков:  
одним нравятся  
Маяковский,  
другим —  
Кусиков”<sup>3</sup>.*



Александр Кусиков. Париж

1 Из черновика Маяковского 1922 года (см.: *Маяковский В.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 146).

2 Мой век... С. 555.

3 Мой век... С. 678.

“Издательская надпись” будетлянского “главаря” была вдвойне, обобщенно издательской по отношению к имажинизму в целом: в сопоставлении с величественным Маяковским (“маяком”<sup>1</sup> футуризма) здесь “орден” предстает во всем убожестве измельчания (уменьшительных суффиксов — “вкусиков”) и распада (“Кусиковых” — оторванных от футуризма кусочков)<sup>2</sup>.

**З** Но от одного из имажинистов никак нельзя было отделаться ни уменьшительными суффиксами, ни шутками о “гуж-повинности” и украденных штанах: пикировка футуристов с прочими тремя “командорами” выглядит забавным эпизодом на фоне драматичной “битвы гигантов”<sup>3</sup> — Маяковского и Есенина. В свою очередь, уже в самом задоре есенинских обвинений, порой абсурдных: “Маяковский безграмотен!”<sup>4</sup>; “Да это ж не поэзия, у него нет ни одного образа”<sup>5</sup> — чувствовалось уважение к футуристическому “главарю” как к своему сильнейшему, едва ли не единственному сопернику.

Конфронтацию двух самых популярных поэтов двадцатых годов не объяснить ни взаимной личной неприязнью, ни интересами литературных группировок, ни даже азартом конкуренции. Это была не личная, не партийная, а творческая вражда — столкновение разных поэтических стихий (“он “представитель другой стихии”” — такие слова в свой адрес Есенин приписывал Маяковскому<sup>6</sup>). “Они были полярны”<sup>7</sup>, как будто предназначенные для того, чтобы тогдашние читатели и слушатели “диалектику учили не по Гегелю”, а по Есенину и Маяковскому, перебирая оппозиции: деревня — город, личное — коллективное, флейта — барабан<sup>8</sup>, тенор — бас (баритон).

Итог, к которому в той иной степени сводятся все эти оппозиции, был подведен в прощальном “*exegi monumentum*” Маяковского —

- 1 Фамилия Маяковского была неоднократно обыграна; пример — шуточное стихотворение периода “Бродячей собаки”, сочиненное Пястом: “Маяковского лучше просите, / Он маяк прирожденный и вождь” (*Пяст В.* Встречи. С. 175). О мандельштамовской игре с фамилией “Маяковский” см.: *Ронен О.* Поэтика Осипа Мандельштама. СПб., 2002. С. 163.
- 2 См. игру с фамилией Кусикова в письме Б. Пастернака М. Цветаевой от 23 мая 1926 года: “Таков “сяков” сей — Кусиков, в корне, правду сказать, совсем безобидный малый” (*Пастернак Б.* Собр. соч.: В 5 т. М., 1992. Т. 5. С. 195).
- 3 См.: *Крусанов А. В.* Русский авангард... Т. 2. Ч. 1. С. 439.
- 4 *Грузинов И.* Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 368.
- 5 *Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 25.
- 6 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 347
- 7 *Никитин Н.* О Есенине // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 130.
- 8 См.: *McVay G.* Eсенин: A Life. P. 168.

вступлении к поэме “Во весь голос”, где он спроецировал свое противостояние с Есениным в “неисчетно-будущие времена”<sup>1</sup>. Автор поэмы ясно дает понять — спор двух поэтов есть спор двух “направлений поэтического слова”<sup>2</sup>, притом именно устного, произносимого слова. За Маяковским — ораторская стихия, убеждающая, зовущая, ведущая массы:

*Слушайте,  
товарищи потомки,  
агитатора,  
горлана-главаря...*

Новатор и революционер, Маяковский выводит на новый виток старую одическую тему — “цивилизаторского восторга”. А вместе с ней и одического “пиита” — отныне цивилизатора, преобразователя, чье слово помогает ломать старый мир и строить новый. Отсюда метафорические экскурсы в историю цивилизации — уподобления стиха римскому водопроводу и регулярному войску (тоже впервые введенному в Древнем Риме). Отсюда же и утопический проект (намеченный в черновиках к поэме): поэтическое слово сопоставимо здесь с коммунистической плановой экономикой, которая приручит индустриальную мощь (“подползают поезда / лизать поэзии мозолистые руки”), и с коммунистической наукой, которая победит смерть (почти по космическим фантазиям Н. Федорова: “От слов таких срываются гроба / шагать четверкою своих дубовых ножек”).

А за Есениным — песнопевческая стихия, пленяющая сердца; “очарование песенного таланта”, противостоящее одическим “чугунным громам”<sup>3</sup>. Борьба Маяковского против этой стихии сказывается в его обещании: “Я к вам приду / в коммунистическое далеко / не так, / как песенно-есенинный провитязь”; в уподоблении элегии знакам исчезнувшей или выпавшей из времени древности — “стершемуся пятаку”, “свету умерших звезд”.

В строках о “песенно-есенинном провитязе” звучат отголоски стихотворений 1924 года, в которых поэты обменялись особенно резкими выпадами. Маяковский посвятил “песенному таланту” соперника издевательский пассаж в “Юбилейном”:

1 Формула Л. Пумпянского (*Пумпянский Л. В.* Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М., 2000. С. 208).  
2 См.: *Тынянов Ю.* Поэтика... С. 252.  
3 См.: *Замятин Е.* “Москва — Петербург” // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 88–89.

Ну Есенин,  
                        *мужиковствующих свора.*  
Смех!  
                        Коровую  
                        *в перчатках лаечных.*  
Раз послушаешь...  
                        *но это ведь из хора!*  
Балалаечник!

В дальнейшем, уже после смерти Есенина, автор “Юбилейного” не раз высмеивал есенинский звонкий, певучий стих, также приравнивая его к низшим музыкальным жанрам; по Маяковскому, “повторять: “Душа моя полна тоски, а ночь такая лунная””<sup>1</sup>, перепевать “цыганщину, “семиструнную гитару” “на тысячу ладов” — значит идти “по линии наименьшего сопротивления”<sup>2</sup>. “...Мне нравятся у Есенина: “Знаю я, что с тобой другая...” и т. д., — так, за здравие, начинается реплика Маяковского на диспуте “Упадочное настроение среди молодежи (есенинщина)” (1927). — Это самое “др” — другая, дорогая, — вот что делает поэзию поэзией. Вот чего многие не учитывают. Отсутствие этого “др” засушивает поэзию <...> превращает ее в скучную пасторскую риторику”. Заканчивается же эта реплика — за упокой: “Но уж если говорить о “др”, то я вам приведу одну частушку:

*Дорогая, дорогой,  
дорогие оба,  
дорогая дорогого  
довела до гроба.*

Это “др” почище, чем у Есенина”<sup>3</sup>.

А что же Есенин в 1924 году? Он на инвективу против своих “поющих” стихов ответил насмешкой над одически “воспевающими” стихами Маяковского — в послании “На Кавказе”:

*Мне мил стихов российских жар.  
Есть Маяковский, есть и кроме,*

1 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 315.

2 Там же. С. 497.

3 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 315–316.

*Но он, их главный штабс-маляр,  
Поет о пробках в Моссельпроме.*

Маяковский назван здесь “штабс-маляром” не только из-за своей рекламной и агитационной деятельности: его излюбленная одическая тема — обновления цивилизации — у Есенина все время вызывала бурлескные ассоциации с нескончаемой стройкой или ремонтом. Отдельные образы из стихотворений и поэм Маяковского представлялись Есенину чем-то вроде мусора и подсобных материалов, разбросанных в процессе мирового переустройства. “Про Маяковского что скажешь? — разворачивает Есенин эту метафору в разговоре с В. Мануйловым. — Писать



Владимир Маяковский. 1930

он умеет — это верно, но разве это поэзия? У него никакого порядка нет, вещи на вещи лезут. От стихов порядок в жизни быть должен, а у Маяковского все как после землетрясения, да и углы у всех вещей такие острые, что глазам больно”<sup>1</sup>. Оценивая значение Маяковского в истории поэзии, Есенин тоже как будто не может забыть о строительных неудобствах. “Что ни говори, — так И. Старцев передает есенинские рассуждения, — а Маяковского не выкинешь. Ляжет в литературе бревном, <...> и многие о него споткнутся”<sup>2</sup>.

В этой перепалке самое главное — игра масштабами. Иронически упоминаемые Маяковским балалайка и “гитара семиструнная” указывают на камерный масштаб есенинской поэзии. А Есенин у своего конкурента находит комическую невязку масштабов — поэтическое громогласие на службе у пустякового быта (“поет о пробках”). Позже Тынянов — хоть в чем-то и согласится с Есениным (по поводу “пародического” элемента в стихах “главного штабс-маляра”<sup>3</sup>) — все же построит свои пространственно-звуковые антитезы по Маяковскому: “Анало-

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 174.

2 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 73.

3 “Скоро, очень скоро для нас станут пародическими стихи Маяковского...” (Тынянов Ю. Поэтика... С. 501).



гия нашего времени для борьбы двух установок: митинговая установка стиха Маяковского (“ода”) в борьбе с камерной романсовой установкой Есенина (“элегия”); “диапазон ораторской, возбуждающей лирики сменился камерным человеческим голосом. Литавры — гитарой”<sup>1</sup>.

Но верно ли Тынянов оценивает есенинский диапазон? Надо учесть: Есенин выступал в тех же тысячных залах, что и Маяковский, и его голос, даже на фоне будетлянского “набата”, не воспринимался как тихий. Слушатели отмечали в чтении “нежного хулигана” и песенное начало, и элегичность, но только не “камерность”, а напротив — “нажим”, “исступленность”, “стихийность”, “буйство”, “порыв”. Необходима была поправка, и сам Маяковский сделал ее в формулах поэмы “Во весь голос”. В словах о “песенно-есенинском провитязе” и связанных с ними анафорой следующих строках:

*Мой стих дойдет,  
но он дойдет не так, —  
не как стрела  
в амурно-лировой охоте... —*

есть ирония, есть сатира, но при этом есенинская поэтика здесь показана в ее истинном, далеко не камерном масштабе.

В формуле “провитязь” угадывается та же спокойная, хотя и недобрая улыбка, с какой Маяковский всегда реагировал на есенинские обвинения в отсутствии “русского духа”. Есенин не раз исполнял свою известную частушку нарочно при Маяковском, прямо уличая лидера футуристов в том, что его цивилизационный пафос — заимствованный; а намеком — в том, что этот пафос и вовсе чужд русскому человеку.

“Охмелевший Есенин сидит на полу, — так описывает Г. Адамович одну из таких сцен, — не то с гармошкой, не то с балалайкой, и усердно “задирает” всех присутствующих, — в особенности Маяковского, demonstra-

1 Тынянов Ю. Поэтика... С. 279, 301. См.: “В конце XVIII века билась ода с элегией, так теперь бьется Маяковский с Есениным” (Там же. С. 301); это борьба “новой “сатирической оды” Маяковского с новой “элегией” (романсного типа) Есенина. В борьбе этих двух жанров сказывается та же борьба за установку поэтического слова” (Там же. С. 252); “Если у оды срывается голос, побеждает элегия (Есенин)” (Там же. С. 301). Ср. со сходными соображениями Б. Эйхенбаума о Маяковском: “Маяковский с самого начала вступил в решительную борьбу с традицией поэтичности: “Из любви и соловьев какое-то варево” (“Облако в штанах”). Ода и элегия вступили в новый бой, но вопрос шел уже не о жанре, а о самом понятии лирики и лирического “я” поэта: “Нами лирика в штывки неоднократно атакована, ищем речи точной и нагой” (“Юбилейное”). <...> Это уже не просто борьба оды с элегией, а борьба за новое понимание поэзии и поэта. С этой точки зрения соотношение Маяковского и Есенина имеет глубочайший исторический смысл” (Эйхенбаум Б. О прозе. О поэзии: Сборник статей. Л., 1986. С. 443).

тивно не обращающего на него внимания. Тут же сочиняет и выкрикивает частушки.

*Эй, сыть, эй, жарь!  
Маяковский — бездарь.  
Рожа краской питана,  
Обокрал Уитмэна»<sup>1</sup>.*

Другой подобный случай вспоминает Н. Полетаев:

“Как-то на банкете в Доме печати, кажется, в Новый год, выпивши, он (Есенин. — *О. Л., М. С.*) все приставал к Маяковскому и чуть не плача кричал ему:

— Россия моя, ты понимаешь, — моя, а ты... ты американец! Моя Россия!

На что сдержанный Маяковский, кажется, отвечал иронически:

— Возьми, пожалуйста! Ешь ее с хлебом!”<sup>2</sup>

Речь в этом диалоге, конечно, шла не о патриотизме, а именно об “амурно-лировой охоте” — о том, кто завоюет власть над душами россиян.

Возвращаясь к поэме “Во весь голос”, заметим: отказываясь от охоты за сердцами публики, “агитатор, горлан-главарь” равно отказывается от славянского (“провитязь”) и условно-античного антуража (“Амура” и “лиры”). Пусть Маяковский и подразумевал под “амурно-лировой охотой” прежде всего любовную лирику, все же здесь — соединив в одном эмблематическом ряду русского песенного витязя с античной лирой и стрелой — соперник Есенина угадал самую суть поэтики Есенина.

О глубоких корнях поэтической “цыганщины” — в пределе античных — красноречиво писал Б. Пастернак: “Я это (стихотворение “Вакханалия”. — *О. Л., М. С.*) задумал под знаком вакханалии в античном



Сергей Есенин  
Рисунок А. Н. Бенуа. Петроград.  
Ноябрь 1915

1 См.: *Адамович Г.* Собрание сочинений. “Комментарии”. СПб., 2000. С. 460.

2 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 103.

смысле, то есть в виде вольности и разгула того характера, который мог считаться священным и давал начало греческой трагедии, лирике и лучшей и доброй доле ее общей культуры. Тут где-то совсем рядом находится роль и действие банальности и цыганщины <...> у Ап. Григорьева, Блока и Есенина...”<sup>1</sup>. В поэзии Есенина это “вакхическое”, экстатическое начало взрывало романсную камерность, это поэтическое “безумие” размыкало ограниченное пространство эстрады. “Когда сам читаешь Есенина, — размышляет Р. Ивнев, — знаешь, что одно стихотворение сильное, крепкое, другое — слабое. Но стоило услышать его — его голос, неистовый, плясавшие в такт стихам руки и глаза, как бы потерявшие зрение, ничего не видевшие, ничего не различавшие, — чтобы понять, что в чтении у него нет слабых вещей: все сильное, крепкое, могучее”<sup>2</sup>. По словам Кусикова, он “не читал, а разрывался, вопил, цепко хватая на каждом слове напряженно-скрюченными пальцами воздух”<sup>3</sup>.

Рассказы о читающем Есенине поражают сходством с изображением одержимого, боговдохновенного рапсода в платоновском “Ионе”: “...Муза <...> делает вдохновенными одних, а от них тянется цепь других одержимых божественным вдохновением. Все хорошие <...> поэты слагают свои прекрасные поэмы <...> в состоянии вдохновения и одержимости <...> подобно тому как корибанты пляшут в исступлении, так и они в исступлении творят свои прекрасные песнопения; ими овладевает гармония и ритм, и они становятся вакхантами и одержимыми”; это безумие, словно магнитом, передается зрителям, которые под воздействием певца “плачут и испуганно глядят”<sup>4</sup>. Подобно античным последователям Орфея, неистовствовал Есенин, — подобно античным зрителям, под воздействием Есенина неистовствовала публика: у видевших и слышавших его увлажнялись глаза, подступал ком к горлу — они теряли власть над собой, полностью покоряясь власти певца. Бывшая “Серапионова сестра” Е. Полонская, литературно весьма далекая от Есенина, в своих стихах на его смерть все же признавалась:

*Ты был нашей тайной любовью.  
Тебя мы вслух называть не решались,  
Но с каждой песней, кляня и любя,  
С тобою в безумье метались*<sup>5</sup>.

1 Письмо А. К. Тарасовой от 5 августа 1957 года (*Пастернак Б.* Собр. соч. Т. 5. С. 548).

2 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 29.

3 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 173.

4 *Платон.* Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. М., 1990. С. 377–378.

5 См.: О Есенине... С. 510.

Есенин был успешным соперником Маяковского “в сердцах людей”<sup>1</sup>. “Амуровые” стрелы, посылаемые есенинской “лирой”, нацеливались в сердце каждого слушателя; поэт захватывал не просто аудиторию, а каждого в аудитории — вот в чем заключалась магия его стиха. По С. Спаскому, “в значительной степени сила воздействия Есенина на окружающих объяснялась именно тем, что, и читая стихи, и разговаривая, он каждому слушателю словно открывал себя до конца. Маяковский, выступая, обращался к массе, Есенин — к отдельному человеку. Каждый становился как бы личным другом Есенина, даже сидя в огромной аудитории”<sup>2</sup>. Интересно сопоставить реакцию публики на чтение своих стихов Есениным и Маяковским во время их выступления<sup>3</sup> в зале Высшего литературно-художественного института (1 октября 1923 года). Маяковского зал слушал, будто слившись в единое целое, повторяя хором вместе с читающим поэтом:

*Левой!*  
*Левой!*  
*Левой!*

А когда читал Есенин, зрители тут же забывали о хоровом инстинкте: каждый из них чувствовал себя словно наедине с поэтом, его слово “проникало в глубину сердца и заставляло его трепетать по-особенному”. Многие шептали в экстазе (“Чудно... Прекрасно”; “Вот это поэзия!”) или сидели, “затаив дыхание”, забыв обо всем, кроме есенинских стихов. Аудитория не знала, кому из поэтов отдать первенство: в “мощном барионе” Маяковского, “в его богатырской фигуре — покоряющая призывность трибуна, который может увлечь за собой самых ярких противников и растопить лед самой закоренелой неприязни. <...> Но можно ли оставаться равнодушным, когда читает Есенин? <...> Цыганская песня будоражит душу, и, слушая ее, можешь натворить черт знает чего. Так же хватили за душу в этот незабываемый вечер и русские нутряные стихи Сергея Есенина” (Р. Березов)<sup>4</sup>.

“Хватили за душу” — почему? Вот о чем принужден был задуматься Маяковский: “Вопрос о С. Есенине — это вопрос о форме, вопрос о подходе

1 См. “Люди и положения” Б. Пастернака (*Пастернак Б.* Собр. соч. Т. 4. С. 335).

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 202.

3 Это импровизированное состязание поэтов было подстроено организаторами: Маяковскому не сказали, что будет Есенин, и наоборот — Есенин не предполагал, что Маяковский тоже приглашен.

4 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 245–246.

к деланию стиха так, чтобы он внедрялся в тот участок мозга, сердца, куда иным путем не влезешь, а только поэзией”<sup>1</sup>. Именно. Однако вряд ли можно было решить этот вопрос лишь апелляцией к мастерству. Были в истории русской и советской словесности поэты и “помастеровитее” Есенина. Чтобы воздействовать на подсознание, проникать в самое нутро человека, стихи сами должны быть “нутрянными”. На это Есенин и указывал все время — в своих очных и заочных спорах с Маяковским. Однажды И. Эренбург спросил Есенина, “почему его так возмущает Маяковский”. Тот отвечал: “Он поэт для чего-то, а я поэт от чего-то. Не знаю сам от чего”<sup>2</sup>. То, на что намекает Есенин, невозможно выработать или натренировать; это таинственное “что-то” означает *органическую, кровную связь с живым народным языком и песенным ладом, невольное выражение в индивидуальном творчестве глубинных свойств национального характера, в лучших и худших его проявлениях*. “Отчего-то” — не “подход к деланию стиха”, а дар<sup>3</sup>.

Есенинский дар, согласно Б. Пастернаку, — двойной: “Со времен Кольцова земля русская не производила ничего более коренного, естественного, уместного и родового, чем Сергей Есенин, подарив его времени с бесподобной свободой и не отяжелив подарка стопудовой народнической старательностью. Вместе с тем Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за Пушкиным мы зовем высшим моцартовским началом, моцартовской стихией”<sup>4</sup>. В Есенине удивительным образом сочетались почвенность (“песенно-есенинное” — “коренное”, “родовое”) и крылатость (“амурно-лировое” — “моцартовская стихия”); “балалаечник” на самом-то деле был русским Орфеем. Не признать этого, пусть косвенно и с оговорками, не мог и Маяковский; надо отдать ему должное, признание свое он облек в замечательные по своей точной звучности стихи:

У народа,  
у языкотворца,  
умер  
звонкий  
забулдыга подмастерье.

1 Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 316.

2 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. С. 578.

3 См. воспоминания Якобсона: “В Питтесорске Маяковский бывал редко. Раз я сидел там со Шкловским. К нам подошел выпивший Есенин, которого я лично не знал. Шкловский нас представил: “А, это вы, Якобсон... Маяковский, Хлебников... Поймите, суть поэзии не в рифмах, не в стихе, а чтобы вот видны были глаза, и чтобы в глазах что-то видно было”” (Янгфельдт Б. Якобсон-Будетлянин. Stockholm, 1992. С. 39).

4 Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 336.

И все же Есенин был чужд Маяковскому. А Есенину был чужд не только Маяковский, но и все связанное с ним — его соратники, ученики, бунтующие эпигоны. Когда дым сражений за литературное первенство рассеялся и Есенин поймал воделенную славу, он почувствовал, что с друзьями-имажинистами ему так же не по пути, как и с врагами-футуристами. По воспоминаниям И. Розанова, “в самый разгар дружбы с ними (имажинистами. — *О. Л., М. С.*) Есенин говорил, что нутра у них чересчур мало” и противопоставлял их формальным изыскам свое “поэтическое мироощущение”<sup>1</sup>. То, что Есенин нередко тяготился своей принадлежностью к имажинизму, подтверждается и в “Великолепном очевидце” Шершеневича:

“Поэтический темперамент, или, как он его называл, “голос”, Есенин любил больше всего и часто бранил меня:

— Холодный ты! Это все от Маяковского! От Маяковского добра не будет! <...> Голоса у него нет!”<sup>2</sup>

**4** Но если вернуться к парадоксу в начале этой главы — как же благодаря имажинистам, “холодным” эпигонам Маяковского, лишенным “голоса” и “поэтического мироощущения”, “нутряной” поэт мог обрести себя?

Прежде всего Есенину совсем не повредила “западная” модернистская выучка, которую он прошел у имажинистов: новые поэтические приемы, освоенные автором “Инонии” с легкостью и блеском, разнообразили его стиль и помогли ему выйти из “скифского” тупика. В имажинистский период Есенин охотно втягивался в рискованные формальные игры, будучи уверенным, что при любых экспериментах “нутро” не пострадает. Он с азартом разучивал необычные словесные трюки, чтобы вновь и вновь перебивать инерцию стиля, смещать привычки своего поэтического мира. С помощью Мариенгофа и особенно Шершеневича, бывшего эгофутуриста (в “Мезонине поэзии”) и кубофутуриста (в “Гилее”), знатока и переводчика новейшей французской поэзии, Есенин в самые короткие сроки (за несколько месяцев 1919 года) сориентировался в лабиринтах авангарда. Очень скоро никто уже не мог отделить в есенинской поэзии присвоенное от исконного — например, точно сказать, где в его стихах

1 *Розанов И.* Литературные репутации. С. 450.

2 *Мой век...* С. 578.



поэтическое хулиганство, столь для него естественное (“Мне сегодня хочется очень / Из окошка луну обоссать”)<sup>1</sup>, а где перевод из Рембо:

*Когда же, тщательно все сны переварив  
И весело себя по животу похлопав,  
Встаю из-за стола, я чувствую позыв...  
Спокойный, как творец и кедров, и иссопов,  
Пускаю ввысь струю, искусно окропив  
Янтарной жидкостью семью гелиотропов<sup>2</sup>.*

Есенин всегда очень внимательно всматривался в каждое техническое нововведение, — свидетельствует Шершеневич, — и если даже был с ним не согласен, то обижался: почему не он, Есенин, это придумал?!

Помню, что я как-то написал небольшую поэму на диссонансах. Есенин зло указал мне на какие-то две строчки, “стащенные у меня”, но Кусикову вечером значительно говорил:

— Ишь, подлец! Мы от рифмы ушли к ассонансам, а он прямо на диссонансы, сукин сын, скакнул! Хитрый он, Вадим-то. Ему палец в рот не клади!

И, придя на другой день ко мне, долго и по-дружески расспрашивал, где еще встречаются диссонансы, каков их принцип, почему это нужно<sup>3</sup>.

Особенно запомнилась мемуаристам так называемая “машина образов”, или “стихомашина”, в духе сюрреализма или дада. “Это было в Богословском переулке, — рассказывает С. Городецкий, — где Есенин жил вместе с Мариенгофом. <...> Я застал <...> Есенина на полу над рассыпью мелких записок. Не вставая с пола, он стал мне объяснять свою идею о “машине образов”. На каждой бумажке было написано какое-нибудь слово — название предмета, птицы или качества. Он наугад брал в горсть записки, подкидывал их и потом хватал первые попавшиеся. Иногда получались яркие двух- и трехэтажные имажинистские сочетания

1 О том, что поэтическое хулиганство Есенина очень часто являлось продолжением бытового, свидетельствует шарж есенинского приятеля И. Бабеля, вошедший в его рассказ “Мой первый гусь”: “Молодой парень с льяным висячим волосом и прекрасным рязанским лицом подошел к моему сундучку и выбросил его за ворота. Потом он повернулся ко мне задом и с особенной сноровкой стал издавать постыдные звуки”.

2 Стихотворение Рембо “Вечерняя молитва” (в переводе Б. Лившица); параллель проведена И. Беляевым (*Беляев И. Подлинный Есенин. Воронеж, 1927. С. 37*). Из этого же стихотворения Рембо, по наблюдению М. Л. Гаспарова, взят образ “брадобрея” в мандельштамовском стихотворении “Ариост” (*Гаспаров М. Комментарий // Мандельштам О. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 789*).

3 Мой век... С. 577.

образов”<sup>1</sup>. “Этим способом писания стихов поэт хотел расширить рамки необходимого, хотел убежать из тюрьмы своего мозга, хотел многое предоставить стечению обстоятельств, игре случая. Этот способ писания стихов напоминает игру в счастье, гадание по билетикам, которые вынимает сидящий в клетке уличный попугай” (И. Грузинов)<sup>2</sup>.

Есенин хорошо знал об опасностях, угрожавших его стихам. Поэт боялся, что его манера станет слишком гладкой, слишком легкой, слишком благозвучной — тогда он не сможет удивлять публику. Еще больше его пугала перспектива завязнуть в стилизации — тогда публика перестанет ему верить. Имажинисты помогли Есенину счастливо избежать этого.

Благодаря влиянию друзей поэт завел в своих стихах те самые “острые углы”, которые он так порицал у Маяковского. Резкие, дисгармонические образы, во многом навеянные имажинистами, усложнили есенинскую поэтику и придали ей увлекательный драматизм. С 1919 года в стихах и поэмах русского Орфея развернулась борьба песенного лада и скрежещущего диссонанса.

Так, первая имажинистская поэма Есенина “Кобыльи корабли” начинается с пугающей инверсии столь привычных для поэта природных образов: корабли, плывущие в страну грядущего, — это “рваные животы кобыл”, “черные паруса воронов”; лазурь становится хищной (“не просунет когтей лазурь”)<sup>3</sup>, небо — больным (“из пургового кашля-смрада”), заря — разрушительной (“это грабли зари по пушам”), сад — превращается в кладбище (“черепов златохвойный сад”); как в авангардной живописи, в стихотворении разворачивается композиция из органов, смещенных со своих мест или отделившихся от тела (“Веслами отрубленных рук / Вы гребетесь в страну



Вадим Шершеневич. 1920-е

1 Городецкий С. Жизнь неукротимая... С. 45.

2 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 143.

3 Сходный образ, впрочем, встречался уже в “Инонии”: “Твое солнце когтистыми лапами / Прокотилось в душу, как нож”.

грядущего”; “Скоро белое дерево сронит / Головы моей желтый лист”; “Посмотрите: у женщин третий / Вылупляется глаз из пупа”). Однако в последней части мерный ритм анапеста: “Буду петь, буду петь, буду петь” — сменяет диссонансы дольника, “крестьянские” метафоры стилистически сглаживаются и закругляются (“яблоко радости”, “сад зари”, “серпы стихов”, “солнце-куст”); лад восстанавливается.

“Не черным вороном, а касаткой степной глядит у этого озорника каждая песня...” — настаивал В. Львов-Рогачевский<sup>1</sup>; не совсем так: во многих его песнях “касатка степная” борется с “черным вороном”. У Есенина-имажиниста искали и находили “искренний лиризм, пробивающийся сквозь словесные ухищрения, сквозь чехарду образов”<sup>2</sup>. Но именно в этом и состояла цель хитрого есенинского приема: заставить читателя (слушателя) переживать конфликт “песенного лиризма” с “чехардой образов” и насладиться победой “песенного лиризма”. Так, в стихотворении “Мир таинственный, мир мой древний...” (1921) полногласный, песенный анапест (“Стынет поле в тоске волоокой...”) перебивается дольником: “...Телеграфными столбами давясь”, в результате чего действительно возникает впечатление прерывистой, задыхающейся речи (“строка “подавилась””<sup>3</sup>). А стих “И расшатываться и пропадать” — убеждает читателя (слушателя) в своей искренности расшатанным размером. Но в конце стихотворения все равно торжествует песенная гармония — и тематически (обещание блоковского “того берега”, на котором “пропоют” “песню отмщенья за гибель”), и лексически (высокий слог: “отмщенья”, “гибель”, “пропоют”), и риторически (утешительная интонация уступки: “пускай — все же”), и формально (апофеоз “поющего” анапеста).

В отличие от Клюева и старших “скифов”, имажинисты не учили Есенина уму-разуму, а вдохновляли его. В его прежних стихотворениях деревня воспринималась как удачная стилизация; лирический герой, крестьянин, — как маска; религиозные мотивы — как красочные фигуры речи. И вот читатели привыкли сначала к пастушку с иноком, а затем к крестьянскому пророку, стали неощутимыми сначала деревенские идиллии, а затем деревенские утопии. Стратегически невыгодным для Есенина оказалось и расширение деревни до масштабов вселенной в его революционных поэмах (органичное для Клюева): в космическом про-

1 *Львов-Рогачевский В.* Новейшая русская литература. С. 257.

2 *Розанов И.* Литературные репутации. С. 448.

3 *Марков В.* О свободе в поэзии... С. 198.

странстве ему угрожала опасность стать спутником Маяковского; и так уже есенинские гиперболы (“До Египта раскорячу ноги...”<sup>1</sup>; “...Бросаю, в небо свесясь, / Из голенища нож”<sup>2</sup>) выглядели цитатами из “Облака в штанах”.

Что было делать? Общение с имажинистами, совмещавшими ранний советский нигилизм и поздний декаданс<sup>3</sup>, навело Есенина на замечательную идею — перевести свои излюбленные темы в область “минус-отрицательных величин” (так А. Крученых определил есенинский тематизм<sup>4</sup>). То есть: *писать о деревне, которой нет или скоро не будет, о вере, которая потеряна, от имени крестьянина, ушедшего в город, блудного сына села, “последнего поэта деревни”*.

Это позволило поэту высвободить в себе мощную стихию тоски. “Наивная, исконная и потому необычайно живучая стиховая эмоция, — писал Ю. Тынянов, — вот на что опирается Есенин. Все поэтическое дело Есенина — это непрерывное искание украшений для этой голой эмоции”<sup>5</sup>. Но прав ли Тынянов, утверждая, что “голая эмоция” определяет всю поэтическую биографию поэта — от ранних стихов (“светлого инока” в клюевской скуфейке) до имажинизма (“похабника и скандалиста”)?<sup>6</sup> Нет: до 1919 года “украшения” заслоняли “исконную эмоцию”, стилизация подавляла ее, не давала ей свободного порыва; только имажинистский поворот к элегии, к плачу о том, чего или кого больше нет, открыл шлюзы для сильного эмоционального потока. В некотором смысле прав Крученых: не для Есенина, но для его стихов — “чем хуже, тем лучше”<sup>7</sup>.

Есенин “из тоски делал программу, из душевного смятения — литературную школу”<sup>8</sup>. Ключом к этой программе, обновившей его стихи, его коренную связь с литературной традицией и фольклором, можно считать строки из стихотворения “Хулиган”:

*Русь моя! Деревянная Русь!  
Я один твой певец и глашатай.  
Звериных стихов моих грусть  
Я кормил резедой и мятой.*

1 “Инония”.

2 “О Русь, взмахни крылами...”.

3 О декадентстве имажинистов см.: Марков В. О свободе в поэзии... С. 49, 53.

4 Крученых А. Есенин: Москва кабацкая. М., 1926. С. 23.

5 Тынянов Ю. Поэтика... С. 170.

6 Там же. С. 170–171.

7 См.: Крученых А. Новый Есенин. М., 1926. С. 22.

8 Эренбург И. Люди, годы, жизнь: Книга первая и вторая. С. 580.

“Резеда и мята” символизируют здесь “самое драгоценное” в есенинском даре — способность схватить “образ родной природы, лесной, средне-русской, рязанской”, передать его “с ошеломляющей свежестью, как она далась ему в детстве”<sup>1</sup>. Инстинктивное чувство родной природы, детская, бессознательная любовь к родине когда-то породили старую есенинскую тему: пасторальной нищеты, убогого рая (“деревянная Русь”, “резеда и мята”). Теперь же пришло время “выкормить” этими “корешками” зверя, которого Есенин всегда в себе знал, но до поры не будил, — зверя тоски.

Стихия тоски, в самых разнообразных ее оттенках и переливах, отныне наполняет есенинские стихотворения. Здесь и тихая, светлая грусть: “Не жалею, не зову, не плачу...” И жалость к себе: “Скоро мне без листвы холодет, / Звоном звезд насыпая уши”. И смутная грусть, душевное томление: “Душа грустит о небесах, / Она не здешних нив жилища”. И веселый надрыв: “Я всего лишь уличный повеса, / Улыбающийся встречным лицам”. И звериная ярость, переходящая в манию преследования и как бы предсказывающая Высоцкого: “...Так охотники травят волка, / Зажимая в кольцо облав”. И бессмысленная скука, переходящая в бред: “В черной луже продрогший фонарь / Отражает безгубую голову”. И безнадежное отчаяние: “Я такой же, как вы, пропащий, / Мне теперь не уйти назад”. И то, что Крученых обозначил как “*Todestrieb*”<sup>2</sup>, влечение к смерти: “Скоро, скоро часы деревянные / Прохрипят мой двенадцатый час”. И наконец, черная меланхолия, выраженная в “тоскливо-висельной форме”<sup>3</sup>: “...Чтоб не видеть в лицо роковое, / Чтоб подумать на миг об ином”.

*Тоска — ключ к поэзии Есенина.* Взять хотя бы “Пугачева”. В связи со знаменитой есенинской драмой возникает вопрос: почему она не встретила одобрения у большинства критиков? Потому что они отнеслись к этой драме как к недоделанному или “грубо, кое-как”<sup>4</sup> сделанному тексту, где все — или “выпадение”, или “невязка”: вместо истории — очаровательно-нелепые<sup>5</sup> анахронизмы, вместо действия — “топтанье на ровном поле ме-

1 Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 336.

2 См.: Крученых А. Хулиган Есенин. С. 11.

3 См.: Крученых А. Есенин: Москва кабацкая. С. 24.

4 См.: Адамович Г. С того берега... С. 25.

5 “Не стану долго останавливаться <...> на очаровательных анахронизмах à la Шекспир (напр.: “Керосиновую лампу в час вечерний зажигает фонащик из города Тамбова”. В 70-х-то годах XVIII столетия?)” (А. Лежнев; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 310); В. Лурье оценила эти слова Бурнова из VII сцены “Пугачева” как “полный исторический абсурд” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 490).

тафор”<sup>1</sup>, вместо народного языка и народных героев — “волапюк”<sup>2</sup> и “Вампука”<sup>3</sup>.

“Но, — возражает этим критикам Д. Святополк-Мирский, — надо все-таки быть человеком глухим, чтобы не расслышать за этими слабыми стихами и нелепыми образами самой страшно подлинной, пожирающей и безысходной тоски писавшего ее человека”<sup>4</sup>. Вот именно, расслышать. Пусть “тон есенинской поэмы <...> есть монологический пафос, очень взвинченный, почти истерический”<sup>5</sup>, но зато в одном случае этот пафос действовал безотказно: чтение автора всякий раз производило на публику “огромное впечатление”<sup>6</sup>, ей передавалась “пожирающая и безысходная тоска” поэта. Читатели же — принимали “Пугачева”, если угадывали за его строками — голос<sup>7</sup>, а в голосе — тоскующую душу поэта.

Есенинская драма — это апофеоз театрализованного стиха. Подобно Маяковскому с его трагедией, Есенин мог бы назвать “Пугачева” своим именем, но и без этого здесь в одном лице соединились — автор, герой, актер.

- 1 А. Лежнев; цит. по: *Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 310.*
- 2 “Его <“Пугачева”> герои изъясняются не современным русским языком, сухим, простым и точным, а цветистым и разукрашенным, типичным условно-поэтическим волапюком” (*Адамович Г. С того берега... С. 24*); “В “Пугачеве” <...> слишком часто “манера” превращается в “манерность”...” (из рецензии, опубликованной в пражском журнале “Воля России”, 1922, № 12; цит. по: *Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 294*); “К чему такая имажинизация речи Пугачева? Своей ненужной надуманностью она бьет в глаза, не дает возможности сосредоточиться на образе Пугачева” (*Е. Шамшурин; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 280*).
- 3 “Они (герои драмы. — *О. Л., М. С.*) марионетки...” (*Я. Апушкин; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 276*); “Посмотрите, как слащаво, как манерно, как жалко они обрисованы! Вот, например, диалог прямо из “Вампуки” <...> Его (Есенина. — *О. Л., М. С.*) идиллические пейзажи (переодеты. — *М. С., О. Л.*) — мятежными бунтовщиками, и поэты из “Стойла Пегаса” загримированы à la cosaque russe...” (*А. Лежнев; цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 310–311*). Уличать в героях драмы, и прежде всего в самом Пугачеве, имажинистов стало общим местом: “Есенинский герой — не просто Емельян Пугачев, каким его знает история, а имажинист Пугачев, и если бы автор снабдил свою поэму, вернее, лиро-драму, ремарками, то под героем значилось бы: “Пугачев — мечтательный молодой человек в цилиндре, красные бриджи, смокинг”” (*Б. Анибал; цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 488*); “Пугачев приближен к нашей эпохе; он говорит и думает как имажинист, он очень похож на поэта. <...> Он — в цилиндре, в смокинге, в перчатках и не скрывается в дремучих заповедных лесах, а ходит по асфальту городских улиц” (*Воронский А. Искусство видеть мир. С. 175*); “Емелья Пугачев, его враги и сподвижники — все сплошь имажинисты” (*Троцкий Л. Памяти Сергея Есенина // Правда. 1926. 19 января. С. 3*); “В разбойных героях XVIII века вложены чувства, мысли. Слова “имажиниста” нашего времени, который сам о себе говорит: “Такой разбойный я...”” (*Иванов-Разумник; цит. по: Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 156*).
- 4 *Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия: Статьи. Рецензии. Портреты. Некрологи. СПб., 2002. С. 120.*
- 5 *Адамович Г. С того берега... С. 26.*
- 6 Из воспоминаний В. Вольпина: “Я не знаю, сколько длилось чтение, но знаю, что, сколько бы оно ни продолжалось, мы, все присутствовавшие, не заметили бы времени. Вещь произвела огромное впечатление” (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 426).
- 7 “Выкрик, <...> раскидистую и трепыхающую речь” (*Я. Черняк; цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 478*); “взволнованность готового оборваться голоса”, “изумительные задыхания” (*И. Эренбург; цит. по: Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 145*).





Алексей Толстой  
Портрет работы Ю. П. Анненкова. 1920-е

“Вдали на пустой широкой сцене виднелась легкая фигура Есенина, — вспоминает С. Спасский о выступлении поэта в Доме печати летом 1921 года. — <...> Полы его блузы развевались, когда он перебежал с места на место. Иногда Есенин замирал и останавливался и обрушивался всем телом вперед. Все время вспыхивали в воздухе его руки, взлетая, делая круговые движения. Голос то громыхал и накатывался, то замирал, становясь мягким и проникновенным. И нельзя было оторваться от чтеца, с такой выразительностью он не только произносил, но разыгрывал в лицах весь текст.

Вот пробивается вперед охрипший Хлопуша, расталкивая невидимую толпу. Вот бурлит Пугачев, приказывает, требует, убеждает, шлет проклятья царице. Не нужно ни декораций, ни грима, все определяется силой ритмизованных фраз и яркостью непрерывно льющихся жестов, не менее необходимых, чем слова. Одним человеком на пустой сцене разыгрывалась трагедия, подлинно русская, лишенная малейшей стилизации”<sup>1</sup> — при том, что читавшие по писаному видели в “Пугачеве” как раз сплошную стилизацию.

Вместо действующих лиц в есенинском монологическом театре сталкивались разные лики тоски.

“Есенина попросили читать, — рассказывает М. Горький о чтении драмы в берлинской квартире А. Н. Толстого (май 1922 года). — Он охотно согласился, встал и начал монолог Хлопуши. Вначале трагические выкрики каторжника показались театральными. <...>

Но вскоре я почувствовал, что Есенин читает потрясающе, и слушать его стало тяжело до слез. <...> Голос поэта звучал несколько хрипло, крикливо, надрывно, и это как нельзя более резко подчеркивало каменные слова Хлопуши. Изумительно искренно, с невероятной силою прозвучало неоднократно и в разных тонах повторенное требование каторжника:

*Я хочу видеть этого человека!*

И великолепно был передан страх:

*Где он? Где? Неужель его нет?*

<...> Читая, он побледнел до того, что даже уши стали серыми. Он размахивал руками не в ритм стихов, но это так и следовало, ритм их

<sup>1</sup> С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 200–201.

был неуловим, тяжесть каменных слов капризно разновесна. Казалось, что он мечет их, одно — под ноги себе, другое — далеко, третье — в чье-то ненавистное ему лицо. И вообще все: хриплый, надорванный голос, неверные жесты, качающийся корпус, тоской горящие глаза — все было таким, как и следовало быть всему в обстановке, окружающей поэта в тот час.

Совершенно изумительно прочитал он вопрос Пугачева, трижды повторенный:

*Вы с ума сошли? —*

громко и гневно, затем тише, но еще горячее:

*Вы с ума сошли?*

И наконец совсем тихо, задыхаясь в отчаянии:

*Вы с ума сошли?*

*Кто сказал вам, что мы уничтожены?*

Неописуемо хорошо спросил он:

*Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?*

И, после коротенькой паузы, вздохнул, безнадежно, прощально:

*Дорогие мои...*

*Хор-рошие...*

Взволновал он меня до спазмы в горле, рыдать хотелось<sup>1</sup>.

Есенин, читавший “Пугачева”, порой творил чудеса: пусть русский Орфей “не водил за собой все, вызывая радость своим голосом”<sup>2</sup>, зато он вызывал приступы горестного сочувствия даже у тех слушателей, что не понимали ни слова по-русски.

“Я была ошеломлена, — делится своими впечатлениями секретарь А. Дункан Лола Кинель, свидетельница выступления Есенина в Брюс-

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 7–9.

2 Эсхил. “Агамемнон”, 1630; “...Игру Орфея слушать / Звери дикие стекались, / И сходили с мест деревьев” (Еврипид. “Вакханки”, 562–564).

селе. — Есенинский голос <...> передавал изумительный диапазон переживаний. От нежной ласкающей напевности он возносился до диких, то хриплых, то пронзительных выкриков. <...> Есенин-Пугачев выражал недовольство шепотом, вел неторопливый рассказ, будто пел песню. Он же орал, плевался, богохульствовал. Его тело раскачивалось в ритме декламации, и вся комната словно вибрировала от его эмоций. Потом, в конце, побежденный, он — Есенин-Пугачев — съезжился и зарыдал.

Мы сидели молча... Долгое время никто из нас не мог поднять рук для аплодисментов, потом они раздались вместе с диким шумом и криком... Только я одна знала русский и могла понять смысл, почувствовать мелодичность его слов, но все остальные восприняли силу переживаний и были потрясены до глубины души...<sup>1</sup> Именно как чудо описывает “вакхическую” декламацию “Пугачева” (Париж, 1922) Ф. Элленс: “Есенин то неистовствовал, как буря, то шелестел, как молодая листва на заре. Это было словно раскрытие самих основ его поэтического темперамента. Никогда в жизни я не видел такой полной слиянности поэзии и ее творца <...> он пел свои стихи, он вещал их, выплевывал их, он то ревел, то мурлыкал со звериной силой и грацией, которые пронзали и околдовывали слушателя”<sup>2</sup>.

“А “Пугачев” — это уже эпос, но волнует, волнует меня сильнее всего...” — говорил Есенин Н. Александровой<sup>3</sup>; это волнение элегической тоски, которой тесно в рамках лирического стихотворения. Символично, что голос автора, читающего драму в комнате (Ташкент, май 1921 года), вырывается за ее пределы и находит отклик у уличной толпы: “Читал он громко, и большой комнаты не хватало для его голоса. <...> Он кончил... И вдруг раздались оглушительные аплодисменты. <...> Хлопки и крики

**ЕСЕНИН**

**ПУГАЧОВ**

Обложка первого отдельного издания поэмы Сергея Есенина “Пугачев” (М., 1922)

1 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин: (Главы из книги “Под пятью орлами”) // Звезда. 1995. № 9. С. 152.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 23.

3 Там же. Т. 1. С. 421.

неслись из-за открытых окон <...>, под которыми собралось несколько десятков человек, привлеченных громким голосом Есенина”. Но и при усилении голоса, и при эпическом увеличении количества строк элегия остается элегией — ведь не герою сочувствуют слушатели, а самому поэту: “Почувствовалось, что и сам поэт переживает трагедию, может быть, не менее большую по масштабу, чем его герой” (В. Вольпин)<sup>1</sup>.

В есенинской драме разыгрывается не столько пугачевский бунт, сколько бунт элегии: стихия плача взрывает камерный жанр, катастрофически расширяется и устремляется на просторы эпоса. Уже во второй строке “Пугачева” элегической жалобе (“Ох, как устал и как болит нога...”) задан пугающий масштаб — анахронистическим понятием и причудливой метафорой, по которой перекачивается эхо аллитераций (“*Ржет дорога в жуткое пространство*”); странный эпитет “жуткое” звучит так гулко, как не звучал бы на его месте и сам эпитет “гулкое”. Завершается поэма прерывистой, задыхающейся речью, знаменующей высвобождение из атомов элегической условности первобытной энергии плача, равной по силе звериному скулению и вою:

*А казалось... казалось еще вчера...  
Дорогие мои... дорогие... хор-рошие...*

Исследователи пишут об историко-биографической подоплеке первой строки “Пугачева”: “Нога могла болеть у Пугачева от железной колодки”<sup>2</sup> — и исторической актуальности последней строки, вроде бы совпадающей с воззванием А. Антонова к восставшим крестьянам в 1921 году<sup>3</sup>. Но вряд ли это так уж существенно: мощный элегический разлив все равно топит любые ассоциации с историей и современностью. Гораздо важнее переключки с элегиями прошлых лет: ноги есенинского Пугачева болят скорее не от исторически достоверной колодки, а от бесплодных “исканий”, продолженных вслед за плачущим Маяковским:

*Я  
ногой, распухшей от исканий,  
обошел*

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 426–427.

2 Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 163.

3 Занковская Л. В. Новый Есенин: Жизнь и творчество поэта без купюр и идеологии. М., 1997. С. 207; Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 166–167.

*и вашу сушу  
и еще какие-то другие страны  
в домино и маске темноты<sup>3</sup>.*

Больше всего в “Пугачеве” переключек с собственной “Исповедью хулигана”. Вот Пугачев сетует о неподготовленности прежних мятежей:

*Бедные, бедные мятежники,  
Вы цвели и шумели, как рожь.  
Ваши головы колосьями нежными  
Раскачивал июльский дождь;*

вот из тактических соображений объявляет себя императором Петром:

*Послушайте! Для всех отныне  
Я — император Петр!*

И что же? Вместо голоса народного вожака (будь то исторический Пугачев или есенинский современник Антонов) слышится “лирический тенор” “элегического хулигана”<sup>2</sup>:

*Бедные, бедные крестьяне!  
Вы, наверно, стали некрасивыми,  
Так же боитесь Бога и болотных недр.  
О, если б вы понимали,  
Что сын ваш в России  
Самый лучший поэт!*

А вот изменники готовятся схватить своего предводителя и отдать его в руки властей. Но и предательство отзывается нежной элегией.

*Нет! Ты не прав, ты не прав, ты не прав,  
Я сейчас чувством жизни, как никогда, болен.  
Мне хотелось бы, как мальчишке, кувыркаться по золоту трав  
И шишать черных галок с крестов голубых колоколен, —*

- 1 Слова из трагедии “Владимир Маяковский”; переключка замечена В. Шкловским (см.: В мире Есенина. С. 635). Сопоставление “Пугачева” с “Владимиром Маяковским” — тема для отдельного исследования.
- 2 Формула Д. Святополк-Мирского (*Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия... С. 70*).



мечтает один из заговорщиков, Бурнов, сладко перепевая лирического героя “Исповеди хулигана”:

*Я нежно болен воспоминаньем детства,  
Апрельских вечеров мне снится хмарь и сырь.  
Как будто бы на корточки погреться  
Присел наш клён перед костром зари.  
О, сколько я на нём яиц из гнёзд вороньих,  
Карабкаясь по сучьям, воровал!  
Всё тот же ль он теперь, с вершушкой зелёной?  
По-прежнему ль крепка его кора?*

Итак, лирическая тоска — без края, без берегов. Только вступив в союз с имажинистами, “поэтами мировой тошноты”, Есенин смог оседлать свою великую тему: “Имажинизм <...>, с его анархической богемностью, был для Есенина освобождением и обнаружением, — он оставался один с собою и своей тоской”<sup>1</sup>. “Обнаружение” тоски было прорывом — не просто вперед, к личной теме, но вглубь, к существенным пластам русского национального характера. Именно этой догадкой спешит поделиться Я. Черняк в своем неотправленном письме Есенину, откликавшемся на “Пугачева”: “Ну скажу вот: ждалось, уж давно, что ты пробьешься к пластам вихревым своего сердца — ну а там... Что там, Сережа?.. Тебе буря — нам огонь и радость”<sup>2</sup>. “Освобождение” тоски было шансом для русского Орфея — не просто “прогреть”, но “калмыцкой стрелой”<sup>3</sup> поразить сердца читателей, созвучные этой тоске.

Неудивительно, что есенинские чары рождали экстатический восторг прежде всего у женщин.

“Есенин читал, — вспоминает Н. Грацианская, — и правая пригоршня его двигалась в такт читке, словно притягивая незримые вожжи.

Когда он кончил — зал был его. Так в бурю захлестывает прибой, так хочешь не хочешь, а встает солнце, такова была сила Есенина, потому что это были уже не стихи, а стихия”<sup>4</sup>.

1 Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия... С. 119.

2 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 3. С. 478.

3 Из письма Клюева Есенину (28 января 1922 года): “Покрываю поцелуями твою “Трерядницу” и “Пугачева”. В “Треряднице” много печали, сжигающей скорлупы наружной жизни. “Пугачев” — свист калмыцкой стрелы, без истории, без языка, без быта, но нужней и желанней “Бориса Годунова”...” (Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 218–219).

4 Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина... С. 57–58.

Столь же магическим представлялись есенинские жесты Н. Вольпин:  
 “...Есенин вышел читать.

Поднимаясь на эстраду, он держал руки сцепленными за спиной, но уже на втором стихе выбрасывал правую вперед — ладонью вверх — и то и дело сжимал кулак и отводил локоть, как бы что-то вытягивая к себе из зала — не любовь ли слушателя? <...> Такое чтение не могло сразу же не овладеть залом”<sup>1</sup>.

Будто видения одолевают очарованных слушательниц: одной в руках поэта чудятся “незримые вожжи”, другой — вытягиваемые из зала нити любви. “Колдовские строки”<sup>2</sup> поэта управляют людскими волями (“зал был его”, “овладеть залом”)<sup>3</sup>, чтение превращается в подобие орфического ритуала<sup>4</sup>.

**5** За одним парадоксом есенинской жизни и творчества с роковой неизбежностью следует другой: *обретя себя, Есенин потерял свободу*. В том же стихотворении, в котором поэт пишет об истоках своих “нутряных” элегий — в “Хулигане”, — он вдруг признается:

*Ах, увял головы моей куст,  
 Засосал меня песенный плен.  
 Осужден я на каторге чувств  
 Вертеть жернова поэм.*

В этих легких строках о тяжелой поэтической доле, еще не трагических, еще игровых, угадывается снижение суровой блоковской темы — проклятие художника:

1 Есенин глазами женщин... С. 94.

2 См.: Вольпин Н. Свидание с другом // Есенин глазами женщин... С. 98.

3 Мемуаристы-мужчины, впрочем, не отставали от женщин. Ср.: “Несколько сот человек, потеряв волю над собой, полностью отделились то раздольным, то горестным, то жестким, то ласковым словам, родившимся в душе поэта” (Вержбицкий Н. Встречи с Есениным... С. 21).

4 См. сравнение есенинского чтения с религиозным ритуалом: “Читает Есенин. Все глаза и головы повернулись к сцене. Есенин побледнел и начал: “Исповедь хулигана”. В каком-то рассказе я читала однажды, что один несчастный китаец, который не знал молитв, пал на колени перед темным изображением своего Бога и начал жонглировать. Он жонглировал так виртуозно, что Бог услышал его молитву. Есенин знал тайну звучащего слова так же, как китаец — жонглирования” (Стырская Е. Поэт и танцовщица: Из воспоминаний о Сергее Есенине и Айседоре Дункан // Сергей Есенин глазами современников. С. 216).

*Для иных ты — и Муза, и чудо.  
Для меня ты — мученье и ад<sup>1</sup>.*

ИЛИ

*И, наконец, у предела зачатия  
Новой души, неизведанных сил, —  
Душу сражает, как громом, проклятие:  
Творческий разум осилил — убил.*

*И замыкаю я в клетку холодную  
Легкую, добрую птицу свободную,  
Птицу, хотевшую смерть унести,  
Птицу, летевшую душу спасти.*

*Вот моя клетка — стальная, тяжелая,  
Как золотая, в вечернем огне.  
Вот моя птица, когда-то веселая,  
Обруч качает, поет на окне.*

*Крылья подрезаны, песни заучены.  
Любите вы под окном постоять?  
Песни вам нравятся. Я же, измученный,  
Нового жду — и скучаю опять<sup>2</sup>.*

“Есть два поэта на Руси: Пушкин и Блок, — говорил Есенин на поминальном вечере в августе 1921 года. — Но счастье нашей эпохи, счастье нашей красоты открывается блоковскими ключами”<sup>3</sup>. А еще, помимо “счастья” и “красы” эпохи, этими ключами открываются есенинская трагедия, роковое заклятие “песенного плена”. Путь Есенина от “чуда” к “аду”, от творчества-полета к творчеству-клетке совершался под знаком Блока.

Есенин преклонялся перед Блоком, но при этом в его отношении к старшему поэту было что-то от того враждебного чувства, которое Х. Блум назвал “страхом влияния” (“the anxiety of influence”). Признание блоковского величия не исключало отчаянной ревности к нему. Отсюда противоречия в оценках.

1 А. Блок, “К Музе” (1912).

2 А. Блок, “Художник” (1913).

3 Буровий К. Незащищенное дитя... С. 97.

В поминальные дни, единственный из имажинистов, Есенин испытал момент истины. Согласно дневниковой записи Андрея Белого, именно тогда “Сергей Есенин говорил, что говорить о смерти Блока нельзя: раз, в беседе с Блоком по поводу слухов о разрушенном Кремле, Блок сказал Есенину: “Кремль разрушить нельзя: он во мне и в вас; он — вечен; а о бранных формах я не горюю”. То же применил Есенин о Блоке: он — наш, он — не умирает, он — вечен, а о бранным “Блоке” горевать нечего”<sup>1</sup>.

Но в будни Есенин скорее отталкивался от Блока; особенно же неохотно говорил о блоковском влиянии на свою поэзию. Так, В. Эрлих приводит характерную реплику Есенина: “Они говорят — я от Блока иду, от Клюева. Дурачье! У меня ирония есть. Знаешь, кто мой учитель? Если по совести... Гейне — мой учитель! Вот кто!”<sup>2</sup>. В этом стремлении искать далекого учителя слишком очевидна была опасливая оглядка на близкую, грозную блоковскую тень<sup>3</sup>.

И Есенин отмахивался от нее как мог. Придирался к блоковским рифмам: “Стихия и Россия нельзя рифмовать. А между тем наши предшественники, например, Блок, почти все время так рифмовали. <...> Вот у меня: проси я — Россия”<sup>4</sup>. Критически оценивал блоковские эпитеты: “Блок — интеллигент, это сказывается на самом его восприятии. <...> Даже самая краска его образа как бы разведена мыслью, разложена рефлексией. Я же с первых своих стихотворений стал писать чистыми и яркими красками”<sup>5</sup>. И спешил перескочить к сомнительным обобщениям — то к



Александр Блок  
Силуэт Е. С. Кругликовой. 1921

1 Александр Блок... (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 810.

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 14.

3 Характерно, впрочем, что своим учителем Есенин объявляет не кого-нибудь, а весьма сильно повлиявшего на Блока Гейне. Подробнее см. в, возможно, известной Есенину статье: Тынянов Ю. Блок и Гейне // Об Александре Блоке. Пг., 1921. Нужно отметить и то обстоятельство, что, говоря еврей Эрлиху о Гейне как о своем учителе, Есенин косвенно отводит от себя обвинения в антисемитизме.

4 Грузинов И. Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 144.

5 Либединский Ю. Мои встречи с Есениным // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 143.

классовому подходу: “Александр Блок — это мой учитель. Но я не могу принять его рефлексии, его хныканья полубарского, полународнического”<sup>1</sup>; то к национально-патриотическим фантазиям: “Блок много говорит о родине, но настоящего ощущения родины у него нет. Недаром он и сам признается, что в его жилах на три четверти кровь немецкая”<sup>2</sup>.

Порой у Есенина возникает непреодолимое желание съязвить в адрес учителя, поиздеваться над ним. “Идет пьяный, — приводит Э. Герман есенинские слова о Блоке, — брюки расстегнуты, а за ним вся партия левых эс-эров”<sup>3</sup> (Есенину, кстати, тоже не чужая).

Все эти наскоки сводились к смешанному чувству благоговения, бунтующей ревности и страха, которое Есенин невольно выдал в своем ответе на вопрос Н. Вержбицкого:

“Спросил я его как-то про Блока.

Есенин пожал плечами, как бы не зная, что сказать.

— Скучно мне было с ним разговаривать, — вымолвил он наконец. — Александр Александрович взирал на меня с небес, словно бог Саваоф, грозящий пальцем <...> Но как поэт я многому научился у Блока”<sup>4</sup>.

Не сухая, будничная констатация: “многому научился”, а мифологическое сравнение: “словно бог Саваоф” — указывает на то, как Блок влиял на Есенина; стихи учителя “светят”<sup>5</sup> ученику, стихи ученика “звучат”<sup>6</sup> музыкой учителя.

Потому так усиленно и отталкивался Есенин от Блока, что был у него в “песенном плену”. Всю свою жизнь, вольно или невольно, Есенин следовал за блоковским “автобиографическим мифом”<sup>7</sup> — его “трилогией вочеловечения”.

Первый том Блока — “мгновение слишком яркого света”<sup>8</sup>, мистический взлет. С 1917 года в стихах Есенина с новой силой вспыхнули отсветы блоковского первого тома. Возьмем малую лирику 1917–1918 годов, в которой поэт гораздо скромнее и тише, чем в бурных революционных поэмах: сама тема этих стихотворений — ожидание чего-то радостного и светло-

1 Там же. С. 143–144.

2 По воспоминаниям И. Розанова (Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 438).

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 156.

4 *Вержбицкий Н.* Встречи с Есениным... С. 85.

5 Из воспоминаний М. Мурашева: “Без меня зашел Есенин. На столе нашел стихи Блока. Прочел их и написал записку, а внизу приписал: “Ой, ой, какое чудное стихотворение Блока! Знаешь, оно как бы светит мне!”” (*Мурашев М.* Сергей Есенин в Петрограде // Сергей Атександрович Есенин: Воспоминания. С. 50).

6 “В его (Есенина. — О. Л., М. С.) первых книгах постоянно звучит Блок...” (*Святополк-Мирский Д. П.* Поэты и Россия... С. 119).

7 См.: *Магомедова Д.* Автобиографический миф... С. 5–59.

8 Блок А. Собр. соч. Т. 8. С. 344.

го — притягивает их к блоковскому “слишком яркому свету”.

В стихах Блока все время возникает “кто-то, а кто, неизвестно. Будто приснилось во сне. Вместо точных подлежащих туманные. <...> А если сказано кто, то невнятно”<sup>1</sup>. А у Есенина — “отзвуки”, отраженные блики: “Кто-то ласковые руки / Проливает молоком”; “Кто-то сядет, кто-то выгнет плечи, / Вытянет персты”; “Я пойду за дорожным курганом / Дорогого гостя встречать”; “Хорошо выбивать из тела / Накаляющей песни гвоздь / И в одежде празднично-белой / Ждать, когда постучится гость”.

Первая книга Блока озадачивала “светлыми и темными пятнами, бегущими по ней беспрестанно”; тайна “долгие годы была его единственной темой”; “слово “туманный” — излюбленным словом”; “любимейшим образом” было слово “сумрак”<sup>2</sup>. Есенин старался не отставать, варьируя свое — “С тихой тайной для кого-то / Затаил я в сердце мысли”; “Верю: завтра рано, / Чуть забрезжит свет, / Новый над туманом / Вспыхнет Назарет”; “Звездой нам пел в тумане / Разумниковский лик”; “Там, где вечно дремлет тайна, / Есть нездешние поля”; и — по инерции, уже в 1919 году, — “То сучья золотых стволов, / Как свечи, теплятся пред тайной”.

Но вот пришло время имажинистского декаданса. Именно тогда Есенин и совершил судьбоносный поворот, “на 190 градусов”<sup>3</sup>, к блоковскому второму тому — “через необходимый болотистый лес — к отчаянию, проклятиям, “возмездию””<sup>4</sup>. “Если у Блока после первого тома сейчас же открыть второй, — пишет Чуковский, — не ладаном пахнет, а сивухой. “Я нищий бродяга, посетитель ночных ресторанов” — стал он говорить о себе, как будто и не был никогда “отроком, зажигающим свечи”. Теперь слово кабак стало повторяться у него столь же часто, как некогда слово храм”<sup>5</sup>. Блоковский миф — падение с мистической высоты в кабацкую



Сергей Есенин  
Силуэт работы Е. С. Кругликовой. 1926

1 Чуковский К. Книга об Александре Блоке. Пб., 1922. С. 9.

2 Там же. С. 15, 13, 10, 14.

3 См.: Клюев Н., Медведев П. Сергей Есенин. Л., 1927. С. 53.

4 Блок А. Собр. соч. Т. 8. С. 344.

5 Чуковский К. Книга об Александре Блоке. С. 34.



грязь — указывает Есенину дальнейший путь: отныне он “хулиган”, “скандалист”, “озорной гуляка”.

Критики нередко уличали Есенина в том, что он попал под губительное влияние второго и третьего тома Блока<sup>1</sup> и вульгаризировал его “ресторанные мотивы”<sup>2</sup>. А как реагировал на это сам Блок? “...Мы сразу заговорили о современной поэзии и ее упадке, — свидетельствует А. Тиняков. — Ал<ександр> Ал<ександрович> был настроен мрачно, смотрел на дело безнадежно, и когда я попытался указать как на некое все же выделяющееся явление на “Исповедь хулигана” Есенина и кое-что процитировал оттуда, Ал<ександр> Ал<ександрович> встретил мои цитаты ироническим смешком”<sup>3</sup>.

Сопоставляя жизненные драмы Блока и Есенина, Г. Адамович писал: “Замечательно в стихах его (Блока. — *О. Л., М. С.*) то, что каждое из них продолжается и дополняет другое, как комментарий к его внутренней биографии, с отчетливо намеченной линией восхождения и падения. Пожалуй, на этом и основана действенность блоковских стихов: читатель мало-помалу превращается в свидетеля драмы, причем свободной от влияния житейских невзгод, — как в случаях сравнительно мелких, скажем, у Есенина. Ни притворства, ни позы, ни лжи, ни кокетства, ни жалоб. Драма Блока развивается без вмешательства каких-либо случайностей, исключительно в силу того, что он был человеком, который искал “не счастья, а правды”...”<sup>4</sup> А между тем, подхватывая темы второго и частично третьего тома Блока, Есенин не подражает учителю, а спорит с ним. Тактика “хулиганских” стихов 1920–1922 годов и “Москвы кабацкой” — не почтительное следование блоковским образцам, а вторжение и захват.

С блоковской поэзией обычно связывают открытие *литературной личности*:

“Блок — самая большая лирическая тема Блока, — формулирует Тынянов. — Эта тема притягивает как тема романа еще новой, нерожденной (или неосознанной) формации. Об этом *лирическом герое* и говорят сейчас.

Он был необходим, его окружает легенда, и не только теперь — она окружала его с самого начала, казалось даже, что она предшествовала са-

1 “Блок <...> разочаровавшийся во всем и всех, <...> Блок, находящий забвение в “вине и страсти” — стал учителем Есенина” (*Друзин В.* Сергей Есенин. Л., 1927. С. 36).

2 *Клюев Н., Медведев П.* Сергей Есенин. С. 69.

3 Александр Блок... (Литературное наследство. Т. 92. Кн. 3). С. 133.

4 *Адамович Г.* С того берега... С. 319.

мой поэзии Блока, что его поэзия только развила и дополнила постулированный образ.

В образ этот персонифицируют все искусство Блока; когда говорят о его поэзии, почти всегда за поэзией невольно подставляют *человеческое лицо* — и все полюбили *лицо*, а не *искусство*<sup>1</sup>.

Но тот же Тынянов замечает, что Есенин идет по этому опасному пути — дальше: “Литературная, стиховая личность Есенина раздулась до пределов иллюзии. Читатель относится к его стихам как к документу, как к письму, полученному по почте от Есенина”<sup>2</sup>.

Стихи как “документ”, как личное “письмо” — такова сознательная установка Есенина. “Житейские невзгоды” в его поэзии не есть результат “вмешательства случайностей”, как пишет Адамович, — нет, невзгоды эти нужны поэту: из них Есенин творит небывалое по своей наглядности представление.

По мысли В. Шкловского, “искусство явилось для него <Есенина> не отраслью культуры, но суммой знания — умения (по Троцкому) с расширенной автобиографией. Пропавший, погибший Есенин — эта есенинская поэтическая тема, она, может быть, и тяжела для него, как валенки не зимой<sup>3</sup>, но он не пишет стихи, а стихотворно разворачивает свою тему”<sup>4</sup>. Это “разворачивание”, “раздувание” житейского — смелый тактический ход в битве за публику, ход от театрализации стиха к театрализации жизни.

“Актеры, я заметил, — размышляет Э. Герман, — питали к нему (Есенину. — О. Л., М. С.) особенную нежность. Может быть, потому, что он так эффектно “играл” свою жизнь.

Играл по старинке, нутром, как играли во времена Качалова”<sup>5</sup>.

“...Он самую свою жизнь строил по придуманному им авторскому лицу”, — позже добавит Н. Вольпин<sup>6</sup>.

Есенину-имажинисту больше не нужен блоковский миф и условные маски: он хочет заставить зрителей своей драмы стихи воспринимать как свидетельства о происшествиях, а происшествия — как продолжение стихов; он пытается стереть границу, отделяющую искусство от быта, все делает для того, чтобы уже было нельзя разобрать — где кончается поэзия,

1 Тынянов Ю. Поэтика... С. 118–119.

2 Там же. С. 171.

3 Намек на все ту же пресловутую историю с валенками в салоне З. Гиппиус.

4 Шкловский В. Гамбургский счет... С. 372.

5 Материалы к биографии... С. 182.

6 Маквей Г. Неопубликованные письма о Сергее Есенине // Столетие Сергея Есенина: Международный симпозиум. Есенинский сборник. Вып. III. М., 1997. С. 460.



Галина Бениславская. 1920-е

где начинается жизнь. Так доводятся до предела тенденции эпохи — расширение звучащего слова, театрализация стиха, “зрелищное понимание биографии”<sup>1</sup>.

Красноречивым примером того, сколь ошеломляюще воздействовала на окружающих есенинская *поэтическая личность*, могут послужить мемуары Г. Бениславской, влюбившейся в Есенина именно на поэтическом вечере: “Главное для меня в нем был не поэт, а та бешеная стихийность. Ведь стихи можно в книгах читать, слушать на вечерах. Но для меня это никогда, ни до, ни после, не связывалось с личностью поэта”<sup>2</sup>.

По есенинским стихам можно было узнать его в лицо: “Тех волос золотое сено / Превращается в серый цвет”; “Я нарочно иду нечесаным, / С головой, как керосиновая лампа, на плечах...”; “Я только крепче жму тогда руками / Моих волос качнувшийся пузырь”; “Как васильки во ржи, цветут в лице глаза”;

“Были синие глаза, да теперь поблекли”. По лицу же, воспринятому как цитата, узнавались его стихи. “Есенин влюблен в желтизну своих волос. Она входит в образный строй его поэзии”, — замечает Н. Вольпин<sup>3</sup>. В есенинской “легкой походке” искали секрет его поэтического ритма:

“Мне отчасти раскрылся секрет песенности стихов Есенина, то их своеобразие, которое сам он называл: “моя походка”.

Да, именно, — это была легкая, удобная, спорая, бодрящая походка человека, который шагает по гладкой тропе, а сам о чем-то задумался”<sup>4</sup>.

1 См.: Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 228.

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 22.

3 Есенин глазами женщин... С. 167.

4 Вержбицкий Н. Встречи с Есениным... С. 99.

Из переулка “легкая походка” непринужденно влетала в строку: “В переулке каждая собака / Знает мою легкую походку”<sup>1</sup>.

“Стиль жизни и стиль поэзии совпали”<sup>2</sup>; Орфей, не выпуская лиры, вместо Аида спустился в реальный кабац. Вчерашние скандалы стали восприниматься как прелюдия к “горчайшей усладе”<sup>3</sup> стихов, стихи же обещали новые скандалы<sup>4</sup>.

“Литературный герой — Сергей Есенин, — поразились современники, — не был только литературным героем — это живой Сергей Есенин, вводя свое “я” в стихи, пропивал свою жизнь”<sup>5</sup>. Рассказывая об этом в своих произведениях, поэт обращался к публике не только как к слушателям, зрителям, свидетелям — каждому из них он раскрывался как лучшему, единственному другу. Между ними, поэтом и слушателем, как будто уже не оставалось ни поэтической условности, ни разделяющей рампы: “До дна обнажена душа поэта”<sup>6</sup>.

“Есенин читал <...> так, словно исповедовался перед нами в самых своих сокровенных раздумьях и переживаниях, — передает Б. Соловьев свои впечатления от чтения стихотворения “Разбуди меня завтра рано...”, — делился опытом всей своей жизни, раскрывал свою судьбу <...> А когда по всему притихшему залу послышалось:

*Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет... —*

то, казалось, <...> начинается новое бытие человека, впервые ждущего встречи со всеми людьми, живущими в родной стране, и готового полностью разделить с ними все их самые сокровенные думы, чаянья, упования... И разве могут они и сами не раскрыться перед ним до конца и не принять его в свой внутренний мир?

Нет, и они также выйдут ему навстречу — и примут его в свое сердце как лучшего друга, брата, соратника в любых деяниях и начинаниях”<sup>7</sup>.

Есенин заставлял следить за его жизнью по стихам, сочувствовать ему, надеяться и отчаиваться вместе с ним. Поэт, как “русский паренек, рязан-

1 См.: “О своей легкой походке писал он сам. Тело свое нес он действительно легко и непринужденно” (Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 177).

2 Крученых А. Есенин. Москва кабацкая. С. 32.

3 Слова из статьи Кусикова “Мама и пама имажинизма” (цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 299).

4 См. ироническое высказывание О. Брика: “Приятель Есенина не решались лечить его от запоя, потому что боялись, что он выздоровеет и перестанет писать стихи” (цит. по: Литература факта: Первый сборник материалов работников ЛЕФА. М., 2000. С. 77).

5 Друзин В. Сергей Есенин. С. 37.

6 Лелевич Г. Сергей Есенин: Его творения и путь. Гомель, 1926. С. 34.

7 О Есенине... С. 552–553.

ский мужичок на площади, при всем честном народе падает на колени, ударяет кулаком в грудь: “Бра-атцы, тоска-а”<sup>1</sup>, — и народ готов поверить, что его “каждая песнь написана кровью пораненных жил”<sup>2</sup>, и еще при жизни оплакать поэта.

Плакал Горький. Плакал Шаляпин<sup>3</sup>.

Самые разные люди, говоря о Есенине, повторяли одни и те же прочувствованные слова. Допустим, в устах советского журналиста Н. Вержбицкого формула: “Все хватало за самое сердце” — звучит как штамп. Но вот отклик полуграмотной сибирской крестьянки: “Крючком задеет за сердце”<sup>4</sup> — совпадает с вердиктом эмигрантских законодателей вкуса, строгих эстетов Г. Иванова и Г. Адамовича, вроде бы привыкших глядеть на Есенина сверху вниз: “Действительно, есть что-то за сердце хватающее, пронзительное”<sup>5</sup>; что-то ударяет “по русским сердцам” с “неведомой силой”<sup>6</sup>. А это уже чудо — вроде деревьев, танцующих под звуки Орфеевой лиры.

Но вспомним ироническую улыбку больного, умирающего Блока. А если, по символистскому обычаю, увидеть в ней пророчество намеком? Во всяком случае, стоит сопоставить эту горькую улыбку с фразой из давнего (1915 года) блоковского письма к Есенину<sup>7</sup>: “За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего трудней <...> сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло” — не “болото” ли это блоковского второго тома?

А еще можно обратить внимание на перекличку строк из есенинского стихотворения 1916 года (которые юный поэт тогда же обсуждал с Блоком): “Если и есть что на свете — / Это одна пустота”<sup>8</sup> — с одним местом из блоковской статьи “Русские дэнди”. В статье приводится диалог Блока с молодым поэтом:

— Неужели вас не интересуется ничего, кроме стихов? — почти непривольно спросил наконец я.

Молодой человек откликнулся, как эхо:

1 Из воспоминаний Ю. Юзовского; цит. по: Литературный Ростов — памяти Сергея Есенина... С. 43.  
2 Троицкий Л. Памяти Сергея Есенина // Правда. 1926. 19 января. С. 3.

3 Из воспоминаний И. Ф. Шаляпиной: “Я начала читать “Отговорила роща золотая...” <...> Когда я взглянула на отца, его глаза были полны слез” (Федор Иванович Шаляпин: Литературное наследство: В 3 т. М., 1976. Т. 1. С. 80).

4 Топоров А. Крестьяне о писателях. Новосибирск, 1963. С. 188.

5 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 94.

6 Иванов Г. Собр. соч. Т. 3. С. 191. Ср.: “Его слова западали в самые сокровенные уголки человеческого сердца...” (Браун Н. О Сергее Есенине // Москва. 1974. № 10. С. 196).

7 Письмо процитировано нами в главе 3.

8 Об этом сюжете шла речь в главе 4 нашей книги.

— Нас ничего не интересует, кроме стихов. Ведь мы — пустые, совершенно пустые”<sup>1</sup>.

В “страшную, опустошающую эпоху” “пламя” дендизма “перекинулось за недозволенную черту”<sup>2</sup> — таков блоковский диагноз, поставленный в 1918 году<sup>3</sup>, за полгода до Декларации имажинизма. В начале того же 1918 года бывший соратник Блока и Есенина по “скифству” Е. Лундберг предсказал: “Клюев остановится раньше, Есенин дальше учителя уйдет в хаос, нестроения, преступление”<sup>4</sup>. Не означает ли улыбка Блока, в 1921 году, что вывод сделан: Есенин уже за “недозволенной чертой”, его уже “затянуло болото”.

Победа Есенина, высвободившего в себе сильную тему, победа “зрелищной биографии” обернулась “песенным пленом”: поэт попал в кабалу к своей теме; “ушли в талант его лучшие чувства и инстинкты”; “художник в нем поработил человека”<sup>5</sup>.

“Разве “Скучно жить на этом свете, господа!” не было единственной темой Есенина — особенно в последние годы?” — вопрошает Адамович<sup>6</sup>. Действительно, как ни пытался поэт обновить свой репертуар, от тоски ему уже было не уйти — ни в быту, ни в стихах.

С годами тоска теряла песенный размах, все меньше в ней было удали, все больше скуки. Тоска упиралась в Достоевщину; в баню с пауками. Когда раннего Есенина сравнивали с героями Достоевского, это казалось абсурдным, разве что за одним исключением:

“— Алеша Ка-га-ма-зов! — бросил как-то, пристально разглядывая Есенина, один ныне покойный эстет.

С Алешей у Есенина было нечто общее. Как Алеша, он был розов, застенчив, молчалив, но в молодом Есенине не было “достоевщины”, в бездну которой его усиленно толкали Мережковские” (М. Бабенчиков)<sup>7</sup>.

Однако дело было не в Мережковских. Пройдет пять лет — и в есенинском характере с испугом станут замечать что-то от персонажа из “Бесов”.

1 Блок А. Собр. соч. Т. 6. С. 56.

2 Там же. С. 56.

3 Об этой статье и судьбе выведенного в ней поэта и переводчика В. Стенича см.: Вахитова Т. М. “Русский денди” в эпоху социализма: Валентин Стенич // Михаил Зощенко: Материалы к творческой биографии. Кн. 2. СПб., 2001; Стенич В. Стихи “русского денди” / Предисловие Л. Ф. Кациса // Литературное обозрение. 1996. № 5/6; Кунина-Александр И. Сорок январей // Литературное обозрение. 1991. № 9.

4 Лундберг Е. Записки писателя. Берлин, 1922. С. 180.

5 Воронский А. Искусство видеть мир. С. 190.

6 Адамович Г. С того берега... С. 47.

7 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 37.



Вот как Н. Вольпин комментирует свой разговор с Есениным, состоявшийся осенью 1921 года:

“Не забыл напомнить мне и свое давнее этическое правило: “Я все себе позволил!”

К кому ты сейчас примериваешься, Сергей Есенин? Поваяло Достоевским, хоть никогда я не слышала от тебя этого имени... И память услужливо подсказала: “Ставрогин!”

На миг мне сделалось не на шутку страшно. Не за себя”<sup>1</sup>.

А с 1924 года поэт уже сам заговорит о своей внутренней близости к миру Достоевского. “Вспоминаю, — свидетельствует Н. Полетаев, — как он (Есенин. — О. Л., М. С.) держался на знаменитом общественном суде в “Доме печати”: его с товарищами обвиняли в антисемитизме<sup>2</sup>. <...> Я, помню, чуть не расхохотался, когда он заявил, что он скандалит и пьет, чтобы познать на себе, на своей шкуре, все провалы и бездны человеческой природы. И он сослался на Достоевского, хотя Достоевский, кажется, не пил”<sup>3</sup>. Напрасно Полетаев смеялся: от этого есенинского признания открывается прямой путь к тем “провалам и безднам”, которые знали герои-самоубийцы Достоевского — Свидригайлов и Ставрогин. “Последнее время, — пишет Б. Пастернак М. Цветаевой (23 февраля 1926 года), — Есенин, встречаясь с людьми, отрывисто представлялся: Свидригайлов. Так поздоровался он раз с Асеевым. Слышал и от других”<sup>4</sup>.

Анна Ахматова в своей крайне недоброжелательной характеристике Есенина пронизательно указала именно на “достоевскую” смесь скуки и истерики как тупик есенинской темы: “Я только что его перечла. Очень плохо, очень однообразно и напомнило мне нэповскую квартиру: еще висят иконы, но уже тесно, и кто-то пьет и изливает свои чувства в присутствии посторонних. Да, вы правы: все время — пьяная последняя правда,

1 Есенин глазами женщин... С. 148. О реализованных цитатах из Достоевского см. в предыдущей главе этой книги. О том, как Есенин судил о “Бесах”, см. мемуары И. Старцева: “Ставрогин бездарный бездельник. Верховенский — замечательный организатор” (Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 72).

2 Подробнее об этом см. в главе 10 этой книги.

3 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 105.

4 *Цветаева М., Пастернак Б.* Души начинают видеть: Письма 1922–1936 гг. М., 2004. С. 136. См. также пассаж из романа В. Катаева “Алмазный мой венец”:

“Королевич обожал Достоевского и часто, знакомясь с кем-нибудь и пожимая руку, представлялся так:

— Свидригайлов!

Причем глаза его мрачно темнели. Я думаю, что гений самоубийства уже и тогда медленно, но неотвратимо овладевал его большим воображением” (*Катаев В.* Алмазный мой венец // *Катаев В.* Трава забвения. С. 120). Ср. с высказыванием Л. Гинзбург о самоубийстве Есенина: “Почему-то теперь, когда человек вешается (особенно такой), то страшно оттого, что кажется — он избрал этот способ нарочно, для вящего безобразия. Это все как будто пошло от Ставрогина” (*Гинзбург Л.* Записные книжки... С. 27).



Сергей Есенин  
Портрет работы Ю. П. Анненкова. 1923



Сергей Есенин  
Фотография М. С. Нанпельбаума. Апрель 1924

все переливается через край, хотя и переливаться-то, собственно, нечему. Тема одна-единственная...”<sup>1</sup>.

Чтобы заострить тему, избежать скуки и однообразия, Есенин вынужден рисковать. Когда-то (в апреле 1918 года) он так надписал Е. Понииковской свою подборку стихов в сборнике “Скифы”: “Не бойтесь спрута, ибо откуда выплывает он, выплывают оттуда и сирены”<sup>2</sup>. Позже это бесстрашие (“не бойтесь”) станет для Есенина осознанной тактикой: “Но коль черти в душе гнездились — / Значит, ангелы жили в ней”. Чтобы полнее и ярче высказаться — Есенин заигрывает со спрутом тоски, вытаскивает чертей из-под спуда души; будит, мутит в себе “мужицкую темную кровь”<sup>3</sup>.

“Природа, ты подражаешь Есенину”, — писал он Мариенгофу (апрель-май 1921 года)<sup>4</sup>, отыграв *deja vu* с бегущим за поездом жеребенком как цитату из “Сорокоуста”. И что же? Действительно, с каждым годом есенинская внутренняя природа, нутро, все больше будет подражать его стихам, все ближе будет к их “нервическому вывиху”<sup>5</sup>, к их “висельному” пафосу<sup>6</sup>. “...Вся жизнь моя за песню продана”, — напишет поэт в одном из своих последних стихотворений.

И все же: “Нечто непреходящее воплощено <...> никакими эпитетами не охватываемой судьбой Есенина, самоистребительно просящейся и уходящей в сказки”<sup>7</sup>. Воплощен — в советской России! — миф об Орфее, имевшем огромную власть над внешним миром и не умевшем справиться с внутренними менадами.

1 Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой. Т. 1. С. 94.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 2. С. 110.

3 Слова А. Мариенгофа (Мой век... С. 247).

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 121.

5 См.: Клюев Н., Медведев П. Сергей Есенин. С. 53.

6 См.: Воронский А. Искусство видеть мир. С. 7.

7 Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 228.

# Глава девятая

## Иван-Царевич и жар-птица: Сергей Есенин в погоне за мировой славой

**В** рассуждениях и воспоминаниях о Есенине часто встречается слово “сказка”.

О его стихах говорили как о чем-то чудесном, небывалом: “Сам он — рог изобилия, образ его — сказочный оборотень”<sup>1</sup>; “Вдруг Есенин нервно вскочил, прислонился к стене и стал читать прекрасным звонким голосом свои стихи. Незабываемый и трудно описуемый момент, точно в сказке”<sup>2</sup> (“нервно вскочил” — это еще быт, а “прекрасный звонкий голос” — это уже волшебство). А сам он казался — “Иваном-счастливецем наших сказок”<sup>3</sup>, “подлинным богатырем”<sup>4</sup>.

Сказочной представляется и жизнь рядом с Есениным. Оглядываясь назад, Г. Бениславская подводит итог: “Несмотря на все тревоги, столь непосильные моим плечам, несмотря на все раны, на всю боль — все же это была сказка”<sup>5</sup>; “сказка моя, жизнь, куда ты уходишь”<sup>6</sup>, — кричит З. Райх у есенинского гроба.

1 *Авраамов А.* Воплощение... С. 25.

2 Из воспоминаний А. Н. Волкова (цит по: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 112). См. также: “Впечатление у присутствовавших необыкновенное; а спроси, о чем он говорил, никто не скажет, какая-то сказочная речь!” (*Буровий К.* Незащищенное дитя... С. 97).

3 *Эренбург И.* Портреты современных поэтов. М., 1923. С. 41. Мы уже писали о том, как Есенин играл роль “Ивана-царевича” до революции — в петербургских салонах 1916 года (см. главу 4 нашей книги).

4 Слова из статьи Иванова-Разумника “Три богатыря” (цит. по: *Летопись...* Т. 3. Кн. 1. С. 260). См. также воспоминания Ю. Ломана, цитируемые в 4 главе.

5 *Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 25–26. Первое впечатление от Есенина у Бениславской — тоже сказочное: “В этот день пришла домой внешне спокойная, а внутри сплошное ликование, как будто, как в сказке, волшебную заветную вещь нашла” (Там же. С. 24).

6 Из письма Т. С. Есениной Г. Маквею (8 февраля 1986 года); цит. по: *Маквей Г.* Неопубликованные письма о Сергее Есенине // *Столетие Сергея Есенина...* С. 471.



Айседора Дункан. 1900-е

Сказка — формула есенинской судьбы. “Есенин к жизни своей отнесся как к сказке, — пишет Б. Пастернак. — Он Иван-царевичем на сером волке перелетел океан и, как жар-птицу, поймал за хвост Айседору Дункан. Он и стихи свои писал сказочными способами, то, как из карт, раскладывая пасьянсы из слов, то записывая их кровью сердца”<sup>1</sup>.

От хвоста жар-птицы у Есенина даже осталось перо. “Ричиотти звал Есенина райской птицей, — рассказывает В. Эрлих. — Может быть, потому, что тот ходил зимой в распахнутой шубе, развевая за собой красный шелковый шарф — подарок Дункан”<sup>2</sup>. Только вот сказка эта оказалась страшной.

Как следует из берлинской автобиографии Есенина, самым лучшим временем в его жизни был 1919 год: “Тогда мы зиму (1919–1920. — О. Л., М. С.) прожили в 5 градусах комнатного холода. Дров у нас не было ни полена”<sup>3</sup>. “Мы” — это Есенин и Мариенгоф, имажинистские Диоскуры. В своем открытом послании “В Анатолеград Анатолию Борисовичу Мариенгофу” (“Кому я жму руку”, 1920) Шершеневич не мог удержаться от высокого слога: “Любовь и поэзия <...> неразлучны, вероятно, так же, как ты с Есениным”<sup>4</sup>; самому Мариенгофу тогда казалось, что он связан “каменным узлом”<sup>5</sup> со своим другом “Сергуном”. Позже автор “Моего века...” пояснит эту метафору: “Когда-то <...> мы жили с Есениным вместе и писали за одним столом. Паровое отопление тогда не работало. Мы спали под одним одеялом, чтобы согреться. Года четыре рядом нас никогда не видели порознь. У нас были одни деньги: его — мои, мои — его. Проще говоря, и те и другие — наши. Стихи мы выпускали под одной обложкой и посвящали друг другу. Мы всегда <...> знали — кто из нас о чем молчит”<sup>6</sup>. Даже одевались “близнецы”<sup>7</sup> одинаково: оба, например, в белых пиджаках из эпонжа, синих брюках и белых парусиновых туфлях<sup>8</sup>.

Бытовые трудности эпохи военного коммунизма (“паровое отопление тогда не работало”; “5 градусов комнатного холода”) часто становились для друзей лишь поводом к веселым приключениям и, главное, сочини-

1 Пастернак Б. Собр. соч. Т. 4. С. 336. См. также воспоминания Н. Вольпин: “Есенин, думается, сам себе представлялся Иванушкой-дурачком, покоряющим заморскую царицу” (Вольпин Н. Свидание с другом // Есенин глазами женщин... С. 190).

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 46.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 10.

4 Шершеневич В. Листы имажиниста... С. 422.

5 Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 379.

6 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 230.

7 См.: Сахаров А. М. Обрывки памяти... С. 170.

8 См.: Никритина А. Есенин и Мариенгоф // Есенин и современность. М., 1975. С. 380.





Сергей Есенин. 1923

тельству. Иногда мемуары Мариенгофа превращаются в интимный комментарий к есенинским стихотворениям: за цинически-парадоксальными указаниями на житейское и “чепушное”<sup>1</sup> (как материал для высокого творчества) скрывается романтическое прославление дружбы (как катализатора поэтического вдохновения).

Кажется, мемуаристу доставляет особенное удовольствие замещать бытовой арифметикой символистские “иксы” есенинской лирики. Такова в “Романе без вранья” разгадка одного из самых “блоковских” стихотворений Есенина — “Хорошо под осеннюю свежесть...”:

Зима свирепела с каждой неделей.

После неудачи с электрической грелкой мы решили пожертвовать и письменным столом мореного дуба, и превосходным книжным шкафом <...>, и завидным простором нашего ледяного кабинета ради махонькой ванной комнаты.

Ванну мы закрыли матрацем — ложе; умывальник досками — письменный стол; колонку для согревания воды топили книгами.

Тепло от колонки вдохновляло на лирику.

Через несколько дней после переселения в ванную Есенин прочел мне:

*Молча ухаёт звездная звонница,  
Что ни лист, то свеча заре.  
Никого не впускаю в горницу,  
Никому не открою дверь<sup>2</sup>.*

В подтексте, впрочем, угадывается другое: на лирику вдохновляет не только тепло колонки, но и дружеское тепло, заветная теснота “ванной обетованной”<sup>3</sup>. Недаром ведь Мариенгоф особо подчеркивает — “спали под одним одеялом”: общая ванная комната и постель — это символ единения и братства<sup>4</sup>.

1 См. типичный пассаж из “Циников” Мариенгофа: “Круторогий месяц болтается где-то в устремительнейшей высоте, как чепушное елочное украшение” (*Мариенгоф А. Роман без вранья; Циники; Мой век...* Романы. Л., 1988. С. 141).

2 *Мой век...* С. 340–341.

3 *Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век...* С. 341.

4 Характер отношений Мариенгофа и Есенина дает повод к разговорам о бисексуальности Есенина (см.: *McVay G. Isadora and Esenin. L., 1980. P. 30–32, 257–258; McVay G. Esenin: A Life. P. 67–68*). Не вдаваясь в дискуссию, был ли у Есенина гомосексуальный опыт или нет (все равно это нельзя ни доказать, ни опровергнуть), заметим, что в любом случае сексуальный аспект отношений с людьми (обоих полов) был для Есенина далеко не первостепенным. Испытывая сдержанное влечение к женщинам и легко удовлетворяя его, к мужчинам Есенин вовсе не испытывает влечения и — самое большое — позволяет себя любить. Об отношениях Есенина с Клюевым и петербургской гомосексуальной богемой см. главы 3 и 4.

Судя по “Роману без вранья”, стоило Мариенгофу взъерошить есенинские волосы, как у того уже рождались стихи:

Есенин лежал ко мне затылком.

Я стал мохрывать его волосы.

— Чего роешься?

— Эх, Вятка, плохо твое дело. На макушке плешинка в серебряный пяточок.

— Что ты?..

И стал ловить серебряный пяточок двумя зеркалами, одно наводя на другое. <...>

Есенин отложил зеркала и потянулся к карандашу.

Сердцу, как и языку, приятна нежная горечь.

Прямо в кровати, с маху, почти набело (что случалось редко и было не в его тогдашних правилах) написал трогательное поэтическое стихотворение.

Через час за завтраком он уже читал благоговейно внимавшим девицам:

*По-осеннему кычет сова*

*Над раздольем дорожной рани.*

*Облетает моя голова,*

*Куст волос золотистый вянет<sup>1</sup>.*

По словам Э. Германа, “с чувством дружбы он (Есенин. — О. Л., М. С.), должно быть, родился. Она стала для него культом.

Было тут кое-что и от литературной традиции: как Пушкин с Дельвигом... Было и невымышленное душевное расположение к себе подобным.

Неслучайно последние, за час до смерти набросанные стихи его обращены к другу. К другу, а не подруге”<sup>2</sup>.

Култ дружбы требовал демонстративного пренебрежения женщинами<sup>3</sup>: двое неразлучных “были неумолимы и твердокаменны”, наложив табу не только на серьезные романы, но и на ночные приключения (“С кем хочешь там хороводься, а чтобы ночевать дома”, — говорил Есенин<sup>4</sup>). Отношение друзей к противоположному полу иллюстрируется в “Романе без вранья” анекдотическим эпизодом:

1 Мой век... С. 356. См. там же биографические комментарии Мариенгофа к другим произведениям Есенина — “Кобильным кораблям” (С. 328), “Сорокоусту” (С. 365–366), “Пугачеву” (С. 381).

2 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 164.

3 Из воспоминаний Е. Стырской: “Друзья Есенина <...> не терпели, когда Есенин покидал их, и вмешивались всеми мыслимыми способами. Они боялись потерять его и не хотели потерять. Он был нужен им” (Сергей Есенин глазами современников. С. 217).

4 Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 341.



Слева направо: Илья Шнейдер, Сарра Лебедева, Всеволод Иванов, Елизавета Александрова, Анатолий Мариенгоф, Анна Никритина, Ирма Дункан и Владимир Ясный  
 Фотография М. С. Наппельбаума, 1924–1927

Одна поэтесса просила Есенина помочь устроиться ей на службу. У нее были розовые щеки, круглые бедра и пышные плечи.

Есенин предложил поэтессе жалованье советской машинистки, с тем чтобы она приходила к нам в час ночи, раздевалась, ложилась под одеяло и, согрев постель (“пятнадцатиминутная работа!”), вылезала из нее, облекалась в свои одежды и уходила домой.

Дал слово, что во время всей церемонии будем сидеть к ней спинами и ногами уткнувшись в рукописи.

Три дня, в точности соблюдая условия, мы ложились в теплую постель.

На четвертый день поэтесса ушла от нас, заявив, что не намерена дольше продолжать своей службы. Когда она говорила, голос ее прерывался, захлебывался от возмущения, а гнев расширил зрачки до такой степени, что глаза из небесно-голубых стали черными, как пуговицы на лаковых ботинках.

Мы недоумевали:

— В чем дело? Наши спины и наши носы свято блюли условия...

— Именно!.. Но я не нанималась греть простыни у святых...<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 342–343.

Последнее слово употреблено в двойном смысле: комическая ситуация с обиженной поэтессой приводится с тем, чтобы оттенить святость дружеских уз.

А романы? В имажинистский период есенинские увлечения почти неощутимы. И Надежде Вольпин, и Галине Бениславской Есенин как бы “позволял себя целовать”<sup>1</sup>, сам же — испытывал не более чем симпатию, спокойную, ни к чему не обязывающую.

**2** Первым табу нарушил Мариенгоф, чего Есенин до конца жизни так ему и не простил. Любовь Мариенгофа к актрисе Камерного театра А. Никритиной ударила по дружбе: в неразрывном “мы” появилась роковая трещина, первый признак будущего “раздвоения на я и он”<sup>2</sup>. Вот как, по воспоминаниям Вольпин, Есенин отреагировал на ее злое суждение о Никритиной:

Сергей глядел на меня пытливо.

— Вы же еле обменялись с ней двумя словами. И так говорите... неужели просто по впечатлению?

А взгляд радостный и довольный. За его словами звучит: “Ну и молодчина”.

— Просто по впечатлению? — повторяет. Мне в похвалу.

Но не в радость мне была эта угаданная похвала. Я сквозь нее расслышала и крик одиночества, и боль нарастающей смертной тоски<sup>3</sup>.

Позже, в разговоре с А. Миклашевской, поэт жаловался, по своему обыкновению подтасовывая факты: “Анатолий все сделал, чтобы поссорить меня с Райх <...>. Уводил меня из дому, постоянно твердил, что поэт не должен быть женат: “Ты еще ватные наушники надень”. Развел меня с Райх, а сам женился и оставил меня одного...”<sup>4</sup> Как Есенин ни сдерживал ревность и обиду, все же они подтачивали дружбу.

И вот — вскоре ему представился случай взять реванш...

Вспоминает Никритина:

1 См.: “Из двух любящих всегда: один — целует, а другой — позволяет себя целовать” (Эрлих В. Право на песнь. С. 50).

2 См.: Мариенгоф А. Воспоминания о Есенине // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 323.

3 Есенин глазами женщин... С. 188.

4 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 84.





Сергей Есенин и Айседора Дункан. 1922 (?)



Есенин со всей его душевной тонкостью почувствовал, что у нас с Мариенгофом возникает что-то настоящее.

Был вечер у Жоржа Якулова в студии. <...> Туда привезли и Дункан. На этот вечер Жорж пригласил и нас троих...

Поехали... И сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина... Весь вечер они не расставались, и... уехали оттуда мы уже вдвоем с Мариенгофом, а Есенин уехал с Дункан. Примерно месяца через два он совсем переехал на Пречистенку к Дункан, а я переехала на Богословский, вышла замуж за Мариенгофа и прожила с ним всю жизнь<sup>1</sup>.

Так друзья очутились у развилки: в дальнейшем Мариенгофу с Никритиной предстояла долгая жизнь в любви и согласии, а Есенину с Дункан — короткая сказка с плохим концом. В союзе с Мариенгофом Есенин чувствовал себя способным преодолеть любое препятствие, побить все поэтические рекорды, покорить публику и “съесть” конкурентов — дружба окрыляла его. Союз с Дункан погубит поэта, станет “каплей, переполнившей чашу”<sup>2</sup>.

Чтобы понять почему, остановимся на 3 октября 1921 года и приглядимся к подробностям их первой — сказочной — встречи.

Вот версия, изложенная в “Романе без вранья”:

Якулов устроил пирушку у себя в студии.

В первом часу ночи приехала Дункан.

Красный хитон, льющийся мягкими складками; красные, с отблеском меди, волосы; большое тело.

Ступает легко и мягко.

Она обвела комнату глазами, похожими на блюда из синего фаянса, и оставила их на Есенине.

Маленький, нежный рот ему улыбнулся.

Изадора легла на диван, а Есенин у ее ног.

Она окунула руку в его кудри и сказала:

— Solotaya golova!

Было неожиданно, что она, знающая не больше десятка русских слов, знала именно эти два.

Потом поцеловала его в губы.

1 Никритина А. Есенин и Мариенгоф // Есенин и современность. С. 382.

2 См.: Шершеневич В. Великолепный очевидец: Поэтические воспоминания 1910–1925 гг. // Мой век... С. 581.



Айседора Дункан. 1920-е

И вторично ее рот, маленький и красный, как ранка от пули, приятно изломал русские буквы:

— Anguel!

Поцеловала еще раз и сказала:

— Tschort!

В четвертом часу утра Изадора Дункан и Есенин уехали. <...>

От Якулова ушли на заре. По пустынной улице шагали с грустными сердцами<sup>1</sup>.

Несколько по-другому эта сцена описана в мемуарах Е. Стырской:

“Слава человека всегда бежит впереди него, как свет фар перед автомобилем. Мировая слава Айседоры Дункан мощным прожектором освещала ее со всех сторон. В этот вечер все находились под воздействием ее славы. <...>

Айседора Дункан рассматривала присутствующих любопытными, внимательными глазами, она всматривалась в лица, как будто бы хотела их запомнить. Ее окружили, засыпали вопросами. Она живо отвечала одновременно на трех языках: по-французски, английски и немецки. Ее голос звучал тепло, ноюще, капризно, немного возбужденно. Голос очень восприимчивой, много говорящей женщины. Из другого угла комнаты на Айседору смотрел Есенин. Его глаза улыбались, а голова была легко наклонена в сторону. Она почувствовала его взгляд прежде, чем осознала это, ответив ему долгой, откровенной улыбкой. И поманила его к себе.

Есенин сел у ног Айседоры, он молчал. Он не знал иностранных языков. На все вопросы он только качал головой и улыбался. Она не знала, как с ним говорить, и провела пальцами по золоту его волос. Восхищенный взгляд следовал за ее жестом. Она засмеялась и вдруг обняла его голову и поцеловала его в губы. С закрытыми глазами она повторила этот поцелуй. Есенин вырвался, двумя шагами пересек комнату и вспрыгнул на стол. Он начал читать стихи. В этот вечер он читал особенно хорошо. Айседора Дункан прошептала по-немецки: “Он, он — ангел, он — Сатана, он — гений!” Когда он во второй раз подошел к Айседоре, она бурно зааплодировала ему и сказала на ломаном русском языке: “Очень хоорошо!” Они смотрели друг на друга, обнявшись, и долго молчали. Под утро она увела его с собой. Этот вечер, эту встречу Есенин позднее описал в Берлине стихами, горькими, как водка”<sup>2</sup>.

1 *Мариенгоф А.* Роман без вранья // Мой век... С. 389–390.

2 *Стырская Е.* Поэт и танцовщица... // Сергей Есенин глазами современников. С. 220.

“Она обвела комнату глазами, по-хожими на блюда из синего фаянса, и остановила их на Есенине”; “Из другого угла комнаты на Айседору смотрел Есенин”. Позже Дункан переложит эту историю о взглядах, нашедших друг друга, на язык платоновского мифа: “Когда я спала, душа покинула тело и вознеслась в мир, где встречаются души, и там я встретила душу Сергея. Мы тотчас полюбили друг друга как души, а когда мы встретились во плоти, мы вновь любили...”<sup>1</sup> Вольно или невольно Есенин и Дункан искали друг друга. Вряд ли именно мистический анамнесис свел поэта и танцовщицу, но все же, в некотором смысле, — идея встречи предшествовала встрече “во плоти”. Она с присущей ей экзальтацией ждала кого-то — прекрасного, удивительного. Он же — если верить Мариенгофу, прямо искал возможности познакомиться с Айседорой: “Теперь чудится что-то роковое в той необъяснимой и огромной жажде встречи с женщиной, которую он никогда не видал в лицо и которой суждено было сыграть в его жизни столь крупную, столь печальную и, скажу более, столь губительную роль”<sup>2</sup>.



Сергей Есенин и Айседора Дункан  
Берлин. Май 1922

“Жажда встречи”, впрочем, была вполне объяснима.

“Вспомните, — призывал Есенин в неотправленном письме Иванову-Разумнику (май 1921 года), —

*Как яйцо, нам сбросит слово  
С проклевавшимся птенцом...*

- 1 Дункан А. Краткие заметки // Айседора Дункан и Сергей Есенин: Их жизнь, творчество, судьба. М., 2005. С. 301.
- 2 Мой век... С. 388. См. комментарий администратора школы Дункан, И. Шнейдера: “Мы с Якуловым подошли к Айседоре. Она полулежала на софе. Есенин стоял возле нее на коленях, она гладила его по волосам, скандируя: — Залатая га-ла-ва... (Это единственный верно описанный Анатолием Мариенгофом эпизод из эпопеи Дункан — Есенин в его нашумевшем “Романе без вранья”). Трудно было поверить, что это первая их встреча, казалось, они знают друг друга давным-давно, так непосредственно вели они себя в тот вечер” (Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 24).

Тогда это была тоска “Господи, отелись”, желание той зари, которая задирает хвост коровой, а теперь...”<sup>1</sup>

На этом письмо обрывалось. Что было *тогда*, в 1917–1918 годах, — вместе с мистической тоской по мужицкой “зарю” или вместо нее? Другая тоска, высказанная в стихах:

*Разбуди меня завтра рано,  
Засвети в нашей горнице свет.  
Говорят, что я скоро стану  
Знаменитый русский поэт, —*

желание другой зари (“Разбуди меня завтра рано”), зари всероссийской славы. *Теперь* же, в начале двадцатых, Есенин решил, что желание это уже осуществилось. О чем и заявил в стихах, обращенных к “бедным крестьянам”:

*О, если б вы понимали,  
Что сын ваш в России  
Самый лучший поэт.*

И что же дальше? “А теперь...” — многоточие. “Я стал гнилее”, — признавался Есенин в письме к тому же Иванову-Разумнику в конце 1920 года, как раз когда были написаны строки о “самом лучшем поэте”<sup>2</sup>. Гнилее — потому что больше нечего было желать, не к чему стремиться.

Мемуаристы в один голос свидетельствуют: “слава была для Есенина — все”<sup>3</sup>, “слава ему была дороже жизни”<sup>4</sup>, ей поэт и “принесет в жертву свою жизнь”<sup>5</sup>. “Все больше жажда, все меньше удовлетворение”<sup>6</sup> — эта жажда требовала от Есенина обновления славы, покорения новых рубежей. И вот — взгляд Есенина устремился на Айседору: не в другой угол комнаты, а за тридевять земель, не на женщину, а на “освещающее ее” сияние мировой славы.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 127.

2 Письмо от 4 ноября 1920 года (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 117).

3 Полетаев Н. Есенин за восемь лет // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 102.

4 Розанов И. Литературные репутации. С. 449. О “честолюбивой, горящей страсти к популярности и известности” Есенина пишет Н. Абрамович (Абрамович Н. Современная лирика: Клюев, Кусиков, Ивнев, Шершеневич. М., 1921. С. 35).

5 Мариенгоф Л. Роман без вранья // Мой век... С. 315. С автором “Романа без вранья” соглашается В. Шершеневич: “...Есенин (о, в этом прав Мариенгоф!) заплатил жизнью за славу...” (Шершеневич В. Великолепный очевидец... // Мой век... С. 445).

6 “...Формула человеческого падения такова: все больше жажда, все меньше удовлетворение” (Льюис К.-С. Любовь. Страдание. Надежда. М., 1992. С. 26).

А Дункан? Сначала она тоже увидела свет — кого-то, “с головой, как керосиновая лампа на плечах”. То, что Айседора, вдруг произнесшая: “*Solotaya golova!*”, знала именно эти два слова, — удивительно, но опять-таки объяснимо.

“...Дверь с треском распахнулась, — так о том вечере, со слов Дункан, рассказывает ее ближайшая подруга Мэри Десты, — и перед Айседорой возникло самое прекрасное лицо, какое она когда-либо видела в жизни, обрамленное золотыми блестящими кудрями, с проникающим в душу взглядом голубых глаз. <...> Это была судьба. <...>

Потом <...> она помнила лишь голову с золотистыми кудрями, лежавшую у нее на груди <...> и до самой смерти говорила, что помнит, как его голубые глаза смотрели в ее глаза и как у нее появилось единственное чувство — укачать его, чтобы он отдохнул, ее маленький золотоволосый ребенок”<sup>1</sup>.

“*Solotaya golova*” Есенина не могла не вызвать у Айседоры воспоминания о потерянном ею маленьком сыне Патрике, тоже золотоволосом.

Дети Дункан погибли за восемь лет до встречи с Есениным. Вот что писала она после катастрофы:

По-моему, есть горе, которое убивает, хотя и кажется, что человек продолжает свою жизнь. Его тело влачит горестное существование на земле, но дух его сокрушен — сокрушен навсегда. <...> Последние несколько дней перед тем, как на меня обрушился удар, в действительности явились последними днями моей духовной жизни. С тех пор всегда мною владеет лишь одно желание — скрыться... скрыться... скрыться от этого ужаса, и вся моя жизнь является лишь непрерывным бегством от него, напоминая Вечного Жида и Летучего Голландца. Вся моя жизнь для меня лишь призрачный корабль, несущийся по призрачному океану<sup>2</sup>.

Чтобы “скрыться от этого ужаса”, Айседоре нужна была новая великая идея и новая великая любовь — и то и другое она искала в России.

Дункановская книга “Моя жизнь” завершается двумя оптимистическими заявлениями, старающимися опровергнуть и тем вернее подтверждающими прежние высказывания о “беспрерывном бегстве”, “призрачном корабле” и “призрачном океане”. Сначала Айседора говорит о своей вере в вечно возрождающуюся любовь: “Стоит заглянуть за ближний холм, там

1 Десты М. Нерассказанная история // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 438–439.

2 Дункан А. Моя жизнь // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 278.





Айседора Дункан с дочерью Дирдре и сыном Патриком  
Париж. Около 1912

окажется долина цветов и счастья, которая ждет нас. В особенности я порицаю выводы, к которым приходят многие женщины, что, после того как им минуло 40 лет, их жизненное достоинство должно исключить всякую любовь”<sup>1</sup>; но как эти поиски любви напоминают то самое “беспрерывное бегство”!

Затем, описывая чувства, которые она испытывала на пароходе “Балтаник”, плывущем к советской России, Дункан провозглашает веру в возрождение человечества: “Вот он, новый мир, который уже создан! Вот он, мир товарищей: мечта, родившаяся в голове Будды, мечта, звучащая в словах Христа, мечта, которая служила конечной надеждой

всех великих артистов; мечта, которую Ленин великим чародейством превратил в действительность. Я была охвачена надеждой, что мое творчество и моя жизнь станут частицей этого прекрасного будущего”<sup>2</sup>; но не были этот пароход мечты и надежды тем самым “призрачным кораблем”? Как бы то ни было, ночью с 3 на 4 октября 1921 года есенинские “золотые блестящие кудри” сияли Айседоре как символ “великого чародейства” — духовного и телесного обновления, манили ее мечтами о “прекрасном будущем” человечества и собственной “долине цветов и счастья”.

Интуиция подсказала Есенину, как воздействовать на “великую босоножку”, — конечно, стихами (“В этот вечер он читал особенно хорошо”). “...Он — гений”, — откликнулась Айседора. Американскому журналисту Дюранти передает слова Айседоры, сказанные позже, — возможно, слегка их огрубляя: “Все мои любовники были гениями; это единственное, чего я добиваюсь”<sup>3</sup>.

Пусть в реальности не всегда получалось так, но таково было ее идеальное представление о любви. Много лет назад Дункан любила Гордона Крэ-

1 Дункан А. Моя жизнь // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 278.

2 Там же. С. 280.

3 Дюранти У. “Из всех, кого я знал, Айседора, пожалуй, была самой оригинальной” // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 649.

га, как гениальная женщина гениального мужчину: в его лице, писала она, “я нашла сверкающую юность, красоту, гений. Вся воспламененная внезапной любовью, я кинулась в его объятия. Я нашла в Крэге ответную страсть. Достойную моей. В нем я встретила плоть от плоти моей. Кровь от моей крови. Часто он кричал мне:

— Ты моя сестра”<sup>1</sup>.

Она сожалела, что не уступила гениальному соблазнителю Родену: “Его руки скользили по моей шее, груди, погладили мои плечи, скользнули по бедрам, по обнаженным коленям и ступням. Он начал мять все мое тело, словно оно все было из глины. Из него излучался жар, опалявший и разжигавший меня. Меня охватило желание покориться ему всем своим существом, и, действительно, я бы поступила так, если бы меня не остановил испуг, вызванный моим нелепым воспитанием. Я отступила, набросила платье поверх туники и, придя в замешательство, прогнала его. Как жаль!”<sup>2</sup>

Не меньше она сожалела, что ей, гениальной соблазнительнице, не уступил гений Станиславский: “Сколько я его ни атаковала, я добилась лишь нескольких нежных поцелуев, а в остальном встретила твердое и упорное сопротивление, которого нельзя было преодолеть <...> я окончательно убедилась, что только Цирцея могла бы разрушить твердыню добродетели Станиславского”<sup>3</sup>.

Возможно, недоверие к гениальности Д’Аннунцио позволяло ей некоторое время играть с ним роль недоступной весталки:

“Он принимался кричать:

— Айседора, я не могу больше. Возьми меня, возьми же меня!

Я тихонько выпроваживала его из комнаты”<sup>4</sup>.

Если же в мужчине не было гениальности, то любовь к нему порой казалась Айседоре извращением; отсюда ее жестокие слова о своем знаменитом возлюбленном, мультимиллионере Пэрисе Зингере: “Внезапно я поняла, что его греза об Америке ограничивалась десятками фабрик, создавших для него богатство. Но такова уж извращенность женщин, что <...> я кидалась в его объятия, забывая обо всем под его ласками”<sup>5</sup>.

И вот снова прозвучало заветное слово — гений. Мы знаем: когда Есенин читал свои стихи, это действовало неотразимо — даже на тех, кто не

1 Дункан А. Моя жизнь // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 156–157.

2 Там же. С. 92.

3 Там же. С. 148.

4 Там же. С. 213.

5 Там же. С. 194–195.



Айседора Дункан и Сергей Есенин. 1922

знал русского языка. Дункан раз и навсегда была покорена музыкальностью<sup>1</sup> есенинской декламации, вдобавок усиленной загадочным звучанием незнакомых слов (“...я ничего не поняла, но я слышу, что это музыка...” — такие слова Шнейдер приписывает Айседоре<sup>2</sup>).

“...Сразу же, с первого взгляда, Изадора влюбилась в Есенина”. Так оно и было — спорили только о характере этой любви: “Айседора Дункан любила Есенина большой любовью большой женщины”<sup>3</sup>; “Дункан любила Есенина сентиментальной и недоброй любовью увядающей женщины”<sup>4</sup>. А Есенин? “Восхищенный взгляд следовал за ее жестом”; поначалу поэт “захмелел от Дункан” или ее славы — но переросло ли его первоначальное восхищение в любовь?

1 См.: McVay G. Isadora and Esenin. P. 136.

2 Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 24.

3 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 229.

4 Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 167.

Впоследствии Есенин не раз уверял своих собеседников: "...Дункан я любил. Только двух женщин я любил, и второю была Дункан. И сейчас еще искренне люблю ее"<sup>1</sup>; "Хошь верь, хошь не верь: я ее любил"<sup>2</sup>; "Была страсть, большая страсть..."<sup>3</sup>. Но все эти признания относились только к отсутствующей Айседоре, отделенной от него временем и расстоянием.

Издав Есенин умилялся "русской душой" Дункан, ее способностью к пониманию и сочувствию: "Она настоящая русская женщина, более русская, чем все там. У нее душа наша, она меня хорошо понимала..."<sup>4</sup>; с хвастливой горделивостью, но и с благодарностью говорит о ее преданности: "А как она меня любила! И любит! Ведь стоит мне только поманить ее, и она прилетит ко мне сюда, где бы они ни была, и сделает для меня все, что бы я ни захотел"<sup>5</sup>. Издав он даже готов был любоваться Айседорой: "Ты не говори, она не старая, она красивая, прекрасная женщина. Но вся седая (под краской), вот как снег"<sup>6</sup>.

Однако вблизи все как-то менялось: "русская душа" не радовала, преданность раздражала. Чем ближе Дункан оказывалась к Есенину, тем сильнее проявлялся в нем инстинкт отталкивания, отвращения. Тогда уже без всякого умиления он называл Айседору "старухой", да еще и выдумывал, словно вдохновляясь "Дядюшкиным сном", — вся седая под краской, зубы вставные:

"Разлука ты, разлука..." — напевает Есенин, глядя с бешеной ненавистью на женщину, запунцовевшую от водки и старательно жующую, может быть, не своими зубами.

- 1 Тарасов-Родионов Л. И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 245.
- 2 Катаев В. Алмазный мой венец // Катаев В. Трава забвенья. С. 50.
- 3 Бениславская Г. А. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 87. См. также: "Сергей рассказывал об Айседоре с любовью, с восторгом передавал ее заботу о нем" (Ройман М. Все, что помню о Есенине. С. 168).
- 4 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 228. Ср.: "По-своему Дункан понимала поэта и своеобразно пыталась облегчать заметно росшее в нем состояние отчаяния" (Бабенчиков М. Сергей Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 43).
- 5 Тарасов-Родионов А. И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 245. См. то же утверждение в сниженном варианте: "Эх, как эта старуха любила меня! — горько сказал Есенин. — <...> Я вот ей напишу... позову... и она прискачет ко мне откуда угодно..." (Евдокимов И. Сергей Александрович Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 228). См. также: "Его <...> очень трогала эта любовь и особенно ее чувствительный корень — поразившее Дункан сходство его с ее маленьким погибшим сыном" (Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Сергей Александрович Есенин в воспоминаниях современников. Т. 1. С. 228).
- 6 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 228. См. двусмысленные слова, приведенные Катаевым: "А то, что ей сорок, так дай бог тебе быть таким в семьдесят!" (Катаев В. Алмазный мой венец. С. 50).



Айседора Дункан и Сергей Есенин.  
На заднем плане А. Кусиков (?)  
Берлин. Май (?) 1922

Так ему мерещится. А зубы у Изадоры были свои собственные и красавец к красавцу. <...>

Что же касается пятидесятилетней примерно красавицы с крашеными волосами и по-античному жирноватой спиной, так с ней, с этой постаревшей модернизированной Венерой Милосской (очень похожа), Есенину было противно есть даже “пищу богов”, как он называл баранину с горчицей и солью<sup>1</sup>.

Мнительный и тщеславный, рядом с Дункан Есенин оценивал ее с особой придирчивостью, невольно впитывая все худшее, что о ней говорили или могли бы сказать. В мемуарах находим отзвуки ходивших тогда разговоров: “...Довольно уже пожилая женщина, пытавшаяся, увы, без особого успеха, все еще выглядеть молодой. Одета она была во

что-то прозрачное, переливавшееся <...> всеми цветами радуги и при малейшем движении обнажавшее ее вялое и от возраста дряблое тело, почему-то напомнившее мне мясисотность склизкой медузы. Глаза Айседоры, круглые, как у куклы, были сильно подведены, а лицо ярко раскрашено, и вся она выглядела <...> искусственно и нелепо...”<sup>2</sup>; “образ осенн”, “Есенин рядом с ней казался мальчиком”<sup>3</sup>.

Дункан, превратившаяся в “Дуньку-коммунистку”<sup>4</sup>, стала в то время излюбленной мишенью для острот. В смешном положении оказался и Есенин: юмористы и бойкие конферансье остряли, называя его “поэтом-босоножкой”<sup>5</sup>.

1 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 219–220.

2 Бабенчиков М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 247. См. также: “...Мы увидели грузную, в открытом голубовато-зеленом платье, немолодую женщину” (Никитин Л. Памяти Есенина // Там же. С. 308).

3 Никитин Н. Н. О Есенине // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 135.

4 См.: Чуковский К. Дневник 1901–1969. Т. 1. С. 219; Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 14.

5 См.: Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 172.

Как-то в одном из кабаре конференсье, представляя Маяковского, сказал:

“Вот еще один знаменитый поэт. Пожелаем ему найти себе какую-нибудь Айседору.

М<аяковский> ответил:

“Может, и найдется Айседура, но Айседураков больше нет”<sup>1</sup>.

После отъезда поэта и танцовщицы за границу была популярна эпитаграмма Арго:

*Есенина куда вознес аэроплан?  
В Афины древние, к развалинам Дункан<sup>2</sup>.*

Даже друзья дразнили Есенина частушкой:

*Толя ходит неумыт,  
А Сережа чистенький —  
Потому Сережа спит  
С Дуней на Пречистенке<sup>3</sup>.*

То, как сам поэт относился к этим насмешкам и эпитаграммам, показано в “Великолепном очевидце” Шершеневича:

...Есенин пришел в театрально-литературное кабаре А. Д. Конишевского “Не рыдай”. Там в оживленном лубке пели частушки. <...> Программа шла своим чередом. Есенин с улыбкой слушал <...> куплеты <...> Лицо Есенина — сплошная улыбка. Глазки заплыли.

И вдруг со сцены:

*Не судите слишком строго,  
Наш Есенин не таков,  
Айседур в Европе много,  
Мало Айседураков.*

1 Чуковский К. Дневник 1901–1969. Т. 2. С. 208.

2 Об этой эпитаграмме см.: Котова М. А., Лекманов О. А. В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. Катаева “Алмазный мой венец”. М., 2004. С. 69.

3 См.: Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 392. Вариант — с именем Старцева: “Ваня ходит неумыт, / А Сережа чистенький. / Потому — Сережа спит / Часто на Пречистенке” (Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 26).





Айседора Дункан танцует “Марсельезу”  
1916

Улыбка резко перешла в гневные сдвинутые брови. Есенин стукнул стаканом о поднос и, широко толкая сидевших, выбежал. За ним просеменяла Айседора<sup>1</sup>.

Отношение Есенина к любящей его женщине не было свободно от влияния отрицательных мнений о ней, сплетен, шуток и эпиграмм. А вот величественные жесты<sup>2</sup> и исключительное обаяние Айседоры<sup>3</sup> воздействовали на Есенина гораздо меньше, чем на других.

Еще меньше его очаровывала танцующая Дункан. Казалось бы, трудно было не поддаться магии ее танца. За много лет до ее советской эпопеи, в 1913 году, В. Розанов отмечал с удивлением: “Она некрасива”; “с некрасивыми ногами”, но на сцене творит чудеса, и “личная ее красота или некрасивость не имеют никакого значения при этом”:

В самой себе она почувствовала этот брызг весеннего дождя, первые чистые капли его в мае месяце, ощутив которые человек говорит:

— Выбежим в поле! Долой душные квартиры!.. В поле! В лес! В природу!..

И все молодеет. Весь Петербург молодеет в мае. Весь Петербург помолодел сегодня, отказываясь расходиться и крича:

— Еще!

1 Мой век... С. 58о.

2 “Дункан показалась мне крупной и монументальной, с гордо посаженной царственной головой, облитой красноватой медью густых, гладких, стриженных волос” (*Шнейдер И.* Встречи с Есениным... С. 7); “В экзотически яркой, мехом внутрь, сибирской коже, крупная, большеглазая, этакая “волоокая Гера”...” (*Герман Э.* Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 165).

3 “При всей солидности своего возраста она сумела сохранить внешнее обаяние” (*Старцев И.* Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 83); “На нее нельзя было обижаться: так она была обаятельна” (*Миклашевская А.* Встречи с поэтом // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 89); “Это была умная, исключительная женщина. В ней была необыкновенная привлекательность. Независимо от ее искусства, она была глубоко талантливым человеком” (*Ивнев Р.* Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 29).

— Еще!

И она выходила. Еще улыбалась. Еще танцевала. И она была счастлива с нами, а мы были счастливы с нею. И если вспомнить, что это было в январе — во всяческом январе, и физическом, и духовном <...> — то как ее не поблагодарить за этот обрывок Олимпа в Малом театре<sup>1</sup>.

Еще тогда, до гибели ее детей, когда никому и в голову не приходило называть Дункан “пожилой”, Розанов защищал искусство Айседоры от упреков ценителей женской красоты:

“— Ей уже 43 года.

— Это все равно <...>

— У нее ступня ноги не хороша.

— Все равно”<sup>2</sup>.

Но даже и в московскую эпоху Дункан, когда она действительно перешагнула рубеж 43 лет, ей удавалось преодолевать, преобразовать свое погрузневшее тело в танце. “Несмотря на сделавшееся безобразным тело, — записывает в дневнике художник К. Сомов (февраль 1922 года), — она была и интересна чем-то новым и значительным, многое было прекрасно и вдохновенно. Но старость не дает ей возможности танцевать легко и быстро, как бывало прежде, многое в ней безобразно: ноги, повисшие груди, толстое лицо с мешком под подбородком, который она скрывает тем, что держит голову вверх. В вакханалии “Тангейзера” она была прекрасной”<sup>3</sup>. “Я встретил ее в Москве, — вспоминает У. Дюранти, — теперь уже располневшую женщину средних лет <...> и, как ни странно, ничуть не был разочарован, потому что внутри Айседоры горело пламя, яркость которого не имела никакого отношения к ее телу”<sup>4</sup>.

1 Розанов В. В. Среди художников // Собр. соч. М., 1990. С. 290, 291, 390–391.

2 Там же. С. 390. Ср. с откликом из сатирической “Стрекозы” на исполнение Айседорой “Умирающего лебедя” Сен-Санса: “Артистка ограничилась одним лебедем, в то время как при ее темпераменте и телосложении она смело могла бы заполнить собой всё Лебединое озеро целиком...” (Дон Амико. Парадоксы жизни: Стихотворения, воспоминания, афоризмы. М., 1991. С. 228–229).

3 Константин Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979. С. 207.

4 Дюранти У. “Из всех, кого я знал, Айседора, пожалуй, была самой оригинальной” (Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 646). Вокруг выступлений Дункан возникали легенды. Рассказывает И. Шнейдер:

“Идея “Варшавянки” в постановке Дункан была в том, что знамя революции подхватывается из рук павших борцов новыми и новыми борцами. Для этой работы Дункан попросила принести небольшой красный флаг.

Я выдернул из никчемных “воротец” балашовской “мавританской” комнаты ореховую палку с круглым набалдашником на конце <...> Палка легкая, но Айседора сказала:

— Не будет ли этот флаг тяжел для детей?

— Что вы говорите? — удивился я. — А как же вы в третьей части Шестой симфонии держите огромное знамя с таким тяжелым древком?..

Однако Есенина это “пламя” не грело. Позже, в разговоре с Н. Вольпин, он с дилетантской важностью сыграет в критика танцевального искусства: “Дункан в танце себя не выражает. Все у нее держится на побочном: отказ от тапочек балетных — босоножка, мол; отказ от трико — любуйтесь естественной наготой. А самый танец у ней не свое выражает, он только иллюстрация к музыке”<sup>1</sup>. На деле Есенину, в отличие от В. Розанова, было не все равно, что говорят о возрасте и ногах Айседоры, к танцам же ее чаще всего он оставался совершенно равнодушен.

Вот Мариенгоф и Есенин сидят в ложе бенуара на одном из выступлений Дункан (в Зиминском театре; видимо, в декабре 1921 года). Первый восхищен — чудом воплощения музыки в далеко не юном теле танцовщицы: “Оказывается, что “Славянский марш”, божественный и человеческий — эти звуки величия, могущества, гордости и страсти, — могут сыграть не только скрипки, виолончели, флейты, литавры, барабаны, но и женский торс, шея, волосы, голова, руки и ноги. Даже с подозрительными ямочками возле колен и локтей. Могут сыграть и отяжелевшие груди, и жирноватый живот, и глаза в тонких стрелках морщин, и немой красный рот, словно кривым ножом вырезанный на круглом лице. Да, они могут великолепно сыграть, если принадлежат великой лицедейке. А Дункан была великая танцующая лицедейка. Я не люблю слово “гениальный”, но Константин Сергеевич Станиславский, не слишком щедрый на такие эпитеты, иначе не называл ее”<sup>2</sup>.

Есенину же — не до этого: если он не переносит классической музыки<sup>3</sup>, то как ему ощутить дух музыки в танце? Но зато он со скрипом челюстей прислушивается к разговорам в соседней ложе:

Айседора молча, долгим взглядом посмотрела на меня и ничего не сказала при детях. Не было никакого древка, не было никакого знамени... Но сила выразительности ее искусства была так велика, что я видел в ее руках тяжелое древко огромного знамени, с силой раздуваемого ветром” (*Шнайдер И.* Встречи с Есениным... С. 40). Ср. с более поздним свидетельством Л. Кинел: “А вальсы Брамса? В особенности один, где Айседора в образе богини радости усыпает все вокруг себя цветами. Я могла бы поклясться, что видела на сцене детей... Но здесь не было ничего, кроме ковра... улыбалась танцующая Айседора, склоняясь в порывах счастья направо и налево... Это было настоящее волшебство” (*Кинел Л.* Айседора Дункан и Сергей Есенин. С. 152). Были, конечно, и резко отрицательные статьи о выступлениях Дункан, с подчеркнутыми описаниями ее грузного тела; см.: *McVay С.* Isadora and Esenin. P. 48–49, 265–266.

1 *Вольпин Н.* Свидание с другом // Есенин глазами женщин... С. 219–220.

2 *Мой век...* С. 221.

3 См. воспоминания А. Сахарова о встрече Нового, 1920 года: “У хозяина квартиры вундеркинд-сын. Мальчик 7–8 лет прекрасно играет на пианино. Играет классические вещи. Есенин с затененной тоской слушает, но после второй вещи подходит ко мне и говорит:

— Это же эксплуатация, надо прекратить. <...>

Он подходит к мальчику и просит:

— Сыграй мне “Камаринского”.

Мальчик берет ноты и начинает играть.

Сергей прерывает его в самом же начале.

— Да не такого. Простого. Как в деревне” (*Сахаров А. М.* Обрывки памяти... С. 177);

“Однажды, как бы жалуясь, Айседора Дункан сказала мне:

— Есенин не любит музыки” (*Бабенчиков М.* Сергей Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 42).



Сергей Есенин и Айседора Дункан. Середина 1922 (?)

“ — Знаете ли, друзья мои, — сказал молодой человек с подбритыми бровями, — а ведь это довольно неэстетическое зрелище: груди болтаются, живот волнуется. Ох, пора старушенции кончать это занятие.

— Дуся, ты абсолютно прав! — поддержал его трехподбородковый нэпман с вылупленными глазами. — Я бы на месте Луначарского позволил бабушке в этом босоногом виде только в Сандуновских банях кувыраться”<sup>1</sup>.

Порой отношение Есенина к танцу меняется: равнодушие переходит в чувство соперничества. В минуты ревнивой ожесточенности поэт издевательски убеждает “ученицу Терпсихоры”<sup>2</sup>, что его муза лучше. Секретарь Дункан Л. Кинел вспоминает один из подобных споров:

— Ты — просто танцовщица. Люди могут приходить и восхищаться тобой, даже плакать. Но когда ты умрешь, никто о тебе не вспомнит. Через несколько лет твоя великая слава испарится. И — никакой Айседоры!

Все это он сказал по-русски, чтобы я перевела, но два последних слова произнес на английский манер и прямо в лицо Айседоре, с очень выразительным насмешливым жестом — как бы развеивая останки Айседоры на все четыре стороны...

— А поэты — продолжают жить, — продолжал он, все еще улыбаясь. — И я, Есенин, оставлю после себя стихи. Стихи тоже продолжают жить. Такие стихи, как мои, будут жить вечно.

В этой насмешке и поддразнивании было что-то слишком жестокое. По лицу Айседоры пробежала тень, когда я перевела его слова. Неожиданно она повернулась ко мне, и голос ее стал очень серьезен:

— Скажите ему, что он не прав, скажите ему, что он не прав. Я дала людям красоту. Я отдавала им душу, когда танцевала. И эта красота не умирает. Она где-то существует...<sup>3</sup> — У нее вдруг выступили на глаза слезы, и она сказала на своем жалком русском: — Красота не умирай!

Но Есенин, уже полностью удовлетворенный эффектом своих слов, — оказывается, у него часто появлялось нездоровое желание причинять Ай-

1 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 222.

2 В “Моей жизни” Дункан цитирует К. Станиславского: “Когда ее спросили, у кого она училась танцам, она ответила: “У Терпсихоры...”” (Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 144).

3 Ср.: “Айседора <...> смертна и бессмертна, и оба ее лика представляют закон божественного начала, который дано человеку постигнуть и слить со своей жизнью” (Бурдель Э. А. Искусство скульптуры. М., 1968. С. 75).

седоре боль, унижать ее, — стал сама мягкость. Характерным движением он притянул к себе кудрявую голову Айседоры, похлопал ее по спине, приговаривая:

— Эх, Дункан...

Айседора улыбнулась. Все было прощено<sup>1</sup>.

Под воздействием алкоголя издевательская игра Есенина с любящей его женщиной переросла в отчаянное самодурство. Вот характерная сцена в описании Шершеневича:

“На Садовой в комнате Жоржа Якулова собрались гости: легко в те годы уже пьянеющий Якулов, Есенин с Айседорой, вернее, Айседора с Есениным. Она танцует. На полуноте Сергей одергивает пианиста и кричит Айседоре:

— Брось задницей вертеть! Ведь старуха! Сядь! Лучше я буду стихи читать!

Легкое смущение. Айседора послушно садится. Сергей читает одно, другое, третье стихотворение. И сразу:

— Танцуй, Айседора! Пусть все знают, какая ты у меня!

Во время танцев он тянется к стакану, и через несколько мгновений наклоняется к скатерти лучшая голова и Есенин спит.

Тому периоду Есенина был свойствен калейдоскоп настроений<sup>2</sup>.

Калейдоскоп есенинских настроений был предугадан Айседорой еще при их первой встрече: *“Anguél! Tschort!”* Она сразу же почувствовала ритм поведения “нежного хулигана” — из крайности в крайность, то “ласкать”, то “карябать”: “то казался донельзя влюбленным, не оставляя ее ни на минуту при людях, то наедине он подчас обращался с ней тиранически грубо, вплоть до побоев и обзывания самыми площадными словами. В такие моменты Изадора была особенно терпелива и нежна с ним, стараясь всяческими способами его успокоить”<sup>3</sup>. Она надеялась заклисть в нем “темную силу” и повернуть к светлой: “А Есенина Айседора называла ангелом и в этом хотела убедить как можно большее число людей. Поэтому на стенах, столах и зеркалах она весьма усердно писала губной помадой: “Есенин — Ангель”, “Есенин — Ангель”, “Есенин —

1 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 158.

2 Мой век... С. 582.

3 Старцев И. Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 83.



Ангель”<sup>1</sup>. О том, насколько ей это удавалось, свидетельствует есенинская надпись на книге “Пугачев”, подаренной приемной дочери Айседоры: “Ирме от чорта”<sup>2</sup>.

Особенно символично то, что для своей игры Дункан использовала зеркала. Вспоминает И. Шнейдер:

“Однажды Айседора взяла его (мыло. — О. Л., М. С.) и неожиданно для нас написала на зеркале по-русски, печатными буквами: “Я лублю Есенин”.

Взяв у нее этот мыльный карандашик, Есенин провел под надписью черту и быстро написал: “А я нет”.

Айседора отвернулась, печальная. Я взял у Есенина карандашик, который он со злорадной улыбкой продолжал держать в руке, и, подведя новую черту, нарисовал тривиальное сердце, пронзенное стрелой, и подписал: “Это время придет”.

Айседора не стирала эти надписи, и они еще долго беззвучно признавались, отвергали и пророчили... И лишь накануне отъезда в Берлин Есенин стер все три фразы и написал: “Я люблю Айседору”<sup>3</sup>.

Интуиция и здесь не подводит Дункан: она чувствует, что зеркало притягивает Есенина, как водная гладь — Нарцисса. Вот и Н. Вольпин, размышляя над словами О. Мандельштама: “А Есенин... Ему ведь нечего сказать: стоит перед зеркалом, любитесь: “Смотрите: я — поэт!””, пришла к неутешительному выводу:

Зеркало! Что я возражу! Ни к кому я так не ревновала Сергея — ни к одной женщине, ни к другу, как к зеркалу да гребенке. Во мне все сжималось от боли, когда он, бывало, вот так глядит на себя глазами Нарцисса и расчесывает волосы<sup>4</sup>. Однажды я даже сказала ему полшутя (и с болью):

— До чего же у нас с вами сходный вкус! Я люблю Сергея Есенина — и любите Сергея Есенина.

Он только усмехнулся<sup>5</sup>.

- 1 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 165. Ср.: “Изадора иначе не называла Есенина, как мой “дарлинг”, “ангел”, и, желая однажды выразить свое чувство к Есенину, написала в “Стоиле Пегаса” губной помадой через все стекло “Isenin nie chouligan, Isenin angel Isedora” (Старцев И. Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 83).
- 2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 214. В своих воспоминаниях И. Дункан вольно или невольно откликнулась на этот инскрипт: “Она <Дункан> не может без конца твердить юному блондину, что он “крепкий”, или “ангел”, или, что было гораздо ближе к истине, “черт”” (Дункан И., Макдугалл А. Р. Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции. М., 1995. С. 81).
- 3 Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 36.
- 4 Ср. с “Моим веком...” Мариенгофа: “Расчесывает с наслаждением свои легкие волосы большим редкозубым женским гребнем из черепахи” (Мой век... С. 143).
- 5 Есенин глазами женщин... С. 163.

Зеркало в есенинской сказке чем-то напоминает зеркальце из “Сказки о спящей царевне”: разве что отвечало оно на другой вопрос — не “кто на свете всех милее”, а кто всех славней, всех знаменитей. От воображаемого ответа во многом зависело, в каком облике Есенин предстанет перед Дункан — “ангелом” или “чертом”.

Когда зеркало обещает поэту, что он будет “гремять на оба полушария, как лорд Байрон”<sup>1</sup>, — он чувствует себя влюбленным. “Конечно, Есенин был влюблен столько же в Дункан, сколько в ее славу, но влюблен был не меньше, чем вообще мог влюбляться”<sup>2</sup>; “Если и был он влюблен, то не так в нее, как во весь антураж...”<sup>3</sup>; “Есенин пленился не Айседорой Дункан, а ее мировой славой”<sup>4</sup>, — почти хором утверждают мемуаристы. Такой Айседоре, в роли волшебной помощницы, исполняющей заветное желание поэта — покорить мир, другие женщины были не соперницы. И это очень хорошо почувствовала Г. Бениславская, записавшая в своем дневнике: “Если внешне Е<сенин> и будет около, то ведь после А<сейдоры> — все пигмеи, и, несмотря на мою бесконечную преданность, — я ничто после нее (с его точки зрения, конечно)”<sup>5</sup>.

Есенинская влюбленность в Дункан имела публичный характер: “Ему было лестно ходить с этой мировой славой под руку вдоль московских улиц, появляться в “Кафе поэтов”, в концертах, на театральных премьерах, на вернисажах и слышать за своей спиной многоголосый шепот, в котором сплетались их имена: “Дункан — Есенин... Есенин — Дункан””<sup>6</sup>. Но один на один поэт оставался не с мировой славой, а с немолодой женщиной — и тут-то нередко в нем просыпался черт.

О двойственности тогдашней есенинской жизни можно судить по письму Мариенгофу и Колобову, написанному в ноябре 1921 года, когда поэт переехал в Школу Дункан на Пречистенке. Начинается письмо с восторженно-иронических реляций о захвате новых территорий; за иронией читается надежда на скорый планетарный триумф:

*Ура! Варшава наша!*

*Сегодня <...> пришло письмо от Лившица, три тысячи герм<анских> марок, 10 ф<унтов> сахара, 4 коробки консервов и оттиск наших переведенных*

- 1 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 228 (эти слова автор воспоминаний приписывает И. Шнейдеру).
- 2 Городецкий С. О Сергее Есенине // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 183.
- 3 Вольпин И. Свидание с другом // Есенин глазами женщин... С. 190.
- 4 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 218.
- 5 Бениславская Г. Дневник // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 108.
- 6 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 218.

## ШКОЛА АЙСЕДОРЫ ДУНКАН.

Москва, Пречистенка, 20, тел. 3-52-92.

ОТКРЫТ ПРИЕМ

## НА ПЛАТНЫЕ КУРСЫ

для приходящих детей и взрослых  
под руководством

ИРМЫ ДУНКАН.

Запись производится у заведующего школой И. И. Шнейдер  
ежедневно от 11 утра до 1 дня и от 6—8 веч. в школе  
Айседоры Дункан, Пречистенка, 20.

Объявление о наборе в Школу Айседоры Дункан

*стихов на еврейский язык с “Испов <едью> хулиг <ана>” и “Разочарованием”. Америка делает нам предложение через Ригу, Вена выпускает к пасхе сборник на немецком, а Берлин в лице Верфеля бьет челом нашей гениальности.*

*Ну что, сволочи?! Сукины дети?! Что, прохвосты?!*

*Я теперь после всего этого завожу себе пару кобелей и здороваться буду со всеми только хвостами или лапами моих приближенных.*

*Что там Персия? Какая Персия? Это придумывают только молодожены такое сентиментальное путешествие. Это Вам не кондукторы из Батума, а Вагоновожатые Мира!!!*

К концу же письма мечты оборачиваются сомнениями (“немного обманывающие вести от Лившица”) и отчаянными жалобами на быт, захваченный Айседорой: “Живу, Ваня, отвратно. Дым все глаза сожрал, Дункан меня заездила до того, что я стал походить на изнасилованного”<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Письмо от 19 ноября 1921 года (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 127–128). Ср. с воспоминаниями А. Рубинчик, познакомившейся с Есениным после его возвращения из-за границы: “Особенно трагичен был момент, когда он (Есенин. — О. Л., М. С.) рассказывал, что она (Дункан. — О. Л., М. С.) его насилует как мужчину и что у нее очень здоровые ноги (трагическая тень мелькнула на его лице)...” (Поэт и музочка: Неизвестная пассия Сергея Есенина / Публикация С. Шумихина // Политический журнал. 2006. № 22. С. 78).

Мировая слава — еще где-то там, а здесь — постельный плен как тупик бытия: “...самое страшное, что в трехспальную супружескую кровать карельской березы, под невесомое одеяло из гагачьего пуха, он (Есенин. — О. Л., М. С.) мог лечь только во хмелю — мутном и тяжелом”<sup>1</sup>. Пречистенская драма разворачивается вполне по О. Уайльду (тоже, как и Айседора, ирландцу): “Конечно, лучше обожать, чем быть предметом обожания. <...> Терпеть чье-то обожание — это скучно и тягостно. Женщины относятся к нам, мужчинам, так же, как человечество — к своим богам: они нам поклоняются — и надоедают, постоянно требуя чего-то”. Но только у Есенина с Дункан все оказывается гораздо грубее. Есенин пытался бежать — в ту же Персию или хотя бы на Богословский к Мариенгофу и Никритиной. Но Айседора как будто держала поэта на незримом поводке.

“Она опускалась на пол около стула, на котором сидел Есенин, — так Мариенгоф описывает типическую ситуацию ухода и возвращения, — обнимала его ногу и рассыпала по его коленям красную медь своих волос:

— Anguel.

Есенин грубо отталкивал ее сапогом:

— Поди ты к... — и хлыстал отборной бранью.

Тогда Изadora улыбалась еще нежнее и еще нежнее произносила:

— Serguei Alexandrovitch, lublu tibia”<sup>2</sup>.

По пословице, “аминем беса не избыть”, и чем умильнее Айседора называла Есенина “ангелом”, тем резче он огрызался “чертом”. Но та не отступала, переноса брань и даже побои — опять-таки по пословице: “Понравится сатана пуще ясного сокола”; “ruska ljubov” — таким восторженным восклицанием ответила она как-то на есенинский злобный тычок. “Кончалось все одним и тем же”<sup>3</sup>: “Поеду на свою Пречистенку клятую. Дунканша меня ждет. <...> Поеду. Будь она неладна!”<sup>4</sup>

— “Что с тобой, Сергей, любовь, страдания, безумие? — однажды спросила Е. Стырская у Есенина (рубеж 1921–1922 годов).

— Не знаю. Ничего похожего с тем, что было в моей жизни до сих пор. Айседора имеет надо мной дьявольскую власть. Когда я ухожу, то думаю, что никогда больше не вернусь, а назавтра или послезавтра я возвращаюсь. Мне часто кажется, что я ее ненавижу. <...>

1 *Мариенгоф А.* Мой век, мои друзья и подруги // *Мой век...* С. 220.

2 *Мариенгоф А.* Роман без вранья // *Мой век...* С. 395.

3 Там же. С. 344, 396.

4 *Мариенгоф А.* Мой век, мои друзья и подруги // *Мой век...* С. 143.

— Почему же ты тогда от нее не убегаешь?

— Не знаю. Не нахожу ответа. Иногда мне хочется разнести все в Балашовском особняке (на Пречистенке. — *О. Л., М. С.*), камня на камне не оставить. И ее в пыль!”<sup>1</sup>

И вот уже Айседора меняется с Есениным ролями: не он “черт”, а ее власть — “дьявольская”. С тех пор как при первой встрече Дункан “поманила его к себе”, поэт не раз чувствовал, что начинает себя терять. До этого он всегда вел свою политику, только в тактических целях притворяясь зависимым и послушным. Но сентябрьским вечером 1921 года и в дальнейшем с Айседорой никогда не подводившая его прежде интуиция все же изменила ему:

“Вид их вместе всегда заставлял припоминать старую латинскую фразу о маленьком полководце и большом мече: “Кто это привязал Сципия к мечу?”

Это был первый случай в жизни соломенного поэта, когда его перехитрили <...>

Она (Дункан. — *О. Л., М. С.*) прикидывалась покорной и водила за собой мнимого господина”<sup>2</sup>.

Этот парадокс ведомого хулигана (“черта”) и ведущей его жертвы (твердящей: “ангел”) Айседора разыгрывала в своем знаменитом танце с шарфом.

“Нет, она уже не статуя, — так этот танец описан в книге И. Одоевцевой “На берегах Сены”. — Она преобразилась. Теперь она похожа на одну из тех уличных женщин, что “любовь продают за деньги”. Она медленно движется по кругу, перебирая бедрами, подбоченясь левой рукой, а в правой держа свой длинный шарф, ритмически вздрагивающий под музыку, будто и он участвует в ее танце. <...>

Шарф извивается и колышется. И вот я вижу — да, ясно вижу, как он оживает, как шарф оживает и постепенно превращается в апаша. <...>

Апаш, как и полагается, сильный, ловкий, грубый хулиган, хозяин и господин этой уличной женщины. Он, а не она, ведет этот кабацкий, акробатический танец, властно, с грубой животной требовательной страстью подчиняя ее себе, то сгибает ее до земли, то грубо прижимает к груди, и она всецело покоряется ему. Он ее господин, она его раба. <...>

Но вот его движения становятся менее грубыми. Он уже не сгибает ее до земли и как будто начинает терять власть над ней. Он уже не тот, что в начале танца.

1 Из воспоминаний Е. Стырской, опубликованных в берлинской газете “Welt am Abend” (1928), цит. по: *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 509.

2 *Шершеневич В.* Великолепный очевидец... // Мой век... С. 580–581.

Теперь уже не он, а она ведет танец, все более и более подчиняя его себе, заставляя его следовать за ней. Выпрямившись, она кружит его, ослабевшего и покорного, так, как она хочет. И вдруг резким и властным движением бросает апаша, сразу превратившегося снова в шарф, на пол и топчет его ногами. <...>

Есенин смотрит на нее. По его искажившемуся лицу пробегает судорога.

— Стерва! Это она меня!.. — громко отчеканивает он.

Он <...> трясущейся рукой наливает себе шампанское, глотает его залпом и вдруг с перекосившимся, восторженно-яростным лицом бросает со всего размаха стакан о стену.

Звон разбитого стекла. Айседора по-детски хлопает в ладоши и смеется:

— It's for a good luck!

Есенин вторит ей лающим смехом:

— Правильно! В рот тебе гудлака с горохом!”<sup>1</sup>

“...Он был только партнером, похожим на тот кусок розовой материи, — безвольный, трагический, — так Мариенгоф комментирует этот танец с шарфом, виденный им в Москве.

— Она танцевала.

— Она вела танец”<sup>2</sup>.

Айседора знала, чем приманить поэта. Мнимое богатство, жизнь на широкую ногу, сплетни, перерастающие в легенды, — это все использовалось танцовщицей, “ведущей танец”, только для затравки; главное же — она все делала для того, чтобы перед Есениным всегда маячил призрак всемирного признания. О том, как Дункан этого добивалась и как ее приемы действовали на ведомого, рассказывает И. Шнейдер. Есенин провожает свою знаменитую подругу на петроградский поезд (февраль 1922 года); ей



Айседора Дункан. Москва.  
Август 1921 (?)

<sup>1</sup> Одоевцева И. На берегах Сены. М., 1989. С. 32–33.

<sup>2</sup> Мой век... С. 391.



хотелось бы захватить его с собой. Тут-то и идет в дело блокнот, одолженный у Шнейдера, и волшебный карандаш:

Айседора, взяв у меня записную книжку, с увлечением чертила, объясняя Есенину роль хора в древнегреческом театре. Смелой линией нарисовав полукруг амфитеатра, она замкнула “оркестру” и, поставив в центре ее черный кружок, написала под ним: “Поэт”. Затем быстро провела от точки множество расходящихся лучей, направленных к зрителям.

— Мы будем выступать вместе! — говорила она Есенину. — Ты один заменишь древнегреческий хор. Слово поэта и танец создадут такое гармоническое зрелище, что мы... *Wir werden dem ganzen Welt beherrschen* (Мы покорим весь мир. — О. Л., М. С.)! — рассмеялась Айседора. Потом вдруг наклонилась ко мне и умоляющим голосом тихо сказала: — Уговорите Есенин ехать вместе с нами в Петроград...

— Да его и не надо уговаривать. Сергей Александрович, хотите в Петроград?

Он радостно закивал головой, обращаясь к Айседоре:

— Изадора! Ти... я... Изадора — Есенин — Петроград!<sup>1</sup>

Но эта радость продолжалась до первого поцелуя. Роман Есенина с Дункан начался с объятий — слишком для него поспешных, слишком смелых и откровенных: сразу “*поцеловала его в губы*”, “*поцеловала еще раз*”, “*с закрытыми глазами <...> повторила этот поцелуй*”. Такое начало отношений самым печальным образом повлияло на весь их дальнейший ход: отныне для Есенина под подозрением оказались оба — и она, и, что гораздо хуже, он сам.

“...Я думаю, — написала в своих мемуарах Л. Кинел, — что она была самой знаменитой куртизанкой нашего времени в старинном, широком и величественном понимании этого слова”<sup>2</sup>. Но Есенин не видел в любвеобильной натуре Дункан ничего величественного и изысканному слову “куртизанка” предпочитал русскую брань. Отзвук крепких выражений, на которые по адресу Айседоры поэт никогда не скупился, слышится в его знаменитых стихотворениях 1923 года — “Сыпь, гармоника! Скука... Скука...” и “Пой же, пой. На проклятой гитаре...”. Стырская явно опережает события, утверждая, что именно первую “*встречу Есенин позднее описал в Берлине стихами, горькими, как водка*”. Но одно несомненно: стихи эти

1 Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 45.

2 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 152.

(“Наша жизнь — поцелуй да в омут”) стали следствием тех первых поцелуев, нетерпеливых и жадных.

Кажется, что Есенин прямо воспользовался чувствами ненависти и отвращения, которые порой внушала ему Дункан, чтобы развить до последнего предела мотивы любви-презрения и любви-скуки из блоковского цикла “Черная кровь”.

У Блока:

*Даже имя твое мне презренно,  
Но когда ты сощуришь глаза,  
Слышу, воеет поток многопенный,  
Из пустыни подходит гроза.*

*Глаз молчит, золотистый и карий,  
Горла тонкие ищут персты...  
Подойди. Подползи. Я ударю —  
И, как кошка, ощерись ты...*

У Есенина:

*Сыпь, гармоника, — скука, скука...  
Гармонист пальцы льет волной.  
Пей со мною, паршивая сука,  
Пей со мной!  
Излюбили тебя, измызгали  
Невтерпеж.  
Что ж ты смотришь синими брызгами,  
Или в морду хошь?!  
В огород бы тебя, на чучело,  
Пугать ворон!  
До печенок меня замучила  
Со всех сторон!  
Я с тобою из женщин не с первой —  
Много вас!  
Но с такою, как ты, стервою  
Лишь в первый раз!  
Сыпь, гармоника, сыпь, моя частая,  
Пей, выдра, пей!*

*Мне бы лучше вон ту, сисястую, —  
Она глупей.  
И чем дальше, тем звонче,  
То здесь, то там...  
Я с собой не покончу,  
Иди к чертям!  
К вашей своре собачьей  
Пора б простыть!..  
Дорогая, я плачу...  
Прости, прости!*

\* \* \*

*Пой же, пой. На проклятой гитаре  
Пальцы пляшут твои в полукруг.  
Захлебнуться бы в том угаре,  
Мой последний, единственный друг.*

*Не гляди на ее запястья  
И с плечей ее льющийся шелк.  
Я искал в этой женищине счастья,  
А нечаянно гибель нашел.*

*Я не знал, что любовь — зараза,  
Я не знал, что любовь — чума.  
Подошла и прищуренным глазом  
Хулигана свела с ума.*

*Пой, мой друг. Навевай мне снова  
Нашу прежнюю буйную рань.  
Пусть целует она другова,  
Молодая красивая дрянь.*

*Ах, постой. Я ее не ругаю.  
Ах, постой. Я ее не кляню.  
Дай тебе про себя я сыграю  
Под басовую эту струну.*

*Льется дней моих розовый купол.  
В сердце снов золотых сума.  
Много девушек я перецупал.  
Много женщин в углах прижимал.*

*Да! Есть горькая правда земли,  
Подсмотрел я ребяческим оком:  
Лижут в очередь кобели  
Истекающую суку соком.*

*Так чего ж мне ее ревновать.  
Так чего ж мне болеть такому.  
Наша жизнь — простыня и кровать.  
Наша жизнь — поцелуй да в мут.*

*Пой же, пой! В роковом размахе  
Этих рук роковая беда.  
Только знаешь, пошли их на хер...  
Не умру я, мой друг, никогда.*

В “Пой же, пой...” почти дословно процитирована строка из “Черной крови”: “Но когда ты сощуришь глаза” — “Подошла и прищуренным глазом...”), а в “Сыпь, гармоника...” строка “Глаз молчит, золотистый и карий” меняет цвет: “Что ж ты смотришь синими брызгами...” — для большего портретного сходства с Айседорой. Остальные переключки ясно указывают на то, в каком направлении Есенин смещает блоковский романс: к бытовой, физической ощутимости, предельной обнаженности и исповедальности. Так, блоковский мотив “приближения — отталкивания” (“Подойди. Подползи. Я ударю — / И, как кошка, ощерись ты”) переведен на кабацкий язык (“Пей со мною”; “Иди к чертям!”); нарастает речевая агрессия (“Я ударю” — “Иль в морду хошь?!”); строка: “Даже имя твое мне презренно” — отзывается скандальным множеством презренных имен (“сука”, “стерва”, “выдра”, “дрянь”; в одной из редакций “Пой же, пой...” высказывает подразумеваемое, но в итоге так и не сказанное — “блядь”<sup>1</sup>). Подхватывая блоковские трехстопные анапесты, Есенин все время сбивает размер; логика нарушается, связь между строками расшатывается; риторические фигуры захлебываются в эмоциях и брани. На место блоковской

1 Строка: “Изжитая, красивая блядь” (см.: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 1. С. 605).

правды мифа врывается житейская “правда-матка” — пьяная истерика, тоска, бравада и раскаяние. Такая правда должна шокировать не только грубостью слов, но и заострением приема — например, концентрацией резких средств (инверсия, внутренняя рифма, громкость аллитераций и ассонансов) в строках из “Пой же, пой...”: “Лижут в очередь кобели / Истекающую суку соком”.

При этом, в отличие от блоковского и любого другого романса, стихотворения Есенина, несомненно, рассчитаны на эффект узнавания: за строками о “дряни” — она, Дункан. Работая над “Пой же, пой...”, поэт даже испугался карикатурного сходства своих стихов с самыми грубыми сплетнями об Айседоре и заменил эпитет в строке: вместо “изжитая, красивая дрянь” — “молодая, красивая дрянь”. Тем не менее адресат был очевиден для всех; неудивительно, что позже есенинское обещание Миклашевской: “Я буду писать вам стихи” — вызовет смеховую реакцию Мариенгофа: “Такие же, как Дункан?”<sup>1</sup> Узнаваемы были и бытовые ситуации, стоящие за каждым стихотворением, соответствующие разным стадиям опьянения: горькие упреки в “Пой же, пой...”, отчаянная брань, разрешающаяся слезами раскаяния, — в “Сыпь, гармоника...”; знавшие Есенина и Дункан легко могли припомнить соответствующие сцены из их совместной жизни.

Вот и для Горького лучшим комментарием к этим есенинским стихам служили личные берлинские впечатления: “Разговаривал Есенин с Дункан жестами, толчками колен и локтей. Когда она плясала, он, сидя за столом, пил вино и краем глаза посматривал на нее, морщился. Может быть, именно в эти минуты у него сложились в строку стиха слова сострадания:

*Излюбили тебя, измызгали...”<sup>2</sup>*

Слово “сострадание” кажется совершенно неуместным в отношении этого стиха, в котором все (назойливая аллитерация на “з”, грамматический параллелизм (“из” — “из”), эмфатическая интонация) призвано передать отвращение, доходящее до спазма. Но неспроста Горький угадывает “чувства милые” в хлещущих, оскорбительных словах: видимо, он переносит на есенинские стихи свое сострадание к поэту.

“И можно было подумать, — продолжает Горький, — что он смотрит на свою подругу как на кошмар, который уже привычен, не пугает, но все-

1 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 84.

2 Горький М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 7.

таки давит. Несколько раз он встряхнул головой, как лысый человек, когда кожу его черепа щекочет муха.

Потом Дункан, утомленная, припала на колени, глядя в лицо поэта с вялой, нетрезвой улыбкой. Есенин положил руку на плечо ей, но резко отвернулся. И снова мне думается: не в эту ли минуту вспыхнули и жестоко и жалостно отчаянные слова:

*Что ты смотришь так синими брызгами?  
Иль в морду хошь?  
...Дорогая, я плачу,  
Прости... прости...»<sup>1</sup>.*

Правда, открывшаяся за теми первыми поцелуями, — “простыня и кровать” как “омут” и “гибель” — явно перекликается со словами, сказанными самой Дункан (по свидетельству Л. Кинел): “Она стояла, как кариатида — красивая, величественная и страшная. И вдруг она распростерла руки и, указывая на постель, сказала по-русски с какой-то необыкновенной силой:

— *Вот бог!*

Руки медленно опустились. <...> Есенин сидел на стуле, бледный, молчаливый, уничтоженный”<sup>2</sup>.

Это, однако, еще не вся правда. От нее еще можно отмахнуться жизнеутверждающими ругательствами: “Я с собой не покончу, / Иди к чертям!”; “Только знаешь, пошли их на хер... / Не умру я, мой друг, никогда”. Хуже другое — Есенин не только Айседоре не мог простить тех поцелуев, но и самому себе. Он до последних дней будет твердить: “Я себя не продавал”<sup>3</sup>, убеждая в этом больше себя, чем других.

“Ведь есть кроме него люди, — размышляет Бениславская (по другому поводу, в связи с С. Толстой, но, конечно, имея в виду и Дункан), — и они понимают механизм его добывания славы и известности. А как много он выиграл бы, если бы эту славу завоевывал только талантом, а не этими способами. Ведь он такая же б..., как француженки, отдающиеся молочнику, дворнику и пр<очим>. Спать с женщиной, противной ему физически <...>, — это не фунт изюму”<sup>4</sup>.

1 Там же.

2 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 159.

3 См.: Тарасов-Родионов А. И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 245.

4 Бениславская Г. Дневник // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 117.



Можно представить, как яростно Есенин бы оспаривал эту характеристику, если бы ему случилось прочесть дневник Бениславской. А между тем стихи из “Черного человека”, замысел которого возник именно в дункановский период, за рубежом, во многом совпадают с выводами Бениславской. В поэме неразрывно связаны два навязчивых, мучительных лейтмотива — “проклятие пола” и “проклятие лжи”. Такие строки, как:

*Может, с толстыми ляжками  
Тайно придет “она”...  
.....  
Ах, люблю я поэтов!  
Забавный народ!  
В них всегда нахожу я  
Историю, сердцу знакомую,  
Как прыщавой курсистке  
Длинноволосый урод  
Говорит о мирах,  
Половой истекая истомою, —*

явно перекликаются с “горькой правдой земли” из “Пой же, пой...”. Но еще горше для лирического героя оказывается другая “правда”, которую (словно на “службе водолазовой”) достает со дна его души “скверный гость”, перебирая, кажется, все возможные из смежных обвинений — шарлатанство, авантюризм, жульничество, воровство, подлость и ложь:

*Этот человек  
Проживал в стране  
Самых отвратительных  
Громил и шарлатанов.  
.....  
Был человек тот авантюрист,  
Но самой высокой  
И лучшей марки.  
.....  
“Счастье, — говорил он, —  
Есть ловкость ума и рук.  
Все неловкие души  
За несчастных всегда известны.*

*Это ничего,  
Что много мук  
Приносят изломанные  
И лживые жесты...*

.....  
*Черный человек  
Глядит на меня в упор.  
И глаза покрываются  
Голубой блевотой.  
Словно хочет сказать мне,  
Что я жулик и вор,  
Так бесстыдно и нагло  
Обокравиший кого-то.*

.....  
*“Слушай, слушай! —  
Хрипит он, смотря мне в лицо.  
Сам все ближе  
И ближе клонится. —  
Я не видел, чтоб кто-нибудь  
Из подлецов  
Так ненужно и глупо  
Страдал бессонницей...”*

Какие же факты приводит “черный” обвинитель в подтверждение своего приговора? Только один — да и то намеком. Но зато, именно в силу недоговоренности, невинная на первый взгляд фраза язвит поэта саркастическим ядом. Язвит вдвойне — повторенная дважды, к концу поэмы воспринимаемая как наваждение, страшнее любого кошмара:

*...И какую-то женщину,  
Сорока с лишним лет,  
Называл скверной девочкой  
И свою милою.*

Эта маленькая вроде бы ложь (называл “женщину сорока с лишним лет” — “девочкой”, “какую-то женщину” — “своею милою”) есть та точка, в которой сходятся оба мучительных лейтмотива — “ложь” и “пол”. Значит, если в “Сыпь, гармоника...” и “Пой же, пой...” дана посылка: “ад —



Сергей Есенин  
Бюст работы С. Т. Конёнкова. 1920.  
Дерево

это другой” (другая), то “Черный человек” ведет поэта к гораздо более страшному выводу: “ад — это я”.

После переезда на Пречистенку поэт окружен намеками и полунемеками: а не проданся ли? Его уличают не только шутки друзей и сплетни недоброжелателей, но даже и вещи вокруг — порой они становятся аллегориями, означающими: “проданся”.

“Не прими за аллегория, Соня...” — говорит Версолов в романе Достоевского “Подросток”, раскалывавая завещанную ему икону, а затем в безумии оговаривается: “А впрочем, прими хоть и за аллегория; ведь это

непрерменно было так!..” “Но и “двойник” был тоже несомненно подле него, — так оценивает поступок своего отца Аркадий, — в этом не было никакого сомнения...” Подобных “аллегорий” немало было и в жизни Есенина: сначала это было озорство (икона, пошедшая на растопку самовара<sup>1</sup>), а затем в дело все больше вмешивается двойник — в стихах (в “Черном человеке” — Нарцисс, разбивающий зеркало<sup>2</sup>) и жизни (лучинка, погашенная на квартире у Клюева; уничтожение собственного бюста работы Конёнкова<sup>3</sup>). В ряду этих “аллегорий” особое место занимает случай с разбитыми часами: возможно, тогда, в январе-феврале 1922-го, в действия Есенина впервые вмешалась воля “двойника”.

Начало этой истории рассказывает Мариенгоф:

Изадора Дункан подарила ему (Есенину. — О. Л., М. С.) золотые часы. Ей казалось, что с часами он перестанет постоянно куда-то торопиться; не будет бежать от ампиловских кресел, боясь опоздать на какие-то загадочные встречи и неведомые дела.

У Сергея Тимофеевича Коненкова все человечество разделялось на людей с часами и людей без часов. Определяя кого-нибудь, он обычно буркал:

- 1 Об этом случае подробнее говорится в главе 7 нашей книги.
- 2 О символе зеркала в поэзии и жизни Есенина см.: Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 492–495.
- 3 Подробнее речь об этих поступках пойдет в главе 11 нашей книги.

— Этот... с часами.

И мы уже знали, что если речь шла о художнике, то рассуждать дальше о его талантах было бы незадачливо.

И вот, по странной игре судьбы, у самого что ни на есть племенного “человека без часов” появились в кармане золотые, с двумя крышками и чуть ли не от Буре.

Мало того — он при всяком новом человеке стремился непременно раза два вытянуть их из кармана и, щелкнув тяжелой золотой крышкой, полюбопытствовать на время<sup>1</sup>.

А о том, чем кончилась затея Айседоры с часами, узнаем из мемуаров ее приемной дочери Ирмы. Есенин возвращает Дункан ее подарок, но она, вложив туда свою фотографию, умоляет своего “ангела” не отказываться от талисмана любви:

Она (Дункан. — *О. Л., М. С.*) дала ему одну из своих фотографий для паспорта.

“Не часы. Изадору. Снимок Изадоры!”

Он был простодушно восхищен этой мыслью и положил часы со снимком обратно к себе в карман. Но спустя несколько дней, в приступе ярости по поводу чего-то ему не понравившегося, он запустил часами в другой конец комнаты с концентрированной силой тренированного дискбола. Когда он в бешенстве покинул комнату, Айседора медленно побрела в противоположный угол и горестно смотрела на осколки разлетевшегося стекла и раздавленный корпус с его поломанным, безмолвным механизмом. И из груды хрупких осколков она подняла свое улыбающееся изображение<sup>2</sup>.

По свидетельству Шнейдера, после этого поступка Есенин только улыбнулся: “Вот какая чертовщина... — сказал он, расчесывая пальцами волосы, — как скверно вышло...”<sup>3</sup>

В этом есенинском жесте — и трагический знак (истребление вещей как пролог к самоистреблению), и бунт (разрыв акта купли-продажи), и просто — пьяная истерика.

В том, что Есенин на рубеже 1921–1922 годов все больше пил, Шнейдер пытается обвинить имажинистов: ““Стойло Пегаса” сыграло трагическую роль в жизни Есенина: водку ему там подавали безотказно. А водка дейст-

1 Мой век... С. 394–395.

2 Дункан И., Макдугалл А.-Р. Русские дни Айседоры Дункан. С. 86–87.

3 Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 50.

вовала на Есенина дурно”<sup>1</sup>. С последним спорить не приходится. А вот со “Стойлом Пегаса” — подтасовка: в имажинистском кафе на первом месте всегда было дело, литературная борьба; на втором месте — приключения (“Надо зайти в Стойло. <...> Романтика жизни моей в нем, друг ты мой!”<sup>2</sup> — такие слова Есенина запомнились Эрлиху); на третьем месте, четвертом, пятом — что угодно: друзья, женщины, деньги. Водка же — разве что на десятом.

По-настоящему трагическая роль в есенинском срыве принадлежит “клятой Пречистенке”. Спрашивается, когда в его переписке появились жалобы на прожигание жизни и алкогольную зависимость? Только после переезда в балашовский особняк, занятый Школой Дункан. Из письма Иванову-Разумнику от 6 марта 1922 года: “Живу я как-то по-бивуачному, — пишет поэт, — без приюта и без пристанища, потому что домой стали ходить и беспокоить разные бездельники, вплоть до Рукавишников. Им, видите ли, приятно выпить со мной! Я не знаю даже, как и отделаться от такого головоотяпства, а прожигать себя стало совестно и жалко”<sup>3</sup>. Из письма Ключеву от 5 мая 1922 года: “Очень уж я устал, а последняя моя запойная болезнь совершенно меня сделала издерганным, так что даже и боюсь тебе даже писать, чтобы как-нибудь беспричинно не сделать больно”<sup>4</sup>.

На Пречистенке Есенину все достается слишком легко — по щучьему веленью, по моему хотенью:

“— Изадора, сигарет!

Дункан подает Есенину папиросу.

— Шампань!

И она идет за шампанским”<sup>5</sup>.

Но власть Есенина — мнимая:

Есенин выпивает залпом стакан и тут же наливает до краев второй.

Дункан завязывает вокруг его шеи свои нежные и слишком мягкие руки.

На синие фаянсовые блюдца будто проливается чай, разбавленный молоком.

Она шепчет:

— Essenin krepkii!.. Oschegne krepkii.

1 Шнейдер И. Встречи с Есениным... С. 27.

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 49.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 133.

4 Там же. С. 135.

5 Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 392.



Айседора и Ирма Дункан среди учениц танцевальной школы  
Москва. 1921

Таких ночей стало семь в неделю и тридцать в месяц.

Как-то я попросил у Изадоры Дункан воды.

— Qu'est-ce que c'est "vodi"?

— L'eau.

— L'eau?

— Изадора Дункан говорит, что она забыла, когда последний раз пила "L'eau".

Шампань, коньяк, водка<sup>1</sup>.

Гармония дневных занятий с детьми эллинскими танцами резко противоречила этому ночному хаосу.

"На Пречистенке, 20 <...> функционировало отделение Древней Эллады, — вспоминает Э. Герман. — Наутро после свадьбы Сергея и Айседоры, уходя из ее (теперь — их) особняка, я столкнулся с движущейся к умывальной комнате вереницей белых детских хитонов. В свете раннего утра они показались мне призраками.

В этом призрачном американско-эллинском мире жил Сергей. Трудно было не улыбнуться при этой мысли"<sup>2</sup>.

Буйство Есенина и его собутыльников грозило подорвать репутацию школы. Позже администратор школы И. Шнейдер вынужден был юлить

1 Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 392.

2 Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 168–169.



перед властями. “...Представитель Главпрофобра <...>, — писал он Лунначарскому, — не удержался от того, чтобы в официальном разговоре, который вел, коснуться опять всех тех вздорных сплетен и слухов, распространявшихся одно время самой дурной частью так называемого общества вокруг имени Айседоры Дункан, к которой они относились по вполне понятным причинам враждебно. Не буду Вас затруднять перечислением архиглупых сплетен <...> Я утверждаю только, что “оргий”, “выстрелов”, “скандалов” <...> в Школе никогда не было и быть не могло, несмотря на то что даже “в Главпрофобре известны такие факты”. Стыдно за государственное учреждение, которое работу обывательских кумушек регистрирует у себя за “факты”. Больно за великую артистку и женщину, гостью советской России, где зарвавшиеся чиновники новейшей формации уже, так сказать, “официально” оскорбляют Дункан...”<sup>1</sup>

Нужно ли говорить, что сплетни насчет “скандалов” не были такими уж “архиглупыми” — разве что до “выстрелов” не дошло.

Итак, чуть ли не каждый день на Пречистенке праздник: “оргийные ночи”<sup>2</sup>, “море разлитое вина”<sup>3</sup>. Но это праздник Цирцеи: поэт заколдован. Ориентация в мире отныне потеряна, верная интуиция — все больше подводит, чувство меры — все чаще изменяет. И мир вокруг становится призрачным, неощутимым — как во сне.

Однако “все это были только цветочки. А уж ягодки, полные горечи и отравы, созрели за границей — в Европе и Америке.

Есенин уехал с Пречистенки надломленным, а вернулся из своего свадебного путешествия по Европе и обеим Америкам безнадежно сломленным”<sup>4</sup>.

Отъезду предшествовали два ритуала, отмеченные особыми знаками и игрой судьбы.

Сначала состоялся официальный ритуал — бракосочетание. Всю жизнь Айседору преследовали роковые предчувствия и совпадения. “Перед отъездом из Лондона (в советскую Россию. — О. Л., М. С.) я пошла к гадалке, — рассказывает она в “Моей жизни”, — которая сказала: “Вы отправляетесь в долгое путешествие. У вас в жизни будет много необычного, много неприятностей, вы выйдете замуж”. При слове “замуж” я оборвала ее смехом. Разве я не выступала всегда против брака? Я никогда не выйду замуж. “Поживем —

1 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 541–542.

2 См.: Анненков Ю. Дневник моих встреч... Т. 1. С. 169.

3 См.: Вольпин Н. Свидание с другом // Есенин глазами женщин... С. 190.

4 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 226, 229.

увидим”, — возразила предсказательница”<sup>1</sup>. И вот предсказание сбылось: 2 мая 1922 года Есенин и Дункан зарегистрировали брак в загсе Хамовнического совета; и он и она взяли двойную фамилию Есенин-Дункан.

А затем пришло время для дружеского ритуала: при прощании Есенин и Мариенгоф обменялись стихотворными посланиями.

“Наш поезд на Кавказ отходит через час, — вспоминает автор “Романа без вранья”. — Есенинский аэроплан отлетает в Кенигсберг через три дня.

— А я тебе, дура-ягодка, стихотворение написал.

— И я тебе, Вяточка.

Есенин читает, вкладывая в теплые и грустные слова теплый и грустный голос:

*Прощание с Мариенгофом*

*Есть в дружбе счастье оголтелое  
И судорога буйных чувств —  
Огонь растапливает тело,  
Как стеариновую свечу.*

*Возлюбленный мой! дай мне руки —  
Я по-иному не привык, —  
Хочу омыть их в час разлуки  
Я желтой пеной головы.*

*Ах, Толя, Толя, ты ли, ты ли,  
В который миг, в который раз —  
Опять, как молоко, застыли  
Круги недвижущихся глаз.*



Сергей Есенин с Айседорой Дункан в день бракосочетания. Слева — Ирма Дункан  
Москва. 2 мая 1922

1 Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 279.

*Прощай, прощай. В пожарах лунных  
Дождусь ли радостного дня?  
Среди прославленных и юных  
Ты был всех лучше для меня.*

*В такой-то срок, в таком-то годе  
Мы встретимся, быть может, вновь...  
Мне страшно, — ведь душа проходит,  
Как молодость и как любовь.*

*Другой в тебе меня заглушит.  
Не потому ли — в лад речам  
Мои рыдающие уши,  
Как весла, плещут по плечам?*

*Прощай, прощай. В пожарах лунных  
Не зреть мне радостного дня,  
Но все ж средь трепетных и юных  
Ты был всех лучше для меня <sup>1</sup>.*

В ответ Мариенгоф прочел свое стихотворение:

*Прощание с Есениным*

*Какая тяжесть!  
Тяжесть!  
Тяжесть!  
Как будто в головы  
Разлука наливает медь  
Тебе и мне.  
О, эти головы,  
О, черная и золотая.  
В тот вечер ветренное небо  
И над тобой,  
И надо мной  
Подобно ворону летало.  
Надолго ли?*

<sup>1</sup> Мой век... С. 397.

О, нет.  
 По мостовым, как дикие степные кони,  
 Проскачет рыжая вода.  
 Еще быстрее и легкокрылей  
 Бегут по кручам дни.  
 Лишь самый лучший всадник  
 Ни разу не ослабит повод.  
 Но все же страшно:  
 Всякое бывало,  
 Меняли друга на подругу,  
 Сжимали недруга в объятьях,  
 Случалось, что поэт  
 Из громкой стихотворной славы  
 Шил женщине сверкающее платье...  
 А вдруг —  
 По возвращенью  
 В твоей руке моя застывает  
 И оборвется встречный поцелуй!  
 Так обрывает на гитаре  
 Хмельной цыган струну.  
 Здесь все неведомо:  
 Такой народ,  
 Такая сторона.

Оба послания оказались пророческими; как писал Мариенгоф, по возвращении Есенина “предугаданная грусть <...> “Прощаний” стала явственной и правдоподобной”. Поэты не напрасно боялись предстоящей разлуки: “Мне страшно, — ведь душа проходит, / Как молодость и как любовь” — “Но все же страшно: / <...> А вдруг — / По возвращенью / В твоей руке моя застывает / И оборвется встречный поцелуй.” Так и случилось. При новой встрече, после возвращения Есенина из-за границы, тот сразу же прочтет своему другу первый вариант “Черного человека”. И тогда же ночью Мариенгофу придется вспомнить строки из страшной поэмы — когда неменяемый Есенин уронит ему “на плечо голову; как не свою, как ненужную, как холодный костяной шар”<sup>1</sup>. Так имажинистские метафоры “Прощаний”: уши как плещущие весла (“Мои рыдающие уши, / Как вес-

1 Мой век... С. 406.

ла, плещут по плечам”); небо как ворон над налитой медной тяжестью головой (“Как будто в головы разлука наливает медь”; “В тот вечер ветреное небо / Подобно ворону летало”) — стали предсказанием, предвестием обезумевших метафор “Черного человека”:

*Голова моя машет ушами,  
Как крыльями птица,  
Ей на шее ноги  
Маячить больше невмочь.*

А затем жертвой этого безумия станет дружба: Есенин зачислит Мариенгофа в список своих врагов, произойдет разрыв.

**4** 10 мая 1922 года молодожены вылетели в Кенигсберг. Но вовсе не в свадебное путешествие отправился Есенин — а завоевывать мир<sup>1</sup>. И в этом деле поэту должна была помочь Айседора, которая, по словам ее американского импресарио С. Юрока, достала бы для своего молодого мужа и луну с неба — если б только могла<sup>2</sup>.

По прибытии в Берлин Есенин развернул бурную деятельность: уже на следующий день он появился в сменовеховской газете “Накануне” (14 мая там была опубликована его автобиография и подборка стихов); в последующие дни вел переговоры об издании в эмигрантских издательствах сборников “Ржаные кони”, “Хорошая книга стихов” и “Голубень”<sup>3</sup>. Но уже после первой недели пребывания за границей стало ясно: поэт разочарован.

Чтобы разобраться в тогдашних есенинских настроениях, остановимся на двух главных мероприятиях его берлинской программы. Первое состоялось уже 12 мая — это встреча с эмигрантской публикой в Доме искусств.

“...В Доме искусств заблаговременно предупредили, — по горячим следам рассказывает Г. Алексеев<sup>4</sup>, — что прилетевший из Москвы в Берлин Сергей Есенин с женой Айседорой Дункан “обещали быть” на оче-

1 Перед отъездом Есенин говорит Мариенгофу, что его цель — завоевание Европы (*Мариенгоф А. Роман с друзьями // Октябрь. 1965. № 11. С. 83*), а Шершеневичу — что его цель — показать себя Западу (*Шершеневич В. Сергей Есенин // Есенин: Жизнь. Личность. Творчество. С. 58–59*).

2 Из воспоминаний С. Юрока “Импресарио” (цит. по: *McVay G. Isadora and Esenin. P. 56*).

3 См.: *Белюсов В. Сергей Есенин: Литературная хроника. М., 1970. Ч. 2. С. 45–46*.

4 Сполохи. 1922. № 10.



Заграничный паспорт С. Есенина, выданный в Париже 13 сентября 1922 г.

редном собрании в пятницу. И пятница эта была едва ли не самой многолюдной и шумной. <...> А лицо у всех было одно — захватывающее, жадное, молчаливое от волнения — вот в Севилье так ждут, чтобы бык пропорол брюхо неловкому тореадору. Жизнь упростилась, “тонкости”, полутень, нюанс ушли из нее — зрелище должно быть грубо и ярко, как бабий цветастый платок в июньский воскресный день под праздничным звоном. <...> <И вот> председатель Дома искусств, поэт Н. Минский объявил, что долгожданные гости, Есенин и Айседора Дункан, наконец приехали.

И тотчас оба вошли в зал. Женщина в фиолетовых волосах, в маске-лице — свидетеле отчаянной борьбы человека с жизнью. Слегка недоумевающая, чуть-чуть извиняющаяся — кого? — но ведь людям, так много давшим другим людям, прощается многое. И рядом мальчонка в вихорках, ловкий парнишка из московского трактира Палкина с чижамы под потолком, увертливый и насторожившийся. Бабушка, отшумевшая большую жизнь, снисходительная к проказам, и внук — мальчишка-сорванец. Кто-то в прорвавшемся азарте крикнул: “Интернационал”, — пять хриплых го-



лосов неверно ухватили напев, и тогда свистки рванулись, а робкие... будто свистали пробуя. Склеенная жидким гуммиарабиком “любви к искусству”, толпа раскололась <...>. Какой-то армянин, сгибаясь к чужому лицу, сказал “сволочь”, — потные лица дам, фиолетовые от пудры, и настоженные лица мужчин сдвинулись ближе к столу, за которым сидели Дункан и Есенин, белый, напряженный до звона в голове, готовый броситься — еще мгновение. И вот как я увидел, как он победил.

— Не понимаю, — сказал он громко, — чего они свистят... Вся Россия такая. А нас...

Он вскочил на стул.

— Не застрашаете! Сам умею свистать в четыре пальца.

И толпа подалась, еще захлопали, у вешалки столпились недовольные, но Есенин уже успокоился: оставшиеся жадно били в ладоши, засматривая ему в глаза своими, рыбьими и тупыми, пытаясь приблизиться, пожать ему руку... <...>

Этих он подмял”<sup>1</sup>.

Мы видим: действие в берлинском Доме искусств разворачивалось по проверенному имажинистскому сценарию: сначала скандал, доводящий публику до предельного напряжения, затем стихи, тем вернее увлекающие ее за собой — нежной грустью и бурной тоской.

Все вроде бы замечательно складывалось. Скандал разразился громче некуда; дело едва не дошло до драки: как сигнал прозвучало — “сволочь”, “лица мужчин сдвинулись ближе” к Есенину. “Свистки нарастали, — добавляет Е. Лундберг в своем дневнике через полгода после того памятного вечера, — кто-то тупой и мрачный наступал на Кусикова, предлагая единоборство. <...> Он (Кусиков. — О. Л., М. С.) не протянул руки вперед, а спрятал их за спину и мрачно промолвил: “Убери руки. Застрелю как щенка””<sup>2</sup>. И Есенин не отступил перед этой надвигающейся, кричащей, свистящей толпой: “Сам умею свистать в четыре пальца”; “Не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот — тут вам и конец”<sup>3</sup> — и действительно “засвистал как разбойник на большой дороге”<sup>4</sup>, и действительно “пересвистел”. Эхо этого “посвиста” еще долго будет отдаваться в литературных сплетнях, собственных есенинских байках<sup>5</sup>, а затем и в воспоминаниях со-

1 *Алексеев Г.* Сергей Есенин. Живые встречи // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 181–182.

2 *Лундберг Евг.* Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 140.

3 *Лундберг Евг.* Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 141.

4 *Гуль Р.* Сергей Есенин за рубежом // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 199.

5 “Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил”, — говорил Есенин Воронскому и прибавлял, что его за это били (*Воронский А. К.* Памяти Есенина // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 72).

временников<sup>1</sup>. Стиховая хватка тоже не подвела Есенина; как всегда, публика подчинилась поэту: вот уже “свистки смолкли”<sup>2</sup>, вот уже “зал взорвался <...> общими несмолкающими аплодисментами”<sup>3</sup>, “этих он подмал”, “Дом искусств был взят приступом”<sup>4</sup>.

Но что было поэту в этом очередном триумфе? Вечер в Доме искусств стал событием для русского Берлина — но только не для самого Есенина.

На отношении эмигрантов, писателей и критиков, к “советскому Распутину” (такая формула закрепилась за поэтом с начала двадцатых годов<sup>5</sup>) стоит остановиться чуть подробнее. На примере собрания 12 мая 1922 года можно составить наглядное представление о том, что значило имя Есенина для русской эмиграции. “Толпа раскололась”. С одной стороны, “черносотенный фон Д<ома> И<скусств> почернел еще пуще”; “благонамеренность была оскорблена”; “благонамеренность отправилась свидетельствовать вешалки и пути отступления”<sup>6</sup>. С другой стороны, часть присутствовавших подхватила “Интернационал”<sup>7</sup>, а еще больше было тех, кто просто восхищался Есениным, они “жадно били в ладоши, засматривая ему в глаза”.

О расколе эмигрантской публики свидетельствуют два письма. Первое — частное (П. Сувчинский — Н. Трубецкому, 14 мая 1922 года): “Вчера мы были свидетелями, до какой мрази и пошлости дошла в настоящее время “Русская революция”. Прилетел на аэроплане вместе с Дункан поэт Есенин и остановился в лучшей гостинице. В “Доме искусств” был устроен в их честь вечер. Есенин долго не шел, наконец в 12 ч. ночи явился под руку с Дункан в белых туфельках. Дункан уже 55 лет, стерва! Живет с ним и очень афиширует это. Какой-то жиденок крикнул: “Интернационал”. Публика начала свистать. Тогда Есенин, стоя на стуле, крикнул: “А мы в России в четыре кулака свистим эмиграции”, и затем вместе с Дункан — “Интернационал”. Одни поддерживали, другие скандалили”<sup>8</sup>. Автора этого письма все оскорбляет в Есенине: и что тот бравировует своим положением альфонса (“афиширует” связь с “пятидесятипятилетней” — на самом

1 См., например: *Старцев И.* Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 85; *Шнейдер И.* Встречи с Есениным... С. 59; *Оцуп Н.* Сергей Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 164.

2 *Лундберг Евг.* Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 141.

3 *Гуль Р.* Сергей Есенин за рубежом // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 199.

4 Там же. С. 199.

5 Есенин подхватывает формулу и сам иронически так именует себя в инсткрипте А. Кожебаткину (*Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 7. Кн. 1. С. 152).

6 *Лундберг Евг.* Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 140.

7 *Гуль Р.* Сергей Есенин за рубежом // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 199.

8 Цит. по: Сергей Есенин в стихах и жизни... С. 327.

деле сорокапятилетней — Дункан), и что ходит барином перед неустроенной эмиграцией (остановился в лучшем отеле, “Адлон”, шеголяет в “белых туфельках”), и что издевается над ней, с хулиганским вызовом распевая коммунистический гимн. В том же духе освещали происшествие “молдочки из монархической газеты “Руль””<sup>1</sup>.

Другое письмо — открытое, направленное в редакцию просоветской, сменовеховской газеты “Накануне”, активно поддерживающей Есенина с первых дней его появления в Берлине. Некий С. Платонов не присутствовал на вечере, однако с энтузиазмом пишет из Праги (17 мая 1922 года): “Я равнодушен к эмигрантской грызне <...>. Но и меня взбудоражила звонкая пощечина Есенина (Дому искусств), настоящая, здоровая, сочная, русская. <...> Я <...> хочу пожать здоровую, буйную руку поэта и Вашу (сильновольный жизненный)”<sup>2</sup>.

С какой щедростью корреспондент из Праги разбрасывает эпитеты: мало того, что пощечина, которую Есенин отвесил эмиграции, — “настоящая, здоровая, сочная, русская”, — и рука, давшая эту символическую пощечину, по прихотливой метонимической логике, тоже оказывается “здоровой” и к тому же “буйной”. Изобилие эпитетов и вообще фигур речи при описании есенинского демарша здесь не только черта индивидуально-стиля; никто из сочувствующих поэту не может обойтись без красочных образов и риторических оборотов. Так, Г. Алексеев приплетает к рассказу “бабий цветастый платок в июньский воскресный день под праздничным звоном”, Есенина же называет, с нежной иронией, — “озорным мальчонкой”, “в вихорках”, “увертливым”, “ловким парнишкой”. Р. Гуль сравнивает свистящего поэта с “разбойником на большой дороге” (совсем близко к Соловью-разбойнику), и уже Лундберг, рассказывая о скандале в Доме искусств, прямо переходит на язык сказки: “Минский радостно возвестил: пришел Есенин. Хотя следовало бы сказать: прилетел. Ибо на юношески дерзком лице и в растрепанных ветром кудрях нескрываяемо сквозило выражение: “вы ходите, а я вот летаю. Хотя бы на аэроплане””<sup>3</sup>.

“Озорной мальчонка”, “разбойник на большой дороге”, Иван-царевич, прилетевший на аэроплане, как на ковре-самолете, — эти и подобные этим образы подсказывают, почему культ среди эмиграции не ограничился просоветской газетой “Накануне”, сменовеховцами и евразийцами. Сторонники поэта самых разных политических взглядов видели в нем во-

1 Слова из воспоминаний И. Соколова-Микитова (*Соколов-Микитов И. С. Давние встречи. Л., 1976. С. 74*).

2 Цит. по: Сергей Есенин в стихах и жизни... С. 327.

3 *Лундберг Евг. Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 140.*

площение русской души: с годами все больше и больше любовь к России переносилась на Есенина (В. Ходасевич: “Есенинский надрыв, с его взлетами и падениями, оказался сродни всей России. За это Есенина любили и любят, за это и должно его любить”<sup>1</sup>). В эмигрантской печати любовь к поэту не раз объявлялась едва ли не обязательной для русского человека: “Не любить Есенина для русского читателя теперь — признак или слепоты, или, если он зряч, — какой-то несомненной моральной дефективности”<sup>2</sup>; “У него было чистое и отличное сердце, русское, широкое и свободное <...> Его трудно было не любить”; “Поэзия Есенина могла раздражать, бесить, восторгать — в зависимости от вкуса. Но равнодушным она могла оставить только безнадежно равнодушного и непримчивого человека”<sup>3</sup>; “Оплевывать Есенина — значит оплевывать Россию, русский народ...”<sup>4</sup>.



Сергей Есенин. 1922

Категоричность подобных высказываний вполне понятна. Бóльшая часть русской эмиграции не могла не полюбить Есенина: кто лучше его выразил русскую печаль и тоску по чаемой России — чувства, столь созвучные эмигрантской ностальгии!

Но и те “благонамеренные”, что в гневе покинули зал Дома искусств, имели своих последователей. Интересно, что противники Есенина тоже считали характер его личности и поэзии типично русским, но только с противоположным знаком: в свойствах есенинского типа они искали причины провала России в революцию.

“Дело в том, — писала главная обвинительница поэта З. Гиппиус, — что есть в русской душе черта, важная и страшная, для которой трудно подобрать имя: это склонность к особому рода субъективизму, к безмер-

1 Ходасевич В. О Есенине // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 87.

2 Святополк-Мирский Д. П. Поэты и Россия... С. 117.

3 Осоргин М. “Отговорила роща золотая...” (Памяти Сергея Есенина) // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 46.

4 Коряков М. “Есенинщина” и советская молодежь // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 115.

ному в нем самораспусканью. Когда она не встречает преград, она приводит постепенно к самораспылению, к саморасползанию, к последней потере себя. Русская “удаль”, удаль безволия, этому процессу не мешает, а часто помогает.

Нетронутая культурой душа, как есенинская, это молодая степная кобылица. На кобылицу, если хотят ее сохранить, в должное время надевают узду. Но тут-то как раз никаких узд для Есенина и не оказалось. Понять нужду в них, самому искать, найти, в такое время, как он мог? А перед инстинктом — лежало открытое поле. Не диво, что кобылица помчалась вперед, разнесла, растоптала, погубила все, что могла, — вплоть до самой себя<sup>1</sup>.

Еще резче риторика И. Бунина, вполне согласного с тезисами вроде: “Он (Есенин. — О. Л., М. С.) был в революции, в ее реальной национальной стихии”; “Он — плоть от плоти буйных русских лет”<sup>2</sup>. Но в этом-то для Бунина и заключается вина рязанского “самородка” как носителя русской глупости, русского греха, русской порчи: “Хвастливые вирши (Есенина. — О. Л., М. С.), <...> принадлежащие некоему “крестьянину” Есенину, далеко не случайны. <...> И какая символическая фигура этот советский хулиган, и сколь многим теперешним “болванам”, возвещающим России “новую эру”, он именно чета, и <...> тут действительно стоит роковой вопрос: под знаком старой или так называемой новой “эры” быть России и обязательно ли подлинный русский человек есть <...> азиат, дикарь или нет? Теперь все больше входит в моду отвечать на этот вопрос, что да, обязательно. И московские “рожи”, не довольствуясь тем, что они и от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами”<sup>3</sup>.

Но отношение к Есенину тогда, 12 мая 1922 года, конечно, не ограничивалось контрастами pro и contra — “жадными” аплодисментами или демонстративным уходом из зала. Многие судили о Есенине сдержанно и отстраненно, “без гнева и пристрастия”. В Доме искусств их негромкие голоса не были слышны, зато в эмигрантских журналах такого рода скептики имели вес и влияние. Речь прежде всего о бывших петербуржцах, а ныне эмигрантских законодателях вкуса, таких как Г. Адамович. Встретившись в Берлине (1923) с еще одним своим знакомым по Петербургу, Г. Ивановым, Есенин сетовал: “А признайтесь — противен я был вам, петербуржцам. И вам, и Гумилеву, и этой осе Ахматовой. В “Аполлоне” ме-

1 Гиттиус З. Судьба Есениных // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 86–87.

2 Устрялов Н. В. Есенин (К трехлетию с дня смерти) // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 77.

3 Бунина И. А. Публицистика 1918–1953 годов. М., 2000. С. 159–160.

ня так и не напечатали”<sup>1</sup>. Иванов тогда промолчал, зато за него в своей статье о Есенине ответил Адамович: “Я помню появление Есенина десять лет назад, в Петербурге. На него сразу обратили внимание, но в кругах не чисто поэтических. Ни один из подлинных поэтов, живших тогда в Петербурге — я могу не называть эти три-четыре имени, — не заинтересовался им. Его легкие и нарядные стихи не много обещали”<sup>2</sup>.

Это “петербургское” предубеждение к Есенину было унаследовано эмигрантской эстетической критикой. Откликаясь на смерть поэта, Адамович вступил в полемику с М. Осоргиным, утверждавшим, что равнодушное отношение к есенинской поэзии недопустимо: ““Не поэт тот, чья поэзия не волнует”. Но ведь одного волнует Девятая симфония, а другого “Очи черные”: Надо различать качество волнения, иначе нет мерила. Не всякое волнение ценно. Но охотно я причислю себя к людям “безнадежно равнодушным и невосприимчивым”: поэзия Есенина не волнует меня ни сколько и не волновала никогда”<sup>3</sup>. По воспоминаниям И. Одоевцевой, на ее реплику: “Бедный Есенин! Мне так жаль, так жаль его” — другой “петербуржец” Н. Оцуп возмущенно возразил: “Жаль его? <...> Жаль Есенина? Ну, это вы бросьте! Жалеть его абсолютно не за что. Редко кому, как ему, в жизни везет. Не по заслугам везет. Дарованьице у него маленькое, на грош, на полушку, а он всероссийскую славу, как жар-птицу, за хвост поймал, женился, пусть на старой, но все-таки мировой знаменитости и отправился в турне по Европе и Америкам”<sup>4</sup>.

Но с годами росла ностальгия, тоска по России, а вместе с ней и любовь к “законченно русскому поэту”<sup>5</sup>. Например, через год после его смерти сменит тон Н. Оцуп: “музой Есенина была совесть”, он подкупал своей “искренней и печальной простотой”<sup>6</sup>. Дольше всех из скептиков продержится Адамович. До середины тридцатых годов он будет твердить: “В облике и характере этого небольшого и несчастного поэта можно найти любые черты, кроме какой-либо значительности”<sup>7</sup>. Но и он вынужден будет сдаться. В статье, посвященной десятилетию смерти Есенина, глава “Парижской ноты” признает: “Но у рязанского “паренька” еще слышатся “наши шелесты в овсе”, как сказал Блок,

1 Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 188.

2 Адамович Г. С того берега... С. 23.

3 Адамович Г. Сергей Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 91. В своих воспоминаниях Дон-Аминадо выведет восхищающегося Есениным Осоргина как комический тип: “Восторгался стихами Есенина Осоргин и где только мог повторял: “Отговорила роща золотая”” (*Дон-Аминадо. Парадоксы жизни: Стихотворения, воспоминания, афоризмы.* М., 1991. С. 261).

4 Одоевцева И. На берегах Сены. С. 34.

5 Формула М. Горького (*Горький М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр.* Т. 2. С. 9).

6 Оцуп Н. Сергей Есенин // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 162, 164.

7 Адамович Г. Собр. соч.: Литературные заметки. Кн. 1. СПб., 2002. С. 362.



у него еще звучат типично русские ноты раскаянья, покаяния, — и нет ничего удивительного, что в ответ ему бесчисленные русские сознания откликнулись и откликаются. Особенно теперь, в наши дни. Люди, как никогда, жаждут хлеба — и, как никогда, умеют отличать хлеб от камня”<sup>1</sup>.

Поистине ирония судьбы: в 1926 году Адамович высмеивал восторженного Осоргина с его культом Есенина, и вот почти через тридцать лет Бунин обличает “есенинца” уже в самом Адамовиче:

А что написал Адамович о Есенине! Пушкинская свобода оказалась у Есенина! Есенинское хулиганство очень похоже на пушкинскую свободу! Есенин отлично знал, что теперешний читатель все слопаёт. Нужна рифма к слову гибель — он лупит наглуую х... “выбель”. Вам угодно прочесть, что такое зимние сумерки? Пожалуйста:

*Воят в сумерки долгие, зимние  
Волки грозные (!) с тощих полей,  
По дворам в догорающем инее  
Над застрехами храп лошадей...*

Почему храпят лошади в зимние сумерки? Каким образом они могут храпеть над застрехами? Молчи, лопай, что тебе дают! Благо никто уже не знает теперь, что застрехой называется выступ крыши над стеной. Не знает и Адамович, — он вряд ли знает даже и то, что такое лошади! И умиляется до слез, как “блудный сын” (Есенин) возвращается к родителям в деревню, погибающую оттого, что возле нее прошло — уже 100 лет тому назад — шоссе, от которого “мир таинственный” деревни “как ветер, затих и присел”<sup>2</sup>.

Бунин отчитывает Адамовича тоном человека, оставшегося в одиночестве: “никто уже не знает теперь...”, “теперешний читатель все слопаёт”. Кажется, уже больше нет ни противников Есенина, ни скептиков, а есть только почитатели, и Бунин — один против всех. Итог эмигрантскому роману с Есениным подводит еще один петербургский эстет, Г. Иванов: “Убежден, <...> что не я один из числа тех, кому дорог Есенин, ощущаю

1 Адамович Г. Есенин (К 10-летию со дня смерти) // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 97.

2 Письмо редактору газеты “Новое русское слово” А. Седых (ноябрь 1950 года); цит. по: Седых А. Далекое, близкое. Нью-Йорк, 1962. С. 241–242. Об эволюции взглядов Адамовича на творчество Есенина и об отношении русской эмиграции к поэту в целом см.: Шубникова-Гусева И. “... Прелесть незабываемая, неотразимая” (Поэты русского зарубежья о Есенине) // О Русь, взмахни крылами...: Есенинский сборник. Вып. 1. М., 1994. С. 45–59.

эту недоказуемо-неопровержимую жизненность всего “есенинского” <...> И это же необычайное свойство придает всем, даже неудачным, даже совсем слабым стихам Есенина — особые силу и значение. И заодно заранее лишает объективности наши суждения о них. Беспристрастно оценят творчество Есенина те, на кого его очарование перестанет действовать. Возможно, даже вероятно, что их оценка будет много более сдержанной, чем наша. Только произойдет это очень не скоро. Произойдет не раньше, чем освободится, исцелится физически и духовно Россия. В этом исключительность, я бы сказал “гениальность”, есенинской судьбы. Пока Родине, которую он так любил, суждено страдать, ему обеспечено не пресловутое “бессмертие”, а *временная*, как русская мука, и такая же долгая, как она, — *жизнь*”<sup>1</sup>.

Есенин жив тайной, очарованием по ту сторону “вкуса и мастерства” — слишком родной, слишком сросшейся с судьбой России. Такова была итоговая оценка скептиков и эстетов. И это значит, что, как и тогда, в ночь с 12 на 13 мая 1922 года, Есенин одержал поэтическую победу над русским зарубежьем — только теперь в большом времени.

Но вернемся в Берлин. Повторим: в те дни Есенин не слишком радовался оказанному ему приему. Российские изгнанники могли горячо спорить о поэте — ему до этого было мало дела. Что значила для Есенина эмигрантская слава после всероссийского успеха! Лишь измельчание и тупик. Создается впечатление, что именно сознание бесполезности любого эмигрантского отклика, положительного или отрицательного, стоит за есенинским отрицанием русской эмиграции в целом: “Ну, а про наших эмигрантов и говорить нечего. Они все конченные, выдуманные”<sup>2</sup>.

“В Берлине я наделал, конечно, много скандала и переполоха, — пишет Есенин Мариенгофу из Остенде 9 июля 1922 года. — Все думают, что я приехал на деньги большевиков, как чекист или как агитатор. Мне все это весело и забавно. Том свой продал Гржебину.

От твоих книг шарахаются. Хорошую книгу стихов удалось продать только как сборник новых стихов твоих и моих. Ну да черт с ними, ибо все они здесь прогнили за 5 лет эмиграции. Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной”<sup>3</sup>.

1 Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 177–178.

2 Рождественский В. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 114.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 142–143.



“Собрание стихов и поэм” Сергея Есенина (Берлин, 1922)  
Обложка работы Н. В. Зарецкого

Скандалы “забавны”, но и только: в отличие от московских, имажинистских скандалов, они лишены всякого рекламного смысла, так и остаются “шумом-в-себе”. Вместо дивидендов славы они приносят только проблемы с визами, так что Есенину приходится писать народному комиссару по иностранным делам М. Литвинову (29 июня 1922 года): “Будьте добры, если можете, то сделайте так, чтоб мы выбрались из Германии и попали в Гаагу, обещаю держать себя корректно и в публичных местах “Интернационал” не петь”<sup>1</sup>.

“Хорошие книги стихов” здесь продаются плохо — слишком узок рынок; даже то, о чем Есенин рапортует: “удалось”, — по большей части не сбывается. Какой же отсюда вывод? “Живущий в склепе всегда пахнет мертвечиной”: русская эмиграция с точки зрения карьерной и рыночной — фантом, значит, и успех среди эмиграции — призрачный. Не потому ли поэт отказался от следующего выступления, объявленного Домом искусств?<sup>2</sup>

Есенин не стремился очаровывать русское зарубежье, его целью было покорение Запада. До сих пор он добивался всего, чего хотел. Но на этот раз для осуществления есенинского сказочного желания не хватило бы и усилий золотой рыбки, не то что Айседоры Дункан. На Западе русского поэта не ждали — очутившись за границей, он почти сразу же это осознал.

Разочарование ясно выражено в есенинских письмах из-за рубежа. Уже в первом письме (Шнейдеру, 21 июня 1922 года) Есенин ссылается на книгу, вышедшую за год до его европейского путешествия, — “Закат Европы” О. Шпенглера:

*Здесь действительно медленный грустный закат, о котором говорит Шпенглер. Пусть мы азиаты, пусть дурно пахнем, чешем, не стесняясь, у всех на виду седалищные щеки, но мы не воняем так трупно, как воняют внутри они. Никакой революции здесь быть не может.*

*Все зашло в тупик. Спасет и перестроит их только нашествие таких варваров, как мы.*

*Нужен поход на Европу — — — — —*

3.

<sup>2</sup> Там же. С. 189.

<sup>3</sup> Участие Есенина ожидалось 19 мая 1922 года (см.: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 2. С. 51). До отъезда из Берлина Есенин выступил только на одном поэтическом вечере — 1 июня в берлинском издательстве “Россия” (см.: Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 2. С. 52).

<sup>3</sup> Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 137–138. Полторы строки тире в есенинском письме, очевидно, заменяют цензурные слова (см. комментарии к этому письму: Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 529).

А в третьем письме (Мариенгофу, 9 июля 1922 года) полемически перефразируются слова Ивана из “Братьев Карамазовых”. У Достоевского: “Я хочу в Европу съездить...”; “И ведь я знаю, что поеду лишь на кладбище...”; “Дорогие там лежат покойники”. У Есенина: “Со стороны внешних впечатлений после нашей разрухи здесь все прибрано и выглажено под утюг. На первых порах особенно твоему взору это понравилось бы, а потом, думаю, и ты бы стал хлопать себя по колену и скулить, как собака. Сплошное кладбище. Все эти люди, которые снуют быстрее ящериц, не люди — а могильные черви, дома их гробы, а материк — склеп. Кто здесь жил, тот давно умер, и помним его только мы, ибо черви помнить не могут”<sup>1</sup>. По контрасту эти скрытые цитаты и ученые отсылки перемежаются отборной бранью: в письме к Шнейдеру ругательства еще замечены символическими прочерками, в посланиях же к ближайшим друзьям поэт, кажется, позаимствовал кое-что из “малого матерного загиба”. Какова же подоплека всех этих историософских перепевов пополам с матерщиной?

Все очень просто: “Кроме фокстрота, здесь почти ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот. Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, на искусство начхать — самое высшее музик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Ну и ебал я их тоже с высокой лестницы. Если рынок книжный — Европа, <...> то глупо же ведь писать стихи им в угоду и по их вкусу”<sup>2</sup>.

Там, из Москвы нам казалось, что Европа — это самый обширнейший рынок распространения наших идей в поэзии, а теперь отсюда я вижу: Боже мой! до чего прекрасна и богата Россия в этом смысле. Кажется, нет такой страны еще и быть не может. <...>

Из всего, что я намерен здесь сделать, это издать переводы двух книжек по 32 страницы двух несчастных авторов, о которых здесь знают весьма немного в литературных кругах<sup>3</sup>.

Есенин пытается инициировать хотя бы малое из задуманного, но ему удается выпустить лишь одну свою книжку на французском языке<sup>4</sup>. Так

1 Там же. С. 142.

2 Письмо Сахарову от 1 июля 1922 года из Дюссельдорфа (Там же. С. 139–140).

3 Письмо Мариенгофу от 9 июля 1922 года из Остенде (Там же. С. 141–142).

4 Вышла “Исповедь хулигана” в переводе на французский М. Милославской и Ф. Элленса (1922).

вот что стоит за рассуждениями еще толком ничего за границей не увидевшего поэта о “закате Европы”, развертыванием кладбищенских метафор Достоевского и бранью — едва ли не детская обида: не печатают, не интересуются, ну и не надо, без них обойдемся, такие они сякие.

Так с самого начала сказочная поездка внезапно лишилась цели: отправился Иван-царевич за тридевять земель, а зачем — уже не знает.

Второе знаменательное событие берлинского периода произошло 17 мая: Есенин встретился с человеком, как раз сумевшим добиться всемирного признания, которого так жаждал поэт, — с Максимом Горьким. Встреча состоялась на квартире А. Н. Толстого. Описание этой встречи самим Горьким подчинено одной важной для автора метафоре — “мальчик-крестьянин, заблудившийся в городе”. Чтобы сделать центральную метафору своих мемуаров более выпуклой, писатель активно использует прием острания в духе Л. Толстого. Так, по-толстовски, как бы с точки зрения наивного наблюдателя, показан танец Дункан:

Дункан я видел на сцене за несколько лет до этой встречи, когда о ней писали как о чуде, а один журналист удивительно сказал: “Ее гениальное тело сжигает нас пламенем славы”.

Но я не люблю, не понимаю пляски от разума, и не понравилось мне, как эта женщина металась по сцене. Помню — было даже грустно, казалось, что ей смертельно холодно, и она, полуодетая, бегают, чтоб согреться, выскользнуть из холода.

У <А. Н.> Толстого она тоже плясала, предварительно покушав и выпив водки. Пляска изображала как будто борьбу тяжести возраста Дункан с усилием ее тела, избалованного славой и любовью. <...>

Пожилая, отяжелевшая, с красным, некрасивым лицом, окутанная платьем кирпичного цвета, она кружилась, извивалась в тесной комнате, прижимая ко груди букет измятых, увядших цветов, а на толстом лице ее застыла ничего не говорящая улыбка.

Эта знаменитая женщина, прославленная тысячами эстетов Европы, тонких ценителей пластики, рядом с маленьким, как подросток, изумительным рязанским поэтом являлась совершеннейшим олицетворением всего, что ему было не нужно<sup>1</sup>.

Эпизод с танцующей Дункан в чем-то напоминает балетную сцену в “Войне и мире”: здесь то же “непонимание” условности танца (“бегают,

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 6–7.



чтоб согреться”), то же выдвижение на первый план неожиданных деталей (лицо танцовщицы оказывается краснее, чем ее платье). Центральным словом здесь является “олицетворение”: все работает на него — каждое слово, каждый прием. Формулы “тяжесть возраста” и “насилие тела” развернуты синонимическими рядами. “Возраст” подчеркнут прямо (эпитетом “пожилая”), косвенно, по смежности (образом “красного, некрасивого лица”) и метафорически (эмблемой “измятых, увядших цветов”). То же и с “тяжестью”: она подтверждена как прямо (однокоренным эпитетом “отяжелевшая”), так и косвенно — образом (“толстое лицо”) и действием (“плясала, предварительно выпив и закусив”). Наконец, впечатление “насилия” создается серией парадоксальных антитез: лихорадочная динамика танца (мечется, кружится, извивается) контрастирует как с застывшей улыбкой, так и с тяжестью тела; а главное — эта тяжесть пожилой танцовщицы контрастирует с легким, юным поэтом.

Так — на всех уровнях — олицетворяется ненужность, чуждость Айседоры Есенину. Слова “тяжесть” и “насилие”, к тому же усиленные “борьбой”, вдруг всем весом падают на хрупкие плечи “маленького, как подросток”, поэта — получается, что это на него давит “тяжесть”, что это над ним совершается “насилие”.

Но не только Айседора чужда поэту — все остальное тоже: “...Еще более ощутима стала ненужность Кусикова с гитарой, Дункан с ее пляской, ненужность скучнейшего бранденбургского города Берлина, ненужность всего, что окружало своеобразно талантливого и законченно русского поэта”. По Горькому, Есенин только затем и кричит своей “пожилой” подруге: “Не смей целовать чужих”, чтобы “назвать окружающих людей чужими”. И в Луна-парк поэт отправился только “по обязанности или “из приличия”, как неверующие посещают церковь. Пришел и нетерпеливо ждет, скоро ли кончится служба, ничем не задевающая его души, служба чужому богу”<sup>1</sup>.

Единственное, что нужно Есенину, — это его стихи: ведь он “не столько человек, сколько орган, созданный природой исключительно для поэзии, для выражения неисчерпаемой “печали полей”, любви ко всему живому в мире и милосердия”<sup>2</sup>. Изливаясь стихами, он становится самим собой — одержимым музой Орфеем-пастухом, “божьей дудкой”, на которой играет сама мать-природа. А во всем остальном поэт — возвращаемся к основной идее горьковских мемуаров — словно крестьянский мальчик, пойманный городом в плен.

1 Горький М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 9, 10, 11.

2 Горький М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 9.

Вряд ли такая концепция могла возникнуть у тех, кто хорошо знал Есенина, — для его друзей было очевидно, что “московский озорной гуляка” давно вытеснил в нем “деревенского озорника”. Но вот что удивительно: может быть, ошибаясь в целом, в данном случае Горький верно почувствовал есенинское состояние. “От кудрявого, игрушечного мальчика остались только очень ясные глаза, — так мемуарист передает свое первое впечатление от двадцатисемилетнего поэта, — да и они как будто выгорели на каком-то слишком ярком солнце. Беспokoйный взгляд их скользил по лицам людей изменчиво, то вызывающе и пренебрежительно, то, вдруг, неуверенно, смущенно и недоверчиво. Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям. И было видно, что он — человек пьющий. Веки опухли, белки глаз воспалены, кожа на лице и шее — серая, поблекла, как у человека, который мало бывает на воздухе и плохо спит. А руки его беспokoйны и в кистях размотаны, точно у барабанщика. Да и весь он встревожен, рассеян, как человек, который забыл что-то важное и даже неясно помнит — что именно забыто им”<sup>1</sup>.

Тревожность, немотивированные скачки и сбои настроений, аритмия повадки и жеста — почти все берлинские мемуаристы находят в Есенине эти тревожные перемены. “Это был для меня новый Есенин, — так осмысляет свои впечатления от встречи 17 мая 1922 года Н. Крандиевская-Толстая. — Я чувствовала за его хулиганским наскоком что-то привычно наигранное, за чем пряталась не то разобиженность, не то отчаянье. Было жаль его и хотелось скорей кончить этот не к добру затянувшийся вечер”<sup>2</sup>.

Даже в есенинской непревзойденной декламации слышавшие его в Берлине замечали излишнюю нервность: он читает “слишком стараясь, нажимая на педали, без внутреннего покоя”<sup>3</sup>. А. Бахрах вспоминает другой эпизод с чтением “Пугачева” (июль-август 1922 года):

“В этот день Есенин почему-то предпочел прочесть отрывок из самого конца своей поэмы со строками: <...>

Все равно то, что было, назад не вернешь. Знать, недаром листвою октябрь заплакал.

Прочел он эти строки, акцентируя их, почти со слезой в голосе, с нескрываемой горечью, и в камерной обстановке непритязательного кабинета

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 6.

2 Там же. Т. 2. С. 17.

3 Там же. С. 15

та (в берлинском русском магазине “Книжный салон”. — О. Л., М. С.) в его чтении чувствовался трагический оттенок.

Может быть, мне почудилось погода, но в этих нескольких строчках, обращенных к разбитому Пугачеву, как бы таилось признание того, что он (Есенин. — О. Л., М. С.) “споткнулся о камень”, и предчувствие, что дальнейшее — то есть то, что “это к завтраму все заживет”, — уже несбыточно”<sup>1</sup>.

Почти все встречавшиеся тогда с поэтом начинали его жалеть: было ясно, что он растерялся и не находит себе места — потому-то, может быть, и пьянствует “беспросыпно”<sup>2</sup>. Тот же А. Бахрах, не склонный к горьковской сентиментальности, тем не менее в оценке берлинского Есенина совпадает с Горьким по мысли: “Подлинно, в Берлине <...> Есенин <...> оставался неким “гостем”, в какой бы костюм ни рядился. С городом <...> он едва ли был способнее ужиться по-настоящему. В городах ему было как-то не себе, казалось, что стены и потолки его стесняют и он воспринимает их как личную себе угрозу”<sup>3</sup>. “...В Берлине, да, вероятно, и в Москве”, — добавляет мемуарист, не знавший, не видевший Есенина в России. И конечно, ошибается: в Москве поэт костюм носил с уверенностью опытного франта, не боялся никаких стен и потолков (кроме разве что лубяных) — и уж точно чувствовал себя не гостем, а хозяином. Но в Берлине с ним вдруг что-то произошло: именно здесь ему стало не по себе, именно здесь он стал испытывать стеснение и ощущать некую, неясную еще, угрозу.

Как-то в одной из своих записей о Есенине И. Розанов остановился на не слишком оригинальной мифологической аналогии: “За спиной у Есенина всегда Русь <...> Тем-то Есенин и силен. Надоевший образ об Антее к нему применим”<sup>4</sup>. И вот в отрыве от Руси, в Берлине, выяснилось, насколько этот “надоевший образ” бил в точку. До поездки по Европе еще можно было шутить: мол, что для Антея дающая силу земля, то для Есенина — публика. Но стоило поэту оказаться за границей, как сразу же стало очевидно: формулы связи с русской почвой для него не только метафора; эмфатический повтор: “Я люблю родину, / Я очень люблю родину!” — не только риторическая фигура.

1 Бахрах А. Из книги “По памяти, по записям” // Сергей Есенин глазами современников. С. 400.

2 См.: Забежинский Г. О творчестве и личности Сергея Есенина // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 76.

3 Бахрах А. Из книги “По памяти, по записям” // Сергей Есенин глазами современников. С. 399.

4 Цит. по: Летопись... Т. 3. Кн. 1. С. 23.

Как писал Н. Устрялов, есенинская любовь к родине “самодержавна, не-терпима, тиранична. Что-то стихийное, звериное, “зоологическое” лежало в ее основе”<sup>1</sup>. На природу этой любви сам Есенин намекнул в третьей главе “Пугачева”: “...в груди у меня, как в берлоге, / Ворочается зверенышем теплым душа” — чувство родины у него столь же нутряное, безотчетное, от “берлоги”, от инстинкта. Неудивительно, что вне России поэт почувствовал себя как зверь, лишенный природной среды, — и, как зверь, за-тосковал.

Отсюда и слом в есенинском мировосприятии, отмеченный Горьким: “Мне показалось, что в общем он настроен недружелюбно к людям”. Это подтверждается тогдашними письмами и последующими воспоминаниями Есенина о загранице, лейтмотив которых — скука и злоба. “Суета была такая, что сейчас и вспомнить трудно, что к чему, — передает его слова В. Рождественский. — Я уже под конец и людей перестал запоминать. Вижу — улыбается рожа, а кто он такой, что ему от меня надо, так и не понимаю. Ну и пил, конечно. А пил я потому, что тоска загрызла. И, понимаешь, началось это с первых же дней. Жил я сперва в Берлине, и очень мне там скучно было...”<sup>2</sup>

“Суета”, “тоска”, “скучно” и кругом — “рожи”: “свинные тупые морды европейцев”<sup>3</sup>, да и прочие не лучше. “Человека я пока не встречал, — жалует Есенин в письме к Сахарову (от 1 июля 1922 года), — и не знаю, где им пахнет”<sup>4</sup>; а в письме к Мариенгофу (июль-август 1922 года) признается: “Сердце бьется, бьется самой отчаянной ненавистью...”<sup>5</sup> Пролетая на аэроплане над Германией, он не отказал себе в удовольствии плюнуть вниз — как бы на всех немцев сразу<sup>6</sup>. Оказавшись в Италии, вскоре начнет бранить итальянцев: “Эти итальянские подонки, — сказал он хриплым голосом и выразительно махнул рукой, — всех их надо в океан! Выбросить в океан! Эти герцоги, и графы, и маркизы... подонки... <...> Сытые буржуи! Чего их! В воду!”<sup>7</sup>

В Америке ему повсюду будут мерещиться гоголевские карикатуры — полицейские чиновники, напоминающие “рисунки Пичугина в сытинском издании Гоголя”<sup>8</sup>, и миргородская свинья как вездесущее наважде-

1 Устрялов Н. Есенин (К трехлетию со дня смерти) // Русское зарубежье о Есенине. Т. 2. С. 75.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 114.

3 Письмо А. Мариенгофу от 9 июля 1922 года (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 141).

4 Там же. С. 139.

5 Там же. С. 146.

6 Рождественский В. С. Есенин // Звезда. 1946. № 1. С. 108.

7 Кител Л. Айсеора Дункан и Сергей Есенин... С. 160.

8 См. незавершенный очерк “Железный Миргород” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 165).

ние<sup>1</sup>. “Все равно, — напишет он из Нью-Йорка Мариенгофу (12 ноября 1922 года), — при этой культуре “железа и электричества” здесь у каждого полтора фунта грязи в носу”<sup>2</sup>.

За границей Есенину стало казаться, что ему нигде нет места — ни среди красных, ни среди белых. О красных он с предельной откровенностью писал Кусикову (с трансатлантического парохода, 7 февраля 1923 года):

*Тоска смертная, невыносимая, чую себя здесь чужим и ненужным, а как вспомню про Россию, вспомню, что там ждет меня, так и возвращаться не хочется. Если б я был один, если б не было сестер, то плюнул бы на все и уехал бы в Африку или еще куда-нибудь. Тошно мне, законному сыну российскому, в своем государстве пасынком быть. Надоело мне это блядское снисходительное отношение власть имущих, а еще тошней переносить подхалимство своей же братии к ним. Не могу! Ей-Богу не могу. Хоть караул кричи или бери нож да становись на большую дорогу.*

*Теперь, когда от революции остались только хуй да трубка, теперь, когда там жмут руки тем и лизжут жопы, кого раньше расстреливали, теперь стало очевидно, что мы и были и будем той сволочью, на которой можно всех собак вешать.*

*Слушай, душа моя! Ведь и раньше еще, там в Москве, когда мы к ним приходили, они даже стула не предлагали нам присесть. А теперь — теперь злое уныние находит на меня. Я перестаю понимать, к какой революции я принадлежал. Вижу только одно, что ни к февральской, ни к октябрьской, по-видимому, в нас скрывался и скрывается какой-нибудь ноябрь<sup>3</sup>.*

А о том, как поэт относился к белым, можно судить по легендарному эпизоду с официантом. Эту историю Есенин каждый раз рассказывал по-разному. Вот как передает есенинские слова Л. Повицкий:

1 “Смотри, — сказал я спутнику, — это Миргород! Сейчас прибежит свинья, схватит бумагу, и мы спасены”; “Миргород! Миргород! Свинья спасла” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 165–166). Ср. с письмом Иванову-Разумнику (6 марта 1922 года), в котором тот же гоголевский образ указывает на нарастающую в душе Есенина смуту: “Нравы у них (официальных советских критиков. — О. Л., М. С.) миргородские, того и гляди, вбегит свинья и какой-то важный документ съест со стола души” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 132). Ср. также с отзывом Есенина о Чикаго в письме к Мариенгофу (12 ноября 1922 года): “В чикагские “сто тысяч улиц” можно загонять только свиней. На то там, вероятно, и лучшая бойня в мире” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 149).

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 151.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 154.

— Мы сидели в берлинском ресторане. Прислуживали мужчины. Почти все они были русские, с явно офицерской выправкой. Один из них подошел к нам.

— Вы Есенин? — обратился он ко мне. — Мне сказали, что это вы. Как я рад вас видеть! Как мне хочется по душе поговорить с вами! Вы ведь бежали из этого большевистского пекла, не выдержали? А мы, русские дворяне, бывшие русские офицеры, служим здесь лакеями. Вот наша жизнь, вот до чего довели нас большевики.

Я нежно поглядел на него и ответил:

— Ах, какая грусть! Плакать надо... Но знаете что, дворянин! Подайте мне, мужику, ростбиф по-английски, да смотрите, чтоб кровь сочилась!

Офицер позеленел от злости, отошел и угрожающе посмотрел в нашу сторону. Я видел, как он шептался с двумя рослыми официантами. Я понял, что он собирается взять меня в работу. Я взял Дункан под руку и медленно прошел мимо них к выходу. Он не успел или не посмел меня тронуть<sup>1</sup>.

Воронскому Есенин рассказывал эту историю в измененном виде: число оскорбленных увеличивается (он “в Париже стал издеваться над врангелевцами и денкикинцами, в отставке ставшими ресторанными “шестерками”<sup>2</sup>), и ему не удастся уйти от расправы (“его избили русские белогвардейцы”<sup>3</sup>).

Из разговора, записанного Эрлихом, напротив, следует, что Есенин никого персонально не оскорблял и пострадал за убеждения:

— Было это, мой друг, в Париже, в ресторане русском. С чего началось, неизвестно. На этот счет, впрочем, разные варианты имеются, но который из них верней, ей-богу, не помню! Факт тот, что я вскочил на стол и начал петь “Интернационал”. Вот и все.

— Хорошо. Ну, а как насчет того, что ты будто бы сказал официанту из офицеров, что, мол, вот ты, сукин сын, дворянин, а мне, мужику, служишь и на чай ждешь?

— Вот как? Не думаю, чтобы я говорил это. Во всяком случае домой я пришел довольно быстро и без одной туфли<sup>4</sup>.

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 242–243.

2 Воронский А. Искусство видеть мир... С. 196.

3 Там же. С. 193.

4 Эрлих В. Право на песнь. С. 27–28.



Одно в разных вариантах этой истории оставалось неизменным — враждебность и презрение к соотечественникам. Так открытый людям, общительный Есенин, душа любой компании, за границей превратился в мизантропа: “все и всё ему надоели”<sup>1</sup>.

А друзья? Вечером 17 мая в Луна-парке Крандиевская-Толстая увидела символическую сцену: “Есенин паясничал перед оптическим зеркалом вместе с Кусиковым. Зеркало то раздувало человека наподобие шара, то вытягивало унылым червем”<sup>2</sup>. Вот так же и берлинские отношения с Кусиковым — выглядят “паясничаньем”, искажающей пародией на московскую дружбу с Мариенгофом. Кусиков, ставший в Берлине есенинской “тенью”<sup>3</sup>, слишком явно самоутверждался за счет своего гораздо более знаменитого друга и тем вызывал у него все большее и большее раздражение. “Друг мой! — делится он этим раздражением в письме к Сахарову. — Если тебя обо мне кто-нибудь спросит, передай, что я утонул в сортире с надписью на стенке:

Есть много разных вкусов и вкусиков  
.....

Остальное пусть dokonчат Давид Самойлович и Сережа (Айзенштат и Головачев. — *О. Л., М. С.*). Они это хорошо помнят”<sup>4</sup>.

Поистине: чтобы Есенин начал цитировать строки своего литературного противника В. Маяковского (окончание строки: “Пусть одному нравлюсь / я, а другому Кусиков”), — он должен был порядком устать от своего берлинского “адъютанта”<sup>5</sup>.

От кого же поэт устал больше всего? Конечно, от Айседоры Дункан. Наблюдая за тем, как Есенин реагировал на поведение жены во время обеда 17 мая, Горький прочитал в его жестах и выражении лица (“морщился”, “встряхнул головой”, “резко отвернулся”) раздражение, доходящее до физической муки.

Для такой реакции у поэта были все основания. За границей “чудовищный союз”<sup>6</sup> поэта и танцовщицы стал чудовищным вдвойне, поскольку вдвое возросла ее власть над супругом — вырванным из при-

1 Бахрах А. Из книги “По памяти, по записям” // Сергей Есенин глазами современников. С. 401.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 17.

3 Там же. С. 15.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 140–141.

5 См.: Бахрах А. Из книги “По памяти, по записям” // Сергей Есенин глазами современников. С. 401.

6 См.: Элленс Ф. Сергей Есенин и Айседора Дункан // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 20–21.

вычных связей, не имеющим своих средств, не знающим иностранных языков.

Новой своей властью Дункан пользовалась вполне деспотически. Л. Кинел, несколько месяцев переводившая все разговоры супругов друг с другом, высказывается по этому поводу достаточно осторожно: "...Любовь Айседоры, нежная и добрая, тоже несколько подавляла и утомляла его. Она вызывала дополнительную скованность и напряжение у впечатлительного, чувственного поэта"<sup>1</sup>. Если же называть вещи своими именами, то эта любовь душила его, доводила то до апатии, то до истерики.

В. Чернявский пересказывает одну из есенинских историй о европейском путешествии:

Безграничные безумства Дункан, ревнивой и требовательной, не отпускавшей от себя Сергея ни на минуту, утомили его <...>

...Из моментов этой эпопеи мне ярко запомнился один. Есенин и Дункан в Берлине. Айседора задумывает большую поездку по Греции, выписывает учениц своей школы, находившейся в это время, кажется, в Брюсселе. Те приезжают — веселой большой компанией — с места до места в автомобилях. Наутро — завтрак. За столом Сергей пытается поговорить с одной из хорошеньких учениц: легонький флирт. Айседора, заметив это, встает, вся красная, и объявляет повелительно: "В Афины не едем. Все — в автомобили, едете назад". Так Сергей и не побывал в Греции<sup>2</sup>.

Независимо от того, что это — воспоминание о реальном происшествии или очередная есенинская мистификация, — рассказ, услышанный Чернявским, в полной мере передает дункановскую "трагическую алчность последнего чувства"<sup>3</sup>, всегда чреватого тиранией. Во всяком случае, нет причин сомневаться в достоверности другого, венецианского, эпизода, свидетелем и участником которого была Л. Кинел:

Это случилось знойным июльским днем, после обеда. В номере гостиницы было жарко и душно. Есенин объявил, что он пойдет погулять. Айседора попросила подождать, пока она переоденется.

— Но я иду один, — сказал Есенин.

1 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 159.

2 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 228–229.

3 Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан... // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 18.

Айседора странно на него посмотрела, и я была удивлена, услышав, как она довольно твердо сказала:

— Нет, возьми с собой Жанну (служанку. — *О. Л., М. С.*) или мисс Кинел. У Есенина взгляд сделался сердитым.

— Я иду один. Мне хочется побыть одному. Мне просто хочется побродить в одиночестве. <...>

...Я, забыв роль секретаря, повернулась к Айседоре и, переводя его слова, добавила:

— О, Айседора, пожалуйста, отпустите его. Должно быть, так ужасно находиться в одной клетке с нами, тремя женщинами. Всем хочется иногда побыть в одиночестве.

Айседора повернула ко мне лицо, полное волнения:

— Я не пушу его одного. Вы не понимаете. Вы не знаете его. Он может сбежать. <...> И потом женщины...

— Ах, Айседора! Ему надоели женщины. Ему просто хочется побыть одному, просто побродить. И как он может убежать? У него нет денег, он в пиджаке, он не знает итальянского.

Вместо ответа Айседора подошла к двери и встала у нее с видом человека, заявляющего: “Только через мой труп!”

Есенин наблюдал за нашими разглагольствованиями по-английски сердитыми, налитыми кровью глазами, губы его были плотно сжаты. Ему не нужен был перевод. После такого продолжительного напряженного состояния он неожиданно сел на стул и очень спокойно сказал:

— Скажите ей, что я не иду.

Айседора отошла от двери и вышла на балкон. Она плакала <... > Она громко всхлипывала, перед каждым вздохом бормоча что-то о своей любви. Есенин встал со стула и бросился лицом вниз на кровать. Он еще не надел носков и ботинок, и голые розовые пятки, торчащие из белых пижамных брюк, были очень круглыми и какими-то детскими. Айседора оттолкнула меня, встала на колени возле кровати и стала целовать эти круглые розовые пятки”<sup>1</sup>.

Есенин на деспотизм любви отвечал деспотизмом ненависти, настоянной на мужицкой “темной крови”, — “лаял”<sup>2</sup>, материл Дункан почему зря, оскорблял и приватно, и публично, наконец, и лупил, если попадалась под пьяную руку. Н. Радван-Рыжинская, бывшая у супругов переводчицей во

1 *Кинел Л.* Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 159–160.

2 См.: *Бахрах А.* Из книги “По памяти, по записям” // Сергей Есенин глазами современников. С. 401.

время их пребывания в Висбадене (лето 1922 года), вспоминает одну из таких ссор: “Они поссорились и заставляли меня переводить, крича мне с каждой стороны в ухо, что я должна сказать. По мере возможности я старалась все смягчать, но тут раздавались возгласы: “Нет, вы переводите точно”<sup>1</sup>.

Но чаще всего в своих ссорах “парадоксальная чета”<sup>2</sup> могла обойтись без переводчика. Е. Лундберг становится свидетелем одной из таких, обычных для Есенина и Дункан, перепалок:

Разговор рвется.

— Мне скверно, — говорит Есенин.

Я сам вижу, что скверно.

Дункан мешает нам разговаривать. Я слышу невероятный на фоне парижских смокингов и украшенного цветами стола диалог. Он произносится вполголоса; парламентарии [на вечере у проф. Ключникова] его не слышат.

— Ты — сука, — говорит Есенин.

— А ты — собака, — отвечает Дункан.

Она ревнует — ко всякому и ко всякой. Она не отпускает его от себя ни на шаг. Есенин прогоняет ее — взглядом.

— Проклятая баба, — произносит он вполголоса.

Минуту спустя Дункан ласково отвлекает его от меня. Он уже беззлобен. Тих и кроток — да, печально кроток<sup>3</sup>.

По диалогу, переданному Лундбергом, хорошо видны те приемы, с помощью которых Айседора управляла своим буйным мужем. Она смело вызывала на себя огонь есенинского гнева и даже получала от этого особого рода удовольствие. Н. Крандиевская-Толстая убедилась в этом, когда ехала в берлинский Луна-парк в одном автомобиле с супругами:

Компания наша разделилась по машинам. Голова Айседоры лежала на плече у Есенина, пока шофер мчал нас по широкому Курфюрстендаму.

— Mais dis-moi souka, dis-moi ster-r-gwa... [Скажи мне, сука, скажи мне, стерва] — лепетала Айседора, ребячась, протягивая губы для поцелуя.

— Любит, чтобы ругал ее по-русски, — не то объяснял, не то оправдывался Есенин, — нравится ей. И когда бью — нравится. Чудачка!

1 Радван-Рыжинская Н. “Случай, который свел меня с... Есениным” // Сергей Есенин глазами современников. С. 403.

2 См.: Эллес Ф. Сергей Есенин и Айседора Дункан // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 20.

3 Лундберг Е. Записки писателя // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 141.



Сергей Есенин и Елизавета Стырская  
Москва. 1921 — начало 1922

— А вы бьете? — спросила я.

— Она сама дерется, — засмеялся он уклончиво.

— Как вы объясняетесь, не зная языка?

— А вот так: моя — твоя, моя — твоя... — И он задвигал руками, как татарин на ярмарке. — Мы друг друга понимаем, правда, Сидора?<sup>1</sup>

Главное, чего добивалась знаменитая лицедейка, — это любой ценой обратить на себя внимание молодого супруга. А уж затем, насладившись приступами того, что она называла: “*Ruska ljubov!*”<sup>2</sup>, — его грубостью, а порой и пинками, — обессиливала гнев лаской: то сладострастно целовала пяточки, то как бы усыпляла в материнских объятиях.

Через некоторое время, в Америке и после, Айседора убедится, что такие упражнения — сначала будить в муже зверя, а затем укрощать его — опасны и не проходят безнаказанно. Ну а пока что, во время европейского турне, единственным верным средством “мужа Дункан” в борьбе с ее цирцейной любовью оставалось бегство. Впоследствии больше всего Есенину нравилось рассказывать (или придумывать) истории именно о том, как он сбегал от Айседоры. “...Как вор, бежал от нее на океанском парохо-

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 17.

2 См.: Мариенгоф А. Роман без вранья // Мой век... С. 344.

де, — вдохновенно врал он Чернявскому, — ожидая погони, чувствуя, что не в силах более быть с нею больше (так! — *О. Л., М. С.*) под одной крышей»<sup>1</sup>.

Память Есенина путает воображаемое с реальным, желаемое с действительным — таково одно из следствий его фантастических в своей бессмысленности и беспорядочности отношений с Дункан.

“...Я <...> со всем барахлом в Бельгию ехал! — начинает он в беседе с Эрлихом один из своих рассказов, может быть, вымышленных. — А Изадора в это время в Берлине была. Вот это да!

— В Бельгию?

— Очень просто! В Бельгию! Довезли до границы и скинули!

— Как же ты вылез оттуда?

— Тоже довольно просто. Сел и стал думать. Час думал, другой, ну и придумал. Пошел к начальнику станции, взял его за руку и говорю: — Изадора Дункан! — Потом ткнул себя пальцем в грудь и говорю: — Муа мари! — Потом показываю рукой на телеграф и опять говорю: — Изадора Дункан Берлин! — А потом опять на себя: — Мари! Есенин!..... Ну, а потом ткнул пальцем в пол и говорю: — Здесь!

— И понял?

— В момент понял! И телеграмму дал, и к себе отвел, и кофеем напоил! Ну а потом и Дункан приехала. На аэроплане.

Он некоторое время сидит молча, а затем весело хохочет.

— Что ты?

— Да так! Уж очень все это здорово было!<sup>2</sup>

Война между супругами шла с переменным успехом. Н. Крандиевская-Толстая рассказывает о берлинских маневрах (24 июня 1922 года):

Однажды ночью к нам ворвался Кусиков, попросил займы сто марок и сообщил, что Есенин сбежал от Айседоры.

— Окопались в пансиончике на Уландштрассе, — сказал он весело, — Айседора не найдет. Тишина, уют. Выпиваем, стихи пишем. Вы смотрите не выдавайте нас.

Но Айседора села в машину и объехала за три дня все пансионы Шарлоттенбурга и Курфюрстендама. На четвертую ночь она ворвалась, как амазонка, с хлыстом в руке в тихий семейный пансион на Уландштрассе. Все спали. Только Есенин в пижаме, сидя за бутылкой пива в столовой,

1 Чернявский В. Три эпохи встреч (1915–1925) // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 228.

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 28–29.



играл с Кусиковым в шашки. Вокруг них в темноте буфетов на кронштейнах, убранных кружевами, мирно сияли кофейники и сервизы, громоздились хрустали, вазочки и пивные кружки. Висели деревянные утки вниз головами. Солидно тикали часы. Тишина и уют, вместе с ароматом сигар и кофе, обволакивали это буржуазное немецкое гнездо, как надежная дымовая завеса, от бурь и непогод за окном. Но буря ворвалась и сюда в образе Айседоры. Увидя ее, Есенин молча попятился и скрылся в темном коридоре. Кусиков побежал будить хозяйку, а в столовой начался погром.

Айседора носилась по комнатам в красном хитоне, как демон разрушения. Распахнув буфет, она вывалила на пол все, что было в нем. От ударов ее хлыста летели вазочки с кронштейнов, рушились полки с сервизами. Сорвались деревянные утки со стены, закачались, зазвенели хрустали на люстре. Айседора бушевала до тех пор, пока бить стало нечего. Тогда, перешагнув через груды черепков и осколков, она прошла в коридор и за гардеробом нашла Есенина.

— Quittez ce bordel immédiatement, — сказала она ему спокойно, — et suivez-moi [Покиньте немедленно этот бордель... и следуйте за мной].

Есенин надел цилиндр, накинул пальто поверх пижамы и молча пошел за ней. Кусиков остался в залог и для подписания пансионного счета<sup>1</sup>.

В Берлине победа осталась за Айседорой, зато Есенин возьмет реванш в Венеции. Он будет скрываться в течение всей ночи, а затем, угрожая новым бегством, добьется расширения своих прав. Их мирные переговоры зафиксированы в мемуарах переводчицы, Л. Кинел:

— Никаких этих чертовых приказов. Я не больной и не ребенок. Скажите ей это. <...>

Айседора молчала. <...>

— Я не собираюсь ходить вокруг да около, обманывать... Я хочу полной свободы, других женщин — если вздумается... Если она хочет моего общества, я останусь у нее в доме, но не потерплю вмешательства... <...>

Я знаю, что выглядела виноватой, смущенной; Айседора заметила, что я многое недоговариваю. Но в этот раз она и не настаивала, она просто следила за лицом Есенина. А он продолжал отстаивать себя:

— Я не собираюсь сидеть взаперти в отеле как раб. Если я не могу делать что хочется, я — уйду. Я могу сесть здесь на пароход и уехать в Одессу.

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 18–19.

Айседора уловила слово Одесса, и глаза ее наполнились страхом. Есенин увидел это и откинулся на спинку стула с удовлетворенным видом. Тут он одержал верх. Это было видно. Он мог добиться чего угодно, если грозился уйти. Несколько минут он казался погруженным в собственные мысли: лоб наморщен, лицо сосредоточенно. Потом медленно улыбнулся и задумчиво произнес:

— Будет любопытно... Эти француженки... Я так много о них слышал...

И все это, как маленький мальчик, которому предстоит необыкновенные удовольствия<sup>1</sup>.

Не выдержав этой улыбки, Л. Кинел бросила в лицо Есенину: “А все ж вы порядочная сволочь”<sup>2</sup>, — и на этом ее служба у Дункан завершилась.

**5** Так погоня за славой оборачивается бегством — конечно, не только от Айседоры, прежде всего от собственной муки. Когда супруги отбывают из Берлина в Париж на “двух многосильных “мерседесах”” (29 июня 1922 года), Дункан рассчитывает по пути посетить Кельн и Страсбург, чтобы “познакомить поэта с готикой знаменитых соборов”<sup>3</sup>. Напрасный труд! Немецкие соборы, парижские дворцы, красоты Венеции и Рима — бегущий Есенин ничего этого как будто не заметил: вся европейская культура пролетела мимо него. “В Венеции архитектура ничего себе... — рассказывал он уже в Москве Мариенгофу, — только во-ня-я-ет”. Воняет — вот и все впечатления.

Когда в Берлине, при встрече с Горьким, встал вопрос, куда бы поехать, Есенин предложил: “Куда-нибудь в шум”<sup>4</sup>. В этих словах вполне выразилась тяга поэта — прочь от культуры в шум цивилизации. В толпе Лунапарка, в кафеинном дыму проще забыться, легче убежать от все усиливающейся тоски.

Вот какой случай в подтверждение есенинской странной одержимости привел Кусиков в разговоре с Мариенгофом: “А я тебе, Анатолий, кажется, еще не рассказывал, как мы сюда (в Версаль. — О. Л., М. С.) в прошлом году с Есениным съездили... неделю я его уламывал... уломал... двинулись... добрались до этого самого рестораничка... тут Есенин за-

1 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 164.

2 См.: McVay G. Isadora and Esenin. P. 99.

3 Крандиевская-Толстая Н. В. Сергей Есенин и Айседора Дункан // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 19.

4 Горький М. Сергей Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 9.



Сергей Есенин на пляже  
Венеция, Лидо. Около 14 августа 1922

явил, что проголодался... сели завтракать, Есенин стал пить, злиться, злиться и пить... до ночи... а ночью уехали обратно в Париж, не взглянув на Версаль; наутро, трезвым, он радовался своей хитрости и увертке... так проехал Сергей по всей Европе и Америке, будто слепой, ничего не желая знать и видеть”<sup>1</sup>.

Айседора задает ритм этому “галопу по Европам”: стремительное перемещение — томительная пауза. “Она <...> как ни в чем не бывало скачет на автомобиле, — ругает Есенин жену в письме к Шнейдеру (21 июня 1922 года), — то в Любек, то в Лейпциг, то во Франкфурт, то в Веймар. Я следую с молчаливой покорностью, потому что при каждом

моем несогласии — истерика”; “Если бы Изадора не была сумасбродной и дала мне возможность где-нибудь присесть, я очень много бы заработал и денег”<sup>2</sup>. Но вот Изадора дает поэту “возможность присесть”. И что же? Снова жалобы: “Сейчас сижу в Остенде”; “Здесь такая тоска...”<sup>3</sup>. Ни в движении, ни сидя на месте Есенин не знает покоя: и в том и в другом случае его несет враждебная стихия.

Скачка Есенина, подогреваемая Дункан, вызывает у современников ассоциацию с библейским проклятьем:

“Его хулиганство было “веселием мути”, чтобы <...> спрятаться от самого себя.

Тот же импульс руководил им и в этих истерических метаниях по белу свету. Есениным овладела беспокойная “жажда перемены мест”. Европа, Америка, деревня, Россия, Крым, Кавказ, в проекте — Персия. Как Вечный Жид, Есенин в тоске и отчаянье мечется по миру в надежде уйти от самого себя, обогнать свою тень, убежать от нее”<sup>4</sup>.

Почти в тех же словах пишет о трагедии Есенина В. Шершеневич:

1 *Мариенгоф А.* Роман без вранья // Мой век... С. 402.

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 137.

3 Письмо Мариенгофу от 9 июля 1922 года (*Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 141).

4 *Клюев Н., Медведев П.* Сергей Есенин. С. 75.

“Он упрямо мчался <...> в погоне за призраком, не понимая, что призрак, грезящийся ему, это он сам.

Всю дорогу Есенин ловил следы самого себя. Отсюда и скандалы, и неуместный “Интернационал”, запетый ни к селу ни к городу в Доме искусств в Берлине перед белыми беглецами, и одергивание скатертей, и нежелание отвечать на иностранном языке...”<sup>1</sup>

Получается, что из одной сказки Есенин попадает в другую: из старой, доброй сказки об Иване-царевиче, на ковре-самолете добывающем жар-птицу, — в современную сказку о Вечном Жиде, бессмысленно бегущем за призраками или от призраков на автомобиле, пароходе, аэроплане. Когда же, где же перевесила страшная сказка? В Америке, в период с октября 1922-го по февраль 1923 года.

Именно с этой страной за “морем-окияном” была связана последняя надежда Есенина на то, что сбудется в его путешествии сказочная формула: “конец — делу венец”. В приступах детской наивности он, видимо, не раз предавался “американским мечтам”. Свидетельницей одного из таких приступов стала в Венеции Л. Кинел:

Однажды я спросила, с чем связано такое его желание перевести стихи на английский.

— Неужели вы не понимаете? — возмутился он, удивленный таким вопросом. — Сколько миллионов людей узнают обо мне, если мои стихи появятся по-английски! Сколько людей прочтут меня по-русски? Двадцать, ну, может быть, тридцать миллионов... У нас все крестьяне неграмотные... А на английском! — он широко расставил руки, и глаза его заблестели. — Каково население Англии?

Мы начали считать по пальцам: Англия — сорок миллионов; Соединенные Штаты — 125; Канада — 10 миллионов <...> Лицо Есенина светилось, глаза сверкали.

— Сергей Александрович, — осторожно сказала я <...> — Я бы предпочла, чтобы вас читало меньше людей в оригинале, чем весь мир в переводах. Перевод никогда не будет соответствовать вашим стихам, никогда не будет так красив и звучен. Это будет новое произведение — частично ваше, частично — переводчика.

Лицо его померкло, посерело. И глаза стали тусклыми. Я почувствовала себя убийцей...<sup>2</sup>

1 Шершеневич В. Великолепный очевидец... // Мой век... С. 581–582.

2 Кинел Л. Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 157–158.



Сергей Есенин и Айседора Дункан  
Венеция, Лидо. Около 14 августа 1922

Напрасно Кинел тогда корила себя: детская сказка о миллионах новых читателей умерла только в Америке. По прибытии в Нью-Йорк (2 октября 1922 года) Есенин был взволнован и весел. Его не смущало даже то, что их с Айседорой задержали иммиграционные власти — это было даже к лучшему: больше газетного шума, больше рекламы. Корреспонденты же американских газет при виде поэта не скрывали своего удивления: “мальчишеское лицо”, “ему не дашь больше 17”, “из него бы получился прекрасный хавбек в футбольной команде”<sup>1</sup>. Айседора же твердила в многочисленных интервью: “он считается величайшим поэтом со времен Пушкина”; “он гений”<sup>2</sup>.

На одном из поэтических вечеров по возвращении из-за границы Есенин начал рассказывать о своих первых нью-йоркских впечатлениях:

“Пароход был огромный, чемоданов у нас было двадцать пять, у меня и у Дункан. Подъезжаем к Нью-Йорку: репортеры, как мухи, лезут со всех сторон...

Публика потеряла всякую, даже относительную “сдержанность” и начала бесцеремонно хохотать”<sup>3</sup>.

В курьезной стилистике этого рассказа есть что-то детское: поэт относился к Америке как к сказочному приключению, а потому и радовался обилию чемоданов и репортеров — в предвкушении будущего заокеанского признания.

Тот же трепет — “все как в сказке!” — ощущается в есенинском очерке “Железный Миргород”: “Здания, заслонившие горизонт, почти упираются в небо. Над всем этим проходят громаднейшие железобетонные арки.

1 См.: *McVay G.* Isadora and Esenin. P. 107–108.

2 *Ibid.* P. 107–108.

3 *Ивнев Р.* Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 28.



Сергей Есенин и Айседора Дункан по прибытии в Нью-Йорк  
1 октября 1922





Айседора Дункан и Сергей Есенин у статуи Свободы  
Нью-Йорк. 2 (?) октября 1922

Небо в свинце от дымящихся фабричных труб. Дым навевает что-то таинственное, кажется, что за этими зданиями происходит что-то такое великое и громадное, что дух захватывает”<sup>1</sup>.

Согласно американскому импресарио Айседоры С. Юроку, “Есенин реагировал на капиталистический мир как дитя <...>, которого толкнули в чудовищный магазин игрушек и разрешили делать там все, что он захочет”<sup>2</sup>. Значит, не только Горькому поэт напоминал крестьянского мальчика, сначала очарованного, а потом обманутого городом.

И вот через четыре месяца “мальчик” покинул Америку (3 февраля 1923 года) и прибыл обратно во Францию (11 февраля). И что же? Судя по резко изменившемуся тону газетных статей, в США с ним произошло что-то страшное: “необузданная (unfettered) душа”, “дикий

(untamed) русский муж”, “неумный гениальный муженек (unthrottled genius hubby)”<sup>3</sup>, Айседора вынуждена была оправдывать: “он гений” и, как все гении, — безумец<sup>4</sup>.

Можно называть разные причины разительной перемены есенинского облика и поведения. Но главная в том, что метафора детства повернулась к нему своей темной стороной. Мариенгоф вспоминает, как он с администратором московской дункановской школы И. Шнейдером просматривал американскую прессу:

“Под роскошным цветным клише стояла подпись: “Айседора Дункан со своим молодым мужем”.

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 5. С. 163.

2 Цит. по: McVay С. Isadora and Esenin. P. 105.

3 Ibid. P. 153, 157, 158.

4 Ibid. P. 158–159.

Я ударил кулаком по столу:

— Мерзавцы! <...>

Он (Шнейдер. — *О. Л., М. С.*) протянул мне второй журнал. Подпись: “Айседора Дункан со своим мужем, молодым большевистским поэтом”.

— Его фамилия их не интересует, — счел своим долгом пояснить Шнейдер. — Муж Айседоры Дункан! И этим все сказано.

Передо мной — газеты, журналы. Целая кипа. Есенин в них существовал только как “молодой супруг”. Ужас!”<sup>1</sup>

“Ужас” заключался даже не в том, что Есенина везде в американской прессе называли “young husband”, а в том, что он на самом деле оказался при ней “мужем-мальчиком” — скорее сыном, чем мужем. Еще в Нью-Йорке поэт встречал старых знакомых по Москве и Петербургу, а в американской провинции, куда Дункан отправилась на гастроли, он и вовсе остался с ней один на один — без друзей, без литературных связей, вне русскоязычной среды. Вместо того чтобы бороться за свою славу, он принужден был ездить с Айседорой по гастролям, оттенять ее образ, придавать ее туру скандальный оттенок. Всегда столь ловкий в использовании других — Есенин впервые попал в рабство. И к кому? К жертвенно любящей его Дункан. Он, гениальный поэт, должен был смириться с положением придатка к танцовщице — немого, вечно улыбающегося непонимающей улыбкой. Вот как крепко запеленала Дункан свое любимое дитя — и это не могло не сказаться на его психике.

Еще в Висбадене (июль 1922 года) врач предупреждал Айседору, “что положение серьезное, что (Есенину. — *О. Л., М. С.*) нужно прекратить пить <...>, иначе у нее на попечении окажется маньяк”<sup>2</sup>. Сам поэт писал Шнейдеру из Брюсселя 13 июля 1922 года: “Дал зарок, что не буду пить до октября. Все далось мне через тяжелый неврит и неврастению...”<sup>3</sup>

“Беглое знакомство с европейской культурой, — считает Г. Устинов, — быть может, усилило трещину в есенинской психике, и без того уже имевшей сильную склонность к раздвоению. <...> Почему? Трудно сказать. Не потому ли, что он ожидал триумфального шествия по Европе, а оно получилось мало заметным.

— Ты понимаешь, — говорил он мне по приезде, — мы для газетчиков устраивали дорогие ужины, я клал некоторым из них в салфетки по 500 фран-

1 *Мариенгоф А.* Мой век, мои друзья и подруги // *Мой век...* С. 227–228.

2 *Кинел Л.* Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 159.

3 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 144.

ков... они жрали, пили, брали деньги и хоть бы одну заметку обо мне!.. Взяточки и сволочи!”<sup>1</sup>

В Америке демоны неврастении и шизофрении, таившиеся в душе Есенина, окончательно вырвались (*unfettered, untamed, unthrottled*) из-под контроля сдерживавшей их воли.

До Америки Есенин еще пытался использовать скандалы как прием: “Европа об Есенине упорно молчала. Чтобы заставить говорить о себе, был применен старый российский способ — скандалы”. “Но и скандалы не раскачали продажную французскую и американскую гласность”, — заключает Устинов<sup>2</sup>. Впрочем, продажность западной гласности здесь ни при чем. Просто постепенно, и именно в Америке, есенинские скандалы приобретали все более неконтролируемый, клинический характер — американские газетчики и не думали этого скрывать.

Отныне отношение к американской прессе и публике становится маниакальным. “О, это было такое несчастье! — позже рассказывала Айседора. — Вы понимаете, у нас в Америке актриса должна бывать в обществе — приемы, балы. Конечно, я приезжала с Сережей. Вокруг нас много людей. Везде разговор. Тут, там называют его имя. Говорят хорошо. В Америке нравились его волосы, его походка, его глаза. Но Сережа не понимал ни одного слова, кроме “Есенин”. А ведь вы знаете, какой он мнительный. Это была настоящая трагедия! Ему всегда казалось, что над ним смеются, издеваются, что его оскорбляют. Это при его-то гордости! При его самолюбии! Он делался злой, как демон. Его даже стали называть: Белый Демон... Банкет. Нас чествуют. Речи, звон бокалов. Сережа берет мою руку. Его пальцы, как железные клещи: “Изадора, домой!” <...> А как только мы входили в свой номер... еще в шляпе, в манто — он хватал меня за горло, как мавр, и начинал душить: “Правду, сука!.. Правду! Что они говорили? Что говорила обо мне твоя американская сволочь?” Я хриплю: “Хорошо говорили! Хорошо! Очень хорошо”. Но он никогда не верил. Ах, это был такой ужас, такое несчастье!”<sup>3</sup>

Кульминацией есенинского пьянства, всевозможных маний и фобий стали два самых громких скандала заграничного периода: первый случился в Нью-Йорке, в Бронксе, незадолго до отъезда из США, второй — в фешенебельном отеле “Крийон” сразу по прибытии во французскую столицу.

1 Устинов Г. Мои воспоминания о Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 158–159.

2 Там же. С. 159.

3 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 229.

На встрече с нью-йоркской еврейской богемой на квартире поэта Мани-Лейба Брагинского Есенин сначала набрасывается на свою супругу. Рассказывает Вен. Левин:



Мани-Лейб Брагинский. 1920-е

Схватил ее так, что ткань затрещала, и с матерной бранью не отпускал... На это было мучительно смотреть <...>: еще момент, и он разорвет ткань <...> Момент, и я бросился к нему с криком:

— Что вы делаете, Сергей Александрович, что вы делаете? — и я ухватил его за обе руки. Он крикнул мне:

— Болван, вы не знаете, кого вы защищаете!..

И он продолжал бросать в нее жуткие русские слова, гневные. А она — тихая и смиренная, покорно стояла против него, успокаивая его и повторяя те же слова, те же ужасные русские слова.

— Ну хорошо, хорошо, Сережа, — и ласково повторяла эти слова <...>: ать, ать, ать... ать...<sup>1</sup>

Затем была попытка выброситься в окно пятого этажа, после чего воспаленное сознание поэта замкнулось на новом пункте:

Его схватили, он боролся.

— Распинайте меня, распинайте меня! — кричал он.

Его связали и уложили на диван. Тогда он стал кричать:

— Жиды, жиды, жиды проклятые!

Мани-Лейб ему говорил:

— Слушай, Сергей, ты ведь знаешь, что это оскорбительное слово, перестань!

Сергей умолк, а потом, повернувшись к Мани-Лейбу, снова сказал настойчиво:

— Жид!

<sup>1</sup> Левин Вен. Есенин в Америке // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 224.

Мани-Лейб сказал:

— Если ты не перестанешь, я тебе сейчас дам пощечину.

Есенин снова повторил вызывающе:

— Жид!

Мани-Лейб подошел к нему и шлепнул его ладонью по щеке.

Есенин в ответ плюнул ему в лицо. Но это разрядило атмосферу. Мани-Лейб выругал его. Есенин полежал некоторое время связанный, успокоился и вдруг почти спокойно заявил:

— Ну, развяжите меня, я поеду домой<sup>1</sup>.

Протрезвев, Есенин, конечно, раскаялся и написал Брагинскому следующее письмо:

*Дорогой мой Монилейб! Ради Бога, простите меня и не думайте обо мне, что я хотел что-нибудь сделать плохое или оскорбить кого-нибудь.*

*Поговорите с Ветлугиным, он Вам больше расскажет. Это у меня та самая болезнь, которая была у Эдгара По, у Мюссе. Эдгар По в припадках разб<ивал> целые дома.*

*Что я могу сделать, мой милый Монилейб, дорогой мой Монилейб! Душа моя в этом невинна, а пробудившийся сегодня разум повергает меня в горькие слезы, хороший мой Монилейб! Уговорите свою жену, чтоб она не злилась на меня. Пусть постарается понять и простить. Я прошу у Вас хоть немного ко мне жалости.*

*Любящий вас всех*

*Ваш С. Есенин.*

*Передайте Гребневу все лучшие чувства к нему. Все ведь мы поэты-братья. Душа у нас одна, но по-разному она бывает больна у каждого из нас. Не думайте, что я такой маленький, чтобы мог кого-нибудь оскорбить. Как получите письмо, передайте всем мою просьбу простить меня<sup>2</sup>.*

Дальнейшее пребывание поэта и танцовщицы в Америке стало невозможно. И без того не слишком удачное турне Айседоры было прервано: супруги отправились назад в Европу с дурной славой и без денег.

Есенин же, как только появился в Париже, тотчас же сумел доказать, что ему вполне по плечу и подвиги Э. По, разбивавшего “целые дома”. Он пошел еще дальше, разгромив номер в элитном парижском отеле “Крийон”:

1 Левин Вен. Есенин в Америке // Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 226.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 152–153.

“Из холла раздался невероятный шум, — вспоминает компаньонка Айседоры Мери Десты, — будто туда въехал отряд казаков на лошадях. Айседора вскочила. Я схватила ее за руку, затащила к себе в комнату и заперла дверь на ключ. А когда Сергей начал колотить в дверь, я потащила Айседору в холл, и мы помчались вниз по лестнице, как злые духи. В дверях Айседора задержалась, чтобы сказать портье, что муж ее болен, и попросила посмотреть за ним, пока мы не привезем доктора <...>.”

<Позже> Айседора позвонила в “Крийон” и услышала от служанки, что в номер вломились шестеро полицейских и забрали месье в полицию, после того как он пригрозил убить их и переломать в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно. Он попытался выломать дверь между нашими номерами, думая, что Айседора в комнате, избил портье отеля, который пытался его утихомирить. К счастью, револьвер был в портфеле в моей комнате”<sup>1</sup>.

“Не думайте, что я такой маленький...” — уговаривал Есенин оскорбленного им Брагинского. Но дело обстояло гораздо хуже: поэт не только производил впечатление маленького ребенка, уже не отвечающего за свои поступки, — после американского турне он, по воспоминаниям Адамовича, “был жалок, измучен, он был насмерть подстрелян”<sup>2</sup>.

И поэтому никого не удивляли его дальнейшие поступки.

Предательство? Поэт совершил его с детской улыбкой. Что Есенин говорил в своих интервью, в то время как Айседора всеми силами выгораживала его, виновника громких скандалов на двух континентах: дескать, он был на фронте, три раза, да еще и контужен, терпел неслыханные муки во время революции — и при этом еще он “чудесный гений”?<sup>3</sup> Есенин, оказавшись в Берлине один, без Айседоры, обвинял ее в пьянстве и стал жаловаться газетчикам на то, какой адской была их супружеская жизнь. “Я был дурак, — заявил он газете “Нью-Йорк уорлд”. — Я женился на Дункан из-за денег и возможности путешествовать”<sup>4</sup>. Когда он “говорит о своей женитьбе, его лицо Дориана Грея омрачается”, — заключил свою статью репортер берлинской “8-Ур Абендблатт”<sup>5</sup>.

Но все эти признания не мешают новоявленному Дориану Грею вскоре послать ненавистной Айседоре милую, детскую телеграмму: “Isadora

1 Десты М. Нерассказанная история // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 468–469.

2 Адамович Г. С того берега... С. 78.

3 McVay G. Isadora and Esenin. P. 159.

4 Ibid. P. 165–166.

5 Ibid. P. 166.



browning darling Sergei lubich moja darling scurry scurry”<sup>1</sup>. Дункан легко расшифровала эту телеграмму (так мать всякий раз угадывает, что хочет сказать ее лепечущий младенец): “Айседора браунинг (он считал, что “браунинг” — это “стрелять”) дорогого Сергея любишь моя милая скари скари” (это означало “скорее, скорее”)<sup>2</sup>. И помчалась (“scurry scurry”) спасать своего маленького мужа.

Воровство? После разгрома номера в отеле “Крийон”, когда Есенина забрали в полицию, Дункан обнаружила в его портфеле припрятанные им две тысячи долларов. “Господи, Мери, — воскликнула она, открыв портфель, — неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю, бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал”<sup>3</sup>.

В письмах друзьям из-за границы Есенин жаловался на бедность Дункан: “Все ее банки и замки, о которых она пела нам в России, — вздор. Сидим без копейки, ждем, когда соберем на дорогу, и обратно в Москву” (письмо Мариенгофу, 12 ноября 1922 года)<sup>4</sup>; “Здесь у Айседоры нет не только виллы, о которой она врала, а даже маленькой вилочки. Одни ножки, да и те старые!” (несохранившееся письмо Шершеневичу)<sup>5</sup>. Сетования “молодого мужа” на непрактичность и расточительность супруги оборачивались манией — прятать от Айседоры деньги, втайне от нее покупать дорогие вещи. Болезненный, перевернутый крестьянский инстинкт толкал поэта к отчаянным попыткам урвать последние крохи с дункановского — уже далеко не барского — стола.

Однако Айседора и это простила Есенину.

Метафорический итог есенинской заграничной сказки подвел Мариенгоф. Вернувшись в Москву, Есенин предстал перед своим другом суесящимся вокруг своего дорогого, импортного чемодана:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В. 7 т. Т. 6. С. 155.

2 Десты М. Нерассказанная история // Айседора Дункан и Сергей Есенин... С. 472.

3 Там же. С. 470–471. Принято считать записки Десты недостоверными и предвзятыми. Но предвзятость не мешает Десты по другим поводам положительно высказываться о Есенине: “Сергей вел себя ангельски и интересовался только своими стихами и работой” (Летопись... В 5 т. Т. 3. Кн. 2. М., 2008. С. 122); “Сергей читал свои стихи и <...> был похож на молодого бога с Олимпа — оживший танцующий фавн Донателло” (Там же. С. 290). Да и разве дело только в неблагонадежности дункановской подруги — как будто нет других свидетельств, указывающих на вольное обращение Есенина с деньгами своей супруги? Эти косвенные улики нетрудно найти в той же “Летописи”: то Дункан, по обыкновению, вынуждена опровергать скандальные слухи (“...Айседора <...> уверяет, что никаких денег он у нее взять не мог, ибо доллары, о которых идет речь, она пожертвовала на голодающих “волжских” мужиков”. — Там же. С. 305; см. также: С. 298), то уже сама подозревает мужа в краже брюссельских кружев (Там же. С. 305). В последние месяцы заграничного турне надломленный, отчаявшийся поэт совершал и не такие поступки — значит, от свидетельства М. Десты так просто не отмахнуться. О достоверности этих сведений, сообщаемых Десты, см.: *McVay G. Isadora and Esenin*. P. 156.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 149.

5 Шершеневич В. Великолепный очевидец... // Мой век... С. 581.

“Есенин вынимает из кармана всякие ключи, звенящие на металлическом кольце, — с горечью вспоминает Мариенгоф, — и, присев на корточки, отпирает сложные замки “кофера”.

— В Америке эти мистеры — хитрые дьяволы! Умные! В Америке, Толя, понимают, что человек — это вор!

И поднимает крышку. В громадном чемодане лежат бестолковой кучей — залитые вином шелковые рубашки, перчатки, разорванные по швам, галстуки, носовые платки, кашне и шляпы в бурых пятнах”<sup>1</sup>.

Сказка кончилась чемоданом, который набит нелепо нажитым и нелепо загаженным добром. Чемоданом — вместо разбитого корыта.

1 *Мариенгоф А.* Мой век, мои друзья и подруги // *Мой век...* С. 232.



Сергей Есенин. Баку. 1924

## Глава десятая

# “Для того, чтобы ярче гореть”

### (1923—1924)

**К**лючом к тому периоду биографии Есенина, о котором пойдет речь в этой и следующей главах, может послужить метафора, положенная в основу повести Р.-Л. Стивенсона “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда”. Вот как еще в 1904 году пересказывал фабулу стивенсоновского произведения Константин Бальмонт: “Герой повести Стивенсона *Странная история доктора Джекила и мистера Хайда*, мудрый благородный врач, превращался иногда силою зелья в мистера Хайда, чтобы в этом виде отдаваться своим порочным наклонностям, и потом силою зелья превращался в д-ра Джекиля”<sup>1</sup>.

В мемуарах о Есенине, относящихся к 1923 — 1924 годам, многократно запечатлено его почти волшебное превращение из “доктора Джекила” в “мистера Хайда” и обратно. Первая стадия подобных метаморфоз, изменявших не только внутреннее состояние, но и самую внешность поэта, хорошо описана в воспоминаниях А. Назаровой: “Вино делало его совершенно другим. Злой, придирчивый, с какими-то полузакрытыми бесцветными глазами — он совершенно не был похож на того спокойного, всегда с ласковой улыбкой, Е<сенина>, каким он был трезвый”<sup>2</sup>.

Иногда, впрочем, поэт мог превратиться в “Хайда” и без принятия зелья. Часто он накручивал себя трезвого до циничных выходок или опасной истерики. Подтверждение находим в следующем эпизоде из мемуа-

1 Цит. по: Лавров А. Стивенсон по-русски: Доктор Джекил и мистер Хайд на рубеже двух столетий // Лавров А. Русские символисты. Этюды и разыскания. М., 2007. С. 218. См. в этой работе многочисленные примеры, свидетельствующие о прилежном усвоении отечественными модернистами стивенсоновской метафоры.

2 Назарова А. Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 135.

ров А. Сахарова: “На столе кипел русский самовар. Есенин разгорячился в споре, да так рванул за скатерть, что самовар только блеснул золотым боком. И как мы не обварились — чудо! Спор мгновенно прекратился. Минуты три все молчали, смотрели друг на друга, а потом на лежащий самовар, и вдруг по почину Есенина все расхохотались и мирно продолжали беседу о поэзии. Сергей Александрович сделался тихим, внимательным ко всем, как бы извиняющимся”<sup>1</sup>.

Весь цикл есенинских превращений описан, например, И. Романовским. Мемуарист начинает с портрета трезвого Есенина-”Джекила” в январе 1924 года: “Он совершенно очаровал меня и всех своим обликом и манерой держаться — простой, любезной и в то же время полной достоинства”<sup>2</sup>. Затем Романовский рассказывает о своих мучениях с опоенным водочным зельем Есениным-”Хайдом” перед его выступлением в ленинградской капелле 14 апреля 1924 года:

Стемнело, близился вечер, на подступах к залу появились традиционные фигуры, атакующие прохожих вопросами: “Нет ли лишнего билетика?” А Есенина в гостинице нет. Как ушел утром, так с тех пор не появлялся. Начинаю волноваться <...> Вдруг — стук в дверь. Коридорный от швейцара вручает мне маленький клочок бумаги, говорит, что прибежал какой-то мальчишка, просил передать мне. Читаю. Характерным есенинским почерком написано: “Я во второй, вверх к вокзалу”<sup>3</sup>. Стараюсь понять. Наконец, меня осенило: речь идет о пивной или столовой. Бросаюсь по Невскому, захожу во все пивные и рестораны <...> Наконец, в каком-то ресторане вижу за столом большую компанию и среди них Есенина. Бросаюсь к столу и взволнованно, даже не поздоровавшись, выкрикиваю:

— Сергей Александрович! Пора! Зал полон... мы уже опаздываем! <...>

Есенин хладнокровно отвечает:

— Приду. Не беспокойтесь. Все будет в порядке. А теперь, пожалуйста, не мешайте нам, у нас важный разговор. Сейчас кончим <...>

Время, назначенное для открытия вечера, уже наступило. Поэта нет. Зал пока терпеливо ждет. Минуты бегут. Пока в зале слышен лишь обычный негромкий шум, шорох, откашливания. Наконец, кто-то нетерпеливо выкри-

1 Сахаров А. Из воспоминаний о Сергее Есенине // Вечерний Ленинград. 1990. 3 октября. С. 3.

2 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. Ч. 2. С. 107.

3 Сохранился подлинный текст этого послания, составленного, очевидно, в состоянии пьяного куража: “Я ждал. Ходил 2 раза. Вас и не бывало. Право, если я не очень нужен на вечере, то я на Николаевской, кабачок слева внизу” (Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 166).

кивает: “Пора!”, кто-то стучит, за ним второй, третий. Еще две-три минуты, и весь зал кричит, шумит, требует начинать.

И в этот момент за кулисами появляется Есенин. Но в каком виде...<sup>1</sup>

После этого многоточия, как и положено по стивенсоновскому сюжету, описывается почти мгновенное превращение “мистера Хайда” в “доктора Джекила”: “Минут через семь-восемь поэт, умытый, причесанный, с уже повязанным галстуком и как будто отрезвевший выходит на сцену”<sup>2</sup>.

Схема таких превращений, стремительных переходов из одного состояния в другое является общим местом воспоминаний о “позднем” Есенине. Вот, в частности, свидетельство С. Спасского — одно из многих:

Он сидел, ни на кого не оглядываясь, поникнув, будто в забытии. Но его, конечно, заметили, узнали, повернулись к нему. Раздались приветствия, аплодисменты, просьбы прочесть стихи.

Есенин медленно встал и с трудом пошел между столиков. С усилием поднялся по ступенькам, взобрался на подмости и остановился. Стоял непрочно, словно вот-вот упадет. Слегка наклонил голову и тихо произнес первые слова:

*Годы молодые, с забубенной славой,  
Отравил я сам вас горькою травой.*

<...> И, как всегда это бывало, стихотворение словно подкрепляло его. Он выпрямился, как бы опираясь на строчки, на главную свою опору в жизни. И при этом креп его голос, прорвавшись сквозь мутную хрипоту. И когда дошел до строк:

*“Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!”  
Взял я кнут и ну хлестать по лошажьим спинам, —*

он выкрикнул их с задорной силой, со все опрокидывающей уверенностью<sup>3</sup>.

1 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. Ч. 2. С. 121–122. Ср. в мемуарах Г. Устинова: “Есенин явился на вечер настолько пьяным, что товарищи пришли в отчаяние” (Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 161).

2 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. Ч. 2. С. 122.

3 Спасский С. наброски со стороны // С. А. Есенин. Материалы к биографии. С. 206 — 207. О стихотворении “Годы молодые, с забубенной славой...” подробнее см. ниже, в этой главе нашей книги.



Пьяные есенинские выходки, на грани срыва его вечеров, нисколько не мешали невероятному успеху поэта у публики. “Вечер, начавшись скандально, кончился полным триумфом Есенина”, — вспоминал Г. Устинов о выступлении 14 апреля 1924 года в Ленинграде<sup>1</sup>. Читая о том, как поклонники провожали поэта в гостиницу после окончания его выступления, невольно вспоминаешь кинокадры, запечатлевшие битломанию и другие сходные явления массовой культуры 1960 — 1980-х годов. “Одну из поклонниц озарила “светлая” мысль — она стала расшнуровывать один из ботинков Есенина, желая, видимо, унести с собой шнурки в качестве сувенира, — рассказывает И. Романовский. — Ее пример вдохновил другую почитательницу поэтического таланта Есенина, она решила снять с поэта галстук, воспользовавшись его беспомощным состоянием на руках у поклонников и поклонниц. Энергичная девица ухватила за нижний конец галстука и сильно потянула его к себе. В результате возникла удавная петля. Есенин стал задыхаться, лицо его побагровело”<sup>2</sup>. Такого бешеного эстрадного успеха из поэтов поколения Есенина не имел никто, даже Игорь Северянин.

Стихи во многом были первопричиной раздвоенности есенинского сознания, но они же очень долго сдерживали “хайдовский” синдром. “Есенин мог потерять и терял все, — размышлял Мариенгоф. — Последнего друга, и любимую женщину, и шапку с головы, и голову в винном угаре — только не стихи.

Стихи были биением его сердца, его дыханием”<sup>3</sup>.

Хронологически забегаая вперед, приведем еще один пассаж из “Моего века...” Мариенгофа, в котором тот выражает свое безмерное удивление “стилем” работы Есенина в его последний год — тем, как он умудрялся оставаться “Джекилом” в стихах, житейски уже почти совсем превратившись в “Хайда”: “В последние месяцы своего трагического существования Есенин бывал человеком не больше одного часа в сутки.

От первой, утренней, рюмки уже темнело его сознание.

А за первой, как железное правило, шли — вторая, третья, четвертая, пятая <...>

Свои замечательные стихи 1925 года Есенин писал в тот единственный час, когда был человеком. Он писал их почти без помарок. Тем не менее они были безукоризненны даже по форме, более изощренной, чем когда-

1 Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 161.

2 Цит. по: Белоусов В. Сергей Есенин. Литературная хроника. Ч. 2. С. 123 — 124.

3 Мой век... С. 244.



Сергей Есенин с сестрой Екатериной. Москва. 1924

либо. Я говорю — изощренной, понимая под этим лиричность, точность, предельную простоту при своеобразии. Это было подлинное чудо!”<sup>1</sup>.

В действительности дело обстояло не совсем так, как рассказывает Мариенгоф, ведь об этом периоде жизни Есенина мемуарист мог судить только с чужих слов. Но и факты, сообщаемые непосредственным свидетелем тогдашнего есенинского быта, В. Наседкиным, удивляют немногим меньше, чем домыслы Мариенгофа: “В первый и во второй день после запойной полунедели до обеда Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много, случалось до 8 [!] стихотворений сразу. “Сказка о пастушонке Пете” написана им за одну ночь”<sup>2</sup>. Так творчество волшебным образом действовало на Есенина, но только до второй полунедели.

Ради чего поэт вводил себя в состояние “мистера Хайда”? Внимательный читатель нашей книги сможет и сам сформулировать ответ на данный вопрос. Мы же на этот раз передоверим ответ хорошо знавшему Есенина Рюрику Ивневу: “Он сжигал свою жизнь для того, чтобы видеть себя в огне самосожжения и петь певучее и убедительнее. Про него можно сказать, не рискуя впасть в преувеличение, что он сознательно приносил себя в жертву своему творчеству. Жег, коверкал, сжигал себя для того, “чтобы ярче гореть””<sup>3</sup>. Ивнев взял в кавычки слова самого Есенина из его стихотворения 1923 года “Мне осталась одна забава...”:

*И похабничал я и скандалил  
Для того, чтобы ярче гореть.*

Стихи были целью, но они, как мы уже видели по мемуарам Спасского, были и главным средством, тем самым благим “зельем”, с помощью которого Есенин возвращал себе человеческий облик после принятия губительного “зелья” — алкоголя. Вспоминает Анна Берзинь: “Сергей Александрович знал очень хорошо, что чтением стихов он просто обезоруживал человека, и потому всякий раз, когда были причины на него не только сердиться, но даже гневаться, он входил в квартиру, будто ничего не произошло, и с места в карьер сообщал, что он написал новые стихи, или просто начинал читать свои старые стихи. Гнев проходил, испарялся, он считал себя амнистированным”<sup>4</sup>.

1 Мой век... С. 248–249.

2 Материалы к биографии. С. 228.

3 Рюрик Ивнев. Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 34.

4 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 381.

До поры до времени Есенину казалось, что он всегда сможет управлять собой и в нужный момент превращаться из “похабника и скандалиста” в благообразного члена общества. Однако (напомним финал повести Стивенсона в пересказе К. Бальмонта) “<в> конце концов зелье обмануло” и “он не мог превратиться из мистера Хайда в д-ра Джекиля”<sup>1</sup>.

Непрекращавшаяся смена личин (Джекил — Хайд — Джекил — снова Хайд — снова Джекил) определяла общую линию поведения Есенина в последние годы его жизни.

Резкая переменчивость характерна, например, для родственных и дружеских отношений поэта.

Так, по многим воспоминаниям, он с неизменной нежностью говорил о своих детях, чьи фотографии всегда хранились в нагрудном кармане его пиджака. “...Только детей своих люблю, — признавался Есенин в доверительном разговоре с Р. Гулем незадолго до своего возвращения в Москву. — Дочь у меня хорошая... блондинка, топнет ножкой и кричит: я — Есенина!.. Вот какая у меня дочь... Мне бы к детям <...>, а я вот полтора года мотаюсь по этим треклятым заграницам...”<sup>2</sup>. Тогда же корреспондент одной из берлинских газет записал есенинские прочувствованные слова: “Я еду в Россию повидать двух моих детей от прежней жены <...> Я не видел их с тех пор, как Айседора увезла меня из моей России. Меня обуревают отцовские чувства. Я еду в Москву обнять своих отпрысков. Я все же отец”.

Свидетели свиданий Есенина с детьми запомнили его внимательным и чутким отцом. “Как все молодые отцы, — вспоминает сын поэта Константин, — он особенно нежно относился к дочери. Таня была его любимицей. Он уединялся с ней на лестничной площадке и, сидя на подоконнике, разговаривал с ней, слушал, как она читает стихи”<sup>3</sup>.

В другие же минуты, в состоянии оборотничества, Есенин мог бросить фразу вроде: “Есенины черными не бывают”<sup>4</sup> — имея в виду собственного сына. Символично, что в номере гостиницы “Англетер” рядом с трупом поэта была найдена разорванная фотокарточка детей.

Подробности одного из таких превращений Есенина сообщает И. Старцев:

1 Цит. по: Лавров А. Стивенсон по-русски: Доктор Джекил и мистер Хайд на рубеже двух столетий. С. 218.

2 *Гуль Роман*. Сергей Есенин за рубежом // Русское зарубежье о Есенине. М., 2007. С. 222.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 276.

4 Мой век... С. 367.

Зимой уже в 1924 году, кажется, перед Рождеством я зашел в “Стойло”. В кафе было пустынно — и лишь в углу сидел за бутылкой вина с каким-то неизвестным мне человеком Есенин. Я с ним поздоровался и, видя, что он занят, собрался уходить. На полдороге он меня остановил.

— Куда ты? Подожди! Мы сейчас с тобой поедим и купим моим детям игрушек.

Через несколько минут он освободился, мы сели на извозчика и поехали на Кузнецкий. В магазине он любовно выбирал дочери и сыну разные игрушки, делал замечания и шутил. Сияющий, вынес на извозчика большой сверток. По дороге в квартиру, где жили его дети, он вдруг стал задумчив и, проезжая обратно мимо “Стойла”, с горькой улыбкой предложил на минутку заехать в кафе — выпить бутылку вина<sup>1</sup>.

Миная середину, сразу же перейдем к финалу этого эпизода: “Он посмотрел на меня осоловелыми глазами, покачал головой и сказал:

— Я очень устал... И никуда не поеду.

Игрушки были забыты в кафе<sup>2</sup>.

Поведение Есенина — брата и сына — также не отличалось последовательностью: самоотверженная забота, помощь и ласковое участие сменялись злобой и подозрительностью.

Именно в последние годы жизни, после заграничной поездки, у поэта стала проявляться особая тяга к семейственности — и на словах, и на деле. Он постоянно высылает деньги в Константиново, содержит сестер, охотно берет на себя роль главы семьи. “На три дня из деревни к Есенину приехала мать, — описывает В. Наседкин идилическую сторону отношений поэта с родней, — Есенин весел, все время шутит — за столом сестры, мать. Семья, как хорошо жить семьей!”<sup>3</sup>.

Родственными чувствами вдохновлены и многие из лучших есенинских стихов последнего периода, из которых прежде всего, конечно, вспоминается знаменитое “Письмо матери”.

Издательский работник Иван Евдокимов так описывал свое первое впечатление от чтения Есениным этого стихотворения:

1 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 81, 82.

2 Там же. С. 82.

3 Материалы к биографии. С. 213.

Помню, как по спине пошла мелкая, холодная оторопь, когда я услышал:

*Пишут мне, что ты, тая тревогу,  
Загрустила шибко обо мне,  
Что ты часто ходишь на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне.*

Я искоса взглянул на него: у окна темнела чрезвычайно грустная и печальная фигура поэта. Есенин жалобно мотал головой:

*Будто кто-то мне в кабацкой драке  
Саданул под сердце финский нож.*

Тут голос Есенина пресекался, он, было видно, трудно пошел дальше, захрипел... и еще раз запнулся на строчках:

*Я вернусь, когда раскинет ветви  
По-весеннему наш белый сад.*

Дальше мои впечатления пропадают, потому что зажало мне крепко и жестоко горло, таясь и прячась, я плакал в глуби огромного нелепого кресла, на котором сидел в темнеющем простенке между окнами<sup>1</sup>.

В чем секрет этого стихотворения, почему оно так, до слез, волновало первых слушателей — и продолжает волновать читателей по сей день?

Критики сразу же вслед за публикацией “Письма” обратили внимание на парадоксальное сочетание в нем “хрестоматийности” и “захватанности”<sup>2</sup> с “истинной интимностью”<sup>3</sup>. Действительно, по всему есенинскому



Августа Миклашевская. 1922

1 Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 200 — 201.

2 Ю. Тынянов: “Теперь он (Есенин. — О. Л., М. С.) кажется порою хрестоматией “от Пушкина до наших дней””; “Слова захватанные, именно потому что захватаны, потому что стали ежеминутными, необычайно сильно действуют” (Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 546); “Так умели трогать Пушкин, Некрасов, Блок” (Народный учитель. 1925. № 2. С. 112).

3 Формула И. Н. Розанова. (Народный учитель. 1925. № 2. С. 112.)



стихотворению прокатывается цитатное эхо — словно перелистываешь антологию русской элегии и романа. В первой строфе почти пушкинская рифма (“старушка — избушка”<sup>1</sup>) сталкивается с отсылкой к Блоку, если не узнаваемой, то угадываемой (“несказанный свет”<sup>2</sup>). Во второй строфе наплывают некрасовские мотивы, вызываемые рифмой “тревога — дорога”<sup>3</sup>. В третьей строфе вдруг следует резкий ход на понижение — к жестокому романсу и уличному фольклору: опознавательным знаком этой традиции взят пресловутый “финский нож”<sup>4</sup> — в соединении с нарочитым просторечьем (“саданул”, затем “пропойца”). Чем жестче “кабацкие” аллюзии, тем, под воздействием контраста и антитезы, сильнее новый прилив высокого романа: в пятой строфе рифма “нежный — мятежной” тянет за собой длинный шлейф литературных ассоциаций — от Пушкина<sup>5</sup> и Лермонтова<sup>6</sup> до Апухтина<sup>7</sup>. Последние же строфы и вовсе напоминают центон, сшитый из элегических и песенных лоскутов: “белый сад” полон романсовых отзвуков<sup>8</sup>; призывы “не буди”, “не

- 1 “Старушка — избушка” у Есенина; “лачужкой — старушкой” в “Зимнем вечере” Пушкина.
- 2 См. стихотворение Блока “Мы живем в старинной келье...” (1902): “Мы помчимся к бездорожью / В несказанный свет”.
- 3 См. “Мороз Красный нос” (“Не затем же пускаться в дорогу, / Чтобы в любящем сердце опять / Пробудить роковую тревогу...”) и главным образом “Тройку”: вслед за некрасовским стихотворением Есенин именно этой рифмой задает романсовую кольцевую композицию, с императивным повтором ключевой строфы (первая строфа “Тройки”: “Что ты жадно глядишь на дорогу / В стороне от веселых подруг? / Знать, забило сердечко тревогу — / Всё лицо твоё вспыхнуло вдруг”; предпоследняя строфа: “Не гляди же с тоской на дорогу / И за тройкой вослед не спеши, / И тоскливую в сердце тревогу / Поскорей навсегда заглуши!”)
- 4 См. примеры из уличных песен с упоминанием финского ножа: “Взял в руки финское перо / И кровью расписался”; “Имел ключи, имел отмычки, / Имел я финское перо”; “В кармане — финский нож”; “За нее пускали финки в ход”. Особенно интересны строки, зеркально подобные есенинским, — со сменой ролей: “И не думай, что я замахнусь / В грудь чужую финляндским ножом...” (цит. по: Неклюдов С. Ю. Фольклорные переработки русской поэзии XIX века: баллада о Громобое // И время и место. Историко-филологический сборник к шестидесятилетию Александра Львовича Осповата. М., 2008. С. 587).
- 5 См. пушкинские стихотворения “Ангел” (“В дверях эдема ангел нежный / Главой поникшею сиял, / А демон, мрачный и мятежный, / Над адской бездною летал”), “Наперсник” (“Твоих признаний, жалоб нежных / Ловлю я жадно каждый крик: / Страстей безумных и мятежных / Как упоителен язык!”), “Подражание арабскому” (“Отрок милый, отрок нежный, / Не стыдись, навек ты мой; / Тот же в нас огонь мятежный, / Жизнью мы живем одной”).
- 6 См. лермонтовские стихотворения “Когда б в покорности незнания...” (“Она залог, что есть поныне / На небе иль в другой пустыне / Такое место, где любовь / Предстанет нам, как ангел нежный, / И где тоски ее мятежной / Душа узнать не может вновь”), “Они любили друг друга так долго и нежно...” (“Они любили друг друга так долго и нежно, / С тоской глубокой и страстью безумно-мятежной!..”), “Как небеса твой взор блистает...” (“Но жизнью бранной и мятежной / Не тешусь я с тех пор, / Как услышал твой голос нежный / И встретил милый взор”).
- 7 См. стихотворение Апухтина “Прости меня, прости! Когда в душе мятежной...”: “Прости меня, прости! Когда в душе мятежной / Угас безумный пыл, / С укором образ твой, чарующий и нежный, / Передо мною всплыл”.
- 8 См., например, романсы “Сад мой, сад” (“Ты помнишь ли, мой сад, какие были ночи / И соловей как пел при сумраке ветвей...”); “Снился мне сад” (“Снился мне сад в подвенечном уборе...”).

волнуй”<sup>1</sup> пробуждают и волнуют память жанра; формулы “ранняя усталость”<sup>2</sup> и “возврата нет”<sup>3</sup> возвращают к ранней романтической традиции и ее позднейшим адаптациям; пушкинская “отрада”, рифмуясь с “не надо”, пересекается с женской любовной лирикой от Каролины Павловой до Анны Ахматовой<sup>4</sup>.

И это еще не все: с самого появления стихотворения оно прочно связалось в сознании читателей и слушателей с пушкинским “К няне”<sup>5</sup> — вплоть до неразличения. “Перебираюсь в комнату Арины Родионовны... — рассказывает С. Довлатов случай из своей экскурсоводческой практики в Михайловском (“Заповедник”). — “Единственным по-настоящему близким человеком оказалась крепостная няня...” Все, как положено... “...Была одновременно — снисходительна и ворчлива, простодушно религиозна и чрезвычайно деловита...” “Барельеф работы Серякова...” “Предлагали вольную — отказалась...” И наконец:

— Поэт то и дело обращался к няне в стихах. Всем известны такие, например, задушевные строки...

Тут я на секунду забллся. И вздрогнул, услышав собственный голос:

- 1 Эти императивы занимают особое место в истории русского романа — от шедевров Д. Давыдова (“Не пробуждай, не пробуждай...”) и А. Фета (“На заре ты ее не буди”) и до таких заведомо песенников, как “Не побуждай воспоминаний...”. Вообще, параллельные ряды императивов — отличительный признак романа (например: “О, позабудь былые увлечения, / Уйди, не верь обману красоты; / Не разжигай заснувшие мученья, / Не воскрешай минувшие мечты!.. // Не вспоминай о том, что позабыто...”). “Не волнуй” — элегическое клише еще с 1830—1840-х годов (см. стихотворение третьестепенного поэта Э. Губера, повторяющего, кстати, и рифму “нежный — мятежный”: “Умри, заглохни, страсть мятежная, / Души печальной не волнуй! / Не для тебя надежда нежная, / Любви горячий поцелуй! “). Оба императива находим в известном стихотворении К. Бальмонта “Не буди воспоминаний. Не волнуй меня” (1895).
- 2 См., в частности, стихотворение М. Ю. Лермонтова “1831-го июня 11 дня”: “Я предузнал мой жребий, мой конец, / И грусти ранняя на мне печать”. В дальнейшем, во второй половине XIX века, этот эпитет попадает в оборот скорбной гражданской лирики (пример — “ранние невзгоды” из стихотворения А. Плещеева “Что год, то новая утрата...”). В поэзии рубежа веков эпитет получает “декадентский” оттенок (“смерти раннее призванье” в “31 декабря 1900 года” Блока). “Утрата” в той же седьмой строфе “Письма” напоминает, в частности, о строке из раннего стихотворения А. Блока “Моей матери” (1899): “Тоскующий покой, какая-то утрата...”
- 3 См., например, романс “Глядя на луч пурпурного заката...” (“...промчался без возврата / Тот сладкий миг, его забыли вы”). См. также стихотворение Г. Иванова с цитатой из этого романа, написанное примерно в то же время, что и “Письмо” Есенина (“Мы только гости на пиру чужом...”: “Мы только гости на пиру чужом. / Мы говорим: былому нет возврата. / Вздыхаем, улыбаемся и лжем, / “Глядя на луч пурпурного заката”), и строку из стихотворения И. Северянина “Сонет” (1908): “Любви возврата нет, — и на душе печаль”.
- 4 См. у К. Павловой (“Когда шучу я наудачу...”: “Пойми, что в этот миг не надо / Велеть мне верх брать над собой; / Что в этом взрыве есть отрада / И примирение с судьбой”); у А. Ахматовой (“Пленник чужой! Мне чужого не надо...”: “Пленник чужой! Мне чужого не надо, / Я и своих-то устала считать. / Так отчего же такая отрада / Эти вишневые видеть уста?”).
- 5 И. Розанов: “По некоторым выражениям и по сердечности тона стихотворение это напоминает пушкинское послание к няне...” (Народный учитель, 1925. № 2. С. 112).

*Ты еще жива, моя старушка,  
Жив и я, привет тебе, привет!  
Пусть струится над твоей избушкой...*

Я обмер. Сейчас кто-нибудь выкрикнет: “Безумец и невежда! Это же Есенин — “Письмо к матери”...” Я продолжал декламировать, лихорадочно соображая:

“Да, товарищи, вы совершенно правы. Конечно же, это Есенин. И действительно — “Письмо к матери”. Но как близка, заметьте, интонация Пушкина лирике Сергея Есенина! Как органично реализуются в поэтике Есенина...” И так далее.

Я продолжал декламировать. Где-то в конце угрожающе сиял финский нож... “Тра-та-тата-там в кабацкой драке, тра-та-там под сердце финский нож...” В сантиметре от этого грозно поблескивающего лезвия мне удалось затормозить. В наступившей тишине я ждал бури. Все молчали. Лица были взволнованны и строги. Лишь один пожилой турист со значением выговорил:

— Да, были люди...”

“Был опрос к 200-летию, — записывает М. Л. Гаспаров, — какие стихи Пушкина знают люди. На первом месте оказалось “Ты еще жива, моя старушка?”...”<sup>1</sup>

Может показаться, что в “Письме к матери” “чужое слово” вытесняет “личность” поэта, что вот-вот — и она “выпадет из стихов”, начнет “жить помимо них”. И во что же тогда превратятся стихи? — язвил Тынянов по горячим следам, в том же 1924 году: в придаток “досадных”, “стертых” традиций, в “стихи вообще”, “стихи для легкого чтения”<sup>2</sup>. Но саркастические опасения критика были напрасны; Есенин никогда не боялся влияний и заимствований, и на этот раз чутье вновь не изменило ему. Автор “Письма” сознательно направляет эмоции читателей (слушателей) в русло “готовых” традиций, пробуждает в них вековую память сочувствия и слез, чтобы тем вернее сразить их исповедальной, доверительно-личной (до “спазма”) интонацией.

Особый эффект возникает от столкновения привычных романсово-элегических рифм и формул (“тревога — дорога”, “нежный — мятежной”, “не буди”, “не волнуй”, “возврата нет”) с “биографией” поэта. Современники Есенина слишком хорошо знали, что “кабацкие драки” — не вымы-

1 Гаспаров М. Записи и выписки. М., 2000. С. 70.

2 Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. С. 545, 547.

сел, а за цитатой — “финский нож” — прячется реальная угроза, и не могли не разделить с героиней стихотворения ее некрасовской “тревоги”. За стихотворением видели открытую, вершащуюся на их глазах судьбу, что неизменно рождало в публике сильный сочувственный отклик; позднее, после есенинской “ранней” смерти, это сопереживание обратилось в читательский рефлекс.

Несмотря на цитатность “Письма”, а иной раз и благодаря ей, у читателя возникает впечатление предельной искренности поэта: одной-двумя пронзительными строками он заставляет с доверием принять все поэтические “общие места” стихотворения и пережить их заново. Так, диалектное словечко из словаря Даля (“шушун”), от которого как бы исходят волны шелестящей аллитерации (“старушка” — “избушка” — “пишут” — “шибко” — “ходишь” — “одно и то ж” — “нож”), трогательно совмещает в себе значения “материнской заботы”, “одиночества” и “беззащитности”. Перекликаясь аллитерациями “ш” — “ж”, это слово готовит читателя к началу пятой строфы: “Я по-прежнему такой же нежный” — и вот уже, сойдя с постоянной орбиты жанровых ассоциаций, эпитет “нежный” воздействует с непосредственностью есенинской улыбки и взгляда.

Столь же неотразимо действует задушевная разговорность таких слов, как “шибко” и “ничего” (“Загрустила шибко обо мне”; “Ничего, родная! Успокойся”) — они и всему стихотворению придают настроение тихой, ласковой грусти, смягчающей надрыв жестокого романа. Так что читатель уже не задается естественным, казалось бы, вопросом: как слово из одного стилистического ряда (“шушун”) сочетается с эпитетом из совершенно другого (“старомодном”)?<sup>1</sup>

Есть в воздействии есенинского “Письма” еще один секрет: то, что заставило вовсе не сентиментального издательского работника заплакать навзрыд, — *это скрытое ощущение последней ставки, последнего смысла*. Поворот к “свету” во второй половине стихотворения срывается, интонация утешения в завершающих строфах становится все грустнее, оборачиваясь отрицанием — “не буди”, “не волнуй”, “не сбылось”, “не надо”, “возврата нет”. Лирический герой не может найти опоры и, соскальзывая к безнадежности, пытается удержаться за что-то одно, настоящее: “Ты одна мой несказанный свет”.

За несколько месяцев до смерти поэт так же будет ловить последний смысл в облике и песнях младшей сестры Шуры, до отчаянности на-

1 Соображения Романа Лейбова по этому поводу см.: <http://r-l.livejournal.com/1856238.html>.

стойчиво, как заклинание, повторяя слова “навек”, “вовек”, “любил”, “люблю”:

*Ты мое васильковое слово,  
Я навеки люблю тебя.* (“Я красивых таких не видел...”)

*Ты мне пой. Ведь моя отрада –  
Что вовек я любил не один  
И калитку осеннего сада,  
И опавшие листья рябин.* (“Ты запой мне ту песню, что прежде...”)

*Потому и навеки не скрою,  
Что любить не отдельно, не врозь,  
Нам одною любовью с тобою  
Эту родину привелось.* (“В этом мире я только прохожий...”)

Тон этих слов — не жизнеутверждающий, а прощальный; именно поэтому в цикле, посвященном сестре Шуре, настоящее время сменяется итожащим прошедшим. И в остатке поэт пытается удержать только один смысл во всей жизни: ускользающий, угадываемый в образах родных — сестры, матери, деда, — “любовь к родине”.

В кругу семьи, в родных местах лирический герой напряженно ищет поэтизированную им “Русь” — и никак не может найти. Он отчужден от “сельщины”, в разладе с нею: “Отцовский дом / Не мог я распознать: / Приметный клен уж под окном не машет...”; “Какая незнакомая мне местность!”; “Добро, мой внук, / Добро, что не узнал ты деда”; “Здесь жизнь сестер, / Сестер, а не моя...”; “Уже никто меня не узнает”; “Ах, милый край! / Не тот ты стал, / Не тот” (“Возвращение на родину”); “Я никому здесь не знаком...”; “Что родина? / Ужели это сны?”; “В своей стране я словно иностранец”; “Моя поэзия здесь больше не нужна, / Да и, пожалуй, сам я тоже здесь не нужен” (“Русь советская”). “Скандальный пиит” уговаривает себя: “Опомнись! Чем же ты обижен?”; смиряется: “Приемлю все. // Как есть все принимаю”; пытается по-пушкински приветствовать “племя младое, незнакомое”: “Цветите, юные! И здоровейте телом!” (“Русь советская”). Однако утверждения не получается, лишь элегическое отступление к последнему смыслу — к почти звериному чувству родины, которого у лирического героя никто не сможет отнять.

Мерцание последнего смысла составляет основную тему есенинских стихов последних двух лет; современникам поэта довелось с волнением сле-

дить за тем, как этот огонек то вспыхивал, то гас. Вот и образ матери в последующих стихах не может удержаться на высоте блоковского эпитета — “несказанный свет”. Настроение меняется уже в диптихе “Письмо от матери” — “Ответ”. Оба стихотворения закольцованы мотивами отчаяния и безнадежности. Первое начинается с эпитета “угрюмый” (“...Лежит письмо на столике угрюмом”), завершается же растерянно-испуганным вопросом:

*Я комкаю письмо,  
Я погружаюсь в жуть.  
Ужель нет выхода  
В моем пути заветном?*

Второе начинается за здравие, в тон прежнему “Письму к матери”: “Я нежно чувствую // Твою любовь и память”, но уже к третьей строфе лирический герой, забыв о намерении утешить “старушку”, сворачивает к теме гроба и заканчивает буквально за упокой:

*И снег ложится  
Вроде пяточков,  
И нет за гробом  
Ни жены, ни друга.*

Мать в своем письме нажимает все больше на денежный вопрос: “Купи мне шаль, / Отцу купи порты...”; “И на душе / С того больней и горше, / Что у отца / Была напрасной мысль, / Чтоб за стихи / Ты денег брал побольше” — на что в “ответном” стихотворении сын реагирует с плохо скрываемым раздражением: “Забудь про деньги ты, / Забудь про все. / Какая гибель?! / Ты ли это, ты ли?” Путанные объяснения лирического героя про мировую революцию, “хладную планету” и отчаявшегося поэта-бойца не могут снять непонимания и отчуждения между сыном и матерью.

После диптиха уже не так неожидан шокирующий поворот материнской темы в стихотворении “Весна”, в котором трогательный образ старушки “в старомодном, ветхом шушуне” замещается “бредовым” сравнением: “А мать — как ведьма с киевской горы”.

В быту контрасты отношений с родными и малой родиной были гораздо резче, чем в стихах. Особенно пристрастен Есенин был к сестре Кате. Г. Бениславская записала одну тираду в ее адрес: ““Ты совсем обо мне не



думаешь, не заботишься. Я целый день работал, теперь хочу есть, а ты даже не думала обо мне. Конечно, я сейчас поеду в ресторан. Ты сама меня в кабаки заставляешь ходить. Никакой “политической ориентации” у тебя нет”, — вопил он в неистовом бешенстве”<sup>1</sup>.

“Трудно передать, — свидетельствует та же Бениславская, — сколько нервов было истрепано из-за Катиной “девственности”. <...> Слишком длинно описывать все разговоры, советы “класть компрессы”, если “чешется” и т. п. К моему ужасу, эти разговоры заводились, для пущего утешения Кати, в присутствии посторонних людей и ее самой. Иногда хотелось просто побить С. А. за его дикий цинизм...”<sup>2</sup>.

“Ты скажешь: сестра Катька, — незадолго до смерти убеждает Есенин А. Тарасова-Родионова. — К черту! Ты слышишь: к черту! Плевать я хочу на эту дрянь. Сквалыга, каких свет не рожал. <...> Я прогнал ее с глаз долой и больше и знать о ней не хочу”<sup>3</sup>.

Не раз изменяла Есенину и его “нежность” к родителям, к матери. Узнав, что мать приезжала в Москву к своему внебрачному сыну, поэт пишет отцу с едва ли не деспотической суровостью: “Передай ей, чтоб больше ее нога в Москве не была”<sup>4</sup>. “Ты думаешь, они меня любят? — жаловался он в разговоре с Тарасовым-Родионовым. — Они меня понимают? Ценят мои стихи? О, да, они ценят и жадно ценят, почему мне платят за строчку. Я для них неожиданная радость: дойная коровенка, которая и себя сама кормит, и ухода не требует, и которую можно доить всюю. О, если бы ты знал, какая это жадная и тупая пакость — крестьяне. <...> В деревне, кацо, мне все бы напоминало то, что мне омерзительно опротивело. О, если бы ты только знал, какая это дикая и тупая, чисто звериная гадость, эти крестьяне. Из-за медного семишника они готовы глотки перегрызть друг другу. О, как я же ненавижу эти тупые и жадные жестокие морды. Как прав Ленин, когда он всю эту мразь жадную, мужичью, согнул в бараний рог. Как я люблю за это Ленина и преклоняюсь перед ним”<sup>5</sup>.

Есенинская любовь к кому-либо или к чему-либо почти всегда была оборачиванием в неприязнь, даже ненависть; вот и Катю он (в письме к Бениславской) посылает к е... матери<sup>6</sup>, обеих сестер называет “воровка-

1 Бениславская Г. А. Воспоминания о Есенине // Есенин глазами женщин. С. 310.

2 Материалы к биографии Есенина. С. 79.

3 Материалы к биографии Есенина. С. 250.

4 Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 223.

5 Материалы к биографии Есенина. С. 250.

6 Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 209.

ми”<sup>1</sup>, родителей — “жадными”<sup>2</sup>, крестьян — “г...м”<sup>3</sup>, о своих отношениях с родиной говорит: “В России чувствую себя, как в чужой стране”<sup>4</sup>.

На последний смысл: “Я последний поэт деревни...” — еще можно было опереться в стихах, но в жизни эта ставка не срабатывала. Есенин “ездил на чью-то свадьбу” в деревню, вспоминает С. Виноградская, “всех звал с собой, захлебываясь заранее от восторга и удовольствия послушать старинное пение, посмотреть пляску. Павда, вернулся оттуда сердитый, ничего не рассказывал, а когда его спросили по свадьбу, он со злостью отвечал, что больше в деревню не поедет”<sup>5</sup>.

Острее всего, наверное, двойничество Есенина проявлялось в любви и дружбе.

После возвращения из-за границы особенно утомительными стали для него метания между разными женщинами: Дункан — Бениславская — Миклашевская — позже С. Толстая.

Для начала Есенин, вопреки своим прежним договоренностям с Айседорой<sup>6</sup>, отказался воссоединиться с ней в Кисловодске. Более того, он многозначительно известил Дункан, что из ее особняка на Пречистенке, 20, съехал. Многочисленные отчаянные телеграммы Дункан, вроде следующей: “Дарлинг очень грустно без тебя надеюсь скоро приедешь сюда навеки люблю — Изадора”<sup>7</sup>, как правило, Есениным просто игнорировались<sup>8</sup>.

В конце сентября 1923 года Есенин переехал жить к Галине Артуровне Бениславской. Самые разные мемуаристы почти в один голос отмечали жертвенную самоотверженность Бениславской по отношению к Есенину и ее благотворное влияние на поэта. “Период сожительства Есенина с Бениславской — самый трезвый и самый благоприятный в творческом отношении”, — констатировал в своих мемуарах Родион Березов<sup>9</sup>. “<Н>аилучшим, если не единственным другом” Есенина назвал Бениславскую Вольф Эрлих<sup>10</sup>.

1 Мариенгоф А. Мой век, мои друзья и подруги // Мой век... С. 380.

2 Бениславская Г. А. Воспоминания о Есенине // Есенин глазами женщин.... С. 319.

3 Там же. С. 326.

4 Оксенов И. “Никто другой нам так не улыбнется” // Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. М., 1998. С. 228.

5 Виноградская С. Как жил Есенин. С. 13.

6 Ср. в мемуарах И. Шнейдера: “...было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня” (Шнейдер И. Встречи с Есениным. С. 74).

7 Цит по: Сергей Есенин в стихах и в жизни... Кн. 3. С. 228.

8 См., однако, письмо Есенина к Дункан, отправленное уже в сентябре 1923 года: “Milaiia Isadora! Ia ne mog priehat potomuchto ochen saniat. Priedu v Ialtu. Liubliu tebia beskonechno tvoi Sergei. Irme privet. Isadora!!!” (Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 159). Ни в какую Ялту Есенин к Дункан не приехал.

9 Русское зарубежье о Есенине. Т. 1. С. 248.

10 Эрлих В. Право на песнь. С. 32.

“Может быть, в мире всё мираж, и мы только кажемся друг другу, — совсем по-чебутыкински писал Есенин Бениславской 20 декабря 1924 года из Батума в Москву<sup>1</sup>. — Ради бога, не будьте миражем Вы. Это моя последняя ставка, и самая глубокая”<sup>2</sup>. А вот что рассказывала о себе и Есенине Бениславская: “После заграницы С. А. почувствовал в моем отношении к нему что-то такое, чего не было в отношении друзей: что для меня есть ценности выше моего собственного благополучия. Носился он со мной тогда и представлял меня не иначе как: “Вот познакомьтесь — это большой человек”. Или: “Она — настоящая” и т. п. Поразило его, что мое личное отношение к нему не мешало быть другом; первое я почти всегда умела спрятать, подчинить второму”<sup>3</sup>.

Но, несмотря на всю горячую преданность Бениславской, дружба ее с Есениным продлилась недолго: пройдет не больше полугода после слов о последней ставке — и поэт метнется прочь от “единственного друга”, за новым миражом.

Сначала в поэте был “разбужен зверь”. “Я сам боюсь этого, — признавался он, — не хочу, но знаю, что буду бить. <...> Смотрите, быть вам битой”<sup>4</sup>. “Я тогда знала, — рассказывает Бениславская, — что повода не может быть, и потому смеялась, что меня-то не придется бить. Увы, пришлось, и очень скоро. Пришлось не по моей вине...”<sup>5</sup>.

Затем дал о себе знать тот инстинкт противоречия, который всегда сказывался в отношениях Есенина с женщинами. “У Вас всякое ощущение людей притупилось, сосредоточьтесь на этом. Выгоните из себя этого беса”, — призывает его Бениславская в письме от 6 апреля 1924 года<sup>6</sup>. И что же он отвечает? С одной стороны: “Галя милая! Я очень люблю Вас и очень дорожу Вами. Дорожу Вами очень...”; “Без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного”. С другой стороны: “Не поймите отъезд мой как что-нибудь направленное в сторону друзей от безразличия” — и все же: “Сейчас я решил остаться жить в Питере”. Такова обычная есенинская логика с женщинами: люблю, но должен уехать сейчас, уехать совсем<sup>7</sup>.

1 Ср. с репликой Чебутыкина: “Может быть, я и не человек, а только делаю вид, что у меня руки и ноги... и голова; может быть, я и не существую вовсе, а только кажется мне, что я хожу, ем, сплю” (А. Чехов, “Три сестры”, действ. III).

2 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 191.

3 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 86.

4 Бениславская Г. А. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 81–82.

5 Там же. С. 82.

6 Цит. по: Шубникова-Гусева Н. И. Сергей Есенин и Галина Бениславская. СПб., 2008. С. 203.4

7 Из воспоминаний С. Виноградской: “Он часто твердил: “Галя мне друг; Галя мне единственный друг”. Но еще чаще забывал об этом” (Виноградская С. Как жил Есенин. С. 31).

И наконец, в завершении отношений Есенин всегда старался непременно причинить боль. Так было и при разрыве с “милой Галей”. “Вы мне близки как друг, — пишет Есенин 21 марта 1925 года. — Но я Вас несколько не люблю как женщину”<sup>1</sup>. Позже в том же стиле поэт порвет с жертвенно любящей его С. Толстой: “Не знаю, что сказать. Больше меня не увидишь. Ни почему. Люблю, люблю”<sup>2</sup>.

“Боже мой, — сетовала Бениславская в дневнике, — ведь Сергей должен был верить мне и хоть немного дорожить мной, я знаю — другой такой, любившей Сергея не для себя самой, другой он не найдет; и Сергей не верил, швырялся мной. И если я не смогла отдать Сергею все совсем, если я себя как женщину не смогла бросить ему под ноги, не смогла сломать свою гордость до конца, то разве ж можно было требовать это от меня, ничего не давая мне?”<sup>3</sup> Так и случилось. “Для Есенина это была потеря, — считает С. Виноградская, — потеря человека, который готов был идти на всякие жертвы, отдать все силы, всю жизнь. После этого он словно потерял уверенность в любви к нему людей...”<sup>4</sup>; ей невольно вторит и А. Миклашевская: “В самые страшные часы возле Есенина не было Гали, и погиб”<sup>5</sup>.

Самой Августой Леонидовной Миклашевской, актрисой Камерного театра, поэт увлекся в августе 1923 года. “Он умел быть таким нежным, таким внимательным! Помню Есенина и М<иклашевскую>, — вспоминал Семен Борисов. — Часами он просиживал подле М<иклашевской>, говорил нежные слова”<sup>6</sup>. “Есенин трезвый был очень застенчив. На людях он почти никогда не ел. Прятал руки, они казались ему некрасивыми”, — рассказывала сама актриса<sup>7</sup>.

Подоплека этой идиллии, впрочем, была проста — так было нужно для стихов, для введения новой темы. Вспоминает Мариенгоф:

На другой день после знакомства с Миклашевской Есенин читал мне:

*В первый раз я запел о любви...*

Это была чистая правда. <...>

1 Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 207.

2 Там же. С. 220.

3 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 114—115.

4 Виноградская С. Как жил Есенин. С. 32.

5 Миклашевская А. “Мы все виноваты перед ним” // Кузнецов В. Тайна гибели Есенина. С. 285.

6 Цит. по: С. А. Есенин: Материалы к биографии. М., 1992. С. 391.

7 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин. С. 342.

Приезжая к Миклашевской со своими новыми стихами, Есенин раза три-четыре встретился с танцором. Безумно ревнивый, Есенин совершенно не ревновал к нему. Думается, по той причине, что роман-то у него был без романа. <...>

Пил тогда он уже много и нехорошо. Но при своей музе из Камерного театра очень старался быть “дистенгэ”, как любил сказануть, привезя из-за границы несколько иностранных слов. <...>

*Прозрачно я смотрю вокруг  
И вижу — там ли, здесь ли, где-то ль, —  
Что ты одна, сестра и друг,  
Могла быть спутницей поэта.*

Стихи о любви наконец-то были написаны. И муза из камерного театра стала Есенину ни к чему<sup>1</sup>.

Есенин, впрочем, почти не скрывал “литературного” характера своей любви. В самом цикле стихов, посвященном Миклашевской, очень мало говорится о любви — разве что в первом стихотворении с введением. Любовь кажется исчерпанной уже во втором и третьем стихотворениях: “Потому и себя не сберег / Для тебя, для нее и для этой” (“Ты такая ж простая, как все...”); — “Пускай ты выпита другим...”; “И любовь, не забавное ль дело? / Ты целуешь, а губы как жечь, / Знаю, чувство мое перезрело, // А твое не сумело расцвести” (“Ты прохладой меня не мучай...”). О чем же поэт тогда ведет речь в любовных стихотворениях? Как почти всегда, о себе — поэтическая же возлюбленная служит лишь олицетворением его, поэта, осени и мотивировкой элегической оглядки. Возникла потребность в новой главе того лирического дневника, который Есенин неустанно вел последние два с лишним года, захотелось оттенить буйство “Москвы кабацкой” тихой грустью — вот и выбрал он Миклашевскую, как актрису на нужную ему роль.

Расставание влюбленных прошло также более чем откровенно, строго в рамках литературной темы.

“Увидев меня однажды на улице, — вспоминает сама актриса, — он соскочил с извозчика, подбежал ко мне.

— Прожил с вами уже всю нашу жизнь. Написал последнее стихотворение:

1 Мариенгоф А. Это вам, потомки! Записки сорокалетнего мужчины. Екатерина. Роман. М., 1994. С. 44.

*Вечер черные брови насопил.  
Чьи-то кони стоят у двора.  
Не вчера ли я молодость пропил?  
Разлюбил ли тебя не вчера?*

Как всегда, тихо почитал все стихотворение и повторил:

*Наша жизнь, что былой не была...*<sup>1</sup>

Вообще же — обращение Есенина с женщинами нередко контрастировало с описанным в воспоминаниях С. Борисова образом нежного и застенчивого поклонника Миклашевской. Вот случай, приведенный тем же мемуаристом: “Помню, летом 1923 г. я встретил его на Тверской в обществе элегантной дамы. Знакомя меня, он сказал:

— Я ее крыл...

Дама, красная, как помидор, крутила зонтик... Чтобы выйти из замешательства, я начал говорить о каких-то делах...”<sup>2</sup>.

Болезненная переменчивость подрывала самую возможность в жизни Есенина не только любви, но и дружбы.

Между тем поэт, несомненно, имел подлинный талант товарищества и дружбы. Мемуаристы, близко знавшие Есенина в последние годы, неизменно отмечают его внимание и бескорыстную заботу о близких друзьях, а по отношению к знакомым — обворожительную мягкость и деликатность: “Он был беспомощен, как двухлетний ребенок; не мог создать нужной обстановки, устроить просто, по-человечески жизнь. И вместе с тем он умел заботиться о других” (С. Виноградская)<sup>3</sup>; “С ним дружили и пили, брали в долг деньги, которые он никогда, как мне известно, не требовал назад, но люди не хранили и не заботились об участии его большого таланта” (А. Сахаров)<sup>4</sup>; “Казалось, он улыбается всему миру — деревьям, дню, облакам, людям, цветам, — улыбка у него была чистосердечна и жизнерадостна, он будто звал улыбаться с собой всех окружающих” (И. Рахилло)<sup>5</sup>.

Анна Назарова вспоминает один из случаев есенинского самопожертвования в дружбе: “У Ганина плохие сапоги. Как-то за чаем — до-

1 Миклашевская А. Л. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин... С. 349.

2 Борисов С. Встречи с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 143.

3 Виноградская С. Как жил Есенин. С. 27.

4 Сахаров А. Из воспоминаний о Сергее Есенине // Вечерний Ленинград. 1990. № 3.

5 Рахилло И. Серебряный переулочек. Роман. Повесть. Рассказы. Встречи. М., 1974. С. 520.



вольно прозрачно, говорит, вроде того, что “у тебя, Сергей, много обуви, а мои развалились”, Ганин намекнул Есенину, что тому надо дать сапоги Ганину. Денег, чтоб купить, нет. Есенин решает: “Отдам желтые ботинки и длинные чулки”. У самого Есенина было что-то 2 пары ботинок, и эти — “желтые” — лучшие <...> Я начала протестовать и, конечно, напрасно, потому что мне все же пришлось отдать Ганину туфли”<sup>1</sup>.

Но это в светлые моменты жизни; в другой раз Есенин вполне мог повернуться к другу темной стороной. Так, со своим постоянным спутником и собутыльником И. Приблудным он вовсе не так щедр: “Дрянной человек <...> я сказал, чтобы чтоб он заплатил мне за башмаки”<sup>2</sup>. В воровстве, впрочем, обвиняется не только этот “верный Лепорелло”, на голову которого (если верить Мариенгофу) старший товарищ как-то со всей силы опустил тяжелую пивную кружку<sup>3</sup>. В затемненном подозрениями сознании Есенина-Хайда все оказываются под подозрением: “Все воры! Все... <...> Наседкин вор! <...> Плакать хочется!”<sup>4</sup>. И поэт порой и поступал с товарищами в соответствии со своей манией. “...Однажды он съехал с квартиры товарища, у которого жил, — рассказывает С. Виноградская. — Съехал он в отсутствие того и увез с собою все комнатные принадлежности вплоть до занавесок.

— Все мое! Все забрать, чтоб ничего не осталось!..”<sup>5</sup>.

“У меня нет друзей”; “Друзья — свора завистников, или куча вредного дурачья”<sup>6</sup>, — твердил поэт в частных разговорах и о том же подчас говорил в стихах: “Средь людей я дружбы не имею...” (“Я обманывать себя не стану...”); “...И нет за гробом ни жены, ни друга” (“Ответ”).

Перелом в сознании Есенина во многом связан с еще одним роковым разрывом в его жизни: после Мариенгофа у него действительно не стало друзей по большому счету.

С конца августа 1923 года поэт поселился в своей прежней квартире на Петровке, где оставался жить Мариенгоф. В сентябре давно и исподволь копившееся есенинское раздражение против лучшего друга прорвалось наружу: он “вызвал Мариенгофа на откровенное объяснение по поводу” денежных “расчетов с его сестрой Катей” во время пребывания Есенина

1 Назарова А. Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 130–131.

2 Есенин С. А. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 170.

3 Мой век... С. 35.

4 Мой век... С. 380.

5 Виноградская С. Как жил Есенин. С. 25.

6 Тарасов-Родионов А. И. Последняя встреча с Есениным // С.А. Есенин: Материалы к биографии. С. 250.

за границей, “и они так поссорились, что перестали разговаривать друг с другом”<sup>1</sup>.

“После разрыва с Мариенгофом не пожелал оставаться в общей квартире и перекочевал временно ко мне на Оружейный, — вспоминает приятель Есенина, член “Ассоциации вольнодумцев” Иван Старцев. — Приходил только ночевать, и в большинстве случаев в невменяемом, пьяном состоянии. Однажды нас с женой около четырех утра разбудил страшный стук в дверь. В дверях показывается напуганный Сахаров и сообщает, что с Есениным сделалось дурно: он упал и лежит внизу на лестнице. Мы жили на восьмом этаже. Лифт не работал. Спускаемся вниз. Есенин лежит на парадной площадке, запрокинув голову. Берем его с женой и Сахаровым на руки и несем в квартиру. Укладываем. Падая, он исцарапал себе лицо и хрипел. Придя немного в себя, он беспрерывно начал кашлять, обрызгав всю простыню кровью”<sup>2</sup>.

После Мариенгофа поэт перестал терпеть рядом с собой равных: все должны были находиться в его тени, служить ему фоном — слушателями, подголосками, верными поклонниками и учениками. Отсюда кружение около Есенина “нищенствующей братии”<sup>3</sup>, “воронья”<sup>4</sup>, у которых он, презирая их, все же шел на поводу. “У нас были с ним столкновения, доходившие до грубых выкриков и чуть не до драки”<sup>5</sup>, — вспоминает один из ближайших к нему в этот период людей — А. Сахаров; отныне для Есенина повседневная агрессия — это норма дружеских отношений.

В последний свой период поэт предпринимал порой попытки возобновить старинные связи — но всякий раз неудачно.

Бениславская описывала тяжелые бытовые условия, в которых оказался Есенин осенью 1923 года: “Нам пришлось жить втроем (я, Катя и С. А.) в одной маленькой комнате”<sup>6</sup>. И все же, несмотря на стесненные обстоятельства, в сентябре Есенин пригласил к себе в Москву давнего друга Ни-

1 *Ройзман М.* Все, что помню о Есенине. С. 194. Ср. в мемуарах Г. Бениславской: “Когда С. А. был за границей, денежные дела у Мариенгофа были очень плохи. “Стойло” закрылось, магазин денег не давал”, и Мариенгоф с женой, “ждавшей тогда ребенка, форменным образом голодали <...> Катя, по ее словам, не зная нужды при С. А., неоднократно обращалась к Мариенгофу, зная, что часть денег из магазина принадлежит С. А., но денег не получала. Не зная, а может быть по легкомыслию не желая вникнуть в положение Мариенгофа, она возмущалась и, кажется, даже писала С. А. о том, что Мариенгоф не дает денег” (*Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 79).

2 *Старцев И.* Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 86–87.

3 *Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 48.

4 *Назарова А.* Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 130.

5 *Сахаров А.* Из воспоминаний о Сергее Есенине // Вечерний Ленинград, 1990. 3 окт. № 229.

6 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 36.



Николай Клюев и Николай Архипов  
1921–1922

коля Клюева. “Иду на совещание относительно Клюева с паспортной братией”, — информировал он Бениславскую об очередном этапе своих хлопот<sup>1</sup>.

В стилизованной “Бесовской басне про Есенина”, записанной за Клюевым Н. И. Архиповым, олонецкий поэт так изложил события, предшествовавшие его посещению Москвы: “Пришло мне на ум написать письмо Есенину, потому как раньше я был наслышан о его достоинствах немалых, женитьбе богатой и легкой жизни. Писал письмо слезами, так, мол, и так, мой песенный братец, одной мы зыбкой пестованы, матерью-землей в мир посланы, одной крестной клятвой закляты, и другого ему немало написал я, червонных и кипарисовых слов, отчего допрежь у него, как мне было приметно, сердце теплялось”<sup>2</sup>. Клюевское письмо “песенному братцу” возымело должные последствия. “С. А. взволнованно и с большой любовью говорил, какой Клюев чудный, хороший, как он его любит, — вспоминала близкая подруга Бениславской и ее соседка по квартире Анна Назарова. — Решил, что поедет и привезет его в Москву”<sup>3</sup>. В середине октября есенинское намерение было исполнено.

Клюев и Бениславская с Назаровой не пришли друг другу по душе. Николай Алексеевич сетовал в письме к Архипову от 2 ноября: “Я живу в непробудном кабаке, пьяная есенинская свалка длится днями и ночами. Вино льется рекой, и люди кругом бескрестные, злые и неоправданные. Не знаю, когда вырвусь из этого ужаса”<sup>4</sup>. В “Бесовской басне про Есенина” Клюев, не скупясь на черные краски, изобразил располагавшийся на “седьмом этаже есенинский рай: темный нужник с горами винных бутылок, с духом вертепным по боковым покоем”, “без лика женского, бессо-

1 *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 160.

2 Цит. по: *Азадовский К.* Жизнь Николая Клюева. Документальное повествование. С. 197.

3 *Назарова А.* Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 127.

4 Цит. по: *Азадовский К.* Жизнь Николая Клюева... С. 198.

вестны<х>” насельниц этого “рая” и самого поэта, читающего свои поэтические произведения в “Стойле Пегаса”: “...Бедный Есенин гнусавит стихами, рязанское золото за гной продает”<sup>1</sup>.

В свою очередь, Назарова и Бениславская с содроганием вспоминали клюевское “сытое, самодовольное и какое-то нагло-услужливое лицо”<sup>2</sup>, его “иезуитск<ую> тонкость” и “таинствен<ые> нашептывани<я>”<sup>3</sup>.

Неудивительно, что Клюев продержался в Москве меньше месяца.

По возвращении из-за границы Есенин уже был не в состоянии так легко ориентироваться в писательской жизни, как умел это раньше. Поэтому и его поведение в литературной борьбе отличалось той же непоследовательностью, что и в быту: чем больше внешняя и внутренняя стихии бросали его от группировки к группировке, тем в большей степени он ощущал свое одиночество в литературе.

Поэт прибыл в Москву 3 августа 1923 года — еще имажинистом. Едва ли не в этот же день на юг, где вместе с женой и маленьким сыном Кириллом отдыхал Анатолий Мариенгоф, полетела телеграмма: “Приехал приезжай — Есенин”<sup>4</sup>. Из мемуаров Мариенгофа:

“Ошалев, заскакал я и захолопал в ладоши <...>

— Ну, брат Кирилл, в Москву едем... Из невозможных Америк друг мой единственный вернулся...”<sup>5</sup>.

Ближайшие месяцы показали, что Мариенгоф радовался напрасно.

После неудачного вояжа за мировой славой в Европу и Америку<sup>6</sup> Есенин в своих чаяниях вновь вернулся к роли первого русского поэта. Но его стратегические планы теперь были связаны не с имажинистами или, точнее сказать — не с имажинистами в первую очередь. “Имажинизм в ту пору не был уже трибуной, с которой его было бы слышно на всю Россию, — свидетельствовал Рюрик Ивнев. — <...> Однако, будучи очень осмотровым и осторожным, несмотря на свою экспансивность,

1 Там же. С. 199–201.

2 Назарова А. Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 127.

3 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 45.

4 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 158.

5 Мой век... С. 403–404.

6 Пародийный итог этого вояжа — анекдот о Есенине, в присутствии самого Есенина рассказанный А. Сахаровым и записанный В. Эрлихом: “Иду я по Тверской. Смотрю — иностранец какой-то остановился и кричит. Слов не разобрать. Толпу собирает. Подошел ближе. Елки-палки! — Сергей. — Меня — кричит — весь мир знает! Меня на французский язык перевели! Хотите, прочту? — Да вдруг как завопит на всю улицу: — Повар, повар пейзаж!” (Эрлик В. Право на песнь. С. 11).

он не разрывал с имажинизмом. Свое недовольство имажинизмом он вдруг перенес на Мариенгофа”<sup>1</sup>.

Весной 1924 года Есенин попытался организовать внутриимажинистский переворот. Он вернулся мыслями к журналу “Вольнодумец”, в котором, по его плану, должны были участвовать Всеволод Иванов, Борис Пильняк, Леонид Леонов, Валерий Брюсов, Андрей Белый, Николай Клюев, Сергей Городецкий... Этот журнал поэт теперь собирался противопоставить “Гостинице для путешествующих в прекрасное”. Седьмым апреля 1924 года датировано есенинское заявление в правление “Ассоциации вольнодумцев”: “Совершенно не расходясь с группой и работая над журналом “Вольнодумец”, в который и приглашаю всю группу, в журнале же “Гостиница” из эстетических чувств и чувств личной обиды отказываюсь участвовать окончательно, тем более что он мариенгофский.

Я капризно заявляю, почему Мар<иенгоф> напечатал себя на первой странице, а не меня”<sup>2</sup>.

Ни одного номера журнала “Вольнодумец” в свет так и не вышло.

В июле, когда Есенину был вручен членский билет Всероссийского союза писателей и вышла в свет книга стихов поэта “Москва кабацкая”, поэт и вовсе решил отменить имажинизм. 31 августа “Правда” напечатала короткое открытое письмо Есенина и Ивана Грузинова, призванное побольнее усть былых соратников по имажинистскому содружеству: “Мы, создатели имажинизма, доводим до всеобщего сведения, что группа “имажинисты” в доселе известном составе объявляется нами распущенной. Сергей Есенин. Иван Грузинов”<sup>3</sup>.

Разумеется, обиженные Мариенгоф, Шершеневич, Рюрик Ивнев, Ройзман и Н. Эрдман в долгу не остались. В еженедельнике “Новый зритель” от 9 сентября 1924 года они ответили на заявление Есенина и Грузинова крайне резким письмом. Оно начиналось в утрированно официальном тоне, подчеркнутым повторами слов (“заявление — заявление”, “имажинизма — имажинизма”, “являлся — является”):

*В “Правде” письмом в редакцию Сергей Есенин заявил, что он распускает группу имажинистов.*

1 Рюрик Ивнев. Об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 30.

2 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 217. В начале мая 1924 года Есенин писал Бениславской о Мариенгофе: “Да! Со “Стойлом” дело не чисто. Мариенгоф едет в Париж. Я или Вы делаете отсюда выводы. Сей вор хуже Приблудного. Мерзавец на пуговицах” (Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 167).

3 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 7. Кн. 2. С. 252.



Николай Клюев, Сергей Есенин и Всеволод Иванов  
Фотография М. С. Нанпельбаума. Ленинград. 1924

*Развязность и безответственность этого заявления вынуждает нас опровергнуть это заявление. Хотя С. Есенин и был одним из подписавших первую декларацию имажинизма, но он никогда не являлся идеологом имажинизма, свидетельством чему является отсутствие у Есенина хотя бы одной теоретической статьи.*

*Есенин примыкал к нашей идеологии, поскольку она ему была удобна, и мы никогда в нем, вечно отказывавшемся от своего слова, не были уверены как в соратнике.*

Заканчивается же письмо каламбуром, выдающим руку Шершеневича: “Таким образом, “ропуск” имажинизма является лишь лишним доказательством собственной распущенности Есенина”<sup>1</sup>.

Порвав с имажинизмом, поэт попытался использовать давно выработанную им тактику — застолбить за собой возможно большее количество печатных и эстрадных площадок, завязать дружеские отношения со всеми хоть сколько-нибудь влиятельными литературными группировками.

1 Сергей Есенин в стихах и жизни... С. 339–340.





Сергей Есенин. 1924

Среди шагов, предпринятых поэтом в этом направлении, не только понятное и логичное братание с крестьянскими писателями, но и печатанье в рапповских журналах, и даже полусерьезные переговоры с Николаем Асеевым о вхождении в ЛЕФ “на автономных началах”<sup>1</sup>. В феврале 1924 года “Есенин жаловался, что ему “не с кем” работать. По его словам выходило, что с имажинистами он разошелся. “Крестьянские” же поэты были ему не в помощь. Он говорил, что любит Маяковского и Хлебникова”<sup>2</sup>.

Тем не менее в отчете С. Борисова о вечере Есенина, состоявшемся 21 августа 1923 года “в переполненной аудитории Политехнического музея”, сообщалось, что во вступительном есенинском слове, открывшем вечер, было меньше обещанных заграничных впечатлений, чем “раздражений по поводу “Лефа”. Увы, это раздражение и полемические выпады покоились не на критической базе, а на шатком фундаменте поэтической конкуренции”<sup>3</sup>.

Осенью 1923 года Есенин познакомился с Александром Константиновичем Воронским — главным редактором журналов “Красная новь” и “Прожектор”, руководителем издательства “Круг”. Воронский всячески поддерживал писателей-“попутчиков”, как мог защищал их от рапповцев. “Никогда не следует забывать, — писал он, например, в большой статье, напечатанной в “Правде”, — что сплошь и рядом промежуточные, беспартийные писатели, среди которых немало очень чутких и одаренных художников, говорят первые и новые слова, не только влияют, но и определяют художественное творчество пролетарских писателей. Примеры: Маяковский, Есенин, Н. Тихонов, Бабель, Сейфуллина и т. д.”<sup>4</sup>.

1 Асеев Н. Три встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 184.

2 Там же.

3 Борисов С. Вечер Есенина // Известия. 1923. 23 августа. С. 5. Далее Борисов отмечал, что “<с>ила языка и образа” прочитанных на вечере стихов из “Москвы кабацкой” “оставляет за собой далеко позади родственную ему по романтизму поэзию Блока” (Там же). Попутно отметим, что в первом номере журнала “ЛЕФ” за 1924 год был опубликован рассказ И. Бабеля “Мой первый гусь”, куда писатель включил бурлескный низовой шарж на своего друга Есенина.

4 Воронский А. Литературные заметки // Правда. 1924. 12 октября. С. 2. О деятельности Воронского на посту главного редактора “Красной нови” см.: Флейшман Л. Борис Пастернак в двадцатые годы. СПб., 2003 (по именному указателю); Динерштейн Е. А. К. Воронский: В поисках живой воды. М., 2001. С. 67–85.

“...В редакционную комнату “Красной нови” вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста человек лет двадцати шести — двадцати семи. На нем был совершенно свежий, серый, тонкого английского сукна костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

— Сергей Есенин. Пришел познакомиться”, — так описывал Воронский свое первое впечатление от поэта<sup>1</sup>.

О тяжелом, угнетающем влиянии Воронского на Есенина писала в своих мемуарах Галина Бениславская. “Задерганный Лелевичем, Родовым и прочими напостовцами, и по ряду других причин, он сам довольно пессимистически смотрел на окружающее. Бодрые фразы и унылые мысли. Но что Воронскому — здорово, то Есенину — смерть. Нельзя было С. А. прикасаться к этой унылости. Воронский этого не понимал”<sup>2</sup>.

Это суждение Бениславской, может быть, было и не вполне справедливо. Но то, что Есенин был задерган борьбой литературных партий, — несомненно. Причиной есенинского уныния, впрочем, была не только и не столько травля напостовской критики, сколько его собственные шатания — между крестьянскими поэтами, РАПП, ЛЕФом, имажинистами и попутчиками. Уставал Есенин и от той борьбы, которую вели за него журналы и влиятельные литературные группировки, — борьбы, которая опять-таки была самим Есениным и спровоцирована.

Слишком легко он шел на контакт с литературными погромщиками — соответственно, не обходилось и без некоторой зависимости от них. Но все же, порой идя у партийцев на поводу, поэт никогда им не сдавался. В начале марта Есенина при посредничестве Анны Берзинь, журналистки, близкой к РАПП, положили в Кремлевскую больницу. Затем на некоторое время он поселился у активного рапповца, редактора журнала “На литературном посту” Иллариона Вардина. Здесь была

<sup>1</sup> Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 67.

<sup>2</sup> Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 43. Позже, в разговоре с А. Тарасовым-Родионовым, одним из организаторов ортодоксального журнала “Октябрь”, Есенин соглашается с презрительной оценкой Воронского: “Да, гаденький человечиска...” (Тарасов-Родионов А. И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин. Материалы к биографии. С. 254). Сам мемуарист признается, что вел в 1924—1925 годах охоту за Есениным, и безуспешную: “В то время я имел большое влияние на политику ВАПП и, что называется, охаживал Есенина, стараясь свернуть его творчество на отчетливо советские рельсы. Тогда же я купил у него для “Октября” и “Песнь о великом походе”” (Там же. С. 243). Публикация Есенина в “Октябре” была оценена писателями-“попутчиками” как предательство (см.: Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // Есенин глазами женщин. С. 309, 311).



Александр Воронский. 1920-е

“здоровая атмосфера. Тяготило С. А. только одно — ему все казалось, что с ним возьтятся, надеясь сделать из него “казенного” советского поэта”<sup>1</sup>. “Он чудный, простой и сердечный человек. Все, что он делает в литературной политике, он делает как честный коммунист. Одно беда, что коммунизм он любит больше литературы”, — так Есенин характеризовал Вардина в письме к сестре Екатерине от 17 сентября 1924 года<sup>2</sup>.

Впрочем, ставки “первого российского пиита” были выше: в своем стремлении занять высокое место на советском литературном олимпе он особенно рассчитывал на поддержку тогдашнего председателя

Реввоенсовета Льва Давидовича Троцкого — и не без оснований. Аудиенцию у него поэту устроил Яков Блюмкин. На приеме у Троцкого, общал в своих мемуарах М. Ройзман со слов Блюмкина, “Есенин заявил, что крестьянским поэтам и писателям негде печататься: нет у них ни издательства, ни журнала. Нарком ответил, что этой беде можно помочь: пусть Сергей Александрович, по своему усмотрению, наметит список членов редакционной коллегии журнала, который разрешат. Ему, Есенину, будет выдана подотчетная сумма на расходы, он будет печатать в журнале произведения, которые ему придется по душе. Разумеется, ответственность политическая и финансовая за журнал целиком ляжет на Сергея. Есенин подумал-подумал, поблагодарил наркома и отказался. Когда вышли из кабинета, Блюмкин, не скрывая своей досады, спросил Есенина, почему тот не согласился командовать всей крестьянской литературой? Сергей ответил, что у него уже был опыт работы с Клычковым и Орешиним в “Трудовой артели художников слова”: однажды выяснилось, что артель осталась без гроша. А кто поручится, что это же не произойдет и с журналом? Он же, Есенин, не так силен в финансовых во-

1 *Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 71.

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 178.

просах. А зарабатывать себе на спину бубнового туза не собирается”<sup>1</sup>.

Тем не менее в письме к Дункан, 29 августа 1923 года отправленном Есениным из Москвы в Кисловодск (где танцовщица была на гастролях), о встрече с вождем рапортуется как о большом и важном успехе: “Был у Троцкого. Он отнесся ко мне изумительно. Благодаря его помощи мне дают сейчас большие средства на издательство”<sup>2</sup>. Василию Наседкину Есенин позднее признавался, что считает Троцкого “<и>деальным, законченным типом человека”<sup>3</sup>. А Вольфу Эрлиху он говорил о своем отношении к Троцкому так: “Если захочет высечь меня, так я сам штаны сниму и сам лягу! Ей-богу лягу!”<sup>4</sup>



Лев Троцкий и Юрий Анненков  
Москва. 1923

**З** Однако вернемся к пребыванию в Москве Николая Клюева. Что он “нашептывал” младшему поэту? Бениславская с Назаровой и в этом случае проявили полное единодушие. Бениславская: “Клюев с его иезуитской тонкостью преподнес Е<сенину> пилюлю с “жидами” (ссылаясь на

1 *Ройзман М.* Все, что помню о Есенине. С. 198. Нужно заметить, что высокое покровительство отнюдь не страховало поэта от нападков в советской печати. Так, в опубликованной в июле 1923 года статье близкого есенинского приятеля (!) Георгия Устинова о Есенине говорилось как о “синоним <е> оппозиции по отношению к пролетарскому государству” (*Устинов Г.* Пролетарские поэты // *Известия.* 1923. 29 июля. С. 4). “Конечно, ни Есенина, ни Шершеневича, ни Мариенгофа нельзя назвать “белыми поэтами”. Но их поэтическая школа, их творчество этого <пореволюционного> периода глубоко чужды пролетариату” (Там же). См. также, например, в коллективной статье рапповцев (среди ее авторов И. Вардин, друг и покровитель Есенина) 1924 года: “К <...> промежуточным группировкам относятся и крестьянские писатели, недостаточно организованные. К сожалению, больше всего пока среди них выявились как раз элементы “мужицкого” консерватизма и даже реакции (С. Есенин, Н. Клюев, П. Орешин и др.)” (*Правда.* 1924. 19 февраля. С. 6).

2 *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 158.

3 *Наседкин В.* Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 232.

4 *Эрлих В.* Право на песнь. С. 75–76. Безусловно, живо следующее “свидетельство” из мемуаров Н. Вержбицкого о Есенине, относящееся к пребыванию Есенина в Баку в 1924 году: “Однажды, когда я ночью пришел домой из типографии с свежим оттиском газеты, в которой было напечатано выступление Троцкого, Сергей внимательно прочел его и, кончив, — с ожесточением скомкал газету” (*Вержбицкий Н.* Встречи с Есениным. Тбилиси, 1961. С. 93).



Сергей Клычков, Иван Приблудный, Сергей Есенин, Николай Богословский  
Москва. Май 1924

то, что его, мол, Клюева, они тоже загубили)”<sup>1</sup>. Назарова: “К<люев> рассказывал, как ему тяжело живется: “Жиды правят Россией” — потому “не люблю жидов”, — не раз повторял он. У С. А. что-то оборвалось — казалось, он сделался юдофобом, не будучи им по натуре. “Жид” стал для него чем-то вроде красного для быка”<sup>2</sup>.

Вспышка есенинского антисемитизма была инициирована его общением не только с Клюевым, но и с другими крестьянскими поэтами. На осень 1923 года пришлось возобновление тесных дружеских и деловых контактов Есенина с Сергеем Клычковым, Петром Орешиним, а также Алексеем Ганиным. “Есенин начал заметно отбиваться от “Стойла”, все чаще и чаще навещал Клычкова и Орешина, задумывал организацию группы народных поэтов и свое издательство”<sup>3</sup>. 25 октября Клюев, Есенин и

1 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 45.

2 Там же. С. 127.

3 *Старцев И.* Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 71. Но это не мешало Есенину при случае отмежевываться от крестьянских поэтов. “Не хочу отражать <...> крестьянские массы, — записывает И. Оксенов слова Есенина в своем дневнике. — Не хочу надевать хомут Сурикова или Спиридона Дрожжина. Я просто <...> русский поэт, я не политик <...> поэт, это — тема, искусство не политика, оно — остается, искусство — это”, — и он делает неуловимо-восторженный жест” (*Оксенов И.* Никто другой нам так не улыбнется // *Кузнецов В.* Тайна гибели Есенина. С. 229).

Клычков даже провели совместный “вечер русского стиля” в Доме ученых на Пречистенке. Из отчета о вечере, помещенного в “Известиях”: “В старый барский особняк, занимаемый Домом Ученых, пришли трое “калик-перехожих”, трое русских поэтов-бродяг: С. Есенин, Ал. Ганин и Н. Клюев. Сергей Есенин прочел свои “Кабачки-песни”, Алексей Ганин — большую поэму “Памяти деда” (“Певучий берег”), Николай Клюев — “Песни на крови”. Выступление имело большой успех”<sup>1</sup>. Из воспоминаний Владимира Пяста: “От этого вечера в памяти остались: колоритная фигура в длинном зипуне (Клюев) — и еще ярче — кудрявая есенинская голова, с выражением несколько сонным, и его правая рука, в двух пальцах которой была зажата папироска и которою он как бы дирижировал своему музыкально модулирующему инструменту (голосу)”<sup>2</sup>.

20 ноября, уже после отъезда Клюева из Москвы, разыгрался взбудораживший всю литературную столицу скандал, который положил начало громкому “делу четырех поэтов” — Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина. Из показаний М. В. Родкина в Московском губернском политотделе ГПУ: “Рядом со мною <в пивной> сидели четверо прилично одетых молодых граждан и пили пиво. Судя по возбужденному их состоянию и по несдержанному поведению, я понял, что они сидят здесь довольно долго и что они до некоторой степени находятся под влиянием выпитого пива <...> Один из этих четырех граждан в это время встал со своего места и приблизительно на 1 минуту куда-то вышел. Возвращаясь на свое место и проходя мимо моего стула, я инстинктивно почувствовал, что он обратил на меня особое внимание. <...> Двое из них сразу перешли на тему о жидках, указывая на то, что во всех бедствиях и страданиях “Нашей России” виноваты жида. Указывалось на то, что против засилья жидов необходимы особые меры, как погромы и массовые избиения. Видя, что я им не отвечаю и что я стараюсь от них отворачиваться, желая избежать столкновения, они громче стали шуметь и ругать “паршивых жидов””<sup>3</sup>. В конце концов Родкин не выдержал, сбегал за подмогой, и четверых поэтов забрали в милицию.

Дело получило широкую огласку и дошло до товарищеского суда: “13 декабря <1923 года> в Доме Печати был оглашен приговор товарищеского суда по делу поэтов Есенина, Клычкова, Орешина и Ганина. Товарищеский суд признал, что поведение поэтов в пивной носило характер антиоб-

1 Цит. по: Азадовский К. Жизнь Николая Клюева... С. 198.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 93.

3 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 425 — 426.





Василий Казин и Сергей Есенин  
Москва. 23 сентября 1923

щественного дебоша, давшего повод сидевшему рядом с ними гр. Ро<д>кину истолковать этот скандал как антисемитский поступок, и что на улице и в милиции эти поэты, будучи в состоянии опьянения, позволили себе выходки антисемитского характера. Ввиду этого товарищеский суд постановил объявить поэтам Есенину, Клычкову, Орешину и Ганину общественное порицание <...> Суд считает, что инцидент с четырьмя поэтами ликвидируется настоящим постановлением товарищеского суда и не должен служить в дальнейшем поводом или аргументом для сведения литературных счетов и что поэты Есенин, Клычков,

Орешин и Ганин, ставшие в советские ряды в тяжелый период революции, должны иметь полную возможность по-прежнему продолжать свою литературную работу”<sup>1</sup>.

“В последнем слове он, Есенин, оправдывался, возмущался несправедливостью обвинения, по-детски серьезно морщил брови, но не выдерживал и, как ребенок, внезапно смеялся, зная, что ему-то уж, конечно, все сойдет с рук”, — вспоминал Н. Полетаев<sup>2</sup>.

Некоторые защитники репутации Есенина совершенно напрасно пытаются представить Родкина лжецом и доказать, что никакой антисемитской подоплеки в деле четырех поэтов не было: чуть больше месяца спустя после оглашения постановления товарищеского суда, а именно — 20 января 1924 года, пьяный Есенин был доставлен в 46-е отделение милиции г. Москвы. “Дорогой он кричал: “бей жидов”, “жиды предали Россию” и т. д.” (из протокола задержания поэта)<sup>3</sup>.

Но как же тогда быть со следующими, например, высказываниями Есенина, зафиксированными в воспоминаниях современников: “Что они, сговорились, что ли? Антисемит — антисемит! Ты — свидетель! Да

1 *Есенин С.* Полн. собр. соч. Т. 6. С. 433 — 434.

2 *Полетаев Н.* Есенин за восемь лет // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 105.

3 Уголовные дела по обвинению Есенина С. А. по ст. ст. 88, 176, 219 Уголовного кодекса (1923 — 1924 гг.) // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 317.

у меня дети — евреи! Тогда что ж это значит?”<sup>1</sup>; “Разве я антисемит? Моя первая жена — еврейка, друзья мои евреи, еврейского поэта Мани-Лейба я пропагандирую в России... Нет у меня антисемитизма”<sup>2</sup>? И что делать с таким, например, свидетельством М. Ройзмана: “В конце 1923 года в еврейской газете была опубликована поэма Есенина “Инония” в превосходном переводе Самуила Галкина. Сергей не выпускал газеты из рук, показывал ее друзьям и знакомым, говорил, что никогда бы его стихи не перевели и не напечатали, если бы верили в то, что он питает антипатию к евреям”<sup>3</sup>? Как, наконец, трактовать приводившиеся нами выше восторженные есенинские оценки Л. Д. Троцкого, ведь в пьяном виде поэт обвинял вождя в том, что он поддерживает “жидов-биржевиков”<sup>4</sup>?

И на этот вопрос помогает ответить метафора “Джекил/Хайд”. “Есенин-Джекил” относился к окружающим его евреям спокойно и даже дружески, “Есенин-Хайд” давал волю глубоко спрятанному в “Джекиле” комплексу национальной неполноценности. “В трезвом состоянии, — вспоминала поведение Есенина в конце 1923 — начале 1924 годов Г. Бениславская, — второе понятие о евреях, вытеснившее первое — о жидах, главенствовало: “Ведь ничего во мне нет против них. А когда я пьяный, мне кажется бог знает что”. И у пьяного в тот период всегда всплывали эти разговоры”<sup>5</sup>.

В. С. Чернявский вспоминает Есенина в таком состоянии “Хайда” (Ленинград, апрель 1924 года): “Он вдруг пришел в страшное, особенное волнение. “Не могу я, ну как ты не понимаешь, не могу я не пить. Если бы не пил, разве мог бы я пережить все это, все?..” <...> Чем больше он пил, тем чернее и горше говорил о современности, о том, “что они делают”, о том, что его “обманули” <...> В этом потоке жалоб и требований был и невероятный национализм, и ненависть к еврейству, и опять “весь мир — с аэроплана”, и “нож в сапоге”, и новая, будущая революция, в которой он, Есенин, уже не стихами, а вот этой рукой будет бить, бить... кого? он сам не мог этого сказать, не находил... <...> Он опять говорил, что “они повсюду, понимаешь, повсюду”, что “они ничего, ничего не оставили”, что он не может терпеть (“Ненавижу, Володя, ненавижу”). <...> И неизвестно было, где для него настоящая правда — в этой кидающейся, беспред-

1 Эрлих В. Право на песнь. С. 82.

2 Борисов С. Встречи с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 144.

3 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 219.

4 См. показания Родкина: Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 426.

5 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 46.

метной ненависти или лирической примиренности его стихов об обновленной родине”<sup>1</sup>.

Комментарием к этой теме пусть послужит конспективное изложение истории взаимоотношений Сергея Есенина с Осипом Мандельштамом и Борисом Пастернаком.

Мандельштам и Есенин познакомились не ранее марта 1914 года в Петербурге. В уже цитировавшихся нами мемуарах Владимира Чернявского описан поэтический вечер в редакции петербургского “Нового журнала для всех”, состоявшийся 30 марта 1915 года, где Есенин читал стихи после Мандельштама<sup>2</sup>. В “Нездешнем вечере” Марины Цветаевой рассказано о чтении Есениным и Мандельштамом своих стихов в редакции “Северных записок”<sup>3</sup>. Имена Есенина, Мандельштама, Ахматовой и Клюева соседствуют в том газетном отчете, где говорится об их совместном участии в “Вечере современной поэзии и музыки”, состоявшемся 15 апреля 1916 года в петербургском Тенишевском училище<sup>4</sup>.

Отношение Есенина к Мандельштаму и его стихам не было ровным и в значительной степени определялось состоянием (“Джекил” или “Хайд”), в котором находился автор “Радуницы” в ту или иную минуту. В своих “Ключах Марии” (1918) Есенин, неодобрительно рассуждая о Клюеве, процитировал, не называя имени автора, мандельштамовское стихотворение “Золотистого меда струя из бутылки текла...” (1917), тем самым приписав эти стихи Клюеву<sup>5</sup>. Согласно недружественным мемуарам Александра Коваленкова, “Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама”<sup>6</sup>. Иван Грузинов сообщает, что в 1920 году Есенин вызвался быть секундантом В. Шершеневича на его так и не состоявшейся дуэли с Мандельштамом<sup>7</sup>. Еще в одном варианте воспоминаний Грузинова зафиксирована такая реплика Есенина, обращенная к Мандельштаму в 1921 году: “Вы плохой поэт! Вы плохо владеете рифмой! У вас глагольные рифмы!”<sup>8</sup>

Однако в разговоре с Эмилем Германом Есенин утверждал: “Нас, русских, только трое: я, ты да Мандельштам. Не спорь! Вы русский лучше меня знаете”<sup>9</sup>. Приведем также фрагмент из письма Надежды Яковлевны

1 Цит. по: Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 564.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 203.

3 Цветаева М. Нездешний вечер // Цветаева М. Собрание сочинений. Т. 4. С. 287.

4 Речь. 1916. 17 апреля.

5 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 5. С. 206.

6 Коваленков А. Хорошие, разные... Литературные портреты. М., 1966. С. 12.

7 Грузинов И. Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 125 — 126.

8 Там же. С. 365.

9 Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 174.



Мандельштам к Анне Андреевне Ахматовой 1957 года: художнику А. Осмеркину “Есенин говорил, что он “этого жиди любит”; встретили мы его чуть ли не накануне самоубийства, он звал в трактир, и Ося долго каялся, что не пошел”<sup>1</sup>.

Двойственность отношения Есенина к мандельштамовскому творчеству отчетливо обнажена в устных мемуарах Надежды Вольпин о 1921 годе: “Есенин подошел и крикнул ему: “Вы пишете плохие стихи”, а через несколько дней объяснял мне, что Мандельштам пишет прекрасные стихи”<sup>2</sup>.

Отношение Мандельштама к Есенину также нельзя назвать однозначным. В 1921 году он объяснял Вольпин, что “Есенину не о чем говорить. “О чем он пишет?! “Я — поэт”. Стоит перед зеркалом и любит себя — “Я поэт”. И чтоб мы все любовались, что он поэт”<sup>3</sup>. Констатируя, в заметке “Буря и натиск” (1923), что “грубо подслащенный фольклор” “продолжает существовать в поэзии Есенина и отчасти Клюева”, Мандельштам тем не менее признавал “значение этих поэтов”, которое заключается “в их богатых провинциализмах, сближающих их с одним из основных устремлений эпохи”<sup>4</sup>.

Своей жене Мандельштам “говорил, что Есенина сгубили, требуя с него поэму, “большую форму”, и этим вызвали перенапряжение, неудовлетворенность, потому что он, лирик, не мог дать полноценной поэмы. Развернутое мандельштамовское суждение о стихах Есенина, относящееся к началу 1930-х годов, находим в мемуарах С. Липкина: “Ему нравились ранние стихи Есенина (“Хотя Кольцову больше доверяешь”), нравились “Пугачев” и “Черный человек”, отрицательно отзывался о “Персидских мотивах”: “Не его это дело, да и где в Тегеране теперь менялы? Там банки, как и всюду в Европе. А если и есть, то почему меняла выдает рубли взамен местных денег? Надо бы наоборот”<sup>5</sup>. А в июне 1935 года, пребывая в воронежской ссылке, Мандельштам сетовал в разговоре с Сергеем Рудаковым: “Вот Есенин, Васильев имели бы на моем месте социальное влияние! Что я? Катенин, Кюхля...”<sup>6</sup>

Еще более двойственными были отношения Есенина и Пастернака. Они тоже находились в зависимости от того, в каком настроении “неж-

1 “В этой жизни меня удержала только вера в Вас и в Осю...” (Письма Н. Я. Мандельштам А. А. Ахматовой // Литературное обозрение. 1991. № 1. С. 99).

2 См.: Осип и Надежда Мандельштамы в рассказах современников. М., 2002. С. 89.

3 Там же. С. 89.

4 Мандельштам О. Собрание сочинений. Т. 2. С. 297.

5 Липкин С. Угль, пылающий огнем // Мандельштам О. Собрание сочинений. С. 28.

6 О. Э. Мандельштам в письмах С. Б. Рудакова к жене (1935 — 1936) // Ежегодник рукописного отдела Пушкинского Дома. 1993. Материалы об О. Э. Мандельштаме. СПб., 1997. С. 62.

ный хулиган” пребывал в данный момент. Сам автор “Людей и положений” свидетельствует: “Хотя с Маяковским мы были на “вы”, а с Есениным на “ты”, мои встречи с последним были еще реже. Их можно пересчитать по пальцам, и они всегда кончались неистовствами. То, обливаясь слезами, мы клялись друг другу в верности, то завязывали драки до крови, и нас силою разнимали и растаскивали посторонние”<sup>1</sup>.

Приведем и большую цитату из памфлетного мемуарного романа Валентина Катаева “Алмазный мой венец”, где Есенин спрятан под кличкой “королевич”, Пастернак — под кличкой “мулат”, а Василий Казин — “сын водопроводчика”:



Борис Пастернак. 1922

И вот я уже стою в тесной редакционной комнате “Красной нови” в Кривоколенном переулке и смотрю на стычку королевича и мулата. Королевич во хмелю, мулат трезв и взбешен. А сын водопроводчика их разнимает и уговаривает: ну что вы, товарищи...

Испуганная секретарша, спасая свои бумаги и прижимая их к груди, не знала, куда ей бежать: прямо на улицу или укрыться в крошечной каморке кабинета редактора Воронского, который сидел, согнувшись над своим шведским бюро, черный, маленький, носатый, в очках, сам похожий на ворону, и делал вид, что ничего не замечает, хотя “выясняли отношения” два знаменитых поэта страны.

Королевич совсем по-деревенски одной рукой держал интеллигентного мулата за грудки, а другой пытался дать ему в ухо, в то время как мулат — походящему выражению тех лет, похожий одновременно и на араба и на его лошадь, — с пылающим лицом, в развевающемся пиджаке с оторванными пуговицами с интеллигентной неумелостью ловчился ткнуть королевича кулаком в скулу, что ему никак не удавалось.

<sup>1</sup> Пастернак Б. Л. Собрание сочинений. Т. 4. С. 337.



Что между ними произошло?

Так я до сих пор и не знаю. В своих воспоминаниях мулат, кажется, упомянул о своих отношениях с королевичем и сказал, что эти отношения были крайне неровными: то они дружески сближались, то вдруг ненавидели друг друга, доходя до драки.

По-видимому, я попал как раз на взрыв взаимной ненависти.

Не знаю, как мулат, но королевич всегда ненавидел мулата и никогда с ним не сближался, по крайней мере при мне. А я дружил и с тем и с другим, хотя с королевичем встречался гораздо чаще, почти ежедневно. Королевич всегда брезгливо улыбался при упоминании имени мулата, не признавал его поэзии и говорил мне:

— Ну подумай, какой он, к черту, поэт? Не понимаю, что ты в нем находишь? <sup>1</sup>

В письме к Г. Устинову от 24 января 1926 года Пастернак обрисовал самую общую канву своих взаимоотношений с автором “Черного человека”: “Мы с Есениным далеки. Он меня не любил и этого не скрывал”<sup>2</sup>. Двадцатью днями раньше, 4 января 1926 года, в исповедальном письме к Марине Цветаевой он проанализировал свой конфликт с покойным поэтом куда подробнее:

*Вы уже, конечно, узнали о смерти Есенина. Этот ужас нас совершенно смял. Самоубийства не редкость на свете. В этом случае его подробности представлялись в таком приближенном и увеличенном виде, что каждый их точно за себя пережил, испытал, с предельным мученьем, как бы на своем собственном горле, людоедское изуверство петли и все, что ей предшествовало в номере, одинокую, сердце разрывающую горечь, последнюю в жизни тоску решившегося.*

*Он прожил замечательно яркую жизнь. Биографически, в рамках личности — это крайнее воплощение того в поэзии, чему нельзя не поклоняться и чему остались верны Вы, а я нет. Последнее стихотворенье он написал кровью. Его стихи неизмеримо ниже его мужества, порывистости, исключительности в буйстве и страсти. Вероятно, я не умею их читать. Они мне, в особенности последние (т. е. не предсмертные, а те, что писались последние 2 года), говорят очень мало. Стихией музыки все это уже давно пережито. Я не помню, что именно я писал Вам летом о тягостности,*

1 Катаев В. Алмазный мой венец // Катаев В. Трава забвения. С. 114–115.

2 Сергей Есенин в стихах и в жизни. Кн. 3. С. 391.

связанной у меня с ним и с его именем<sup>1</sup>. Между прочим, и он, вероятно, страдал, среди многого, и от этой нелепости. Из нас сделали соперников в том смысле, что ему зачем-то тыкали мною, хотя не было ни раза, чтобы я не отклонял этой несурзацы. Я доходил до самоуничиженья в стараньи разрушить это сопоставленья, дикое, ненужное и обидное для обеих сторон. Там кусок горячей жизни, бездонная почвенность, популярность, признанность всеми редакциями и издательствами и пр., здесь — мирное прозябанье, готовое расписаться в своей посредственности, постоянная спорность, узкий круг<sup>2</sup>, другие, несравнимые загадки и задачи, конфузующая обстановка отказов, двусмысленностей. И только раз, когда я вдруг из его же уст услышал все то обидное, что я сам наговаривал на себя в устранимые фальшивых видимостей из жизни, т. е. когда, точнее, я услышал свои же слова, ему сказанные когда-то и лишившиеся, в его употреблении, всей большой правды, их наполнявшей, я тут же на месте, за это и только за это, дал ему пощечину. Это было дано за плоскость и пустоту, сказавшиеся в той области, где естественно было ждать от большого человека глубины и задушевности. Он между прочим думал кольнуть меня тем, что Маяковский больше меня, это меня-то, который в постоянную радость себе вменяет это собственное признание. Сейчас горько и немыслимо об этом говорить. Но я пересматриваю и вижу, что иначе я ни чувствовать, ни поступать тогда не мог, и, вспоминая ту сцену, ненавижу и презираю ее виновника, как тогда<sup>3</sup>.

Заочное примирение Пастернака с Есениным (в лице близкого друга последних есенинских лет Вольфа Эрлиха) состоялось в октябре 1927 года, после чтения Пастернаком большого фрагмента своей поэмы “Лейтенант Шмидт” у Николая Тихонова: “Среди присутствовавших оказался

- 1 2 июля 1925 года Пастернак писал Цветаевой: “Всего меньше считают себя обязанными делать вывод из своего мнения те, по мнению которых я делю поэтическое первенство с Есениным. Манеры, способ обращения и проч. у этих людей выработались из сношений с этим последним. Они привыкли к грубостям и запанибратщине и к тому, чтобы на них действовали нахрапом. А мне это претит” (Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть. Письма 1922—1936 годов. С. 114—115). В ответном письме (от 14 июля 1925 года) Цветаева реагировала на это суждение следующим образом: “Сопоставление с Есениным — смеюсь. Не верю в него, не болею им, всегда чувство: как легко быть Есениным!” (Там же. С. 120). Впоследствии Цветаева, как известно, изменила свое отношение к Есенину.
- 2 Ср. в мемуарах А. Гладкова: “За две недели до смерти С. Есенина Н. Асеев разговаривал с ним о призвании поэта и о многом другом. Есенин защищал право поэта на писание ширпотребной лирики романсного типа. Асеев записал слова Есенина: “Никто тебя знать не будет, если не писать лирики: на фунт помолу нужен пуд навозу — вот что нужно. А без славы ничего не будет, хоть ты пополам разорвись — тебя не услышат. Так вот Пастернаком и проживешь!..” (Гладков А. Встречи с Пастернаком. М., 2002. С. 227—228).
- 3 Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть... С. 129 — 130.



Владимир Ричиотти, Вольф Эрлих (стоят, слева направо), Иван Приблудный, Сергей Есенин, Григорий Шмерельсон, Семен Полоцкий (сидят, слева направо)  
Фотография М. С. Наппельбаума. Ленинград. Апрель 1924

тот самый мальчик, которому Есенин кровью написал свое известное “До свиданья, друг мой, до свиданья”, — писал Пастернак Цветаевой. — Действие, которое это чтение на него произвело, ни он, ни я не могли, конечно, оценить иначе, чем в том духе, что глухая тяжба покойного со мной разрешилась наконец в эти несколько ночных и напряженнейших минут. Бесследно растворено и становится преданьем то, что однажды довело меня до озверения. Был шестой час утра, возвращался с этим молодым полпредом того света на извознике с Петербургской стороны. Перед самым нашим носом развели мост, и пришлось стоять, пока проходили баржи, в широкой и неопикуемой тишине забывшейся невской панорамы. В ее предрассветной сдержанности, в ее широковерстном отступлении к самому крайнему берегу мыслимости и вообразимости было все, что когда-либо давали людям русская тонкость и загадочность”<sup>1</sup>.

1 Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть... С. 394 — 395.

**4** 15 мая 1924 года в московской Старо-Екатерининской больнице от менингита умер Александр Ширяевец. Его кончину Есенин пережил как глубоко личную утрату. “...Мы встретились с ним на похоронах Ширяевца, — рассказывает В. Кириллов. — Есенин шел грустный и опечаленный. Немного пасмурный майский день, изредка выглянет солнышко и озарит печальную картину — скромный катафалк и небольшую толпу людей. Есенин идет в светло-сером костюме, теплый ветерок шевелит его светлые волнистые волосы, голова опущена. А впереди уже виднеются ворота Ваганьковского кладбища, те самые, через которые он сам потом проплыл на руках друзей”<sup>1</sup>. Памяти друга Есенин посвятил стихотворение “Мы теперь уходим понемногу...”:

*Мы теперь уходим понемногу  
В ту страну, где тишь и благодать.  
Может быть, и скоро мне в дорогу  
Бренные пожитки собирать.  
Милые березовые чащи!  
Ты, земля! И вы, равнин пески!  
Перед этим сонмом уходящих  
Я не в силах скрыть моей тоски.  
Слишком я любил на этом свете  
Все, что душу облекает в плоть.  
Мир осинам, что, раскинув ветви,  
Загляделись в розовую воду!  
Много дум я в тишине продумал,  
Много песен про себя сложил  
И на этой на земле угрюмой  
Счастлив тем, что я дышал и жил.  
Счастлив тем, что целовал я женщин,  
Мял цветы, валялся на траве  
И зверье, как братьев наших меньших,  
Никогда не бил по голове.  
Знаю я, что не цветут там чащи,  
Не звенит лебяжьей шеей рожь.  
Оттого пред сонмом уходящих  
Я всегда испытываю дрожь.  
Знаю я, что в той стране не будет*

<sup>1</sup> Кириллов В. Встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 176.



Александр Ширяевец. Начало 1920-х

*Этих нив, златящихся во мгле...  
Оттого и дороги мне люди,  
Что живут со мною на земле.*

Неслучайно то, что именно после смерти Ширяевца начался “пушкинский” период в творчестве Есенина. 6 июня 1924 года, в день рождения Пушкина, он читал стихи у опекушинского памятника на Тверском бульваре. “Его высокий голос, вот-вот готовый оборваться, звенел; слова звучали вызовом:

*А я стою, как пред причастьем,  
И говорю в ответ тебе:  
Я умер бы сейчас от счастья,  
Сподобленный такой судьбе, —*

пронеслось над толпой, как далекий отзвук пушкинских стрóf”<sup>1</sup>.

Образ и облик Пушкина с большей или меньшей осторожностью и тактом примеряли на себя многие русские поэты-модернисты: от Брюсова и Блока до Мандельштама и Пастернака. Не остался в стороне от этой игры и Есенин.

Более того, Пушкин, юбилей которого праздновался в 1924 году, как раз в этот период особенно много значил для Сергея Есенина. Ведь, как и он, автор “Евгения Онегина” сделался чуть ли не главным символом своего отечества, не будучи слишком популярным за его пределами.

О причудливых формах, которые принимал есенинский культ Пушкина, рассказывает В. Эрлих:

Приходит утром ко мне на Бассейную.

— А знаешь, мне Клюев перстень подарил! Хороший перстень! Очень старинный! Царя Алексея Михайловича!

— А ну, покажи!

Он кладет руки на стол. Крупный, медный перстень надет на большой палец правой руки.

1 Бабенчиков М. Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 46.

— Так-с! Как у Александра Сергеевича?

Есенин тихо краснеет и мычит:

— Ыгы! Только знаешь что? Никому не говори! Они — дурачье! Сами не заметят! А мне приятно<sup>1</sup>.

А вот фрагмент из мемуаров А. Миклашевской: “В день своего рождения вымытый, приведенный в порядок после бессонной ночи Есенин вышел к нам в крылатке и широком цилиндре, какой носил Пушкин <...> Взял меня под руку, чтобы идти, и тихо спросил: “Это очень смешно? Но мне так хотелось хоть чем-то быть на него похожим!””<sup>2</sup>

Сохранились и другие, менее “смешные” свидетельства о пришедших на 1924 год попытках Есенина, преодолевая Блока, напрямую протянуть руку Пушкину. Характерную серию вопросов и ответов приводит в своих мемуарах Вольф Эрлих. “Как ты думаешь? Под чьим влиянием я находился, когда писал “Москву кабацкую”? Я сперва и сам не знал, а теперь знаю”<sup>3</sup>. — “Люди говорят — Блока”. — “Так то люди! А ты?” — “А я скажу — Пушкина”. — “Ай, умница! Вот умница!”<sup>4</sup> Однако еще яснее на “пушкинизм” поэта указывают многие его стихотворения 1924 года<sup>5</sup>.

В качестве примера процитируем большой отрывок из стихотворения “Годы молодые с забубенной славой...”, написанного в Шереметевской больнице:

*Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.  
В поле, что ли? В кабаке? Ничего не видно.  
Руки вытяну и вот — слушаю на оцуть:  
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.*

1 Эрлих В. Право на песнь. С. 25 — 26.

2 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин. С. 345. Ср. также в мемуарах А. Воронского: “Морозной зимней ночью, кажется, у “Стойла Пегаса” на Тверской, я увидел его вылезавшим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расплзалась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

— Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

— Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире. — И, расплатившись с извозчиком, прибавил: — Очень мне скучно.

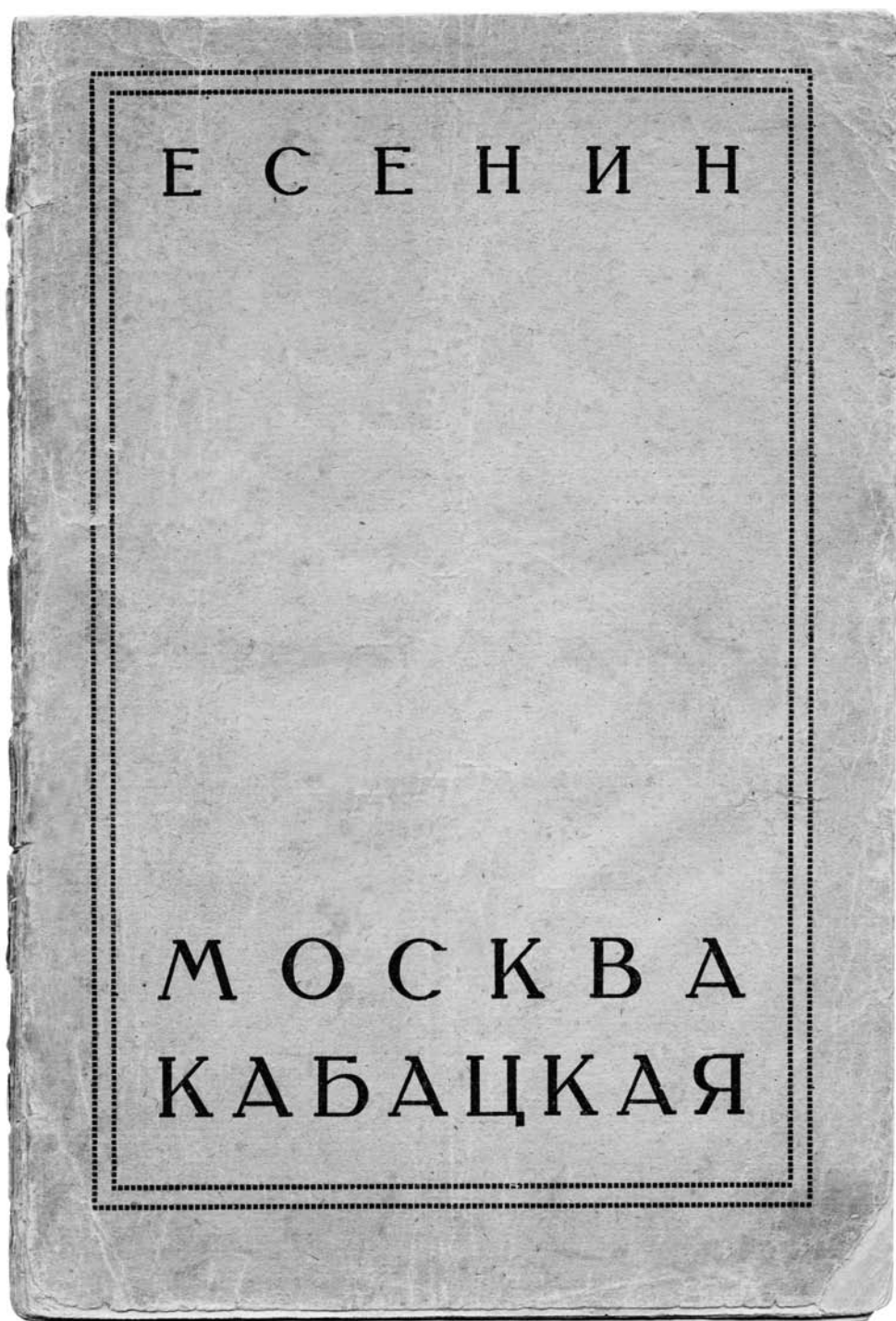
Он показался мне капризным и обиженным ребенком” (Воронский А. Памяти Есенина. Из воспоминаний // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 69 — 70). Ср., например, со следующим фрагментом из мемуаров Д. Слепяна: “Вспоминаю, как среди костюмированных появился Осип Манделштам, одетый “под Пушкина” в цветном фраке с жабо, в парике с баками и в цилиндре” (Слепян Д. Что я вспомнила о Н. С. Гумилеве // Жизнь Н. Гумилева. Воспоминания современников. Л., 1991. С. 196).

3 Эрлих В. Право на песнь. С. 38.

4 Там же.

5 Именно об этих стихотворениях Есенин говорил Эрлиху: “Слушай! А ведь я все-таки от “Москвы кабацкой” ушел! А? Как ты думаешь? Ушел? По-моему тоже! Здорово трудно было!” (Там же. С. 33). Ушел, надо думать, в сторону Пушкина.





Обложка книги С. Есенина "Москва кабацкая" (Л., 1924)

*“Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!  
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам”.  
А ямщик в ответ одно: “По такой метели  
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели”.*

*“Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!”  
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.*

*Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.  
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.*

*Встал и вижу: что за черт — вместо бойкой тройки...  
Забинтованный лежу на больничной койке.*

*И заместо лошадей по дороге тряской  
Бью я жесткую кровать мокрую повязкой.*

Кажется совершенно очевидным, что есенинское стихотворение воспроизводит и развивает ситуацию пушкинских “Бесов”:

*Эй, пошел, ямщик!... “— Нет мочи  
Коням, барин, тяжело;  
Вьюга мне слипает очи;  
Все дороги занесло;  
Хоть убей, следа не видно;  
Сбились мы. Что делать нам!  
В поле бес нас водит, видно,  
Да кружит по сторонам.  
Посмотри: вон, вон играет,  
Дует, плюет на меня;  
Вон — теперь в овраг толкает  
Одичалого коня;  
Там верстою небывалой  
Он торчал передо мной;  
Там сверкнул он искрой малой  
И пропал во тьме пустой”, —*

а также следующего фрагмента из “Капитанской дочки”:

Вдруг ямщик стал посматривать в сторону и наконец, сняв шапку, оборотился ко мне и сказал:

— Барин, не прикажешь ли воротиться?

— Это зачем?

— Время ненадежно: ветер слегка подымается; вишь, как он сметает порошу.

— Что ж за беда!

— А видишь там что? (Ямщик указал кнутом на восток.)

— Я ничего не вижу, кроме белой степи да ясного неба.

— А вон — вон: это облачко.

Я увидел в самом деле на краю неба белое облачко, которое принял было сперва за отдаленный холмик. Ямщик изъяснил мне, что облачко предвещало буран.

Я слышал о тамошних метелях и знал, что целые обозы бывали ими занесены. Савельич, согласно со мнением ямщика, советовал воротиться. Но ветер показался мне не силен; я понадеялся добраться заблаговременно до следующей станции и велел ехать скорее.

Сходство ситуаций, описанных в стихотворениях Пушкина и Есенина, в одном случае поддержано сходством рифм. У Пушкина в “Бесах” омонимия: “видно” — “видно”, у Есенина: “обидно” — “видно”. Рифменную пару “видно” — “обидно” дважды находим в пушкинской “Сказке о мертвой царевне и семи богатырях”: “Знать, не будет ей *обидно*. / Никого меж тем не *видно*” и ““Без меня царевна *видно* / Пробежала”. — “Как *обидно!*” — / Королевич отвечал”.

Легко можно перечислить и способы, с помощью которых Есенин адаптировал пушкинское стихотворение. Четырехстопный хорей “Бесов” он удлинил на три стопы, поменял тип рифмовки, использовал совершенно невозможные для Пушкина и пушкинского времени рифмы (например, “хлопья” — “сугроб я”) и свои фирменные вкрапления “простонародной” лексики (“лошажьим”, “заместо”), а главное — преобразил почти аллегорическое приключение пушкинского лирического героя<sup>1</sup> в автобиографический репортаж.

“Он не читал его, он хрипел, рвался изо всех сил с больничной койки, к которой он был словно пригвожден, и бил жесткую кровать забинтованной рукой, — вспоминает С. Виноградская чтение Есениным своего сти-

1 Неслучайно впечатления лирического героя “Бесов” (1830) Пушкин спустя шесть лет смог с легкостью передоверить Петруше Гриневу.

хотворения в Кремлевской больнице. — Перед нами был не поэт, читающий стихи, а человек, который рассказывал жуткую правду своей жизни, который кричал о своих муках. Ошеломленные, подавленные, мы слушали его хрип, скрежет зубов, неистовые удары рукой по кровати и боялись взглянуть в эти некогда синие, теперь поблекшие и промокшие глаза. Он кончил, в изнеможении опустился на подушки, провел рукой по лицу, по волосам и сказал: “Это стихотворение маленькое, нестойкое оно”<sup>1</sup>.

Первой половиной июня 1924 года датировано уже упоминавшееся нами есенинское программное стихотворение “Русь советская”:

*Тот ураган прошел. Нас мало уцелело.  
На переключке дружбы многих нет.  
Я вновь вернулся в край осиротелый,  
В котором не был восемь лет.  
Кого позвать мне? С кем мне поделиться  
Той грустной радостью, что я остался жив?  
Здесь даже мельница — бревенчатая птица  
С крылом единственным — стоит, глаза смежив.  
Я никому здесь не знаком,  
А те, что помнили, давно забыли.  
И там, где был когда-то отчий дом,  
Теперь лежит зола да слой дорожной пыли.  
А жизнь кипит.  
Вокруг меня снуют  
И старые и молодые лица.  
Но некому мне шляпой поклониться,  
Ни в чьих глазах не нахожу приют.*

.....

*Цветите, юные, и здоровейте телом!  
У вас иная жизнь. У вас другой напев.  
А я пойду один к неведомым пределам,  
Душой бунтующей навеки присмирив.  
Но и тогда,  
Когда на всей планете  
Пройдет вражда племен,*

1 Виноградская С. Как жил Есенин. С. 30 — 31.



Книга С. Есенина «Песнь о великом походе» (М., 1925)  
Обложка работы И. А. Француз

*Исчезнет ложь и грусть, —  
Я буду воспевать  
Всем существом в поэте  
Шестую часть земли  
С названьем кратким «Русь».*

Из мемуаров В. Чернявского: «Он утром, едва проснувшись, читал мне в постели только что написанную им «Русь советскую», рукопись которой с немногими пометками лежала рядом на ночном столике. Я невольно перебил его на второй строчке: «Ага, Пушкин?» — «Ну да!» — и с радостным лицом твердо сказал, что идет теперь за Пушкиным»<sup>1</sup>. Из отзыва А. Лежнева: «Поэт все дальше отходит от имажинизма к классическому стиху, к Пушкину»<sup>2</sup>.

Недаром именно в 1924 году недоброжелатель поэта Ю. Н. Тынянов писал о Есенине, что это «необычайно схематизированный, ухудшенный Блок, пародированный Пушкин»<sup>3</sup>. Путь Есенина к Пушкину по-прежнему лежал через поэзию Блока.

Невольно следуя блоковской «трилогии вочеловечения», Есенин в 1924 году пытается перейти к ее третьей части — «к рождению человека «общественного», художника, мужественно глядящего в лицо миру, получившего право изучать, сдержанно испытывать годный и негодный материал, вглядываться в контуры «добра и зла» — ценою утраты части души»<sup>4</sup>.

Здесь-то и возникает великая путаница. «Сдержанность», «мужественная» объективность и «общественная» направленность действительно связывается в сознании Есенина с именем Пушкина, но в той же мере — с тогдашним социальным заказом. По недоразумению, «пушкинское» приятие мира («Приемлю все, / Как есть все принимаю...») означает для Есенина присягу советской власти («Готов идти по выбитым следам»). И вот уже поэт и сам не может понять: то ли он по-пушкински осваивает и ис-

1 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 232.

2 Лежнев А. Есенин // Печать и революция. 1925. № 1. С. 130.

3 Тынянов Ю. Промежуток // Тынянов Ю. Поэтика. История литературы. Кино. С. 171.

4 Блок А. А. Собрание сочинений. Т. 8. С. 256.

пытывает различные жанры (балладу, “песнь”, поэму), то ли мечется между этими жанрами, подгоняемый враждебной критикой и ретивыми партийными друзьями.

Отношения с властью в 1924–1925 годах тоже характеризуются метаниями и неопределенностью. В одном настроении Есенин посмеивается над новыми “святынями”:

*И вот сестра разводит,  
Раскрыв, как Библию, пузатый “Капитал”,  
О Марксе,  
Энгельсе...  
Ни при какой погоде  
Я этих книг, конечно, не читал, —*

и бравировует своей независимостью: “Конечно, мне и Ленин не икона” (“Возвращение на родину”) — и это после вызывающих строк стихотворения “Мне осталась одна забава...”:

*...Чтоб за все грехи мои тяжкие,  
За неверие в благодать  
Положили меня в русской рубашке  
Под иконами умирать.*

В другом настроении — почти готов молиться на Ленина: “Суровый геній”; “Он вроде сфинкса предо мной” (отрывок из поэмы “Туляй-поле”) — или эпическим сказом с аллюзиями на “Слово о полку Игореве” воспевать Троцкого (в “Песни о великом походе”):

*...А на что ж у коммунаров  
Есть товарищ Троцкий?  
Он без слезной речи  
И лихого звона  
Обещал коней нам наших  
Напоить из Дона.*

Характерным примером такой смены настроений может послужить диптих “Метель” и “Весна”, написанный на рубеже 1924–1925 годов. В “Метели” вывернуты наизнанку все излюбленные образы и мотивы есенинской



крестьянской лирики. Клен кажется лирическому герою “столбом позорным”, а сельским петухам он хочет выдрать потроха. Перед читателем разворачиваются деревенские картины — увиденные глазами “Хайда”.

В чем причина этого приступа ненависти ко всему родному, многократно воспетому? Только ли в белой горячке? У “Метели” есть свой секрет — строки второй строфы:

*Хочу читать, а книга выпадает,  
Долит зевота,  
Так и клонит в сон...*

Секрет раскрывается только в последних строках стихотворения; здесь поэт предсказывает свою смерть и то, что скажет могильщик над гробом:

*И скажет громко:  
“Вот чудак!  
Он в жизни  
Буйствовал немало...  
Но одолеть не мог никак  
Пяти страниц  
Из “Капитала”.*

Книга оказывается тем самым “пузатым “Капиталом””. И весь мир поэта оказывается перевернутым — из-за того, что эта книга выпала из рук, так и не была прочитана.

И напротив, в стихотворении “Весна”:

*Припадок кончен.  
Грусть в опале, —*

только потому, что поэт прочитал в “Капитале” одну фразу:

*Вчера прочел я в “Капитале”,  
Что для поэтов —  
Свой закон.*

На самом деле в “Капитале”, конечно, нет этой фразы; зато есть письмо Маркса И. Вейдемейеру: “...поэт — каков бы ни был человек — нуждается-

ся в похвалах и поклонении. Я думаю, что такова уж их природа”<sup>1</sup>. Одна фраза, разрешающая поэту свободно следовать своей природе, — и природа вокруг волшебным образом расцветает. Клен иронически приравнен к полноправным советским гражданам:

*Без ордера тебе апрель  
Зеленую отпустит шапку;*

петухи реабилитированы:

*Я нынче, отходя ко сну,  
Не поругаюсь  
С петухами.*

Все встает на свои места, “Хайд” вновь превращается в “Джекила” благодаря магической книге: “Достаточно попасть // На строчку...”

Одни верили в возможность политического преображения Есенина, другие — нет. Сам поэт высказался об этом с итоговой прямоотой — в “Руси советской”. Каким признанием заканчиваются уже процитированные нами строки об отношении к режиму? Пушкинской аллюзией: сказанным — “милая лира”, подразумеваемым — внутренняя свобода.

*Приемлю все,  
Как есть все принимаю.  
Готов идти по выбитым следам,  
Отдам всю душу октябрю и маю,  
Но только лиры милой не отдам.*

**5** Так и не найдя точку опоры между раздирающими его настроениями и состояниями, Есенин становится непоседой — и пускается в лихорадочные перебежки и странствия. С января 1924 года начинаются скитания поэта по больницам, не обходящиеся без привычных “хайдовских” приключений. Прочитируем фрагмент из мемуаров Анны Назаровой, повествующий об одном из таких приключений: “Помню историю с ухо-

<sup>1</sup> См. комментарии в изд.: Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 450–451.

дом (деликатно выражаясь) Е<сенина> из санатории. Аксельрод и Сах<аров> (?) пришли навестить Е<сенина> и уговорили его с ними прогуляться. У Е<сенина> не было шубы. Аксел<ьрод> привез бекешу чью-то, одели Е<сенина> и, не сказав ничего врачам, увезли его прямо в кабак. Е<сенин> напился, поскандалил, и на следующий день с трудом удалось отвезти его снова в санаторию”<sup>1</sup>.

В феврале недавно выписавшийся из санатория пьяный Есенин, возвращаясь домой на извозчике, потерял шапку. Поэт “остановил возницу, полез за ней в проем полуподвального этажа, разбил стекло и глубоко поранил” левую руку<sup>2</sup>. “<С>трашный, фиолетовый шрам” доставлял Есенину немало хлопот и спустя несколько месяцев<sup>3</sup>. Пока же положение оказалось настолько серьезным, что пострадавшего поместили в Шереметевскую больницу (ныне Институт скорой помощи им. Склифосовского). “Есенин лежал в палате один. Очень встревоженный, напуганный, — вспоминает Анна Берзинь. — Мы старались его уговорить, что опасности нет, что поправится он быстро”<sup>4</sup>. Галина Бениславская, впрочем, воспользовавшись удобным моментом, избрала прямо противоположную тактику. “Через неделю после пореза руки, — признается она, — когда было ясно, что опасности никакой нет, я обратилась к <врачу, профессору Григорию> Герштейну с просьбой, запугав С. А. возможностью заражения крови, продержать его возможно дольше. И Герштейну удалось выдержать С. А. в больнице еще две недели. Вообще в Шереметевской больнице было исключительно хорошо, несмотря на сравнительную убогость обстановки <...> С. А., как всегда в трезвом состоянии, всеми интересовался, был спокойным, прояснившимся, как небо после слякотной серой погоды. Иногда появлялись на горизонте тучи, после посещения С. А. его собутыльниками, кажется, умудрявшимися приносить ему вино даже в больницу. Тогда он становился опять взбудораженным, говорил злым низким голосом, требовал, чтобы его скорей выписывали”<sup>5</sup>.

Если Есенин не лечился, то ему было уже трудно долго удержаться на одном месте. За последние два года жизни он трижды совершает путешествия на Кавказ, несколько раз ездит в Ленинград, семь раз в Константиново.

1 Назарова А. Воспоминания // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 132.

2 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 204. Ройзман путает и пишет, что Есенин поранил правую руку.

3 Эрлих В. Право на песнь. С. 39.

4 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 374.

5 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 70.

В начале февраля 1924 года, воспользовавшись приглашением П. Чагина, автор “Москвы кабацкой” уехал на Кавказ. “Что нового? — спрашивал он сестру Екатерину в письме от 17 сентября, отправленном из Тифлиса. — Как чувствуют себя и как ведут Мариенгоф с Ивневым. Передай Савкину, что этих бездарностей я не боюсь, что бы они ни делали”<sup>1</sup>. “Уезжать отсюда мне пока оч<ень> не хочется, — сообщал он в этом же письме. — Я страшно хочу переждать дожди и слякоть. Здесь погода изумительная”<sup>2</sup>. “Здесь солнышко. Ах, какое солнышко. В Рязанской губернии оно теперь похоже на прогнившую тыкву, и потому меня туда абсолютно не тянет”, — 14 декабря 1924 года писал Есенин П. Чагину из Батума<sup>3</sup>, причем это прозаическое признание разительно контрастировало со знаменитыми строками из есенинского стихотворения “Шаганэ ты моя, Шаганэ...” (1924):

*Шаганэ ты моя, Шаганэ!  
Потому что я с севера, что ли,  
Я готов рассказать тебе поле,  
Про волнистую рожь при луне.  
Шаганэ ты моя, Шаганэ.  
Потому что я с севера, что ли,  
Что луна там огромней в сто раз,  
Как бы ни был красив Шираз,  
Он не лучше рязанских раздолий.  
Потому что я с севера, что ли?*

О своей жизни на Кавказе Есенин в очередную “джекиловскую” минуту рассказывал Галине Бениславской (письмо от 20 декабря 1924 года): “Я чувствую себя просветленным, не надо мне этой глупой шумливой славы, не надо построчного успеха. Я понял, что такое поэзия <...> Идет дождь тропический, стучит по стеклам. Я один. Вот и пишу, и пишу. Вечерами с Лёвой <Повицким> ходим в театр или ресторан. Он меня приучил пить чай, и мы вдвоем с ним выпиваем только 2 бутылки вина в день. За обедом и за ужином <...> Днем, когда солнышко, я оживаю. Хожу смотреть, как плавают медузы. Провожая отъезжающие в Константинополь пароходы и думаю о Босфоре. Увлечений нет. Один. Один. Хотя за мной тут бабы гоняются. Как же? Поэт ведь. Да какой еще, известный. Всё это смешно и

1 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 177–178.

2 Там же. С. 177.

3 Там же. С. 187.



Шаганэ Тальян. 1920-е

глупо <...> Говорят, я очень похорошел. Вероятно, оттого, что я что-то увидел и успокоился. Волосы я зачесываю как на последней карточке. Каждую неделю делаю маникюр, через день бреюсь и хочу сшить себе обязательно новый модный костюм. Лакированные ботинки, трость, перчатки, — это всё у меня есть. Я купил уже. От скуки хоть франтить буду. Пускай говорят — пшют. Это очень интересно. Назло всем не буду пить, как раньше. Буду молчалив и корректен. Вообще хочу привести всех в недоумение. Уж очень мне не нравится, как все обо мне думают. Пусть они выкусят. Весной, когда приеду, я уже не буду никого подпускать к себе близко. Боже мой, какой я был дурак. Я только теперь очухался. Всё это

было прощание с молодостью. Теперь будет не так”<sup>1</sup>.

В сходном ключе, хотя более иронично, поэт писал о своих кавказских буднях Маргарите Лившиц (17 октября из Тифлиса): “Сейчас не пью из-за грудной жабы. Пока не пройдет, и не буду. В общем, у меня к этому делу охладел интерес. По-видимому, в самом деле я перебесился. Теперь жену, балалайку, сесть на дрова и петь вроде <скульптора С.> Конёнкова: “Прошли золотые денечки”. Ну, да это успеем сделать по приезде в Русь”<sup>2</sup>.

Исключительно “джекиловской” своей стороной повернулся Есенин и к молодой батумской учительнице Шаганэ Тальян, оставившей трогательные воспоминания о любви поэта к детям и собакам и ни словом не обмолвившейся о его беспробудном пьянстве: “Тогда нередко встречались беспризорные, и, бывало, ни одного из них не оставлял без внимания: остановится, станет расспрашивать, откуда, как живет, даст ребенку денег, приласкает <...> Животных он действительно любил. Увидит бездомную собаку, купит для нее булку, колбасу, накормит и приласкает”<sup>3</sup>.

1 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 191, 192, 193–194.

2 Там же. С. 181–182.

3 Тальян Ш. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 358.

Увы, мемуары других современников, встречавшихся с поэтом в Тифлисе и в Баку, показывают, что охлаждение интереса “к этому делу” у Есенина было временное. “Обстановка была, конечно, походная, — изображает Л. Файнштейн номер в бакинской гостинице “Новая Европа”, где жил поэт. — Раскрытый чемодан, раскиданные галстуки, под столом винные бутылки, на столе недопитые стаканы, объедки, бутылочка нашатырного спирта, который Есенин часто нюхал, чтобы протрезвиться, и на каком-нибудь видном месте — американская резина для гимнастических упражнений”<sup>1</sup>. И даже Николай Вержбицкий в своих умильных, приглаженных воспоминаниях о пребывании Есенина в Тифлисе один раз проговаривается, сообщая, что “<п>осле чрезмерного опьянения, по ночам, сон не шел к Есенину, он то и дело просыпался, и его мучительно преследовали зрительные галлюцинации, чаще всего — в виде какой-то мрачной и молчаливой личности, стоящей в углу. Галлюцинации сопровождалась истерическими возгласами и требованиями оставить его в покое”<sup>2</sup>.

Пройдет совсем немного времени, и эта “мрачная и молчаливая личность” властно предъявит на Есенина свои права.



Сергей Есенин и Петр Чагин  
Баку. Сентябрь 1924

1 Файнштейн Л. Сергей Есенин в Баку // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 118.  
2 Вержбицкий Н. Встречи с Есениным. С. 82.





Сергей Есенин. 1925

# Глава одиннадцатая

## “Черный, черный человек на кровать ко мне садится...” (1925)

**1** Ставя неутешительный диагноз современной Есенину эпохе в повести “Котлован”, Андрей Платонов многократно воспользовался двумя словами — “скука” и “пустота”<sup>1</sup>. В течение всего 1925 года эти слова определяли душевное есенинское настроение. “Милый мой, я душой устал, понимаешь, душой... У меня в душе *пусто*”, — цитирует горькую реплику поэта В. Кириллов<sup>2</sup>.

“Помню, — подхватывает Е. Устинова, — заложив руки в карманы, Есенин ходил по комнате, опустив голову и изредка поправляя волосы.

— Сережа, почему ты пьешь? Ведь раньше меньше пил? — спрашиваю я.

— Ах, тетя, если бы ты знала, как я прожил эти годы! Мне теперь так *скучно!*

— Ну а твое творчество?

1 Ограничимся подборкой цитат из первой части “Котлована” (курсив везде наш — О. Л., М. С.): “...воздух был пуст, неподвижные деревья бережно держали жару в листьях, и скучно лежала пыль на безлюдной дороге...”; “...однообразная, несбывающаяся музыка уносилась ветром в природу через привражную *пустошь*...”; “Привыкнув к *пустоте*, надзиратель громко ссорился с женой...”; “Вощев забрел в *пустырь*, а обнаружил теплую *яму* для ночлега”; “...оно билось вблизи, во тьме *опустошенного* тела каждого уснувшего...”; “...вот уже который день ходит профуполномоченный по окрестностям города и *пустым* местам...”; “...малые одиночные дома *опустеют*, их непроницаемо покроет растительный мир...”; “...материал всегда сдавался точности и терпению, значит, он был мертв и *пустынен*...”; “...я ночью под одеялом сам себя люблю, а днем от *пустоты* тела жить не гоюсь...”; “Инженер наклонил голову, он боялся *пустого* домашнего времени...”; “*Яма* котлована была *пуста*...”; “Он боялся воздвигать *пустые* здания...”; “...пролетариат живет один, в этой *скудной* *пустоте*...”; “*Скучно* собаке, она живет благодаря одному рождению, как и я”; “...их лица были равнодушны и *скучны*...”; “...разные бедные жилища и *скучные* условия...”; “Все равно земля вскопана, кругом *скучно*...”; “...*скучно* билось его ослабевшее сердце...”; “...человек, которому *скучно* спать...”.

2 Кириллов В. Встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 178.

— *Скучное творчество!* — Он остановился, улыбаясь смущенно, почти виновато”<sup>1</sup>.

Эту смертельную скуку было необходимо как-то разогнать, а убийственную пустоту — чем-то заполнить. Пребывая в неустанном поиске спасительных средств, Есенин кидался из крайности в крайность. Забубенное пьянство перетекало у него в попытки наладить крепкий семейный быт. Похожие на бегство рейды из Москвы на Кавказ предшествовали ностальгическим поездкам в родное Константиново. Сетования на творческое бессилие<sup>2</sup> чередовались с писанием длинных поэм и энергичной работой над итоговым собранием сочинений.

Но ничего путного у Есенина, по его собственному ощущению, не получалось. Причины сам он теперь был склонен искать в том “скучном творчестве”, на службу которому когда-то, не раздумывая, поставил всю свою жизнь<sup>3</sup>. А. Воронскому поэт в 1925 году признавался: “У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня”<sup>4</sup>.

До последней степени обострилось в этот период давно уже раздиравшее Есенина двойственное отношение к окружающему миру, к людям: сегодня он во хмелю по-хайдовски проклинал человека, завтра — на трезвую голову — по-джекиловски восхвалял, послезавтра — снова проклинал, и так до бесконечности.

На исходе 1925 года Есенин попытался повторить свой победоносный маневр десятилетней давности, бросил Москву и сбежал в северную столицу, чтобы там начать с чистого листа. “Я поеду совсем, совсем, навсегда в Ленинград, — твердил он... — буду писать. Я еще напишу, напишу! Есть дураки... говорят... кончился Есенин! А я напишу... напишу-у! Лечить меня, кормить... и так далее! К черту!”<sup>5</sup>

Однако в ночь с 27 на 28 декабря выяснилось, что скука и пустота овладели поэтом окончательно и бесповоротно.

Теперь вернемся в начало 1925 года, которое ознаменовалось для Есенина мелкой, но досадной неприятностью. 1 января “Правда” напечата-

1 Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 235. Ср. с вариацией в мемуарах М. Юрина: “Скучно!.. Вот и пью”, — коротко обобщил меня Есенин” (Юрин М. Записки подававшего надежды // Октябрь. 1929. № 8. С. 130).

2 “Если он не пишет неделю, он сходит с ума от страха” (Эрлих В. Право на песнь. С. 79).

3 По формуле пристрастного Алексея Крученых: “...не Есенин владел своим талантом, а талант — Есениным” (Крученых А. Гибель Есенина... С. 8).

4 Воронский А. Памяти Есенина // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 72.

5 Евдокимов И. Сергей Александрович Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 228–229.



Сергей Есенин с матерью. Москва. Март 1925

ла обзорную статью Н. Осинского “Литературный год”, где мимоходом говорилось о том, что Борис “Пильняк все еще находит вкус в богемских похождениях с А. Дункан и С. Есениным”<sup>1</sup>. Впрочем, поэт, вероятно, прочел эту статью только в октябре, просматривая газетные заметки о себе, по специальному заказу регулярно доставляемые ему из бюро вырезовок<sup>2</sup>.

А в январе 1925 года Есенин сидел в Батуме и оттуда жаловался в письмах к подругам: “Здесь очень скверно. Выпал снег. Ужасно большой занос. Потом было землетрясение. Я страшно скучаю. Батум хуже деревни. Оч<ень> маленький, и все друг друга знают наперечет. Играю с тоски в бильярд”<sup>3</sup>; “Ехать сюда не советую, потому что здесь можно умереть от скуки”<sup>4</sup>.

О подробностях пребывания Есенина в Батуме один из его тамошних приятелей позднее рассказывал Э. Герману: “Мы, грузины, поэтов ува-

1 Осинский Н. Литературный год // Правда. 1925. 1 января. С. 3.

2 См.: Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 232. См., однако, в письме Г. Бениславской Есенину от 20 января 1925 года: “Читаете ли наши московские газеты? Видели ли новогодний обзор литературы Осинского?” (Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 269).

3 Из письма к Г. Бениславской от 20 января (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 198).

4 Из письма к Е. Лившиц от 20 января (Там же. С. 201).

жаем. Живи, пожалуйста, пиши стихи. Но ведь он сам в драку лез! Одного ударил — смолчали: Бог с тобой, думаем, ты поэт; другого ударил — смолчали. Так ведь он стал после этого всех бить! Мы его, конечно, побили”<sup>1</sup>.

В этом же январе Есенин написал и посвятил Воронскому большую поэму “Анна Снегина”. И сила и слабость этой вещи в ее легкости и неотделанности. Поэт едва ли не намеренно создает у читателя впечатление, что тот имеет дело со случайными, необработанными, безо всяких усилий повествователя складывающимися в строки словами. Отсюда в тексте — косноязычие автора и героев, сгустки-повторы одних и тех же сегментов, а также общая установка поэмы не столько на чтение глазами, сколько на произнесение вслух или про себя. Недаром и начинается “Анна Снегина” с длинного монолога возницы, доставляющего лирического героя в село Радово.

Тем сильнее, по логике контраста, воздействуют на читателя отдельные строки-формулы, отточенные, глубоко продуманные, рассчитанные на мгновенное запоминание.

О любви:

*Далекие, милые были!  
Тот образ во мне не угас.  
Мы все в эти годы любили,  
Но мало любили нас.*

О политике:

*Дрожали, качались ступени,  
Но помню  
Под звон головы:  
“Скажи,  
Кто такое Ленин?”  
Я тихо ответил:  
“Он — вы”.*

И о природе:

1 Герман Э. Из книги о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 180.

*И вот я на мельнице...*

*Ельник*

*Осыпан свечьми светляков.*

Основная тема поэмы почти чеховская — это тема отсутствия взаимопонимания между людьми, их неумения и нежелания бережно относиться друг к другу. Однако разворачивает Есенин свою тему, по обыкновению, в лирическом и, так сказать, “эгоистическом” ключе. Это не кого-нибудь, а именно его, “Сергушу”, “Сергуху”, “Сергуню”, обаятельного, “забавного” “господина” и “знаменитого поэта”, не хотят до конца понять и принять ни братья-крестьяне, ни потенциальная возлюбленная.

*Обиду мою*

*На болоте*

*Оплакал рыдальщик-кулик.*

Не могло не отразиться на “Анне Снегиной” и общее болезненное состояние Есенина, его подогретая алкоголем и по разным поводам вспыхивающая подозрительность по отношению к людям. Почти все персонажи, особенно крестьяне, изображены в поэме какими-то ущербными, поруганными, скрывающими или не очень скрывающими от главного героя свою внутреннюю пустоту и гнильцу.

Вот, скажем, возница из первой главки “Анны Снегиной” сначала кажется читателю и лирическому герою милым, душевным парнем. Именно его характеристику рязанской природы есениноведа умиленно цитируют в своих биографических штудиях о поэте<sup>1</sup>. Но вот наступает минута расплаты, и сразу же обнажается подлинное нутро возницы:

*Даю сороковку.*

*“Мало!”*

*Даю еще двадцать.*

*“Нет!”*

*Такой отвратительный малый,*

*А малому тридцать лет.*

<sup>1</sup> Ср., например, в недавно вышедшей научно-популярной книжке: ““Приятственны наши места”, — скажет поэт в “Анне Снегиной”. “Приятственны” — Есенин всегда выбирал эпитеты неброские” (Поликовская Л. Есенин. М., 2010. С. 7). Так уж и всегда!



*“Да что ж ты?  
Имеешь ли душу?  
За что ты с меня гребешь?”*

Как это не похоже, например, на сценку, запечатленную Владиславом Ходасевичем в его мемуарах о Горьком: “Мы пошли в Сорренто, пили там вермут и прикатили домой на знакомом извозчике, который, получив из рук Алексея Максимовича <...> десятку, вместо того, чтобы дать семь лир сдачи, хлестнул лошадь и ускакал, щелкая бичом, оглядываясь на нас и хохоча во всю глотку. Горький вытаращил глаза от восторга, поставил брови торчком, смеялся, хлопал себя по бокам и был несказанно счастлив до самого вечера”<sup>1</sup>.

Критика приняла “Анну Снегину” прохладно: отмечалось влияние Пушкина и Некрасова, мелодраматичность “чувствительного” сюжета и отсутствие внятной авторской позиции.

21 февраля Есенин переехал в Тифлис, где провел несколько легких хмельных дней с грузинскими поэтами Паоло Яшвили и Тицианом Табидзе. “Похождения наши здесь уже известны вплоть до того, как мы варили кепи Паоло в хаши, — писал Есенин 20 марта Тициану Табидзе. — Грузия меня очаровала. Как только выпью накопившийся для меня воздух в Москве и Питере — тут же качу обратно к Вам, увидеть и обнять Вас”<sup>2</sup>.

25 февраля поэт выехал из Тифлиса в Баку. 1 марта он возвратился в Москву.

“Выглядел он очень хорошо, пополнел. Меня как-то рубашку, весело смеялся, хлопая себя по располневшему животу:

— Растет!

Первую неделю был необычайно бодр, весел”<sup>3</sup>.

Но уже 6 марта Есениным овладела охота к перемене мест: “Дела мои великолепны, но чувствую, что надо бежать, чтоб еще сделать что-нибудь, — писал он Н. Вержбицкому. — Старик! Ведь годы бегут, а по заповеди так: 20 дней пиши, а 10 дней кахетинскому. Здесь же пойдут на это все 30”<sup>4</sup>.

В середине марта Есенин читал участникам литературной группы “Перевал” “Анну Снегину”.

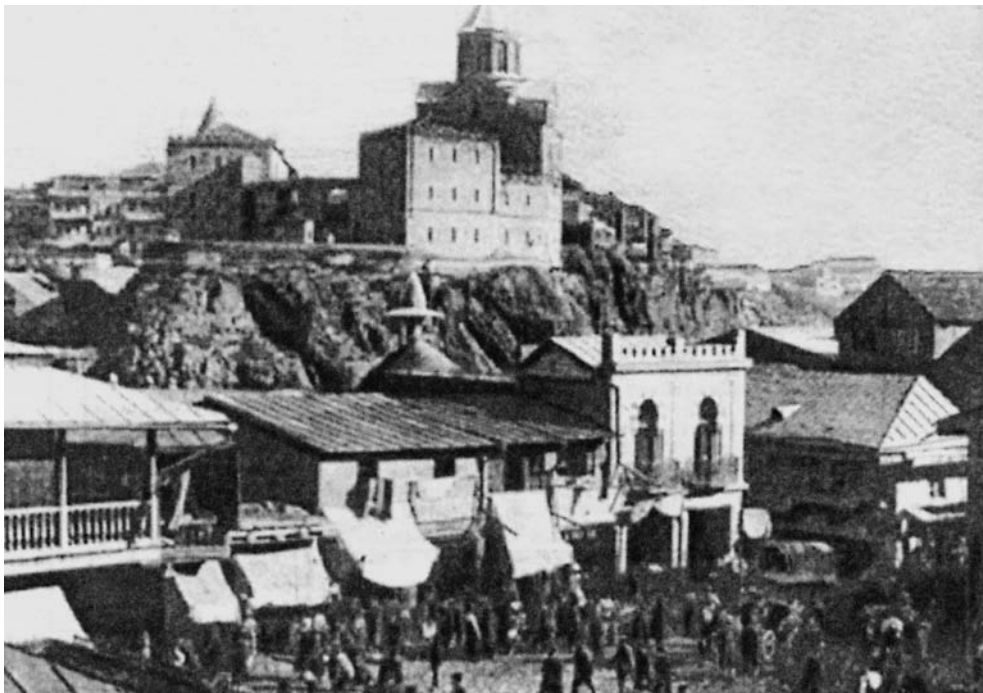
“Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом о зачитанной

1 Ходасевич В. Горький // Ходасевич В. Собр. соч.: в 4-х тт. Т. 4. М., 1997. С. 170.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 206.

3 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 212.

4 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 204.



Тифлис. Фотография начала XX в.

вещи отозвались с холодком. Кто-то предложил “обсудить”. Есенин от обсуждения наотрез отказался.

— Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня”<sup>1</sup>.

“...Перевальская неудача, — прибавляет В. Наседкин, — кажется мне как бы тоном на весь 1925 г <од>”<sup>2</sup>.

27 марта Есенин “укатил в Баку, неожиданно, как это и полагается”<sup>3</sup>. “Накануне отъезда, совершенно трезвый, он долго плакал”<sup>4</sup>. За неделю до этого, 21 марта, Есенин отправил Галине Бениславской записку следующего содержания: “Милая Галя! Вы мне близки как друг. Но я Вас несколько не люблю как женщину. С. Есенин”<sup>5</sup>. Именно подобные выходки поэта отозвались позднее в дневнике Бениславской: “Сергей — хам. При всем

1 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 213.

2 Там же. С. 213. В 1925 году рецензенты не слишком баловали поэта благожелательными отзывами о его произведениях. См., например, большую статью В. Красильникова “Сергей Есенин”, где утверждается, что “есенинская точка, есенинский подход к современности — это подход с деревенских задворков и от кабацких четырех стен” (Красильников В. Сергей Есенин // Печать и революция. 1925. № 7. С. 114).

3 Из письма Г. Бениславской В. Эрлиху (Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 347).

4 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 218.

5 Есенин С. Полн. собр. соч. Т. 6. С. 207.



Сергей Есенин и Петр Чагин среди сотрудников редакции газеты “Бакинский рабочий”  
Баку. 1925

его богатстве — хам. Под внешней вылощенной манерностью, под внешним благородством живет хам. А ведь с него больше спрашивается, нежели с какого-либо простого смертного. Если бы он ушел просто, без этого хамства, то не была бы разбита во мне вера в него”<sup>6</sup>.

В столице Азербайджана автор “Анны Снегиной” мимолетно пересекся с Воронским. “Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном, с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищенные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился... Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он про-

1 *Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 113. Ср., впрочем, с телеграммой, которую когда-то сама Бениславская отправила Айседоре Дункан: “Писем телеграмм Есенину не шлите он со мной к вам не вернется никогда не надо считаться *Бениславская*” (*Бениславская Г.* Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 50). Далее Бениславская с удовольствием комментирует: “Хохотали мы с С. А. над этой телеграммой целое утро” (Там же. С. 50).

студился, кашлял, говорил надсадным шепотом и запахивал то и дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает”<sup>1</sup>.

8 апреля поэт писал Бениславской:

*Милая Галя, я в Баку. Знаю, что письмо к Вам придет через 6–7 дней. Не писал, потому что болен. Был курьез. Нас ограбили бандиты... Жаль и не жаль, но я спал, и деньги некоторые (которые Вы мне дали), и пальто исчезли навсегда. Хорошо, что я хоть в брюках остался.*

*Когда я очутился без пальто, я очень и очень простудился. Сейчас у меня вроде воспаления надкостницы. Боль ужасная. Вчера ходил к лучшему врачу здесь, но он, осмотрев меня, сказал, что легкие в порядке, но горло с жабой и нужно идти к другому врачу, этажом выше. Внимание ко мне здесь очень большое. Чагин меня встретил как брата. Живу у него. Отношение изумительное <...>*

*Главное в том, что я должен лететь в Тегеран. Аппараты хорошие. За паспорт нужно платить, за аэроплан тоже. <...>*

*Поймите и Вы, что я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и, думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит, он не из Шушу, если он не пишет, значит, он не из Шираза. Дорогая, получив это письмо, шлите 200. Позвоните Толстой, что я ее помню. Шурку просто поцелуйте. Она знает, что она делает.*

*Катька ни на кого не похожа.*

*У меня ведь была сестра (умершая) Ольга, лучше их в 1000 раз, но походит на Шурку. Они ее не знают, не знают и не знают.*

*Галя, больше я Вам не напишу. Разговор будет после внимания... Целую руки. Жив и здоров. С. Есенин”<sup>2</sup>.*

Однако со здоровьем у Есенина дело обстояло плохо. В апреле и в мае поэта дважды помещали в бакинскую больницу с подозрением на воспаление легких. “Лежу в больнице. Верней, отдыхаю, — 11 мая писал он Бениславской. — Не так страшен черт, как его малютки. Только катар правого легкого. Через 5 дней выйду здоровым. Это результат батумской простуды, а потом я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном

<sup>1</sup> Воронений А. Памяти Есенина // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 71.

<sup>2</sup> Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 209–210.

ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки. С чего Вы это, Галя, взяли, что я пьянствую? Я только кутнул раза три с досады за свое здоровье. Вот и все. Хорошее дело, чтоб у меня была чахотка. Кого хошь грусть возьмет.

Почему не пишу? Потому что некогда. Пишу большую вещь. С книгами делайте как угодно, чего из пустого в порожнее перегонять. Это уж меня начинает раздражать, что Вы спрашиваете! <sup>1</sup> <...>

Ежели Кольцов выпускает книгу, то на обложку дайте портрет, который у Екатерины. Лицо склоненное. Только прежде затушуйте Изадорину руку на плече. Этот портрет мне нравится. Если эта дура потеряла его, то дайте ей в морду. Чтоб впредь не брала у меня последн<их> вещей и единств<енных>”<sup>2</sup>.

По крайней мере два места в этом письме нуждаются в отдельных комментариях. Во-первых, странно: с какой стати Есенину вдруг вздумалось купаться в холодную, ветреную апрельскую погоду? Ситуацию проясняют малоизвестные воспоминания одного из бакинских знакомых Есенина — участника литературного кружка при “Бакинском рабочем” Ф. Непряхина. По его свидетельству, в один из вечеров, во время посещения нефтяных промыслов Биби-Эйбата, поэт неожиданно подбежал к открытому резервуару, наполненному нефтью, и, чуть помедлив на самом краю, бросился вниз. Испуганные спутники Есенина бросились ему на помощь, вытащили, помогли в море смыть нефть. В результате этого случая поэт и оказался в бакинской больнице им. Рогова с сильнейшей простудой. Непряхин, навестивший Есенина в больнице, запомнил его слова, сказанные с полной серьезностью: “Это мое второе крещение — крещение нефтью”. Молодой литкружковец позже повторит фразу Есенина в не слишком ловких стихах:

*Там он второе крещение  
Принял, погрузившись в нефть.  
И это мог только Есенин  
Прodelать на глазах у всех*<sup>3</sup>.

Можно, конечно, интерпретировать эти слова как отказ от крестьянской темы в поэзии и присягу новой, “индустриальной” теме (“Я полон

1 Раздражение было спровоцировано техническими вопросами Бениславской, связанными с изданием поэтических книг Есенина. Эту работу сам же Есенин Бениславской и поручил.

2 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 212–213.

3 Курочкина С. “Большое видится на расстоянии” // Русский язык и литература в Азербайджане. 2005. № 3. С. 56.

дум об индустриальной мощи, / Я слышу голос человеческих сил”). Но скорее все же “второе крещение” означает что-то другое, более близкое к настоящим думам поэта, — может быть, черное крещение, крещение смертью.

В-вторых, в письме к Бениславской характерна фраза о “дуре” сестре. В декабре этого же года Есенин будет говорить о ней, Екатерине Есениной, А. Тарасову-Родионову: “Плевать я хочу на эту дрянь. Сквалыга, каких свет не рожал. Вышла, понимаешь, замуж, за какого-то там поэтника Наседкина и приходит ко мне — так и так-де, мы-ста, да ты-ста. А я говорю: к черту! Знать тебя не знаю и никаких Наседкиных знать не хочу. Пусть сам пробивает себе дорогу, если поэт, а если дребедень, я ему своим горбом проколачиваю дороги не буду”<sup>1</sup>. Сравним, однако, в мемуарах Бениславской: “К Кате у С. А. была какая-то болезненная, тревожная любовь <...> С. А. из боязни, что ее увлечение Приблудным пойдет дальше, настаивал на ее браке с Наседкиным”<sup>2</sup>. Богатую амплитуду оттенков отношения Есенина к сестре передает его письмо к ней от 16 июня 1925 года: “Ботинки твои со злобы я испортил. Приедешь — куплю новые”<sup>3</sup>.

В конце мая 1925 года поэт возвратился в Москву и оттуда 6 июня уехал в Константиново, на свадьбу к двоюродному брату. Василий Наседкин свидетельствует: “Вместе с Есениным и за ним следом из Москвы приехало 8 человек гостей <...> До этой поездки я, как и все, знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового. Но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжелые и явно нездоровые формы”<sup>4</sup>. Вторит Наседкину в своих воспоминаниях еще один гость на той злосчастной свадьбе, Иван Старцев: “Есенин был невменяем. Пил без просвета, ругался, лез в драку, безобразничал. Было невероятно тяжело на него смотреть. Успокоить его не удавалось. Увещевания только пуще его раздражали. Я не вытерпел и на следующий день уехал в Москву. В памяти осталось: крестьянская изба, Есенин без пиджака, в растерзанной шелковой рубаше, вдребезги пьяный, сидит на полу и поет хриплым голосом заунывные деревенские песни. Голова повязана красным деревенским платком”<sup>5</sup>.

1 Тарасов-Родионов А. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 250.

2 Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 78, 80.

3 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 216.

4 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 219–220.

5 Старцев И. Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 88. Детально описывает поведение Есенина в Константиново в этот приезд Г. Бениславская. См.: Бениславская Г. Воспоминания о Есенине // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 82–85.



Возвращаясь на поезде из Константинова в Москву, Есенин принял решение попробовать зацепиться за нормальную жизнь, вступив в брак с внучкой Льва Толстого Софьей Андреевной.

**2** С Софьей Толстой он познакомился 5 марта 1925 года на вечеринке, устроенной в честь дня рождения Галины Бениславской. Не потому ли в уже цитированном письме к одной влюбленной в него женщине (Бениславской) Есенин счел возможным иезуитски передавать нежные приветствия второй (Толстой)?

“...Встреча с замечательным человеком, С. А. Толстой, была для Есенина не “проходным” явлением”, — полагал неплохо знавший поэта Николай Никитин<sup>1</sup>. Сходно оценивал взаимоотношения Есенина с Толстой Юрий Либединский: “В облике этой девушки, в округлости ее лица и пронизательно-умном взгляде небольших, очень толстовских глаз, в медлительных манерах сказывалась кровь Льва Николаевича. В ее немногословных речах чувствовался ум, образованность, а когда она взглядывала на Сергея, нежная забота светилась в ее серых глазах. Она, видно, чувствовала себя внучкой Софьи Андреевны Толстой. Нетрудно догадаться, что в ее столь явной любви к Сергею присутствовало благородное намерение стать помощницей, другом и опорой писателя”<sup>2</sup>. “Я очень счастлива и очень люблю”, — писала сама Толстая давнему другу семьи Толстых, юристу А. Ф. Кони, 2 июля 1925 года<sup>3</sup>.

Приведем также фрагмент из мемуаров И. Евдокимова: “Наблюдая в этот месяц Есенина, — а приходил он неизменно трезвый, живой, в белом костюме (был он в нем обаятелен), приходил с невестой и три раза знакомил с ней, — я сохранил воспоминание о начале, казалось, глубокого и серьезного перелома в душе поэта. Мне думалось, что женится он по-настоящему, перебесился — дальше может начаться крепкая и яркая жизнь”<sup>4</sup>.

Однако он же свидетельствовал:

“Скептики посмеивались:

— Очередная женитьба! Да здравствует следующая!”<sup>5</sup>

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 128.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 152.

3 Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 350.

4 *Евдокимов И.* Сергей Александрович Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 204.

5 Там же. С.

Лихорадочной спешкой, выдающей внутреннюю неуверенность, дышит письмо Есенина к сестре Екатерине от 16 июня: “Дорогая Екатерина! Случилось оч<ень> многое, что переменяло и больше всего переменяет мою жизнь. Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым”<sup>1</sup>. И уже совсем похоронно звучит есенинское письмо, отправленное еще через месяц Н. Вержбицкому: “Все, на что я надеялся, о чем мечтал, идет прахом. Видно, в Москве мне не остепениться. Семейная жизнь не клеится, хочу бежать. Куда? На Кавказ! <...> С новой семьей вряд ли что получится, слишком всё здесь заполнено “великим старцем”, его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остается. И это душит меня”<sup>2</sup>.



Софья Толстая-Есенина. 1924

Есенинский полукомический бунт против “великого старца”, чьи портреты укоризненно взирали на него со стен квартиры Софьи Толстой в Померанцевом переулке, описан многими мемуаристами. Юрий Либединский:

Он на мой вопрос, как ему живется, ответил:

— Скучно. Борода надоела...

— Какая борода?

— То есть как это какая? Раз — борода, — он показал на большой портрет Льва Николаевича, — два — борода, — он показал на групповое фото, где было снято все семейство Толстых вместе с Львом Николаевичем. — Три — борода, — он показал на копию с известного портрета Репина. — Вот там, с велосипедом, — это четыре борода, верхом — пять... А здесь сколько? — Он подвел меня к стене, где под стеклом смонтировано было

<sup>1</sup> Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 216.

<sup>2</sup> Там же. С. 219.



Александра Есенина с сыном поэта Юрием  
1920-е

несколько фотографий Льва Толстого. — Здесь не меньше десяти! Надоело мне это, и все! — сказал он с какой-то яростью<sup>1</sup>.

Вольф Эрлих:

Он мотает головой и стонет:

— Боже мой! Ничего не вижу!  
Одни бороды вокруг меня!<sup>2</sup>

Анна Берзинь:

Сергей старался чем-нибудь тяжелым угодить непременно в портрет и кричал:

— Надоела мне борода, уберите бороду!..<sup>3</sup>

Кажется очевидным, что “борода” превратилась в помраченном сознании Есенина в метонимию даже

не столько самого Льва Толстого, сколько толстовской “мысли семейной”, за которую он еще недавно хватался как за спасительную соломинку.

— Ну вот, жениться! А куда мне такому жениться? — горестно вопрошал поэт Вольфа Эрлиха. — Что у меня осталось в этой жизни? Слава? Господи боже мой! Ведь я же не мальчик! Поэзия? Разве что... Да нет! И она от меня уходит.

— А личная жизнь? Счастье?

— Счастье — дерьмо! Его не бывает. А личная жизнь!.. Милый! Так я же ее отдал как раз за то, чего у меня теперь нет!”<sup>4</sup>, то есть — за стихи и за вдохновение.

Отвратительные выходки в отношении Толстой Есенин позволял себе уже на очень раннем, первом этапе ухаживания. “Я поднял ее подол, — от-

1 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 154–155.

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 77.

3 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 390. Ср., однако, с репликой Есенина, обращенной к Софье Андреевне, которую приводит в своих мемуарах В. Эрлих: “Лучше Толстого у нас все равно никого нет. Это всякий дурак знает” (Эрлих В. Право на песнь. С. 78).

4 Эрлих В. Право на песнь. С. 76.

кровенничал он в разговоре с Анной Берзинь, — а у нее ноги волосатые. “Пусть Пильняк, я не хочу... Я не могу жениться””<sup>1</sup>.

В отпевание не только холостяцкой, но и вообще есенинской жизни превратился так называемый “мальчишник”, устроенный Есениным перед предполагавшейся свадьбой с Софьей Толстой в июле (официально их брак был зарегистрирован лишь 18 сентября).

Из мемуаров Юрия Либединского:

Сергей сидел на краю кровати. Обхватив спинку с шишечками, он <...> плакал.

— Ну чего ты? — Я обнял его.

— Не выйдет у меня ничего из женитьбы! — сказал он.

— Ну почему не выйдет?

Я не помню нашего тогдашнего разговора, очень быстрого, горячечного, — бывают признания, которые даже записать нельзя и которые при всей их правдивости покажутся грубыми.

— Ну, если ты видишь, что из этого ничего не выйдет, так откажись, — сказал я.

— Нельзя, — возразил он очень серьезно. — Ведь ты подумай: его самого внука! Ведь это так и должно быть, что Есенину жениться на внучке Льва Толстого, это так и должно быть!

В голосе его слышались гордость и какой-то по-крестьянски разумный расчет.

— Так должно быть! — повторил он. — Да чего уж там говорить, — он вытер слезы, заулыбался, — пойдем к народу!<sup>2</sup>



Сергей Есенин с сестрой Александрой  
1925

1 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 387.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 153.

Из воспоминаний Семена Борисова:

Сергей без пиджака, в тонкой шелковой сорочке, повязав шею красным пионерским галстуком, вышел из-за стола и стал у стены. Волосы на голове были спутаны, глаза вдохновенно горели, и, заложив левую руку за голову, а правую вытянув, словно загребая воздух, пошел в тихий пляс и запел:

*Есть одна хорошая песня у соловушки —  
Песня панихидная по моей головушке.*

*Цвела — забубённая, росла — ножевая,  
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.  
Думы мои, думы! Боль в висках и в темени.  
Промотал я молодость без поры, без времени.*

*Как случилось-стало, сам не понимаю,  
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.*

Пел он так, что всем рыдать хотелось...»<sup>1</sup>.

**З**И все же не эта “Песня” наиболее полно отразила душевное состояние поэта в его последний период.

Летом Есенин уехал в Баку, на этот раз с Софьей Андреевной. Там он много чудил. Вот как запомнилась Н. И. Москаленко ее первая встреча с поэтом: ждали гостей, неожиданно в дверях появился “некто с темным лицом”, шатаясь, подошел к столу и сдернул скатерть с накрытого стола. На следующий день Есенин пришел с извинениями и подарками; его лицо в тот день было особенным, “светлым”<sup>2</sup>. Другой неприятный эпизод случился на даче в Мардакянах. Пьяный Есенин стоял у окна в такой позе, будто он собирается прыгнуть вниз. “Я ухватила его, удерживая, за рубашку, — рассказывает та же Москаленко, — рубашка трещала по швам, рвалась, но я изо всех сил держала его, тянула назад. Трудно было: силен, крепок был парень, но я его

1 С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 148.

2 С. Курочкина. “Большое видится на расстоянии”... С. 55.

удержала. Рубашку жалко было: порвалась, а красивая была, вышита “крестиком”<sup>1</sup>.

По возвращении Есенин принялся за работу над своим итоговым большим произведением — поэмой “Черный человек”.

Осенью 1925 года поздним московским вечером в сопровождении Валентина Катаева Есенин неожиданно нагрянул в гости к писателям Юрию Олеше и Илье Ильфу.

“Он был в смокинге, лакированных туфлях, однако растерзанный, — видно, после драки с кем-то, — вспоминал Олеша. — <...> Он читал “Черного человека”. Во время чтения схватился неуверенно (так как был пьян) за этажерку, и она упала.

До этого я “Черного человека” не слышал.

*Друг мой, друг мой, я очень и очень болен,  
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.  
То ли ветер свистит над пустынным и диким полем,  
То ль, как рошу в сентябрь, осыпает мозги алкоголь...<sup>2</sup>*

Это было прекрасно.

И он был необычен — нарядный и растерзанный, пьяный, злой, золотоволосый и в кровоподтеках после драки<sup>3</sup>.

“Он произносил слово “очень” как-то изломанно, со своим странным акцентом. Выходило “ёчень, оёчень, иочень””, — рассказывает Валентин Катаев<sup>4</sup>. И далее: Есенин “читал свою поэму, еле держась на ногах, делая длинные паузы, испуганно озираясь и выкрикивая излишне громко отдельные строчки, а другие — еле слышным шепотом”<sup>5</sup>.

Любого, кто слушал поэму в исполнении Есенина, поражала необычная даже для него степень эмоционального накала авторского исполнения.

1 Там же. “...Поездка оказалась далеко не исцеляющей. Через месяц с небольшим Есенин вернулся оттуда еще более надорванным” (*Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 225*). Ср. с выразительным зачином бакинского письма П. Чагина Есенину от 30 августа 1925 года: “Ты восстановил против себя милицейскую публику (среди нее есть, между прочим, партийцы) дьявольски” (*Сергей Есенин в стихах и в жизни... С. 289*).

2 Олеша неточно цитирует одну из строк “Черного человека”. Нужно: “То ли ветер свистит над пустыем и безлюдным полем...”

3 *Олеша Ю.* Книга прощания. М., 2001. С. 119. Ср. также с впечатлениями Д. Фурманова: “Он читал нам последнюю свою, предсмертную поэму. Мы жадно глотали ароматичную, свежую, крепкую прелесть есенинского стиха, мы сжимали руки один другому, переталкивались в местах, где уже не было силы радость удержать внутри” (*Фурманов Д. Сережа Есенин // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 317*).

4 *Катаев В.* Алмазный мой венец // *Катаев В.* Трава забвения. С. 127. Подробнее см.: *Котова М. А., Лекманов О. А.* В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева “Ачмазный мой венец”. М., 2004. По “Указателю имен и прозвищ”.

5 Там же. С. 127.



Августа Миклашевская вспоминала: “Он всегда хорошо читал свои стихи, но в этот раз было даже страшно”<sup>1</sup>. Матвей Ройзман писал: “Все — поза Есенина, его покачивание, баюкание забинтованной руки, проступающее на повязке в одном месте пятнышко крови, какое-то нечеловеческое чтение поэмы произвело душераздирающее впечатление <...> Я не мог унять слез, они текли по щекам”<sup>2</sup>.

Есенин относился к поэме “Черный человек” “очень мучительно и болезненно”, — резюмировала впечатления слушателей Софья Толстая<sup>3</sup>.

Чем объяснить иступленный, почти на пределе человеческих возможностей, надрыв Есенина-чтеца?

Современники были единодушны, отвечая на этот вопрос. Почти все они, враги Есенина и его ближайшие друзья, суровые пролетарские критики и богемные имажинисты, крестьянские поэты и академические филологи, выступая каждый со своей позиции, восприняли “Черного человека” как последнюю правду поэта, род ставрогинской исповеди, потребовавшей от автора неимоверного напряжения душевных и физических сил. “Точность и отчетливость интонаций этой поэмы, горечь и правдивость ее содержания ставят ее выше всего написанного им”<sup>4</sup>. ““Черный человек” интересен больше как автобиографический материал”<sup>5</sup>. “...Поэт сам как в горячечном бреде разговаривал со своим двойником, вернее, сам с собой”<sup>6</sup>. “...Он был автобиографичен”<sup>7</sup>. И даже: поэма — “материалы для психиатра в клинике”<sup>8</sup>. ““Черный человек” <...> настолько субъективен и явно патологичен, что из этого материала вряд ли вообще может получиться какое-нибудь значительное произведение. Это уже агония не только писателя, но и человека”<sup>9</sup>. Отметим в скобках, что последнее из приведенных суждений разительно контрастирует с мнением самого поэта, который говорил Николаю Асееву, что “Черный человек” — “это лучшее, что он когда-нибудь сделал”<sup>10</sup>.

Важные биографические подробности находим в мемуарах В. Наседкина: “Эта жуткая лирическая исповедь требовала от него колоссального на-

1 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин... С. 352.

2 Ройзман М. Все, что помню о Есенине. С. 207.

3 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 263.

4 Асеев И. Сергей Есенин (1926) // Асеев И. Родословная поэзии: Статьи. Воспоминания. Письма. С. 222.

5 Лежнев А. Есенин // Печать и революция. 1925. № 1. С. 96.

6 Катаев В. Алмазный мой венец. С. 125.

7 Из письма П. Мансурова к О. Синьорелли от 10 августа 1972 года. Цит. по: Гронский И. М. О крестьянских писателях: (Выступление в ЦГАЛИ 30 сентября 1959 г.) / Публикация М. Никё // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 8. М., 1992. С. 173.

8 Воронский В. Об отошедшем // Есенин С. Собр. соч.: В 3 т. М.; Л., 1926. Т. 1. С. XXI–XXII.

9 Клюев Н., Медведев П. Сергей Есенин. С. 81.

10 Асеев И. Три встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 193.

пряжения и самонаблюдения. Я дважды заставлял его пьяным в цилиндре и с тростью перед большим зеркалом с непередаваемой нечеловеческой усмешкой, разговаривавшим со своим двойником-отражением или молча наблюдавшим за собою и как бы прислушивающимся к самому себе”<sup>1</sup>.

Это уже есениноведы последнего призыва, стремясь во что бы то ни стало “усложнить” и обелить образ своего кумира, едва не растворили смысл “Черного человека” в мифологических, фольклорных, оккультных и прочих аллюзиях. Первые читатели и слушатели поэмы справедливо увидели в ней строгий биографический самоотчет Есенина, обличение Есениным самого себя от лица беспощадного двойника — “черного человека”. Разнообразные поэтические средства, которыми пользуется Есенин, несколько не мешают воспринять весь текст как такой отчет.

В чем обвиняет автора поэмы черный человек? Во лжи, в неискренности, в том, что он никогда не был собой, а если вчитаться внимательнее — в том, что он всегда носил “откровенные и расчетливые маски”<sup>2</sup>, в течение всей своей жизни менял “позы” (пользуясь словечком младшего есенинского современника Даниила Хармса)<sup>3</sup>:

*Счастье, — говорил он, —  
Есть ловкость ума и рук.  
Все неловкие души  
За несчастных всегда известны.  
Это ничего,  
Что много мук  
Приносят изломанные  
И лживые жесты.*

*В грозы, в бури,  
В житейскую стынь,  
При тяжелых утратах  
И когда тебе грустно,  
Казаться улыбчивым и простым —  
Самое высшее в мире искусство.*

1 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 233–234.

2 Богомолов Н. От Пушкина до Кибирова: Статьи о русской литературе, преимущественно о поэзии. М., 2004. С. 328.

3 Ср. в дневнике Хармса (июль-август 1937 года): “Когда-то у меня была поза индейца, потом Шерлока Холмса, потом йога, а теперь раздражительного неврастеника. Последнюю позу я бы не хотел удерживать за собой” (Хармс Д. Горло бредит бритвою: Случаи, рассказы, дневниковые записи. М., 1991. С. 131).

“Жуткая лирическая исповедь” Есенина, как и всякая другая исповедь, преследовала цель сразиться с ложью в себе и, пусть временно, — победить ее: сорвать маску и открыть читателю свое подлинное лицо. Отсюда доходящие до назойливости настойчивые есенинские попытки непременно донести смысл и пафос поэмы до слушателей, чередующиеся с упадком веры в собственные силы. Г. Устинов рассказывал: “Был канун Рождества. Есенин пил мало, пьян он не был. Весь вечер читал свои новые лирические стихи. Раз десять прочитал “Черного человека” <...> Читая, Есенин как бы хотел внушить что-то, что-то подчеркнуть, а потом переходил на лирику — и это его настроение пропадало”<sup>1</sup>. А. Антоновская вспоминала, что после чтения “Черного человека” Есенин “как-то порывался что-то сказать, но... не сказал”<sup>2</sup>.

Как и в жизни самого Есенина, героическая попытка поэта, исповедуясь, обрести свое подлинное лицо, завершается в “Черном человеке” крахом. Очень точно это почувствовала первая есенинская жена Зинаида Райх: “Черный человек — человек и поэт. Мифы и ложь — фантазия, которая не умещалась в стихи”<sup>3</sup>. Недаром в финальных строках произведения вместо отражения из зеркала на “поэта” пылится все та же пустота:

*Я один...*

*И разбитое зеркало...<sup>4</sup>*

1 Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 163–164.

2 Цит. по: Шубникова-Гусева Н. И. Поэмы Есенина... С. 486.

3 Красовский Ю. Зинаида Райх о Сергее Есенине: (План книги воспоминаний) // Встречи с прошлым. Вып. 2. С. 153.

4 А еще раньше в ночном окне вместо собственного отраженного облика лирический герой наблюдал лишь привычный зимний пейзаж. “В “Черном человеке” отразились впечатления от сада в снегу, который Есенин видел из окна своей комнаты” (Есенина-Толстая С. Отдельные записи // Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 262): “Ночь морозная. / Тих покой перекрестка. / Я один у окошка, / Ни гостя, ни друга не жду. / Вся равнина покрыта / Сыпучей и мягкой известкой, / И деревья, как всадники, / Сьехались в нашем саду”. Не этот ли фрагмент поэмы вкупе с финальными строками “Черного человека” обыграл в своем рассказе “Весна в Фиальте” Владимир Набоков? Речь у Набокова, напомним, идет о знаменитом литераторе (правда, не поэте, а прозаике), чья жена в конце концов погибает в автомобильной катастрофе (в начале рассказа многозначительно изображена натянутая тень на ее шее, “обязанной лимонно-желтым шарфом”). В описании взаимоотношений героя с героиней Набоков полемически влетает цитату из предсмертного стихотворения Есенина: “...я не мог бы с большим изяществом праздновать это свидание <...> знай я даже, что оно последнее; последнее, говорю; ибо я не в состоянии представить себе никакую потустороннюю организацию, которая согласилась бы устроить мне новую встречу с нею за гробом”. А творчество литератора, мужа героини, Набоков характеризует следующим образом: “В начале его поприща еще можно было сквозь расписные окна его поразительной прозы различить какой-то сад, какое-то сонно знакомое расположение деревьев <...> по с каждым годом роспись становилась все гуще, розовость и лиловизна все грознее; и теперь уже ничего не видно через это страшное драгоценное стекло, и кажется, что если разбить его, то одна лишь ударит в душу черная и совершенно пустая ночь”. Сад за окном, разбитое вдребезги стекло, ночь, зловещая пустота — набоковская цитата смотрится едва ли не как краткий тематический конспект “Черного человека”.

Остается лишь подивиться точности предсказания из процитированного нами во второй главе письма юного Есенина к Марии Бальзамовой от 29 октября 1914 года: “Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продал свою душу черту, и все за талант”<sup>1</sup>.

**4** Осенью 1925 года состоялось последнее публичное выступление поэта. “В “Доме печати”, — вспоминает И. Грузинов, — был вечер современной поэзии. Меня просили пригласить на вечер Есенина. Я пригласил и потом жалел, что сделал это: я убедился, что читать ему было чрезвычайно трудно <...> Голос у него был хриплый. Читал он с большим напряжением. Градом с него лил пот”<sup>2</sup>. “Последний раз, — пишет в своих мемуарах Н. Никитин, — я виделся с ним ровно за полтора месяца до смерти... Я не узнавал темного, мутного лица Сережи, разрывались слова, падала и уносилась в сторону мысль, и по темному лицу бродила не белокурая, а темная улыбка”<sup>3</sup>.

“Страшное зрелище застала я в “Ампире”, — рассказывает А. Берзинь. — Среди битой посуды ничком лежал Сергей Александрович, тесно сомкнув губы. Я видела, что он уже все понимает, но прикидывается бессознательным. Я нагнулась и сказала:

— Сережа, поедem домой.

Он не вставал, мне противно было до него дотронуться: он весь был покрыт блевотиной”<sup>4</sup>.

В этот период Есенин, в приступе пьяного безумия, словно подражая Блоку, перед смертью расколовшему на куски бюст Аполлона, “с балкона сбросил свой бюст работы Коненкова, уверяя, что Сереже (так он называл свой бюст) очень жарко и душно. Он вынес бюст на балкон, поставил на балюстраду и, посмотрев, что внизу никого нет, столкнул бюст на улицу. Упав с огромной высоты, естественно, глина рассыпалась на сотню кусков”<sup>5</sup>.

Приехав в начале ноября на несколько дней в Ленинград, Есенин, находившийся во власти зловещих настроений “Черного человека”, до полусмерти напугал своего приятеля Александра Сахарова, у которого ночевал:

1 Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 59.

2 Грузинов И. Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 146.

3 Никитин Н. Встречи // Красная новь. 1926. № 3. С. 249.

4 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 389.

5 Там же. С. 391.

Сахаров просыпается от навалившейся на него какой-то тяжести и чувствует, что кто-то его душит. Открывает глаза и с ужасом видит вцепившегося ему в горло Есенина. Отбиваясь, Сахаров окликнул:

— Что ты, Сергей, делаешь? Что с тобой?

Есенин трясся, как в лихорадке, спрашивая как бы про себя:

— Кто ты? Кто?

Сахаров зажег свет. Есенин вскоре успокоился и опять уснул. Под утро ночевавшую компанию разбудил звон разбиваемых стекол. Посреди комнаты стоял Есенин, в слезах, осыпанный осколками разбитого им зеркала<sup>1</sup>.

Но поэт еще пробовал бороться с пустотой и скукой. Всю оставшуюся энергию он сконцентрировал на подготовке своего первого трехтомного “Собрания стихотворений”, заявку на которое подал в Литературный отдел Госиздата еще 17 июня. “От временного невнимания к нему, вызванного болезненным состоянием поэта, — констатирует И. Евдокимов, — он постепенно перешел буквально к страстному интересу, постоянно говорил о нем и даже мечтал с трепетом времен “Радуницы” — первой книги поэта”<sup>2</sup>.

26 ноября, понукаемый родными и друзьями, Есенин согласился на лечение в психиатрической клинике 1-го Московского государственного университета. “Пишу тебе из больницы, опять лег. Зачем — не знаю, но, вероятно, и никто не знает, — 27 ноября писал поэт П. Чагину. — Видишь ли, нужно лечить нервы, а здесь фельдфебель на фельдфебеле. Их теория в том, что стены лечат лучше всего без всяких лекарств”<sup>3</sup>. Ивану Евдокимову 6 декабря Есенин писал о том, что с ним произошло, более спокойно: “Живу ничего. Лечусь вовсю. Скучно только дьявольски, но терплю, потому что чувствую, что лечиться надо”<sup>4</sup>.

Терпения поэту хватило ненадолго. Вместо предполагавшихся двух месяцев он выдержал в клинике лишь 25 дней. “...Ходил обреченный. Остановившиеся, мутно-голубые глаза, неестественная бледность припухшего, плохо бритого лица и уже выцветший лен удивительных волос, космами висевших из-под полей широкой шляпы” — таким запомнился поэт В. Рождественскому<sup>5</sup>. “Есенин внешне окреп, пополнел, голос посвежел.

1 *Старцев И.* Мои встречи с Есениным // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 90.

2 *Евдокимов И.* Сергей Александрович Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 212–213.

3 *Есенин С.* Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 228.

4 Там же. С. 229.

5 *Рождественский В.* Письмо из Ленинграда // Сергею Есенину: Сборник статей, воспоминаний и стихотворений. Ростов-на-Дону, 1926. С. 60.

Но голубые глаза его по-прежнему бегали нервно, не отставая от скачущих мыслей”, — таким изобразил его В. Наседкин<sup>1</sup>.

Одержимый “скачущими мыслями”, 23 декабря Есенин пьяный явился в Госиздат, намереваясь получить деньги за свое “Собрание”. Накануне он зашел проститься к первой жене, Анне Изрядновой<sup>2</sup>, и принял решение развестись с последней женой, Софьей Толстой<sup>3</sup>. “Они меня там лечат, а мне наплевать, наплевать! Скучно! Скучно мне, Евдокимыч!” — силился Есенин объяснить свои поступки И. Евдокимову<sup>4</sup>. На случайно подвернувшегося ему под руку в Госиздате рапповца А. Тарасова-Родионова поэт обрушил целое



Сергей Есенин. Сентябрь 1925

половодье признаний: “Софью Андреевну... Нет, ее я не любил<sup>5</sup>. И сейчас с ней окончательно разошелся. Она жалкая и убогая женщина. Она набитая дура. Она хотела выдвинуться через меня. Подумаешь, внучка! <...> У меня нет друзей. Ты мне должен верить, когда я говорю это тебе, кацо. Этих друзей я ненавижу <...> Скучно, кацо <...> А пить я не брошу. Почему? — И он опять лукаво улыбнулся с наивной хитрецей. — Скучно, кацо. Ты понимаешь, мне скучно, и я устал. Вон, Воронский, болван, орет, что я исписался. Врет он, ничего

1 Наседкин В. Последний год Есенина // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 238.

2 См.: Изряднова А. Воспоминания // Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 146.

3 Приведем текст записки Толстой Есенину, переданной в больницу в ответ на есенинское требование избавить его от ее посещений: “Сергей, ты можешь быть совсем спокоен. Моя надежда исчезла. Я не приду к тебе. Мне без тебя очень плохо, но тебе без меня лучше. Соня” (Сергей Есенин в стихах и в жизни... Кн. 3. С. 301).

4 Евдокимов И. Сергей Александрович Есенин // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 223.

5 Ср., однако, в письмах Есенина к С. Толстой, отправленных в июле и в ноябре 1925 года: “Люблю, люблю” (Есенин С. Полн. собр. соч.: В 7 т. Т. 6. С. 220) — и: “Привет Вам, любовь и целование” (Там же. С. 227), а также в письме Софьи Толстой к матери от 13 августа 1925 года: “Мама моя, дорогая милая... Ты скажешь, что я влюбленная дура, но я говорю положи руку на сердце, что не встречала я в жизни такой мягкости, кротости и доброты. Мне иногда плакать хочется, когда я смотрю на него. Ведь он совсем ребенок наивный, трогательный. И поэтому, когда он после грехопадения — пьянства кладет голову мне на руки и говорит, что он без меня погибнет, то я даже сердиться не могу, а глажу его большую головку и плачу, плачу” (Сергей Есенин в стихах и в жизни... Кн. 3. С. 355).





Вольф Эрлих  
Фотография М. С. Нанпельбаума. 1920-е

не понимает в искусстве и не понимал никогда”<sup>1</sup>.

На вокзале перед отправлением поезда Есенин выпил с поэтом Сергеем Клычковым. На следующее утро, 24 декабря, в 10 часов 40 минут он был уже в Ленинграде. С вокзала Есенин отправился на квартиру к Вольфу Эрлиху, а когда оказалось, что того нет дома, поехал в гостиницу “Англетер”, где снял пятый номер на втором этаже. “Сбросил пальто в своем номере и пришел ко мне, этажом повыше, — свидетельствует Георгий Устинов. — Он был в шапке, в длинном шарфе из черной и красной материи, радостно-возбужденный, с четырьмя полбутылками шампанского.

Расцеловавшись, он тут же выразил обиду:

— Понимаешь ли, нет бутылками-то! Я взял четыре полбутылки!”<sup>2</sup>

“Пошли к нему, — продолжает жена Устинова, Елизавета, — Есенин сказал, что он из Москвы уехал навсегда, будет жить в Ленинграде и начнет здесь новую жизнь — пить вино совершенно перестанет. Со своими родственниками он окончательно расстался, к жене не вернется — словом, говорил о полном обновлении своего быта. У него был большой подъем”<sup>3</sup>. Под эти разговоры выпили четыре полбутылки шампанского, а от новой закупки Устинов и приехавший в “Англетер” Эрлих Есенина отговорили.

В номер к Есенину заглянул проживавший в “Англетере” журналист Дмитрий Ушаков. Согласно его воспоминаниям, автор “Черного человека” в этот вечер много “жаловался на родную ему русскую деревню, кото-

1 Тарасов-Родионов А. И. Последняя встреча с Есениным // С. А. Есенин: Материалы к биографии. С. 245–252.

2 Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 163. К характеристике Г. Устинова приведем фрагмент воспоминаний о нем Н. Гариной: “Личная обстановка Устинова состояла из трех элементов: Книг. Бутылок. И одной пишущей машинки” (Гарина Н. Воспоминания о С. А. Есенине и Г. Ф. Устинове // Звезда. 1999. № 9. С. 141).

3 Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 233.

рая не понимает его поэзию. Так, на родине Есенина предсельсовета попросил его написать какое-то заявление. Когда поэт отговорился неумением, тот заметил: какой же ты писатель после этого? Зря тебя хвалят”<sup>1</sup>.

Эрлих остался у Есенина ночевать.

“Первое, — вспоминает молодой поэт, — что я услышал от него” наутро 25 декабря:

— Слушай, поедем к Клюеву!

— Поедем.

— Нет, верно, поедем?

— Ну да, поедем. Только попозже. Кроме того, имей в виду, что адреса его я не знаю.

— Это пустяки! Я помню... Ты подумай только: ссоримся мы с Клюевым при встречах кажинный раз. Люди разные. А не видеть его я не могу. Как был он моим учителем, так и останется. Люблю я его”<sup>2</sup>.

С приключениями, с долгими поисками адреса добрались до Клюева. Подняли его с постели. Хотя оба обрадовались встрече, мирной и благостной она все же не получилась. Есенин вел себя как расшалившийся школьник, все менее и менее безобидно подтрунивающий над любящим его наставником. Сначала он попросил у Клюева разрешения прикурить от теплящейся в комнате лампадки (тот, понятное дело, не разрешил), а потом, когда Клюев вышел умыться, и вовсе эту лампадку тихонечко потушил:

— Только ты молчи! Понимаешь, молчи! Он не заметит.

Клюев действительно не заметил.

Сказал ему Есенин об этом и просил у него прощения уже позже, когда мы втроем вернулись в гостиницу. Вслед за нами пришел художник Мансуров.

Есенин читал последние стихи.

— Ты, Николай, мой учитель. Слушай”<sup>3</sup>.

Когда Есенин закончил читать, он “потребовал, чтобы Клюев сказал, нравятся ли ему стихи”<sup>4</sup>. То, что произошло дальше, но-настоящему, всерьез омрачило последнюю встречу двух поэтов. Клюев не принял новые есенинские стихи, он, как и Юрий Тынянов, счел их примитивными и сурьальными и не стал этого особенно скрывать.

1 Цит. по: Панфилов А. Есенин без тайн. М., 2005. С. 301.

2 Эрлих В. Право на песнь. С. 96.

3 Там же. С. 98.

4 Там же.

“Умный Клюев долго колебался и наконец съязвил:

— Я думаю, Сереженька, что если бы эти стихи собрать в одну книжечку, они стали бы настольным чтением для всех девушек и нежных юношей, живущих в России”<sup>1</sup>.

Устинову Есенин потом рассказывал, что он “выгнал Клюева” из номера<sup>2</sup>. Но это было не так. Учитель и ученик расстались вполне мирно, более того, Клюев даже “обещал прийти вечером, но не пришел”<sup>3</sup>. Пять лет спустя Ольга Форш в своем романе “Сумасшедший корабль” воспроизвела впечатления Клюева от этой встречи с Есениным:

— <...> В последний раз виделись, знал — это прощальный час. Смотрю, чернота уж всего облепила...

— Зачем же вы оставили его одного?

— Много раньше увещал, — неохотно пояснил он. — Да разве он слушался? Ругался. А уж если весь черный, так мудрому отойти. Не то на меня самого чернота его перекинуться может! Когда суд над человеком свершается, в него мешаться нельзя. Я домой пошел. Не спал, ведь, — плакал<sup>4</sup>.

“Мокрые хлопья снега попадали на окно и плыли вниз. Это была страшная петербургская ночь”, — вспоминает П. Мансуров<sup>5</sup>, осознанно или неосознанно отсылая читателя к заглавию и антуражу второй части “Записок из подполья” Ф. М. Достоевского: “По поводу мокрого снега”.

Утро 26 декабря началось с обсуждения вчерашнего клюевского визита. Есенин “бранил Клюева, но тут же, через пять минут, говорил, что любит его”<sup>6</sup>. В этот день “разговаривали, пили чай, ели гуся, опять разговарива-

1 Там же. Ср.: “Его стихи для легкого чтения, но они в большой мере перестают быть стихами” (*Тынянов Ю.* Промежуток // *Тынянов Ю.* Поэтика... С. 172). Совершенно по-иному оценил есенинские последние стихи В. Катаев: они “до сих пор, несмотря на свою неслыханную простоту, или, вернее, именно вследствие этой простоты, кажутся мне прекрасными до слез. Всем известны эти стихи, прозрачные и ясные, как маленькие алмазики чистой воды” (*Катаев В.* Алмазный мой венец. С. 173).

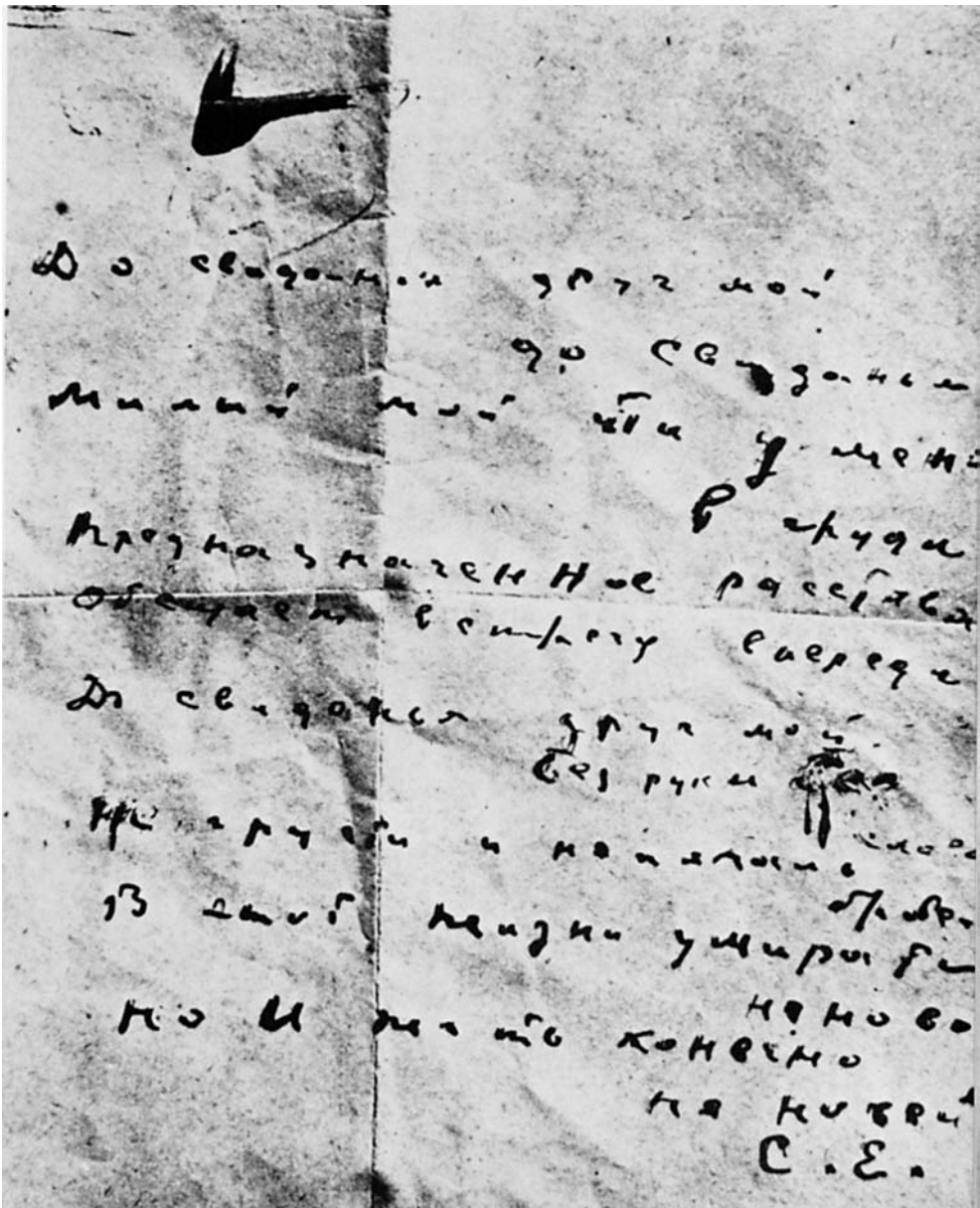
2 *Устинов Г.* Мои воспоминания об Есенине // *Сергей Александрович Есенин: Воспоминания.* С. 165. Еще более жесткая версия изложена в письме П. Мансурова к О. Синьорелли от 10 августа 1972 года: “Есенин рассвирепел и полез в драку, и мне пришлось их разнимать” (цит. по: *Гронский И.* О крестьянских писателях... // *Минувшее: Исторический альманах.* Вып. 8. С. 173).

3 *Эрлих В.* Право на песнь. С. 98.

4 *Форш О.* Сумасшедший корабль: Роман. Рассказы. Л., 1988. С. 132.

5 Цит. по: *Гронский И.* О крестьянских писателях... // *Минувшее: Исторический альманах.* Вып. 8. С. 173.

6 *Устинова Е.* Четыре дня Сергея Александровича Есенина // *Сергей Александрович Есенин: Воспоминания.* С. 236.



Рукопись последнего стихотворения С. Есенина  
"До свиданья, друг мой, до свиданья...", написанного 28 декабря 1925 г.

ли <...> Время от времени Есенин умудрялся понемногу доставать пиво, но редко и скудно: праздники, все закрыто”<sup>1</sup>.

Поэт вновь читал собравшейся в номере компании стихи, в том числе несколько раз “Черного человека”.

“Пел песню. По его словам — это была песня антоновских банд:

*Что-то солнышко не светит,  
Над головушкой туман.  
То ли пуля в сердце метит,  
То ли близок трибунал.  
Ах, доля-неволя,  
Глухая тюрьма.  
Долина, осина,  
Могила темна.  
На заре каркнет ворона,  
Коммунист, взводи курок!  
В час последний похоронят,  
Укокошат под шумок.  
Ах, доля-неволя,  
Глухая тюрьма.  
Долина, осина,  
Могила темна”<sup>2</sup>.*

Утром 27 декабря Есенин напугал и рассердил Елизавету Устинову и Вольфа Эрлиха.

“Он говорит:

— Да! Тетя Лиза, послушай! Это безобразие! Чтобы в номере не было чернил! Ты понимаешь? Хочу написать стихи, и нет чернил. Я искал, искал, так и не нашел. Смотри, что я сделал!

Он засучил рукав и показал руку: надрез.

Поднялся крик. Устинова рассердилась не на шутку”<sup>3</sup>.

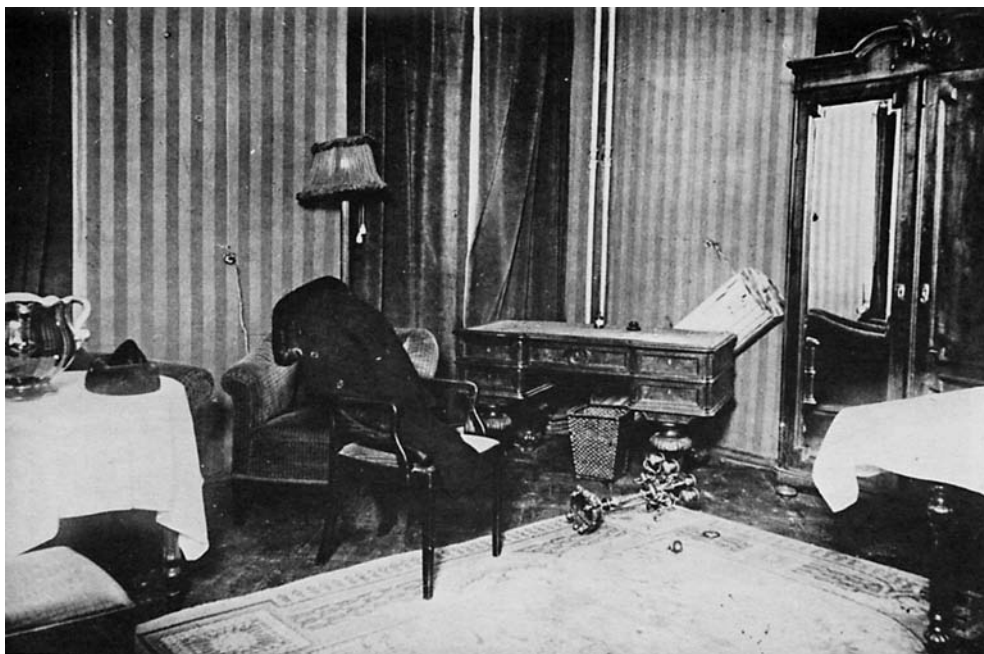
Есенин снова повел себя как заигравшийся пятиклассник, прилюдно бахвалящийся своим безрассудством (“Смотри, что я сделал!”), а втайне надеющийся, что его отведут от опасного края, успокоят и пожалеют. Иначе зачем было демонстрировать Устиновой, которую поэт явно вос-

1 Эрлих В. Право на песнь. С. 99–100.

2 Там же. С. 100.

3 Там же. С. 102.





Номер 5 в гостинице “Англетер”. Ленинград. 28 декабря 1925



Тело Сергея Есенина спустя несколько часов после смерти  
28 декабря 1925



принимал как добрую, хотя и ворчливую представительницу мира “взрослых” (“тетя Лиза”), свои порезанные вены?

Кажется весьма вероятным, что на сходную реакцию был рассчитан и следующий за только что описанным жест поэта.

“Сергей Александрович подошел к столу, вырвал из блокнота написанное утром кровью стихотворение и сунул Эрлиху во внутренний карман пиджака. Эрлих потянулся рукой за листком, но Есенин его остановил:

— Потом прочтешь, не надо!”<sup>1</sup>

Можно только гадать, как развернулись бы дальнейшие события, если бы Устинова и Эрлих не послушались Есенина и сразу же прочли стихотворение, кровью написанное на листке, выданном из блокнота:

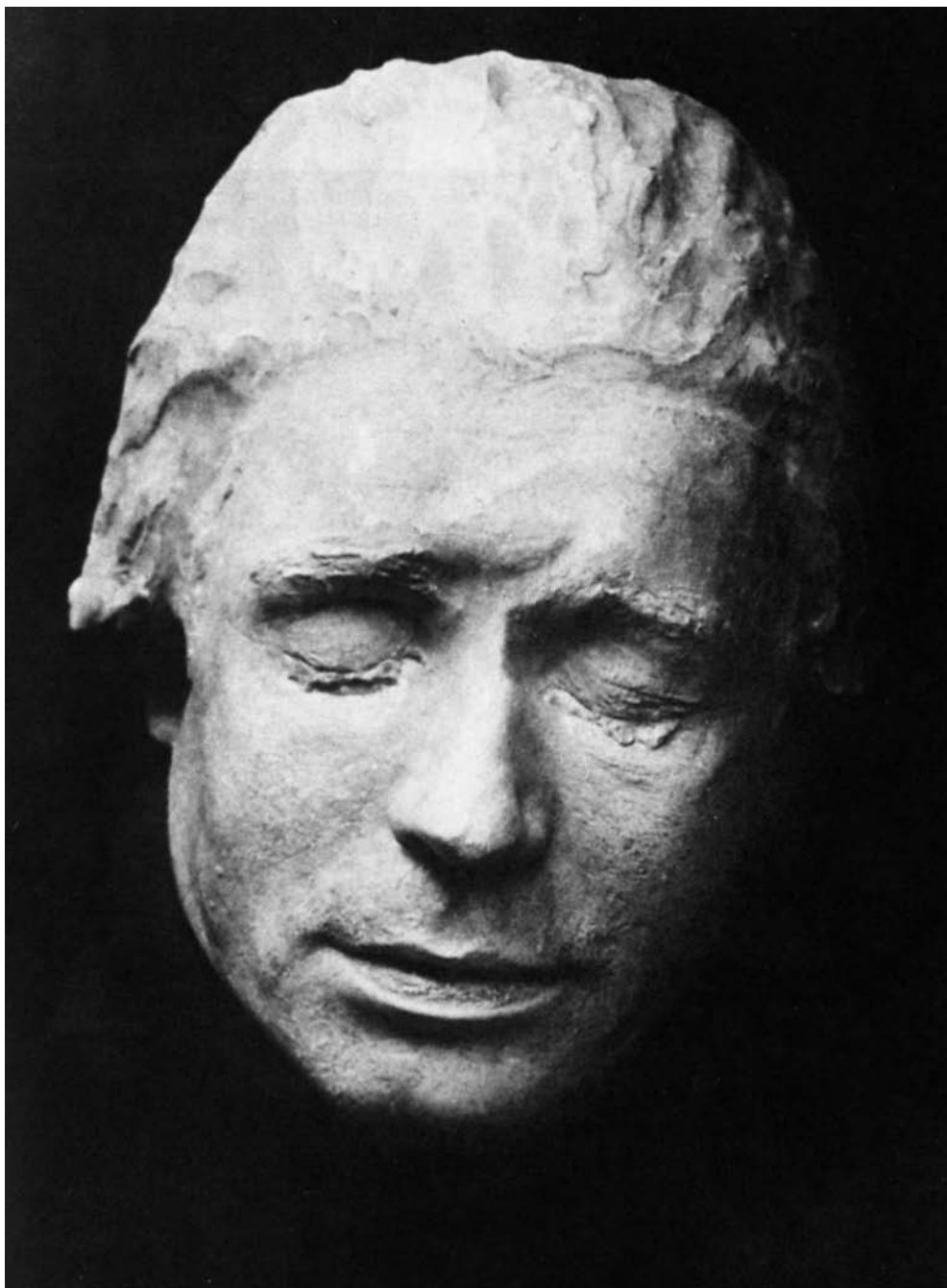
*До свиданья, друг мой, до свиданья.  
Милый мой, ты у меня в груди.  
Предназначенное расставанье  
Обещает встречу впереди.*

*До свиданья, друг мой, без руки, без слова,  
Не грусти и не печаль бровей, —  
В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей.*

И уже совсем по-детски, на грани допустимого, повел себя Есенин чуть позже, оставшись один на один со своим старшим другом Георгием Устиновым. “Увидев меня, он поднялся с кушетки, пересел ко мне на колени, как мальчик, и долго сидел так, обняв меня одною рукой за шею. Он жаловался на неудачно складывающуюся жизнь. Он был совершенно трезв”<sup>2</sup>. В правдивости последнего процитированного предложения заставляет усомниться свидетельство давнего есенинского знакомого Лазаря Бермана, посетившего поэта в этот же день несколько раньше. “Вдоль окна тянется длинный стол, в беспорядке уставленный разными закусками, графинчиками и бутылками, — описывает он обстановку есенинского номера. — В комнате множество народа, совершенно для меня чуждого. Большинство расхаживало по комнате, тут и там образуя отдельные группы и перегово-

1 Устинов Г. Мои воспоминания об Есенине // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 167.

2 Там же.



Посмертная маска Есенина  
Скульптор И. С. Золотаревский. 29 декабря 1925



У гроба Есенина в Ленинградском отделении Всероссийского Союза писателей. На переднем плане слева направо: Николай Клюев, Илья Садофьев, Василий Наседкин, Софья Толстая, Николай Никитин, Вольф Эрлих, Василий Казин. 29 декабря 1925

риваясь. А на тахте, лицом кверху, лежал хозяин сборища Сережа Есенин в своем прежнем ангельском обличи. Только печатью усталости было отмечено его лицо. Погасшая папироса была зажата в зубах. Он спал”<sup>1</sup>.

Так или иначе, но есенинские знаки и намеки остались никем не понятыми. Между тем к Есенину и Устинову присоединились Елизавета Устинова, Вольф Эрлих и Дмитрий Ушаков. Опять болтали о всякой всячине. “Есенин был немного выпивши, но потом почти совсем протрезвился, — рассказывал Устинов следователю 28 декабря. — Вспоминали Москву, когда он жил у меня, вспоминал о своей первой жене З. Райх, с которой он ра-

1 Цит. по: *Азадовский К.* Последняя ночь // *Звезда.* 1995. № 9. С. 132. Ср., однако, в воспоминаниях П. Мансурова: “Мы шестеро выпили по малюсенькой рюмочке, а потому разговоры о том, что Есенин повесился с перепоя, есть чистая выдумка” (цит. по: *Гронский И.* О крестьянских писателях... // *Минувшее: Исторический альманах.* Вып. 8. С. 172). Но см. также и в письме Б. Пастернака к М. Цветаевой от 26 февраля 1926 года: “В сведениях, сообщенных Лукницким, имелось указание, что на ночь, оставшись один, потребовал в номер пива, и наутро, когда взломали дверь, обнаружили три пустые бутылки”. (*Цветаева М., Пастернак Б.* Души начинают видеть... С. 136). Под этими словами была сноска. “Лукницкий просил этой подробности не распространять” Окончательную ясность в этот вопрос вносят показания Г. Устинова следователю, приводимые в следующем абзаце нашей книги.

зошелся еще в 1919–20 г., о своих детях, которые остались при Райх, показал матерчатую папку — кажется, подарок ее Есенину, а на папке внизу мелкими буквами карандашом надпись Райх — что-то о долгой любви”<sup>1</sup>. “В этот день все очень устали и ушли от него раньше, чем всегда, — писала Елизавета Устинова. — Звали его к себе, он хотел зайти — и не пришел”<sup>2</sup>.

“28-го, — продолжает Устинова, — я пошла звать Есенина завтракать, долго стучала, подошел Эрлих — и мы вместе стучались. Я попросила, наконец, коменданта открыть комнату отмычкой. Комендант открыл и ушел. Я вошла в комнату: кровать была не тронута, я — к кушетке — пусто, к дивану — никого, поднимаю глаза и вижу его в петле у окна. Я быстро вышла”<sup>3</sup>.

**5** “Дверь номера открыта. За столом посередине милицейские составляют протокол, на полу прямо против двери лежит Есенин, уже си-неющий, очоленевший. Расстегнутая рубашка обнажает грудь. Волосы, всё еще золотистые, разметались по грязному полу, с плевками и окурками. Руки мучительно сведены, ноги вытянулись прямо и блестят лаком тонких заграничных башмаков-туфлей. Это несоответствие цветных носков и лакированной кожи с распахнутым русским воротом и рязанской копной золотистых кудрей сразу же резануло мне глаза, — по свежим следам трагедии вспоминал Всеволод Рождественский. — <...> Кончатся милицейские формальности, труп выносят в коридор. Комнату опечатали,

1 Смерть Сергея Есенина: Документы. Факты. Версии. Материалы комиссии всероссийского писательского Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта. М., 2003. С. 164.

2 Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 236.

3 Устинова Е. Четыре дня Сергея Александровича Есенина // Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. С. 237. Ради добросовестности приведем здесь фрагмент из выступления И. М. Тронского перед работниками Центрального государственного архива литературы и искусства в 1959 году: “Когда С. А. Есенин и С. А. Клычков приехали в Ленинград, они задумали разыграть небольшую историю, чтобы о них заговорили. Они решили инсценировать самоубийство. И Есенин, готовясь к этому, написал письмо к В. Эрлиху, рассчитывая, что тот сразу придет в гостиницу и предотвратит самоубийство. Он ведь не вешался на крюке или еще на чем-нибудь, он привязал веревку к батарее. А В. Эрлих, получив письмо, пришел только на следующий день. Видимо, шаги по коридору показались С. А. Есенину шагами В. Эрлиха, и он, привязанный к батарее, упал на пол. Но никто не вошел к нему, и С. А. Есенин умер. Этот факт мне рассказал Павел Васильев” (*Тронский И. М. О крестьянских писателях... // Минувшее: Исторический альманах. Вып. 8. С. 148*). Во-первых, Клычков не приезжал с Есениным в Ленинград. Во-вторых, выступление Тронского пестрит вопиющими неточностями: в частности, он сообщает, что “после Октябрьской революции” Есенин “добровольно ушел на фронт с оружием в руках и защищал Советскую власть” (Там же. С. 145–146), а также о том, что у Клюева имелись “иконы Рублева” (Там же. С. 149). Главная же нелепость рассказанной Тронским истории заключается в том, что весь опасный есенинский спектакль якобы разыгрывался ради одного человека, Вольфа Эрлиха, который, безусловно, не стал бы обстоятельства этой некрасивой истории тиражировать.



Есенин в открытом гробу в московском Доме печати. Слева с поднятой рукой Зинаида Райх, справа от нее Всеволод Мейерхольд. Крайняя справа мать Татьяна Федоровна, рядом с ней сестра поэта Екатерина 30 декабря 1925

и мы несем Сережу по темным проходам темной лестницы (хозяин категорически отказался выносить в парадное) к нанятым лиловым саям во дворе”<sup>1</sup>. “Сани были такие короткие, что голова его ударялась по мокрой мостовой”, — свидетельствовал П. Мансуров<sup>2</sup>.

То, что происходило дальше, вплоть до отправки гроба с телом Есенина в Москву, подробно описано в дневнике литератора Павла Лукницкого: 29 декабря “в пять часов вечера в помещении Союза писателей (Фонтанка, 50) была назначена гражданская панихида. В углу первой комнаты — возвышение. Комната полна народу, не протиснуться. Тихонов, Садофьев, Полонская, Пяст, Рождественский, Клюев, Каменский, члены

1 *Рождественский В.* Письмо из Ленинграда // Сергею Есенину: Сборник статей, воспоминаний и стихотворений. С. 60, 62.

2 Цит. по: *Гронский И. М.* О крестьянских писателях... // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 8. С. 174.



“Содружества”, пролетарские поэты, большинство членов Союза, постоянная публика. Около 6 часов привезли тело Есенина. Оркестр Госиздата, находившийся во второй комнате, заиграл похоронный марш. Тихонов, Браун, я и еще человек 6 внесли гроб, поставили на возвышение, сняли крышку. Положили в гроб приготовленные заранее цветы. С двух сторон — венки. На одном — лента: “Поэту Есенину от Ленинградского Отделения Гос. Издата”... В течение часа длилось молчание. Никто не произносил речей. Толпились, ходили тихо. Никто не разговаривал друг с другом, а посторонних, которые стали шептаться, просили замолчать: Софья Андреевна стояла со Шкапской у стены — отдельно ото всех. Бледный и измученный Эрлих — тоже у стены и тоже отдельно. Тут он уже не хлопотал — предоставил это другим. Клюев стоял в толпе и не отрываясь смотрел на Есенина. Плакал. В гроб, в ноги Есенину, кто-то положил его книжки, и наверху — лежало “Преображенье”. От толпы отделилась какая-то молодая девушка в белой меховой шляпке, подошла к гробу. Встала на колени и склонила голову. Поднялась. Поцеловала руку Есенину. Отошла. Какая-то старуха, в деревенских сапогах, не то в зипуне, не то в овчинном полушубке, подошла к гробу. Долго крестилась. Приложилась и тоже заковыляла назад. Больше никто к гробу не подходил. Около 7 часов явился скульптор Золотаревский со своими мастерами. Гроб перенесли во вторую комнату. Поставили на стол. Публику просили остаться в первой комнате. Во второй тем не менее скопилось много — все свои. Софья Андреевна в кресле в углу, у печки. С виду спокойна. Шкапская потом говорила, что весь этот день С. А. была в тяжелом оцепенении <...> Было тихо. Только в соседней комнате гудел разговор оркестрантов... Один из них штудировал маленькую летучку — извещение о гражданской панихиде и о проводах тела Есенина, которую разбрасывали по городу газетчики. Публика прибывала. Стояли уже на лестнице. Пришел Ионов, давал распоряжения. Я пошел отыскивать ножницы. Софья Андреевна отрезала прядь волос — всегда пышно взлохмаченных, а сегодня гладко зачесанных назад. Маски сняты. Гроб перенесен опять в большую комнату. Хотели отправляться на вокзал, но исчезла колесница. Тихонов и еще кто-то побежали в бюро похоронных процессий за другой. Фотограф Булла раздвинул треножник, направил аппарат на гроб. Все отодвинулись. По другую сторону гроба встали Ионов, Садофьев, еще несколько человек, вызвали из толпы Клюева и Эрлиха. Они медленно прошли туда же и встали в поле зрения аппарата. Кто-то сзади усиленно толкал меня, стараясь протиснуться к гробу, чтобы быть сфото-



графированным. Но толпа стояла так плотно, что пробраться он все же не сумел. Вспыхнул магний. Колесница стояла внизу. Стали собираться в путь. Браун, Рождественский, я поднесли крышку гроба и держали ее, пока друзья Есенина прощались с ним. Клюев склонился над телом и долго шептал и целовал его. Кто-то еще подходил. Крышка опущена. Мы вынесли гроб. Вторично заиграл оркестр. Погода теплая. Мокрый снег ворочается под ногами. Темно. Шли по Невскому. Прохожие останавливались: “Кого хоронят?” “Поэта Есенина”. Присоединялись. Когда отошли от Союза, было человек 200–300. К вокзалу пришло человек 500. Товарный вагон был уже подан. Поставили гроб в вагон — пустой, темный... Жена Никитина устанавливала горшки с цветами, приспособливала венки; в вагон приходил Эйхенбаум, но скоро ушел. Перед вагоном — толпа. Ионов встал в дверях вагона. Сказал небольшую речь о значении Есенина. После Иопова выступил с аналогичной речью Садофьев. После Садофьева Эльга Каминская прочла 2 стихотворения Есенина. Софья Андреевна и Шкапская вышли из вагона. Кто-то просил Тихонова сказать несколько слов. Тихонов отказался. К 10-ти часам все было прилажено, устроено. Публика разошлась. Оркестр ушел еще раньше, сразу после прибытия на вокзал. Последней из вагона вышла жена Никитина. Вагон запломбировали <...> Происшедшее было так ошеломляюще, что никто не мог понять его до конца, никто из нас еще не умел говорить о Есенине — мертвом. Знали, что завтра в газетах будет много лишнего, ненужного и неверного. Решили принять меры к тому, чтобы этого не случилось — надо просмотреть весь материал для завтрашних газет. Тихонов и Никитин поехали по редакциям. Никто не сомневался в том, что Есенина надо хоронить в Москве, а не в Рязанской губернии. Садофьеву поручено было хлопотать об этом в Москве (как оказалось после, Москва сама так же решила). Около 11 вечера вышли на платформу. Поезд был уже подан, и вагон с гробом прицеплен к хвосту. В 11.15 поезд тронулся. Я протянул руку к проходящему вагону и прошуршал по его стенке”<sup>1</sup>.

В мемуарах и письмах, посвященных описанию похорон поэта, на все лады варьируется сравнение “Есенин — ребенок”. Лев Никулин: “В гробу лежал мальчик с измученным, скорбным лицом”<sup>2</sup>. Августа Миклашевская: “Есенин был похож на измученного, больного ребенка”<sup>3</sup>. Анна Берзинь:

1 Цит. по: Лукницкая В. Перед тобой, земля. Л., 1988. С. 57–60.

2 Есенин в восп. совр. Т. 1. С. 309.

3 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин... С. 353.

4 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 400.

“Меня поразило лицо Сергея, лицо обиженного ребенка”<sup>4</sup>. Илья Груздев: “Есенин в гробу был изумителен. Детское, страдальческое лицо, искривленные губы и чуть сведенные брови”<sup>1</sup>; Валентин Катаев: “...Совсем по-детски маленькое личико мертвого” Есенина, “задушенного искусственными цветами и венками с лентами”...<sup>2</sup>

“Узкий желтый гроб”<sup>3</sup> с телом Есенина привезли из Ленинграда в Москву 30 декабря в 2 часа дня. “Встретить тело поэта на Октябрьском вокзале пришли тысячи москвичей. Процессия прибыла к “Дому печати”. Здесь был вывешен огромный транспарант: “Тело великого русского



Сергей Есенин. 1925

национального поэта Сергея Есенина покоится здесь”. Поток желающих проститься с Есениным не прерывался весь остаток дня и всю ночь”<sup>4</sup>. С согласия близких ночью на шею Есенина был украдкой надет крест, переданный Николаем Клюевым через пролетарского поэта Михаила Герасимова<sup>5</sup>.

И вот настал день похорон, 31 декабря. “Зинаида Райх обнимала своих детей и кричала: “Ушло наше солнце”. Мейерхольд бережно обнимал ее и детей и тихо говорил: “Ты обещала, ты обещала...” <...> Мать Есенина стояла спокойно, с каким-то удивлением оглядывая всех <...> Нашли момент, когда не было чужих, закрыли двери, чтобы мать могла проститься, как ей захочется”<sup>6</sup>. “Это было страшно и удивительно, — вспоминает Анна Берзинь, — как она, стараясь, чтобы не заметили люди, крестообразно посыпала сына песком”<sup>7</sup>.

“Было народу больше тысячи. На версту”, — писал И. Касаткин С. Подьячеву, вернувшись с проводов Есенина<sup>8</sup>. ”...Похороны были мрачные,

1 Сергей Есенин в стихах и в жизни... Кн. 3. С. 399.  
 2 Катаев В. Алмазный мой венец. С. 175.  
 3 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин... С. 353.  
 4 Белоусов В. Сергей Есенин... Ч. 2. С. 231.  
 5 См.: Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 403.  
 6 Миклашевская А. Встречи с поэтом // Есенин глазами женщин... С. 353.  
 7 Берзинь А. Воспоминания // Есенин глазами женщин... С. 404.  
 8 Сергей Есенин в стихах и в жизни... Кн. 3. С. 373.

упрямые и в то же время растерянные”, — рассказывал П. Марков в письме к Горькому, отправленном в феврале 1926 года<sup>1</sup>. “Москва с плачем и стеномением хоронила Есенина, — свидетельствовал Юрий Либединский в своих мемуарах. — <...> Перед тем как отнести Есенина на Ваганьковское кладбище, мы <три раза> обнесли гроб с телом его вокруг памятника Пушкину. Мы знали, что делали, — это был достойный преемник пушкинской славы”<sup>2</sup>.

Прошло полгода. 20 июня 1926 года поклонник есенинского творчества А. Н. Дурнаво приехал в Константиново и там записал за матерью Есенина, кажется, единственное ее стихотворение. Вот полный текст этого стихотворения:

*Тяжело в душе держать;  
Я хочу вам рассказать,  
Какой видела я сон,  
Как явился ко мне он.*

*Появился ко мне сын,  
Многим был он семьянин;  
Он во сне ко мне явился,  
Со мной духом поделился.*

*Он склонился на плечо,  
Горько плакал, — горячо:  
“Прости, мама, — виноват!  
Что я сделал — сам не рад!”*

*На головке большой шрам,  
Мучит рана, помер сам.  
Все мои члены дрожали,  
Из очей слезы бежали:*

*“Милый мой Сережа,  
На тебя была моя надежда,  
На тебя я надеялась,  
А тебе от работы подеялось.*

1 Там же. С. 394.

2 Есенин в восп. совр. Т. 2. С. 155.

*Эх, милый, дорогой,  
Жаль расстаться мне с тобой,  
Светик милый, светик белый,  
Ты <покинул (?)> скоро нас.*

*Нам идти к тебе что рано,  
Но ты приди еще хоть раз.  
Хочет сердце разорваться,  
В глазах туманится слезой.*

*И прошу: полюбоваться  
Дай последний раз тобой”.  
Сергей был, Сергея нет,  
Всем живущим шлет привет<sup>1</sup>.*

<sup>1</sup> Цит. по: Панфилов А. Есенин без тайн. С. 51.

## Эпilog

**1** В 1989 году под эгидой московского Института мировой литературы имени А. М. Горького была создана комиссия Есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта. Единственная цель этой комиссии состояла в проверке целого ряда так называемых *версий* о злодейском убийстве автора “Черного человека” и “Страны негодяев”, выдвинутых энтузиастами-есенинолюбями<sup>1</sup> на излете перестройки. Текстологи, медики и криминалисты, по просьбе комиссии проводившие соответствующие экспертизы, в итоге пришли к однозначному выводу: “Опубликованные ныне “версии” об убийстве поэта с последующей инсценировкой повешения, несмотря на отдельные разночтения”, “являются вульгарным, некомпетентным толкованием специальных сведений, порой фальсифицирующим результаты экспертизы” (из официального ответа профессора по кафедре судебной медицины, доктора медицинских наук Б. С. Свадковского на запрос председателя комиссии Ю. Л. Прокушева)<sup>2</sup>.

Вероятно, у комиссии не было другого выхода, однако ее стремление непременно отреагировать на *все* аргументы сторонников *версий* об убийстве Есенина<sup>3</sup> с тактической точки зрения кажется не вполне удачным. Представителям противной стороны следовало сначала внятно, без

- 1 Согласно одной из самоаттестаций, это — “русские люди, в которых бьется живое есенинское сердце”. Они, “как живое дитя, прижали к себе его нежную и горячую поэзию — и уже никогда больше с нею не расставались, будь то монотонные рабочие будни, праздники души или же години тяжелых испытаний” (*Лысов И.* Убийство Есенина. М., 1992. С. 74).
- 2 Смерть Сергея Есенина: Документы. Факты. Версии... С. 24. Опровержению гипотез есенинцев посвящено также исследование: *Панфилов А.* Есенин без тайн. М., 2005.
- 3 Разве что за исключением сентенций подобного типа: “У Есенина в душе было столько солнца, голубого неба и любви — этого хватило бы на много жизней. Он не мог покончить с собой!” — это мнение моей мамы” (*Черносвитов Е.* Версия о версиях // Дальний Восток. 1991. № 6. С. 96).

натяжек, объяснить, зачем Есенину, если он *не* собирался сводить счеты с жизнью, понадобилось писать кровью стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья...” и накануне смерти вручать его Вольфу Эрлиху. А также какие резоны были у советской власти тайно и сложно убивать политически вполне лояльного, хотя и склонного к эпатажу и скандалам стихотворца<sup>1</sup>.

Ни в одном из хоть сколько-нибудь заслуживающих серьезного внимания свежих откликов на самоубийство Есенина, опубликованных в Советском Союзе и за рубежом в 1925 году, тема насильственной смерти поэта не поднималась: столь очевидными всем современникам, осведомленным и неосведомленным, представлялись главные обстоятельства есенинской гибели. Но и потом, вплоть до второй половины 1980-х годов, не только в советской подцензурной, но и в западной свободной печати о насильственном устранении Есенина никто не заговаривал.

Почему заказ на убийство поэта был сделан лишь спустя шестьдесят лет после смерти Есенина, в горбачевскую эпоху? Потому что именно в те годы вышел на поверхность миф о заговоре против русского народа. Логика тогдашних выступлений на митингах и в печати слишком известна: русские живут хуже, чем европейцы и американцы? Да. Они сами в этом виноваты? Нет. Их сознательно сбивают с пути и ведут по ложному следу. Кто ведет? Другие, зловредные народы. В первую очередь евреи. Некоторые видные большевики и чекисты по национальности были евреями. Значит, во всех бедах, приключившихся с многострадальным русским народом в XX столетии, виноваты большевики-евреи и чекисты-евреи.

Но при чем здесь Есенин? В мифологическом сознании по любому поводу разыгрывается борьба между силами света и тьмы. Само собой разумеется, что Есенин, любимый русский поэт, должен был воевать на стороне добра. Уже поэтому он никак не мог покончить жизнь самоубийст-

1 Объяснение Ивана Лысцова: Сергей Есенин был опасен для большевиков “как “сердцем никогда не лгавший” величайший мастер русского стиха, виртуозный художник слова, бескомпромиссный публицист и обладавший поистине великим и бесстрашным даром пророчества последовательный провозвестник огромной национальной опасности, которой с приходом к власти сионистов подверглась Россия” (*Лысцов И. Убийство Есенина. С. 23*). Не менее любопытна *версия*, выдвинутая Виктором Титаренко. См. в его заметке свидетельство, будто бы услышанное от якобы убийцы Есенина Николая Леонтьева: “В Питере в двадцатые годы выступала знаменитая певичка <...> и товарищ Троцкий был ее пламенным любовником. Однажды Троцкому доложили, что молодой Есенин — также ее тайный любовник. Это было для “демона революции” буквально громом с ясного неба. Он был обманут, возмущен, оскорблен. Терпеть такого Троцкий не пожелал и поручил это деликатное дело своему особо доверенному человеку Якову Блюмкину. Как мне объяснил Блюмкин, перед нами стояла задача весьма необычного характера: “Набить Есенину физиономию и кастрировать. Сделать это очень аккуратно, без общественной огласки” (*Титаренко В. “И тогда я выстрелил в Есенина...” // Чудеса и приключения. 2000. № 6* ([http://lalno.narod.m/hobbi/articles7\\_hobbi.html](http://lalno.narod.m/hobbi/articles7_hobbi.html))).



January 27-  
Dearest Anna - Thank you  
for your letter - I only  
received it - Today - I wish  
rather you or Elizabeth would  
try to write often - if only  
a line - I am terribly shocked  
about Sergei's death - But -  
I have kept & soaked so  
many hours about him that  
it seems he had already  
exhausted any human capacity  
for suffering - Myself I am  
having an epoch of such  
continued calamity - that I  
am often tempted to follow  
his example only I will walk  
into the Sea - Now & case  
I don't do that - here is a plan

Первая страница письма Айседоры Дункан

Ирме Дункан от 27 января 1926 г.:

"...Серееина гибель страшно потрясла меня, но я столько слез пролила из-за него, что любой человек на моем месте уже исчерпал бы свою способность страдать. Среди моих нескончаемых бед последнего времени меня нередко тянет сделать то же, что он, только я утолюсь..."

вом — ведь самоубийство смертный грех. А кто были враги поэта? Как известно, Есенин позволял себе антисемитские высказывания. Среди его недругов (но и друзей) мы в изобилии находим евреев, большевиков и чекистов. Стоит ли удивляться, что в головах новоявленных отечественных черносотенцев родился миф о русском поэте, умученном за свою рускость евреями-чекистами?<sup>1</sup>

Нужно признать, что самые простодушные из творцов этого мифа заявили свои ключевые тезисы с обезоруживающей прямоотой — решительно подкрепив их сильными метафорами и аналогиями. Федор Морохов: “Его гибель не была случайной — она стала следствием целенаправленного геноцида русского народа, проводимого деятелями, притязавшими на богоизбранность и мировое господство”<sup>2</sup>. Иван Лыцов: “Это злодеяние органично следует из глобальной политики сионистов-псевдореволюционеров, с самого начала Октябрьского переворота проводивших и до настоящего времени проводящих всесторонний геноцид в отношении великого русского народа и его государственности”<sup>3</sup>. Николай Дмитриев: “Слишком мешал кровавым “интернационалистам” самый русский поэт, слишком любил деревню, хранительницу национального духа, кормилицу, нагло ограбляемую ими”<sup>4</sup>. Гневно клеймил “лицемерие и звериную сущность большевистских мани-лейб” и Сергей Каширин, автор по-своему захватывающей книги “Черная нелюдь. Легенда и документы об убийстве Сергея Есенина”<sup>5</sup>.

Непосредственный же убийца подбирался авторами версий из более или менее близкого окружения Есенина по одному признаку — он должен был носить нерусскую фамилию. Так в поле зрения мифотворцев по-

1 Здесь и далее мы солидаризируемся с характеристикой деятельности есенинцев, данной в интервью: Есенин и миф о Есенине: Беседа с С. В. Шумихиным // Литературное обозрение. 1996. № 1.

2 Морохов Ф. Трагедия Есенина — поэта-пророка: Очерк-расследование. СПб., 2001. С. 3–4.

3 Лыцов И. Убийство Есенина. С. 14. Цитата из стихотворения того же автора, вошедшего в его поэтическую книгу 1985 года: “Все пережили и духом окрепли. / Сбросили тысячелетние цепи. / Вел наших воинов солнечный Ленин. / С ним же и Гитлера мы одолели” (Лыцов И. Происхождение. М., 1985. С. 54).

4 Дмитриев Н. Кровавый сын тысячелетней России // Тайна смерти Есенина. М., 1994. С. 3.

5 Каширин С. Черная нелюдь: Легенда и документы об убийстве Сергея Есенина. СПб., 1995. С. 39. Цитата из рассказа того же автора 1978 года “Ода замполиту”, демонстрирующая трогательный пролетарский интернационализм: “Выступили и Левин, и Нижельский, и многие другие комсомольцы. Нарушителей дисциплины, что называется, приструнили. А главное — сообща наметили конкретный план дальнейшей работы по выполнению обязательств в социалистическом соревновании, в обеспечении личной примерности комсомольцев в учебе и службе” (Каширин С. Высоты сыновей. М., 1978. С. 44). О несложной эволюции, проделанной автором “Оды замполиту”, свидетельствует еще один выразительный фрагмент из книги Каширина о Есенине: “Коль уж об этом антихристе зашла речь, скажем, что, согласно западным еврейским источникам, Ленин — еврей, который был бы сегодня полноправным гражданином Израиля” (Каширин С. Черная нелюдь... С. 41).



Тело Сергея Есенина

Посмертные рисунки Сварога (В. С. Корочкина). 28 декабря 1925

пали имажинисты (Анатолий Мариенгоф и Вадим Шершеневич)<sup>1</sup>, Яков Блюмкин, Вольф Эрлих, Лев Сосновский, Леопольд Авербах и даже (совсем уже сбоку припека) — Моисей Наппельбаум, фотографировавший тело умершего поэта.

Подобно любому другому мифу, сюжет о смерти Есенина от рук иудейских палачей, как из зерна, вырос из архетипа. В случае Есенина это, разумеется, архетип безвинного страстотерпца, образ Христа. Не вполне владеющий грамотой автор поэтической формулы: “Есенин <...> видится чуть ли не Христом”<sup>2</sup> — вполне отчетливо пояснил некоторые особенности современного культа Есенина: чудовищной пародией на стремление женщин из Галилеи узреть гроб Спасителя “и как полагалось тело Его”<sup>3</sup> представляется само маниакальное желание некоторых фанатичных есенинок во что бы то ни стало извлечь из могилы останки поэта (Наталья Сидорина: “Должна быть проведена полная экспертиза, должна быть эксгумация, на этом настаивает сын Есенина. Церковь благословляет эту акцию”<sup>4</sup>).

Действительно, радетели есенинского культа, многие из которых, судя по всему, считают себя православными христианами, с удивительной и,

1 “Надо отметить, что имажинистскую группу называли “орденом” неизвестной ложи, ее заседания посещал и Троицкий, который, как и Бухарин, по данным Н. Берберовой, был масоном” (*Морохов Ф.* Трагедия Есенина... С. 13).

2 *Артемьев А.* Сергей Есенин. Поэма. Чернодомье. Хроника смутных времен. М., 1994–1997. С. 8.

3 Лк. 23: 55.

4 Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии... С. 45. Еще один важный мотив, возникающий в книгах и статьях об убийстве Есенина, — свидетели, знающие правду, но боящиеся и не желающие обнародовать ее: “И Садофьев, и Рождественский, и Браун что-то знали такое, о чем говорить не хотели, или, может быть, касаться есенинской темы им было даже запрещено” (*Каширин С.* Черная нелюдь... С. 8). Ср. у Матфея о стражниках, видевших воскресшего Христа, но за плату согласившихся хранить молчание (Мтф. 28: 11–15).

прямо скажем, кощунственной легкостью отождествляют “скандального российского пиита” с Христом. Эдуард Хлысталов: “Да святится имя его”<sup>1</sup> Сергей Каширин: “Здравствуй, Сергей Есенин! — Здравствуй, во веки веков: — Да святится имя твое!”<sup>2</sup> Виктор Кузнецов: “Есенин взошел на Голгофу за любимую свою Россию”<sup>3</sup>. Прочитируем также строки из стихотворения Сергея Крыжановского с красноречивым заглавием “Образ”:

*Пуškai в иконах у кого-то стены,  
И на моих не мрак, в конце концов.  
Являют свет три лика вдохновенных —  
Есенин, Передрев и Рубцов*<sup>4</sup>.

Неудивительно, что результаты всевозможных экспертиз ни в чем есенинцев не убедили и не убедят: религиозная вера держится отнюдь не на доводах разума<sup>5</sup>.

Те, кто верит в убийство Есенина, мало считаются с неудобными фактами. Как в известном романе, у них “чего нихватишься, ничего нет”...

Вы будете удивляться, но в свой последний приезд в город на Неве поэт, оказывается, не останавливался в гостинице “Англетер”: “Подробное знакомство с остатками архива гостиницы, тщательный анализ всех данных приводят к неожиданному, даже сенсационному выводу: 24–27 декабря 1925 года Сергей Есенин не жил в “Англетере””<sup>6</sup>.

Дальше — больше: получается, что никаких проблем с психикой у Есенина во время визита в Ленинград не было и быть не могло. “Тениальность — редчайший дар, и чтобы нести его на своих плечах, человек должен обладать идеальным психическим здоровьем”<sup>7</sup>. А вел себя поэт

1 Хлысталов Э. Тайна убийства Сергея Есенина. М., 1991. С. 60.

2 Каширин С. Черная нелюдь... С. 110.

3 Кузнецов В. Тайна гибели Есенина... С. 224. Цитата из книги того же автора 1984 года: “Недаром боялись царские охранники распространения знаний в рабочей среде, всячески ограничивали количество книг для народного чтения” (Кузнецов В. Нетленные строки. Воронеж, 1984. С. 207). Пройдет семнадцать лет — и обличитель “царских охранников” сделается составителем книги “Тайна Октябрьского переворота: Ленин и немецко-большевистский заговор” (СПб., 2001). Умилительные строки о В. И. Ленине см.: Кузнецов В. Свети другим: Повесть-хроника. Воронеж, 1976. С. 205–206.

4 Крыжановский С. Образ // Тайна смерти Есенина. М., 1994. С. 150. Переключка с пушкинской эпиграммой “Угрюмых тройка есть певцов...”, очевидно, в намерения автора не входила.

5 Выразительный пример — вышедшая уже после опубликования материалов комиссии книга: Кузнецов В. Сергей Есенин: Казнь после убийства. М.; СПб., 2005. Многие адепты Есенина буквально верят в то, что им дана способность прозревать истину. Ср., например, у литературоведа Сергея Куняева: “Почему-то я уверен, что, когда убийцы подтаскивали поэта к трубе парового отопления и подвешивали на ремне от чемодана, он был еще жив” (Куняев С. Смерть поэта. Версия: Хроника журналистского расследования // Убийство Есенина: Новые материалы. Махачкала, 1991. С. 138).

6 Кузнецов В. Тайна гибели Есенина... С. 14.

7 Черноswiftов Е. Версия о версиях... С. 109.

в северной столице (да и раньше!) как строгий трезвенник. “Он совершенно не пил все эти четыре дня”<sup>1</sup>. “Посещение кафе и ресторанов было вынужденным — он не имел ни семьи, ни собственной квартиры, потому часто ему и приходилось питаться в этих заведениях. Так возникли слухи о беспробудном пьянстве поэта”<sup>2</sup>. “И пил он, если хотите знать, к-у-у-да меньше тех, кто потом постарался выставить его алкоголиком”<sup>3</sup>. Информация к размышлению: согласно экспертизе, проведенной по инициативе самих же есенинцев, особенности почерка, которым было записано для Эрлиха стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья...”, “обусловлены действием на С. Есенина в момент исполнения им исследуемого текста необычных внутренних и внешних факторов, “сбивающих” привычный процесс письма и носящих временный характер. В числе таких факторов наиболее вероятными являются необычное психофизиологическое состояние (волнение, алкогольное опьянение и др.) и плохие расписывающие свойства используемого пишущего прибора и красителя”<sup>4</sup>.

Венчаются построения новых мифотворцев серией отчаянно противоречащих друг другу *гипотез*, которые тем не менее подчинены единой цели: лишить стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья...” силы бесспорного свидетельства о намерениях поэта покончить с собой.

По утверждению есенинцев, “До свиданья...”, во-первых, рождалось в преддверии *не* самоубийства, а убийства: “В стихотворении — предощущение смерти, но в нем нет ни малейшего намека на мысль о самоубийстве”<sup>5</sup>; “Следует также сказать, что при внимательном прочтении стихотворения создается впечатление предвидения убийства, а не стремления к самоубийству”<sup>6</sup>.

Во-вторых, возникло стихотворение *не* во время рокового визита поэта в Ленинград: “Есть веские основания говорить о том, что стихотворение это было написано не 27 декабря 1925 года, а гораздо раньше”<sup>7</sup>.

В-третьих, оно *не* было вручено Вольфу Эрлиху самим Есениным: “Эрлих “До свиданья...” увидел впервые уже напечатанным в “Красной газете””<sup>8</sup>. “...Стихотворение <...> скорее всего, было выпрошено (если не

1 Куняев С. Ю., Куняев С. С. Жизнь Есенина. С. 568.

2 Морохов Ф. Трагедия Есенина... С. 17.

3 Каширин С. Черная нелюдь... С. 7.

4 Смерть Сергея Есенина: Документы. Факты. Версии... С. 59.

5 Сидорина Н. Златоглавый: Тайна жизни и гибели Сергея Есенина. М., 1995. С. 178.

6 Морохов Ф. Трагедия Есенина... С. 35.

7 Куняев С. Ю., Куняев С. С. Жизнь Есенина. С. 579.

8 Кузнецов В. Тайна гибели Есенина... С. 105.

похищено) Эрлихом в дни их совместного проживания в гостинице “Англетер”<sup>1</sup>.

В-четвертых, написано “До свиданья...” было *не* кровью, а чернилами: “При внимательном рассмотрении текста этого стихотворения <...> возникает впечатление о написании его фиолетовыми чернилами”<sup>2</sup>.

И наконец, в-пятых, и в-главных: оно и вовсе было написано *не* Есениным.

“Необходимо провести соответствующие исследования, прежде всего, текста стихотворения, с целью выяснения, чем и когда, кем и кому оно было написано”<sup>3</sup>. Так сформулировали важнейшую задачу, стоящую перед современной филологической наукой, творцы мифа об убийстве поэта.

Они же и приступили к решению этой задачи, не пренебрегая самыми разнообразными, в том числе и экзотическими, аргументами. Пожалуй, больше остальных отличился Виктор Кузнецов, который, детально изучив рукопись стихотворения “До свиданья, друг мой, до свиданья...”, обнаружил там провокационный намек-указание, подброшенный внимательным потомкам наглыми фальсификаторами: “О том, насколько поверхностна и небрежна экспертиза вызывающей спор элегии, свидетельствует следующий факт: вверху над строчками псевдоавтографа “До свиданья...” нарисована... голова свиньи <...> Уши тонированы вертикально, а морда хрюшки горизонтально — на нечаянную кляксу никак не похоже”<sup>4</sup>.

Впрочем, основной метод Кузнецова заключался в строго научном стилистическом анализе стихотворения: “Канцелярское выражение “Пред-на-зна-чен-но-е расставанье” явно не есенинское, как и “...без руки и слова” <...> Да и все восьмистишие, на наш взгляд, интонационно чуждо Есенину”<sup>5</sup>. Еще более основательно подошел к делу Федор Морохов, включивший в свою книгу о поэте специальную главу под впечатляющим заглавием “Литературоведческий, алгоритмический, психолого-патолофизиологический анализ и выводы об убийстве Есенина по идейно-политическим мотивам”<sup>6</sup>. Какой же тезис выводится из этого анализа?

1 *Кастрикин Н.* Кто убил и кто инсценировал самоубийство Есенина // Литературная Россия. 1996. № 23 (7 июля). С. 4.

2 *Морохов Ф.* Трагедия Есенина... С. 34.

3 Там же. С. 35. Ср. у С. Каширина: “Кем и чьею кровью написано пресловутое “предсмертное” стихотворение, ставшее чуть ли не магическим в дальнейшем ряду самоубийств в годы есенинщины?” (*Каширин С.* Черная нелюдь... С. 103).

4 *Кузнецов В.* Тайна гибели Есенина... С. 110.

5 Там же.

6 Удивительно только, что в своей книге литературоведчески подкованный Морохов превращает ИМЛИ (Институт мировой литературы) в неведомый ЦМЛИ. Он требует “прекратить распродажу на торгах архивных документов о С. А. Есенине, что уже произошло при ЦМЛИ в г. Москве” (*Морохов Ф.* Трагедия Есенина... С. 98).



“Стихотворение написано не в творческом стиле поэта, без художественных образов, это не есенинская лирика, а письмо-алиби, оставленное Эрлихом”<sup>1</sup>.

**2** Как итог этой двадцатилетней битвы за Сергея Есенина в 2005 году вышли книга и сериал о поэте, предложенные телеканалом ОРТ и издательством “Амфора” в одном пакете. Здесь все свелось к уже знакомому нам сюжету — убийству Есенина Блюмкиным по приказу Троцкого, которое представлено как очередной этап большого заговора евреев против русского народа.

С особенной прямоотой сюжет этот изложен в книге Виталия Безрукова, по которой снят сериал. Автор неслучайно противопоставляет богатырскую половую силу Есенина сексуальной неполноценности еврейских поэтов. “Поэт ты, слов нету, большой, — объясняет Есенин Пастернаку в романе. — А он у тебя, ей-богу, такой маленький... Я слышал, что вам обрезают, но чтобы так...”<sup>2</sup>; а Рабиновичу недвусмысленно заявляет: “У тебя в штанах недоразумение”<sup>3</sup>. По контрасту, сам поэт в постели творит чудеса. “Сереженька, любимый... У меня с тобой всегда, как в первый раз!.. — признается ему Зинаида Райх. — Я даже теряю сознание от наслаждения”<sup>4</sup>; свою третью жену Айседору Дункан Есенин поражает “неутомимостью”<sup>5</sup>, а Галина Бениславская на собственном опыте убеждается, что “он всегда давал возможность женщине испытать “восторг сладострастия”, сколько ей этого хотелось”<sup>6</sup>. Несомненно, производительная мощь Есенина-“мужика” должна ассоциироваться с творческим избытком Есенина-поэта — на зависть инородцам, бесплодным духовно и физически.

Увы, они берут числом и коварством. С первых страниц романа великий русский поэт оказывается в плотном кольце евреев. Сначала его бьют советские еврейские поэты Пастернак, Безыменский и Уткин, бьют подло и жестоко, с криками: “Сволочь! Деревня! <...> Вот тебе, хамло!”<sup>7</sup>; за-

1 *Морохов Ф.* Трагедия Есенина... С. 96. Кузнецов чуть более осторожен, рассуждая о предполагаемом авторе стихотворения: “Как знать, не руки ли Блюмкина опубликованное в “Красной газете” стихотворение “До свиданья, друг мой, до свиданья...”?” (*Кузнецов В.* Тайна гибели Есенина... С. 223).

2 *Безруков В.* Есенин. История одного убийства. СПб., 2005. С. 117.

3 Там же. С. 305.

4 Там же. С. 140.

5 Там же. С. 292.

6 Там же. С. 76.

7 Там же. С. 114.

то и русский поэт не подкачал — чуть не раздавил причинные места Пастернаку. Затем уже американские еврейские поэты связывают Есенина, лупят по щекам, издеваются: “Сволочь! Гад! Русская свинья! Фак ю! Потсен тухас!”, а он им в ответ: “Распинайте! Чего вы ждете, вам не впервой! Распинайте русского поэта!”<sup>1</sup> По ходу повествования вражеское кольцо вокруг Есенина сжимается все плотнее; за каждым углом, за каждой дверью — агент ЧК; кругом — предатели и провокаторы, продавшие “душу за сребреники”: все эти эренбургги, шнейдеры, рындзюны, эрлихи... А на самом верху новейший Синедрион — Зиновьев, Каменев, Лейба Троцкий-Бронштейн — готовят на закланье рязанского Христа. Неудивительно, что есенинский “черный человек” оказывается тоже евреем; перед смертью Есенин успевае́т бросить в морду убийцы русскую гармонь — что очень символично.

Сериал, конечно, не столь откровенен; приличия не позволяют завершить его, как в романе, — на такой же пронзительной ноте: “Одолели нас люди заезжие”<sup>2</sup>. Однако по тому, как с особенным рвением кривляются актеры, играющие в сериале евреев, по тому, как злобно таращатся и бегают у них глаза, а губы складываются в отвратительные улыбки, зрители все же поймут, кто предал Россию и погубил ее гения.

Однако вот парадокс: при более внимательном просмотре сериала в нем начинает угадываться что-то совсем другое, едва ли не противоположное — издевательство над памятью самого Есенина. Действительно, каким он предстает в сериале? “Мне бы хотелось развеять уже существующий шаблонный образ поэта-скандалиста, — твердит на каждом углу исполнитель главной роли Сергей Безруков, — миф, который нам навязывали в советской школе: упаднический, кабацкий поэт, алкоголик, праздный гуляка и хулиган <...> Такое определение великого русского поэта для меня кощунственно и противно”. Он хотел сыграть “русского Гамлета, а не допившегося до белой горячки самородка”<sup>3</sup>. Спрашивается, зачем тогда “русский Гамлет” является к Блоку с синяком под глазом, зачем жонглирует пирожным на обеде у царицы, с какой стати, улетая в Европу с Айседорой Дункан, бегае́т на четвереньках по самолету? Тем более что все это не более чем художественный вымысел, вот только на чью мельницу выдумщики льют воду? Герой Безрукова все время пьян, он только и делает, что хватается за женские юбки, по любому поводу нарывается на скандал, лезет в

1 *Безруков В.* Есенин. История одного убийства. С. 305.

2 Там же. С. 639.

3 Комсомольская правда. 2004. 20 октября.

драку, похваляется и сквернословит. Это и есть гамлетизм? Этим мы и должны восхищаться?

Именно “алкоголик” и “праздный гуляка”, да еще в донельзя утрированном, карикатурном виде, навязан народу в сериале “Есенин”. В книге, по крайней мере, ситуацию спасают авторские пояснения. Сколько бы ни буянил поэт, Безруков-отец его всегда оправдает; на помощь будут призваны развернутая метафора и высокий слог: “Есенин читал, а людям казалось, что со сцены надвигается гроза. Как летом, в июле или августе, где-то далеко над полем появилось облачко. Оно на глазах потемнело и уж надвигается тучей, охватившей весь горизонт. Черное небо перечеркивают вспышки молний, но грома еще не слышно. Безотчетный страх охватывает тебя всего перед надвигающейся стихией”<sup>1</sup>. Безрукову-сыну сложнее: он, может быть, и хочет показать “раздвоенность души русской” и ее стихийные порывы, но на деле лишь мечется в истерике или глупо улыбается. Что же получается? Клевета на любимого в народе поэта.

Так битва за Сергея Есенина оборачивается битвой с Сергеем Есениным. Эта подмена характерна для фанатичного есениноведения в целом. В ход идут запрещенные приемы: призывы есенинцев выкопать из могилы есенинский скелет<sup>2</sup> чередуются с их же истеричными требованиями предать широкой гласности всю правду о поэте. В ответ Есенинской комиссии приходится публиковать документы, которые тактичнее было бы широко не тиражировать, например, подробный акт о вскрытии его трупа<sup>3</sup>.

Так для своих сиюминутных интересов русские антисемиты без видимых усилий приносят в жертву имя и слово сложного, обаятельного и до сих пор нуждающегося в понимании и сочувствии человека.

**З** Отказываясь всерьез обсуждать версию об устранении Есенина по тайному приказу советской верхушки, мы совершенно не склонны отрицать определяющей и направляющей роли советского руководства в формировании его посмертной официальной репутации. Показательно, что чуткий Владимир Маяковский воспринял написание стихов памяти

1 *Безруков В.* Есенин. История одного убийства. С. 101.

2 Впрочем, по утверждению некоторых есенинцев, и “гроба Есенина в могиле нет” (мнение Н. Н. Брауна; см.: *Желтов В.* Сергей Есенин умер при допросе // *Новости Петербурга.* 2006. 14–20 марта. № 10 (437). С. 9).

3 *Смерть Сергея Есенина: Документы. Факты. Версии...* С. 167.

Есенина как “социальный заказ” “поэтам СССР”. “Заказ исключительный, важный и срочный”<sup>1</sup>.

Исполнение этого заказа в “траурном” 1926 году почти всегда было так или иначе связано с резолюцией ЦК РКП(б) “О политике партии в области художественной литературы” от 18 июня 1925 года. В пункте пятом резолюции, напомним, специально подчеркивалось, что “перед партией пролетариата стоит вопрос о том, как ужиться с крестьянством и медленно переработать его; <...> как поставить на службу революции техническую и всякую иную интеллигенцию и идеологически отвоевать ее у буржуазии”<sup>2</sup>. Пути к решению этого вопроса намечались в девятом и десятом пунктах: “Крестьянские писатели должны встречать дружественный прием и пользоваться нашей безусловной поддержкой. Задача состоит в том, чтобы переводить их растущие кадры на рельсы пролетарской идеологии, отнюдь, однако, не вытравливая из их творчества крестьянских литературно-художественных образов, которые и являются необходимой предпосылкой для влияния на крестьянство <...> Отсеивая антипролетарские элементы (теперь крайне незначительные) <...> партия должна терпимо относиться к промежуточным идеологическим формам, терпеливо помогая эти неизбежно многочисленные формы изживать в процессе все бо-



Памятник Есенину, установленный у входа в Дом-музей поэта в Константиново  
Скульптор И. Г. Онищенко. 1956

- 1 *Маяковский В.* Как делать стихи? // *Маяковский В.* Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 13. С. 96. А многие другие писатели и читатели — кто наивно, кто лукаво — требовали от партии и комсомола поскорее определиться с вопросом о правильном отношении к поэту-самоубийце. В виде полушутливого упрека сформулировал это требование участник диспута о есенинщине Богданов: “До сих пор еще вопрос неясен, какова позиция молодежи по отношению к Есенину. Она выражается в том, что наши руководители, начиная от т. Луначарского и кончая т. Сосновским, в этом вопросе не спелись” (Упадочные настроения среди молодежи. Есенинщина. М., 1927. С. 137). А вот тревожный и требующий скорейшей реакции вышестоящих инстанций сигнал поэта А. Безыменского: “Есенин, — при всей его безусловной значительности, — яд. Вернее, он все больше и больше становится ядом, так как настоящего разъяснения его подлинной роли не дано” (*Безыменский А.* Прошу слова, как комсомолец! // Против упадничества. Против “Есенинщины”. М., 1926. С. 9). Настоятельно просила ответить на вопрос “Чей поэт Сергей Есенин?” в письме в соответствующую газету и рядовая комсомолка Цицилия Фельдман: “Марксистский подход мне недоступен, потому что училась я очень мало (окончила V группу, — задержалась из-за болезни) и литературу знаю слабовато. Прошу редакцию ответить в “Комсомольской правде” на поднятый вопрос. В ответе на этот вопрос нуждаются многие” (*Фельдман Ц.* “Мало ли есть вкусных ядов...” Письмо в редакцию “Комсомольской правды” // Против упадничества... С. 25).
- 2 О политике партии в области художественной литературы. Резолюция ЦК РКП(б) // Правда. 1925. 1 июля. С. 6.



Памятник Есенину в Москве на Есенинском бульваре  
Скульптор В. Е. Цигаль. 1975



лее тесного товарищеского сотрудничества с культурными силами коммунизма”<sup>1</sup>.

В свете этих деклараций становятся понятными даже не столько вполне ожидаемые высокие оценки поэзии Есенина, данные в некрологических заметках его друзей и литературных союзников<sup>2</sup>, сколько беспрецедентно лестные характеристики творчества поэта и его личности, прозвучавшие в 1926 году из уст литераторов, добровольно взявших на себя роль толмачей партийных постановлений и инструкций.

Г. Лелевич: “Революция не усыновит Есенина — мистического певца старой Руси, не усыновит она и протестанта против городской культуры и техники. Но она любовно усыновит того Есенина, который благородно, искренне, напряженно пытался понять эпоху, “догнать стальную рать”, согласовать свое творчество с революционной современностью и сломался под тяжестью принятой на себя тяжелой и почетной ноши”<sup>3</sup>. В. Киришон: “Ты будешь жить, Сергей Есенин. В любимой тобой новой Советской России не замолкнут твои искренние и звонкие песни”<sup>4</sup>. В. Ермилов, в майском номере ортодоксального рапповского журнала “На литературном посту”<sup>5</sup>: “Нежно и так прекрасно, так свободно любивший жизнь и все живое, Есенин родил у читателя (так! — О. Л., М. С.) нежное чувство заботливости к нему, тревоги за него, желания помочь ему выйти на настоящую дорогу из кривых переулков “Москвы кабацкой””<sup>6</sup>. И далее: “Он, — правда, своими особыми путями, — шел к революции <...> он не хотел больше обкрадывать себя и огромную массу так трепетно любивших его друзей”<sup>7</sup>.

Поскольку в резолюции ЦК особо оговаривалась необходимость крепить единство с крестьянскими писателями, важное значение для репутации покойного поэта (в который уже раз) приобрело его происхождение: те, кто был *за* Есенина, как правило, не забывали вспомнить о его крестьян-

1 О политике партии в области художественной литературы. Резолюция ЦК РКП(б) // Правда. 1925. 1 июля. С. 6.

2 Например, в некрологе Бориса Пильняка: “Сергей выполнил свой долг перед Россией, перед русской культурой, перед своей эпохой, перед своим поколением” (*Пильняк Б. О Сергее Есенине // Журналист. 1926. № 11. С. 49*). Высокая концентрация сходных оценок — в трех сборниках памяти Есенина, изданных в Москве и в Ленинграде в 1926 году (см.: Сергей Александрович Есенин: Воспоминания. М.; Л., 1926; Памяти Есенина: Сборник. М., 1926; Есенин: Жизнь, личность, творчество. М., 1926).

3 *Лелевич Г. Сергей Есенин... С. 44*. Ключевая метафора этого пассажа (метафора усыновления) характерным образом позаимствована Лелевичем из речи о Есенине, произнесенной Л. Д. Троцким (мы еще поговорим о ней в следующей главе).

4 *Киришон В. Сергей Есенин. С. 31*.

5 См. в “Резолюции совещания при отделе печати ЦК РКП(б)” от 9 мая 1924 года: “Приемы борьбы с “попутчиками”, практикуемые журналом “На посту”, отталкивают от партии и Советской власти талантливых писателей” (Резолюция совещания при отделе печати ЦК РКП(б) // К вопросу о политике РКП(б) в художественной литературе. М., 1924. С. 108).

6 *Ермилов В. Почему мы не любим федоров жицей // На литературном посту. 1926. № 4. С. 11*.

7 Там же. С. 11–12.



янских корнях; те, кто был *против*, — в праве называться крестьянским поэтом Есенину отказывали.

Л. Леонов предвещал: “За ним — вслед из мужичьих недр, разбуженных революцией, выйдут десятки таких же, сильных и славных”<sup>1</sup>; А. Дивильковский в статье “На трудном подъеме (о крестьянских писателях)”, напечатанной в “попутническом” “Новом мире” Вяч. Полонского, писал: “Не забудете никогда... есенинской “сини” и “голубени”, — где ему удастся передать чувство колоссальной, необычайной мощи великого крестьянского народа, как бы вглядывающегося в глубокие, синие дали своей родины, своей исторической судьбы”<sup>2</sup>.

Демонстративно иную точку зрения отстаивал тогдашний заведующий агитационно-пропагандистским отделом ЦК и давний есенинский враг Лев Сосновский: “Меня всегда поражало, что никто из критиков не заметил антикрестьянской сущности поэзии Есенина и К°. У Есенина никогда не фигурирует труд крестьян”<sup>3</sup>.

Взамен внезапно реабилитированного звания “крестьянский поэт” часть критиков спешно подыскивала Есенину клички, которые все же позволили бы отнести его к числу *немногочисленных антипролетарских элементов*, упоминаемых в резолюции ЦК. Объявленная сверху борьба с хулиганством, достигшая своего апогея осенью 1926 года, в разгар так называемого дела Чубарова переулка<sup>4</sup>, а также прокатившаяся по стране волна самоубийств, отчасти спровоцированная добровольным уходом из жизни

- 1 Леонов Л. Умер Поэт // 30 дней. 1926. № 2. С. 17. Ср. с заглавиями некоторых статей памяти поэта: “Последний поэт деревни” (Коммуна. Калуга. 1925. 31 декабря), “Ржаной поэт” (Амурская правда. Благовещенск. 1926. 3 января), “Певец земли и родины” (Театр и кино. Баку. 1926. № 1), “Умер Сергей Есенин, лучший крестьянский поэт” (Волховский труженик. 1926. 6 января) и т. п.
- 2 Дивильковский А. На трудном подъеме (о крестьянских писателях) // Новый мир. 1926. № 8/9. С. 219. Все же приведем один из немногочисленных примеров, показывающих, что оглядка на резолюцию и память о Есенине как о крестьянском поэте могла привести к совершенно иным выводам: “Пропасть между жизнью деревни и городской культурой еще велика в нашей стране. Революция призвана уничтожить гибельную разницу, совместными усилиями рабочего класса и революционного крестьянства засыпать эту пропасть, втянуть деревню в культурное строительство. Сергей Есенин — один из жертв этой эпохи (так! — О. Л., М. С.), созданной преступлениями феодального и крепостнического строя” (Якубовский Г. “Поэт великого раскола”. О лирике Сергея Есенина // Октябрь. 1926. № 2. С. 137).
- 3 Сосновский Л. Пафос сепаратора // Правда. 1926. 13 июля. С. 1. Ср. уже в одном из первых откликов на гибель Есенина: “Было бы совершенно неправильно причислять Есенина вплотную к подлинным крестьянским поэтам <...> Поэт был <...> скорее “деклассированный интеллигент”, чем крестьянин. Он и революцию воспринял как-то отвлеченно, космически, не видел накопившегося гнева в недавно еще поработанной народной массе” (Сокольников М. Сергей Есенин // Город и деревня. 1926. № 1. С. 63–64), а также в очерке М. Левидова 1927 года: “Никак не понять, почему Есенин — крестьянский поэт. А может быть, это и не так?” (Левидов М. Простые истины (о читателе, о писателе). М.; Л., 1927. С. 77).
- 4 Согласно официальной версии, 22 августа 1926 года в Чубаровом переулке в Ленинграде 40 комсомольцев изнасиловали молодую женщину. Над ними был устроен показательный процесс, широко освещавшийся в советской прессе. Подробнее см., например: Чубаровщина. По материалам судебного процесса. М.; Л., 1927.

автора “Москвы кабацкой”, позволили обличителям воспользоваться в оценке Есенина синонимическими кличками “богема”, “хулиганство”, “упадничество” и, наконец, — “есенинщина”. Сошлемся на фельетон все того же Сосновского “Развенчайте хулиганство”, 19 сентября 1926 года напечатанный сразу и в “Правде”, и в “Комсомольской правде”. Сосновский начинает свою статью с серии злобещих картин нарастающего по всей стране хулиганства: “Изнасилование в Харькове десятью прохвостами молодой девушки. Убийство хулиганом в Харькове рабочего Беликова. Нападение хулиганов на комсомольскую манифестацию в Новосибирске. Изнасилование рабфаковки тридцатью хулиганями в Новосибирске”<sup>1</sup>. Потом он перебрасывает мостик непосредственно к творчеству Есенина и объявляет умершего поэта вдохновителем и предтечей нынешних насильников и хулиганов: “В этом жутком логове формируется идеология Есенина, которого (не с похмелья ли?) нарекли “великим национальным поэтом” и вывесили над Домом печати соответствующий плакат без всякого протеста со стороны коммунистов, руководителей Дома печати”<sup>2</sup>.

Но в 1926 году столь одиозная позиция по отношению к Есенину еще не была официально завизирована и оставалась лишь одной из допустимых точек зрения. В ленинградской “Красной газете” Сосновскому ответил И. Оксенов: “Ясно, что Есенин был объявлен “великим поэтом” не за эти (хулиганские. — *О. Л., М. С.*) стихи, точно так же, как Пушкин и Лермонтов велики не своими нецензурными произведениями. Можно бороться с “есенинщиной”, как суммой упадочных настроений, вызванных самоубийством поэта, но отсюда еще огромная дистанция до зачислений Есенина в певцы бандитизма”<sup>3</sup>. А “Комсомольская правда” на исходе года уравнивала нападки Сосновского заметкой А. Барилы, где поэт был аттестован вполне сочувственно, хотя и с оговорками: “Есенин, при всей своей грусти и подчас упадничестве, именно благодаря своей искренности и большому художественному дарованию куда больше влечет сердца коммунистов, чем многие поэты, идеологически безупречные”<sup>4</sup>.

1 Сосновский Л. Развенчайте хулиганство // Комсомольская правда. 1926. 19 сентября. С. 2.

2 Там же. С. 2. Ср. с действительно весьма оперативным откликом М. Быстроного на самоубийство Есенина: “Трагический исход определило наличие ряда предпосылок, существующих и сейчас в той литературной богеме, которая захлестывается бульварщиной и определенными сторонами нэпа” (*Быстроный М. Урок богеме // Жизнь искусства. 1926. № 2. С. 5*). [Курсив в цитате М. Быстроного. — *О. Л., М. С.*]

3 Оксенов И. О порнографии в советской литературе // Красная газета. 1926. 29 сентября. Вечерний выпуск. С. 2.

4 Бариль А. Грусть — упадничество — искренность (в порядке обсуждения) // Комсомольская правда. 1926. 5 декабря. С. 3.

Не склонен был двигаться путем, намеченным Сосновским, и видный партийный публицист Карл Радек, выступивший с краткой разъяснительной речью по поводу своей позиции на одном из диспутов о Есенине и есенинщине: “Молодежь увлекается Есениным... потому, что он, как скрипка, плачет и смеется в то время, когда большинство пролетарских поэтов только барабанят <...> Не в борьбе с Есениным путь борьбы против нездорового среди нашей молодежи. Не надо скрываться от важного общественного явления разбором его литературных произведений”<sup>1</sup>.

На стороне защитников Есенина от идеологических ярлыков в 1926 году неожиданно для многих выступил Владимир Маяковский, ядовито пересказавший пассажи из статей Сосновского и подобных ему хулителей поэта в своем стихотворении “Сергею Есенину”<sup>2</sup>: “Почему? / Зачем? / Недоуменье смяло. / Критики бормочут: / — Этому вина / то... / да се... / а главное, / что смычки мало, / в результате / много пива и вина. — / Дескать, / заменить бы вам / богему / классом, / класс влиял на вас, / И было б не до драк. / Ну, а класс-то / жажду / заливают квасом? / Класс — он тоже / выпить не дурак”.

Отведя идеологические претензии к Есенину в первой части своего стихотворения, во второй части Маяковский, подобно Радеку, и вовсе ушел от прямого разговора о поэте. Вождь левовцев лишь косвенно упрекнул автора “До свиданья, друг мой, до свиданья...” в том, что у него не хватило сил и мужества словом и делом участвовать в решительном социальном переустройстве жизни. Напомним, кстати, что в статье “Как де-

1 Радек К. Не термометр виноват // Против упадничества... С. 36. Ср. со следующим суждением Г. Бергмана, автора статьи с вроде бы вполне однозначным заглавием “Есенин — знамя упадочных настроений”, опубликованной в том же сборнике, что и выступление Радека: “Не Есенин близок к обывателю, а “есенинщина”, не настоящий поэт Есенин с его чудесной светлой лирикой, а все упадочное и гнилое в творчестве и личности Есенина” (Бергман Г. Есенин — знамя упадочнических настроений // Против упадничества... С. 6). Ср. также, например, в не слишком умелых виршах Леонида Волгина, где упреки поэту сочетаются с признанием его первенства в современной словесности: “И знали мы, что нужно для других, / И были все у времени — гвардийцы (так! — О. Л., М. С.) / И ради тех, далеких, но родных, / Не ставили клейма самоубийцы! / Позор велик!.. Позору нет конца!.. / — Пока у жизни слабая опека, / Мы, почитая лучшего певца, / Не в силах чтить его, как человека!!!” (Волгин Л. Наше слово: На смерть Сергея Есенина // Октябрь. 1926. № 2. С. 83).

2 При этом Маяковский, как обычно, яростно напал на “защитника” Есенина — П. Когана, имя которого даже было введено в текст стихотворения. Ср. разбираемый нами чуть ниже финал стихотворения Маяковского со следующим пассажем из некрологической статьи Когана “Памяти Есенина”: “Нет режима, годного для Есенина. Его муки были бы не меньше повсюду, где жизнь — система, где нет гармонии между личностью и средой, где в вечной схватке находятся между собою требования общности и дух, рвущийся к выявлению всех своих творческих сил” (Коган П. Памяти Есенина // Печать и революция. 1926. Кн. 2. С. 42). На Маяковского, в свою очередь, ополчился лично задетый в его стихотворении “Сергею Есенину” певец Леонид Собинов, в 1926 году записавший в альбом Корнея Чуковского следующий экспромт: “Погиб Есенин, ты же, гнусный гад, живешь / И каждый день смердишь своей вонючей пастью. / Тифозную с тобой хотел сравнить бы вошь, / Но ты живешь, она же все погибли к счастью” (Чукоккала. Рукописный альманах Корнея Чуковского. М., 2006. С. 423).



Книги А. Крученых, посвященные С. Есенину. Все изданы в 1926 г.

лать стихи?» того же 1926 года Маяковский “с удовольствием” говорил об итоговой “эволюции Есенина: от имажинизма к ВАППУ”<sup>1</sup>.

Таким образом, можно констатировать, что, несмотря на отдельные опасные симптомы, для посмертной репутации Есенина 1926 год в целом сложился удачно. Едва ли не триумфом поэта, если верить газетному отчету, обернулся в итоге очередной диспут о Есенине, состоявшийся в театре Мейерхольда в конце декабря: “Очевидно, термином “есенинщина” (по крайней мере, судя по данной аудитории) есенинская поэзия не только не развенчана, но ее обаяние вряд ли поколеблено <...> “Приближается годовщина смерти Есенина, пора изъять этот термин из употребления, скорбно и дружественно склонив головы перед этой большой могилой”. Эти слова тов. Воронского, сказанные в этот вечер, можно было бы взять эпитафией к отчету обо всем диспуте”<sup>2</sup>.

**4** Но уже 16 февраля 1927 года Воронский жаловался в письме Горькому: “Против Есенина объявлен поход. Не одобряю. Нехорошо. Прошлый год превозносили, а сегодня хают. Всегда у нас так”<sup>3</sup>. Возможно, Воронский несколько сгустил краски, тем не менее в официальном отношении к Есенину действительно наметилось серьезное охлаждение, причем это охлаждение постепенно усиливалось и в конце года разрешилось крепким морозом.

Можно указать на две главные причины этой резкой перемены климата — столь губительной для репутации поэта. Во-первых, реноме Есенина в 1927 году пострадало от сочувственного отношения Л. Д. Троцкого к

1 Маяковский В. Как делать стихи? // Маяковский В. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 95.

2 М. О. Есенин и есенинщина: (Диспут в театре Мейерхольда) // Известия. 1926. 22 декабря. С. 5).

3 Архив А. М. Горького. Т. X: Горький и советская печать. Кн. 2. М., 1965. С. 46.



Сергей Есенин  
Портрет работы Н. И. Альтмана. 1926

есенинскому творчеству. Еще в январе прошлого, 1926 года он выступил с прочувствованной речью на вечере памяти Есенина в Большом театре. Текст речи был напечатан во многих газетах: тогда это работало *на* Есенина, теперь стало работать *против*. Во-вторых, в активное контрнаступление перешли рапповцы: оправившись от первых потрясений, вызванных резолюцией ЦК, они принялись решительно перетолковывать ее в свою пользу.

Почему речь Троцкого о Есенине столь запоздало бросила тень на имя автора “Черного человека” — понятно. Яростная борьба, которая в 1926–1927 годах развернулась между Сталиным и Бухариным, с одной стороны, и Троцким — с другой, именно в 1927 году завершилась сокрушительным поражением последнего<sup>1</sup>.

Хотя в январской речи Троцкий и отдал дань теме “поэт и революция”, он все же стремился тогда изложить не коллективную партийную, а свою личную точку зрения на свершившиеся трагические события и есенинское творчество: “Поэт погиб потому, что был не сроден революции. Но во имя будущего она навсегда усыновит его <...> Мыслимо ли бросать укор лиричнейшему поэту, которого мы не сумели сохранить для себя <...> Он ушел из жизни без крикливой обиды, без позы протеста, — не хлопнув дверью, а тихо прикрыв ее рукою, из которой сочилась кровь. В этом жесте поэтический и человеческий образ Есенина вспыхнул незабываемым прощальным светом”<sup>2</sup>.

Теперь, после падения авторитета Троцкого, его вполне “частной” реплике о Есенине был придан отчетливо политический оттенок. “Говорят

1 Подробнее об этом см., например, в: Разгром левой оппозиции в СССР. Письма ссыльных большевиков (1928) / Публ. С. Фельштинского // Минувшее. Исторический альманах. Вып. 7. М., 1992. С. 250–255.

2 Троцкий Л. Памяти Сергея Есенина // Правда. 1926. 19 января. С. 3.

нам: крестьянский поэт переходной эпохи, трагически погибший из-за своей неприиспособленности. Не совсем так, милые друзья! Крестьяне бывают разные. Есенинская поэзия, по существу своему, есть мужичок, наполовину превратившийся в “ухаря-купца”<sup>1</sup>. Эти бухаринские слова из его “Злых заметок”<sup>1</sup>, обращенные прежде всего к Троцкому, показывают, в сколь двусмысленном положении оказался в 1927 году сам Николай Бухарин как один из авторов и вдохновителей резолюции ЦК 1925 года. Вопреки ее примиряющему пролетарских и крестьянских писателей пафосу и ради дискредитации взглядов Троцкого на современную литературу, Бухарин в лице Есенина обрушился на “самые отрицательные черты русской деревни и так называемого “национального характера”: мордобой, внутреннюю величайшую недисциплинированность, обожествление самых отсталых форм общественной жизни вообще”<sup>2</sup>.

Необходимо, конечно, учитывать и зазор, который почти всегда возникал у Бухарина между литературной политикой и политикой большой. В качестве любителя и ценителя поэзии он даже и в “Злых заметках” признавал, что “есенинский стих звучит нередко как серебряный ручей”<sup>3</sup>. В качестве строителя новой советской литературы он стремился обеспечить смычку различных писательских группировок друг с другом. Но в качестве государственного деятеля Бухарин призывал дать по есенинщине и Есенину “хорошенький залп”<sup>4</sup>, дабы “новой российской буржуазии”<sup>5</sup> не удавалось влить “на пролетариат, в особенности на пролетарскую молодежь”<sup>6</sup>.

Подлинные причины резкого охлаждения государства к Есенину, более или менее аккуратно спрятанные в “Злых заметках” Бухарина, были старательно обнажены в статьях рапповцев, группировавшихся вокруг журнала “На литературном посту”. Тринадцатый номер этого журнала за 1927 год открывался редакционной заметкой “Два года резолюции ЦК ВКП(б)”, в которой ее основные положения переворачиваются с ног на голову с почти оруэлловской демагогической изощренностью и афористичностью: “Процесс сплочения есть одновременно процесс отмежевания. С кем-то — означает и против кого-то”<sup>7</sup>. В этом же номере была помещена большая установочная статья Леопольда Авербаха “Литературные дискуссии текущего года”, прямо возводящая зловедную пропаганду творчества Есенина идеоло-

1 Бухарин Н. Злые заметки // О писательской этике, литературном хулиганстве и богеме. Л., 1927. С. 8.

2 Там же. С. 8.

3 Там же. С. 7.

4 Там же. С. 9. Курсив Бухарина.

5 Там же. С. 11.

6 Там же.

7 Два года резолюции ЦК ВКП(б) // На литературном посту. 1927. № 13. С. 2.



гами новой российской буржуазии к прошлогодней речи Троцкого: “Почему, например, внутриэмигрантствующие ухватились за Есенина после его смерти? — Поэта затравили, эпоха убила, кричали они. Они кликушествовали, довели Есенина до петли, потому что не принимал он и не хотел принимать революции. И наконец, именно поэтому делали они Есенина своим знаменем, рассматривая его как носителя бунта против сегодняшнего дня <...> Знамя реакционерам дал т. Троцкий <...> Свойственный тов. Троцкому и его последователям типа Воронского отказ от классового подхода к литературным явлениям, вся троцкистская оппортунистическая теория в вопросах культуры в статье о Есенине нашли блестящее завершение”<sup>1</sup>.

Впрочем, уже первый номер журнала “На литературном посту” за 1927 год, специально посвященный обличению упадничества, начинался редакционной заметкой, в которой провозглашалось: “Мы живем в условиях обострения классово-борьбы на целом ряде участков идеологического фронта”<sup>2</sup>, а далее следовала резко критическая статья А. Ревякина “Есенин и Есенинщина”<sup>3</sup>.

“Комсомольская правда” также продолжила и еще ужесточила курс на вытеснение Есенина из советской литературы, начатый статьями Сосновского. При этом в расчет совершенно не бралось то обстоятельство, что Сосновский входил в число близких соратников Троцкого и в 1927 году был временно исключен из партии. Как это часто случалось раньше и будет случаться впоследствии, методы поверженного идеологического противника легко брались на вооружение и использовались даже тогда, когда само его имя становилось неудобным для упоминания. “Немало глубокомысленных дьячков от чистого и нечистого искусства считали” год назад “даже намеки на наличие “есенинщины” чуть ли не святотатством, кощунством на светлую память “голубоглазого Сережи”, — 8 апреля 1927 года иронизировал в “Комсомольской правде” критик со знаменательной фамилией Бухарцев. — <...> В последнее время знамя “есенинщины” взяли в свои руки сменовеховские, враждебные нам спецовские и даже меньше-

1 *Авербах Л.* Литературные дискуссии текущего года // На литературном посту. 1927. № 13. С. 10, 12.

2 [От редакции] // На литературном посту. 1927. № 1. С. 1.

3 Ревякин еще в 1926 году выпустил отдельную брошюру о Есенине, содержавшую крайне отрицательную оценку его творчества и роли в истории советской литературы: “Все ушибленное жизнью и революцией, малокровное, изживающее себя, угасающее в предсмертных судорогах — находит в нем свои настроения, своего поэта” (*Ревякин А.* Чей поэт Сергей Есенин? (Беглые заметки). М., 1926. С. 39). См. в этой брошюре чуть выше: “Революция не может усыновить Есенина. Революция усыновляет только тех, кто отдается ей до дна, без остатка, кто звучит настроениями ее сегодня или ее будущего” (*Ревякин А.* Чей поэт Сергей Есенин?.. С. 37). Ср. с итоговым суждением из книжки о Есенине 1927 года, куда более просвещенного, чем Ревякин, В. Друзина: “Последний символист, Есенин, довольно скоро утратил свою популярность, хотя творчество его останется навсегда свидетельством психического склада людей отмершей культуры” (*Друзин В.* Сергей Есенин... С. 44).

вистские элементы <...> Это не упадничество, а растущее классовое самосознание наших врагов. Для них Есенин не герой и идеолог, потому что он никчем, а средство разложить наши ряды, внести в них панику, неверие”<sup>1</sup>.

Откровенным анахронизмом отзывались в конце 1927 года благодушные рассуждения о Есенине и есенинщине наркома просвещения А. В. Луначарского: “Обыкновенно, когда подходят к Есенину, к его поэзии, прежде всего стараются установить, что он сам хулиган, сам пессимист, сам упадочник. Это до некоторой степени верно, но только до некоторой степени. Это односторонняя и для нас мало выгодная позиция. Мы этим замалчиваем кое-что из того, что нам нужно для борьбы с есенинщиной, ибо, по-моему, одним из самых крупных борцов против есенинщины должен явиться сам Есенин”<sup>2</sup>.

**5** Следующие без малого тридцать лет превратились в торжество тех деятелей советского официоза, которые занимали по отношению к Есенину и его литературному наследию вполне “одностороннюю”, жестко непримиримую позицию. Эпиграфами к этому длительному периоду могли бы послужить заглавия двух газетных статей, напечатанных в самом начале 1928 года. Отчет И. Рудого о вечере памяти поэта, прошедшем во втором МХАТе, назывался “Есенинщина справляет тризну”<sup>4</sup>. Заметка К-на, помещенная в газете военных моряков “Красный Балтийский флот”, была озаглавлена “Хулиганские стихи Есенина мы отмели: Отметим и его пьяно-плаксивую лирику”<sup>5</sup>.

Мрачность ситуации еще усугубилась, когда Сталин в 1929 году объявил о конце периода нэпа. Следствием стало усиление борьбы с крестьянством как зажиточным и несознательным классом. 15 января 1930 года была создана комиссия Политбюро ЦК ВКП(б) по выработке мер в отношении кулаков, 23 января газеты опубликовали постановление ЦК ВКП(б) о мерах борьбы против кулачества. Отныне к бранным кличкам, которыми с избытком награждали Есенина, прибавилась еще одна — “идеолог и певец кулачества”<sup>6</sup>.

1 Бухарцев Д. Где “Хавронья”. Под знаменем Есенина // Комсомольская правда. 1927. 8 апреля. С. 2.

2 Упадочные настроения... С. 31.

4 Молодой ленинец. 1928. 4 января.

5 Красный Балтийский флот. 1928. 28 января.

6 Ср., впрочем, уже в заметке Б. П. “Неудачный вечер. — Не увлекайтесь Есениным”, опубликованной в “Комсомольской правде” в 1928 году: “Не спорим, что такие взгляды, может быть, — только дань мимолетному увлечению Есениным. Но посылать в деревню будущих педагогов с такими настроениями — перспектива не из приятных” (Комсомольская правда. 1928. 15 февраля. С. 4). Заметим, однако, что в заметке речь идет о Есенине как о представителе богемы, но не как о певце кулачества.

Неудивительно, что Осип Мандельштам, зимой 1929–1930 годов работавший над самым антисоветским своим произведением “Четвертая проза”, вызываяще включил туда панегирик бесконечно далекому от него при жизни Сергею Есенину: “Есть прекрасный русский стих, который я не устану твердить в московские псиные ночи, от которого, как наваждение, рассыпается рогатая нечисть. Угадайте, друзья, этот стих — он полозьями пишет по снегу, он ключом верещит в замке, он морозом стреляет в комнату:

*...Не расстреливал несчастных по темницам.*

Вот символ веры, вот подлинный канон настоящего писателя, смертельного врага литературы.

В Доме Герцена один молочный вегетарианец, филолог с головенкой китайца — этакий ходя — хао-хао, шанго-шанго — когда рубят головы, из той породы, что на цыпочках ходят по кровавой советской земле, некий Митька Благой — лицейская сволочь, разрешенная большевиками для пользы науки, — сторожит в специальном музее веревку удушенника Сережи Есенина”<sup>1</sup>.

Упоминание “Сережи” удивляет вообще-то совсем не характерным для Мандельштама сентиментальным надрывом, который нельзя объяснить ироническим контекстом: “Митьки” влекло за собой не “Сережи”, а “Сережки”. По-видимому, это был мандельштамовский полемический жест по отношению к тому фрагменту статьи Владимира Маяковского “Как делать стихи?”, в котором главный поэт советской эпохи рассказывает, как он работал над зачином стихотворения “Сергею Есенину”:

*“Начинаю подбирать слова.*

*Вы ушли, Сережа, в мир в иной...*

*Вы ушли бесповоротно в мир в иной.*

*Вы ушли, Есенин, в мир в иной.*

*Какая из этих строчек лучше?*

*Все дрянь! Почему?*

<sup>1</sup> Мандельштам О. Собр. соч. Т. 3. С. 173. Дмитрий Дмитриевич Благой был первым директором Литературного музея при Всероссийском Союзе писателей, открытом на втором этаже писательского Дома Герцена в Москве. В этом музее действительно экспонировалась веревка, на которой повесился Есенин. Ср. процитированный фрагмент “Четвертой прозы” с мемуарами о Мандельштаме А. А. Ахматовой: “Когда я что-то неодобрительно говорила о Есенине — возражал, что может простить Есенину все что угодно за строку: — “Не расстреливал несчастных по темницам”” (Ахматова А. Листки из дневника // Ахматова А. Requiem. М., 1989. С. 135).

Первая строка фальшива из-за слова “Сереза”. Я никогда так амикошонски не обращался к Есенину, и это слово недопустимо и сейчас, так как оно поведет за собой массу других фальшивых, не свойственных мне и нашим отношениям словечек: “ты”, “милый”, “брат” и т. д.”<sup>1</sup>.

После самоубийства самого Маяковского 14 апреля 1930 года советские ортодоксальные критики вменили себе в задачу противопоставить его добровольный уход из жизни смерти Есенина. “Руки прочь от Маяковского, — требовал в некрологе поэту известный публицист Михаил Кольцов, — прочь руки всех, кто посмеет исказить его облик, эксплуатируя акт самоубийства, проводя тонюсенькие параллели, делая ехидные выводы”<sup>2</sup>.

И все же было бы непростительным огрублением реальных фактов да и просто неправдой писать, что стихи Есенина даже в худшее для его смертной судьбы время были запрещены, как были запрещены стихи Николая Клюева или Осипа Мандельштама. С 1934 по 1953 год, пусть и прореженные, есенинские стихотворения и поэмы трижды (в 1934, в 1940 и в 1953 годах) выходили отдельными книгами в малой серии “Библиотеки поэта”.

И в советской печати имя Есенина далеко не всегда попадало в однозначно негативный контекст.

Так, Вячеслав Полонский в юбилейном номере “Известий” от 7 ноября 1928 года сначала включил Есенина в список поэтов, которые “развернулись” в эпоху Октября, а затем высказал предположение, что будущий историк литературы, когда он “пожелает написать главу о деревенской поэзии в эпоху революции”, “будет писать не о П. Радимове, а о Сергее Есенине и есенинской школе”<sup>3</sup>.

Амбивалентную характеристику есенинского творчества содержала статья умного марксистского критика А. Селивановского, опубликованная в качестве предисловия к книге Есенина, вышедшей в 1934 году: “Как и полагается, наиболее усердными замогильными плакальщиками оказались те, кто довел Есенина до самоубийства. Нэпманы, мещане, представители богемы, кулацкие поэты, юноши, говорившие о “мирах, половой истекая истомою” (слова Есенина), буржуазные интеллигенты, троцкисты — все, на свой лад, признали Есенина своим. Зачеркивался большой поэт-лирик, советский поэт Есенин, и превозносился поэт

1 *Маяковский В.* Как делать стихи? // *Маяковский В.* Полн. собр. соч. Т. 13. С. 103.

2 *Кольцов М.* Что случилось // *Литературная газета.* Комсомольская правда. Экстренный выпуск. 1930. 17 апреля. С. 1. Вместе с тем канонизация Маяковского позволяла доброжелательно упоминать имя Есенина хотя бы в связи со стихотворением Маяковского “Сергею Есенину”. Ср., например, в статье Н. Асеева о Маяковском 1936 года, где Есенин назван “галантливым поэтом” (*Асеев Н.* Друзья подлинные и мнимые // *Литературная газета.* 1936. 12 января. С. 2).

3 *Полонский В.* Октябрь в художественной литературе // *Известия.* 1928. 7 ноября. С. 4.

пьяного неврастенического упадка, поэт всяческих извращений в искусстве и жизни”<sup>1</sup>.

На Первом Всесоюзном съезде советских писателей, состоявшемся в августе того же года, имя Есенина прозвучало в речах и выступлениях семи ораторов. Н. Бухарин в своем установочном докладе напомнил слушателям о том, как “с мужицко-кулацким естеством прошел по полям революции Сергей Есенин, звонкий песенник и гуслир, талантливый лирический поэт”<sup>2</sup>. Н. Тихонов констатировал, что Есенин “не смог побороть в себе вчерашнего человека ради человека будущего”<sup>3</sup>. А. Александрович поделился наблюдением, что “именно кулацкими элементами фольклора питал свое творчество Есенин”<sup>4</sup>. А. Безыменский “лестно” объединил Есенина с Гумилевым: “Я думаю, что не надо распространенно доказывать, что в своей борьбе с нами классовый враг до сих пор использует империалистическую романтику Гумилева и кулацко-богемную часть стихов Есенина”<sup>5</sup>. Демьян Бедный отпустил макаберную остроту по поводу оценки своего творчества в докладе Бухарина: “Бухарин взял труп Есенина, положил на меня этот труп и присыпал сверху прахом Маяковского”<sup>6</sup>. Один из представителей чехословацкой делегации сообщил, что “в Чехословакии сейчас выходит третья антология из Есенина”<sup>7</sup>. И наконец, Н. Браун сопоставил стихи Есенина с поэзией Блока: “Возьмите лирику Блока и сравните ее хотя бы с лирикой сильного поэта Есенина. Насколько Блок шире, богаче, тоньше, сдержанней и сильнее Есенина”<sup>8</sup>.

После победы СССР в Великой Отечественной войне у многих возникло ощущение, что политическая атмосфера в стране потеплела. Это привело к достаточно решительным попыткам восстановить Есенина в

1 Селивановский А. Сергей Есенин // *Есенин С. Стихотворения*. М., 1934 (“Библиотека поэта”. Малая серия). С. 13. Ср. также в юбилейной статье Селивановского о Есенине 1935 года: “Мы с горечью вспоминаем про смерть этого крупного поэта, который метался между социализмом и капитализмом, который долго шел на поводу за нашими врагами, но который в последние свои годы рванулся к нам, к живым людям — прочь из объятий смрада и тлена” (*Селивановский А.* Через десять лет // *Литературная газета*. 1935. 24 декабря. С. 3).

2 Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934: Стенографический отчет. М., 1990. [Репринтное издание]. С. 488. В своем заключительном слове на съезде, под давлением оппонентов, Бухарин ужесточил эту характеристику: “Разве не сказано ничего о Есенине как идеологе кулачества?” (Первый Всесоюзный съезд... С. 574).

3 Там же. С. 505.

4 Там же. С. 519.

5 Первый Всесоюзный съезд советских писателей, 1934: Стенографический отчет. М., 1990. [Репринтное издание]. С. 550. Впрочем, это место речи Безыменского менее враждебно по отношению к Есенину, чем может показаться: надо понимать, что кроме “кулацко-богемной”, творчество Есенина состоит и из других “частей”, по-видимому, идеологически вполне приемлемых.

6 Там же. С. 557.

7 Там же. С. 571.

8 Там же. С. 648.

статусе безоговорочно советского поэта. В юбилейной заметке В. Перцова, напечатанной в октябре 1945 года в “Литературной газете”, о Есенине говорилось с, казалось бы, навсегда отмененной “задушевной” интонацией: “Поэзия Есенина, грустная и размашистая, щемящая и озорная, давно нашла свой уголок в душе нашего современника, закалившейся в суровых невзгодах и бурях века <...> Есенин был честен в своих порывах к новому. И если Есенин казнил себя тем, что не дал родине всего, что мог и хотел дать на ее новом пути, то в этом сказывался его искренний советский патриотизм”<sup>1</sup>. Сходные слова, судя по отчету в “Литературной газете”, звучали на вечере памяти Есенина на исходе 1945 года: ““20 лет назад умер Сергей Есенин, — сказал, открывая вечер, А. Жаров. — Время — самый верный критик. Прошли годы, и оказалось, что лучшие произведения Есенина продолжают жить, не утратив своей свежести”. Зал почтил вставанием память поэта”<sup>2</sup>.

Последующее ужесточение внутренней политики СССР на какое-то время скорректировало эти восторженные оценки и проявления: не где-нибудь, а в “Литературной газете” в августе 1948 года Б. Яковлев мимоходом осудил “многие, глубоко чуждые советским людям стихотворения Сергея Есенина”<sup>3</sup>.

Однако ярлык “кулацкий поэт” и опасные некогда похвалы Троцкого все же потеряли свою актуальность. Более того, кампания против космополитизма, затеянная и развернутая Сталиным в последние годы его правления, лишь укрепила позиции защитников Есенина. Прочитируем финальный абзац предисловия К. Зелинского к есенинскому сборнику 1953 года: “С вершины величайших преобразований нашей эпохи, на подступах к коммунизму мы вправе по-новому посмотреть на поэзию Есенина <...> Сегодняшний читатель останется равнодушным и пройдет мимо чуждой нам есенинской богемной “романтики” <...> Сегодняшний читатель сумеет почувствовать нежную, красивую душу есенинской поэзии и ощутить органическую связь лучшего у Есенина с национальными истоками русской жизни и советской культурой”<sup>4</sup>.

Шестидесятилетие Есенина в 1955 году справлялось уже как юбилей в полном смысле слова советского поэта.

1 Перцов В. Сергей Есенин // Литературная газета. 1945. 20 октября. С. 3.

2 Вечер памяти Сергея Есенина // Литературная газета. 1946. 1 января. С. 3. Ср. в стихотворении Жарова “На гроб Есенина” (1926): “Мы простили и дебош, и пьянство, / Сердца звон в стихах твоих любя, / Но такого злого хулиганства / Мы не ждали даже от тебя” (Есенин: Жизнь. Личность. Творчество. С. 23).

3 Яковлев Б. По старому рецепту // Литературная газета. 1948. 21 августа. С. 3.

4 Зелинский К. Сергей Есенин // Есенин С. Стихотворения. Л., 1953. С. 52.



Так начался длительный период сусального официозного есениноведения, суть и дух которого идеально передает, например, цитата из юбилейной речи Сергея Михалкова 1975 года: “Двадцатый век русской советской поэзии определяют три великих имени — Маяковский, Блок, Есенин <...> Поэзия Есенина удивительно проникновенно и ярко выражает главное в характере национального гения нашего народа — огромную душевную широту и любовь к родной земле, его активный патриотизм, а, как известно, мир с неослабным вниманием вглядывается в те революционные социальные преобразования, которые русский народ совершает вместе с народами нашего советского отечества”<sup>1</sup>.

**6** Если отношение советской власти к поэту долгие годы отличалось капризной непоследовательностью, народная любовь к Есенину всегда была ровной и устойчивой. Речь в данном случае идет не только о тех людях, которые знакомились с есенинскими стихами по застольным песням, а с подробностями его биографии — покупая на рынке “картошечку с родины Есенина”. Мы имеем в виду и утонченных эстетов, вроде Георгия Иванова, в последние годы своей жизни не без тайной зависти всматривавшегося в загадку беспрецедентной популярности автора “Пугачева” и “Черного человека”: “В чем же все-таки секрет этого, все растущего обаяния Есенина?”<sup>2</sup>

В предыдущих главах мы уже несколько раз, прямо или косвенно, пытались ответить на поставленный вопрос. Теперь нам кажется уместным предоставить слово для развернутой реплики замечательному современному поэту Сергею Гандлевскому:

Перед зеркалом в минуту трезвого отчаяния Сергей Есенин сказал о своем даровании, что оно “небольшой, но ухватистой силы”. Эта беспощадная самооценка, вероятно, справедлива. Однако именно к Есенину вот уже семь десятилетий Россия питает особую слабость. Небольшой силы оказалось достаточно, чтобы взять за сердце целую страну.

Мы почти поголовно болели им в отрочестве — и “Москва кабацкая” ходила по рукам наравне с Мопассаном. Потом мы выросли, и жизнь развела

1 Михалков С. Певец России // Михалков С. Приметы времени: Статьи по проблемам современной литературной жизни. М., 1976. С. 161, 162.

2 Иванов Г. Сочинения. Т. 3. С. 184.

нас по сословиям, кругам и компаниям. И если дорога сводила в одном купе шофера, интеллигента, секретаря заводской парторганизации и какую-то тетку из Бобруйска, оказывалось, что им не о чем говорить друг с другом, они друг другу хуже иностранцев... Но прикончив вторую бутылку водки, купе затягивало “Отговорила роща золотая...” (а проводница подпевала), и время песнопения становилось временем взаимопонимания.

Хорошо сближает и Высоцкий. Но нужна гитара, молодая компания, мужественный артистичный солист. А Есенин — во всех ситуациях свой.

Мыслимое ли дело трясти случайного попутчика за грудки за Федю Тютчева или Володю Маяковского? Никому и в голову не придет ни звать их так, ни препираться из-за них. А вот за Серегу Есенина можно и схлопотать<sup>1</sup>. Он и сам тыкал Пушкину и Америке и впустил всех нас в свою частную жизнь, где дед с портками, мать-старушка в шушуне, женщина “сорока с лишним лет”, и другая женщина, и ещё другая... Он сделал всех нас благодарными зрителями и чуть ли не соучастниками сериала, которому не видно конца, потому что каждое очередное поколение с удовольствием узнаёт себя в трюмо есенинской поэзии.

Ведь как мы живем? Вчерашний день мы еще с трудом вспомним, а уже позавчерашний — никогда. На похоронах близкого человека воспарим на мгновение над бытом, чтобы резюмировать: “Все там будем” — но есть уже чеканная формулировка, есть:

*В этой жизни умирать не ново,  
Но и жить, конечно, не новей...*

А что может быть острее чувства собственного старения. И на этот случай у Есенина есть краткое и красивое высказывание:

*Не жалею, не зову, не плачу —  
Все пройдет, как с белых яблонь дым...*

Мы ссоримся с любимой женщиной — Есенин и здесь уместен:

*Взволнованно ходили вы по комнате  
И что-то резкое в лицо бросали мне...*

<sup>1</sup> Ср. с вариацией в программном стихотворении Гандлевского “Стансы”: “В этом месте, веселье которого есть питье, / За порожнюю тарой выдавшие виды ребята / За Серегу Есенина или Андрюху Шенья / По традиции пропили очередную зарплату”.

Мы куда-то уезжаем:

*Корабли плывут в Константинополь,  
Поезда уходят на Москву...*

Теперь возвращаемся:

*Прощай, Баку, тебя я не увижу...*

Рутинный быт и нервозность Сергей Есенин возвел в степень жизни и чувств, он обвел эту тусклую прозу щемящим пятистопным размером — и она засверкала, как настенный календарь. Цветов немного, но все яркие. Спасибо ему за это!

Есенин назвал себя “последним поэтом деревни”, а признание обрел у всех, почитай, сословий. Потому что во все времена и на всех широтах новое теснит обжитое старое. И видеть это больно. Я человек городской, но с есенинской обреченной неприязнью смотрю на компьютер.

Он был мастером разлуки, расставания. А ведь жизнь в большой мере и есть растянувшееся на годы и десятилетия прощание понемногу и постепенно со всем и всеми, а после и с нею самой, с жизнью: “До свиданья, друг мой, до свиданья!”

Редкий смешной гордец дерзнет соразмерять себя с лирическим героем Лермонтова или Блока, Баратынского или Ходасевича, а вот с героем Есенина — сколько угодно. Сочувствие усиливается и тихим омутом облика, милостью, и биографией сродни самосожжению. Иван-царевич, но “такой же, как вы, пропащий”.

Пусть не покажется, что рассуждения мои грешат интеллигентским высокомерием: мол, это все — ширпотреб. Мало кто из обитателей поэтического Олимпа может похвалиться строками такой силы: “И деревья, как всадники, съехались в нашем саду...” — или: “А месяц будет плыть и плыть, роняя весла по озерам...”

Есенин народен не только за талант — талантливыми поэтами нас не удивишь, а за то, что вернул заурядной жизни привкус драматизма, а значит, и право на самоуважение. Таких услуг люди не забывают.

Более того, он послужил и национальному самоутверждению. Есенин силою таланта и обаянием личности двусмысленные стороны русского темперамента повернул светлой стороной. И там, где одним видится только дикость и рабский разгул, он усмотрел и вольницу молодости, и привлекатель-

ную исключительность. Есенин был очередным художником, оставлявшим за Россией особые таинственные права на необщий аршин, широту, быструю езду.

Опасен такой Есенин? Не опаснее многих явлений жизни — от свободы до водки: трудно не впасть в крайность. Держать равновесие вообще не просто, даже на двухколесном велосипеде<sup>1</sup>.

Все, что говорит о Есенине Гандлевский, умно, пронизательно, убедительно. И все же наша книга написана как раз в полемике с этим и подобными этому суждениями. Современный поэт исходит из эффектного парадокса: “Небольшой силы оказалось достаточно, чтобы взять за сердце целую страну”. Но стоит ли так легко соглашаться с есенинской “беспощадной самооценкой”? Не потому ли Есенин взял “за сердце целую страну”, что сила его поэзии все-таки была по-настоящему большой?

Как кажется, Гандлевский слишком поспешно сводит поэзию Есенина и ее воздействие к “рутинному быту”. Стихи, возводящие “тусклую прозу” “в степень жизни и чувств” (то есть прежде всего стихи последнего периода есенинского творчества), и в самом деле примиряют разные сословия. У Есенина действительно можно найти строки на любой вкус и на все случаи жизни. Но ведь этим секрет его власти над читателями не исчерпывается.

Замечательно, что есенинские стихи могут звучать в любом купе, объединяя “шофера, интеллигента, секретаря заводской парторганизации и какую-то тетку из Бобруйска”. Однако лирика Есенина, повторимся, волновала не только типичных пассажиров типичного купе — не меньший резонанс вызывала она среди ценителей самой высокой пробы.

Известен приговор Ахматовой: “Я не понимаю, почему так раздули его. В нем ничего нет — совсем небольшой поэт. <...> Пошлость. Ни одной мысли не видно...”<sup>2</sup> Но о “небольшом поэте” не спорили бы на “поэтическом Олимпе” так горячо. В “небольшом поэте” не находили бы причастность к народному языкотворчеству (как Маяковский: “У народа, / у языкотворца, / умер / звонкий / забулдыга-подмастерье”), пушкинского призыва к “чувствам добрым” (как Мандельштам, восхищавшийся строкой: “Не расстреливал несчастных по темницам”), “ошеломляющую свежесть” в изображении “родной природы” (как Пастернак), “драгоценную правду” (как поэтический учитель Гандлевского Ходасевич).

1 Гандлевский С. Свой // Гандлевский С. Поэтическая кухня. СПб., 1996. С. 75–77.

2 Лукницкий П. Об Анне Ахматовой // Наше наследие. 1988. № 6. С. 65.

Есенин был одним из немногих в XX веке чистых лириков. В его стихах оживает слово “песнь”, восстанавливается исконное единство музыки и слова. Своей завораживающей властью над слушателями — прежде всего над слушателями, а затем над читателями — он напоминает мифологических “певцов”. От погруженности Есенина в эту древнюю стихию лиризма — отмеченная уже первыми рецензентами “слитность звука и значения” в его стихах<sup>1</sup>, отсюда же — поражавшее современников есенинское единство песни и судьбы. Вряд ли стоит понимать народность Есенина-лирика только лишь в бытовом смысле: он не просто певец и украшатель привычных чувств; Пастернак недаром назвал его “почвенность” — “бездонной”<sup>2</sup>. Перифразируя известную формулу А. Григорьева, можно сказать: поэзия Есенина проста, но где ее концы?

Повторим вопрос Г. Иванова: “В чем же все-таки секрет <...> обаяния Есенина?” — не с тем, чтобы дать на него окончательный ответ, а с тем, чтобы, напротив, оставить его “в загадке”. Сам же Иванов и подсказывает такое решение, когда говорит о “недоказуемо-неопровержимой жизненности всего “есенинского””, о его очаровании, исключаящем объективное суждение, о его стихах, подобных “весеннему воздуху”, воздействие которого не объяснить через химический анализ. Есенин увлек нас, “заворожил своим голосом, подобно Орфею”<sup>3</sup>. Много ли дал Есенин читателю русской поэзии? “...Всё дал — кто песню дал”<sup>4</sup>.

1 Роман Аренский [Гиппиус З. Н.] Земля и камень // Голос жизни. 1915. № 17. С. 12.

2 Цветаева М., Пастернак Б. Души начинают видеть... С. 130.

3 Формула из платоновского “Протагора” (см.: Платон. Собр. соч.: В 4 т. Т. 1. С. 424).

4 Стихотворение М. Цветаевой памяти Сергея Есенина (“...И не жалость — мало жил...”, 1926).

## Указатель упоминаемых лиц\*

- АБРАМОВИЧ Николай Яковлевич (1881–1922), критик, прозаик, поэт —  
АВЕРБАХ Леопольд Леонидович (1903–1937), критик, литературовед, один из основателей РАПП —  
АВЕРЬЯНОВ Михаил Васильевич (1867–1941), издатель —  
АВРААМОВ Арсений Михайлович (1886–1944), музыкальный критик, композитор, эссеист, автор книги “Воплощение: Есенин и Мариенгоф” (1921) —  
АГРАНОВ Яков Саулович (1893–1938), особый уполномоченный при Президиуме ВЧК, заведующий секретно-политическим отделом ОГПУ, с 1934 г. замнаркома внутренних дел —  
АДАМОВИЧ Георгий Викторович (1892–1972), поэт и критик —  
АДОНЦ Гайк Георгиевич (1889–1937), участник революционного движения, журналист —  
АЗАДОВСКИЙ К. М., историк литературы —  
АЙЗЕНШТАТ Давид Самойлович (1880–1947), совладелец книжного магазина “Ассоциации вольнодумцев”, книготорговый работник —  
АКСЕЛЬРОД Иосиф Вениаминович (? — после 1924), типографский служащий, знакомый Есенина —  
АКСЕНОВ Алексей Семенович, земляк Есенина —  
АКСЕНОВ Иван Александрович (1884–1935), поэт, прозаик, драматург —  
АКУЛЬШИН Родион Михайлович (псевдоним Родион Березов; 1896–1988), поэт, прозаик —  
АЛЕКСАНДРА ФЕДОРОВНА (урожд. принцесса Гессен-Дармштадтская;

\* Имена исследователей, на труды которых ссылаются авторы книги, в большинстве случаев оставлены без подробных аннотаций. Указатель составлен А. Л. Дмитренко, О. А. Лекмановым и Н. В. Солнцевой.



1872–1918), российская императрица —  
АЛЕКСАНДРОВА Елизавета Клавдиевна, актриса —  
АЛЕКСАНДРОВА (псевд. Грацианская; 1904–1990) Нина Осиповна (Иосифовна), поэтесса, мемуаристка —  
АЛЕКСАНДРОВИЧ Андрей Иванович (1906–1963), поэт —  
АЛЕКСЕЕВ Глеб Васильевич (1892–1938), прозаик, критик —  
АЛЬТМАН Моисей Семенович (1896–1987), филолог —  
АЛЬТМАН Натан Исаевич (1889–1970), художник —  
АЛЯНСКИЙ Самуил Миронович (1891–1974), владелец издательства “Алконост” —  
АНАСТАСИЯ Николаевна (1901–1918), великая княжна, младшая дочь императора Николая II —  
АНДРЕЕВ Леонид Николаевич (1871–1919), прозаик, драматург —  
АНДРЕЙ Полянин — см. Парнок С.  
АНИБАЛ Б. (наст. имя и фам. Борис Алексеевич Масаинов; 1900 — 1962), писатель-фантаст, литературный критик, журналист —  
АННЕНКОВ Юрий Павлович (1889–1974), художник —  
АНТОКОЛЬСКИЙ Павел Григорьевич (1896–1978), поэт, переводчик —  
АНТОНОВ Александр Степанович (1888–1922), эсер, руководитель крестьянского восстания в Тамбовской губернии в 1921–1922 годах —  
АНТОНОВСКАЯ Анна Арнольдовна (1885–1967), писательница —  
АПУШКИН Яков Владимирович (1899–1989), драматург, прозаик, критик —  
АРГО (наст. имя и фам. Абрам Маркович Гольденберг; 1897–1968), поэт-сатирик и пародист —  
АРЕНСКИЙ Р. — см. Гиппиус З.  
АРТЕМОВ А. —  
АРХАНГЕЛЬСКИЙ Александр Григорьевич (1890–1938), поэт-пародист —  
АРХИМЕД (около 287–212 гг. до н. э.), древнегреческий ученый —  
АРХИПОВ Николай Ильич (1887–1967), педагог, музейный работник, друг Н. А. Клюева —  
АРХИПОВА Л. А. —  
АРЦЫБУШЕВ Юрий Константинович (1877–1952), художник, журналист —  
АСЕЕВ Николай Николаевич (1889–1963), поэт —  
АХМАТОВА Анна Андреевна (наст. фам. Горенко; 1889–1966), поэтесса —  
БАБАНОВ Валерий Васильевич (р. 1942), художник —  
БАБЕЛЬ Исаак Эммануилович (1894–1940), прозаик —  
БАБЕНЧИКОВ Михаил Васильевич (1890–1957), искусствовед —  
БАЙРОН Джордж Ноэл Гордон (1788–1824), английский поэт —  
БАЛЬЗАК Оноре де (1799–1850), французский писатель —

- БАЛЬЗАМОВА Мария Парменовна (1896–1950), педагог, друг юности Есенина —
- БАЛЬМОНТ Константин Дмитриевич (1867–1942), поэт —
- БАРАНОВ В. С. историк литературы —
- БАРАТЫНСКИЙ (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844), поэт —
- БАРБЕ Д'Оревилль Жюль Амеде (1808–1889), французский писатель —
- БАРИЛЬ А., журналист —
- БАТЮШКОВ Константин Николаевич (1787–1855), поэт —
- БАХМЕТЕВ Евгений, критик —
- БАХРАХ Александр Васильевич (1902–1985), критик, литературовед, мемуарист —
- БЕБУТОВ Гарегин Владимирович (1904–1987), литературовед —
- БЕДНЫЙ Демьян (наст. имя и фам. Ефим Алексеевич Придворов; 1883–1945), поэт и публицист —
- БЕЗРУКОВ Виталий Сергеевич (р. 1942), актер, писатель —
- БЕЗРУКОВ Сергей Витальевич (р. 1973), актер —
- БЕЗЫМЕНСКИЙ (Безымянский) Александр Ильич (1898–1973), поэт —
- БЕЛИКОВ, харьковский рабочий —
- БЕЛИНСКИЙ Виссарион Григорьевич (1811–1848), критик —
- БЕЛОУСОВ Владимир Германович (1914–1980), библиограф и биограф Есенина —
- БЕЛОУСОВ Иван Алексеевич (1863–1930), поэт, переводчик, мемуарист —
- БЕЛЫЙ Андрей (наст. имя и фам. Борис Николаевич Бугаев; 1880–1934), поэт, прозаик, мемуарист —
- БЕЛЯЕВ Иван Дмитриевич (1883–1927), психолог и публицист —
- БЕНИСЛАВСКАЯ Галина Артуровна (1897–1926), редакционный работник, близкий друг Есенина в 1923–1925 гг. —
- БЕНУА Александр Николаевич (1870–1960), художник, искусствовед —
- БЕРБЕРОВА Нина Николаевна (1901–1993), писательница, литературный критик —
- БЕРГМАН Генрих Бернгардович (псевд. Г. Зайцев; 1898–1938), публицист —
- БЕРЕЗАРК И. (наст. имя и фам. Илья Борисович Рысс; 1897–1981), писатель —
- БЕРЕЗОВ Р. — см. Акульшин Р. М.
- БЕРЗИНЬ Анна Абрамовна (1897–1961), журналистка, издательский работник —
- БЕРМАН Лазарь Васильевич (Вульфович) (1894–1980), поэт, прозаик, мемуарист —
- БИЛИБИН Иван Яковлевич (1876–1942), художник —

- Бисти Андрей Дмитриевич, художник —  
Бичуков Анатолий Андреевич (р. 1934), скульптор —  
Благой Дмитрий Дмитриевич (1893–1984), литературовед, критик —  
Блок Александр Александрович (1880–1921), поэт —  
Блок Любовь Дмитриевна (1881–1939), актриса, жена А. А. Блока —  
Блум Хэролд (1924–1999), американский литературовед —  
Блюмкин Яков Григорьевич (1900–1929), сотрудник ВЧК ОГПУ, член “Ассоциации вольнодумцев” —  
Бобров Сергей Павлович (1889–1971), поэт, прозаик, критик —  
Богомолов Н.А., литературовед —  
Богословский Николай Вениаминович (1904 — 1961), приятель Есенина —  
Бодлер Шарль (1821–1867), французский поэт —  
Большаков Константин Аристархович (1895–1938), поэт, прозаик —  
БОРАТЫНСКИЙ Е. — см. Баратынский Е.  
БОРИС Федорович Годунов (около 1551–1605), с 1598 г. — царь и великий князь всея Руси —  
БОРИСОВ С. (наст. имя и фам. Семен Борисович Шерн; 1894–1941), журналист, критик, мемуарист —  
БОТКИН Василий Петрович (1811/1812–1869), очеркист, критик —  
БРАГИНСКИЙ Мани-Лейб (1884–1953), еврейский поэт —  
БРАМС Иоганнес (1833–1897), немецкий композитор —  
БРАУН Николай Леопольдович (1900–1975), поэт —  
БРАУН Н. Н., поэт —  
БРИК Осип Максимович (1888–1945), литературовед, критик —  
БРЮСОВ Валерий Яковлевич (1873–1924), поэт, прозаик —  
БУЛЛА Карл Карлович (1855–1929), петербургский фотограф —  
БУНИН Иван Алексеевич (1870–1953), поэт —  
БУРАЧЕВСКИЙ И. И., краевед —  
БУРДЕЛЬ Эмиль Антуан (1861–1929), французский скульптор —  
БУРЕ Павел Павлович (Павел-Леопольд; 1842–1892), купец, владелец часового магазина (Невский, 23) —  
БУРЕНИН Виктор Петрович (1841–1926), писатель, поэт —  
БУРЛЮК Давид Давидович (1882–1967), поэт, живописец —  
БУРЛЮК Мария Никифоровна (1894–1967), жена Д. Бурлюка —  
БУРЛЮК Николай Давидович (1890–1920), поэт —  
БУРОВИЙ Клим (наст. имя и фам. Сопляков Константин; ? — 1934), эсер —  
БУХАРИН Николай Иванович (1888–1938), советский партийный и государственный деятель —

- БУХАРОВА Зоя Дмитриевна (в замуж. Казина; 1876–1923), поэтесса —
- БУХАРЦЕВ Дмитрий Павлович (1898–1937), журналист —
- БУХОВ Аркадий Сергеевич (1889–1937), писатель-сатирик, журналист —
- БЫСТРЫЙ М., журналист —
- ВАРДИН И. (наст. имя и фам. Илларион Виссарионович Мгеладзе; 1890–1941), литературный критик, советский партийный публицист —
- ВАСИЛЕВСКИЙ Илья Маркович (псевд. Не-Буква; 1882/1883–1938), фельетонист, критик —
- ВАСИЛЬЕВ Павел Николаевич (1910–1937), поэт, прозаик —
- ВАХИТОВА Т. М., литературовед —
- ВДОВИН В. А., историк литературы —
- ВЕЙДЕМЕЙЕР Иосиф (1818–1866), немецкий революционер, друг К. Маркса и Ф. Энгельса —
- ВЕЛИДОВА Е. Л., сотрудник библиотеки ИНИОН
- ВЕНГРОВ Натан (наст. имя и фам. Моисей Павлович Вейнгроров; 1894–1962), поэт, литературовед —
- ВЕНТЦЕЛЬ Николай Николаевич (1855/1856–1920), поэт, прозаик, драматург —
- ВЕРЖБИЦКИЙ Николай Константинович (1889–1973), журналист, прозаик, мемуарист —
- ВЕРЛЕН Поль (1844–1896), французский поэт —
- ВЕРФЕЛЬ Франц (1890–1945), австрийский писатель —
- ВЕТЛУГИН А. (наст. имя и фам. Владимир Ильич Рындзюн; 1897 — середины 1950-х), прозаик, публицист, мемуарист —
- ВЕЧОРКА Т. — см. Толстая Т. В.
- ВИЙОН Франсуа (между 1431 и 1432 — не позднее 1491), поэт —
- ВИНОГРАДСКАЯ Софья Семеновна (Селимовна) (1901, по другим данным 1902–1964), журналистка —
- ВИНОКУР Григорий Осипович (1896–1947), филолог —
- ВОЛГИН Леонид, поэт —
- ВОЛКОВ Александр Николаевич (1886–1957), художник —
- ВОЛОШИН Максимилиан Александрович (наст. фам. Кириенко-Волошин; 1877–1932), поэт, критик, художник —
- ВОЛЬПИН Владимир Иванович (1891–1956), литератор, издательский работник, мемуарист —
- ВОЛЬПИН Надежда Давыдовна (1900–1998), поэтесса, переводчица, мемуаристка —
- ВОРОВСКИЙ Вацлав Вацлавович (1871–1923), советский партийный и государственный деятель, в 1920 г. директор Госиздата РСФСР —

- ВОРОНСКИЙ Александр Константинович (1884–1937), критик, редактор журнала “Красная новь”, мемуарист —
- ВОРОНЦОВ Клавдий Петрович (1898–1962), друг детства Есенина —
- ВЫСОЦКИЙ Владимир Семенович (1938–1980), поэт, актер —
- ГАЛКИН Самуил (1897–1960), переводчик, поэт, драматург —
- ГАЛУШКИН А. Ю., историк литературы —
- ГАН К. Е. фон (наст. имя и фам. Ягельский Александр Карлович), фотограф —
- ГАНДЛЕВСКИЙ Сергей Маркович (р. 1952), поэт и прозаик —
- ГАНИН Алексей Алексеевич (1893–1925), поэт —
- ГАРИНА Нина Михайловна, знакомая Есенина —
- ГАРШИН Всеволод Михайлович (1855–1888), прозаик —
- ГАСПАРОВ М. Л., филолог —
- ГАТОВ Александр Борисович (1899–1972), поэт, переводчик —
- ГЕДРОЙЦ Сергей — псевдоним ГЕДРОЙЦ Веры Игнатьевны (1876–1932), поэтессы —
- ГЕЙНЕ Генрих (1797–1856) — немецкий поэт, публицист и критик —
- ГЕРАСИМОВ Михаил Прокофьевич (1889–1937), поэт —
- ГЕРМАН Э. — см. Кроткий Э.
- ГЕРЦЕН Александр Иванович (1812–1870), прозаик, публицист и революционер —
- ГЕРШТЕЙН Григорий Моисеевич (1869–1943), врач —
- ГЕССЕН Иосиф Владимирович (1865/1866–1943), публицист, юрист, один из основателей (1905) и лидеров партии кадетов; был соредактором (совместно с П. Н. Милюковым) газеты “Речь” —
- ГИНЗБУРГ Лидия Яковлевна (1902–1990), литературовед —
- ГИППИУС Василий Васильевич (1890–1942), поэт, переводчик, литературовед —
- ГИППИУС Зинаида Николаевна (псевд. Роман Аренский; 1869–1945), поэт, прозаик, драматург, критик —
- ГИТЛЕР Адольф (1889–1945), рейхсканцлер Германии —
- ГЛАДКОВ Федор Васильевич (1883–1958), прозаик —
- ГЛИНКА Михаил Иванович (1804–1857), композитор —
- ГЛУБОКОВСКИЙ Борис Александрович (псевд. Борис Веев; 1894 — после 1932) — актер Камерного театра, писатель; был близок к группе имажинистов —
- ГНЕДОВ Василиск (наст. имя Василий Иванович; 1890–1978), поэт —
- ГНИЛОСЫРОВА Полина Сергеевна (1893 — ?), учитель начальной школы —
- ГОББС Томас (1588–1679), английский философ —

- ГОГОЛЬ Николай Васильевич (1809–1852), писатель —
- ГОЛОВАЧЕВ Сергей Дмитриевич (1904–1950), поэт, книготорговый работник —
- ГОЛЬЦШМИДТ Владимир (Вальдемар) Робертович (1881–1955), поэт; участвовал в деятельности группы футуристов —
- ГОРОДЕЦКАЯ Анна (Нимфа) Алексеевна (1889?–1945), жена С. М. Городецкого —
- ГОРОДЕЦКИЙ Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт, беллетрист, критик —
- ГОРШКОВ Василий Васильевич (1885–1946), поэт —
- ГОРЬКИЙ М. (наст. имя и фам. Алексей Максимович Пешков; 1868–1936), прозаик и драматург —
- ГРАЦИАНСКАЯ Н. О. — см. Александрова Н. О.
- ГРЕБЕНЩИКОВ Георгий Дмитриевич (1883–1964), прозаик, критик —
- ГРЕБНЕВ Л. (наст. имя и фам. Лейб Фейнберг; 1897–1972), еврейский литератор; писал стихи и на русском языке —
- ГРЖЕБИН Зиновий Исаевич (1869–1929), издатель —
- ГРИГОРЬЕВ Аполлон Александрович (1822–1864), переводчик, критик —
- ГРИГОРЬЕВ Борис Дмитриевич (1886–1939), художник —
- ГРИГОРЬЕВ Сергей Тимофеевич (наст. фам. Патрашкин; 1875–1953), прозаик —
- ГРОМОВ А. А., журналист —
- ГРОНСКИЙ Иван Михайлович (1894–1985), председатель Оргкомитета Союза советских писателей (1932–1933), главный редактор “Нового мира” (1932–1937) —
- ГРУЗДЕВ Илья Александрович (1892–1960), прозаик, критик —
- ГРУЗИНОВ Иван Васильевич (1893–1942), поэт, критик, мемуарист —
- ГУЛЬ Роман Борисович (1896–1986) — писатель, публицист, критик, мемуарист, общественный деятель —
- ГУМИЛЕВ Николай Степанович (1886–1921), поэт —
- ГУСАРОВ Олег, фотограф —
- Д’АННУНЦИО Габриэле (1863–1938), итальянский поэт, писатель, драматург —
- ДАЛЬ Владимир Иванович (1801–1872) — лексикограф; автор “Толкового словаря живого великорусского языка” —
- ДАНИЛОВ Иван Данилович, фотограф —
- ДАШЕВСКИЙ Г. М., поэт и критик —
- ДЕЕВ-ХОМЯКОВСКИЙ Григорий Дмитриевич (наст. фамилия Деев; 1888–1946), поэт, один из руководителей Суриковского кружка, мемуарист —



- ДЕЙДРА — см. Дирдре.
- ДЕЛЛОС, московский портной —
- ДЕНИСОВА-СОКОЛОВА Параскева Михайловна (1895–1987), актриса, первая жена К. А. Соколова —
- ДЕСТЫ Мери, подруга и компаньонка А. Дункан, автор книг о ней, мемуаристка —
- ДИВИЛЬКОВСКИЙ Анатолий Авдеевич (1873–1932), критик —
- ДИД ЛАДО (подлинное имя, возможно, Алексей Станиславович Белевский), художник —
- ДИНЕРШТЕЙН Е. А., историк литературы —
- ДИРДРЕ (Дейдра; 1906–1913), дочь А. Дункан и Г. Крэга —
- ДМИТРЕНКО А. Л., историк литературы —
- ДМИТРИЕВ Михаил Юрьевич, фотограф —
- ДМИТРИЕВ Н., публицист —
- ДОБРОВОЛЬСКИЙ Александр Александрович (1886–1965), прозаик, в 1915 г. — секретарь редакции “Нового журнала для всех” —
- ДОБУЖИНСКИЙ Мстислав Валерьянович (1875–1957), художник —
- ДОВЛАТОВ Сергей Донатович (1941–1990), прозаик —
- ДОН-АМИНАДО (наст. имя и фам. Аминад(ав) Пейсахович Шполянский; 1888–1957) —
- ДОСТОЕВСКИЙ Федор Михайлович (1821–1881), писатель —
- ДРОЖЖИН Спиридон Дмитриевич (1848–1930), поэт —
- ДРОЗДКОВ В. А., историк литературы —
- ДРУЖИНИН Н. П., корреспондент С. Н. Кошкарлова —
- ДРУЗИН Валерий Павлович (1903–1980), критик —
- ДУНКАН Айседора (1877–1927), американская танцовщица, жена Есенина в 1922–1923 гг. —
- ДУНКАН Ирма (наст. фам. Эрих; 1897–1977), приемная дочь А. Дункан, руководитель студии А. Дункан в Москве —
- ДУРНАВО А. Н., филолог —
- ДЮМА Александр (1802–1870), французский писатель —
- ДЮРАНТИ Уолтер (1884–1957), американский журналист —
- ЕВГЕНОВ Семен Владимирович (1897–1973), критик —
- ЕВДОКИМОВ Иван Васильевич (1887–1941), прозаик, искусствовед, издательский работник, мемуарист —
- ЕВРЕИНОВ Николай Николаевич (1879–1953), режиссер, теоретик театра —
- ЕВРИПИД (485/4–407/6 гг. до н. э.), драматург —
- ЕЛИЗАВЕТА ФЕДОРОВНА (1864–1918), великая княгиня —
- ЕРЕМЕЕВА Т. В., сотрудник библиотеки ИНИОН —

- ЕРМИЛОВ Владимир Владимирович (1904–1965), критик, литературовед —
- ЕСЕНИН Александр Никитович (Никитич) (1873–1931), отец Есенина —
- ЕСЕНИН Иван Никитич (1876 — ?), дядя Есенина —
- ЕСЕНИН Константин Сергеевич (1920–1986), сын Есенина от второго брака, мемуарист —
- ЕСЕНИН Никита Осипович (1843–1885), дед Есенина —
- ЕСЕНИН Юрий Сергеевич (до 1926 — Изряднов; 1915–1938), сын Есенина и А. Изрядновой —
- ЕСЕНИНА (Наседкина) Наталия Васильевна (р. в 1933), дочь Е. Есениной —
- ЕСЕНИНА Аграфена Панкратьевна, бабушка Есенина по отцу —
- ЕСЕНИНА Александра Александровна (1911–1981), сестра Есенина, мемуаристка —
- ЕСЕНИНА Екатерина Александровна (1905–1977), сестра Есенина, мемуаристка —
- ЕСЕНИНА Ольга Александровна (1898–1901), сестра Есенина —
- ЕСЕНИНА Татьяна Сергеевна (1918–1992), дочь Есенина и З. Райх —
- ЕСЕНИНА Татьяна Федоровна (урожд. Титова; 1875–1955), мать Есенина —
- ЖАННА, служанка А. Дункан —
- ЖАРОВ Александр Алексеевич (1904–1984), поэт —
- ЖЕЛТОВ В., журналист —
- ЖИРМУНСКИЙ Виктор Максимович (1881–1971), литературовед —
- ЖОЛКОВСКИЙ А. К., литературовед —
- ЗАБЕЖИНСКИЙ Григорий Борисович (1879–1966), юрист, литератор —
- ЗАЙЦЕВ Г. — см. Бергман Г. Б.
- ЗАЙЦЕВ Петр Никанорович (1889–1970), издательский работник, мемуарист —
- ЗАМЯТИН Евгений Иванович (1884–1937), прозаик —
- ЗАНКОВСКАЯ Л. В., литературовед —
- ЗАРЕЦКИЙ Николай Васильевич (1876–1959), художник —
- ЗЕЛИНСКИЙ Корнелий Люцианович (1896–1970), критик, литературовед —
- ЗЕНКЕВИЧ Михаил Александрович (1886–1973), поэт —
- ЗИМИНА Александра Петровна (1909– ?), односельчанка А. А. Есениной —
- ЗИНГЕР Пэрис, миллионер, знакомый А. Дункан —
- ЗИНОВЬЕВ Григорий Евсеевич (наст. фам. Радомысльский; 1883–1936), государственный и партийный деятель —
- ЗИНОВЬЕВА-АННИБАЛ Лидия Дмитриевна (1866–1907), прозаик, поэтесса —
- ЗЛАТОВРАТСКИЙ Николай Николаевич (1845–1911), прозаик —
- ЗНЫШЕВ Василий Васильевич, соученик Есенина —

- ЗОЛОТАРЕВСКИЙ Исидор Самойлович (1885–1961), скульптор, автор по-  
смертной маски Есенина —
- ЗОЛОТНИЦКИЙ Давид Иосифович (1918–2005), историк театра и литерату-  
ры —
- ИВАНОВ Всеволод Вячеславович (1895–1963), прозаик —
- ИВАНОВ Вячеслав Иванович (1866–1949), поэт, философ, филолог, перевод-  
чик —
- ИВАНОВ Георгий Владимирович (1894–1958), поэт —
- ИВАНОВ Федор Владимирович (1892–1923), прозаик, критик —
- ИВАНОВ-РАЗУМНИК (наст. имя и фам. Разумник Васильевич Иванов;  
1878–1946), критик, историк литературы —
- ИВАНОВА Ирина Разумниковна (1908–1996) — дочь Иванова-Разумника —
- ИВНЕВ Рюрик (наст. имя и фам. Михаил Александрович Ковалев; 1891–1981),  
поэт, прозаик, мемуарист —
- ИЗРЯДНОВ Ю. С. — см. Есенин Ю. С.
- ИЗРЯДНОВА Анна Романовна (1891–1946), гражданская жена Есенина —
- ИЗРЯДНОВА Надежда Романовна, сестра А. Изрядновой —
- ИЛЬИНСКИЙ Игорь Владимирович (1901–1987), актер —
- ИЛЬФ Илья Арнольдович (наст. фам. Файнзильберг; 1897–1937), писатель —
- ИНДИКОПЛОВ Косма (Козьма), византийский писатель VI в., автор книги  
“Христианская топография” —
- ИОНОВ Илья Ионович (наст. фам. Бернштейн; 1887–1942), издательский и  
партийный работник —
- ИРЕЦКИЙ Виктор Яковлевич (наст. фам. Гликман; 1886–1936), писатель, кри-  
тик, рецензент —
- КАЗИН Василий Васильевич (1898–1981), поэт —
- КАЛИНКИН Николай Петрович (1895–1966), соученик Есенина —
- КАМЕНЕВ Лев Борисович (наст. фам. Розенфельд; 1883–1936), советский го-  
сударственный и партийный деятель, в то время председатель Моссовета —
- КАМЕНСКИЙ Василий Васильевич (1884–1961), поэт —
- КАМИНСКАЯ Эльза Моисеевна (1894–1975), актриса-чтица —
- КАННЕГИСЕР Леонид Иоакимович (1896–1918), поэт —
- КАРОХИН Л. Ф., историк литературы —
- КАРПОВ Пимен Иванович (1887–1963), поэт, прозаик, мемуарист —
- КАСАТКИН Иван Михайлович (1880–1938), прозаик —
- КАСТРИКИН Н. Ф., историк литературы —
- КАТАЕВ Валентин Петрович (1897–1986), прозаик, мемуарист —
- КАТАНЯН Василий Абгарович (1902–1980), литературовед —
- КАТЕНИН Павел Александрович (1792–1853), поэт, драматург и критик —

- КАУФМАН Абрам Евгеньевич (1855–1921), журналист, в 1919–1921 гг. редактор петроградского журнала “Вестник литературы” —
- КАЦИС Л. Ф., литературовед —
- КАЧАЛОВ Василий Иванович (наст. фам. Шверубович; 1875–1948), актер —
- КАШИН Николай Павлович (1874–1939), гимназический учитель, историк литературы; муж Л. И. Кашиной —
- КАШИНА Лидия Ивановна (урожд. Кулакова; 1886–1937), владелица поместья в селе Константинове, знакомая Есенина —
- КАШИРИН С. И., писатель —
- КИБИРОВ Т. Ю., поэт —
- КИНЕЛ Лола (1899 — ?), переводчица, секретарша А. Дункан —
- КИРИЛЛОВ Владимир Тимофеевич (1890–1937), поэт —
- КИРШОН Владимир Михайлович (1902–1938), писатель —
- КИСИН Вениамин Моисеевич (1897–1923), поэт и критик, входил в группу “люминистов” —
- КЛЕЙНБОРТ Лев Наумович (Максимович; наст. имя и отчество Лейб Нахманович; 1875–1950), критик, мемуарист —
- КЛЕМЕНОВ Иван Алексеевич, земляк и старший друг Есенина, уроженец села Кузьминское —
- КЛЫЧКОВ Сергей Антонович (наст. фам. Лешенков; 1889–1937), поэт —
- КЛЮЕВ Николай Алексеевич (1884–1937), поэт —
- КЛЮЕВА В. Н., критик —
- КЛЮЧНИКОВ Юрий Вениаминович (1888–1938), профессор, первый редактор газеты “Накануне” (Берлин), публицист —
- КНЯЗЕВ Василий Васильевич (1887–1937), поэт-сатирик и критик —
- КОБРИНСКИЙ А. А., литературовед —
- КОВАЛЕНКОВ Александр Александрович (1911–1971), поэт —
- КОГАН Петр Семенович (1872–1932), критик, историк литературы —
- КОЖЕБАТКИН Александр Мелетьевич (Мелентьевич) (1884–1942), издатель, библиофил —
- КОЗЬМИН Борис Павлович (1883–1958), историк литературы —
- КОКОШКИН Федор Федорович (1871–1918), депутат Учредительного собрания —
- КОЛОБОВ Григорий Романович (1893–1952), ответственный работник Народного комиссариата путей сообщения, член “Ассоциации вольнодумцев” —
- КОЛОКОЛОВ Николай Иванович (1897–1933), поэт, прозаик —
- КОЛЧАК Александр Васильевич (1873–1920), военачальник —
- КОЛЬЦОВ Алексей Васильевич (1809–1842), поэт —

- КОЛЬЦОВ Михаил (наст. имя и фам. Михаил Ефимович Фридлянд; 1898–1940), журналист —
- КОНДРАТЬЕВ Александр Алексеевич (1876–1967), поэт, переводчик, критик, литературовед —
- КОНЁНКОВ Сергей Тимофеевич (1874–1971), скульптор —
- КОНИ Анатолий Федорович (1844–1927), юрист, литератор —
- КОНИШЕВСКИЙ А. Д., владелец театрально-литературного кабаре “Не рыдай” —
- КОНОПАЦКАЯ Т., литературовед —
- КОПЫТИН Иван Федорович (1894 — 1979), друг детства С. Есенина —
- КОРБЬЕР Тристан (наст. имя Эдуар Жоашен; 1845–1875), французский поэт-символист, один из “проклятых поэтов” —
- КОРЯКОВ М. М., литературовед, мемуарист —
- КОСМАН С., филолог —
- КОСТРОВА Варвара Андреевна (урожд. Штакеншнейдер; 1892–1977), мемуаристка —
- КОТЛЯРЕВСКИЙ Нестор Александрович (1863–1925), историк литературы, академик, первый директор Пушкинского Дома —
- КОТОВА М. А., литературовед —
- КОФАНОВ Павел Евтихиевич (1893 — 1944?), поэт —
- КОЧЕТКОВА Н. Е., журналистка —
- КОШЕЧКИН С. П., литературовед —
- КОШКАРОВ Сергей Николаевич (псевд. Сергей Заревой; 1882–1919), поэт, один из руководителей Суриковского кружка —
- КРАНДИЕВСКАЯ-ТОЛСТАЯ Наталья Васильевна (1888–1963), поэтесса, мемуаристка —
- КРАСИЛЬНИКОВ Виктор Александрович (1900–1963), критик —
- КРАСОВСКИЙ Ю. А., литературовед —
- КРЖИЖАНОВСКИЙ Глеб Максимилианович (1872–1952), партийный деятель —
- КРОПОТКИН Петр Алексеевич (1842–1921), князь; географ, теоретик анархизма —
- КРОТКИЙ Эмиль (наст. имя и фам. Эммануил Яковлевич Герман; 1892–1963), поэт сатирик, мемуарист —
- КРУГЛИКОВА Елизавета Сергеевна (1865–1941), художник —
- КРУСАНОВ А. В., историк литературы —
- КРУЧЕННЫХ Алексей Елисеевич (1886–1968), поэт —
- КРЫЖАНОВСКИЙ Сергей Тарасович, поэт —
- КРЫЛОВ Николай Васильевич, купец —

- Крыщук Н. П., прозаик —
- Крэг Гордон (1872–1966), английский художник и теоретик театра —
- Кузмин Михаил Алексеевич (1872–1936), поэт, прозаик —
- Кузнецов В. И., публицист —
- Кузнецов Николай Андрианович (1904–1924), поэт —
- Кузько Петр Авдеевич (1884–1969), литератор —
- Кулагина-Клуцис Валентина Никифоровна (1902 — 1987), художница —
- Кулаков Иван Петрович (? — 1911), помещик, отец Л. И. Кашиной —
- Кунина-Александр Ирина Ефимовна (1900– 2003), писательница —
- Куняев С. С., критик —
- Куняев С. Ю., поэт, критик —
- Курочкина С. литературовед —
- Кусиков Александр Борисович (1896–1977), поэт, мемуарист —
- Кусиков Рубен Борисович (1902–?), брат А. Кусикова —
- Кюхельбекер Вильгельм Карлович (1797–1846), поэт, декабрист —
- Лавренев Борис Андреевич (1891/1892–1959), прозаик —
- Лавров А. В., литературовед —
- Лазаревский Борис Александрович (1871–1936), прозаик —
- Ланкина Е. Д., студентка, корреспондентка П. Н. Сакулина —
- Ларионов Михаил Федорович (1881–1964), художник —
- Лафорг Жюль (1860–1887), французский поэт —
- Лебедева Сарра Дмитриевна (1892–1967), скульптор —
- Левидов Михаил Юльевич (1892–1942), журналист —
- Левин Вениамин Михайлович (1892–1953), поэт, критик —
- Левинтон Г. А., литературовед —
- Лежнев А. (наст. имя и фам. Абрам Захарович Горелик; 1893–1938) — критик, литературовед —
- Лейбов Р. Г., литературовед —
- Лейферты, владельцы балаганов и театральных мастерских в Петербурге —
- Лекманов О. А., историк литературы —
- Лелевич Г. (наст. имя и фам. Лабори Гилелевич Калмансон; 1901–1945), критик, поэт —
- Ленин Владимир Ильич (наст. фам. Ульянов; 1870–1924) —
- Леннквист Барбара, финский литературовед —
- Леонов Леонид Максимович (1899–1994), прозаик —
- Леонтьев Николай, мнимый “убийца” Есенина —
- Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841), поэт —
- Лернер Николай Осипович (1877–1934), литературовед —



- ЛИБЕДИНСКИЙ Юрий Николаевич (1898–1959), прозаик —
- ЛИВКИН Николай Николаевич (1894–1974), поэт —
- ЛИВШИЦ Бенедикт Константинович (1886–1937), поэт —
- ЛИВШИЦ Евгения Исаковна (1901–1961), знакомая Есенина —
- ЛИВШИЦ Маргарита Исаковна (в замуж. Бернштейн; 1903–1978), знакомая Есенина —
- ЛИНДЕР Макс (1883–1925), американский киноактер —
- ЛИПЕЦКИЙ А. (наст. имя и фам. Алексей Владимирович Каменский; 1887–1942), поэт —
- ЛИПКИН Семен Израильевич (1911–2003), поэт —
- ЛИТВИНОВ Максим Максимович (наст. имя и фам. Макс Баллах; 1876–1951), советский государственный и партийный деятель, в 1920-е гг. заместитель наркома РСФСР по иностранным делам —
- ЛИХАЧЕВ В. М., критик —
- ЛОМАН Дмитрий Николаевич (1868–1918), штаб-офицер для особых поручений при Дворцовом коменданте, ктитор Феодоровского государева собора, начальник Царскосельского полевого военно-санитарного поезда № 143 —
- ЛОМАН Юрий Дмитриевич (1906–1980), сын Д. Ломана —
- ЛОМБРОЗО Чезаре (1835–1909), итальянский тюремный врач-психиатр, социолог —
- ЛОМОВ А. (наст. имя и фам. Георгий Ипполитович Оппоков; 1888–1937), партийный деятель, журналист —
- ЛОТМАН Ю. М., литературовед —
- ЛОУЭЛЛ Эми (1874–1925), поэтесса, лидер англо-американских имажистов —
- ЛУКНИЦКАЯ Вера Константиновна (р. 1927), жена П. Лукницкого —
- ЛУКНИЦКИЙ Павел Николаевич (1902–1973), поэт, прозаик, историк литературы —
- ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (1875–1933), советский государственный и партийный деятель —
- ЛУНДБЕРГ Евгений Германович (1887–1965), прозаик, критик —
- ЛУРЬЕ Вера Иосифовна (1901–1998), поэтесса —
- ЛЫСЦОВ Иван Васильевич (1934–1994), поэт и критик —
- ЛЬВОВА Надежда Григорьевна (1891–1913), поэтесса —
- ЛЬВОВ-РОГАЧЕВСКИЙ В. (наст. имя и фам. Василий Львович Рогачевский; 1873/1874–1930), критик и литературовед —
- ЛЬЮИС Клайв Стейплз (1898–1963), английский философ, историк культуры —
- ЛЮДОВИК XIII (1601–1643), король Франции, персонаж романов А. Дюма —

- Лягин Семен Игнатьевич (1890–1930), поэт и прозаик —
- Ляндау Константин Юлианович (1890–1969), поэт —
- МАГОМЕДОВА Д. М., литературовед —
- МАЙОРОВ Иван Алексеевич (1888–1937), критик —
- МАКВЕЙ Гордон, английский литературовед —
- МАКДУГАЛЛ Алан Росс (? — 1956), шотландский журналист —
- МАКБЕЕВА Елена Гавриловна (1897 — 1972), знакомая Есенина —
- МАЛЕЖНАЯ Августа Павловна —
- МАЛИНОВСКИЙ Роман Вацлавович (1876–1918), депутат IV Государственной думы от РСДРП(б), впоследствии разоблаченный как агент царской охранки —
- МАЛКИН Борис Федорович (1891–1938), заведующий Центропечатью —
- МАНДЕЛЬШТАМ Надежда Яковлевна (урожд. Хазина; 1899–1980), мемуаристка, жена О. Мандельштама —
- МАНДЕЛЬШТАМ Осип Эмильевич (1891–1938), поэт —
- МАНИ-ЛЕЙБ — см. Брагинский М.-Л.
- МАНСУРОВ Павел Андреевич (1896–1983), художник —
- МАНУЙЛОВ Виктор Андроникович (1903–1987), литературовед, поэт —
- МАРИЕНГОФ Анатолий Борисович (1897–1962), поэт, драматург, мемуарист —
- МАРИЕНГОФ Кирилл Анатольевич (1923–1940), сын А. Мариенгофа —
- МАРИНЕТТИ Филиппо Томмазо (1876–1944), поэт, основатель и лидер итальянского футуризма —
- МАРИЯ ПАВЛОВНА (1854–1918), жена великого князя Владимира Александровича —
- МАРКОВ В. Ф., филолог —
- МАРКОВ Павел Александрович (1897–1980), театровед, заведующий литературной частью Московского художественного театра —
- МАРКС Карл (1818–1883), экономист —
- МАРЧЕНКО А. М., литературовед —
- МАТВЕЕВА Наталья Антоновна (1836–1899), возлюбленная И. С. Никитина —
- МАЧТЕТ Тарас Григорьевич (1891–1938), поэт, журналист —
- МАЯКОВСКИЙ Владимир Владимирович (1893–1930), поэт —
- МЕДВЕДЕВ Павел Николаевич (1891–1938), литературовед, критик —
- МЕЙЕРХОЛЬД Всеволод Эмильевич (1874–1940), режиссер —
- МЕЙЕРХОЛЬДЫ — см. Мейерхольд В. и Райх Э.
- МЕКШ Э. Б., литературовед —
- МЕНДЕЛЕВИЧ Родион Абрамович (1867–1927), поэт —

- МЕНЬШОЙ-ГАЙ Адольф Григорьевич (наст. фам. Лев Самойлович Левман; 1893–1938), журналист —
- МЕРЕЖКОВСКАЯ З. Н. — см. Гиппиус З. Н.
- МЕРЕЖКОВСКИЕ (Мережковский Д. С. и Гиппиус З. Н.) —
- МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич (1866–1941), романист, публицист, критик, поэт —
- МЕЦ А. Г., историк литературы —
- МЕЧИСЛАВСКАЯ Я., знакомая Есенина —
- МЕЩЕРЯКОВ Н. Л. (1865–1942), член редколлегии “Правды” —
- МИКЛАШЕВСКАЯ Августа Леонидовна (1891–1977), актриса Камерного театра, мемуаристка —
- МИЛОСЛАВСКАЯ Мария Марковна (Маруся Немирова), переводчик стихов С. Есенина на французский язык, жена Ф. Элленса —
- МИЛЮКОВ Павел Николаевич (1859–1943), историк, социолог; был министром иностранных дел Временного правительства —
- МИНСКИЙ Николай Максимович (наст. фам. Виленкин; 1856–1937), поэт, драматург, философ, публицист —
- МИНЦ З. Г., литературовед —
- МИРОЛЮБОВ Виктор Сергеевич (1860–1939), редактор-издатель “Журнала для всех” и “Ежемесячного журнала” (1914–1918) —
- МИХАЛКОВ Сергей Владимирович (1913–2009), поэт —
- МОПАСАН Ги де (1850–1893), французский писатель —
- МОРОХОВ Ф. А., врач, литературовед-любитель —
- МОРЩИНЕР Иосиф Семенович (псевд. И. Романовский; 1894–1977), редакционный работник, литератор —
- МОСКАЛЕНКО Н. И., знакомая Есенина —
- МУРАШЕВ (Мурашов) Михаил Павлович (1884–1957), литератор, мемуарист —
- МЮССЕ Альфред де (1810–1857), французский писатель —
- НАБОКОВ Владимир Владимирович (1899–1977), прозаик и поэт —
- НАДСОН Семен Яковлевич (1862–1887), поэт —
- НАЗАРОВА Анна Гавриловна (1901, по др. данным 1900–1972), редакционный работник, подруга Г. А. Бениславской —
- НАППЕЛЬБАУМ Моисей Соломонович (1869–1958), фотограф-художник —
- НАРБУТ Владимир Иванович (1888–1938), поэт —
- НАСЕДКИН Василий Федорович (1895–1938), поэт, муж Е. А. Есениной —
- НАСЕДКИНА Н. В. — см. Есенина Н. В.
- НАСТЯ, горничная Ю. Анненкова —
- НАУМОВ Валериан Николаевич (1896–1957), знакомый Есенина —

- НАУМОВ Павел Семенович (1884–1942), художник —
- НЕ-БУКВА — см. Василевский И. М.
- НЕЙМАН Б., литературовед —
- НЕКЛЮДОВ С. Ю., филолог —
- НЕКРАСОВ Николай Алексеевич (1821–1878), поэт —
- НЕМЗЕР А. С., критик и литературовед —
- НЕПРЯХИН Федор Семенович, участник литературного кружка при газете “Бакинский рабочий” —
- НЕРОН (37–69 гг. н. э.), римский император —
- НЕСТЕРОВ Михаил Васильевич (1862–1942), художник —
- НИКЁ Мишель, историк литературы —
- НИКИТИН Иван Саввич (1824–1861), поэт —
- НИКИТИН Николай Николаевич (1895–1963), прозаик —
- НИКОДИМОВ Н., критик —
- НИКОЛАЙ II (1868–1918), российский император —
- НИКОНОВ Борис Павлович (1873–1950), поэт, прозаик, драматург —
- НИКРИТИНА Анна Борисовна (1900–1982), актриса, жена А. Б. Мариенгофа —
- НИКУЛИН (наст. фам. Ольконицкий) Лев Вениаминович (1891–1967), прозаик, мемуарист —
- ОДОЕВЦЕВА Ирина (наст. имя и фам. Ираида Густавовна Гейнике; 1895–1990), поэтесса, прозаик —
- ОКСЕНОВ Иннокентий Александрович (1897–1942), поэт, критик —
- ОКСКИЙ Г. А. — см. Сидоров-Окский Г. А.
- ОКСМАН Юлиан Григорьевич (1895–1970), историк литературы и общественной мысли —
- ОЛЕША Юрий Карлович (1899–1960), прозаик —
- ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА (1895–1918), великая княжна —
- ОНИЩЕНКО И. Г., скульптор —
- ОРЕШИН Петр Васильевич (1887–1938), поэт —
- ОРЛИЦКИЙ Ю. Б., литературовед —
- ОСИНСКИЙ Н. (наст. имя и фам. Валериан Валерианович Оболенский; 1887–1938), партийный публицист и литературный критик —
- ОСМЕРКИН Александр Александрович (1892–1953), художник —
- ОСОРГИН Михаил Андреевич (1878–1942), прозаик —
- ОСПОВАТ А. Л., историк литературы —
- ОЦУП Николай Авдеевич (1894–1958), поэт —
- ОЦУП Петр Адольфович (1883–1963), фотограф —
- ПАЛКИН, владелец трактира —

- ПАНФИЛОВ А. Д., историк литературы —
- ПАНФИЛОВ Андрей Федорович, отец Г. А. Панфилова —
- ПАНФИЛОВ Григорий Андреевич (1893–1914), ближайший друг отрочества и ранней юности Есенина —
- ПАРНОК София (наст. имя и фам. София Яковлевна Парнох; 1885–1933), поэтесса, критик (печаталась под псевдонимом Андрей Полянин) —
- ПАСТЕРНАК Борис Леонидович (1890–1960), поэт, прозаик —
- ПАСТУХОВ Всеволод Леонидович (1894 — 1967), поэт и музыкант —
- ПАТРИК (1910–1913), сын А. Дункан и П. Зингера —
- ПАУНД Эзра (1885–1972), американский поэт —
- ПЕРЕДРЕЕВ Анатолий Константинович (1934–1987), поэт —
- ПЕРЦОВ Виктор Осипович (1898–1980), литературовед —
- ПЕТР I Великий (1672–1725), первый российский император —
- ПЕТРОВ-ВОДКИН Кузьма Сергеевич (1878–1939), художник —
- ПЕТРОВА-ВОДКИНА Мария Федоровна (урожд. Маргарита Йованович; 1886–1960), жена К. Петрова-Водкина —
- ПИЛЬНЯК Борис (наст. имя и фам. Борис Андреевич Вогау; 1894–1938), прозаик —
- ПИЧУГИН Захарий Ефимович (1862–1942), художник; один из иллюстраторов трехтомного Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя (М., 1902) —
- ПЛАТОН (428/427–348/347 гг. до н. э.), философ —
- ПЛАТОНОВ Андрей Платонович (наст. фам. Климентов; 1899–1951), прозаик —
- ПЛАТОНОВ Сергей Федорович (1860–1933), историк —
- ПЛЕВИЦКАЯ Надежда Васильевна (урожд. Винникова; 1884–1940), исполнительница русских песен и романсов —
- ПО Эдгар Аллан (1809–1849), американский писатель —
- ПОВИЦКИЙ Лев Осипович (Иосифович) (1885–1974), журналист —
- ПОГОРЕЛАЯ Е. А., критик —
- ПОДЬЯЧЕВ Семен Павлович (1866–1934), прозаик —
- ПОЛЕТАЕВ Николай Гурьевич (1872–1930), поэт —
- ПОЛИКОВСКАЯ Л. В., критик —
- ПОЛОНСКАЯ Елизавета Григорьевна (наст. фам. Мовшензон; 1890–1969), поэтесса —
- ПОЛОНСКИЙ Вячеслав Павлович (наст. фам. Гусин; 1886–1932), критик, публицист, мемуарист —
- ПОЛОЦКИЙ Семен Анатольевич (1905–1952), поэт —
- ПОЛЯНИН Андрей — см. Парнок С.

- Пони́ковская Елена Станиславовна, петроградская знакомая Есенина —
- Поршне́в Г. —
- Праведни́ков Евгений (Евтихий) Иванович (1890–1940), художник-карикатурист —
- Приблудный Иван (наст. имя и фам. Яков Петрович Овчаренко; 1905–1937), поэт —
- Прича́рд Джемс-Коульс (1786–1848), психиатр —
- Прокуше́в Ю. Л., критик, литературовед —
- Протопопов Александр Дмитриевич (1866–1917), политический и государственный деятель —
- Протопопов Михаил Алексеевич (1848–1915), критик —
- Прохоро́в Г. М., литературовед, переводчик —
- Прохоро́в С., литературовед —
- Пугачев Емельян Иванович (1740 или 1742–1775), предводитель Крестьянской войны (1773–1775), донской казак —
- Пумпянский Лез Васильевич (до перехода в православие (1911) Лейб Мерович Пумпян; 1891–1940), литературовед —
- Пушки́н Александр Сергеевич (1799–1837), поэт —
- Пыжова Ольга Ивановна (1894–1972), актриса —
- Пылаев Егорий (Георгий) Николаевич (1894 — 1937), приятель юности Есенина —
- Пяст Владимир Алексеевич (наст. фам. Пестовский; 1886–1940), поэт —
- Рабинович Марцелл Соломонович, литератор —
- Радван-Рыжинская Н., переводчица, журналистка —
- Радек Карл Бернгардович (наст. фам. Собельсон; 1885–1939), деятель европейского социал-демократического и коммунистического движений, партийный публицист —
- Радимов Павел Александрович (1887–1967), поэт и живописец —
- Разгуляев Александр Иванович (1902–1961), сводный брат Есенина —
- Разин Степан Тимофеевич (ок. 1630–1671), донской казак; предводитель Крестьянской войны (1670–1671) —
- Райх Зинаида Николаевна (1894–1939), жена Есенина в 1917–1920 гг., впоследствии жена В. Э. Мейерхольда —
- Райх Николай Андреевич (1862–1942), отец З. Н. Райх —
- Распу́тин Григорий Ефимович (1871–1916), сибирский мужик, “старец”, особо приближенный к царской семье —
- Ревякин Александр Иванович (1901–1983), литературовед и критик —
- Рейснер Лариса Михайловна (1895–1926), писательница —
- Рембо́ Артю́р (1854–1891) — французский поэт —



- РЕМИЗОВ Алексей Михайлович (1877–1957), прозаик —
- РЕМИЗОВА Серафима Павловна (урожд. Довгелло; 1876–1943), жена А. М. Ремизова —
- РЕМИЗОВЫ — см. Ремизов А. М. и Ремизова С. П.
- РЕПИН Илья Ефимович (1844–1930), художник —
- РЕЧКИН, заводчик —
- РИЧИОТТИ Владимир (наст. имя и фам. Леонид Иосифович Турутович; 1899–1939), поэт —
- РИШЕЛЬЕ Арман Жан дю Плесси (1585–1642), французский государственный деятель, кардинал (с 1622) —
- РОДЕН Огюст (1840–1917), французский скульптор —
- РОДКИН М. В., потерпевший в “деле четырех поэтов” —
- РОДОВ Семен Абрамович (1893–1968), поэт, публицист, видный деятель “напостовства” —
- РОЖДЕСТВЕНСКИЙ Всеволод Александрович (1895–1977), поэт —
- РОЖИЦЫН Валентин Сергеевич, филолог и критик —
- РОЗАНОВ Василий Васильевич (1856–1919), философ, критик, публицист —
- РОЗАНОВ Иван Никанорович (1874–1959), литературовед —
- РОЗАНОВА Ольга Владимировна (1886–1918), художница —
- РОЙЗМАН Матвей Давидович (1896–1973), поэт, сценарист, мемуарист —
- РОМАН Аренский — см. Гиппиус З.
- РОМАНОВЫ, династия русских царей —
- РОНЕН Омри, литературовед —
- РУБИНЧИК Агнесса Давыдовна (1895–1965), актриса —
- РУБИНШТЕЙН Антон Григорьевич (1829–1894), композитор, пианист, дирижер —
- РУБЛЕВ Андрей (ок. 1360–1370 — ок. 1430), иконописец —
- РУБЦОВ Николай Михайлович (1936–1971), поэт —
- РУДАКОВ Сергей Борисович (1909–1944), литературовед, поэт —
- РУДИН Н., поэт —
- РУКАВИШНИКОВ Иван Сергеевич (1877–1930), поэт —
- САБИНОВИЧ М., югославский литературовед —
- САВИЧ Овадий Герцович (1896–1967), прозаик, критик —
- САВКИН Николай Петрович (1899 — после 1970), поэт, редактор издательства “Современная Россия” —
- САДОВСКОЙ Борис Александрович (наст. фам. Садовский; 1881–1952), поэт и прозаик —
- САДОФЬЕВ Илья Иванович (1889–1965), поэт —
- САКЕР Яков Львович (1869–1918), предприниматель, муж С. И. Чайкиной —

- САКУЛИН Павел Никитич (1868–1930), литературовед —
- САМОДЕЛОВА Е. А., литературовед —
- САМСОНОВ Т., чекист —
- САНД ЖОРЖ (наст. имя и фам. Аврора Дюпен; 1804–1876), французская писательница —
- САННИКОВ Григорий Александрович (1899–1969), поэт —
- САПИР Б., историк литературы —
- САРДАНОВСКАЯ (в замужестве Олоновская) Анна Алексеевна (1896–1921), подруга юности Есенина —
- САРДАНОВСКИЙ Николай Алексеевич (1893–1961), товарищ юности Есенина —
- САХАРОВ Александр Михайлович (1894–1952), издатель, один из близких товарищей Есенина —
- СВАДКОВСКИЙ Б. С., медик —
- СВАРОГ (наст. имя и фам. Василий Семенович Корочкин; 1883–1946), художник —
- СВЕРДЛОВ М. И., критик и литературовед —
- СВИРСКАЯ (Гиршевич) Мина Львовна (1901 — 1978), знакомая Есенина —
- СВИЦОВ-ПАОЛА Николай Иванович (1874–1974), фотограф —
- СВЯТОПОЛК-МИРСКИЙ Дмитрий Петрович (1890–1939), критик, литературовед —
- СЕВЕРЯНИН Игорь (наст. имя и фам. Игорь Васильевич Лотарёв; 1887–1941), поэт —
- СЕГАЛ Д. М., литературовед —
- СЕДЫХ Андрей (наст. имя и фам. Яков Моисеевич Цвибак; 1902–1994), прозаик, критик —
- СЕЙФУЛЛИНА Лидия Николаевна (1889–1954), прозаик —
- СЕЛИВАНОВСКИЙ Алексей Павлович (1900–1938), литературный критик, один из руководителей РАПП —
- СЕЛЬВИНСКИЙ Илья Львович (1899–1968), поэт —
- СЕМЁНОВСКИЙ Дмитрий Николаевич (1894–1960), поэт —
- СЕРАФИМОВИЧ Александр Серафимович (наст. фам. Попов; 1863–1949), прозаик —
- СИВАЧЕВ Михаил Гордеевич (1877–1937), писатель —
- СИДОРИНА Н., литературовед-любитель —
- СИДОРОВ-ОКСКИЙ Гурий Александрович (наст. фам. Сидоров; 1899–1966), поэт и драматург, автор мемуаров —
- СИНЬОРЕЛЛИ Ольга Ивановна (урожд. Ресневич; 1883–1973), переводчица, популяризатор русской культуры в Италии —

- СКИТАЛЕЦ (наст. имя и фам. Степан Гаврилович Петров; 1869–1941), прозаик —
- СКОРОХОДОВ М. В., филолог —
- СЛАДКОПЕВЦЕВ Владимир Владимирович (1876–1957), актер, мастер художественного чтения —
- СЛЕПЯН Дориана Филипповна (1902–1972), актриса —
- СЛУЧЕВСКИЙ Константин Константинович (1837–1904), поэт —
- СМИРНОВ Иван Яковлевич (1846–1929), священник в селе Константиново —
- СОБИНОВ Леонид Витальевич (1872–1934), оперный певец (тенор) —
- СОКОЛОВ Б. С., литературовед —
- СОКОЛОВ Борис Федорович (1893–1979), писатель, публицист, автор очерков о жизни в советской России 1920-х гг. —
- СОКОЛОВ Ипполит Васильевич (1902–1974), поэт-экспрессионист —
- СОКОЛОВ Константин Алексеевич (1887–1963), художник, один из близких товарищей Есенина —
- СОКОЛОВ-МИКИТОВ Иван Сергеевич (1892–1975), прозаик —
- СОКОЛЬНИКОВ М. —
- СОЛОВЬЕВ Борис Иванович (1904–1976), поэт, прозаик и критик —
- СОЛОГУБ Федор (наст. имя и фам. Федор Кузьмич Тетерников; 1863–1927), поэт, прозаик —
- СОЛЯНЫЙ Петр, критик —
- СОМОВ Константин Андреевич (1869–1939), художник —
- СОРОКИН Борис Андреевич (1893–1972), поэт и журналист —
- СОСНОВСКИЙ Лев Семенович (1886–1937), партийный публицист и литературный критик —
- СПАССКИЙ Сергей Дмитриевич (1898–1956), поэт —
- СТАЛИН Иосиф Виссарионович (наст. фам. Джугашвили; 1879–1953), руководитель советского государства —
- СТАНИСЛАВСКИЙ Константин Сергеевич (1863–1938) — театральный режиссер, актер и педагог —
- СТАРЦЕВ Иван Иванович (1896–1967), один из близких товарищей Есенина, журналист, издательский работник —
- СТЕНИЧ Валентин Осипович (наст. фам. Сметанич; 1898–1939), поэт и переводчик —
- СТЕПАНОВА Варвара Федоровна (1894–1958), художница —
- СТЕПУН Федор Августович (1884–1965), философ, социолог, историк, критик —
- СТИВЕНСОН Роберт Луис (1850–1894), английский писатель —
- СТОЛИЦА Любовь Никитична (урожд. Ершова; 1884–1934), поэтесса —

- СТОП Николай Павлович (наст. фам. Стороженко; 1903–1984), журналист, сотрудник газеты “Заря Востока” —
- СТРУВЕ Михаил Александрович (1890–1948), поэт —
- СТУДЕНЦОВА Екатерина Ивановна (1893–?), знакомая Есенина —
- СТУЛОВ Николай Тимофеевич (1877–?), совладелец московского торгового дома “П. Стулов в К<sup>о</sup>” —
- СТЫКА Ян (1858–1925), польский художник —
- СТЫРСКАЯ Елизавета Яковлевна (1898–1947), поэтесса, беллетристка, первая жена Э. Кроткого —
- СУББОТИН С. И., литературовед —
- СУВЧИНСКИЙ Петр Петрович (1892–1985), публицист, философ, музыковед —
- СУРИКОВ Иван Захарович (1841–1880), поэт-самоучка, представитель “крестьянского” направления в русской литературе —
- СЫТИН Иван Дмитриевич (1851–1934), книгоиздатель —
- ТАБИДЗЕ Тициан Юстинович (1895–1937), грузинский поэт —
- ТАЛЪЯН Шагандухт (Шаганэ) Нерсесовна (в замуж. Тертерян; 1900–1976), адресат лирики Есенина —
- ТАРАСЕНКО Михаил Степанович (1879, по др. данным 1880–1949), врач-гигиенист —
- ТАРАСОВ Г., критик —
- ТАРАСОВ-РОДИОНОВ Александр Игнатьевич (1885–1938), прозаик, издательский работник —
- ТАРАСОВА Алла Константиновна (1898–1973), актриса —
- ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА (1897–1918), великая княжна —
- ТЕЛЕШОВ Николай Дмитриевич (1867–1957), прозаик —
- ТЕРЕНТЬЕВ Игорь Герасимович (1892–1937), поэт, драматург —
- ТИМЕНЧИК Р. Д., литературовед —
- ТИНЯКОВ Александр Иванович (1886–1934), поэт, критик —
- ТИРАНОВ Егор (Георгий; 1894 или 1895–1940-е), соученик Есенина в Спас-Клепиках — 38
- ТИТАРЕНКО В., журналист —
- ТИТОВ Николай Иванович (1895 — 1983), троюродный брат Есенина —
- ТИТОВ Федор Андреевич (1846–1927), дед Есенина по матери —
- ТИТОВА Наталья Евтихиевна (1847–1911), бабушка Есенина по матери —
- ТИХОНОВ Александр Николаевич (1880–1956), издательский работник —
- ТИХОНОВ Николай Семенович (1896–1979), поэт, общественный деятель —
- ТОДДЕС Е. А., литературовед —

- ТОЛСТАЯ Татьяна Владимировна (псевд. Вечорка; 1892–1965), поэтесса, критик —
- ТОЛСТАЯ-ВЕЧОРКА Т. — см. Толстая Т. В.
- ТОЛСТАЯ-ЕСЕНИНА Софья Андреевна (1900–1957), жена Есенина в 1925 г., музейный работник —
- ТОЛСТОЙ Алексей Константинович (1817–1875), поэт, драматург, прозаик —
- ТОЛСТОЙ Алексей Николаевич (1882/1883–1945), прозаик —
- ТОЛСТОЙ Лев Николаевич (1828–1910) —
- ТОНИКОВ А. — см. Праведников Е. И.
- ТОПОРОВ Адриан Митрофанович (1891–1984), педагог, публицист —
- ТРЕНИН В. В., литературовед —
- ТРЕПАЛИН Яков, соученик Есенина —
- ТРОНСКИЙ Иосиф Моисеевич (1897–1930), филолог-античник —
- ТРОЦКИЙ Лев Давидович (наст. имя и фам. Лейб Давидович Бронштейн; 1879–1940), советский государственный и партийный деятель (1917–1927); в 1918–1925 председатель Реввоенсовета Республики —
- ТРУБЕЦКАЯ Ирина, журналистка —
- ТРУБЕЦКОЙ Николай Сергеевич (1890–1938), князь; филолог, лингвист, один из лидеров евразийства —
- ТУРОВА Екатерина Ивановна, художница —
- ТЫНЯНОВ Юрий Николаевич (1894–1943), литературовед, прозаик —
- ТЭФФИ Н. (наст. имя и фам. Надежда Александровна Лохвицкая, по мужу Бучинская; 1872–1952), прозаик, поэтесса, критик —
- ТЮТЧЕВ Федор Иванович (1803–1873), поэт —
- УАЙЛЬД Оскар (1854–1900) — английский поэт и драматург —
- УИТМЕН Уолт (1819–1892), американский поэт —
- УРИЦКИЙ Моисей Соломонович (1873–1918), деятель большевистской партии, после революции — председатель Петроградской ЧК —
- УСТИНОВ Георгий Феофанович (1888–1932), журналист, прозаик, критик, один из близких товарищей Есенина —
- УСТИНОВА Елизавета Алексеевна (?–1937), жена Г. Ф. Устинова —
- УСТРЯЛОВ Николай Васильевич (1890–1937), правовед, философ —
- УТКИН Иосиф Павлович (1903–1944), поэт —
- УШАКОВ Дмитрий, журналист —
- ФАЙНШТЕЙН Семен, сотрудник редакции газеты “Бакинский рабочий” —
- ФАРЕСОВ Анатолий Иванович (1852–1918), публицист —
- ФЕДОРОВ Николай Федорович (1829–1903), философ —
- ФЕЛЬДМАН Цицилия —
- ФЕЛЬШТИНСКИЙ Ю. Г., историк —

- ФЕТ Афанасий Афанасьевич (1820–1892), поэт —
- ФИДЛЕР Федор Федорович (1859–1918), переводчик, библиограф, коллекционер —
- ФИЛИПЧЕНКО Иван Гурьевич (1887–1937), поэт —
- ФИЛОСОФОВ Дмитрий Владимирович (1872–1940), критик, публицист —
- ФЛЕЙШМАН Л. С., литературовед —
- ФЛОР-ЕСЕНИНА Татьяна Петровна (1933–1993), дочь А. А. Есениной —
- ФОМИН Семен Дмитриевич (1881–1958), поэт —
- ФОРШ Ольга Дмитриевна (1873–1961), прозаик —
- ФРАНЦУЗ Исидор Аронович (1896–1991), художник —
- ФРИЧЕ Владимир Максимович (1870–1929), критик, литературовед —
- ФУНК А. М., фотограф —
- ФУРМАН Георгий Васильевич (1891– ?), журналист —
- ХАЗАН В. И., литературовед —
- ХАНЗЕН-ЛЕВЕ О. А., немецкий литературовед —
- ХАРДЖИЕВ Н. И., литературовед —
- ХАРМС Даниил Иванович (наст. фам. Ювачев; 1905–1942), прозаик и поэт —
- ХАУСМЕН Альфред (1859–1936), английский поэт —
- ХИТРОВ А. Е., сын Е. М. Хитрова —
- ХИТРОВ Евгений Михайлович (1872–1932), учитель словесности Есенина в Спас-Клепиках —
- ХИТРОВА Наталия Ивановна, жена Е. Хитрова —
- ХЛЕБНИКОВ Велимир (наст. имя Виктор Владимирович; 1885–1922), поэт —
- ХЛЫСТАЛОВ Э. А., следователь, литературовед-любитель —
- ХОВИН Виктор Романович (1891 — после 1940), поэт, критик, издатель —
- ХОДАСЕВИЧ Владислав Фелицианович (1886–1939), поэт, критик, мемуарист —
- ХЬЮМ Томас Эрнст (1883–1917), поэт, примыкавший к группе имажистов —
- ХЮЛЬЗЕНБЕК Рихард (1892–1974), поэт, участник группы дадаистов —
- ЦВЕТАЕВА Марина Ивановна (1892–1941), поэтесса —
- ЦЕНЗОР Дмитрий Михайлович (1877–1947), поэт —
- ЦИГАЛЬ В. Е., скульптор —
- ЦЫБИН Кузьма Васильевич (1894–1952), товарищ детских лет Есенина —
- ЧАГИН Петр Иванович (наст. фам. Болдовкин; 1898–1967), партийный работник, журналист, мемуарист —
- ЧАПЛИН Чарлз Спенсер (1889–1977), американский киноактер, режиссер и сценарист —
- ЧАЦКИНА Софья Исааковна (1878–1931), издательница и редактор журнала “Северные записки” —



- ЧЕРНОВ Андрей Николаевич, соученик Есенина —  
ЧЕРНОСВИТОВ Е. В., литературовед-любитель —  
ЧЕРНЯВСКИЙ Владимир Степанович (1889–1948), поэт, актер, мемуарист —  
ЧЕРНЯК Яков Захарович (1898–1955), критик, историк литературы —  
ЧИЖОВ Григорий Александрович, фотограф —  
ЧУДАКОВА М. О., литературовед —  
ЧУЖАК Николай Федорович (наст. фам. Насимович; 1876–1937), участник революционного движения, журналист, литературный критик —  
ЧУКОВСКАЯ Лидия Корнеевна (1907–1996), прозаик, мемуарист —  
ЧУКОВСКИЙ Корней Иванович (наст. имя и фам. Николай Васильевич Корнейчуков; 1882–1969), критик, литературовед, переводчик —  
ЧУЛКОВ Георгий Иванович (1879–1939), поэт —  
ШАЛЯПИН Федор Иванович (1873–1938), оперный певец —  
ШАЛЯПИНА-БАКШЕЕВА Ирина Федоровна (1900–1978), дочь Ф. Шаляпина —  
ШАМУРИН Евгений Иванович (1889–1962), книговед, критик —  
ШАНЯВСКИЙ Альфонс Леонович (1837–1905), меценат, завещавший средства на постройку народного университета его имени в Москве —  
ШАПИР М. И., литературовед —  
ШАРОВ Ефим Ефимович (1891–1972), журналист —  
ШАТАЛОВ П., мемуарист —  
ШАТОВА Зоя Петровна, содержательница притона —  
ШВАРЦ Евгений Львович (1896–1958), драматург —  
ШВАРЦ Николай Львович (? — 1920), доцент Московского университета —  
ШЕВЧЕНКО Тарас Григорьевич (1814–1861), поэт —  
ШЕКСПИР Уильям (1564–1616), английский поэт и драматург —  
ШЕНГЕЛИ Георгий Аркадьевич (1894–1956), поэт, переводчик —  
ШЕНЬЕ Андре (1762–1794), французский поэт —  
ШЕРШЕВСКАЯ Фанни Абрамовна, знакомая СЕсенина —  
ШЕРШЕНЕВИЧ Вадим Габриэлевич (1893–1942), поэт, драматург, мемуарист —  
ШИНГАРЕВ Андрей Иванович (1869–1918), общественный и политический деятель, депутат Учредительного собрания —  
ШИРЯЕВЕЦ Александр Васильевич (наст. фам. Абрамов; 1887–1924), поэт —  
ШКАПСКАЯ Мария Михайловна (1881–1952), поэтесса, прозаик —  
ШКЛОВСКИЙ Виктор Борисович (1893–1984), литературовед, критик, теоретик киноискусства, мемуарист —  
ШКУЛЕВ Филипп Степанович (1868–1930), поэт —  
ШМЕРЕЛЬСОН Григорий Бенедиктович (1901–1943), поэт —

- ШНЕЙДЕР Илья Ильич (1891–1980), журналист, театральный работник, мемуарист —
- ШНЕЙДЕРМАН Э., литературовед —
- ШОПЕН Фредерик (1810–1849), польский композитор —
- ШРУБА Манфред, литературовед —
- ШТЕЙНБЕРГ Яков Владимирович (1880–1942), фотограф —
- ШТРАУС В., журналист —
- ШУБЕРТ Франц (1797–1828), австрийский композитор —
- ШУБИНСКИЙ В. И., поэт и критик —
- ШУБНИКОВА-ГУСЕВА Н. И., литературовед —
- ШУГАЕВА Н. —
- ШУМИХИН С. В., литературовед —
- ЩУСЕВ Алексей Викторович (1873–1949), архитектор —
- ЭЙЗЕНШТЕЙН Сергей Михайлович (1898–1948), кинорежиссер —
- ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович (1886–1959), литературовед, критик —
- ЭЛИАВА Шалва (1883–1937), грузинский поэт —
- ЭЛЛЕНС Франс (наст. имя и фам. Фредерик ван Эмерген; 1881–1972), бельгийский писатель и переводчик, мемуарист —
- ЭМИЛИЯ, экономка Мариенгофа и Есенина —
- ЭПШТЕЙН М. Н., культуролог —
- ЭРДМАН Борис Робертович (1899–1960), художник —
- ЭРДМАН Николай Робертович (1900–1970), драматург, киносценарист —
- ЭРЕНБУРГ Илья Григорьевич (1891–1967), поэт, прозаик, критик, публицист, мемуарист —
- Эрлих Вольф Иосифович (1902–1937), поэт —
- ЭСХИЛ (525–456 гг. до н. э.), драматург —
- ЮЗОВСКИЙ Юзеф Ильич (1902 — 1964), критик —
- ЮНГЕР Владимир Александрович (1883–1918), поэт, художник —
- ЮРИН Михаил Петрович (1894–1951), поэт, редактор журнала “Красные всходы” (Тифлис) —
- ЮРОК Сол (Соломон Израилевич; 1888–1974), американский антрепренер и театральный деятель —
- ЯКОВСОН Роман Осипович (1896–1982), филолог —
- ЯКОВЛЕВ Борис Владимирович (1913–1994), литературный критик —
- ЯКУБОВСКИЙ Георгий Васильевич (1891–1930), критик —
- ЯКУЛОВ Георгий Богданович (1884–1928), художник, скульптор —
- ЯНГФЕЛЬД Бенгт, литературовед —
- ЯР-КРАВЧЕНКО Анатолий Никифорович (1911–1983), художник —
- ЯРОВОЙ П., критик —

ЯСИНСКАЯ Зоя Иеронимовна (1896–1980), дочь И. Ясинского —  
ЯСИНСКИЙ Иероним Иеронимович (1850–1931), поэт, прозаик, критик,  
председатель общества “Страда” —

ЯСНЫЙ Владимир Михайлович, книгоиздатель —

ЯШВИЛИ Паоло Джибраэлович (1895–1937), грузинский поэт —

ЯЩУК Тимофей Аскольдович (1889–1914), поэт —

ДЕСТУ Mary — см. Десты М.

МАРКОВ V. — см. Марков В. Ф.

МСВАУ G. — см. Маквей Г.

## Об авторах этой книги



Олег Андершанович Лекманов — историк литературы, критик. Родился в 1967 году. В 1991 году окончил Московский педагогический государственный университет имени В. И. Ленина. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме “Книга стихов как “большая форма” в русской поэтической культуре начала XX века: О. Э. Мандельштам. “Камень” (1913)”, а в 2002-м — докторскую диссертацию “Акмеизм как литературная школа (опыт структурной характеристики)”. С 2007 года является профессором факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Автор более 400 опубликованных исследований, в том числе монографий “Книга об акмеизме и другие работы” (2000), “Статьи и заметки о школьной литературе” (в соавторстве с М. Свердловым; 2001) “Осип Мандельштам” (2004; серия “Жизнь замечательных людей”), “В лабиринтах романа-загадки: Комментарий к роману В. П. Катаева “Алмазный мой венец”” (в соавторстве с М. Котовой, при участии Л. Видгофа; 2004), “Опыт коллективного комментария к “Вступлению” поэмы Тимура Кибирова “Сквозь прощальные слезы”” (Toronto Slavic Quarterly. 2005. № 13); “О трех акмеистических книгах: М. Зенкевич, В. Нарбут, О. Мандельштам” (2006). В 2002 году решением Ученого совета Московского государственного университета удостоен премии им. И. И. Шувалова (за докторскую диссертацию и монографию “Книга об акмеизме и другие работы”).



МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ СВЕРДЛОВ — критик и литературовед. Родился в 1966 году. В 1990 году закончил Московский педагогический государственный университет имени В. И. Ленина, учился в аспирантуре Литературного института имени М. Горького. В 1995 году защитил кандидатскую диссертацию по теме “Тема детства в английской оде XVII–XIX веков”. В 1991–1995 годах — старший преподаватель кафедры культурологии МПГУ имени В. И. Ленина. С 1995 года — старший научный сотрудник Института мировой литературы имени М. Горького; с 1994 года — редактор журнала “Вопросы литературы”. Автор книг “Статьи и заметки о школьной литературе” (в соавторстве с О. Лекмановым; 2001), “По ту сторону добра и зла. Алексей Толстой: от Буратино до Петра” (2004), “Почему умерла Катерина? “Гроза”: вчера и сегодня” (2005), учебников-хрестоматий “Зарубежная литература. 5–7 класс” (в соавторстве с И. Шайтановым; 2002), “Зарубежная литература. 8–9 класс” (в соавторстве с И. Шайтановым; 2004), “Зарубежная литература. 10–11 класс” (в соавторстве с И. Шайтановым; 2006), “Зарубежная литература. XIX век. Учебник для гимназий” (в соавторстве с И. Шайтановым и О. Половинкиной; Таллин, 2006; на эстонском языке). Под его редакцией вышли книги: *Толстой А. Н.* Петр Первый. Детство Никиты. Золотой ключик, или Приключения Буратино. М., 1998; *Толстой А. Н.* За синими реками. М., 2000 (подготовлена совместно с А. Громовым и О. Лекмановым). Автор статей в ряде энциклопедических изданий, в том числе в “Литературной энциклопедии терминов и понятий” (2001), “Энциклопедическом словаре английской литературы XX века” (2005). Публикует статьи и рецензии в журналах “Вопросы литературы”, “Русская словесность”, газете “Литература” (приложении к газете “Первое сентября”) и др.

**CORPUS** 024

ОЛЕГ ЛЕКМАНОВ, МИХАИЛ СВЕРДЛОВ

# СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

*Главный редактор* ВАРВАРА ГОРНОСТАЕВА

*Художник* АНДРЕЙ БОНДАРЕНКО

*Ведущий редактор* ИРИНА КУЗНЕЦОВА

*Ответственный за выпуск* МАРИЯ КОСОВА

*Технический редактор* ТАТЬЯНА ТИМОШИНА

*Корректор* НАТАЛИЯ УСОЛЬЦЕВА

*Верстка* ЕЛЕНА ИЛЮШИНА

ООО “Издательство Астрель”,  
обладатель товарного знака “Издательство Corpus”  
129085, г. Москва, пр-д Ольминского, 3а

Подписано в печать 00.00.00 Формат 70x100 1/16  
Бумага офсетная. Гарнитура “OriginalGaramondC”  
Печать офсетная. Усл. печ. л.  
Тираж 5000 экз. Заказ №

Общероссийский классификатор продукции  
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Охраняется законом РФ об авторском праве. Воспроизведение всей книги  
или любой ее части воспрещается без письменного разрешения издателя.  
Любые попытки нарушения закона будут преследоваться в судебном порядке.

Отпечатано с готовых файлов заказчика  
в ОАО “ИПК “Ульяновский Дом печати”  
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14

По вопросам оптовой покупки книг  
Издательской группы “АСТ” обращаться по адресу:  
г. Москва, Звездный бульвар, 21, 7-й этаж  
Тел.: (495) 615-01-01, 232-17-16